В. В. Виноградов

Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX веков

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

Допущено
Министерством высшего и среднего
специального образования СССР
в качестве учебника для студентов
филологических факультетов университетов



МОСКВА «ВЫСШАЯ ШКОЛА» 1982

ББК 81.2Р
В48

Рецензент:
кафедра русского языка Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова

Научные редакторы:
проф. В. П. Вомперский и *проф. Н. И. Толстой*

Автор предисловия
проф. Н. И. Толстой

Автор послесловия
проф. В. П. Вомперский

Виноградов В. В.
В48 Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.: Учебник. — 3-е изд. — М.: Высш. школа, 1982. — 528 с.
В пер.: 1 р. 70 к.

Учебник представляет собой классический труд выдающегося лингвиста академика В. В. Виноградова. Последнее русское издание вышло в 1938 г. и стало библиографической редкостью. Оно было переведено на многие иностранные языки. В нем дан обстоятельный анализ лексико-грамматического строя русского литературного языка эпохи формировании русской нации, его стилистической системы, описана роль писателей, публицистов, общественных деятелей в развитии норм литературного языка. В конце книги даны научные комментарии и указатель имен и названий литературных произведений.

В $\frac{4602000000-643}{001(01)-82}$ 122—82

ББК 81.2Р
4Р

О курсе истории русского литературного языка академика В. В. Виноградова

Книге академика Виктора Владимировича Виноградова «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.» почти полвека[1]. Однако за этот длительный срок она не только не устарела, но, выдержав испытание временем и оказавшись в одном ряду с другими обобщающими трудами и университетскими учебниками по русскому литературному языку и его истории, получила печать классичности, ореол исключительности и всеобщее признание благодаря своей непреходящей актуальности и неувядающей полемичности.

Русская лингвистическая наука знает несколько таких книг и трудов, которые становились не только вехами ее прошлого, но и знаменем настоящего и неотъемлемым компонентом будущего — таковы «Рассуждение» А. Х. Востокова, «Мысли» И. И. Срезневского, «Из записок» А. А. Потебни, «Лекции» А. И. Соболевского и Ф. Ф. Фортунатова, «Очерки» А. А. Шахматова, «Заметки», «Опыт» и «Программы» И. А. Бодуэна де Куртенэ, статьи Л. В. Щербы[2].

Имя В. В. Виноградова прежде всего ассоциируется с двумя фундаментальными трудами — «Русский язык» и «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.». У этих двух книг во многом общая судьба. И та и другая были предназначены в качестве учебника для высших учебных заведений, учебника для филологов, и та и другая при жизни В. В. Виноградова выдержали два издания[3]. Обе книги далеко превосходили рамки обычного учебника, представляя собой не только солидный итог всего того, что было сделано в области русской грамматики и истории русского литературного языка, но и определенную и вполне оригинальную систему фактов и знаний, четкую виноградовскую концепцию и яркую программу дальнейших исследований.

Но есть и немалое отличие в характере и научных задачах упомянутых книг.

---

[1] См.: *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М., 1934; 2-е изд. М., 1938.

[2] См.: *Востоков А. Х.* Рассуждение о славянском языке, служащее введением к грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного письменным памятникам.— Труды Общества любителей Российской словесности при Московском университете. М., 1820, т. 17, с. 5—61; *Срезневский И. И.* Мысли об истории русского языка.— Годичный торжественный акт в Имп. Санкт-петербургском университете. СПб., 1849, 61—186; 5-е изд. М., 1959; *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. М.—Л., 1941, кн. 1—4; 2-е изд. М., 1958; 1968, 1977; *Соболевский А. И.* Лекции по истории русского языка. М., 1888; 4-е изд. М., 1907; *Фортунатов Ф. Ф.* Избр. труды. М., 1956—1957, т. 1—2; *Шахматов А. А.* Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915; *его же.* Очерки современного русского литературного языка. Л., 1925; 4-е изд. М., 1941; *Щерба Л В* Избранные работы по русскому языку. М., 1957; *его же.* Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

[3] В 50-х и 60-х годах В. В. Виноградов неоднократно получал предложения о переиздании этих книг, но каждый раз отказывался, так как не мог согласиться на переиздание без учета новой научной литературы, дополнений и доработок.

Если книгой «Русский язык. Грамматическое учение о слове» (М., 1947)[1] В. В. Виноградов заключал более чем вековой этап в развитии русской грамматической мысли (от М. В. Ломоносова и Н. И. Греча до Ф. Ф. Фортунатова и М. Н. Петерсона), то в «Очерках» он намечал непроторенные пути в развитии науки о русском языке, созданал новую дисциплину — историю литературного языка, не имевшую дотоле прочных основ ни в фактологическом, ни в методологическом плане. В этой области знаний у В. В. Виноградова было немного предшественников. Древнерусский период старшей поры, разработка которого и в трудах Виктора Владимировича намечена лишь в общих чертах, рассматривался в XIX в. и в начале XX в. преимущественно историками древнерусской литературы, и то в кругу общей историко-литературной и текстологической проблематики (А. С. Орлов, М. Н. Сперанский, В. М. Истрин). Завершающий этап древнерусского периода — XVII век — был освещен, и опять-таки частично, в книге С. К. Булича «Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке» (ч. I, СПб., 1893), где исследовался прежде всего язык Острожской библии (1581) и грамматики Мелетия Смотрицкого (1648). Что касается этапа, связанного со становлением и развитием русского литературного языка, то здесь кроме речи А. И. Соболевского о роли М. В. Ломоносова в истории русского языка, пространного раздела о церковнославянском языке в книге А. С. Будиловича «Общеславянский язык», статьи П. И. Житецкого о малорусском влиянии на литературный язык XVIII в. и монографии о грамматике пушкинского языка Е. Ф. Будде[2] трудно указать на работы, заслуживающие особого упоминания. Правда, Е. Ф. Будде принадлежит книга «Очерки истории современного русского литературного языка (XVII—XIX вв.)», которую И. В. Ягич в 1908 г. в Петербурге опубликовал в серии «Энциклопедия славянской филологии», но она не стала обобщающим, а тем более программным трудом, оставаясь, по меткому определению В. В. Виноградова, «случайной коллекцией разрозненных фонетических и морфологических (кое-где и лексических) фактов, начиная с середины XVIII в. и кончая началом XIX в.»

История других славянских литературных языков была в довоенный период изучена еще меньше, а для многих из них вообще не разрабатывалась. Из этого следует, что для появления в 30-х годах нашего века обобщающей книги по истории русского литературного языка не было еще обработанного материала, отсутствовали методологические основы дисциплины и определенные концепции курса. Поэтому В. В. Виноградову пришлось проделать огромную работу и по выявлению источников, и по историографии, и по формулировке основных задач методологического и конкретно-исторического порядка. Значительная часть этой огромной работы нашла свое отражение и дальнейшее развитие в многочисленных предвоенных и послевоенных книгах и статьях.

Почти одновременно с работой над «Очерками» В. В. Виноградов писал две большие монографии «Язык Пушкина» (М.—Л., 1935) и «Стиль Пушкина» (М., 1941). Это были самые трудные и вместе с тем творческие годы в жизни Виктора Владимировича, — в эти же годы писалась и книга «Русский язык». В сознании Виноградова-ученого, Виноградова-исследователя обособлялись, но не разъединялись и тем более не разрывались три основных раздела науки о русском литературном языке — анализ грамматического строя, изучение истории, рассмотрение его воплощения в творчестве писателей.

---

[1] Первое издание этой книги вышло в двух книгах под заглавием «Современный русский язык». М., 1938, вып. 1, 2.

[2] См.: *Соболевский А. И.* Ломоносов в истории русского языка. СПб., 1911; *Будилович А.* Общеславянский язык в ряду других общих языков древней и новой Европы. Варшава, 1892, т. 2. Зарождение общего языка на славянском Востоке; *Житецкий П.* К истории литературной русской речи в XVIII в.— ИОРЯС. СПб., 1903, т. 8, кн. 2; *Будде Е. Ф.* Опыт грамматики языка А. С. Пушкина. СПб., 1901—1904 (Сб. ОРЯС, т. 81 и 77). Языку отдельных авторов были посвящены описательные работы И. Мандельштама (о языке Н. В. Гоголя), Е. Ф. Будде (о языке Н. В. Гоголя), В. Истомина (о языке Г. Ф. Державина, В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, А. С. Пушкина).

В 1933 г. В. В. Виноградов писал: «Существуют в пределах национального языка три разных социально-языковых системы, претендующих на общее, надклассовое господство, хотя они находятся между собою в тесном соотношении и взаимодействии, внедряясь одна в другую: разговорный язык господствующего класса и интеллигенции с его социально-групповыми и стилистическими расслоениями, национальный письменный язык с его жанрами и стилистическими контекстами и язык литературы с его художественными делениями. Соотношение этих систем исторически меняется»[1].

Позже, в 50-е и 60-е годы, изучение языка художественной литературы Виктор Владимирович выносил за границы лингвистики (и литературоведения), оговаривая для него право самостоятельной дисциплины, стоящей вне науки о языке и вне науки о литературе, но использующей данные этих наук. К такому выводу В. В. Виноградов стал склоняться потому, что, по его мнению, проблема индивидуального стиля писателя не может и не должна решаться в сфере языковедческих и обобщенных историко-культурных понятий, которыми оперирует историк литературного языка. Историк исследует общие, нормативные явления, а исследователь языка художественной литературы — индивидуальные черты автора или даже конкретного художественного произведения.

Тем не менее роль писателей, особенно в эпохи переломные и стабилизирующие, в пору выработки норм и системы стилей литературного языка оказывается очень значительной, можно сказать определяющей. Поэтому даже в поздних трудах Виктора Владимировича нелегко провести грань между Виноградовым — исследователем литературного языка и Виноградовым — исследователем языка писателя, языка художественной литературы.

Творческий гений Пушкина привлекал особое внимание Виктора Владимировича. В «Очерках» его роли в становлении норм нашего языка посвящена центральная, шестая, глава «Язык Пушкина и его значение в истории русского литературного языка» (с. 250). Эта роль кратко охарактеризована следующими словами: «Язык Пушкина, отразив прямо или косвенно всю историю русского литературного языка, начиная с XVII в. до 30-х годов XIX в., вместе с тем определил во многих направлениях пути последующего развития русской литературной речи и продолжает служить живым источником и непревзойденным образцом художественного слова для современного читателя». Но не только пушкинский язык стал предметом вдумчивого разбора Виктора Владимировича,— исследование языка Лермонтова и Гоголя, в том числе и языка отдельных их произведений, заняло седьмую и девятую главы «Очерков».

Таким образом, языку Пушкина, Лермонтова и Гоголя посвящена четвертая часть этой книги, в ней также не оставлен без внимания язык Державина и Радищева, Карамзина и Крылова, Белинского и Даля. В «Очерках» кратко говорится о языке Льва Толстого и о языке Достоевского, поскольку ко времени выхода второго издания «Очерков» у В. В. Виноградова уже была готова работа «О языке Толстого (50—60-е годы)» (Литературное наследство, т. 35—36. М., 1939) и были изданы работы по стилю и архитектонике ряда произведений Достоевского («Двойник», «Бедные люди»).

Судя по ранним и послевоенным публикациям, Виктор Владимирович уже в 30-е годы обладал обильным систематизированным материалом по языку писателей допушкинской, пушкинской и послепушкинской поры[2], который лишь частично и в широко обобщенном виде использован в «Очерках».

Ценность «Очерков», однако, заключается не только в анализе языка отдельных писателей и их произведений. Самым существенным, безусловно, является достаточно последовательное, и хронологически и методологически, построение истории русского литературного языка и анализ сложного процесса перехода от его древнерусского состояния к новому в XVIII и XIX вв. Древнерусское

---

[1] *Виноградов В. В.* Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка. М.—Л., 1935, с. 11.

[2] Самая полная (но не исчерпывающая) библиография работ В. В. Виноградова опубликована в кн.: Труды ученых филологического факультета Московского университета по славянскому языкознанию. М., 1960, т. 1, с. 60—90; М., 1968, т. 2, с. 37—61.

состояние языка в XVII в. было непростым. Оно характеризовалось как книжно-разговорное двуязычие, при котором роль книжного языка выполнял древнеславянский (церковнославянский) на русской основе, а роль разговорного — русский язык, использовавшийся в бытовой речи. Последний в значительно нормированном виде был известен и в светских деловых и повествовательных стилях литературного языка. Древнеславянской (церковнославянский) язык, как показал Виктор Владимирович в своих «Очерках», не был единым: в XVII в. (а отчасти и в XVIII в). в Московской Руси помимо московского (великорусского) локального типа древнеславянского языка в отдельные сферы книжности проникал и язык юго-западного (украинско-белорусского) типа. Сложность ситуации усугублялась новым («третьим») «эллинским» (греческим) и юго-западным древнеславянским влиянием и одновременным, идущим с запада влиянием латинским и польским. Конкуренция норм ослаблялась в XVII в. и в начале XVIII в. некоторым их распределением по жанрам книжно-литературной и разговорной речи и по социально-сословным признакам носителей языка. Хотя в ту пору церковнославянский язык переживал кризис в своем развитии, наблюдалось некоторое расширение функций на сферу светской литературы, что и привело к изменению структуры древнеславянского языка и к приспособлению его к «национально-бытовому просторечию».

Следует отметить, что Виктор Владимирович не всегда и не во всех своих работах придерживался единого взгляда на соотношение древнеславянского (церковнославянского) языка с древнерусским языком, на функциональный охват и грамматико-лексическую сущность того и другого[1]. После IV Международного съезда славистов в Москве (1958), на котором В. В. Виноградовым был прочитан доклад, касающийся литературно-языковой ситуации в Древней Руси[2], довольно широкое распространение в литературе, в том числе и учебной[3], получила гипотеза о двух типах древнерусского литературного языка («книжно-славянского» и «народно-литературного»), от которой впоследствии Виктор Владимирович отказался, обратившись вновь к таким терминам и понятиям, как «церковнославянский литературный язык», «народнорусские и церковнославянские элементы», «русская письменно-деловая речь» и т. п. Иными словами, он вернулся вновь к концепции, изложенной в «Очерках» в 1934 и 1938 гг. и отчасти в более ранних работах.

В «Очерках» оригинально и разносторонне рассмотрены судьбы литературного языка в России в Петровскую эпоху и в течение всего XVIII в. Вместе с усилением влияния западноевропейских языков, с европеизацией общественной, бытовой и обиходной речи, связанной с модой на иностранные слова, с появлением новых терминологических пластов (административного, военно-морского, технического, научно-делового), пронизанных «европеизмами», происходило расширение состава и особенно функций делового стиля («деловых стилей»), вызванное общей перегруппировкой стилей и усилением в литературе и деловой переписке русской разговорной струи. Продолжающееся юго-западное влияние на древнеславянскую (церковнославянскую) книжность распространялось и на «светские» стили и сферы языка, внося еще бо́льшую пестроту в «систему» норм XVIII в. Для преднационального периода очень характерна конкуренция разных «проектных», временных норм, быстро меняющихся в своем отношении друг к другу, иногда даже в произведениях или в концепции одного и того же автора, конкуренция, ведущая одновременно к пестроте стилей и к формированию новых светских стилей русского литературного языка. Существенным изменениям в результате такого процесса подвергались позиции и структура «церковнокнижной» речи (проповеди, послания, церковно-учебная литература), при этом секуляризационной волне во второй четверти XVIII в. противопоставлялась тенденция к рес-

---

[1] См.: *Толстой Н. И.* Взгляды В. В. Виноградова на соотношение древнерусского и древнеславянского литературных языков.— Исследования по славянской филологии. М., 1974, с. 319—329.

[2] См.: *Виноградов В. В.* Основные проблемы изучения, образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958. См. также в кн.: *Виноградов В. В.* Избр. труды. История русского литературного языка. М., 1978

[3] См.: *Горшков А. И.* История русского литературного языка. М., 1969.

таврации церковно-книжной традиции (см. второй период деятельности Тредиаковского)[1].

Такова общая картина применительно к литературно-языковой ситуации первой половины XVIII в.

Путь развития русского литературного языка, путь становления его «национальной» формы можно назвать постепенным, эволюционным. Немалую роль в выборе такого пути сыграло ломоносовское стилистическое учение — теория трех стилей, хотя она во многом лишь кодифицировала язык и то ненадолго. Тем не менее проблема синтеза древнеславянской (церковнославянской) и русской языковой стихии стала центральной, главной проблемой для каждого, кто принимал участие в формировании русского национального литературного языка. Теория трех стилей как бы временно примиряла конкурирующие и противоборствующие стороны, отводя каждому языку, точнее «подъязыку», или «штилю», свою площадь, свою сферу применения («высокую», «среднюю» и «низкую»)[2]. Подобное трехстилевое упорядочение вело к соответствующему разграничению «штилей», к выработке фонетических, морфологических и иных грамматических и лексико-фразеологических различий. Особые риторические приемы вырабатывались для высокого слога. Все это, однако, противоречило речевой практике образованных слоев общества, хотя и приближало обиходную речь русского общества к уровню литературной.

Языковая ситуация второй половины XVIII в. серьезно осложнилась внедрением французского языка с его богатой стилистической культурой. Опыты ее синтеза с церковнославянской культурой были довольно настойчивыми, но проявлялась и противоположная тенденция — тенденция отрыва от «славянщины» и сближения русского общественно-бытового языка с французским. Так постепенно произошла модификация высокого и среднего стиля на основе русской бытовой речи и французской литературной стилистической системы. Введение в речевой обиход «высших слоев общества» третьего элемента — французского, равно как и перестройка жанровой системы русской литературы XVIII в., привело к распаду системы «трех стилей» и вытеснению ее из литературно-языковой практики. В этом процессе все бо́льшую роль играли «дворянский салон», бытовавший в нем «щегольской жаргон», сопровождавшийся распространением галлицизмов и общим приспособлением русской речи к категориям европейской культуры и цивилизации.

Таков, по В. В. Виноградову, в самых общих схематических чертах путь развития русского литературного языка в XVIII в. Дальнейшее развитие науки о русском литературном языке не опровергало эту виноградовскую схему, хотя и были иные, отличные построения, из которых особого внимания заслуживают концепции Г. О. Винокура и Б. В. Томашевского. Винокуровское исследование было дано сквозь призму литературного процесса, сложной, но достаточно четкой системы жанров XVIII в.[3], а у Б. В. Томашевского особое внимание уделялось литературно-стилистическим направлениям и течениям («архаисты» и «новаторы» — «шишковисты» и «карамзинисты» и т. п.)[4]. Разные подходы надо считать вполне оправданными и закономерными, так как история литературного языка — дисциплина, смыкающаяся и с историей культуры, и с историей литературы, и с историей развития общества. Этот последний — социологический план был ярко и полно представлен в виноградовских «Очерках». Книга проникнута ясным пониманием социальной структуры русского общества, которое на

---

[1] См.: *Успенский Б. А.* Тредиаковский и история русского литературного языка.— В кн.: Венок Тредиаковскому. Волгоград, 1976, с. 40—44.

[2] *Виноградов В. В.* Проблемы стилистики русского языка в трудах М. В. Ломоносова.— В кн.: *Виноградов В. В.* Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963, с. 211—234. См. также: *Вомперский В. П.* Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех стилей. М., 1970.

[3] См.: История русской литературы. М. — Л., 1941, т. 3. Введение, гл. 3, с. 51—72; М.—Л., 1947, т. 4. Введение, глава 5, с. 100—119 и в кн.: *Винокур Г. О.* Избр. работы по русскому языку. М., 1959, с. 111—161.

[4] *Томашевский Б. В.* Стилистика и стихосложение. Курс лекций. Л., 1959, с. 31—52.

протяжении всего XVIII в. и начала и середины XIX в. менялось и с изменением которого перестраивались вкусы, запросы и культурно-исторические задачи общества, развивающего русскую культуру, литературу и язык. В. В. Виноградов сознавал, что история литературного языка есть история не столько фонетических, морфологических, синтаксических и лексических форм, сколько его структуры, взаимного отношения составляющих его идиомов (книжного языка, его стилей, разговорного, делового языка, просторечия, «красноречия» и т. п.) и история социальных и культурных процессов общества, отраженных во всех разновидностях литературного языка. Виктор Владимирович четко определял коррелятивные отношения разных языковых идиомов в отдельные периоды истории русского литературного языка. Так, рисуя языковую ситуацию в аввакумовскую пору, он писал: «необходимо помнить, что «просторечие» противопоставляется «красноречию», а не вообще церковнославянскому языку», а описывая положение в Петровскую эпоху и обращаясь к распоряжению Петра Великого Синоду об издании катехизиса (19—IV—1724), он пояснял: «тут «славянский высокий диалект» и просторечие, простой слог русского и гражданского языка, противопоставляются не только как разные стили литературного языка, но и как социально дифференцированные и эстетически неравноценные типы словесного выражения». Число подобных примеров можно значительно умножить, но читатель сам их найдет в этой книге.

Существенна оценка В. В. Виноградовым деятельности Н. М. Карамзина, который, по его определению, «дал русскому литературному языку новое направление, по которому пошли такие замечательные русские писатели, как Батюшков, Жуковский, Вяземский, Баратынский. Даже язык Пушкина многим обязан был реформе Карамзина». Довольно решительный разрыв Н. М. Карамзина с архаической традицией церковнославянской письменности побудил его задолго до серба Вука Караджича выдвинуть лозунг «пиши, как говоришь» (точнее, «писать, как говорят и говорить, как пишут»), т. е. покончить с наследием теории трех стилей и с противопоставлением письменного и разговорного языка. Важно, однако, что в качестве разговорного Карамзин предлагал принять не язык «пастухов и землепашцев», как это делал Вук, а разговорный язык образованного общества. Этот факт и наложил особый типологический отпечаток на современный русский язык. К карамзинской реформе и языку Карамзина В. В. Виноградов вернулся к концу своей жизни в связи с проблемами стилистики.[1] В последние творческие годы В. В. Виноградов обращался и к художественной речи Пушкина, и к теме «Пушкин и Гоголь», и к исследованию творчества Достоевского и атрибуции его текстов, используя помимо лингвистических и лингвостилистических приемов анализа приемы чисто литературоведческие и текстологические.

В связи с этим нельзя не отметить очень серьезного вклада Виктора Владимировича в отечественную науку о литературе. Без литературоведческих интересов и занятий В. В. Виноградова его «Очерки», вероятно, или вообще не появились бы на свет, или приняли бы иную направленность. Особое, можно сказать исключительное, значение в творчестве Виктора Владимировича имели работы начала 20-х годов, недавно собранные и переизданные в одном томе[2]. В этих работах, рассматривающих поэтику классической русской литературы (Гоголь, Достоевский, Ахматова), Виктор Владимирович выдвинул и применил метод «историко-филологического анализа литературных форм» (термин В. В. Виноградова). Обращаясь к одному хронологическому срезу, к эпохе раннего реализма, Виктор Владимирович проанализировал литературную ситуацию 1830—1840-х годов: борьбу школ, литературных течений, конкуренцию и взаимозависимость жанров и связанных с ними стилей. В связи с этим, как справедливо

---

[1] См.: *Виноградов В. В.* О стиле Карамзина и его развитии (исправления текста повестей — В кн.: Процессы формирования лексики русского литературного языка (от Кантемира до Карамзина). М.—Л., 1966, с. 237—238. *Его же.* Проблемы стилистики перевода в поэтике Карамзина. Русско-европейские литературные связи. М.—Л., 1966, с. 404—414.

[2] См.: *Виноградов В. В.* Избр. труды. Поэтика русской литературы. М., 1976.

заметил А. П. Чудаков, «перед Виноградовым неизбежно возник вопрос о выходе за пределы имманентного литературного ряда»[1]. Такой выход, по наблюдениям того же исследователя, современник и коллега В. В. Виноградова Б. М. Эйхенбаум находил в соотнесении литературной эволюции с культурой и историей, воплощенной в фактах «литературного быта» (эту теорию сейчас на новых началах развивает Ю. М. Лотман), Ю. Н. Тынянов видел внелитературный ряд во взаимосвязи между литературой и другими социальными областями; для Виноградова же, обращавшегося часто к тематике и программам литературных школ, все же наиболее релевантным внелитературным рядом был языковый ряд. Передадим эту мысль в формулировке автора комментария: «Главным внелитературным рядом, анализ связи которого с художественной словесностью Виноградов считал первоочередной задачей, был «соседний» речевой ряд — общенациональный и литературный язык. Не установив соотношения с этой ближайшей и теснее всего связанной с литературой областью, он считал невозможным обращаться к следующим, дальним рядам (ср. его квалификацию изучения «литературного быта» как полетов «на мыслительных аэропланах в далекие от начатой деятельности сферы»). Они же просматриваются через «общий язык», ибо его жанры и стили сложно соотнесены со всей духовной культурой общества»[2].

Так еще в 20-е годы нашего века в кругу молодых и талантливых литературоведов (Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский, В. М. Жирмунский, Б. В. Томашевский и др.), занимавшихся изучением литературной формы и форм литературного творчества и литературного процесса, обсуждались, говоря современным языком, проблемы иерархии семиотических систем, соотношения моделирующих систем в широком литературно-лингво-социологическом плане с учетом идеологии, быта и культурно-языкового узуса эпохи. Это была пора, когда в нашей науке совершился не отход от филологии, как это казалось некоторым односторонним критикам, а постановка новых более глубинных и вместе с тем более глобальных задач перед всей нашей наукой о русском языке, литературе, фольклоре и культуре. В разработке этих общих проблем в ту пору Виктор Владимирович обратился к очень важному звену цепи — к истории литературного языка.

После выхода второго издания «Очерков» продолжались интенсивные занятия В. В. Виноградова историей русского литературного языка. Ставилась серьезная задача исследования древнерусской письменно-языковой истории до XVII в. (доклад на славистическом съезде 1958 г.), вновь обсуждались вопросы литературно-языкового процесса XVII — XIX вв. (1946 г.), намечались контуры подробной истории литературного языка XVIII в. и более раннего периода в связи с новыми работами в нашей стране и за рубежом (1969 г.), разрабатывалась развернутая программа дальнейших исследований[3]. Так почти полвека В. В. Виноградов изучал русскую письменную, литературную и художественную речь во всех ее аспектах — общенациональном и общенародном, локальном, социальном и художественно-индивидуальном, не упуская из вида ни одного уровня языка — лексического или синтаксического, морфологического или фонетического, ни одной его характерной особенности.

Вдумчивый читатель всегда может обнаружить связь между трудами ученого по грамматике, поэтике и текстологии и трудами по истории литературного языка, языка писателя и истории литературы, сравнить ранние труды В. В. Виноградова с его поздними исследованиями и тем самым понять и ощутить эволюцию взглядов В. В. Виноградова, ибо в них отразилась эпоха.

Н. И. Толстой

---

[1] *Чудаков А. П.* Ранние работы В. В. Виноградова по поэтике русской литературы. — В кн.: *Виноградов В. В.* Избр. труды. Поэтика русской литературы. М., 1976.

[2] *Чудаков А. П.* Ранние работы В. В. Виноградова по поэтике русской литературы.— В кн.: *Виноградов В. В.* Избр. труды. Поэтика русской литературы. М., 1976, с. 477.

[3] См.: *Виноградов В. В.* Избр. труды. История русского литературного языка. М., 1978.

I. Старина и новизна в русском литературном языке XVII в. Распад системы церковнославянского языка. Европеизация и национальная демократизация русского литературного языка

§ 1. КРИЗИС СИСТЕМЫ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА В XVII в.

Русским литературным языком средневековья был язык церковнославянский. Во второй половине XVII в. резко проявился внутренний распад системы церковнославянского языка, обозначившийся еще в XVI в. Изменения в структуре церковнокнижной речи были связаны с ростом литературного значения «светских» — деловых, публицистических, повествовательных — стилей русского письменного языка и с расширением литературных прав бытовой речи. Интересна, например, выразившаяся в исправлении книг при участии Максима Грека (XVI в.)*[1] тенденция к сближению и «согласованию» церковнославянского языка с русской разговорно-бытовой речью. Эта тенденция очень рельефно выступает в таких примерах правки текста псалтыри: вместо *вскую шаташася языци* — *чесо ради возъяришася языци* (2,1); вместо *зане гоних благостыню* — *держахся благостыни* (37,21); вместо *цену мою совещаша отринути* — *честь мою совещаша отринути* (61,5); вместо *внегда разнствит небесный цари на ней* — *егда разделит небесный царей на ней* (67,15) и мн. др. под.; ср. также замену аориста и имперфекта, особенно 2-го лица ед. ч., формами прошедшего сложного, например: *аще видел еси татя, текл еси с ним* вместо *видяше, течаше* и т. п.[1].

Но от этих сдвигов средневековый дуализм в сфере письменно-словесного выражения не сглаживается: литературные функции продолжает по преимуществу отправлять церковнославянский язык (т. е. в основе язык византийско-болгарский, но уже имевший свою сложную историю на русской почве), а стили русского делового, публицистического и повествовательного языка, несколько приспособляясь к церковнославянской системе, размещаются по периферии «книжности», «письменности», а чаще остаются в сфере официального делопроизводства и бытового общения.

---

[1] *Иконников В. С.* Максим Грек и его время. Киев, 1915, с. 68. Митрополит Филарет. Максим Грек.— Москвитянин, 1842, № 11, с. 172. Описание рукописей Синодальной библиотеки, отд. 2, ч. 1, № 76.

Генрих Вильгельм Лудольф *2, автор русской грамматики, изданной в Оксфорде в 1696 г.[1], в таких красках изображает общественно-идеологическое соотношение двух языков: «Для русских знание славянского языка необходимо, так как не только священное писание и богослужебные книги у них существуют на славянском языке, но, не пользуясь им, нельзя ни писать, ни рассуждать по вопросам науки и образования. Поэтому, чем ученее кто-нибудь желает прослыть перед другими, тем более наполняет свою речь и писание славянизмами, хотя иные и посмеиваются над теми, кто чересчур злоупотребляет славянским языком в обыкновенном разговоре». Лудольфу представляется, что единственной книгой, написанной на русском языке, является «Уложение царя Алексея Михайловича *3. Поэтому Лудольф такой бытовой поговоркой характеризует сферу применения церковнославянского и национально-гражданского языков: «Разговаривать надо по-русски, а писать по-славянски». Ведь «подобно тому, как никто из русских не может по научным вопросам ни писать, ни рассуждать без помощи славянского языка, так, наоборот, в домашних и интимных беседах нельзя никому обойтись средствами одного славянского языка. потому что названия большей части общеупотребительных вещей не встречаются в книгах, из которых можно черпать знание славянского языка». Лудольфу как европейцу такое положение вещей кажется ненормальным. Он выражает надежду, что русские оценят значение национального языка и «по примеру других народов будут стараться разрабатывать свой собственный язык и издавать на нем хорошие книги». Этот призыв к национализации литературной речи звучит особенно внушительно в связи с указаниями на непонятность церковнославянского языка для широких масс. Между тем рост политического значения новых общественных классов (возвышение класса помещиков и развитие торговой буржуазии) не мог не отразиться на соотношении стилей церковно-литературного, общественно-обиходного и официально-канцелярского языков, не мог не усилить притязаний народного языка на более значительную роль в системе литературного выражения. Этому процессу, естественно, сопутствовал как антитезис процесс усиления «славянщизны» в речи высших слоев книжников, духовенства и боярства.

Московские книжники старались «искусственно возвратиться к той чистой славянской речи, от которой удалял их вседневный обычай; вследствие того так называемая славянщизна, несмотря на всю недостаточность в образовательном отношении, сознаваемую отчасти даже в то время, снова укрепилась в письменной и печатной словесности русской»[2].

---

[1] См.: *Ludolfi Henrici Wilhelmi.* Grammatica Russica. Oxonii. OD MDCXCVI. Биографические сведения о Лудольфе и характеристику его грамматики см. во вступительной статье Б. А. Ларина «О Генрихе Лудольфе и его книге» к изданию «Русской грамматики» Г. В. Лудольфа (Л., 1937). Там же указана библиография (с. 40).

[2] *Майков Л. Н.* Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий. СПб., 1889, с. 12.

Но в ту же эпоху развивался параллельно с процессом национализации и демократизации литературного языка другой процесс — процесс «европеизации». Соотношение этих двух сил в разных общественных группах было неодинаково, сложно и противоречиво.

В русском литературном языке сталкивались и смешивались разнородные стилистические течения. Внутри самой системы церковнославянского языка происходило пестрое и противоречивое стилистическое расслоение. «Европеизмы» проникали в самый церковнолитературный язык и углубляли в нем идеологические и структурно-стилистические противоречия.

Дело в том, что к XVII в. продолжали существовать два основных центра церковнославянской традиции — Москва и Киев, каждый из которых имел свой район влияния. При этом традиция московская несколько отличалась от киевской. В XVII в. киевская традиция церковнославянского языка возобладала над московской. Киев был не только центром охранения церковнославянской традиции, но и тем местом, где церковнолитературный язык восточнославянской редакции впервые стал подвергаться систематической нормализации (ср. составление украинским ученым Мелетием Смотрицким *4 «Славенской грамматики», напечатанной в 1619 г.) Именно в Киеве раньше всего и наиболее ярко проявилось расширение сферы применения церковнославянского языка и распространение его на светскую литературу. Первые попытки писать рифмованные стихи (вирши) на церковнославянском языке были сделаны украинскими учеными *5. Украинские ученые риторы и проповедники оказали большое влияние на риторику XVIII в. с ее славянизмами. Наконец, к украинским школьным интермедиям на церковнославянском языке восходят русская драма и комедия *6. При этом необходимо учесть, что, приспосабливаясь к новым условиям своего применения, киевская традиция церковнославянского языка сама несколько изменилась, впитав в себя некоторые черты московской традиции. Таким образом, в XVII в. преимущественно через Киев шло на Москву западноевропейское схоластическое образование, которое на Украине восторжествовало над восточно-византийским просвещением. В атмосфере московской литературно-языковой жизни борьба между Западом и Востоком должна была прежде всего проявиться в столкновении «еллино-славянских» (т. е. опиравшихся на византийскую христианскую культуру) стилей церковнолитературного языка со стилями церковнокнижной речи, шедшими из Украины и ориентировавшимися на латинский язык — научный и религиозно-культовый язык западноевропейского средневековья. Другие западноевропейские течения, шедшие из Польши, усложнили процесс взаимодействия между церковнолитературным и светско-деловым языком. Обозначился кризис в системе русского литературного языка.

Таково в общих чертах картина стилистического[1] брожения в

---

[1] Слово *стиль* употребляется в дальнейшем изложении в двух значениях. 1) стиль как система присущих общественной группе или отдельной литературной личности норм словесного выражения и норм «лингвистического вкуса» (т. е.

русском литературном языке XVII в. Она должна быть шире раскрыта и разъяснена интерпретацией ее отдельных частей.

§ 2. ВИЗАНТИЙСКИЕ («ЕЛЛИНО-СЛАВЯНСКИЕ») СТИЛИ ЦЕРКОВНОЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

В противовес надвигающейся на русский литературный язык волне европеизации усиливается архаическое течение в сфере церковно-литературной речи. Высшее духовенство и боярство культивируют высокие риторические стили церковнославянского языка, продолжающие традицию византийского «витийства». Связь московского церковнославянского языка с греческим языком по «внутренним формам» живо ощущалась образованными книжниками-консерваторами из монашества, духовенства и знати в XVII в. М. Сменцовский в «Приложениях» к своему исследованию «Братья Лихуды»[1] напечатал замечательное «рассуждение»: «Учитися ли нам полезнее грамматики, риторики, философии и феологии и стихотворному художеству и оттуду познавати божественная писания, или не учася сим хитростем, в простоте богу угождати и от чтения разум святых писаний познавати; и которого языка учению учитися нам: славяном, потребнее и полезнше латинского или греческого?» Горячо защищая учение как «свет путеводящий к богознанию» («учение — свет, неучение же — тьма»), автор трактата (по предположению Сменцовского, инок Евфимий) настаивает на необходимости знания греческого и славянского языков. Кроме религиозно-исторических соображений, связь этих языков обосновывается сопоставлением их структуры. Отмечается в них общность графических и грамматических форм: «По самым стихием, или письменем, и по осми частем грамматики и сочинению тех (т. е. по синтаксису) свойствен (т. е. родствен) греческий язык славенскому» (VIII). Путем анализа алфавита и особенно грамматических категорий автор доказывает, что латинский строй от греческого и славянского, как «козлище инородное», разнится, «греческая же письмена и славенская, яко овча с материю, обоя между собою подобствуют и согласуются» (IX). В латинском языке среди «частей речи» лишнее — междометие (interjectio): «И сие латинское interjectio греческу и славенску языку не нуждно, понеже в сих двох языцех наречие наполняет (т. е. включает в себя) тое» (X). Правда, греческий член («арфр»), отсутствующий в латинском языке, не имеет соответствия и в «славенском», но автор тонким подбором примеров поясняет пользу члена и для «славен», которым он облегчает распознавание общих значений имен от их символического применения к божеству в греческом тексте «священного писания» (theos и ho theos, prophetes

---

оценок целесообразности выражения) и 2) стиль как функциональная разновидность той или иной языковой системы в пределах речи одного класса, одной группы (например канцелярский, газетно-публицистический стиль).

[1] См.: *Сменцовский М. Н.* Братья Лихуды. СПб., 1899, с. VI—XXVI.

и ho prophētēs)[1] и т. п. Точно так же наличие причастия от глагола существования (*быть*) в греческом и славянском языках (*сый*, ho on) рассматривается в религиозном аспекте как очевидный симптом превосходства этих языков над латинским: «Латины же место сый, причастия единыя части (т. е. вместо одиой категории причастия), глаголют две части — местоимение и глагол (qui sum, es, est): *иже есмь, иже есть, иже бысть*. Подобне и поляки от латинского языка и учения глаголют (вместо сый): *который есмь, который есть и был*, иже не знаменует вечности, но наченшееся что и кончущееся: сый же и *бѣ* являют божественное существо безначальное и бесконечное» (XIII). Таким образом, преимущество причастия *сый* перед описательными оборотами *иже есть, который есть* усматривается в том, что причастие обозначает вечное пребывание, а те указывают на нечто, имеющее конец и начало.

Раскрывая согласие в основных формах грамматической мысли между греческим и славянским языками, автор предостерегает от латино-польского влияния, горестно констатируя его наличие в русской литературной речи конца XVII в.: «Начинаются латинские и полские пословицы славенского языка в писаниих появлятися; древне же отнюдь таковых глаголаний славяне удаляхуся, зане речением обыкоша и нравы последовати (т. е. влияние на язык сопровождается влиянием на нравы). Таково бо латинское учение прелестно, яко нож медом намазанный: изначала лижущим сладок и безбеден (т. е. безопасен) мнится и елико болши облизуется, толико ближше гортаню ближится и удобно лижущего заколет и смерти предаст» (XIV).

«Несвойство» славянам и «далечность» латинского языка доказываются следующими соображениями.

Во-первых, в латинском языке отсутствуют соответствия основным религиозным понятиям православия, а это явный знак «скудости» его и «убожества». Ср., например, невозможность на латинском языке выразить адекватным понятием слово *ипостась*, отличить *ипостась* от существа, от *лица*: «...*лице* же гречески не ипостась, но prosopon», а латинцы, не имея соответствующего слова, «вместо (ипостасей) *лица* вводят» (XIV).

Во-вторых, латинскому языку свойственна искаженная («растленная») передача греческих слов, к которым он принужден прибегать из-за своей бедности. Например: *бискуп* вместо епископ, *кроника* вместо хроника, *поэтика* вместо пиитика, *пурпура* вместо порфира и т. д. Как одна из причин искажений выставляется отсутствие в латинском языке «стихии» *и*, равной греческому ē (η): *клер, клерик* вместо клир, клирик; *метрополит* вместо митрополит; *псалтерь, Грегор, Михаель; академия* вместо академиа; *планета* и пр.; «...паче же самого сына божия спасительное имя *Иисус* глаголют *Иезус*... песнь божественную, ангелы поемую, *аллилуиа* глаголют латинницы *алелюя*»;

---

[1] Указывается на невозможность без присоединения члена определить значение слова *дух* в следующих выражениях: *Ведяше христа дух в пустыню: не в меру дает бог духа; рожденное от духа дух есть; глаголы, яже аз глаголах, дух суть и жизнь суть...*

между тем «славенский же язык и учение купно со греческим имут оную стихию (т. е. букву и звук *и*), и добре оба тии языцы вся имена зовут» (XV).

В-третьих, наконец, латинский язык неспособен к точной и прямой передаче греческих и славянских слов и понятий. Например, для передачи слова *архимандрит* латинский язык принужден прибегать к «окружным речениям», перифразам: «qui pluribus monachis praeest» — *иже многим монахам предстательствует»* (XV), т. е. кто начальствует над многими монахами. Поэтому латинский язык совершенно непригоден к переводам с греческого и славянского языков. Вывод ясен: «Язык латинский без греческого ничто же могущ высоких разумений (т. е. бессилен в сфере высокого отвлеченного мышления), паче же о богословии писати и глаголати, и велми сам собою непотребен нам, славяном, и ничто же воспользует нас, но паче пошлит и далече от истины в богословии отведет и к западных зломудрию тайно и внезапно привлечет» (XXI).

Эти замечания для историка русского литературного языка любопытны как документ, отражающий, хоть и искривленно, с полемической однобокостью, языковое мировоззрение русского книжника-«восточника» XVII в., и вместе с тем как ключ к скрытой религиозной символике грамматических категорий, которыми скреплялась смысловая система церковно-письменного московского языка. Характерна тенденция представить греческую стихию в церковнославянском языке как органический элемент русской культуры и русского литературного языка «И свой народ, начен от благородных до простых и самых, глаголю, поселян, услышавше учение греческое, возрадуются и похвалят... Аще же услышится в народе, паче же в простаках, латинское учение, не вем, коего блага надеятися, точию, избави боже, всякия противности» (XXVI).

Еще более отчетливо в этом рассуждении описаны общие для греческого и церковнославянского языков формы лексики и семантики. Автор прежде всего дает понять читателю богатство и разнообразие греческих слов, усвоенных славянами и ставших для них привычными. Тут и церковно-богослужебная терминология (евангелие, апокалипсис, апостол, октоих, тропарь, кафисма и т. п.), и названия чинов церковной иерархии (патриарх, митрополит, архиепископ, игумен, иерей, диакон и т. п.), и христианские святцы (Алексий, Афанасий, Василий и т. п.), и все слова, относящиеся к предметам, к «обстановке», к одежде культа (стихарь, епитрахиль, просфора, икона и т. п.), и вся научная терминология (хронограф, грамматика, диалектика, феология, арифметика, лексикон, орфография, этимология, синтаксис, просодия и т. п.). Кроме лексических совпадений близость этих языков подтверждается ссылкой на морфологические снимки, «кальки», греческих слов в церковнославянском языке и указанием на одинаковость морфологического состава многих греческих и славянских лексем: евангелие — *благовестие*; апокалипсис — *откровение*; патриарх — *отценачальник;* омофорий — *раменоносивое;* Стефан — *венец*; порфира — *червленица;* Феодор — *богодар*. Отсюда вытекает вывод о необыкновенной приспособленности славянского языка к переводам с

греческого: «Аще случится и преложити что на славенский с греческа, удобно и благостройно и чинно прелагается, и орфография цела хранится» (XV). А «учение греческое наипаче в богословии — истина и свет» (XXII). Поэтому автор верит в торжество «согласия» и «купночинности», когда «изучится народ российской художеству грамматики, риторики, и прочих по-гречески и славенски и егда (появятся) лексиконы греко-славянские (которые «уже и начашася») и оттуду известно познается российскому народу греческий диалект» (XXIV).

Таким образом, основа сопоставлений — сознание живой конструктивной связи между системами двух языков в процессе перевода и религиозно-философской интерпретации основных богословских понятий. В этом смысле и Лихуды[1]* писали в «Акосе», что незнающий греческого языка «ниже славянский диалект весть, ниже познати может искренне намерение и разум (т. е. смысл) божественных писаний и отцов, на славянский диалект претолкованных». Ведь человек, не искушенный в тонкостях риторики и грамматики «еллинского диалекта», «вне намерения ходит и, увы, яко кораблец какий малый или великий на белицем мори есть, не имеяй знамя ветроуказательное (т. е. компаса); помышляя бо прямо к востоку плыти, оле на западе обретается»[1].

Для «еллино-славянских» стилей имел основное организующее значение прием морфологического, синтаксического, семантического и фразеологического отражения греческого языка. Очень типичны в этом смысле рассуждения Епифания Славинецкого*[2], почему он в символе веры перевел, между прочим, *из десных* отца вместо *одесную* отца и *укрестованного* вместо *распятого*: «*Ек* (*из*) греческое не знаменует *о*, сочиняющееся винительному падежу (т. е. греческий предлог *ек* не соответствует славянскому предлогу о с вин. пад.), убо в славенском писатися не лепо есть *одесную*». Также греческому род пад. мн. ч. deksiōn соответствует по-славянски — *десных*: «Тем же аще бы предлог сей о приложился греческому deksiōn, сице приложилося (т. е. получилось бы в результате присоединения): не *одесную*, но *одесная*. Судящии да судят, что есть лучшее, еда *одесная* или *из десных*, яко же есть в греческом... *Укрестованного*. Аще *пяло* — *распяло* тожде есть еже *крест*, убо тожде *распятого* и *укрестованного*. Аще же *пяло* не есть тожде еже и *крест*, убо ниже тожде есть и *распятого* и *укрестованного*. Тем же аще *пяло* или *распяло* разнствует от *креста*, убо и *распятый* от *укрестованного* разнствует. Судящии да рассудят праведно — или тожде или не тожде быти *распятого* и *укрестованного*, и аще не тожде, да отложат убо *распято-*

---

[1] Акос, л. 59, об., 60. — В кн.: *Смеңцовский М. Н.* Братья Лихуды. с. 275; ср. также трактат, вышедший из партии «восточников»: «Довод вкратце, яко учение и язык еллиногреческий наипаче нужно потребный, нежели латинский язык и учения, и чем пользует славенскому народу»; см.: *Каптерев Н. Ф.* О греко-латинских школах в Москве в XVII в. до открытия Славяно-греко-латинской академии. — В кн.: Творения св. отцов в русском переводе. М., 1889, т. 56. Прибавления, ч. 44, с. 635.

го, примут же *укрестованного*, согласующееся греческому сущему»[1] (т. е. форма *укрестованного* вполне соответствует греческому тексту).

«Еллино-славянские» стили русского литературного языка XVII в., по определению переводчика Феодора Поликарпова *[3], отличались «необыкновенною славянщизною»[2]. В них культивируются «высота словес» и «извитие словес»[3], т. е. преобладают торжественные, нередко искусственно составленные слова (ср. например, пристрастие «еллинистов» к сложным словам типа: *разнопестровидный*, *разумоподательный*, *верокрепительный* и т. п. — у Ф. Поликарпова: *рукохудожествовать*, *адоплетенный*, *тельцолияние* и др. — у Епифания Славинецкого; *гордовысоковыйствовати*, *всевидомиротворокружная* и т. п. — у Кариона Истомина)[4], риторически изощренные, цветистые фразеологические обороты (ср. у Кариона Истомина: *сумма воздержания*, *богокованный целомудрого воздержания гвоздь* и др.)*[4] и запутанные синтаксические конструкции. Грамматические формы образуются и употребляются в точном соответствии с нормами, определенными «славенской грамматикой» Мелетия Смотрицкого. Соблюдается тот «грамматический чин», который сложился в результате искусственной регламентации церковнославянского языка по позднейшим памятникам русской и украинской редакции, например: 1) более или менее последовательное различение по форме вин. пад. имен существительных одушевленных и неодушевленных в ед. ч. — у слов муж. р., во мн. ч. — у слов муж. и жен. р. 2) образование по образцу греческого языка форм «причастодетия» вроде *читательно* (ср. в «Славенской грамматике» Мелетия Смотрицкого, М., 1648, с. 313); 3) широкое распространение формы деепричастия, которое понимается как несклоняемая форма нечленного причастия, «знаменованием от причастий потолику различествующая, поколику прилагательное усеченное от целого различествовати обыче», например: *читая*, *читав*, *прочтущ*, *чтом*, *чтен*, *читаем* и пр.; 4) употребление приспособленных к греческому языку форм шести времен, из которых на долю прошедшего времени приходится четыре формы: преходящее — *бих*, *биен есмь*, прешедшее — *биях*, *биян есмь* или *бых*, мимошедшее — *бияx*, *биян бывах*, непредельное — *побих*, *побиен бых*, и к которым присоединяются такие разновидности русского прошедшего сложного: *чел есмь*, *читал есмь*, *читаал есмь*, *прочел есмь*; 5) употребление шести наклонений: изъявительного, повелительного (*бий*, *чти*, *стой*), молительного (*услыши*, *вонмѝ*, *прѝзри*), сослагательного (*дал бы*,

---

[1] Цит. по: *Засадкевич Н.* Мелетий Смотрицкий как филолог. Одесса, 1883, с. 164. *Образцов И. Я.* Киевские ученые в Великороссии.— Эпоха, 1865, № 1, с. 6—7.

[2] *Браиловский С. Н.* Ф. П. Поликарпов-Орлов, директор Московской типографии.— ЖМНП, 1894, № 9, с. 31.

[3] Ср. наблюдения над разновидностями высокого слога в исторической беллетристике XVI—XVII вв.: *Орлов А. С.* О некоторых особенностях стиля великорусской исторической беллетристики XVI—XVII вв.— ИОРЯС. СПб., 1908, т. 13, кн. 4.

[4] См.: *Браиловский С. Н.* Один из «пестрых» XVII столетия. СПб., 1902, с. 331.

аще бы хотел), подчинительного *(да бию)*, неопределенного *(бити, стояти)* (185) и т. п.[1]

«В языке славянском, с которым мы имеем дело в грамматике Мелетия Смотрицкого, — пишет П. И. Житецкий, — нужно различать элементы действительно славянские от элементов мнимо славянских, к которым относятся, во-первых, формы фиктивные, придуманные Смотрицким по аналогии с латинскими, греческими или же подлинными славянскими формами; во-вторых, формы русские, усвоенные славянскому языку без всякого основания»[2]. В синтаксисе также «господствуют грецизмы, внесенные в исправленный текст библии». Таковы, например (по словам Ф. И. Буслаева), кроме возобладавшей в среднем роде прилагательных формы им., вин. пад. мн. ч. вместо ед. ч. (ср. в пословице XVII в.: *крадый чужая не обогатеет*), одно отрицание вместо двойного при отрицательных местоимениях, наречиях и частицах, вроде: *и без него ничтоже бысть* (ср. даже у Кантемира в начале XVIII в. следы этой особенности: *хотя внутрь никто видел живо тело*, — сатира I, стих 69 — вместо *никто не видел*); член с предлогом перед неопределенным наклонением, например *слетайтеся ко еже созерцати красоту* (Ф. Поликарпов)[3]; господство им. и вин. приглагольных падежей вместо широко развившегося под польским влиянием твор. пад. (ср., например, употребление твор. пад. в языке Симеона Полоцкого)[4]. Правда, «Славенская грамматика» Мелетия Смотрицкого была нормой построения речи и у украинских книжников, но там она, по словам акад. Л. Н. Майкова, «не успела приобрести себе такого регулирующего авторитета»[5] вследствие огромного влияния «шляхетских» и буржуазных вкусов на систему украинского литературно-славянского языка. А в Москве предписания этой грамматики, изданной в 1648 г. с дополнениями и изменениями, стали у консервативных групп «восточников» (т. е. сторонников византийских традиций) непререкаемой нормой литературности. Недаром в предисловии к московскому изданию «Славенской грамматики» Мелетия Смотрицкого приводились такие предупреждения Силуана, ученика Максима Грека: «Вем многих от тщеславия в таково безумие пришед-

---

[1] См.: *Засадкевич Н.* Мелетий Смотрицкий как филолог, с. 90—96; *Житецкий П. И.* Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII в. Киев. 1889, с. 19—21; *Булич С. К.* Церковнославянские элементы в русском литературном и народном языке. СПб., 1889; ср. критику грецизмов в церковнославянском языке вообще и в «Славенской грамматике» Мелетия Смотрицкого, в частности, в предисловии к грамматике Ю. Крижанича; ср.: *Маркевич А. И.* Юрий Крижанич и его литературная деятельность. Варшава, 1876, гл. 4.

[2] *Житецкий П. И.* Очерк литературной истории малорусского наречия, с. 23.

[3] См.: *Буслаев Ф. И.* Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. М., 1861, с. 1310; *Буслаев Ф. И.* Историческая грамматика русского языка. М., 1868, с. 210, 327; ср.: *Мелетий Смотрицкий.* Славенская грамматика. М., 1648, с. 309—310.

[4] См.: *Пагокова О.* К истории развития творительного предикативного в русском литературном языке. — Slavia, 1929, т. 8, с. 1—37, ср.: *Булаховский Л. А.* Исторический комментарий к литературному русскому языку. Харьков, 1937, с. 195—198*5.

[5] *Майков Л. Н.* Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий, с. 12.

ших, яко не ведети ничесого грамматичного устроения: ниже родов, ниже времен, ниже окончаний и прочих таковых, яже изложиша премудрейшие учители»[1].

Под влиянием стремлений к реставрации «старины» восстанавливается, например, употребление прошедших времени в соответствии с грамматическими правилами Мелетия Смотрицкого.

«Славенская грамматика» Мелетия Смотрицкого уже содержит в себе указания на «падение специальных аористического и имперфектного оттенков» (С. К. Булич). Видовые различия здесь играют существенную роль в классификации и разграничении глагольных образований, особенно форм прошедшего времени, хотя морфологическая структура прошедших времен, способы их образования приспособлены к архаическим парадигмам аориста и имперфекта. «Преходящее есть, им же несовершенно прошлое действо или страдание знаменуем: яко *бих*, *бихся*, или *биен есмь*, и *бых*. Прешедшее есть, им же совершенно прошлое действо или страдание знаменуем: яко *бияхся*, или *биян есмь*, и *бых*. Мимошедшее есть, им же древне совершенно прешедшее действо или страдание знаменуем: яко *бияах*, *бияахся*, или *бияан бывах*. Непредельное есть, им же в мале совершенно прошлое действо или страдание знаменуем: яко *побихся*, или *побиен бых*» («Славенская грамматика» Мелетия Смотрицкого. М., 1648, с. 185).

Таким образом, «непредельное» время представляет собой большей частью формы аориста от основы совершенного вида с приставкой (*прочтох*, *побих*); «преходящее» по форме соответствует бесприставочному аористу (*творих*, *бих*); «прешедшее учащательного вида» похоже на форму имперфекта, но явно отличается от имперфекта видовыми оттенками значения (*творях*, *бияхся*, *читах* и т. п.): «мимошедшее» напоминает нестяженные образования имперфекта (*творяах*, *читаах*, *биях* и т. п.)[2]. Любопытно, что под влиянием греческого языка система каждого наклонения, причастий и деепричастий проводится через всю серию времен, через настоящее, будущее и через все формы прошедшего времени. Все эти формы искусственно культивируются в высоких стилях церковнославянского языка второй половины XVII в. Например: «где же онех великих труды и всенощная пения *бяху*, тамо *благоволи* тебе бог стати» (в челобитной неизвестного к патриарху Иосифу в половине XVII в.)[3]; «идеже тех великих отец *бяху* нозе недвижным стоянием претруждены... тамо *бяше* и святого их в житии покоя дом» (там же). Ср. тут же употребление «непредельного» времени (т. е. аориста от основы совершенного вида с приставкой): «сладце и радостно *претерпеша*» (там же);

---

[1] Ср. также требование, предъявленное старцем Арсением Глухим к справщикам (20-е годы XVII в.): «Осмь частей слова разумети и к сим пристоящая, сиречь роды, и числа, и времена, и лица, звания же и залоги»; см.: *Прозоровский А. А.* Сильвестр Медведев. М., 1896, с. 69.

[2] Ср. подробнее: *Булич С. К.* Церковнославянские элементы в русском литературном и народном языке, с. 369—373.

[3] Цит. по: *Каптерев Н. Ф.* Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. Сергиев Посад, 1913, с. 174.

в рассуждении о греческом и славянском языках конца XVII в.: «древне же отнюдь таковых глаголаний славяне *удаляхуся*, зане речением *обыкоша* и нравы последовати»[1] и др. под., ср в «Четьих-Минеях» Димитрия Ростовского: «*отдаяхом* дети наша змию» и др.[*6]

В трактате «О исправлении в прежде печатных книгах минеях»[2] не только применяются формы времен соответственно «Славенской грамматике» Мелетия Смотрицкого, но и комментируются в согласии с ее правилами. Например: «каково опаство *имяху* святии преписывати, наипаче же преводити с языка на ин язык»; «главизна веры нашея *сложися* еллинским диалектом»; «прежде *пояху*»; «и *бысть* — времене прешедшего»[3] и др. под. Характерна также обычная замена форм 2-го лица ед. ч. аориста и имперфекта формами прошедшего сложного, так как соответствующие формы аориста и имперфекта прикрепляются теперь исключительно к 3-му лицу: «*обрезася* и *обрезовавше* и *показася* — 3-го лица (с. 116)[4].

Еще более показателен как иллюстрация языкового разброда во второй половине XVII в. протест против таких замен со стороны раскольничьих справщиков, обращенный к «московским грамматикам»: «Нрав по грехом таков у нынешних московских грамматиков, что новое ни объявится, за тем и пошли, а старое свое доброе покинув...» — говорит в своей челобитной справщик Савватий[*8]. «Нас уничижают, а и сами справщики грамматики не умеют, и обычай имеют тою своею мелкою грамматикою бога определять мимошедшими времяны... В воскресном тропаре на пасху прежде сего печатали: и на престоле *беаше* христе со отцом и духом, се ныне в новой триоде напечатали мимошедшим временем. и на престоле *был еси* христе со отцем и духом. Яко же иногда был, иногда есть. А сего не разумеют, яко лепо богу всегда быти»[5]. В этом заявлении сказывается совершенно иное, несогласное с «Славенской грамматикой» Мелетия Смотрицкого понимание значений форм времени. Между тем для кругов московских книжников следование нормам «Славенской грамматики» Мелетия Смотрицкого в высоком церковном слоге становилось признаком «литературности» языка. И в этой стилистической оценке довольно близко сходились «восточники», т. е. сторонники «еллинославянских» стилей, с московскими «западниками» из высших слоев

---

[1] *Сменцовский М. Н.* Братья Лихуды. Приложения, с. XIV.

[2] См.: *Никольский К. Н.* Материалы для истории исправления богослужебных книг. Об исправлении устава церковного в 1682 году и месячных миней в 1689—1691 году.— В кн.: ЦДПИ. СПб., 1896, вып. 115.

[3] Ср. у Мелетия Смотрицкого спряжение форм «прешедшего» времени от быти: *бых, был, бысть, бяше, быхом, бысте, быша — бяху*; «преходящего»: *бѣх, был, бѣ, бѣхом, бѣсть, бѣху* — бѣша.

[4] Ср. замечание: «обретошася второго лица глаголы премножайши третиим лицем писаны» (с. 79). Ср. замену форм 2-го лица формами прошедшего сложного и в «Славенской грамматике» Лаврентия Зизания[*7] и в «Славенской грамматике» Мелетия Смотрицкого. См.: *Булич С. К.* Церковнославянские элементы в русском литературном и народном языке, с. 365, 369.

[5] Три челобитные раскольников. СПб., 1862, с. 23; ср.: *Житецкий П. И.* К истории литературной русской речи в XVIII в.— ИОРЯС. СПб., 1903, т. 8, кн. 2. Отнесение формы *был еси* к «мимошедшему» времени совпадает с пониманием форм времени в «Славенской грамматике» Лаврентия Зизания.

духовенства, отстаивавшими латинскую культуру и юго-западное просвещение. Так, в трактате грекофильского направления «О исправлении в прежде печатных книгах»*9 часто встречается «причастодетие»: *относительно* (71)[1], *показательно зде* (97), *отвещательно было бы* (118), *разуметельно* (65) и т. п.; подчеркивается более тщательное и тонкое употребление степеней сравнения: «не бо бе древле изъяснена на славянском языце, яко ныне» (93)[2]; функции деепричастия сопоставляются с значениями греческого причастия (64) и т. п. Интересно здесь также сопоставление искусственно-книжных «еллино-славянских» синтаксических оборотов с «простыми» русско-славянскими. Например: «тяжек нам есть к видению... попросту рещи: *тяжко и видети праведного*» (63). С другой стороны, и язык и «грамматические правила» такого западника, сторонника латинского учения, как Сильвестр Медведев *10, обнаруживают ближайшую связь с грамматическими нормами, утвердившимися под влиянием «Славенской грамматики» Мелетия Смотрицкого. Например, толкуя «разум грамматичный» формы *преложив*, Сильвестр Медведев в определении функций деепричастия повторяет «Славенскую грамматику» Мелетия Смотрицкого: «Речение *преложив* есть деепричастие времене прошедшего, а деепричастие делается из причастия, и тако деепричастия от причастия разнятся, якоже прилагательная имена целая от усеченных, якоже *праведный* и *праведен*»[3]. Точно так же Сильвестр Медведев пользуется категорией «причастодетия» и даже среди имен прилагательных как особую разновидность отмечает имя прилагательное «причастодетельное» (т. е. с суффиксом *-тельный*)[4], ср. в «Славенской грамматике» Мелетия Смотрицкого (М., 1648, с. 313). Вместе с тем любопытно, что выученик Киево-могилянской коллегии Симеон Полоцкий *11, попав в Москву, старается «вычистить» свой язык, приспособить его к грамматическим и лексическим нормам московского церковнославянского языка. Об этом сам он говорит в виршах предисловия к «Рифмологиону».

[1] Здесь и дальше указываются страницы трактата.

[2] В «Славенской грамматике» Мелетия Смотрицкого. М., 1648, были установлены три «степени уравнения»: *положительный*, *рассудительный* и *превосходительный*. *Рассудительный* степень (т. е. сравнительная степень) оканчивается на *-ший*: *святший*, *чистший*, *простший*, *убогший*, *драгший*, *многший*, *кратший*, *тяжший*, *низший* и т. п.; но у слов на *-ный* с предшествующими согласными суффиксы сравн. степ. *-ший* и *-ейший*: *честнший* и *честнейший*, *краснший* и *краснейший* и т. п. *Превосходительный* на *-ейший*, *-айший*: *чистейший*, *простейший*, *дражайший*, *легчайший*, *кратчайший*, *тягчайший*, *нижайший* и т. п., но от прилагательных на *-ный* превосходная степень образуется с помощью суффиксов *-ейший*, *-айший* и приставки *пре*: *прекраснейший* от красный, *пречестнейший* и т. п. Любопытно, что здесь же объясняется и усилительное значение приставки *пре-*. При этом указывается, что положительная степень с *пре-* сильнее превосходной: «*пресвятый* бо более может, неже *святейший*, *пребогатый*, неже *богатейший*» и пр.

[3] *Прозоровский А. А.* Сильвестр Медведев, с. 84.

[4] См. там же, с. 86; ср., впрочем, отнесение этого синтаксиса к сочинениям Кариона Истомина: *Браиловский С. Н.* Один из «пестрых» XVII столетия, с. 460 и след.

Писах в начале по языку тому,
Иже свойственный бе моему дому.
Таже увидев многу пользу быти
Славенску ся чистому учити.
Взях грамматику, прилежах читати;
Бог же удобио даде ю ми знати...
Тако славенским речем приложихся;
Елико дал бог, знати иаучихся;
Сочинение возмогох познати
И образная в славенском держати*[12].

Но «образная», т. е. символы, метафоры и другие формы иносказательного выражения, вообще семантика, фразеология и синтаксис клали резкую грань между «еллино-славянскими» и латино-славянскими стилями. В сфере же морфологической, а отчасти и лексической для восточников и церковных западников XVII в. одинаково знаменательно стремление к архаической регламентации высокого слога. На этой почве и произошло сближение московского церковнославянского языка с юго-западным (киевским) церковнославянским языком в деле исправления текста богослужебных книг.

Однако «еллино-славянские» стили в конце XVII в. и особенно в начале XVIII в. все более и более теряют свое организующее значение в системе русской литературной речи. Правда, они и потом некоторое время продолжают жить как разновидность высоких стилей «славенского диалекта», но принимают узкий, профессионально церковный или научно-богословский характер. «Еллинский язык, — писал иеромонах Серафим в начале XVIII в. — нужен есть и разумеется от всех людей, ради свойств иаук, особливо о богословии и просто о вере христианской, паче же о нашей»[1]. «Греческий язык есть язык премудрости», — сообщает Ф. Поликарпов в предисловии к «Лексикону треязычному». Конечно, отдельными грамматическими правилами, синтаксическими приемами, фразеологией, риторическими оборотами еллино-славянские стили еще продолжают воздействовать и на литературный язык начала XVIII в. (ср., например, язык Ф. Поликарпова). Но культурно-общественное значение греческого языка, знание которого признается вовсе необязательным и даже ненужным для интеллигента XVIII в., ослабевает. Напротив, в начале XVIII в., когда встает с особенной остротой вопрос о приближении церковнославянского языка к народному русскому языку и в связи с этим об «очищении» церковнославянского языка от архаических и посторонних примесей, грецизмы в составе церковнославянского языка объявляются излишними и чуждыми русскому языку. Так, в своей «Славенской грамматике» (СПб., 1723) иподиакон Федор Максимов *[13] считает необходимым отметить «свойства некая еврейская и греческая, яже в св. писании на славянском диалекте премногая зрятся». Церковнославянский язык признается «смешанным», содержащим много гебраизмов и грецизмов, которые следует отделить от чисто славянских форм выражения, — например: *будут два в плоть едину*: «Аще имать по славянстей грамматице разбиратися, будет неправильно, понеже глагол существительный и пред собою и по себе взыскует падежа именительного, а зде по глаголе лежит винительный

[1] Цит. по: *Смирнов С. К.* История московской Славяно-греко-латинской академии. М., 1855, с. 83.

со предлогом *во*, а не именительный; по-славенски же употребляется сице· *будут два плоть едина...*»

Эта борьба с грецизмами в составе церковнославянского языка, имевшая целью приблизить церковнославянский язык к формам живой русской разговорной речи, с достаточной ясностью свидетельствует, что восточно-византийское влияние в церковнославянском языке уступало дорогу влиянию западноевропейскому.

§ 3. УНИФИКАЦИЯ ДИАЛЕКТОВ ЦЕРКОВНОКНИЖНОГО ЯЗЫКА, ОБЪЕДИНЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ТРАДИЦИИ ЕГО С КИЕВСКОЙ

Еллино-славянские стили церковнолитературной речи сыграли большую роль в процессе унификации церковнославянского языка, в деле объединения московской традиции его с киевской. Вспомнить можно хотя бы филологическую деятельность Епифания Славинецкого. Исправление московских богослужебных книг по львовским и киевским образцам, церковно-административная, богословская и филологическая деятельность киевских ученых в Москве привели к сближению церковнославянского языка московской традиции с церковнославянским языком Украины. Это установлено проф. Каптеревым[1]. Украинское влияние поддержало в московском церковном произношении такие фонетические черты, которые стали вытесняться особенностями разговорного языка, — например фрикативный *h* (там, где в северорусском наречии и в примыкающем к нему по консонантизму московском выговоре звучал взрывной *г*), *е* на месте разговорного русского о (*пес*, *лен* и т. п.), различие *ѣ* и *е*. Но иногда струя украинского выговора более ярко окрашивала церковный язык (ср. свидетельство Сумарокова о церковном произношении XVIII в.)*[1]. Увлечение киевским партесным «гласоломательным» пением и киевскими певчими, распространившееся в кругах высшего духовенства и знати, укрепляло в церковном произношении украинские черты[2].

Деформация фонетического облика церковнославянского языка на украинской почве зависела также от перемещений ударения на старых словах и от особенностей ударения на некоторых вновь вводимых словах (иногда под влиянием польского языка); например, ударение современного слова *числи́тель* вместо ожидаемого *чи́слитель* укрепляется в эту эпоху (ср. у Епифания Славинецкого в переводе Атласа Блеу *[2], 50-х годов XVII в. — *числи́тися*, т. е. считаться)[3].

Были значительны и морфологические перемены в системе церковнославянского языка. При исправлении книг помимо следования

---

[1] См.: *Каптерев Н. Ф.* Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. Сергиев Посад. 1913.

[2] Ср.: *Перетц В. Н.* Историко-литературные исследования и материалы. СПб., 1900, т. 1, с. 199 и след.

[3] См.: *Богородицкий В. А.* Общий курс русской грамматики. 5-е изд. М.—Л., 1935, с. 317—318.

формам юго-западной церковной традиции происходила общая регламентация морфологического строя славянского языка; например, расширяется употребление префиксов *во*, со, *воз-* под влиянием церковной тенденции произносить о на месте ъ там, где в живом языке произошло его исчезновение. На этой почве возникает дифференциация значения префиксов с- и со-; последний приобретает специальное значение соучастия, например: *сообщество*, *соревнование* и т. п. Но особенно глубоки и многочисленны были изменения в лексике и фразеологии церковнославянского языка (например, вместо *от него же всяк живот вдыхается — всяко животно одушевляется;* вместо *смертию на смерть наступив — смертию смерть поправ* и т. п.). Характерны протесты раскольников против неологизмов. Представители раскольничьей массы влагали в церковнославянизмы конкретное содержание, сопоставляя их с соответствующими выражениями русского бытового языка. Между тем нормализация высокого «славенского» слога, тесно связанная с исправлением текста богослужебных книг, выражалась в развитии отвлеченных, условно-символических значений слов, относившихся к сфере религиозной догматики, в разграничении смысловых оттенков синонимов, в создании торжественно-метафорической фразеологии. Такова, например, в трактате «О исправлении в прежде печатных книгах» дифференциация синонимов: *разум* (synesis) — *знание* (gnosis) (105)[1]; *тело — плоть, бестелесный — бесплотный* (108); *чрево — утроба* (117); *врач, врачевание, врачебница — лекарь, лечитель и исцелитель, исцеление, исцелительница* (120) и др. под. Ср. также отрицание перевода греческих слов oiconomia, oiconomos через *смотрение*, *смотритель* и утверждение новых соответствий: *строение — строитель* (90).

Эта кодификация форм и норм церковнославянского языка имела своей задачей не только «очищение» его от сторонних примесей и «неправильностей», не только унификацию церковнобогословской и богослужебной терминологии, лексики и фразеологии, но и охрану высокого «славенского» диалекта от разнородных влияний светско-делового языка, бытового просторечия и чуждых православию идеологических систем. Однако юго-западная (киевская) система церковнолитературного языка, имевшая большое организующее значение в процессе нормализации высоких стилей общегосударственного церковнославянского языка, включала в себя рядом с архаическими тенденциями и стилями также и другие, «европеизированные» приемы выражения, иные, сложившиеся под латино-польским воздействием формы семантики. Здесь осуществлялось новое соотношение разностильных элементов в структуре литературной речи.

---

[1] Ссылки на страницы делаются по изд.: *Никольский К. Н.* Материалы для истории исправления богослужебных книг. Об исправлении устава церковного в 1682 году и месячных миней в 1689—1691 году. — В кн.: ПДП. СПб., 1896, вып. 115.

§ 4. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РУСИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

Так называемая Юго-Западная Русь становится во второй половине XVII в. посредницей между Московской Русью и Западной Европой и русский литературный язык подвергается сильному влиянию украинского литературного языка (церковнокнижного, светско-делового и художественного). Социальные и культурно-исторические причины этого смешения языков очень сложны. В Юго-Западной Руси (Белоруссии и Украине) шляхта раньше начала переживать процесс европеизации. Порожденное политическим гнетом Польши влияние польского языка, которое в XVI—XVII вв. стало укрепляться среди высших слоев русского дворянства, здесь раньше и глубже пустило свои корни. В борьбе с католичеством духовенство здесь овладело высокой филологической культурой латинского Запада. В системе школьного обучения латинский язык постепенно занимает главнейшее место, соответственно тому уважению, которым он пользовался во всех европейских училищах. Кроме того, в Юго-Западной Руси трудно было обойтись без него и в гражданском быту— при политической зависимости от польского правительства, стремившегося к насильственной ассимиляции украинского и белорусского населения с поляками, при засилье католической пропаганды.

И церковнославянский язык, попав в сферу западноевропейской цивилизации, испытал здесь более сильное воздействие со стороны светско-деловых и литературно-художественных стилей речи образованных кругов общества. Однако из украинского литературного языка заимствовались в русской литературной речи не столько особенности украинской национальной речи, которые с высоты московских великодержавных позиций казались русскими провинциализмами, сколько формы литературного выражения, созданные в Юго-Западной Руси на основе церковнокнижной письменности или усвоенные из латино-польской культуры.

Но прежде чем описывать изменения в русской литературной речи под воздействием украинской литературной традиции, необходимо уяснить внутренние социально-языковые процессы в жизни украинского литературного языка и познакомиться с теми новыми силами, которые вступали в историю русского литературного языка.

Юго-западный литературный язык XVII в. имел сложное прошлое. Для истории русской литературной речи важны лишь некоторые моменты этого прошлого. Прежде всего церковнославянский язык так называемой Юго-Западной Руси впитал в себя конструктивные внутренние формы латинского языка, языка средневековой западноевропейской религиозно-философской и научной мысли, а для Польши — вместе с тем — языка администрации и суда. Грамматика, особенно синтаксис и риторика, которые были осью литературности, здесь с XVI в. подверглись сильному латино-польскому влиянию. «В области красноречия светского и духовного, — пишет К. Харлампович, — латинское влияние выразилось прежде всего в случайном

заимствовании нашими школьными, церковными и полемическими ораторами чуждых греческой риторике фигур и в привнесении польских и латинских слов и выражений, а затем, под влиянием латинских учебников риторики и сборников иноверных проповедей, перешло в полное подражание всем приемам той в высшей степени искусственной и изысканной речи, которая даже в те времена вызывала неодобрение со стороны представителей греческого направления в красноречии. В проповеди библия и «творения св. отцов» стали делить свой авторитет с авторитетом философов и светских ученых, рядом с библейскими сказаниями начинают фигурировать исторические и даже мифологические, и святые и священные лица ставятся рядом с древними богами и героями. Интерес содержания сменяется интересом формы и светской учености, направленной к тому, чтобы поразить слушателя: поучительность уступает место занимательности [1]. «Из Польши шли сказанья, вирши, панегирики, ламенты и другие сочинения с их затейливыми заглавиями и запутанными аллегориями».

Нельзя отрицать большого участия греческого языка, вообще византийской богословской и литературной культуры в организации юго-западно-русского церковнописьменного языка. Но круг действия византийского просвещения был здесь ýже, чем в Москве. Оно не только ограничивалось областью церковно-культовых и научно-богословских интересов, но и в этой сфере делило свой авторитет с латинским языком.

С другой стороны, правовые и научно-образовательные функции латинского языка побуждают держаться за него как за орудие администрации юго-западную — украинскую и белорусскую — шляхту. Сильвестр Коссов *[1] в своей книге «Ex legesis abo danie sprawy o szkołah Kiowskich i Winnickich» (1635) рисует такие бытовые сцены: «В Польше... латинский язык наиболее успевает. Поедет бедняга русин на трибунал, на сейм, на сеймик, в уездный городской или земский суд, — bez laciny płaci winy. Ни судьи, ни стряпчего, ни ума, ни посла. Смотрит то на того, то на другого, вытаращив глаза, как коршун. Не нужно нас побуждать к изучению греческого языка: стараемся и о нем при латине, так что, бог даст, он будет у нас для церковного употребления, а латина — для судебных нужд (Graeca ad chorum, a latina ad forum)...»

«Латинский язык был в старинной Польше языком церкви и школы, языком гражданских и церковных понятий, поэтому он входил в самое существо польского общежития, составляя необходимую приправу польской речи в кругу сколько-нибудь образованных людей»[2]. «Синонима славенороссская» XVII в., изданная П. Житецким [3], дает довольно отчетливое представление о тех словах и понятиях, которые входили в структуру украинской светско-деловой, а отчасти

---

[1] См.: *Харлампович К. В.* Борьба школьных влияний в допетровской Руси. Киев, 1902, с. 22—23.

[2] *Житецкий П. И.* Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII в., с. 9—10.

[3] В приложении к названиому труду.

и церковнолитературной речи из языка латинского (как непосредственно, так и через посредство польского языка)*2. Это, во-первых, слова официального стиля, делового и юридического языка: апелляция, гонор, декрет, депозит (поклад), деспект (укоризна, укорение, бесчестие, оклеветание, хула, хуление, глумление), инквизиция (истязание выны), канцелярия, квестия, кляуза, контентую, корона, короную, мандат, мѣзерия (окаянство, бедность), мѣзерный, оказия (извет, явление, кичение), патрон, персона, под претекстом, полиция (гражданство), поссесию держу, секрет, термен (устав, предел), тумулт, турбатор, фундамент, церемония и др. под. Во-вторых, это слова с ученой окраской, из риторики или из научной и технической терминологии, переходившие в общий письменный и бытовой интеллигентский язык: аффект (страсть, причастие, движение сердечное), доктор, конституция (состояние), литера (письмо), натура, оратор, орация, палац (палата), помпа, суптелный (восперен, тонкий, тонченый), форма (образ, вид), фѣгура (образ) и т. п. В-третьих, это слова школьные, например вакация, бурса и т. п.

Правда, на Украине громко раздавались в XVII в. и голоса противников латино-польской культуры. Борьба против угнетателей-поляков сопровождалась распространением вражды к польскому «просвещению». Составитель «Зерцала духовного» (около 1652 г.) указывал на распространение «пакости душевредной»: многие «словенским смиренным языком гнушаются и от чужих возмущенных вод, наблеванных прелестью, лакоме напаяваются». Но эти голоса не делали музыки. Да и трудно было угнетенному народу бороться с влиянием латинского и польского языков, которые, входя в систему насильственной полонизации страны, составляли неотъемлемый элемент «шляхетской» культуры на юго-западе.

Латинский язык как церковный, административный и научный язык Польского государства определял в значительной степени и смысловые формы польской речи, по крайней мере некоторых ее стилей, «пестревших латинизмами». С середины XVI в. в Польше родной, национальный язык начинает становиться языком литературы, законодательства, администрации. Возрождение национального польского языка не могло не отразиться и на отношении к нему юго-западной русской аристократии. Уступая культурно-политическому перевесу Польши, белорусское и украинское дворянство желало во всем походить на дворянство польское, воспринимая его язык, нравы, формы общежития, усваивая склад польских умственных интересов и нравственных понятий. Вследствие сильного влияния общественно-бытовой речи и светско-деловых стилей письменного языка на церковнославянский язык, некоторые жанры украинского церковнолитературного языка пестрели не только латинизмами, но и полонизмами.

Итак, на юго-западе церковнославянский язык, сблизившись с латинским языком, проникся идеологическими элементами западноевропейской католической культуры. Кроме того, здесь церковнославянский язык подвергся более глубокому воздействию стилей обще-

ственно-бытового и светско-делового языка образованного общества. А эти стили, при всей сложности их социальной дифференциации, слагались из различного соединения трех основных этно-лингвистических элементов (не считая церковнославянизмов): из украинизмов, латинизмов и полонизмов. «Обмирщение» церковнославянского языка имело своим антитезисом расширение литературно-бытовых функций церковнокнижной речи. Украинские писатели «употребляли иногда церковнославянский язык в сочинениях такого рода, которые требовали речи более простой и естественной. Так, Петр Могила *3 в собственноручных записках своих говорит о предметах и явлениях обыденной жизни тем самым языком, на котором написаны им же составленные церковные песнопения и каноны». Например: «В граде Белоцерковском Яну Пикгловскому родися дщи. По обычаю же баба, вѣсприемши отроча, пупок уреза, но недобре связа. Не внемши ж се бабе, положи отроча в корытце, об нощь же кровь из отрочате течаше пупком, кровию же исплыв, умираше»[1]. Ярким социальным контрастом этой славянизации бытового языка было демократическое «выворачивание» Евангелия и Псалтыри «простым языком»: «простая мова», «простейший и подлейший» язык противопоставлялся речи «панского» и «духовного стана».

Те же социальные причины, которые изменили структуру и функции церковнославянского языка, привели к латинизации и полонизации украинского и белорусского шляхетского светско-литературного языка, сложившегося на почве деловой речи, но впитавшего в себя значительное количество церковнославянизмов. Иллюстрацией может служить отрывок из вирш Берынды (книга «На рождество...», 1616)*4, язык которых, по словам акад. В. Н. Перетца, «представляет как бы середину между церковнославянским и деловым западнорусским»:

Христос збавител ныне с панны нарожоный
От бога отца ведлуг тела увелбеиый
Ныне в верных щасливе нехай завитает.
И радос в сердцу каждого з нас проквитает[2]

Этот светско-литературный язык при несколько большей близости к народным украинским и белорусским основам, чем язык церковнолитературный, был также пропитан латинскими, а особенно польскими элементами. На этом светско-литературном языке писались научные, публицистические, беллетристические произведения, вирши и драмы. Вот эти-то церковнокнижные и светско-литературные стили Юго-западной Руси стали во второй половине XVII в. оказывать сильнейшее влияние на литературный язык Московского государства.

---

[1] Цит. по: *Житецкий П. И.* Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII в., с. 38.
[2] *Перетц В. Н.* Историко-литературные исследования и материалы, т. 1, с. 80.

§ 5. УКРАИНСКИЕ СТИЛИ ЦЕРКОВНОЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА НА МОСКОВСКОЙ ПОЧВЕ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРНУЮ РЕЧЬ ВЫСШИХ СЛОЕВ ОБЩЕСТВА

Воздействию украинской литературной речи подвергаются прежде всего те стили московского церковнославянского языка, которые были связаны с «витийственными» жанрами проповеди, полемической, богословско-теоретической и публицистической литературы. Конечно, юго-западная стилистическая традиция в кругах московского дворянства и столичного духовенства приспособлялась к нормам русского литературного языка, освобождаясь от наиболее чуждых ему форм, слов и оборотов. Интересна, например, та сложная работа, которая произведена Симеоном Полоцким над «славянизацией» своего стиля, над очищением его «от варваризмов литературного языка Западной Руси и от провинциализмов родного края». Достаточно сравнить язык вирш Симеона Полоцкого до приезда его в Москву и язык московских его произведений, чтобы убедиться в глубине и значительности этой чистки.

Вот отрывки из «приветственных вирш», написанные Симеоном Полоцким в бытность учителем полоцкой богоявленской школы (1659):

Дай *абы* врази были побежденны,
Пред *маестатом* его покоренны!
Сокруши *пожных* людей выя, роги,
Гордыя враги наклони под ноги...
Покрый покровом град сей православный,
Гды обретает тебе *скраб* твой давный [1].

Таким образом, здесь редкий стих не содержит украинизма, полонизма или латинизма. Но относительно чистый церковнославянский язык, конечно, не освобожденный вполне от украинизмов юго-западно-руссизмов) и полонизмов, наблюдается у Симеона Полоцкого в «Рифмологионе», «Месяцеслове». Характерно, что, по свидетельству Генриха Вильгельма Лудольфа, с именем Симеона Полоцкого соединялось представление о преобразователе русской церковнокнижной речи, стремившемся к ее упрощению [2].

Таким образом, юго-западные стили церковнолитературного языка на московской почве русифицируются. В них сокращается количество белорусизмов, украинизмов и полонизмов. Показательны изменения, которые вносил Сильвестр Медведев в вирши Симеона Полоцкого. Прежде всего устраняются явные словарные украинизмы и полонизмы, например: поправляются *едно*, *една* и т. п. *на одно*, *одна*;

---

[1] Цит. по: *Майков Л. Н.* Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий, с. 9.

[2] «Он по возможности воздерживался от употребления более трудных славянских выражений, чтобы его легче было читать и понимать, и все же язык у него — славянский и много таких слов и выражений, которые непонятны массам (vulgo)»[1].

як на *как; тминны тмами збогатити* на *вящще много украсити* и т. п. Затем исключаются те синтаксические конструкции, которые, по-видимому, пользовались более широким распространением в украинской литературной традиции, чем в русской, «московской»: второй тв. пад. при глаголе заменяется вторым вин.: *царя* и *бога* вместо *царем* и *богом* при глаголе *избрал еси*; формы наречия и деепричастия предпочитаются формам обособленного употребления имен прилагательных и причастий: *юже* (молитву) *твориши слезне* — вместо *слезен; аз что принесу, ничтоже убо таково имуще, нищ инок суще* (вместо *имущий, сущий*)[1] и др. под.

Те же тенденции продолжают обнаруживаться в русском литературном языке начала XVIII в. Сходные наблюдения, например, можно сделать изучая «обрусение» языка Димитрия Ростовского. Слова: *персона, казнодей, куншт, оказия* заменены словами: *лице, учитель, образец, случай;* слова: *мовити, ховати, дяковати, зробити, розмова, покора* и т. п. заменены словами: *глаголати, хранити, благодарити, делати, разговор,* и пр. В славяно-русском тексте «Слова на день Троицы» Димитрия Ростовского встречаются слова: *азарничество, господин, кладовая, шея, собственный, спрашивать* вместо украинских слов, стоящих в украинском тексте: *гвалство, господарь, скриня, шия, власный, спитати.* Изменение национального колорита речи особенно разительно было при смене союзов. «Союзы: *абы, аж, але, альбо, гды, еднак, же, як, хочъ, ще* заменены союзами: *дабы, а, но, или, когда и внегда, однако, яко, аки, аще, хоть, еще*»[2]. Конечно, соответствующим же поправкам подвергались и орфография и грамматические формы.

Однако не все особенности украинского литературного языка вытравлялись. Семантика, синтаксис, фразеология, приемы риторического построения сохраняли отпечаток иной речевой культуры. Подвергаясь «славянизации» и чистке от варваризмов, «украинские» стили русского литературного языка сами влияли на московскую литературно-языковую традицию. На силу этого влияния указывают и правительственные распоряжения начала XVIII в. об устранении украинизмов как из письменной деловой, так и из литературно-книжной русской речи. «Издатели церковных книг», — говорит П. И. Житецкий, — особенно заботились об «орфографии, сиречь правописании и правоверии великороссийском правильном, по учению грамматистов и любомудрецов в училищах издревле обдержимом», поэтому заменяли они «малороссийские примрачные речения обыкновенными», заботились о том, чтобы «никакой розни и особого наречия не было». Но это был правительственный режим «великодержавной» русификации, обусловленный временными политическими причинами и в общем мало мешавший культурному воздействию юго-западной письменности на литературные стили русского языка.

---

[1] См.: *Сильвестр Медведев.* Приветство брачное, подиесенное царю Федору Алексеевичу 18 февраля 1682 года. Харьков, 1912, с. 10—11; ср. также: *Дурново Н. Н.* «Приветство брачиое» Сильвестра Медведева.— В кн.: ИОРЯС. СПб., 1904, т. 9, кн. 2, с. 303—350.

[2] *Житецкий П. И.* К истории литературной русской речи в XVIII в., с. 15.

Если фонетико-морфологические и лексические особенности украинского просторечия не находили себе твердой опоры в русской литературной речи (ср., однако многочисленные украинизмы в языке проповедей и в лирическом стиле)[1], то семантико-фразеологические и синтаксические формы юго-западного литературного языка оказали сильное влияние на русскую литературную речь конца XVII в. Так, в синтаксисе начинают укрепляться идущие из юго-западной литературы формы латинского словорасположения. Например, в письмах Сильвестра Медведева характерны такие латинизированные конструкции с глаголом на конце предложений: «...Яко сухая неплодная земля дождем на богатоплодие прелагается и гобзовательное доброплодие произносит, сице гласом твоего преподобия в человецех неплодствующаяся добродетель на всетучное благоплодие претворилася. и вычу пребогато возрастая и плодами покаяния в насыщение жаждущим душам процветая и цветов благовонием смрад в совестех лежащей иссучая, н яко от благотучных и здравых пищей благоговенство во человеческих сердцах умножалося, страх божий распространялся, вера расширялася, надежда укреплялася, милосердие мощь свою воспринимало, суд, правда и милость, мир и любовь непритворная в целости, пребывали, хвала и служба божия в церквах всюду громогласилися»[2].

Признаки латинской конструкции содержит в себе и синтаксис предисловия к «Великому зерцалу», написанного, по словам проф. П. В. Владимирова, тем литературным языком, который выработался в «славяно-греко-латинских школах»: «...Пиитове, или творцы книг, приличное по коемуждо сочинению книзе имя даяху, яко же и видете есть. Ибо преподобный Максим подобием яко пчела от различных во едино собирает и мед устрояет, божественного писания от различных ветхаго и новаго заветов книг и богоугодных мужей поучений, книгу сочинив, пчелою нарече, такоже ин некто боголюбивый муж, якоже зрим в чувственных вертоградах различная богоплодоносная древеса, веселящая видение, услаждающая вкушение и творящая тень ко прохлаждению и многие сладкоуханные цветы благовония издающие и различные зелия и корения, ко врачеванию, и иным в житии человеческом потребам приличные, тем же образом и оный из многих различных богодухновенных писаний и восточныя и западныя церкве учителей повествований премудре и чинне собрав, вертоград нарече, подобне и сей творец сих повестей и прикладов духовных книгу зело в лепоту «Зерцало великое» нарече, ибо зряй ея в зерцале белость или черность лица своего усмотряет, или ин некий порок удобно познает...»[3]

Еще один пример для сравнения — из сделанного Карионом Истоминым перевода книги Юлия Фронтина *[2] о ратном искусстве (1700): «Фульвий Нобилиор егда противно самницкому воинству великому и

---

[1] См. примеры во 2-й главе, § 17.

[2] *Сильвестр Медведев.* Письма. Сообщение С. Н. Браиловского. — В кн.: ПДПИ. СПб., 1901, вып. 164, с. 25—26.

[3] *Владимиров П. В.* «Великое зерцало». М., 1884, с. 53.

благополучением счастия гордому с невеликим полком творити име, притвори яко бы един полк неприятельский к нему придатися и приложитися имел, и дабы своих в том утвердил, тем болше у полковников и ротмистров и началнейших сребра и злата отдания в вещи мзды совещанныя незаймова».

По мнению С. Н. Браиловского, язык этого буквального перевода «везде выдержанный литературный язык того времени»[1].

Приспособление синтаксической структуры высокого слога к украино-латино-польской конструкции сопровождалось изменениями в системе значений, в лексике и семантике русской литературной речи. Характерен процесс морфологического и семантического приравнения церковнославянских слов к соответствующим латинским терминам и понятиям, протекавший под непосредственным влиянием юго-западной книжной литературно-языковой традиции. Например, в заметках Сильвестра Медведева: «contemplatio — *безмолствие* или наипаче *богомыслие*, speculatio — *зрение*... actus — *делание*, habitus — *имство*, т. е. утвержденное того дела обыкновение»[2]. Необходимо заметить, что на юго-западе была уже в XVI—XVII вв. проделана некоторая работа по освоению и переводу латинской философской терминологии. Любопытны, например, церковнославянские соответствия философским терминам в переведенной с латинского языка «Физике» Аристотеля с комментарием (рукопись XVII в.): actu — *действом;* affectio — *страсть;* composito — *сложение;* continuum — *целое;* contradictio — *противоречение;* essentia — *сущность;* modus — *наклонение;* nonsens — *небытность*; subiectum — *подлежащее*; substanti — *существо*[3].

Но особенно сильно было воздействие на русский литературный язык конца XVII в. юго-западной риторики (ср. «Ключ разумения» Иоаникия Галятовского)*3.

В публицистических, церковнополемических и художественно-литературных стилях русской книжной речи укрепляются своеобразные формы отвлеченного символизма, аллегорического изложения, изысканных параллелей и сравнений. «Символы и эмблемата»*4, приемы каламбурного сочетания слов придают своеобразный оттенок смысловой игры, риторической изощренности церковнокнижному языку и ломают его семантику, придавая ей «светский» характер (см. «Ключ разумения»). Игумен Иннокентий Монастырский писал Мазепе в декабре 1688 г.: «Пречестного монаха Медведева веру, труды, разум хвалю и почитаю... Я того пречестного Медведя не от медведя зверя, но от ведомости меда походити сужду...», а самому Сильвестру в письме от 9 февраля 1689 г. признавался: «Если б я писал к Лихудам, то сказал бы: для вас Сильвестр не silvester, но sol vester (солнце ваше. — *В.В.*)». Сторонники греческой партии, издеваясь над Медведевым и следуя тому же приему этимологизации имени, ставили имя Сильвестр в связь с латинским silva — лес: «Еже толкуется лесный

---

[1] *Браиловский С. Н.* Один из «пестрых» XVII столетия, с. 347.
[2] Цит. по: *Прозоровский А. А.* Сильвестр Медведев, с. 160.
[3] *Зубов В. П.* «Физика» Аристотеля в древнерусской книжности. — Изв. АН СССР. Отд. ОН, 1934, № 8.

или дикий, лепо убо сего Сильвестра нарицати от имени или прозвания его: дикий, или леший медведь»[1]. Любопытны каламбуры в проповеди митрополита Стефана Яворского *[5] по поводу взятия Шлиссельбурга, прежде называвшегося Орешком (Снейтембург), — каламбуры, основанные на остро́те самого Петра I о разгрызенном Орешке: «О Орешек претвердый! Добрые то зубы были, которые сокрушили тот твердый Орешек. Бывает часто так твердый орех, яко нужда есть на сокрушение его каменя. Твердый был и сей орех, фортеца прекрепка, не только стенами, валами, пушками, всякою стрельбою и бронями вооружена: но наипаче самым естеством, самым естественным положением, самым неприступным островом, самыми быстрыми водами отвсюда окружаема. Зубов сей Орешек и прекрепких не боялся, зубы первее надобе было сокрушити, нежели Орешек, и невредим бы пребывал доселе, аще бы сицевую твердость твардейший не поразил камень. А камень не иный только, о нем же глаголет истина Христос: Петре! ты еси камень. Ныне же Снейтембург нарицается Слисембург, то есть Ключ-город, а кому же сей ключ достался: Петрови Христос обещал ключи дати. Зрите убо ныне, коль преславно исполняется обещание Христово»[2].

Это риторическое правило об изобретении доказательств через истолкование семантики имени, обозначающего главный предмет речи (см. у Симеона Полоцкого в «Жезле правления» подробное изъяснение этого заглавия)*[6], было тесно связано в юго-западной риторике с приемами звуковой игры, каламбура[3]. Например, в «Венце веры» Симеона Полоцкого, написанном, по-видимому, в качестве пособия при учебных занятиях в царских палатах, читаем: «О смерти, коль горка память твоя! Горка — яко ты сладость нашу Исуса умертвила еси. И горкою желчию прежде напоила еси паче вод мерры, чесо ради мерзска еси всякому человеку» и т. п.[4] Ср. отголоски этого приема даже в «Риторике» М. В. Ломоносова, например в истолковании имени *кесарь* от латинского caedo — *секу* (Caesar):

Кесарь, ты сечешь врагов удобно.
Имя в том делам твоим подобно.

(Риторика, § 135)

Итак, система каламбуров, условных аллегорий, символов, эмблем теперь органически входит в смысловой строй высокого славенского диалекта. «Обычно есть мудрости рачителем инем, — писал иеромонах Иосиф Туробойский в предисловии к «Преславному торжеству свободителя Ливонии» (1704), — чуждым образом вещь воображати. Тако мудролюбцы правду изобразуют мерилом, мудрость — оком яснозрительным, мужество — столпом, воздержание — уздою и прочая бесчисленная. Сие же не мни быти буйством неким и кичением

---

[1] Цит. по: *Шляпкин И. А.* Димитрий Ростовский и его время. СПб., 1891, с. 178.

[2] *Стефан Яворский.* Проповеди. М., 1805, ч. 2, с. 169—170.

[3] О юго-западных учебниках риторики см.: *Булгаков М.* История Киевской Академии. Киев, 1843, с. 63—65.

[4] Цит. по: *Майков Л. Н.* Очерки из истории русской литературы, с. 63.

дмящагося разума, ибо и в писаниях божественных тожде видим. Не сучец ли масличный и дуга, на облацех сияющая, бяше образ мира?»[1].

Вместе с тем аллегории, мифологические аксессуары и образы школьного классицизма смешиваются с церковнославянской лексикой и символикой. Правда, они первоначально подвергаются некоторым ограничениям. Так, в переделке Сильвестра Медведева «стихи Полоцкого, в которых говорилось о Титане, Нептуне, Фебе, заменены другими стихами; выпущены стихи, содержавшие перечень греческих имен ветров или говорившие о Фебе. Из всех мифологических имен оставлено только имя Геркула и то больше как географический термин»[2]. Но постепенно эта стилистическая струя новоклассицизма ширится и становится характерной принадлежностью «высоких» стилей русской литературной речи[3].

Этот стиль литературного изложения, проникнутый мертвящим духом схоластического образования, не был чужд движения и жизни. Конечно, образно-идеологической основой стиля служили так называемое Священное писание и церковные учители. Но материал для распространения и иллюстрации мысли заимствовался часто из светских источников: ловкость ритора обнаруживалась в остроумном сближении религиозной темы с историческими фактами и сведениями из естественных наук. Той же цели служили и образы классической мифологии. Овидиевы «превращения» пользовались особенной популярностью. Отвлеченный символизм и формализм этого риторического стиля наложили неизгладимую печать на «высокий» слог русской литературы XVIII в.

Эти своеобразные принципы условно-риторического выражения и изображения содействовали развитию новых жанров русской литературной речи. Вирши, драмы, повесть усложняют процесс смешения церковнославянского языка со стилями деловой речи и ориентирующимися на нее светско-литературными стилями.

§ 6. ПРОЦЕСС РАСПАДА И ТРАНСФОРМАЦИИ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА ВСЛЕДСТВИЕ СМЕШЕНИЯ ЕГО С СВЕТСКО-ДЕЛОВОЙ РЕЧЬЮ, С ПРОСТОРЕЧИЕМ И С ЧУЖЕЯЗЫЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Рост значения таких жанров литературы, как вирши и драмы, пользовавшихся преимущественно церковнославянским языком, естественно, не мог не повлечь изменений в стилистике церковнославянского языка и не мог не нарушить ранее существовавших отношений между церковнокнижной речью и стилями светско-письменного язы-

---

[1] Цит. по: *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом. СПб., 1862, т. 2, с. 96*7.

[2] Цит. по: *Сильвестр Медведев.* Приветство брачное, с. 11—12.

[3] См.: *Соболевский А. И.* Когда у нас начался ложноклассицизм. — Библиограф, 1890, № 1. *Мочульский В. Н.* Отношение южнорусской схоластики XVII в. к ложноклассицизму XVIII в.— ЖМНП, 1904, № 8.

ка. Рядом с литературным церковнославянским языком и во взаимодействии с ним жил деловой язык, язык светской письменности [1]. Будучи официальным государственным языком московских приказов и в то же время приближаясь к разговорной речи служилого сословия и других слоев общества, светско-деловой язык составлял как бы промежуточную сферу между литературным языком и стилями устной речи *[1]. Кроме государственных актов, законодательных памятников и технических руководств вроде напечатанной в Москве в 1647 г. «Книги ратного строения», на этом языке писались и некоторые литературные произведения без особых претензий на «литературность» — например такие произведения, как описание путешествий в далекие страны *[2] или памфлет Котошихина *[3] «О России в царствование Алексея Михайловича». В тех же произведениях не только религиозно-учительного, но и научного и просто беллетристического содержания, которые претендовали на литературность, применялся главным образом язык церковнославянский, правда с отступлениями, с примесью делового языка и просторечия. Однако более или менее выдержанное употребление церковнославянского языка придавало и беллетристическим произведениям своеобразную «высоту» тона, своеобразную идеологическую и экспрессивную окраску торжественности или глубокомыслия, религиозной морализации или отвлеченного символизма.

Во второй половине XVII в. под влиянием того соотношения, которое установилось между церковнославянским языком и стилями светско-литературного языка в юго-западной письменности, постепенно образуется и в русской литературе разрыв между у п о т р е б л е н и е м церковнославянского языка и его значением. Церковнославянский язык начинает применяться к таким предметам и темам, которые в предшествующей литературной традиции нашли бы выражение или в формах делового языка или в формах просторечия. Это наблюдение впервые сделано К. С. Аксаковым. «Язык церковнославянский, — пишет он, — становится орудием произвольных вымыслов... поразительно звучат в нем, резко противополагаясь с его характером и формами, тривиальные народные и иностранные слова и выражения, на которых лежит печать современности... Этот беспорядок, это странное, будто бы разрушающееся состояние указывает на новый порядок, на новую жизнь, уже близящуюся и смутившую прежнее состояние...» [2]

Повторяется та же картина социально-языковых противоречий, которая характерна для истории украинского языка XVI—XVII вв. Например, в русских виршах конца XVII — начала XVIII в. литературный язык, переполненный церковнославянизмами, вместе с тем

---

[1] О юридической общественно-политической, хозяйственной и бытовой терминологии дореформенной Руси см., например: *Андреева А. Н.* (ред.). Терминологический словарь частных актов Московского государства. Пг., 1922. Материалы для терминологического словаря древней России. Составил Г. Е. Кочин. М.—Л., 1937. Ср. также: *Ларин Б. А.* Проект древнерусского словаря. М. — Л., 1936.

[2] *Аксаков К. С.* Ломоносов в истории русской литературы и русского языка.— В кн.: *Аксаков К. С.* Собр. соч. М., 1875, т. 2, с. 275.

близок к языку украинских вирш не только по оборотам и мыслям, но и по построению рифм. Так, даже Кантемир, быть может подражая Феофану Прокоповичу, допускает рифмы ѣ — *и*, ѣ — *ы*; ср. в Epodos consolatoria: *лиху — утѣху, зѣло — было, дѣлы — унылый;* в переложении псалма 72-го: *рѣки — великий, в мире — в вѣрѣ* и т. п.*[4] Но особенно резко новые формы употребления церковнославянского языка и новые формы смешения его со стилями русского делового и повествовательного языка, иногда с примесью варваризмов, обнаруживаются в языке драматических произведений.

Так, в драме «Юдифь» наблюдается грубое смешение архаических церковнославянизмов с вульгаризмами бытовой речи. Например: «Ахиор. Имянуешь ныне мя милостивым господином: како же мя в то время имяновал, егда мя к дереву привязал еси?

Сусаким (сде тайно к себе говорит). О! когда бых его в то время удавил, то бы ныне не возмогл так вознošатись.

Ахиор. Что *ворчишь* ты, *собако?* Что ропщешь? Како сице молчищи, ты *скотина,* ты осля? *Говори ты, лютой ворище.*

Сусаким. Аз несмь вор, ни осля, ниже скот, и не есмь ни собака и никакой человек.

Ахиор. Что же тогда еси?

Сусаким. Аз есмь вещь, кая *деревенским мужиком* досаждает *пущи тараканов,* но имяни мне нет»[1].

С другой стороны, тут же церковнославянизмы сталкиваются с варваризмами и с формами приказного языка:

«Сомнас. Аз бых свиней не коснулся, но красную деву во изрядном идеянии взял бых.

Моссолом. Что же бы с нею хотел сотворити?

Сомнас. Одежду от нея взяв, про себя бых держал; но деву моему милостивому господину *капитану* дарил бых.

Селум. *Капитаны* и вси начальники, *солдаты* и вси воинские люди! Послушайте вельможнейшаго воеводы нашего Олофернова повеления (бьет на барабане и клич чинит). Утре в первом часу дни все на Марсово, перед царскими враты сущее, место да соберитесь, и всяк с своим ружьем под знамя свое да ставится. Воевода хощет сам *генеральной* смотр учинити...

Сисера. О светлая сабля! Радуйся сим вестям, зане вящщая ти честь в крови утупети, нежели во ржавчине. Прийди, брате, да днесь возрадуемся...»[2]

Любопытно, что в языке драм конца XVII в. можно найти яркие факты приспособления лексической и фразеологической систем церковнославянского языка к западноевропейским языкам, преимущественно к немецкому. Например, «язык пьес репертуара Грегори (драматурга и режиссера при царе Алексее Михайловиче) не похож на стиль подьячих XVII в.: в них слишком много славянских слов и

---

[1] *Тихонравов Н. С.* Русские драматические произведения 1672—1725 гг. СПб., 1874, т. 1, с. 159.
[2] Там же, с. 84—85.

оборотов, употребленных с толком и кстати»[1]. Между тем акад. Тихонравов[2] указал, что многие церковнославянизмы этих пьес являются семантическими «германизмами», морфологически точными снимками с немецких слов. Так, в пьесе «Юдифь»: *живи благо* (lebe wohl); *отключити* (aufschliessen); венцы *осажденные* (besetzt); осадят пути стражею; *беспохвальный народ* (unlobliches Volk); *отмщуся над* сими псами (sich rachen) и т. п. Ср. сходные явления в репертуаре Петровского времени — например в пьесе «Сципио Африкан, вождь римский, и поглубление Софонизбы, королевы нумидийския»: *счастопадение* (Gluckfall); побеждение на обе стороны *висело* (schwebte) и др. под.[3]. Ср. латинизмы в пьесе театра царевны Натальи Алексеевны «Комедия Петра Златих ключей»:

«Посол. Великий княже Петре, царское величество салтан жалует нас сими дарами; повелите принять.

Петр. ...И *виват* припеваю»[4].

§ 7. ВЛИЯНИЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА

Юго-западное влияние несло с собой в русскую литературную речь поток заимствований. Правда, профессиональная лексика еще раньше широко пополнялась западноевропейскими терминами, которые приходили вместе с западными художниками, мастерами, сведущими людьми.

В XVI в. быстро развивавшаяся в Москве переводная литература (преимущественно с латинского, немецкого и польского языков) также вела к заимствованиям иностранных слов, тем более, что переводчиками нередко были «иноземцы». Но до XVII в. западноевропеизмы (если не включать в их число грецизмов) не играли заметной роли в лексической системе русского литературного языка (ср. списки непонятных иностранных слов в старорусских словарях и азбуковниках)[5]. В XVII в. положение вещей изменяется. «Южнорусская» образованность влечет за собой весь арсенал латинизмов, укоренившихся в книжной традиции и в разговорной речи образованных слоев Юго-Западной Руси. Распространению латинских слов, оборотов, конструкций содействует усиленная переводческая деятельность.

О переводной литературе XVII в. акад. А. И. Соболевский писал: «Кажется, что большая часть переводов этого столетия сделана с латинского языка, т. е. с того языка, который в то время был языком науки в Польше и в Западной Европе. За латинским языком мы мо-

---

[1] *Варнеке Б. В.* История русского театра. 2-е изд. СПб., 1913, с. 37.

[2] См.: *Тихонравов Н. С.* Русские драматические произведения 1672—1725 гг., т. 1, с. XXI.

[3] *Тихонравов Н. С.* Русские драматические произведения 1672—1725 гг. Примечания. т. 2, с. 550—554.

[4] См.: *Шляпкин И. А.* Царевна Наталья Алексеевна и театр ее времени. — В кн.: ПДПИ. СПб., 1898, вып. 128, с. 8.

[5] Ср., например, список иностранных слов, заимствованных в допетровское время: *Булаховский Л. А.* Исторический комментарий к литературному русскому языку, с. 19—20*[1].

жем поставить польский, которым владело большинство наших переводчиков и на котором часто писали южно- и западнорусские ученые. В самом конце должны быть поставлены языки немецкий, белорусский и голландский. Переводов с других языков Западной Европы мы не знаем, хотя в числе наших приказных переводчиков были люди, владевшие французским и английским языками»[1].

Наконец, с организацией латинских школ в Москве знание латинского языка распространяется среди привилегированных слоев духовенства, разночинной интеллигенции и дворян. Латинский язык «причисляется к лику» коренных языков — греческого и славянского. Таким образом, латинский язык как бы подготовляет путь влиянию национальных литературных языков Западной Европы. Высшие слои населения Московского государства «языку латинскому в то время старались придать особенную политическую значительность и называли его языком «единоначальствия», т. е. языком, напоминавшим цветущие времена римской монархии»[2]. Ф. Поликарпов в предисловии к своему «Лексикону» писал о латинском языке: «Латинский диалект ныне по кругу земному паче иных во гражданских и школьных делех обносится».

Вместе с тем латинский язык в сфере церковной жизни становится проводником идеологии католицизма, его догматики, его церковно-политических идеалов. Все это создает почву для сближения русского литературного языка с западноевропейскими языками. Из латинского языка входит в русский литературный язык целый ряд школьных и научных терминов, например в области риторики: *орация*, *ексордиум* (начаток, вступление), *наррация* (повесть), *конклюзия* (конец, заключение), *аффект*, *конверзация*, *фабула* (басня) и др. под.; в области математики: *вертикальный*, *цыркуль*, *субстракция*, *адиция*, *нумерация*, *мультопликация* (ср. в учебных тетрадях Петра I[3]), *инструменты математецкие* и др.; в географии: *глобус* или *глоб армилярный*[4] и др.; в астрономии: *деклинация*, *минута*, *градус* и т. п.; в артиллерии и вообще военном деле: *дистанция*, *фортеция* и др. Много слов относится к сфере «*юриспруденции*», административного устройства и гражданского «обхождения»: *апелляция*, *капитулы*, *персона*, *инструкция*, *гонор*, *церемония*, *фамилия*, *фортуна*, *форма*, *фундамент* (см. словарь Ф. Поликарпова) и др. Вообще гражданский язык высших слоев в его деловом и общественно-бытовом употреблении начинает склоняться к латинским словам.

Очень интересны указанные акад. А. И. Соболевским[5] в одном переводе XVII в. лексические и фразеологические кальки, снимки с латинских слов и выражений: *перескок* (transfuga), сиречь изменник;

---

[1] *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв. СПб., 1903, с. 50.

[2] *Смирнов С. К.* История московской Славяно-греко-латинской академии, с. 82.

[3] Письма и бумаги Петра Великого. СПб., 1887, т. 1.

[4] Там же, с. 26.

[5] См.: *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв., с. 126.

небесное знамя (signum, знак зодиака). Ср. также такие новообразования XVII в. как междометие (interjectio), наклонность (inclinatio), *хранить молчание* (silentium servare) и т. п. Любопытно, что в эту эпоху и греческие слова, раньше усвоенные русским языком в «еллинской» форме, латинизируются, меняя свой фонетический облик, а иногда и ударение, например: *цикл*, *центр* (вместо *кентр*), *акаде́мия* (вместо *академи́я* — см. словарь Ф. Поликарпова) и т. д. Помимо лексики и семантики влияние латинского языка повело к изменению синтаксической системы русского литературного языка. Новый порядок слов, конструкция предложения и периода с глаголами на конце, отдельные обороты вроде accusativus cum infinitivo (вин. с инфинитивом), nominativus cum infinitivo (им. с инфинитивом) и др. укрепились в русской литературной речи конца XVII в. под воздействием латинского языка.

§ 8. ПОЛЬСКОЕ ВЛИЯНИЕ В СРЕДЕ ДВОРЯНСКОЙ АРИСТОКРАТИИ

Влияние латинской культуры усиливалось и подкреплялось распространением знания польского языка в кругах русского дворянства. Среди русского дворянства в XVII в. в период польской интервенции растет интерес к польскому языку и польской культуре, искусству [1]. В придворном и аристократическом быту развивается «политесс с манеру польского». В русский литературный язык, в разные его стили решительно вторгаются польские слова и обороты. Появляются в большом количестве переводы с польского языка, переполненные полонизмами. Польский и латинский языки входят в обиход дворянской аристократии. «Заимствование форм польского общественного быта повлекло за собой перенесение целой атмосферы понятий, выработанных в польском шляхетском обществе, и усвоение привычек шляхетского общежития»[2].

К концу XVII в. знание польского языка является принадлежностью образованного дворянина.

Инок Авраамий так писал об этом «Христианоопасном щите веры»: «Мнози ж ныне, гордостию превознесшись, языком словенским гнушаются, в немже крестишася и сподобишася благодати божия, иже широк есть, и великославен, совокупителен и умилен, и совершен паче простого и лятцкого обретается»[3]. Элементы западноевропейских языков — латинского и польского — не только проникают в систему церковнославянского языка, но содействуют секуляризации, «обмирщению» славянизмов. Изданный в 1670 г. (при царе Алексее Михайловиче) «Лексикон языков польскаго и славенскаго» так определял внутренние отношения польского и «славенского» языков: «Из единого славенского языка бе разность языков и помешания множество

---

[1] См.: *Шляпкин И. А.* Димитрий Ростовский и его время, с. 58—92.

[2] *Левицкий О. И.* Основные черты внутреннего строя западной русской церкви XVI и XVII вв.— Киевская старина, 1884, вып. 8, с. 640.

[3] Материалы для истории раскола за первое время его существования/Под ред. Н. Субботина. М., 1885, т. 7, с. 14.

(глаголю и польского) удаляющегося отца своего природства, славы славнейшего древнего славенского языка, вмещением латинского и французского и прочих языков... Но слово славенско явственно и во ухитровании познаваемо, и сея ради вины написах лексикон прежде польским, по нем славенским языком, да прочитающии их или преводящии из тех языков уведят силу ко уразумению правописательства и положений речения, в коем языце како имать быти согласие, в общую пользу обоих в единстве народов»[1]. Таким образом, польский язык осознается как европеизированная разновидность славянской речи.

Полонизмы получают широкое распространение, особенно в дворянской среде, являясь составным элементом не только литературного, но и бытового словаря высшего общества. Тут и чисто польские слова, вроде *вензель*, *место* (город), *квит*, *особа*, *посполъство*, *опека*, *пекарь*, *писарь*, *весняк* (в «Великом зерцале»: wiesniak — простолюдин, селянин), *допоможение* (Котошихин), *мешкать*, *гарнец* и др., и польские образования от немецких корней, например: *бляха*, *кухня*, *рисунок*, *рисовать*, *мусить* и т. п., и польские кальки немецких слов: *духовенство* (Geistlichkeit), *правомочный* (rechtskraftig), *мещанин* (Burger), *обыватель* (Bewohner), *право* (в значении jus; немецкое Recht) и др., и слова общеевропейские в польском фонетическом обличье, вроде *аптека*, *пачпорт*, *музыка*, *папа* и др., и латинизмы в польской переработке: *суптельный*, *маестат*, *оказия*, *персона*, *приватный*, *презентовать*, *мизерный*, *фортеца* (крепость) и т. п.

Польское влияние сказалось на синтаксической системе русского литературного языка, придав некоторым словам новые формы управления, вызвав новые формы словосочетания (см. следующую главу)[2].

§ 9. СЛЕДЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО ФЕТИШИЗМА ПЕРЕД «СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ» В СФЕРЕ ЦЕРКОВНОКНИЖНОЙ РЕЧИ

Новые, европейские тенденции в составе церковнославянского языка разрушали цельность его семантики, колебали образно-идеологические и религиозно-мифологические основы его смыслового строя. Для старорусского книжника из среды духовенства и феодальной знати не только литературное изображение, но и бытовое переживание мира в религиозном аспекте было подчинено образам и символическим схемам церковной мифологии. Все формы языка, вплоть до грамматических категорий, понимались и толковались как непосред-

---

[1] Цит. по: Библиотека Московской синодальной типографии. М., 1899, вып. 2. Сборники и лексиконы. Описал Валерий Погорелов, с. 101—102.

[2] Заслуживает внимания мысль Gunnar Gunnarsson (Recherches syntaxiques sur la décadence de l'adjectif nominal en Slave. Paris, 1931), что украинско-польскому влиянию в XVII — начале XVIII в. обязаны своим появлением в составе сказуемого, содержащего вспомогательный глагол или вообще глагол с ослабленным вещественным значением, формы членных имен прилагательных (вроде *сколь есть богатый*).

ственное отображение религиозных сущностей и церковных догматов. Казалось, что изменение формы слова, перемена имени чего-нибудь влечет за собой искажение самого существа религиозного понятия или предмета культа. «Священное» слово представлялось наделенным религиозно-магической силой.

Чрезвычайно показательны для этой стадии понимания и употребления церковнокнижного языка суждения раскольников, защитников старых форм религиозного выражения, отражающие во всей непосредственной яркости мифологический процесс реального восприятия церковных имен и церковной фразеологии. Поборники церковной старины восставали против замены одних слов другими, так как от этой замены, по их представлениям, искажается внутреннее существо предметов культа и подлинная связь лиц и вещей в мире религиозного созерцания.

Никита Константинов Добрынин («Пустосвят»), один из вождей и мучеников раскола, пишет: «...Он, Никон, словенское наречие превращал и бутто лучшее избирал и печатал вместо *креста* — *древо*, вместо *церкви* — *храм*.., вместо *обрадованная* — *благодатная* и прочие речи изменил: и то ево изменение само ся обличает, — посему, что *крест* ли лучше и честнее глаголати, или *древо*? и *церковь* ли честно писати, или *храм*? Ей всяко речется, что *крест* честнее *древа* благодати, а *церковь храма*»[1]. Таким образом, Никита Добрынин категорически отвергает замену слов *церковь* — *храмом* и *креста* — *древом*, так как эта замена, по его мнению, унижает «честь и честность» самих предметов. Еще характернее протест его против замены выражения молитвы *тебе молятся звезды* выражением *тебе собеседуют звезды*. Он понимает этот образ как обозначение реального отношения звезд к богу. Никита Пустосвят поэтому категорически отрицает применимость самого слова *собеседовать* к этой ситуации. Ход его мыслей таков: даже ангелы не *сопрестольны*, т. е. не сидят за одним столом, престолом, с богом и, следовательно, не могут беседовать с богом как с равным. Тем более нельзя сказать это про звезды: «А о звездах в писании не обрящется, чтоб собеседницы богу писались»[2].

Против этого мифологического истолкования рационалист-западник Симеон Полоцкий выдвигает символическое объяснение. Он должен был доказывать, что речь идет о метафорическом изображении гимна природы божеству, а не «о собеседовании устном или умном, ибо звезды ни уст, ниже ума имеют, суть бо вещь не одушевленная»[3].

Так устанавливается социально-стилистический контраст между русским литературным языком, реформирующимся на основе западноевропейских традиций, на основе украинско-латинско-польского

---

[1] Цит. по: *Румянцев И.* Никита Константинов Добрынин. Сергиев Посад. 1917. Приложения, с. 387; ср. протест Тредиаковского против употребления Сумароковым слова *церковь* в значении «храма», «капища» (*Пекарский П. П.* История Академии наук в Петербурге. СПб., 1873, т. 2, с. 461).

[2] Цит. по: *Румянцев И.* Никита Константинов Добрынин. Приложения, с. 339; ср. в исследовании с. 380.

[3] *Симеон Полоцкий.* Жезл правления. 2-е изд. М., 1667, л. 43; *Румянцев И.* Никита Константинов Добрынин, с. 381.

просвещения, и между старомосковским церковнославянским языком. Древняя московская традиция постепенно уходит в раскольничье подполье, однако подвергается здесь своеобразному опрощению.

§ 10. НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ СТИЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА. ПРОЦЕСС ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА К РАЗГОВОРНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Стили старомосковского церковнославянского языка культивировались и охранялись в раскольничьей среде. Тут в высоких жанрах развивалась традиция «плетения словес», продолжалась разработка того высокопарного книжного стиля, который восходил к старой церковнобогослужебной речи и опирался на традиционную идеологию, лексику и фразеологию средневековья (ср., например, славянский язык сочинений соловецкого инока Герасима Фирсова[1]). Но архаические формы фразеологии, свободные от европейской изысканности, были ближе к народной речи. И тут же, рядом с охраной традиций «славянского» языка, уживаясь с ними в одних и тех же стилях, глубоко проникает в письменность живая устная речь, идет борьба за литературные права народного языка, т. е. письменной и разговорной речи широких слоев народа. Наиболее ярким выражением этих демократических тенденций в системе церковнолитературного языка являются некоторые раскольничьи сочинения — например сочинения идеологов и руководителей раскола (диакона Федора *[1], Епифания *[2], Аввакума *[3]) «Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей» и др. Так, протопоп Аввакум подчеркивает свое «небрежение о красноречии», «о многоречии красных слов». Он прямо называет свой язык «просторечием», «природным» т. е. исконным русским языком, противополагая его «виршам философским», т. е. языку книжников, усваивавших юго-западную культуру, языку латино-польской книжности, западноевропейского схоластического образования. «Не позазрите просторечию моему, — пишет Аввакум в одной из редакций своего жития, — понеже люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обык речи красить, понеже не словес красных бог слушает, но дел наших хощет». Необходимо помнить, что «просторечие» противополагается «красноречию», а не вообще церковнославянскому языку. Очевидно, в понятии просторечия сочетались стили разговорно-бытового русского языка, не имевшие тогда устойчивых норм, хотя и имевшие в каждой социальной среде свои приметы, свои отличия, — и церковнославянская, но не «высокая», не витийственная стихия. «Природной русской язык» в понимании Аввакума и вмещался в эти границы. В «Книге толкований и нравоучений» Аввакум более подробно раскрывает свой взгляд на русский литературный язык в обращении к царю Алексею Михайловичу: «Воздохни-тко по-старому... добренько и рцы по русско-

[1] См.: *Никольский Н. К.* Сочинения соловецкого инока Герасима Фирсова по неизданным текстам.— ЦДПИ. СПб., 1916, вып. 158.

му языку: *господи, помилуй мя грешного*... А ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком, не уничижай ево и в церкви, и в дому, и в пословицах. Как нас христос научил, так и подобает говорить. Любит нас бог не меньше греков; предал нам и грамоту нашим языком Кирилом святым и братом его. Чево же нам еще хощется лутше тово? Разве языка ангельска?» (с. 475)[1]. Таким образом, «просторечие» противостоит и высоким «еллино-славянским стилям» литературного языка и ухищрениям юго-западной риторики. Свой стиль просторечия Аввакум называет «вяканьем». «Вяканье» обозначает более фамильярную, бытовую сферу народной устной речи. О том пренебрежительно-ироническом тоне, той простонародной окраске, которой были окружены в языке книжника XVII в. слова *вяканье*, *вякать*, дают представление такие цитаты из «Отразительного писания о новоизобретенном пути самоубийственных смертей»[2]: «Мужик тот, што мерен дровомеля деревенской, честнее себе и лутчи лаеть и бранить и пред госпожами своими невежливо седить и вякает и бякает, на все наплевать» (с.49); «Ныне еще есть учитель, бедной старчик-черничик, учит по уставам диким и лешим, вякает же бедной, что кот заблудящей» (с. 57)[3].

Литературное просторечие XVII в. («вяканье») не подчиняется принятым в «славенском диалекте» нормам. Оно нередко характеризуется свободным проявлением фонетических особенностей живой, иногда областной речи (например, оканье или аканье, *е* вместо *я*, *о* или *я* вместо неударного *е*, взрывное или фрикативное произношение *г* и т. п.), ее морфологии (разговорные формы склонения; более частое употребление формы прошедшего времени типа: *читал*, *видел*; редкость форм аориста и имперфекта, причастий и т. п.) и синтаксиса (ср. конструкцию предложения, не осложненного распространениями, с глаголом как синтаксическим центром, вокруг которого располагаются два-три дополнения или наречия, ср. обилие бессубъектных и неполных предложений; редкость причастных присоединений; отсутствие развитого периода, господство «присоединительных» форм сочинения при слабой организованности подчинительных конструкций или смешении их с формами сочинения). Степень обнаружения устной «стихии» речи и ее характер зависели, с одной стороны, от темы, ситуации, речи, а с другой — от принадлежности пишущего лица к той или иной социальной группе[4].

Но главное, в тех литературных стилях, которые ориентировались

---

[1] Сочинения протопопа Аввакума/Под ред. П. С. Смирнова.— Памятники истории старообрядчества XVII в. Л., 1927, кн. 1, вып. 1. В скобках указаны страницы к этому изданию.

[2] См.: Памятники древней письменности. СПб., 1895, вып. 108.

[3] См.: *Виноградов В. В.* О задачах стилистики. Наблюдения над стилем «Жития протопопа Аввакума». — Сб.: Русская речь, Л., 1923, вып. 1*[4].

[4] Ср. работу П. Я. Черных, посвященную изучению преимущественно фонетики и морфологии языка Аввакума: Очерки по истории и диалектологии северно-великорусского наречия. Ч. 1—2. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» как памятник северно-великорусской речи XVII столетия. Иркутск, 1927.

на устную речь, происходила своеобразная «нейтрализация» церковнославянизмов приемами их конкретно-бытового осмысления, осуществлялся отбор церковнославянских выражений — применительно к уровню понимания, не искушенного в синтаксических ухищрениях и лексико-фразеологических условностях высоких «философских» стилей духовной и светской знати.

В «демократических» раскольничьих стилях русской литературной речи XVII в. живая народная речь была вовлечена в смысловую атмосферу церковнокнижного языка и, так сказать, «освящена» им. В литературном языке XVII в. по разным направлениям намечался выход из традиционных границ. Борьба и взаимодействие двух церковнокнижных языковых систем — московской и киевской — сопровождались резкой социальной дифференциацией стилей литературного языка.

Медленно угасали, замыкаясь в узкую сферу профессионально-церковных интересов, «еллино-славянские» стили, подчиненные правилам греческой риторики. Зато пышно расцветают (особенно в кругах правящей светской и духовной знати) литературные стили, связанные с западноевропейской схоластической культурой, с влиянием средневековой латинской книжности и польской литературы. Но «центробежные», антинациональные тенденции получают резкий отпор со стороны широких народных масс.

Естественной реакцией против заимствованных форм выражения было обращение к «коренным», т. е. к наиболее употребительным, формам церковнославянского языка и к «природному русскому языку», к народному языку, элементы которого у разных лиц, в разной степени и с разной силой проникают в церковную проповедь, в богословские трактаты, в высокие литературные сферы социально-языкового общения. Сочинения протопопа Аввакума особенно ярко отражают эту тенденцию стилистического «смешения», широкого ввода в литературу народного разговорного языка, в то время как у иных вождей раскола, например у Епифания, преобладает тенденция стилистического «опрощения» церковнославянской речи. В языке протопопа Аввакума создавались новые стилистические единства посредством семантических взаимопроникновений разговорных и церковнокнижных форм. «Крайности» сталкивались и сливались в стилистические единства. Так формировались новые «средний» и «низкий» стили. «Смиренный род иже не восстает над обычаем повседневного глаголания» (как выражается риторика XVII в.) включал в себя церковнобиблейские цитаты, религиозную символику. А рядом, в отрезках отвлеченного богословствования, показывались формы высокой речи, где от метафор и от «дальнейших вещей приятных размножение достаточно делается»*[5]. В демократических стилях литературного языка лексический и фразеологический состав церковнославянской речи был иной по сравнению со «славенским диалектом» «красных» стилей духовной и светской аристократии. Для церковнокнижной символики демократических стилей существенно то, что она почти целиком слагается из наиболее употребительных церковнобиблейских фраз, т. е. групп слов, почти сросшихся, органически слитых в лек-

сические и семантические единства. Таковы, например, церковнобиблейские формулы в языке протопопа Аввакума [1].

Завопил высоким гласом (68); неразложимое единство этого речения очевидно из такого словосочетания в «Девгениевом деянии» (по сборнику Погодина, № 1773); *завопи гласом велиим велегласно* (356); ср. в «Житии» Епифания: *завопел великим голосом* (237); ср. Евангелие Матфея (XXVII, 50); в Апокалипсисе VI, 9—10; *возопиша гласом великим*, ср. ту же формулу в «Книге бесед» у протопопа Аввакума (251).

Воздохня из глубины сердца (70); ср. в «Житии» Епифания (Летопись занятий Археографической комиссии, вып. XXIV): *воздохну из глубины сердца моего* (252); в «Сказании о последних днях жизни митрополита Макария», изданном Г. Кунцевичем: *воздохнув из глубины сердца своего* (28); ср. в послании Аввакума к Морозовой: *из глубины сердца твоя воздыхания утробу твою терзаху* (409); *с воздыханием из глубины сердца разторгши узы седящих в темницах* (471).

Вся сия яко уметы вменил (45); ср. в послании филиппийцам (III, 8): *вменяю вся уметы быти;* ср. службу 29 июня ап. Петру и Павлу, канон, песнь I, троп. 3: *вменил еси вся уметы.*

Убойся бога, седящего на херувимех и призирающего в бездны (22); ср. в Отразительном писании: *убойся страшнаго, седящаго на херувимех и призирающего в бездны* (20) и т. п.

Умягчил ниву сердца ее (112); ср. в «Книге бесед»: *семя словеси божия на ниве сердца их подавлено* (314) и мн. др. под.

Особенно многочисленны буквальные цитаты изречений из так называемого Священного писания и из наиболее употребительных церковных книг, обычно без указания источника и с приурочением смысла их к описываемым событиям. Например, в «Житии» протопопа Аввакума: *бог излиял фиал гнева ярости своея на русскую землю* (4); *излиял бог на царство фиал гнева своего* (20); *ох горе! всяк мняйся стоя да блюдется да ся не падет* (16); *посем разумея мняйся стояти, да блюдется да ся не падет* (81); ср. ап. Павла «Первое послание корифянам» (X, 12) и мн. др.

Таким образом, из церковнославянского языка черпается традиционная фразеология, непосредственно направляющая религиозное сознание слушателя к знакомому церковнобиблейскому контексту.

Но и эти церковнокнижные фразы и символы приспособлялись к разговорной речи, переосмыслялись на основе ее семантики, сопоставлялись с выражениями русского бытового языка, пояснялись его синонимами. Характерны такие примеры из сочинений протопопа Аввакума. Из «Жития»: *бысть же я... приалчен*, сиречь есть захотел (16); *возвратилося солнце к востоку*, сиречь назад отбежало (50). Из «Книги бесед»: *и возратися в дом свой тощь*, не пригнал скота ничево (331); *на высоких жрал*, сиречь

---

[1] Сочинения протопопа Аввакума/Под ред. П. С. Смирнова.— Памятники истории старообрядчества XVII в. Л., 1927, кн. 1, вып. 1. В скобках указаны страницы по этому изданию.

на горах болванам кланялся (467); *зело древо уханно, еже есть* вони исполнено благой (522); *сотвори человека*, сиречь яко *скудельник скуделу*, еже есть горшешник горшок (668); *ангел... древле восхитил Авраама выспрь*, сиречь на высоту к небу и др.

Те же приемы реалистического национально-бытового понимания и изображения характеризуют и употребление церковнобиблейских метафор и аллегорий. В «Книге бесед», толкуя «апостольское слово» Павла (первое послание коринфянам, V, 7—8): *яко мал квас все смешение квасит»*, Аввакум так поясняет значение «приводной речи», т. е. иносказания: «Павел... глаголет приводную речь, указуя не в квас, якоже в квас: от мала великая прокиснет, тако и в вас от злоб и лукавства добродетели будут непотребни» (372). Ср. еще пример перевода церковнославянской метафоры на общий язык: *«Поспешим и потщимся, дондеже солнце не зайде, сиречь смерть не постигла* (там же, 379). Просторечные выражения, вовлекаясь в систему литературного языка, подставляются под церковнокнижные формулы, скрещиваются с ними и придают им конкретно-бытовой облик. Примеры из сочинений протопопа Аввакума: *держись за христовы ноги* (81); ср. в «Книге бесед»: *и сам дьявол не учинит вам ничево, стоящим и держащимся за христа крепце* (411); ср.: *не догадались венцов победных ухватити* (62); *за правило свое схватался, да и по ся мест тянусь помаленьку* (43); *бог старый чудотворец* (64); ср.: *полны сети напехал бог рыбы* (231); *вот, бес, твоя от твоих тебе в глаза бросаю* (226); из «Книги бесед»: *само царство небесное валится в рот* (253)[1] и мн. др.

Вместе с тем церковнославянская фразеология, оказавшись в непосредственном соседстве с просторечными выражениями, в их смысловой атмосфере теряет свою высокопарность, ассимилируется с разговорной речью. Например: *Логин же разжегся ревностью божественного огня*[2], *Никона порицая, и через порог в алтарь в глаза Никону плевал* (17); *Так меня Христос-свет попужал и рече ми: «По толиком страдании погибнуть хочешь? Блюдися, да не полма разсеку тя»* (46)[3]; *Запрещение то отступническое... я о Христе под ноги кладу, а клятвою тою — дурно молыть — гузно тру. Меня благословляют московские святители* (40); *и я... ко богородице припал: владычице моя, пресвятая богородице, уйми дурака тово, и так спина болит* (180—181); ср. *владыко человеколюбче... посрами дурака тово, прослави имя твое святое* (231); *Венец тернов на главу ему там возложили, в земляной тюрьме и уморили* и др.

---

[1] В «Книге бесед»: *а иной вор церковной, с просвир христов крест схватил, да крыж римской положил* (368).

[2] Ср.: в «Книге бесед»: *«разжегшася любовью духа;* в «Книге обличений»: *воздыхает огнем божественным снедаем; разгорится дух огнем божественным;* в послании сибирской «братии»: *огня ревность поясти хощет сопротивныя* и др.

[3] Ср. в письме к попу Исидору: *Читал ли ты, старый друг, мои правила? Пишет там: проклят всяк творяй дело божье с небреженьем. Блюди я, да не полма растесан будеши* (946); ср. «Евангелие» Матфея, XXIV, 51; ср. в «Книге обличений»: *да, петь себе, перестань лаять — тово на святая, полма растесан будешь в день он, вор церковной* (624).

Отсюда возникают: смысловой параллелизм церковнославянского языка и просторечия, прием стилистических сопоставлений, перевода речи с одного стиля на другой. Например, в «Житии»: *на нем же камень падет, согрыет его... слушай, что пророк говорит со апостолом, что жернов дурака в муку перемелет* (175).

Так создается своеобразная атмосфера идеологического взаимоосвещения церковнокнижного и бытового народного языка. Одни и те же образы колеблются между библейской и обиходной разговорной лексикой. Например, евангельский образ волка то облекается в церковнославянизмы, то в просторечные формулы: *сии бо волцы, а не пастыри, душегубцы, а не спасители* (467). И рядом: *Дети, чему быть? волки то есть. Коли волк овцы жалеет? Оне бы и мясо то мое съели* (123); *Наши, что волчонки, вскоча завыли* (59); *волки то есть не жалеют овец* (52); ср. *Мотаюсь... посреде волков яко овечька или посреде псов яко заяц* (192); *со Христом и большому тому волку, хохлатой той собаке глаз вырву, нежели щенятам* (949).

Таким образом, в национально-демократических стилях русской литературной речи конца XVII в. система церковнославянского языка, охраняемая от западных новшеств, выступает не как замкнутая сфера архаических форм церковнобогословского выражения, но как основной структурный элемент общественно-бытовой речи. В повествовательных, эпистолярных и публицистических жанрах церковнославянский язык приближен к просторечию, приспособлен к его семантическим формам и, в свою очередь, притягивает их к себе. Яркой иллюстрацией этого взаимодействия церковных образов с устно-бытовыми и народнопоэтическими в языке Аввакума может служить фразеология, окружающая слово *бес*[1]. Свою борьбу с бесами Аввакум рисует в тех же реалистических тонах, что и отношения к никонианам (*бился я з бесами, что с собаками* — 71). Но трагический колорит здесь совсем ослаблен. Лишь при экспрессии иронического или ласково-великодушного снисхождения образы никониан сопоставляются с бесами, иногда метафорически приравниваются к ним: *хотя маленко оплошися: тотчас ограбят до нага и сволокут ризу святого крещения, так стал игралище бесом, не попал никуды, толко разве в пекл огненный* (463). Слово бес у Аввакума выступает обычно как синоним скомороха, как обозначение драчуна (73), вора и беспокойного скандалиста, любителя «поиграть» в разных смыслах этого слова (ср. значения слова *игрец* в современных народных говорах. — Словарь русского языка, составленный II отделением Российской академии наук, 1922, т. 3, вып. 1, с. 107)[2 *6].

Прокуда-таки ни бес ни што был в ней, много времени так в ней играл (76).

Бесовским действом скачет столик на месте своем... И егда в трапезу вошел, тут иная бесовская игра (вариант: *бесовская игрушка* — 227).

---

[1] Об эволюции образа беса в русской литературе см. статью *Буслаева Ф. И.* «Бес». — В кн.: *Буслаев Ф. И.* Мои досуги. М., 1886, ч. 2.

[2] О традиции этого образа беса-игреца, скомороха см.: *Фаминицын А. С.* Скоморохи на Руси. СПб., 1889, с. 69 и след; 76, 114, 159 и след.

Вскочиша бесов полк в келью мою з домрами и з гутками, и один сел на месте, идеже просвира лежала, и начаша играти в гутки и в домры, — а я у них слушаю лежа... (228).

В стиле Аввакума вообще намечаются две основные тенденции изображения «беса». Бес рисуется чаще всего как «скоморох», собирая вокруг себя весь тот обличительный лексикон, которым оружены были в церковной проповеди скоморошьи игры и образы скоморохов.

В «Послании братии на всем лице земном» к «нынешним духовным» (т. е. к официальному духовенству) непосредственно один за другим — применяются названия бесов и скоморохов: *словом духовнии, а делом беси: все ложь, все обман... По всей земли распространися лесть, а наипаче же во мнимых духовных. Они же суть яко скомраси ухищряют и прельщают словесы сердца незлобных...* (780).

В этом плане бес и становится «игрецом»[1].

В иных случаях, более редких, бес представляется в облике светского щеголя: *И бес блудной в души на шее седит, кудри бедной разчесывает, и ус разправляет посреде народа. Силно хорош, и плюнуть не на ково...* (541). Впрочем, в обличительной литературе образы шута-скомороха и щеголя сливались[2].

Национально-демократические стили литературного языка XVII в. широко пользуются приемом смешения церковнокнижного языка с бытовым просторечием, даже в его вульгарных проявлениях. Это просторечие иногда как бы соприкасается с языком крестьянства, но не сливается с ним, вращаясь преимущественно в сфере форм фамильярно-бытового языка разных слоев городского населения.

Слово *мужик*, например, в языке Аввакума чаще всего было окрашено эмоциональным тоном пренебрежения. И Аввакум охотно использует его в своих презрительных отзывах о «шептунах» и «волхвах»: *смалодушничав, она... послала ребенка к шептуну-мужику* (33). *Волхв же той мужик...*[3] *привел барана живова в вечер и учал над ним волховать, вертя его много и голову прочь отвертел* (34). При помощи слова *мужик* Аввакум нередко обостряет изображение «всегубительства» никониан. Например, образ «обруганных» мучеников вызывает у Аввакума сравнение с «мужиками деревенскими»: *острижены и обруганы, что мужички деревенские* (60). Иногда Аввакум

---

[1] *Ныне пускай их поиграют с бесами теми заодно над Христом, и над Николою и над всеми святыми с богородицею спасом нашим, да и над нами бедными, что черти над попами — пускай возятся.* (285)... *всю невесту Христову разорили. Разорили римляна, воры... разорили, зело обезчестили. Бесятся, играют в церкве той. Кой что ухватил, тот то и потащил* (367).

[2] Ср.: *Фаминицын А. С.* Скоморохи на Руси. СПб., 1889. Любопытна проблема: идеологически отрицая скоморошье искусство, не перенес ли Аввакум некоторые его формы в литературу? В высшей степени любопытно применение слова «играть» к Лазарю для обрисовки его психического состояния после казни (отсечения языка): *Я на третий день у Лазаря во рте рукою моею гладил: ино гладко; языка нет, а не болит, дал бог. А говорит яко и прежде, играет надо мною: «Щупай, протопоп, забей руку в горло-то, небось, не откушу!». И смех с ним, и горе! Я говорю: «Чево щупать? На улице язык бросили!»* (212).

[3] Ср. также название *мужик* в применении к «темному человеку», когда он «задавил» протопопицу (31).

вкладывает презрительную кличку *мужик* в речь гонителей: «Вопросил его Пилат: «Как ты, *мужик*, крестишься?» Ср. рядом торжественно-книжное определение профессии этого кожевника Луки лично от Аввакума: *усмарь чином* (62). Ср. «И без битья насилу человек дышит... да петь работай, никуды на промысел не ходи; и верьбы бедной в кашу ущипать збродит и за то палкою по лбу: не ходи, *мужик*, умри на работе» (182).

Социально-экспрессивная окраска слова *мужик* отчасти распознается и в таком отрицательном параллелизме: *Бес-от веть не мужик: батога не боится; боится он креста Христова* (29)[1].

Язык Аввакума лишь в более яркой и художественной форме отражает некоторые общие тенденции борьбы за литературные права народной речи в XVII в. (Ср. приемы смешения церковнославянизмов с элементами живой устной речи в письмах боярыни Морозовой, в письмах дьякона Федора, в переписке дворян Леонтьевых, отчасти в «Житии» Епифания и многих других памятниках раскольничьей письменности)[2].

§ 11. СВЕТСКО-ДЕЛОВАЯ РЕЧЬ И ГОРОДСКОЕ ПРОСТОРЕЧИЕ

Вопрос о социальных стилях светско-деловой речи и живого русского разговорного языка является одной из основных проблем истории русского литературного языка XVII—XVIII вв. Степенью участия народной речи, просторечия в жизни литературного языка определялась степень национализации, русификации церковнославянского языка. А с другой стороны, в зависимости от характера отношений социальной группы к книжной культуре находился тот или иной уровень «литературности» стилей живой устной речи. Ведь просторечие и народный язык не только питают литературную речь и стили письменно-делового языка, но и сами питаются их соками.

В процессе социального расслоения просторечия, в процессе дифференциации устной речи разных общественных групп очень значительной была роль школы, роль «учебника». Обучение грамоте в XVII в. происходило по церковнославянским книгам, причем их текст заучивался наизусть. Этим путем в устную речь разных слоев общества должно было проникнуть из учебных «псалтырей» и «часословов» много церковнославянизмов, особенно в области лексики и фразеологии. Таким образом, уже в XVII в. в просторечии циркулировали такие славянизмы, как *возвращать, наслаждаться, заблуждаться, смущать, рассуждать, понуждать, надежда, одежда, краткий, призрак, враг, распря, разный, влажный, мрачный*, причастия на *-щий* и многие другие. Однако всесторонне описать разные стили разговорной речи в конце XVII в. и проследить процесс их эволюции — при

---

[1] Ср. статью Н. К. Гудзия «Протопоп Аввакум как писатель и как культурно-историческое явление» в издании: Житие протопопа Аввакума, им самим написанное и другие его сочинения. М., 1934.

[2] См.: *Барсков Я. Л.* Памятники первых лет русского старообрядчества.— В кн.: Летопись занятий Археографической комиссии. СПб., 1912, вып. 24.

современном состоянии истории русского языка — очень затруднительно. Достаточно сопоставить язык писем и посланий царя Алексея Михайловича с языком писем и бумаг Петра I 80—90-х годов XVII в,. чтобы увидеть резкие изменения в составе русского разговорно-бытового и письменно-делового языка, обусловленные эволюцией литературной речи. Лексический состав, фразеология и синтаксис писем Петра I — иные. Например, в языке Петра I нередки синтаксические полонизмы (вроде *которая несравненною прибылью нам есть* и т. п.); господствует латинская конструкция с глаголом на конце предложения; чаще заимствованные слова; больше технических выражений. Хотя Петр I свободно владел формами высокого «славянского диалекта» (ср., например, письмо к патриарху Адриану в 1696 г.)*[1], но он допускал такое шутливо-ироническое смешение церковнославянизмов с мифологическими образами, которое не свойственно языку Алексея Михайловича. Например: *Корабѣль савсем отделан и окрещен во имя Павѣла апостола и Марсовым ладоном даволно курен в том же курении и Бахус припочьтен был давольно*[1].

Все это не только свидетельствует об изменении литературно-языковой формы в одной и той же социальной среде на протяжении полувека, но и говорит об увеличивающейся близости национально-бытового просторечия и стилей светско-делового языка к системе литературной речи. Особенный интерес представляют наблюдения над общественно-бытовым языком тех социальных слоев, для которых сфера употребления церковнославянского языка и самый объем церковнокнижной культуры были ограничены. Конечно, отчасти этот критерий можно применить и к дворянству, особенно мелкому и среднему, бытовая речь которого была близка к крестьянскому языку. Но в кругу городского населения по преимуществу такой общественной группой, которой были чужды высокие стили церковнославянского языка, заключавшие в себе квинтэссенцию литературности, были посадские люди, ремесленники, торговцы и т. п.

Кое-какие сведения о разговорном языке московского общества в конце XVII в. можно извлечь из Grammatica Russica H. Wilhelm'a Ludolf'a (1696). В диалогах, приведенных Лудольфом, есть отражения речи высшего общества. «Но в диалогах да и в фразеологических иллюстрациях грамматики Лудольфа,— правильно замечает Б. А. Ларин, — гораздо больше таких записей, которые своим содержанием ясно указывают на среду высшего и среднего купечества и тогдашней «технической интеллигенции» — крупнейших мастеров, специалистов. Трактат о богатствах и торговле России, заключающий книгу, не мог быть написан без широких связей с этой средой. В диалогах Лудольф упоминает о соседе докторе, о приятеле великом художнике — часовщике (37). Можно думать, что из этой социальной среды выхвачены Лудольфом такие, например, фразы:

Надобе купит только что нужно (64).

Много я издержал на стую работу, а жаль мне, что деньги не в мошне держал (64).

---

[1] Письма и бумаги Петра Великого, т. 1, с. 22, письмо 1694 г.

Есть такие, которие в одном пиру пропиют что во всем году нажили (66).

Отнеси бушмаки к сапожнику и вели их починит (56).

Луче дурачествоват неже краст (58) и др. под.

Весь пафос грамматических и лексических наблюдений Лудольфа клонится к убеждению, что и при посредстве «просторечия», на народном языке (in vulgari dialecto) можно выразить много полезных и славных для русской нации вещей, если только русские попытаются по примеру других народностей, развивать свой собственный язык и издавать на нем хорошие книги. Грамматика Лудольфа — призыв к переносу форм национально-бытовой речи в письменность и литературу. Не чужды агитационным отголоскам и те «разговоры» (in forma dialogorum modi loquendi communiores), которые приложены к грамматике. Они направлены иногда против узкой церковности и отстаивают религиозную свободу. Происходит, например, такая беседа о «службе божией». «Споры о божественных делех до смерти не люблю... Примечал, что меньше по христианскому живут которие болши о вере бранятся» (74)[1]. «Безумно сердится на человека, что он не самым обычием воспитан был, как мы. Прогневатся на человека что мысли ево не сходятся с моими мыслями равно как бы я хотел сердится что лице ево розличное от моево» (70). «Когда я найду доброго человека, его люблю и почестю, хотя он иной веры, и когда я вижу бездельника, ево не во что ставлю, хотя он мой сродня» (69—70). Присматриваясь к «идиоматизмам» грамматики Лудольфа (additi sunt dialogi et idiotismi nonnulli qui continent phrases in quotidiana vita occurrentes), исследователь должен признать, что в своих лексических и экспрессивных формах городское просторечие XVII в. несколько напоминает (конечно, при условии выделения грамматических и лексических архаизмов) язык дореволюционного «мещанства», мелкой буржуазии, впрочем, с двумя очень существенными оговорками: 1) если исключить категорию бытовых архаизмов и 2) если отвлечься от той идеологии, которая облекала язык образованного человека XVII в. довольно густым слоем славянизмов — при обращении к «высоким» темам разговора. Это свидетельствует об устойчивости и исторической преемственности «просторечия», по крайней мере некоторого фонда его фамильярно-бытовых шаблонов, в тех социальных слоях, которые не тронуты были западной цивилизацией. Вот «розличние речи простие», связанные с обрядностью «угощения»[2]: «Завтракал ли ты? — Я поздно ужинал вчерас, сверх тово я редко ем прежде обеда. — Изволиш с нами хлеба кушит? — Челом бью, дело мне. — Тотчас обед готов будет, девка, стели скатерт... — Мы не дожидалися гости, не суди, что я смел запрост тебя держат здес. — Болши приготовлено, неже надобе. — Пожалуй куши, не побрезгуй нашим кушением. — Я дожидаюся твою семью, жену. —

---

[1] В скобках ссылки на страницы грамматики.

[2] См. о грамматике Лудольфа статью Б. А. Ларина «О Генрихе Лудольфе и его книге».— В кн.: *Лудольф Г. В.* Русская грамматика, с. 9—40*[2].

Она еще в поварне. — Право, я не стану есть, покамест она не пришла. — Барен (т. е. парень), малец, поди в поварну и позови Ивановну...» и т. п.

Несмотря на то что диалог несколько искажен передачей иностранца, легко восстановить подлинную беседу. Любопытны в грамматике Лудольфа указания на отличия разговорного русского языка от церковнославянского. Тут отмечаются, кроме полногласия, *ч* вместо *щ*, *о* вместо *е* в начале слова, *ё (о)* вместо *е* «в последнем слоге»: pijosch, bijosch и т. п. Описываются некоторые морфологические примеры русской разговорной речи: 1) местный падеж ед. ч. на *-у* от имен существительных муж. р.; 2) род. пад. прилагательных муж. и ср. р. на *-во* вместо церковнославянского *-го*; 3) отсутствие в просторечии превосходной степени (superlativus) на *-ейший*; эти формы названы «славянскими»; 4) формы прошедшего времени на *-л*: *любил* вместо аориста *любих*. Показательно полное отсутствие во фразеологии форм аориста и имперфекта. Приводятся лексические параллели между русским и церковнославянским языком:

истина — правда;
рекл — сказал;
выну — всегда, вселди и т. п.

Вообще, в «Русской грамматике» Лудольфа приведено значительное количество синонимических серий слова — русских и церковнославянских.

Интересны также сведения о сосуществовании в разговорной речи форм двойств. и мн. ч. — *своема глазама* и *своими глазами* — при преобладании форм мн. ч., об употреблении им. пад. числительных — *пять, шесть* — и т. п. в функции количественного определения — без управления род. пад.: *пять попы*[1]; о господстве окончаний тв. пад. мн. ч. *-ами* в существительных муж. и ср. р.: *городами, древами* — при дат. и местн. пад. *городом, древом, городех, древех*[2]; об исключительном употреблении в просторечии русских (нецерковнославянских) форм склонения имен прилагательных; о сравнительной степени на *-и: моложи, больши, лутчи* и т. п.; о частном применении в быту ласкательных и уничижительных слов и мн. др. «Русская грамматика» Генриха Лудольфа, отражая грамматический строй живой русской разговорной речи XVII в., эмпирична и свободна от предвзятого доктринерства, свойственного прежним церковнославянским грамма-

[1] Двойственность конструкций при им. — вин. числительных *пять, шесть, седмь* и т. п. допускается и грамматикой Мелетия Смотрицкого. Там, наряду с конструкциями *пять хлеб, седмь светильник златых* и т. п. (т. е. в сочетании с род. пад. существительного) те же слова «многажды и прилагательных правилом существительных сочиняются», т. е. согласуются в падеже с именем существительным: *прием пять хлебы, седмь светильники, седмь мужи* и т. п. (с. 306 об. по москов. изд., 1648 г.)

[2] Ср. в парадигмах грамматики Мелетия Смотрицкого (московского издания 1648 г.) формы твор. пад. множ. ч. *клевретами* и *клевреты* (при дат. *клевретом* и местн. — «сказательном» — *клевретех), ярмами* и *ярмы* (при дат. *ярмом* и сказательном *ярмех); воинами* и *воины* и т. п. (при твор. двойств. ч. *ярмама, клевретама, воинама* и т. п.).

тикам, например «Славенской грамматике» Мелетия Смотрицкого. Примеры на употребление грамматических форм и категорий (например, типы союзов, наречий и т. д.) берутся Лудольфом из устной речи. Лудольф внес свежую струю в анализ форм русского глагола, опираясь на ту же живую грамматику разговорного русского языка. Он отметил важную роль глагольных приставок, установил близкую к школьным грамматикам XVIII и XIX вв.[1] схему наклонений и времен.

Таким образом, в «Русской грамматике» Лудольфа довольно рельефно выступает в своих морфологических, лексических и фразеологических особенностях система бытового просторечия как будущая структурная основа «природного», национально-литературного языка.

§ 12. СТИЛИ ГОРОДСКОГО ОБИХОДНОГО ЯЗЫКА

Эволюция быта, зарождение в нем новых форм этикета, влияние европейских обычаев — все это осложняет жанры русского обиходного языка и создает новые условия его стилистической дифференциации. Интересно для характеристики стилей городского письменного языка и городского просторечия сопоставить язык любовных писем подьячего приказной избы города Тотьмы Арефы Малевинского к сестре тотемского дьякона девке Аннице[2] (1688) и язык любовного послания, сочиненного денщиком полковника Цея (1698). Тут отчетливо выступает социальное расслоение бытовой речи. Подьячий пишет на мещанском просторечии, окрашенном диалектизмами (например в фонетике: *и* вместо ѣ перед мягкими согласными, ассимиляция *б* следующему *м: омани*; сравнительная степень на *-яе* и т. п.; в лексике: *чмутам*), почти совершенно лишенном церковнославянизмов и только отражающем влияние приказного слога (например, в примитивных формах присоединительных сцеплений с помощью союзов *а, да*; в употреблении условного союза *буде* и др.).

Вот примеры:

«Дождись меня в бане, а я к тебѣ на вечер от воеводы приду из гостей рано, а домой не иду спать. А мнѣ говорить много с тобою, а при людях нельзя, да не стану. Да послушай — добро будет. Да отпиши мнѣ ныне скоряе, я буду. Да повидайся, друг мой, нужно мнѣ. Ономнясь было еще хотѣл говорить, да позабыл, а се испугался... Я ждал долъго. Доспѣла ты надо мною хорошо, уж я головы своей не щажу, был я у вас ночесь и в ызбѣ, а у вас никово не было, не повѣришь ты — смотри: против окошка под росадником доска, по той и в окошко лазил в переднее, а отворял косью, а воткнена кость против окошка тово, смотри в щнлѣ. А ты надо мною дѣлаешь, я бы хоща, скажи, на нож к тебе шел, столь мнѣ легъко стало».

Совсем иным стилем написано послание денщика, или дядьки

---

[1] Ср., например: Anfangs-Gründe der Russischen Sprache в приложении к «Немецко-латинско-русскому лексикону» Эренрейха Вейсмана. St. Petersburg, 1731.
[2] См.: Журнал «Начала», 1922, № 1.

полковничьих детей. Язык этого письма явно ориентируется на дворянские вкусы, подражая рифмованным виршам:

Очей моих преславиому свету,
И не лестному нашему совету,
Здрава буди, душа моя, многия лета
И не забывай праведиого твоего обета.

В языке письма очевидны следы книжных влияний. Лексика и фразеология колеблются между церковнославянизмами и просторечием. Ср. *златые, во дни мимошедшие, наипаче, милости пресветлые, пресветлые очи, благоугодно* и др., а рядом: *как было бы мошно, и я бы отселя полетел; и тако мне по тебе тошно; лазоревой мой цветочик; животочик* и т.д. Встречаются украинизмы и полонизмы: *наимилейший, наимиличку тебе... обачил и радость твою и свою... от фрасунка того отклонился* (польское frasunek — огорчение, хлопоты) и др. Характерны формулы галантно-книжного прощания: *Потом тебе любительное поздравленье и нижайшее поклонение*[1].

Недаром этим любовным письмом воспользовался полковничий сын Федор Цей, «с того письма писав от себя советную грамоту к невесте своей».

Таким образом, стили национально-бытовой разговорной и деловой речи, сближаясь с литературным языком, все сильней и сильней заявляют свои притязания на литературность[2].

§ 13. ОТСУТСТВИЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ (ОРФОЭПИЧЕСКИХ) ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НОРМ ЛИТЕРАТУРНОГО ВЫРАЖЕНИЯ

Орфоэпические и орфографические нормы светско-делового и разговорного языка высших кругов общества еще не вполне установились. Традиции церковного произношения и церковнославянской графики ломались, подвергаясь напору со стороны других языков (например украинского) и более решительному натиску со стороны диалектов русской устной речи. Фонетическая система речи господствующего класса носила ярко выраженный отпечаток смешанного говора. Правда, укреплялась ориентация на произношение московских служилых людей, на выговор московского дворянства, близкий к языку окружавшей Москву этнографической массы. Но в самом москов-

---

[1] См.: *Майков Л. Н.* Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий, с. 229—230.

[2] Для мещанских стилей литературной речи как XVII, так и XVIII вв. характерно рядом с широким употреблением форм городского просторечия стремление к архаической книжности, однако без соблюдения стилистических норм литературного языка высших кругов общества. Таково, например, пристрастие к формам аориста и имперфекта и их неправильное употребление. Возникает своеобразный книжно-вульгарный стиль с разрывом употребления и значения форм. Ср. в «Повести о Карпе Сутулове»: *аз... би челом ему; рекох мне он; он же ... глаголаша к ней; и аз ... вопроси о сем отца моего; она же ... сняше с него и вложиша к себе в сундук; что, госпоже, вельми радостна одержима бысть?* (в значении настоящего времени); *повелеша воевода их отпустить* и т. д.

ском произношении, при отсутствии резких особенностей провинциального консонатизма (вроде цоканья, шепелявости, диалектальных отличий в произношении *в* и т. п.), продолжалось, главным образом, в области вокализма (а также и в морфологии), брожение северно-русских и южнорусских элементов. Так, проф. Е. Ф. Будде отметил, что «со времени приблизительно Алексея Михайловича» (т. е. с половины XVII в.) устанавливается в московской письменности более частое правописание имен, вроде: Антоней, Александр, Афанасей, Андрей и т. д. через *а*, а не через о. Проф. Будде поставил эту графическую черту в связь с более резким обнаружением диалектальных южнорусских особенностей в московском говоре этой эпохи[1]. Ср. яркое аканье в языке писем Алексея Михайловича к стольнику Матюшкину[2]: *сказавою; спроси о здоровья; звать Никулаю, утак* и т. п.; в «Письмах и бумагах Петра Великого»: *великое сумнения* (1, 44); *нижнея слова* — им. ед. ч. (1, 5) и др.; *денех* (3) и т. п.; ср. отсутствие члена в языке Петра I при частом употреблении его в фамильярном стиле у Алексея Михайловича и мн. др.[3]

По верному замечанию Б. А. Ларина, «язык Москвы XVII в. был очень пестрым, разнородным... Там сосуществовали, то смешиваясь, скрещиваясь, то взаимно отталкиваясь, размежевываясь, разные феодальные диалекты (областные и городские — классовые) и многие разнородные языки восточных и западных народов»[*1].

Таким образом, произношение образованных слоев общества еще не было регламентировано, не было «олитературено». Твердых и обязательных норм общего «национально-разговорного» языка еще нет. Ярким выражением этой фонетической и орфографической ненормированности городской устной речи является изданный Алексеем Михайловичем в 1675 г. указ, в котором объявлялось, что «будет кто в челобитье своем напишет в чьем имени или прозвище не зная правописания, вместо о — *а*, или вместо *а* — о, или вместо ъ — ь, или вместо ѣ — *е*, или вместо *и* — *i*, или вместо *у* — *о*, или вместо *о* — *у*, и иные в письмах наречия, подобные тем, по природе тех городов, где кто родился, и по обыклостям своим говорить и писать навык, того в бесчестье не ставить»[4].

Таким образом, основными процессами истории русского литературного языка во второй половине XVII в. являются: 1) распад системы церковнославянского языка; 2) рост юго-западного (украинского) и западноевропейского, преимущественно латинского и польского, влияния на русскую литературную речь и 3) расширение литературных функций живой русской речи и письменно-делового языка[*2].

---

[1] См.: *Будде Е. Ф.* Некоторые выводы из позднейших трудов по великорусской диалектологии.— В кн.: Юбилейный сборник в честь В. Ф. Миллера. М., 1900, с. 50.

[2] Собрание писем царя Алексея Михайловича. М., 1856.

[3] Ср.: *Богородицкий В. А.* Московское наречие двести лет назад. Казань. 1902.

[4] Полное собрание законов Российской империи, т. 1, с. 1000, § 597. Цитирую по П. И. Житецкому: К истории литературной русской речи в XVIII в., с. 13. Ср. также: *Симони П. К.* Русский язык в его говорах и наречиях. СПб., 1899, вып. 1, с. 2.

II. Смешение стилей в русском литературном языке до середины XVIII в. Роль приказно-канцелярского и профессионально-технических языков в этом процессе. Образование новых литературно-художественных стилей повествования и лирического выражения

§ 1. УСИЛЕНИЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ВЛИЯНИЙ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ИХ

В русском литературном языке начала XVIII в. продолжают развиваться те тенденции, которые резко обозначились во второй половине XVII в. Однако рядом с ними возникают новые явления, свидетельствующие не только о борьбе с церковнокнижной культурой во имя живой русской речи, во имя стилей официально-светской речи, канцелярского, приказно-юридического языка и специально-технических диалектов, но и о попытках создания новых форм национального русского выражения, сближенных с западноевропейскими языками и свидетельствующих о более широком влиянии европейской культуры и цивилизации. Польский язык еще сохраняет на некоторое время для высшего общества роль поставщика научных, юридических, административных, технических и светско-бытовых слов и понятий. Многие полонизмы являются отслоениями заимствований предшествующей эпохи. Польская культура продолжает быть посредницей, через которую идет в Россию багаж европейских понятий, груз французских и немецких слов. В предисловии к «Лексикону латинскому» Максимовича заявляется: «...сице со временем утвердися, яко за обычай и закон учити и учитися языку латино-польскому есть приусвоено»[1]. Однако количество переводов с польского языка сократилось. «Существенная разница между допетровской и петровской эпохой, — писал акад. А. И. Соболевский, — заметна лишь в одном. До Петра переводы с польского, — обычное дело, многочисленны; при Петре их уже почти нет: увеличившееся знакомство с латинским и вообще с западноевропейскими языками позволило нам усилить перевод прямо с оригиналов, минуя польское посредство»[2]. Польское влияние начинает уступать в силе влиянию немецкому. Польский и латинский языки, некоторыми своими формами уже довольно глубоко

---

[1] Цит. по: *Пекарский П. П.* Наука о литературе при Петре Великом. СПб., 1862, т 1, с. 194.

[2] *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв. СПб., 1903, с. 81.

внедрившиеся в систему русской книжной и разговорной речи высших классов, создают апперципирующий фон для дальнейшей европеизации русского литературного языка, для развития абстрактных понятий в его семантической системе. Латинский язык сыграл громадную роль в процессе выработки отвлеченной научно-политической, гражданской, философской терминологии XVIII в. Ср. в словаре В. К. Тредиаковского *[1] при «Слове о мудрости, благоразумии и добродетели»: *естественность* — essentia; *чистый разум* — purus intellectus; *чувственность* — sensatio: *предлежащее* — objectum; *возносительная* — relativa; *естественное натечение* — influxus physicus; *искусство* — experientia; *право естественное* — jus naturae; *провидение* — providentia; *разумность* — intelligentia; *самозрительное* — intuitivum; *умозрительные* — theoretica; *деятельные* — practica; *вероятный* — probabilis; *сущее* — ens; *философия умственная* — rationalis; *нравственная* — moralis; *естественная* —naturalis; *распростертие* — extensio; *очертания* — figura; *самостоятельные* — absoluta; *обоюдужительные* — amphibia; *общество* — societas; и т. п. Ср. также в «Реестре памятствуемых речений», приложенном к сделанному Гавриилом Бужинским *[2] переводу книги Самуила Пуффендорфа «О должности человека и гражданина» (1726): *самоволие* — spontaneitas; *средствия* — media; *приличное* — decorum; *обыкновение* — consuetudo; *вменение* — imputatio; *правило* — norma; *установление* или *узаконение* — decretum; *обязательство* — obligatio; *закон естественный* — lex naturalis; *положительный* — positiva; *нападатель*, или *наступатель*, — agressor; *винность* — culpa; *средственно* или *непосредственно* — mediate vel immediate; *неопределенно* или *определенно* — indefinite vel definite; *договоры* — pacta; *прилог* — conditio; *повеление*, или *вверение*, — mandatum; *страсть* — affectus; *природа* — indoles; *закон утвердительный* — praeceptum affirmativum; *отрицательный* — negativum и др. под.

§ 2. ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ В ПРОЦЕССЕ ЕВРОПЕИЗАЦИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Усиленная переводческая деятельность Петровской эпохи, направленная в сторону общественно-политической, научно-популярной и технической литературы, вела к сближению конструктивных форм русского языка с системами западноевропейских языков.

Новый быт, расширяющееся техническое образование, смена идеологических вех — все это требовало новых форм выражения. Новые интеллектуальные запросы общества удовлетворялись с помощью перевода на русский язык понятий, выработанных западноевропейскими языками, или с помощью словарных заимствований.

Правда, в начале XVIII в. влияние западноевропейских языков на русский литературный язык было еще внешним, неглубоким: оно выражалось более в усвоении слов-названий, в заимствовании терминов и в замене русских слов иноязычными эквивалентами, чем в самостоятельном развитии европейской системы отвлеченных понятий.

Элементы того же словесного фетишизма, которые сохранились в отношении русского общества к церковнославянскому языку, пере-

носились на терминологию, лексику и фразеологию западноевропейских языков. Ф. Поликарпов в своих замечаниях переводчика к «Географии генеральной» (1718) писал: «Речения... терминальная греческая и латинская оставлях не переведена ради лучшего в деле знания, а ина преведена объявлях, заключая в паранфеси (т. е. в скобки)... Многие же и пременно писах ради лучшего учащимся вразумления, яко же на приклад рещи: *ангуль — угол; екватор — уравнитель*»[1]. Таким образом, борются две тенденции: механическое заимствование европейских терминов и их перевод на русский или церковнославянский язык. При обучении «всяким художествам и ведениям», при освоении «математических и архитектурных, и градостроительных, и всяких ратных и художественных книг» вопрос перевода европейских терминов и понятий был особенно затруднителен. Интересен рассказ Вебера о переводчике Волкове, который покончил жизнь самоубийством, отчаявшись перевести на русский язык французские технические выражения по садоводству (из «Le jardinage» de Quinliny)[2]. Предписание Петра Великого было «остерегаться», «дабы внятнее перевесть, и не надлежит речь от речи хранить в переводе, но точию сенс выразумев, на свой язык уж так писать, как внятнее»[3]. Перевод специальной технической и научной терминологии в ту эпоху был сопряжен с почти непреодолимыми трудностями, так как предполагал наличие внутренних смысловых соотношений и соответствий между русским языком и западноевропейскими языками. «Ежели писать их (термины) просто, не изображая на наш язык, или по латинскому и немецкому слогу, то весьма будет затмение в деле»[4], — писал переводчик Воейков. Отсюда, естественно, вытекали правительственные заботы о создании кадров переводчиков, знающих иностранные языки и практически знакомых с какой-нибудь отраслью техники[5].

Но даже опытные переводчики не могли преодолеть сопротивления языкового материала. В русском языке еще не хватало семантических форм для воплощения понятий, выработанных европейской наукой и техникой, европейской отвлеченной мыслью. Брюс *2 писал о «Брауновой артиллерии»: «Творец тое книги такой стилус во оной книге положил, что зело трудно его мнение разуметь...»[6] Тот же

---

[1] Цит. по: *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом. СПб., 1862, т. 2, с. 433.

[2] См. там же, т. 1, с. 226.

[3] Там же, т. 1, с. 227 *1.

[4] Цит. по: там же, т. 1, с. 233, ср. с. 298.

[5] «Для переводу книг зело нужны переводчики, особливо для художественных, понеже никакой переводчик, не умея того художества, о котором переводит, перевесть то не может; того ради заранее сие делать надобно таким образом: которые умеют языки, а художеств не умеют, тех отдать учиться художествам, а которые умеют художества, а языку не умеют, тех послать учиться языкам... Художества же следующие: математическое хотя до сферических триангулов, механическое, хирургическое, архитектур цивилис, анатомическое, ботаническое, милитарис и прочие тому подобные» (Указ от 23 января 1724 г.).

[6] Цит. по: *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом, т. 1, с. 293.

Брюс такими красками изображал трудности перевода «философо-математической» книги: «И понеже во оной из субтильнейших частей ума человеческого представляется, того ради, наипаче ж от зело спутанного немецкого штиля, которым языком оная писана, невозможно было переводом оныя поспешить, понеже случалось иногда, что десять строк в день не мог внятно перевесть»[1]. Политехнизация языка осложняла и углубляла систему светско-деловой речи.

§ 3. ОСВОЕНИЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (АДМИНИСТРАТИВНОЙ, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ВОЕННО-МОРСКОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И НАУЧНО-ДЕЛОВОЙ)

Язык Петровской эпохи характеризуется усилением значения официально-правительственного, канцелярского языка, расширением сферы его влияния. Процесс переустройства административной системы, реорганизация военно-морского дела, развитие торговли, фабрично-заводских предприятий — все эти исторические явления сопровождались насаждением новой терминологии, вторжением потока слов, направляющихся из западноевропейских языков. «Европеизация» русского языка носила ярко выраженный отпечаток правительственного режима. Так, меняются термины административные, которые шли по преимуществу из Германии (становившейся в то время во многом образцом полицейского государства). Оттуда взята табель о рангах. Оттуда двигаются такие слова, как *ранг*, *ампт* (ср. почтамт), *патент*, *контракт*, *штраф*, *архив*, *формуляр*, *архивариус*, *нотариус*, *асессор*, *маклер*, *полицеймейстер*, *канцлер*, *президент*, *ордер*, *социетет*, *факультет* и т. п. Эти административные термины, по подсчету Н. А. Смирнова[2], составляют почти четверть заимствованного в ту эпоху лексического инвентаря. «Появляются теперь *администратор*, *актуариус*, *аудитор*, *бухгалтер*, *герольдмейстер*, *губернатор*, *инспектор*, *камергер*, *канцлер*, *ландгевдинг*, *министр*, *полицеймейстер*, *президент*, *префект*, *ратман* и другие более или менее важные особы, во главе которых стоит сам *император*. Все эти персоны в своих *ампте*, *архиве*, *гофгерихте*, *губернии*, *канцелярии*, *коллегиуме*, *комиссии*, *конторе*, *ратуше*, *сенате*. *синоде* и в других административных учреждениях, которые заменили недавние думы и приказы, *адресуют*, *аккредитуют*, *апробуют*, *арестуют*, *баллотируют*, *конфискуют*, *корреспондуют*, *претендуют*, *секондируют*, *трактуют*, *экзавторуют*, *штрафуют* и т. д. *инкогнито в конвертах*, *пакетах* разные *акты*, *акциденции*, *амнистии*, *апелляции*, *аренды*, *векселя*, *облигации*, *ордера*, *проекты*, *рапорты*, *тарифы* и т. п.»[3] В этой административной терминологии

---

[1] Цит. по: *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом, т. 1, с. 300.

[2] См.: *Смирнов Н. А.* Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху.— В сб.: ОРЯС. СПб., 1910, т. 88, кн. 2, с. 5.

[3] См. Там же, с. 4—5.

кроме чисто немецкой стихии сказывалось и сильное влияние латинского языка. Но путь, которым шли в Россию эти термины, иногда пролегал через Польшу. Так, по крайней мере, можно думать, судя по форме слов, их ударению, их словообразовательным суффиксам: «Существительное на *-ия* (в польском языке на *ja*), несомненно, польского происхождения: *акциденция, апелляция, апробация, ассигнация, аудиенция, вакансия, губерния, демонстрация, инквизация, инструкция, канцелярия, комиссия, конституция, конференция, конфирмация, нация, облигация, полиция, принципия, провинция, церемония* и т. п. Того же польского происхождения глаголы на *-овать* (в польском *-ować*): *авторизовать, адресовать, аккредитовать, апробовать, конфисковать, претендовать, трактовать, штрафовать*»[1].

Эти правительственно-административные термины, конечно, быстро распространялись в широких массах. Некоторые из них, подвергаясь «народной» этимологизации, меняли свою форму и свои значения. Например, немецкое слово Profoss (так назывался в Петровскую эпоху военный полицейский служитель, исполнявший обязанности надзирателя и палача), изменилось в просторечии (через жаргон арестантов) в *прохвост*.

В тесной связи с административными терминами находится и довольно многочисленная группа заимствованных из Германии слов, относящихся к военному делу: *юнкер, вахтер, ефрейтор, генералитет, лозунг, цейхгауз, гауптвахта, вахта, лагерь, штурм* и т. п. Впрочем, в терминах военного дела заметно было и сильное французское влияние. *Барьер, брешь, багальон, бастион, гарнизон, пароль, калибр*[2], *манеж, галоп, марш, мортира, лафет*[3] и т. п. вышли из Франции, где прежде всего было заведено постоянное войско. В терминах морского дела почти безраздельно господствовали заимствования из голландского[4] и английского языков. Например, голландские заимствования: *гавань, рейд, фарватер, киль, шкипер, руль, рея, шлюпка, койка, верфь, док, кабель, каюта, рейс, трап, катер* и т. п. Английские слова: *бот, шхуна, фут, бриг, мичман* и нек. др.

Любопытно, что обозначение судов, построенных из металла, заимствовано из голландского языка, напротив, терминология деревянных судов — английская.

[1] *Смирнов Н. А.* Западное влиянне иа русский язык в Петровскую эпоху.— В сб.: ОРЯС. СПб., 1910, т. 88, кн. 2, с. 5.

[2] Французское calibre из итальянского calibro (военный термин XVI в).

[3] Немецкое Lafette из французского l'affut — стойка, ложе.

[4] Голландские слова иачали проникать в русский язык с первой половины XVII в., когда русское правительство стало вызывать «иемцев», внакомых с военым делом и смежными мастерствами. Так, уже в 1631 г. голландец Коэт устраивает в Москве пушечиый завод; в 1632 г. голландский купец Виниус получает коицессию на устройство заводов близ Тулы для выделки чугуиа и железа и т. п. См.: *Ключевский В. О.* Курс русской истории. М., 1908, т. 3, с. 340—344. О голлаидском влиянии на русский язык см. работы: *R. van der Meylen.* De Hollandische Zee-en-Sceeps-termen in het Russisch. Amsterdam, 1909; *Краузе ван-дер-Коп А. А.* К вопросу о голлаидских термииах по морскому делу в русском языке.— ИОРЯС. СПб., 1910, т. 15, ки. 4; ср. также: *Сморгонский И. К.* Кораблестроительиые и некоторые морскне термины нерусского происхождения.— Труды Иистнтута историн науки и техиики АН СССР. М.—Л., 1936, сер. 2, вып. 6.

Только небольшое количество морских терминов взято из немецкого, французского и итальянского языков. Например, из французского языка: *флот*, *абордаж*, *алярм* (*тревога*), *десант*. Из немецкого: *бухта* (но ср. голландское bocht), *лавировать* (ср. голландское laveeren) и т. п. Из итальянского: *мол*, *авизо* (небольшое военное судно), *габара* (плоскодонное морское судно) и др. Но и здесь скрещивались разные влияния, которые отражались на «смешанном», пестром облике иностранных слов. Например, писали *гафен* (гавань), *матроз* — по немецкому выговору, но употребляли также формы *гавен*, *матрос* — по голландскому[1].

Кроме варваризмов, связанных с реорганизацией государственного управления, военного и морского дела, проникает в русский язык начала XVIII в. множество технических слов, относящихся к инженерному и горному делу, к «градостроительному художеству», т. е. к архитектуре, к области заводской и фабричной промышленности, сельского хозяйства, к разным видам «мастерства», ремесел. И здесь также влияние распределяется преимущественно между польским и немецким языком. Меньше заимствований из английского и французского. Некоторые архитектурные обозначения восходят к итальянскому языку *1.

Как в разных отраслях государственного управления, промышленности и техники, так и в сфере науки стремительно протекает процесс европеизации, сопровождающийся усвоением иноязычной терминологии. Технические науки, «цифирь», счетные и экономические науки, «юриспруденция», изучение «гражданских дел», «политика», естественная история, география, анатомия и другие области знания пестрят заимствованными понятиями и названиями *2. В. Н. Татищев в «Разговоре о пользе наук и училищ» (1733—1741) выражал точку зрения передового дворянства, санкционируя европеизмы: «Умножение нужное языка есть от приобретения наук и вещей, которые мы от других народов приобрели и приобретаем». После заимствований, связанных с христианско-византийской культурой, Татищев считает самым мощным поток «европейских» слов, принесенных в начале XVIII в.: «Другие слова в язык наш умножены от других европских языков и купно с науками филозовскими и вещьми, от них получаемыми. Но сии двоякого состояния, яко одни такие, которые мы перевести не можем, разве новые имена делать, яко *физика*, *мафематика*, *метафизика*, *навигация*, *фрегат*, *шнава* (морское судно — *В. В.*), *пистоль*, *кронверк*, *равелин*, *померанец* и пр.: другие — такие, что хотя можно переменить, и прежде имели, да такие имена, которые могли о других именах разуметься, яко *бомбу* именовали *шеленая*, *фейерверк* — *потеха*, *канал* — *прорыв*. *капитан* — *сотник*; иные же имян русских не имели или имели чужестранные да неправильно, яко *мартир*, *шуфел* (совок для сыпания пороха в пушечное дуло. — *В. В.*), *форма*, *флаг*, *вымпель* и многие такие, которые тяжчее переменять, для того что ко оным привыкли. Посему можешь видеть, что

---

[1] *Соболевский А. И.* Разбор сочинения Н. А. Смирнова «Западное влияние на русский язык при Петре Великом».— В сб.: ОРЯС. СПб., 1905, т. 78, с. 8.

язык перед другими портится или исправляется, умножается, через что от часу в дальную от прежнего прародительского отдаляется»[1].

Таким образом, в Петровскую эпоху происходило не только освоение тех иноязычных слов, которыми обозначались новые для русского общества вещи и понятия, но и вытеснение у знакомых предметов прежних названий западноевропейскими. Например, *виктория* (латинское victoria) вместо *победа; аништаль∂* (немецкое Anstalt) — *мера, устройство; конкет* (французское conquête) — *завоевание; резольвовать* (от латинского resolvere, польского rezolwowaé) — *решать; фацилита* (латинское facilitas, итальянское facilità, французское facilité) — *снисходительность; трактамент* (польское, немецкое Tractament) — *пир, угощение* и мн. др.

Научно-технические, официально-правительственные стили деловой речи, наводненные заимствованиями, в это время с периферии перемещаются ближе к центру системы литературного языка. Через официально публицистические стили иноязычные слова, относящиеся к разным областям государственной жизни, промышленности, науки, и техники, проникают в общую структуру литературно-книжной и разговорной речи образованного общества. Петровская европеизация выражается в политехнизации языка. А этот процесс политехнизации письменно-книжной речи сопровождается широким распространением западноевропейских слов и понятий, отражающих разные стороны реформирующегося политического, социально-экономического, промышленно-технического и культурно-бытового уклада и разные сферы идеологии. Показательна тяга русских европейцев к лексиконам и словарным комментариям, которые вводило общество в круг европейской «общежительности». Так, в переводе книги Ивана Ляуса (J. Law) «Деньги и купечество» И. А. Щербатов не только разъяснял в примечаниях специальные обозначения мер, веса и ценностей в Англии и Франции, но и широко знакомил читателя с европейской бытовой, технической, финансовой и экономической терминологией, например: *морское застрахование, ажио, ломбард, таверна, мин* (место в земле, откуда берется металл), *земля́ный банк, земля́ные деньги* и т. д.[2]

Ср. в принадлежащем Антиоху Кантемиру переводе книги г. Фонтенелла «Разговоры о множестве миров» *4 (1730) объяснения иностранных научных терминов и заимствованных слов, например: *физика, метафизика, идея, система, материя, натура, механика, эксем(п)ляр* («копия письменная или печатная какой книги»); *имагинациа* (умоначертание, или мечтание, причудение); *порцелин* (по-русски фарфор); *фигуры* (начертания); *генерально* (т. е. в обществе, сплошь); *претендовать* (требовать); *кризес* (у докторов значит внезапную перемену болезни); *обсерваторы* (наблюдатели); *галерия* (горница долгая или сени долгие); *сентенция* (по-русски изречение);

---

[1] *Татищев В. Н.* Разговор о пользе наук и училищ. С предисловием и указателями Нила Попова. М., 1884, с. 95—96*3.

[2] Цит. по: *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом, т. 1. с. 246—247.

вояжир (по-русски ездок, тот, что в дороге); *химера* (небылица, дело нескладное, басни, мечтание, сумасбродная вещь); *климат; депутат* (посыльный от провинции или города); *фамилиарность* (обхождение дружеское и вольное); *флегматик; перспектива; декорации; баллон* (пузырь надутой); *интерес* (дело, польза, корысть); *оризонт* (т. е. горизонт); *интрига; компания* (собрание друзей, беседа); *машинист* (тот, что машины делает) и мн. др. Ср. там же: предсуждение — préjugé; вид — espéce; пребывание — durée; рассуждатели — resonneures и другие сопоставления русских, церковнославянских и французских слов. Общественно-политическое значение обновления «имен вещей» еще раньше было разъяснено в таком предисловии Федора Поликарпова к «Книге хитрости» (1698): «По времени и по месту и имена вещам налагаются, а всем всегда и везде тем же и единым речением во всех языцех невозможно быти». Отметив далее различие терминов ратного дела у разных народов и в разные времена, переводчик указывает на быстрый рост военной техники: «Уже бо многа и новоухищренная орудия ратная обретаются яко огненное оружие, бомбы, можжеры, пушки и прочие вымыслы хитрособтроенные»[1].

На почве этой политической и технической реконструкции происходит реорганизация литературной речи. Колеблется старая система светско-делового языка. Идеологические и риторические формы, выработанные на основе церковнопублицистической письменности, должны были приспособиться к новому лексическому материалу, к новому предметному содержанию.

§ 4. РАЗВИТИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИАЛЕКТОВ

Кроме того, профессионализмы двигаются в письменно-книжный язык из городского просторечия, которое в XVII в. начало энергично вбирать в себя новые жаргонные и профессиональные разновидности речи, шедшие из немецкой слободы или приливавшие с юго-запада, из Украины и Белоруссии. Несомненно, что на юго-западе, в сфере польского, т. е. западноевропейского, влияния, раньше и прочнее сложился уклад городского быта и были резче и разнообразнее формы профессиональной дифференциации городского языка. Тут составились и обособились разные цеховые жаргоны[2]. В XVII в. в Московскую Русь направляется с юго-запада волна художников и ремесленников[3]. В связи с этими влияниями на почве цеховых расслоений

---

[1] Цит. по: *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом, т. 1, с. 212—213.

[2] См.: *Шелудько Д.* Нимецькі елементи в украіньскій мові. — Збірник комісіі для дослідження історіі украіньскій мові — ВУАН, 1931, т. 1; ср. также: *Стратен В. В.* Об арго и арготизмах.— Русский язык в советской школе, 1929, № 5; *его же.* Арго и арготизмы.— Труды комиссии по русскому языку АН СССР, 1931, т. 1; *Ларин Б. А.* Западноевропейские элементы в арго.— Язык и литература, 1931, вып. 7.

[3] См. материалы: *Шляпкин И. А.* Димитрий Ростовский и его время. СПб., 1891, с. 55—56 и след.

возникает сложное профессиональное дробление городского языка и в Московской Руси. Укрепляются в разных ремесленных диалектах западноевропейские слова. Таковы, например, названия предметов сапожного ремесла: *дратва, рашпиль, вакса, клейстер, шлифер* и мн. др. Такова терминология столярного и слесарного ремесла. Слова *стамеска, бляха, бондарь, гайка, верстак, клапан, кран, винт* и т. п. приходят в конце XVII — начале XVIII в. Ранее сложившаяся профессионально-техническая терминология подвергалась изменениям под влиянием крепнущего сближения с европейской техникой. Так, в терминах книгопечатного дела, которые усвоены были в XVI — XVII вв., преимущественно из итальянского языка (*тередорщик*, печатник — от tiratore; *батырщик*, накладчик краски на литеры — от battitore; *маца* от mazza; *марзан* — от margina; *тимпан* — от timpano; *пунсон*, резанная на стали буква для выбивания из меди матриц — от punzone; *штанба*, книгопечатный станок — от stampa и т. п.), появляется отпечаток немецкого влияния: вместо слов *резать* в значении гравировать, *резной* (*резные листы, резные доски*), *резьба* и т. п. входят в употребление термины *градировать* или *грыдоровать, грыдоровальный* и т. п. В указе Петра 1724 г. об учреждении Академии сказано между прочим: «Без живописца и градировального мастера обойтися невозможно будет, понеже издания, которые в науках чиниться будут (ежели оные сохранять и публиковать), имеют рисованы и градированы быть». *Градировать* восходит к немецким глаголам radieren и gradieren. Любопытно, что с 50-х годов XVIII в., когда усилилось французское влияние в русской дворянской культуре, термин *градировать* вытесняется словом *гравировать* (*гравировальный, гравюра* и т. п.)[1]. Так, в сфере технических интересов усиливается взаимодействие между светско-деловым языком и профессионально-цеховыми диалектами.

§ 5. ЕВРОПЕИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-БЫТОВОЙ, ОБИХОДНОЙ (ПИСЬМЕННОЙ И РАЗГОВОРНОЙ) РЕЧИ ВЫСШИХ СЛОЕВ ОБЩЕСТВА

Официально-деловые и профессионально-технические элементы речи изменили общий колорит стилей русского письменно-книжного языка. Но они не могли стать семантическим ядром «языка общежития» или светско-литературного языка высшего общества, которое притягивалось к поверхности европейской цивилизации. Европеизация общественного быта внесла новые слова и новые представления, новые формы экспрессии в систему бытовой речи высших классов соответственно менявшимся нормам светского этикета. Очень показательно в этом отношении появление перевода книги «Приклады како пишутся комплементы разные» (1708). Из стиля переписки исчезают выражения челобитья, восточные формулы гиперболических уподоблений и восхвалений собеседника и экспрессия жалкого са-

---

[1] *Грот Я. К.* Заметка о некоторых старинных технических терминах русского языка.— В кн.: *Грот Я. К.* Филологические разыскания. СПб., 1899, с. 217—219.

моунижения[1]. Интересно, что в ранних письмах царевича Алексея к Петру I формулы челобитья обязательны: «Государю моему батюшку, царю Петру Алексеевичу сынишка твой, Алешка, благословения прося, и челом бьет». Но к 10-м годам XVIII в. они исчезают, заменяясь обращением «Милостивейший государь батюшко!» и подписью «всепокорнейший сын и слуга твой Алексей»[2]. Рекомендуется теперь европейски-галантный стиль речи и поведения. В обращении друг к другу распространяется «вы», смешиваясь со старым «ты». Г. В. Плеханов остроумным анализом языка русского перевода руководства к «житейскому обхождению» «Юности честное зерцало» показал, как в бытовом стиле речи и поведения европейские формы смешивались со старыми и как глубок и крепок был под внешним налетом европейской цивилизации слой старых традиций[3]. Однако интерес к «галантереям романическим» и к европейским навыкам «житейского обхождения» сильно отражается и на языке[4]. Любопытны, например, в «Рассуждении о оказательствах к миру» (1720) определения, что такое *галантереи романические* и *кавалеры заблудящие*. *Галантереи* — это книги, «в которых о амурах, то есть о любви женской и храбрых делах для оной учиненных баснями описано», а «*шевальеры эрранты*, или *заблудящие кавалеры*, называются все те, которые, ездя по всему свету, без всякого рассуждения в чужие дела вмешиваются и храбрость свою показывают»[5]. Изменения в костюме, светском обращении, воспитании, формах быта и т. п. сопровождаются усвоением новых названий и понятий. Тут роль польского языка, за которым в начале века еще сохранялось по традиции значение языка светско-аристократического, была особенно велика. *Авантажный*, *авантаж*, *адгерент* (от польского adherent — единомышленник, от латинского adhaerere — прицепиться), *аккуратный*, *бал* (*бал*, или *танцы*. — Полн. собр. зак., т. VII, № 3841), *высокомочный*, *властный*, *готовость* (готовность), *грозба* (угроза), *грунт*, *грунтовный*, *деликатный*, *десператный* (отчаянный), *дивулговать* (разглашать, обнародовать), *дигнитар* (сановник), *диспут*, *домовство* (хозяйство), *забобоны* (суеверие), *забранять* (запрещать), *запомнить* (забывать), *звычайный* (обыкновенный), *индифе-*

---

[1] Ср. в конце XVII в. в переписке княгини Голицыной с мужем: «Женишка твоя, Дунька, много челом бьет до лица земного» (Временник Московского общества истории и древностей российских, 1850, кн. 6, с. 36—48); ср. в письмовнике XVII в. (рукопись Ленинградской публичной библиотеки, XV, 02) «восточный слог» обращения к адресату: «Преукрашенну в разуме и рассудительну во всех благих делех, наученному добродетелем и любви, светлому, яко сапфиру и честному камени и сосуду злату, исполненному драгаго бисера, источнику неисчерпаемому, сладчайшей медоточной струе» и т. д. (*Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом, т. 2, с. 180—182).

[2] Письма русских государей. М., 1862*[1].

[3] См.: *Плеханов Г. В.* История русской общественной мысли. М., 1919, т. 2, с. 71—74.

[4] Ср. интересные замечания о речевом этикете в «Книжице златой о гожении нравов» (перевод сочинения Еразма, "De civilitate morum") (см.: *Перетц В. Н.* Историко-литературные исследования и материалы. СПб., 1902, т. 3, с. 178).

[5] Цит. по: *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом, т. 2, с. 489.

рентный, *казнодей* (проповедник), *квит* (расписка), *козырь*, *конфузия* (замешательство), *кошт*, *мизерный*, *мода*, *омылка* (ошибка), *ординарный*, *пашквиль*, *позитура* (положение), *посполъство* (простонародие), *потентат*, *прихильный* (благосклонный), *провизия*, *публичный*, *пунктуальный*, *пунцовый*, *пурговаться* (принимать слабительное), *резидовать*, *репутация*, *рисунок*, *своить* (присваивать), *секретный*, *сенс* (смысл), *скарб*, *специальный*, *старожитный*, *субтильный* (нежный), *тракт*, *труп*, *уразительный* (обидчивый), *усиловать* (стараться), *факт*, *факция* (партия), *фальш* — *фальша*, *фамильярный*, *фатига* (утруждение), *шарф*, *шельма*, *шельмовать*, *шинкарь*, *шинок*, *шоры* и мн. др. слова укрепляются в общественно-бытовой речи[1]. Конечно, не все из этих полонизмов проникли в русский язык в начале XVIII в.: многие из них заимствованы в допетровскую эпоху. Однако важно, что в начале XVIII в. изменились функции этих слов. Они входили в норму литературного употребления. Кроме того, многие «полонизмы» восходили к латинскому, французскому, немецкому языкам. Это были, так сказать, «европеизмы», которые приобретались через польское посредство. Таковы, например, *авантура*, *автор*, *амбиция*, *афронт*, *визит*, *вояж*, *зала*, *индустрия*, *каналья*, *кураж* и мн. др. Влияние польского языка так глубоко проникло в русскую литературную речь, что коснулось ее синтаксического строя. Например, в «Письмах и бумагах Петра Великого» часты синтаксические полонизмы вроде: *я на то позволил; предложения, до общей нашей пользы служащие: которая несравненною прибылью нам есть* и т. п.[2]. Но и непосредственно из немецкого и французского языка заносилось много слов, относящихся к разным областям общественного быта. Например, из французского языка: *ливр* (книга), *пассаж*, *пардон* (первоначально «отпущение казни достойному смерти»), *экипаж*, *фонд*, *фермитс* (стойкость)[3], *увраж* (труд), *резон*, *резонабельный*, *приз*, *политес* (вежливость), *артизан* (ремесленник), *креп* (род ткани), *монстр*, *менаж*, *марьяж*, *лимонат*, *куртизан* (шут, забавный, любительный), *желеи* (желе) и др.; из немецкого: *флер* (род ткани — от франц. fleur — пух, иней), *покал* (бокал), *позумент*, *мум* (пиво), *мантель* (плащ: торговые люди здесь ходят в мантелях[4] — от латинского mantelum — плащ), *конфекта*, *гезель* (Gesell — помощник, товарищ: по одному аптекарю с двумя гезелями. — Полн. собр. зак., № 3006), *галстук* и мн. др. Татищев, жалуясь на множество «без нужды принятых» слов, указывал: «Из польского и из латинского вместо *венец*, *решенис*, *воевода*, *снаряд*, *крепость*, *запас*, *припас* имянуем: *корона*, *резолюция*, *генерал*, *артиллерия*, *фортеция*, *провиант*,

---

[1] *Смирнов Н. А.* Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху; ср.: *Грот Я. К.* Слова, взятые с польского или через посредство польского.— В кн.: *Грот Я. К.* Филологические разыскания СПб., 1899, с. 464—467. *Christiani W. A.* Über das Eindringen von Fremdwörtern in die Russische Schriftsprache des 17 und 18. Jahrhunderts. Berlin, 1906.

[2] Ср.: *Gunnarsson Gunnar*, Recherches syntaxiques sur la décadence de l'adjectif nominal en Slave. Paris, 1931, chap. XVI.

[3] Журнал Петра Великого, т. 2, отд. 1, с. 531*2.

[4] См.: Письма и бумаги Петра Великого, т. 1, отд. 1, с. 149*3.

амуниция и пр.; из французского вместо *подсвешник, влагалище, волосы накладные, польза, пояс шпажный* говорим: *шандал, футляр, парук, партупей, интерес* и пр.; из немецкого вместо *раскат, шейный платок, спальной кафтан, извощик* имянуем: *болверк, галстук, шлафор, фурман* и пр., каковых слов от хвастунов и неученых людей весьма много»[1].

На почве увлечения варваризмами развиваются новые формы «европейской» фразеологии. Например: *на голову побить неприятеля* — aufs Haupt schlagen; *выиграть битву, баталию* — dem Feind eine Schlacht abgewinnen; *паки пришел к себя* — er ist wieder zu sich gekommen; *баланс* (французское balance — равновесие) *в Европе содержать*[2] и др. под. Новые фразовые комбинации возникают также вследствие растущего пристрастия к иностранным словам, которыми заменяются привычные русские: *Я не получил на оное антвортен*[3]; *во всех своих делах сколько фермите и твердости показал*[4].

Влияние немецкого и французского языков поддерживается нарождающимся сознанием практической и светско-бытовой необходимости для помещика и купца знать эти языки.

Уже в «Наказе каким образом поступать при учении государя царевича Алексея Петровича» (1703 г. 22 апреля) французский язык объявлялся «паче всех иных языков легчайшим и потребнейшим». В «Расположении учений его императорского величества Петра второго» говорится: «Новые или так называемые живые языки употребляются к обходительству, и сие за украшение почитается, когда кто чужие языки знает... между же ныне употребляемыми языками без сомнения немецкий и французский ради их почти общего употребления великое пред протчими первенство имеют». Характерно прибавление: «...при том еще латинский за признак добре воспитанного и ученого государя почитается». В том же смысле высказывается и «Отеческое завещательное поучение посланному для обучения в дальние страны юному сыну»[5]. Здесь излагается и целая программа изучения языка с научно-техническими целями: «Скорейшего же ради и удобного получения наук, советую ти немецкой, или наипаче чистой французской язык учити, и в начале в том языке, его же избереш, учити арифметику, яже всем математическим наукам дверь и основание есть; потом сокращенную математику, яже в себе содержит геометрию, архитектуру, и фортификацию, еже ведение земного глобуса, также искусство земных и морских чертежей, компаса, течение солнца и знамяных звезд». В. Н. Татищев подчеркивает общественно-политическое значение «европских» языков для шляхетства: «Шляхетству языки надобны... Еже всякому шляхтичу надобно думать какой либо знатной чин достать и потом или самому для услуги государственной

---

[1] *Татищев В. Н.* Разговор о пользе наук и училищ. С предисловием и указателями Нила Попова, с. 93.

[2] Журнал Петра Великого, т. 2, отд. 1, с. 531.

[3] Письма и бумаги Петра Великого, т. 2, с. 123*[4].

[4] Журнал Петра Великого, т. 2, отд. 1, с. 531.

[5] Напечатано в сочинениях Ивана Посошкова, хотя и не принадлежит этому автору. См.: *Посошков И.* Соч. М., 1842, т. 1, с. 297—298.

в чужие краи ехать или в России иметь с иноязычными обхождение. И тако ему необходимо нужно другой европской язык знать»[1].

Однако до 40-х годов XVIII в. преобладает значение немецкого языка. Граф Миних (около 1730 г.), сообщая о своем пребывании в Париже, где он старался «совершенно снискать знание во французском языке», добавляет, что для изучения французского языка «не думаю, чтобы которой-либо молодой человек из россиян наперед меня во Францию был посылан»[2].

§ 6. МОДА НА ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА

Западнические тенденции Петровской эпохи выражаются не только в заимствовании множества слов для обозначения новых предметов, процессов, понятий в сфере государственной жизни, быта и техники, но и сказываются в разрушении внешних форм церковнокнижного и общественно-бытового языка такими варваризмами, в которых не было прямой нужды. Западноевропейские слова привлекали как мода. На них лежал особый стилистический отпечаток новшества. Они были средством отрыва от старых традиций церковнославянского языка и старозаветного бытового просторечия. Сама необычность фонетических соединений в заимствованных словах как бы намекала на возможность и необходимость новой структуры литературного языка, соответствующей облику реформирующегося государства. Мода на иностранные слова в бытовом и официальном языке Петровской эпохи, распространившаяся среди высшего общества, характеризуется комическим рассказом Татищева о генерал-майоре Луке Чирикове, который «человек был умный, но страстью любочестия побежден, и хотя он никакого языка чужестранного совершенно не знал, да многие иноязычные слова часто же не кстати и не в той силе, в которой они точно употребляются, клал». Так, в 1711 г. генерал Чириков предписал указом одному капитану с отрядом драгун «стать ниже Каменца и выше Конец поля **в** *авантажном месте*». Капитан, не зная слова **авантажный**, принял его за собственное имя. «Оный, капитан, пришел на Днестр, спрашивал об оном городе, понеже в польском *место* значит город; но как ему сказать никто не мог, то он более шестидесяти миль по Днестру шед до пустого оного Конец поля и не нашед, паки к Каменцу, поморя более половины лошадей, поворотился и писал, что такого города не нашел». Другое происшествие, возникшее на почве увлечения генерала Чирикова иностранными словами, было не менее трагикомическим. Приказом он предписал собраться фуражирам, «над оными быть подполковнику и двум майорам по очереди. По собрании всех перво марширует подполковник с *бедекен*, за ним фуражиры, а марш заключают драгуны». Собравшиеся не догадались, что «*бедекен* (т. е. bedecken) не прозви-

[1] *Татищев В. Н.* Разговор о пользе наук и училищ. С предисловием и указателями Нила Попова, с. 100.

[2] Цит. по: *Пекарский П. П.* Русские мемуары XVIII в.— Современник, 1855, № 4, с. 68; ср.: *Сивков К. В.* Путешествия русских людей за границу в XVIII в. М., 1914.

ще подполковника, но *прикрытие* разумеется», и ожидали подполковника Сбедекена. Лишь через сутки выяснилось недоразумение[1].

Известно также, что некоторые из европеизировавшихся дворян того времени почти теряли способность правильного, нормального употребления русского языка, вырабатывая какой-то смешанный жаргон. Таков, например, язык князя Б. И. Куракина, автора «Гистории о царе Петре Алексеевиче»: «В то время названной Франц Яковлевич Лефорт пришел в крайнюю милость и конфиденцию интриг амурных. Помянутый Лефорт был человек забавной и роскошной или, назвать, дебошан французской. И непрестанно давал у себя в доме обеды, супе и балы»[*1]. Ср. в дневнике [*2] того же Куракина: «В ту свою бытность был инаморат славную хорошеством одною читадинку (горожанку), назывался Signora Franceska Rota, и так был inamorato, что не мог ни часу без нее быти, и расстался с великою плачью, и печалью аж до сих пор из сердца моего тот amor не может выдти и, чаю, не выдет, и взял на меморию ее персону и обещал к ней опять возвратиться».

Петр I, осуждая злоупотребления иностранными словами, был принужден написать одному из своих послов (Рудаковскому) приказ: «В реляциях твоих употребляешь ты зело много польские и другие иностранные слова и термины, за которыми самого дела выразуметь невозможно; того ради впредь тебе реляции свои к нам писать все российским языком, не употребляя иностранных слов и терминов».

Но вместе с тем употребление иностранных слов являлось внешним симптомом нового, «европейского» стиля речи. Бросается в глаза своеобразная особенность делового, публицистического языка Петровской эпохи, прием дублирования слов: рядом с иностранным словом стоит его старорусский синоним или новое лексическое определение, замкнутое в скобки, а иногда просто присоединенное посредством пояснительного союза *или* (даже союза *и*). Просветительное значение этого приема выступает на фоне общей правительственной тенденции к вовлечению широких масс общества в новую политическую систему. Характерно заявление Татищева о том, что законы должны быть писаны «так вразумительно, как воля законодавца есть, и для того никакое иноязычное слово ниже риторическое сложение в законах употребляться не может»[2].

Однако и в законах, и в публицистических трактатах, и в технических переводах начала XVIII в. вплоть до 40-х годов замечается эта двойственность словоупотребления, этот параллелизм русских и иноязычных слов[3]. Например: «адмиралу, который авантгарду (или передней строй) кораблей управляет, надлежит»[4]; «некоторые акци-

---

[1] См.: Письмо В. Н. Татищева в Библиотеке Академии наук, № 138. В кн.:— *Пекарский П. П.* История Академии наук в Петербурге. СПб., 1873, т. 2, с. 53—54.

[2] Цит. по: *Пекарский П. П.* История Академии наук в Петербурге, т. 2, с. 52[*3].

[3] См.: *Буслаев Ф. И.* О преподавании отечественного языка. 2-е изд. М., 1867, с. 453—454.

[4] Генеральные сигналы, надзираемые во флоге. СПб., 1714, с. 24[*4].

денции (или доходы) получать»[1]; «апелляцию или перенос до коммерц-коллегин чинить»[2]; «економу (домоуправителю)»[3]; «аркибузирован (расстрелен)»[4]; «протектора (защитителя)»[5], «определить или ассигновать... указы, или ассигнации»[6]; «банизированы или прокляты»[7]; «бараки (или шалаши)»[8]; «два коротких палника (или брандеры)»[9]; бухгалтер (или книгодержатель)»[10]; визитацию (или осмотрение) учинить»[11]; «дирекцию (или управление)»[12]; «в такой дистанции (расстоянии)»[13]; «инструкции (или приказание)»[14]; «инспектора (или наблюдателя)»[15]; «камер-юнкер (или комнатный дворянин)»; от числа коллегов (или заседателей)»[16]; «ему подобает быть храбру и доброго кондуита (сиречь всякия годности), которого бы квалитеты (или качества) с добродеянием были связаны»[17]; «конституция или устав (Правда воли монаршей)»; в «Уставе воинском»: пиониры (или работники), лагер (или стан), по инструкциям (порядкам), секунданта (или посредственника), о процессе (или тяжбе) и мн. др; в «Рассуждении» Шафирова[18] (1722): ни в каких европейских делах... никакой рефлексии и рассуждения не имели (5); с такою аппликациею (рачением) (8); по образу и прикладу других политизованных (или правильно расположенных) государств (16); все письма большая часть на немецком штилизованы (сочинены) (33); трибутарии (данники) (4); акт (записки) (4); о последующих революциях (отменах) (11); мужа великого коварства, и далных замыслов, и безмерной амбиции (честолюбия) (15); мир с обоих сторон от государей подтвержден ратификациями (подтверженными грамотами) (16); министра (боярина) (17); верных патриотов (сынов отечествия) (18); армистициум (или перемирье) (45, 46); последовал своим аффектам (страстям) (54) и т. п.

Любопытны поправки и дополнения, сделанные Петром I в рукописи книги «Римплерова манира о строении крепостей»: *аксиомат* (правил совершенных); *ложирунг* (или жилище, т. е. еже неприятель захватит места где у военных крепостей) и т. п.[19] В «Истории о орди-

---

[1] Полное собранче законов Российской империи. СПб., 1830, т. 6, № 3534.
[2] Там же, № 3318.
[3] Там же, № 3006.
[4] Книга устав морской. СПб., 1720, с. 460*[5].
[5] Полное собрание законов Российской империи, т. 7, №4443.
[6] Там же, т. 5, № 3303.
[7] Там же, № 3306.
[8] Там же.
[9] *Бринк Т*. Описание артиллерии. М., 1710, с. 194*[6].
[10] Полное собрание законов Российской империи, т. 5, № 3303.
[11] Там же, № 3306.
[12] Там же, т. 6, № 3534.
[13] Книга устав морской, с. 40.
[14] Там же.
[15] Духовный регламент. СПб., 1721, с. 30.
[16] Там же, с. 5.
[17] Книга устав морской, с. 6.
[18] Далее указаны в скобках страницы книги: *Шафиров П.**[7] Рассуждение какие законные причины. СПб., 1722.
[19] Цит. по: *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом, т. 2, с. 242—243.

нах» (1710) характерны помещенные в скобках и не находящие соответствия в оригинале пояснения вроде: «о армориях (или гербах) и о девизах (или писаниях изображенных) кавалерских». Ср. в оригинале: «Des armories et des devises des chevaliers»[1]. В сочинении Дмитрия Кантемира «Книга систима, или состояние мухамеданския религии», написанном на латинском языке *[3], переводчик пояснял иностранные слова: *политика* — народоустроение, *феория* — умствование, *идея* — образ, *физик* — естествословец, *машкара* — харя и т. п.[2] Так, «реснота и чистота славянская засыпася чужестранных языков в пепел»[3].

§ 7. РАСШИРЕНИЕ СОСТАВА И ФУНКЦИЙ ДЕЛОВЫХ СТИЛЕЙ В СВЯЗИ С ПРОЦЕССОМ СМЕШЕНИЯ И ПЕРЕГРУППИРОВКИ СТИЛЕЙ И УСИЛЕНИЕМ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРАВ ЖИВОЙ РУССКОЙ УСТНОЙ РЕЧИ

Процесс европеизации научной, технической, публицистической и общественно-бытовой лексики и фразеологии изменял систему деловых стилей письменно-книжного языка и еще более расширял их права и функции, чем это наметилось в XVII в. Приспособление русского языка к западноевропейским понятиям, смешение его с элементами этих языков, предполагаемый переводами кодекс соответствий между смысловой системой русского языка и семантическими формами западноевропейских языков — все это легче всего могло развиться и выработаться в официально-письменных, публицистических, общественно-деловых, светско-бытовых стилях литературной речи. Стилистическое расслоение в этой области письменно-книжного языка, промежуточной между жанрами церковнолитературной речи и социальными разновидностями письменно-бытовой речи и устного просторечия, было очень сложно и разнообразно, особенно если принять в расчет повествовательные стили. Так же пестры и богаты колебаниями были фонетические, грамматические и лексические формы этих стилей. Очень интересны наблюдения акад. В. Н. Перетца над правкой текста русского перевода книги: «Юности честное зерцало» (1717)*[1]. Здесь ярко обнаруживается принцип замены «простых, вульгарных выражений» более важными, книжными, церковными или канцелярскими — принцип, отражающий стилистические колебания светско-делового языка. Например, исправлены: *буде* (случится дело) на *ежели; поругание* на *презрение; не сможа стерпеть* на *не могущи стерпеть; хозяйкам* на *госпожам* и др. под.[4] Характерны также для стиля эпохи приемы смешения грубого просторечия с торжественными славянизмами в языке переводчика Пауса. Например: *вижду бо ево; сын божий... в иордан влезает;* ср. с одной стороны, такие просторечные

[1] Цит. по: *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом, т. 2, с. 247.

[2] Там же, с. 584.

[3] *Поликарпов Ф.* Предисловие к «Лексикону треязычному». М., 1704.

[4] *Перетц В. Н.* Историко-литературные исследования и материалы. СПб., 1902, т. 3, с. 230—231.

выражения, как *подмески не было, не замай, праруха, прамолвишся, мочь* (имя сущ.), *покойны местечки* и т. п., с другой — такие архаические славянизмы: *достизаю, гонзай, выну, внезапу, суесловие, духорожденный, доброчастие, пакирождение* и т. д. Акад. В. Н. Перетц был прав, считая этот прием «смешения слов вульгарных с торжественными, церковнославянскими» особенностью русского литературного языка первой трети XVIII в. Ср. у В. К. Тредиаковского в языке переложений псалтыри: *Услышит он, лишь мне завыть... При моем толиком , реве... В должном праве понесись... ...Хотя б колико не щитился... Расхищали те с задов*[1].

Ср. у Ан. Кантемира в примечаниях к переводу «Разговоров о множестве миров» Фонтенеля (1730) — объяснение научных терминов и непонятных слов: «*Глобус*. Тело со всех сторон круглое, каков есть мячь, по руски *куля*» (с. 50). «*До гниды*. Во французском стоит до подкожного червяка, я *гниду* употребил для того, что и довольно мала, и нам «знакомее» (с. 96). «*Акциа*. Продажа публичная, в которой тот купец, кто больше дает. *Вязка* по руски» (с. 23) и др. под.*[2]

Правда, светско-литературный язык Петровской эпохи, выраставший из публицистической и деловой речи, по своему назначению и значению был вообще народнее (если можно так выразиться), чем церковнославянский язык. Он был ближе к стилям живой устной речи и свободнее от стеснений церковнокнижной риторики. Кроме того, он быстрее и живее отражал идеологию правительства, более гибко приспособлялся к его программе.

В Петровскую эпоху светско-деловой язык решительно выступил в роли средней нормы литературности. Поэтому для истории русского литературного языка небезразличны изменения в социальном и культурно-общественном облике служилой среды. Конон Зотов писал 7 октября 1715 г. Петру I: «Понеже офицеры в адмиралтействе суть люди приказные, которые повинны юриспруденцию и прочие права твердо знать, того ради не худо бы было, если бы ваше величество указал архиерею рязанскому выбрать двух или трех человек лучших латинистов из средней статьи людей, т. е. не из породных, ниже из подлых, для того что везде породные презирают труды (хотя, по препорции их пород и имения, должны также быть и в науке отменны пред другими); а подлый не думает более, как бы чрево свое наполнить. И тех латинистов прислать сюда, дабы прошли оную науку и знали бы, как суды и всякие судейские дела обходятся в адмиральтействе»[2]. Таким образом, «средняя статья людей», т. е. разночинная масса служилого и торгового сословия, принимала близкое участие в образовании европеизованных стилей делового языка.

---

[1] Цит. по: *Перетц В. Н.* Историко-литературные исследования и материалы, т. 3, с. 291—297.

[2] Цит. по: *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом, т. 1, с. 157.

§ 8. РОЛЬ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЛИТЕРАТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ ТРАДИЦИИ В ПРОЦЕССЕ СМЕШЕНИЯ СТИЛЕЙ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Как было сказано выше, во второй половине XVII в. стили русского литературного языка подверглись влиянию юго-западного украино-польского делового языка. Укрепилось много украинизмов и полонизмов, преимущественно в языке высших слоев дворянства и духовенства. «Смешанный» состав этих стилей русского литературного языка в первой трети XVIII в. стал сложнее, но в основных своих чертах сохранил ту же двойственную книжно-разговорную природу, ту же широту и свободу колебаний (в зависимости от функции и социальной обстановки) между изощренной риторикой церковнославянского языка, устарелой фразеологией и однообразным синтаксисом приказно-канцелярского языка и пестрыми формами общественно-бытовой разговорной речи.

Смешанные формы этого делового языка, совмещающего церковнославянизмы с элементами приказной речи, с иностранными заимствованиями и с бытовой лексикой, особенно интересно наблюдать в письмах таких переселенцев с юго-запада, как Димитрий, митрополит Ростовский: «Дети, — писал он ученикам ростовской духовной школы, — слышу о вас худо: место учения учитеся развращения. Нецыи от вас и в след блудного сына пошли со свиньями конверсовать. Печалюся зело и гневаюся на вас; а якоже вижду вина развращения вашего та, что всяк живет по своей воли, всяк больший того ради поставлю над вами сеньора господина Андрея Юрьева, чтоб вас муштровал, як цыганских лошадей; а вы ему будте покорны, послушливы; а кто будет противен, той пожалован, будет плетью»[1]. Здесь и церковнославянизмы — *нецыи, печалюся зело, якоже* и т. п., и заимствования польско-латинского происхождения — *конверсовать, сеньор, муштровать*, и канцеляризмы вроде: *а кто будет противен, той пожалован будет плетью*, и формы просторечия — *всяк больший, цыганских лошадей* и т. п. Особенно показателен для характеристики того языкового смешения, которое вносилось в русскую литературную речь юго-западной литературной традицией, стиль переписки Димитрия Ростовского с митрополитом Стефаном Яворским. Полонизмы и украинизмы тут располагаются по соседству с латинизмами и церковнославянизмами, в которые подмешана значительная доля бытового просторечия. Полонизмы: *теды, хоць, зось, жебы, я намерснем, презентовати* и др..; сюда же относятся вставки фраз и целых предложений на польском языке; лексические латинизмы (*дискурси* и т. д.) и частое употребление латинских слов и фраз: *толико беззаконий, толико обид, толико* oppressiones *вопиют на небо* и др. под. Украинизмы: *перешкожаю, нехай, тылко, здоровя* и т. п. Церковнославянизмы: *тружду купно, благопотребна, в глубину поступи* (аорист) и т. д. Формы русского просторечия: *как в сбитню русском*

---

[1] Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1883, кн. 6. Смесь, с. 18*[1].

мещанина, Стиопка грешник и мн. др. «Встречаются, например, — пишет П. И. Житецкий об этом просторечии, — глагольные формы многократного вида, несвойственные украинскому языку: *кармливал, писывали*, а также следующие великорусские слова: *кушаю, замешкал, авось-либо, вовся ли* и пр. Такие и подобные слова составляли обычную принадлежность эпистолярного просторечия и у других земляков Димитрия Ростовского, живших на севере. Так, в письмах Стефана Яворского к брату читаем: *братец, маленько, пущай*... В разных письмах Феофана Прокоповича то же самое: *письмяцо, писаньице, ремеслишко, чернчишко, плутец* и пр.»[1]

§ 9. ЗЫБКОСТЬ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.

Нормы орфоэпии и орфографии литературно-деловых стилей первой половины XVIII в. были очень зыбки. Конечно, тон продолжали задавать высшие слои московского общества. Но само московское произношение все еще не установилось. В нем не прекращалось столкновение северно- и южнорусских фонетических и морфологических элементов (например, разные степени аканья, колебания в произношении звука *г*, сравнительная степень на *-яе* и *-ее* и др. под.[2] Диалектальные формы вообще свободно жили в разговорной речи высших слоев, так как проблема нормализации литературного произношения встала со всей остротой только в середине XVIII в. В грамматических руководствах говорилось исключительно о нормах церковной фонетики (например, в рукописи Ленинградской Публичной библиотеки 1725 г.: «Технология, то есть художное собеседование о грамматическом художестве»)*[1]. Церковное произношение, которое в принципе стремилось к приблизительно точному воспроизведению графических форм книжного текста (т. е. к соблюдению различий между *ѣ* и *е*, к сохранению ударяемого *е* перед твердыми согласными, к выговору фрикативного *г*, к чтению форм — *аho*, — *яho* и т. п.), врывалось в сферу бытового языка и примешивалось к его фонетическим различиям. Генрих Вильгельм Лудольф в своей грамматике (1696) и Тредиаковский в предисловии к «Езде в остров любви» (1730) свидетельствовали, что многие из образованных людей, особенно из среды духовного сословия, щеголяя ученостью, даже разговаривали на церковнославянском языке *[2]. Так широки были пределы фонетических вариаций в литературно-деловых стилях русского языка высших классов начала XVIII в.

---

[1] *Житецкий П. И.* К истории литературной русской речи в XVIII в.— ИОРЯС. СПб., 1903, т. 8, кн. 2, с. 17.

[2] См.: *Будде Е. Ф.* Некоторые выводы из позднейших трудов по великорусской диалектологии.— В кн.: Юбилейный сборник в честь Ф. В. Миллера. М., 1899, с. 49—55.

§ 10. ШИРОТА И СВОБОДА ГРАММАТИЧЕСКИХ (МОРФОЛОГИЧЕСКИХ) КОЛЕБАНИЙ В ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЧИ НАЧАЛА XVIII в.

Фонетической разнородности повествовательных, публицистических и деловых стилей русского литературного языка соответствовала широта грамматических различий. Письма и бумаги Петра I, по наблюдению проф. В. А. Богородицкого, «достаточно отражают состояние языка этого времени, давая образцы как простого стиля, так и более торжественного: первый мы встречаем в письмах приятельских и хозяйственно-распорядительных, а второй, изобилующий церковнославянизмами, — в письмах дипломатических (ср. в последних такие выражения, как *протчим войськом* — дат. множ.; *о некоторых делех; приступили есмы* и т. п.»[1]. Таким образом, с одной стороны, в этих литературных стилях, особенно при торжественной, риторической экспрессии, встречаются в большом количестве архаические, «славянские» формы склонения. Например, формы падежей с переходным «смягчением» задненебного согласного основы (*г — з, к — ц, х — с*) вроде: *в грамматицє* и под. (предисловие к «Славенской грамматике» иподиакона Ф. Максимова, 1723), *человеци* (в «Первом учении отроком» Феофана Прокоповича, 1722)*[1], формы дат. пад. множ. ч. существительных муж. и ср. р. на *-ом, -ем*, а также жен. р. типа *кость* на *-ем: войськом* (в письмах Петра I); *болезнем* (в «Первом учении отроком», 1722) и др. под.; тв. п. мн. ч. на *-ы:* с *народы* (Воинский устав 1716 г.), *твердыми указы* (Морской устав 1720 г.) и т. д.[2]; пред. п. мн. ч. существительных муж. и ср. р., а также жен. типа *кость* на *-ех: походех* (Воинский устав 1716 г.) и мн. др. под.; формы им. пад. мн. ч. прилагательных на *-и, -ии, -ы, -ыя, -а, -ая: святи* (в «Первом учении отроком», (1722) и т. п.; другие архаические формы склонения прилагательных; церковнославянские формы спряжения; инфинитив на *-ти* в безударном положении: *вступати* (Посошков. О скудости и о богатстве, 1724, и др. *[2]; 2-е л. ед. ч. настоящего и будущего времени на *-ши: можеши* (в письме Петра I, 1715) и др. под; даже формы аориста и имперфекта (не всегда в правильном употреблении), например *положи, нача, несяше, отвеща, видяше, внидоша* и др. под. («Басни Эзопа», 1700)*[3], *прииде, подаде* (в «Первом учении отроком» Феофана Прокоповича); вообще в области глагольного употребления характерны резкие колебания между архаической системой времен и новым грамматическим типом взаимодействия форм времени и категории вида; формы деепричастия на *-юще, -яще: помышляюще, исповедающе* (там же) и др. под.

Приемы пользования этими церковноархаическими грамматическими категориями дают материал и для суждения о социальной основе

---

[1] *Богородицкий В. А.* Общий курс русской грамматики. 5-е изд. М.—Л., 1935, с. 318. Ср. *его же.* Московское наречие двести лет назад.— Уч. зап. Казанского университета, 1902, кн. 2, с. 1—8.

[2] См.: *Будде Е. Ф.* Очерк истории современного литературного русского языка (XVII—XIX век).— В кн.: Энциклопедия славянской филологии. СПб., 1908, вып. 12, с. 42.

того или иного стиля, так как в дворянском языке пристрастие к грамматическим архаизмам церковнославянского типа сопровождалось постоянными ошибками в их употреблении. Возникал своеобразный конфликт употребления и значения.

Особенно остро разрыв между грамматическими архаизмами церковнокнижной речи и живым грамматическим сознанием продуктивных форм и категорий ощущался в области времен и видов глагола. В то время как в высоких стилях «славянского диалекта» культивировались книжноархаические разновидности прошедшего времени (аорист, имперфект, сложные формы прошедшего времени)[1], а категория вида лишь смутно предчувствовалась в искусственном разграничении количественных оттенков разных форм времени, традиция живой русской речи уже явственно различала формы видов — совершенного и несовершенного, дифференцированных не только количественно, но и качественно, и возмещала видовыми различиями утрату былого многообразия времени. С другой стороны, именно в светско-деловых и повествовательных стилях русского литературного языка (особенно энергично со второй половины XVII в.) проявляются смело и свободно черты московского и даже областного диалектального просторечия. Например:

1. Московские, вернее — южнорусские просторечные формы им. пад. мн. ч. существительных ср. р. на -ы, -и, -ии, -ьи: в письмах и бумагах Петра I: *болоты*, *бревны*, *вороты* (т. VI, с. 171); *деревьи* (т. VI, с. 38); *колесы*, *писании*, *письмы* (т. I, с. 17) и др. Эти формы получают особенное развитие и распространение в русском литературном языке с Петровской эпохи[2]. Ср. у В. К. Тредиаковского в «Разговоре об ортографии»: «Многие не токмо говорят, что простительнее, но и пишут: *рассуждении*, *повелении* вместо *рассуждения*, *повеления* *[4].

2. Формы род. пад. множ. ч. на *-ей* (вместо старых -ъ, -ь) в существительных жен. р. на *-а*: *пашей* («Письма и бумаги Петра Великого»), *пулей* (П о с о ш к о в), — формы, еще довольно слабо проявившиеся к концу XVIII в., но умножившиеся к его середине[3].

3. Формы род. пад. множ. ч. на *-ов*, *-ев* от существительных ср. р.: *примечаниев* (указание Тредиаковского: «Разговор об ортографии», с. 223); *трактованиев* (письмо Бирона к Кантемиру); *здоровьев* («Экстракт», 1746)[4] и др.; ср. также распространение окончаний *-ов*, *-ев* у имен существительных, от которых образуется форма им. пад. мн. ч. на -ья[5].

4. Еще не очень многочисленные, но характерные обнаружения

---

[1] См.: *Булич С. К.* Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке. СПб., 1899, с. 369—373.

[2] См.: *Обнорский С. П.* Именное склонение в современном русском языке. Л., 1930, вып. 2, с. 112, 125, 126.

[3] См. там же, с. 201. Впрочем акад. А. И. Соболевский утверждает, что эти формы «уже нередки в памятниках XVI—XVII вв.»:— В кн.: *Соболевский А. И.* Лекции по истории русского языка. 4-е изд. СПб., 1907, с. 179.

[4] См. там же, с. 251—252.

[5] См. там же, с. 275—283.

форм на *-ов, -ев*, в род. пад. мн. ч. от существительных женск. рода на *-а: старых азбуков* («Письма и бумаги Петра Великого», т. V, с. 54); *бомбов* (там же, часто); *монстов* (Первые русские «Ведомости», 73); *субсидиев* (Кантемир) и др. под; *невеждов* (Димитрий Ростовский. Розыск о брынской вере, л. 39 об., с. 326)[1].

5. Севернорусские формы сравнительной степени на *-яе*.

6. Широко и свободно употребляются глагольные формы многократного вида на *-ывать, -ивать* и т. п.

Вообще смешение церковнославянских архаических и русских, нередко просторечно-диалектальных форм еще не сдерживается твердой грамматической регламентацией, подчиненной канону разных литературных стилей. Смутные отголоски старинной теории трех стилей, поддержанной юго-западными риториками, заглушаются бурным брожением и резкими столкновениями двух разных стихий — стилей феодального церковнолитературного языка и свежих, но неупорядоченных волн общерусской деловой и разговорной речи.

§ 11. СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ПЕСТРОТА И НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ В СФЕРЕ СИНТАКСИСА

Еще большая пестрота и неорганизованность господствовали в сфере синтаксических форм. Тут можно наблюдать и характерные для старого, примитивного письменно-делового языка «присоединительные» разговорные бессоюзные или связанные союзами *и, а, да, но* конструкции, которые иногда осложнялись однообразными формами подчинения при посредстве союзов: *понеже, дабы, чтоб, для того, что* и др. и относительных слов *который, кой, где* и т. п., в этих случаях нередко образуя цепь «механических» ассоциативных сцеплений. Тут царило смешение разговорных форм с церковнославянскими, книжно-архаическими. Логическое движение было не упорядочено; приемы сочинения и подчинения предложений не были дифференцированы. Союзы нагромождались один на другой, свидетельствуя о логической нерасчлененности речи. Формы канцелярского синтаксиса торжествовали. В. К. Тредиаковский осуждал в «Разговоре об ортографии» такого типа синтаксические группы: *«Ежели окончил и ему б перестать* вместо *ежели окончил, то ему б перестать; хотя сие и правда, то однако молчать надлежит*, вместо *хотя сие и правда, однако молчать надлежит»*[2].

Однако сам Тредиаковский еще не освобождается от ассоциативной раздробленности речи, нередко даже как бы культивируя механическую, логически не упорядоченную сцепку синтагм. «Неумение или сознательное нежелание подлинно связывать отдельные части фразы одним сложным интонационным единством, искусственное присоединение их одна к другой сказываются в любимом приеме Тредиаковского... когда он отделяет один (или несколько) из второстепенных

---

[1] См.: *Аксаков К. С.* Ломоносов в истории русской литературы и русского языка.— В кн.: *Аксаков К. С.* Собр. соч. М., 1875, т. 2, с. 280.

[2] *Тредиаковский В. К.* Соч. СПб., 1849, т. 3, с. 223—224.

членов предложения и присоединяет его в самом конце фразы при помощи слов *к тому же, также и*», — например:

Эрата смычком, ногами
Скачет, также и стихами...
Бледен зрак и суров, сверкающи очи
Те же и впадши еще...[1]

В простейших конструкциях синтаксическим центром был глагол, обставленный немногими дополнениями или определенный одним-двумя наречиями.

Вот несколько примеров. Из «Записок» И. Желябужского *[1] (1682—1709): «А морозы были великие, многие на дорогах помирали, также и снеги были глубокие, а вода была великая на Москве, под Каменный мост под окошки подходила и с берегов дворы сносила и с хоромами и с людьми, и многих людей потопила, также церкви многие потопила... вновь святили»[2].

Из «Записок» В. А. Нащокина *[2]:

«Онагожь (1716) года в Петербурге весьма было малолюдно, и полков, кроме гарнизона, ничего не было, а были все с государем в немецких краех, а прочего знатного в Петербурге ничего не происходило»[3].

«Когда оных пленных вели и, как выше явствует, сам государь, будучи в мундире гвардии, учреждал конвой, и как итить с пленными до крепости, а лейб-гвардии Семеновского полка капитан старшей Петр Иванов сын Вельяминов, в то учреждение своим представлением вмешался, которого государь при всей той оказии бил тростью»[4].

Из «Ведомостей Московского государства» 1702 г.: «В верхотурском уезде из новообретенной железной руды много пушек налито, и железа велми много зделано; такова мяхкого и доброго железа из свецкия земли не привозили, а на Москве с провозом станет пуд по 12 алтын»[5].

Из «Ведомостей» 1711 г.:

«Из Копенгагена сентября в 19 день. Пагуба еще нарочита обходит, в неделю еще 1000 человек умирает, все кладбища уже мертвыми наполнили, того ради огороды прикупили мертвых погребать»[6].

Из письма Петра II к царице Евдокии Федоровне (1727):

«Мое желание, дабы вас дражайшую государыню бабушку видеть, не меньше есть, как ваше, и я надеюсь, что богу соизволяющу оное нынешней зимы исполнится»[7].

Но рядом в начале XVIII в. жили и более сложные типы синтак-

---

[1] *Бонди С. М.* Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков. — В кн.: *Тредиаковский В. К.* Стихотворения. Л., 1935, с. 65.

[2] *Желябужский И.* Записки. СПб., 1840, с. 245.

[3] *Нащокин В. А.* Записки. СПб., 1842, с. 2.

[4] Там же, с. 8.

[5] Цит. по: *Харлампович К. В.* Ведомости Московского государства 1702 года.— ИОРЯС. СПб., 1918, т. 23, кн. 1.

[6] Цит. по: *Погорелов В.* Материалы и оригиналы «Ведомостей» 1702—1727 гг. М., 1903, с. 94. Ср. также сборник документов: Реформы Петра I. М., 1937.

[7] Письма русских государей. М., 1862, с. 74.

сического построения, носящие и в запутанной расстановке слов (с глаголом на конце), и в приемах сцепления предложений, и в отдельных оборотах отпечаток латино-польского или немецкого синтаксиса.

Например, из указа Петра I от 1711 г. 15 июля:

«Господа сенат! Хотя я николи б хотел к вам писать о такой материи, о которой ныне принужден есмь, однакож понеже так воля божия благоволила и грехи христианские не допустили. Ибо мы в 8-й день сего месяца с турками сошлись и с самого того дня, даже до 10 часов полудня в превеликом огне не точию дни, но и ночи были, и правда никогда, как и почал служить, в такой дисперации не были, понеже не имели конницы и провианту; однакож господь бог так наших людей ободрил, что хотя неприятели выще 100 000 числом нас превосходили, но однакож всегда отбиты были, так что принуждены сами закопаться и апрошами яко фортецыонами единыя только рогатки добывать, и потом, когда оным зело надокучил наш трактамент, а нам вышереченное, то в вышереченной день учинено штильштанд, и потом подались и на совершенный мир, на котором положено все города у турков взятые отдать, а новопостроенные разорить, и так тот смертный пир сим кончился»[1].

Далее шли те «красные» формы выражения, которые в разных видах симметрического расположения слов и композиционных частей следовали правилам и ухищрениям юго-западной (латино-польской) риторики.

Например, в «Рассуждении» П. Шафирова (1722).

«И тако аще обратимся к искусству его величества в политических делах, то усмотрим, что не токмо во оных в свете так многие явные и великие дела сам показал, что может за лучшего политика почтен быти, но и многих из подданных своих (которые в том почитай не малого искусства не имели), привел в такое состояние, что могут равняться с министры других европейских народов, и в негоциациях политичных и чюжестранных дел с доброю славою должность свою за высоким его величества наставлением отправляют. Аще посмотрим на воинские дела на земли, то его величество во многих как благополучных, так и злополучных случаях, не токмо сам себя показал великим вождем и храбрым и неустрашимым и рассудительным воином, каковых из его равных едва ли кто в сии веки обрестися может, но и подданных своих, которые в регулярном воинстве никакого искусства ни знания не имели, в такое состояние и порядок привел, что ныне между лутчих войск в Европе почитаются»[2].

Крайнюю ступень занимали славяно-греческие конструкции, восходившие к тем литературным стилям XVII в., в которых «извитие словес» сопровождалось «высотой словес» (ср., например, предисловие к «Букварю» Ф. Поликарпова)*[3].

---

[1] Собрание законов Российской империи, т. 4, № 2349, с. 716.
[2] *Шафиров П.* Рассуждение, какие законные причины, с. 9—10.

§ 12. ПРОЦЕССЫ СТИЛИСТИЧЕСКОГО СМЕШЕНИЯ И СКРЕЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Синтаксическая пестрота светско-деловых стилей литературного языка сочеталась с разнородностью их лексико-фразеологического состава, с широтой социально-диалектального их объема. Одним краем они уходили в разговорный язык города и в крестьянский язык, включая в себя и областные диалектизмы. В «просторечии» так же, как и в книжном языке, в области лексики и фразеологии не было устойчивых норм, и широко применялись синонимы, диалектологические дублеты обозначения. Интересны, например, такие параллели в «Книге лексикон или собрание речей по алфавиту, с российского на голанский язык» (1717)*[1]: *Постоялой двор*, или *нослежной двор; постронка, пристяжь*, или *веревка у шор, которыми лошади тянут; ширинка*, или *платок, его же пристягивают у малых робят под шею, чтобы платье не заслинить; брюзга*, или *журливость* (67); *хижка, шалаш* (69); *пень, колода, чурбан, отсечек* (195); *сосудец, в него же плюют, сиречь плевок* (158) и т. д.[1]. В. Н. Татищев указывал в своем «Разговоре о пользе наук и училищ» на множество просторечных и деревенских слов, которые «до днесь употребляются» в дворянской среде: *вот, чють, эво, это, пужаю, чорт*, вместо *се, едва, здесь, страшу, бес* и пр. (с. 91). Ср. формы просторечия в сатирах Кантемира.

В сатире I (1729):

...Глупо он *лепит горох в стену.*
Румяный *трожды рыгнув* Лука *подпевает...*
Когда все дружество, вся моя *ватага*
Будет чернило, перо, песок да бумага...
Вот для чего я, уме, немее быть *клуши* советую.
Плюнь ему в рожу; скажи, что *врет околесну...*

В сатире II:

Гнусна *бабья рожа...*
А благородство мое во мне унывает,
И не сильно принести мне ни какой *польги.*
Лесть, похлебство не люблю...
Спросить хоть у Нейбуша, таковы ли дрожжи
Любы, как пиво ему, отречется *трожжи.*
Грозно соплешь...
Тянешься уж час — другой, нежишься ожидая
Пойла...
Часть (волос) над *лоским лбом* торчать будут сановиты...
Деревню *взденешь* потом, на себя ты целу.
Приложился сильный жар к *поносному резу.*

В сатире III:

Весь вечер Хрисипп без свеч, всю зиму *колеет.*
Тут-то уж без мелу,
Без верви *кроить* обык, без аршина *враки...*

---

[1] Ср.: *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом, т. 2, с. 384.

Глаза красны, весь распух, из уст *смердит стервой*...
Когда примется за что, дрожат руки, ноги,
Как под *брюхатым* дьяком *однокольны дроги*.

В сатире IV:

Кто всех бить *нахалится*, часто *живет битый*...
Сколько *ногти не грызу* и *тру* лоб *вспотелый*,
С трудом стишка два сплету, да и те не спелы.
... и в *зубах вязнет* твое слово.

В сатире V:

...И зубы с вином *блюет* изо уст смердящих.
...ты к *работе угож;* буде ты охоту
Имеешь служить, я дам *сносную работу*.

Но те же светско-деловые стили другим краем глубоко врезывались в область церковнокнижного языка. Такова, например, в указе о предании проклятию бывшего гетмана Ивашки Мазепы, торжественная фразеология «славенского диалекта». «По внешнему образу был сосуд потребен, а потом явился сосуд диаволь. Он оставя свет возлюбил тьму, от нея же внутренния ослепоста ему зеницы» и т. п. Предисловие к «Грамматике» Ф. Поликарпова *2 (1721) обнаруживает явный уклон к высокому «славенскому» стилю «еллинского» образца хотя бы в характеристике «богомудрых российских отроков»: «Мнози ныне различная государства пчелоподобно облетающе да оттуду соберут себе благовонныя различных учений цветы, из них же бы могли себе и прочим оных желателем сладкий на славенском диалекте сот преводом своим различных языков представити» и т. д. «Треязычный лексикон» Ф. Поликарпова (1704)[1] больше всего отражал систему «славенского диалекта», хотя нередко включал в себя дублеты, синонимы делового или разговорного языка и просторечные выражения, например: *лоно*, или *пазуха* (I, 163)[2]; *извиняюся — вину приношу* (I, 130); *извнутряю*, или *потрошу* (II, 130); *яко же рещи — как наприклад сказать* (II, 179); *фальшивый*, зри *лживый* (II, 148 об.); *фортеца*, зри *твержа*, или *крепость* (II, 149); *франт — шут, скомрах* (II, 149); *глот*, емлет ся у россов за *обидлива человека* (I, 73); *гомон*, зри *мятежь* (I, 75 об.); *драка*, зри *бой* (I, 94); *дуда*, зри *труба* (I, 95); *живот* (vita, bios, zoe) — *жизнь и животы, богатство* (I, 106); *жижа, уха* (I, 106 об); *забобоны — притворная вера* (I, 112); *зад главы*, или *затылок* (I, 114); *задорю*, зри *прогневляю; задышка, зри одышка* (I, 114); *бабствую, бабю* тож (I,5); *бичь, кнут* (I, 14 об.); *брак*, или *свадба* (I, 32); *варница, поварня* (I, 39); *витаю, гощу* (I, 47); *вожатый*, зри *вождь* (I, 52); *возглавие, подушка* (I, 53); *выкидок*, зри *изверг* (I, 65 об.); *захапляю*, зри *похищаю* (I, 123 об.); *конура*, зри *пещера; крадебница, воровка* (I, 155); *могута*, зри *сила* (I, 171 об.); *мешанина, смесь* (I, 178); *няня*, зри *дето-*

---

[1] См.: *Поликарпов Ф.* Лексикон треязычный сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище из различных древних и новых книг собранное и по славенскому алфавиту в чин расположенное. М., 1704.

[2] В скобках указаны тома и страницы лексикона.

водница (I, 201 об.); *пора*, зри *время* (II, 23 об.); *постройка*, зри *созидание* (II, 27); *притон*, зри *прибежище* (II, 57); *рожа*, зри *лице* (II, 83); *скус*, зри *вкус* (II, 97); *смрад*, *вонь* тоже (II, 102 об.); *охабка*, зри *объятие* (II, 178); *оковрач*, *очник*, *окулист* (I, 203 об.) и мн. др.

В лексиконе Ф. Поликарпова иногда встречаются выражения живой народной речи и независимо от синонимического параллелизма с церковнославянизмами. Например, *баклашка* (I, 30); *брюхатая жена* (I, 34); *возгри сморкаю* (I, 58); *вошливый* (I, 6); *гульба* (I, 81); *корец*, *ковш* (I, 152 об.); *обора*, зри *веревка* (I, 203); *помело*, *метла* (II, 21); *помывки*, зри *помои* (II, 22); *придурь* (II, 49 об.); *пронюхлый*, зри *провонялый* (II, 62); *прею*, зри *потею* (II, 67 об.); *протори*, *убыток* (II, 66) и мн. др. Но, по-видимому, недостаточной полнотой охвата светско-деловой лексики, новых иностранных слов и бытовых выражений и пристрастием к церковнославянизмам, даже архаической окраски, «Треязычный лексикон» Поликарпова не удовлетворил Петра I. По крайней мере, в 1716 г. 2 января И. А. Мусин-Пушкин писал Ф. Поликарпову об оценке Петра: «История твоя и лексикон... не очень благоугодны были»[1]. Петр I именно в светско-деловых стилях видел основу новой «европеизованной» системы русского литературного языка.

Таким образом, и в области лексики в эту переходную эпоху обнаруживается брожение и смешение разноязычных и разностильных элементов, сказывающееся в обилии недифференцированных синонимов. Понятно, что потребность стилистической дифференциации и нормализации языковых форм в новой системе русского литературного языка становится все более ощутимой и неотложной.

§ 13. ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЦЕРКОВНОКНИЖНОЙ РЕЧИ

Процесс образования новых литературных стилей посредством смешения элементов церковнокнижной речи с формами светско-делового языка, живой разговорной русской речи с западноевропейскими заимствованиями ускоряется и регулируется правительственными инструкциями. Этот процесс был симптомом национализации русского литературного языка, отделения его от профессионально-церковных диалектов и сближения с общественно-бытовыми стилями устной речи. Тот строй литературного изложения, который культивировался Петром I и его сподвижниками, довольно ясно вырисовывается из инструкций переводчикам. И. А. Мусин-Пушкин, один из исполнителей литературно-переводческих предприятий Петра I, предлагал Ф. Поликарпову исправить «хорошенько» перевод «Географии», «не высокими словами, но простым русским языком, также и лексиконы»: «Со всем усердием трудися и высоких слов славенских класть не на-

---

[1] Цит. по: *Браиловский С. Н.* Ф. П. Поликарпов-Орлов, директор московской типографии.— ЖМНП, 1894, № 9—11.

добеть, но посольского приказу употреби слова». Живая устная речь и формы выражения, выработанные переводчиками посольского приказа, т. е. публицистические, повествовательные, дипломатические, канцелярские и технические стили, отчасти опирающиеся на то же бытовое просторечие, на живой разговорный язык, на формы деловой речи и на систему церковнокнижного языка, отчасти же обращенные к лексике, фразеологии и семантике западноевропейских языков, преимущественно латинского, польского, немецкого и французского, — вот та языковая сфера, откуда пополняется инвентарь «общего» национально-литературного языка.

Система церковнославянского языка объявлялась недостаточной для выражения идеологии реформирующегося общества. Сфера церковнославянизмов в литературно-светском употреблении от этого сужается. Некто Максимович, составивший лексикон латинский с русским толкованием (Рукопись Ленинградской Публичной библиотеки, Q. XVI, № 21), писал в предисловии (1723): «Власть духовная, ея же честь учения расширяти, долг нерушимый... о размножении наук на языках политических не прилагала попечения. Несть дивно, зане духовных лиц прежних времен закоснелый бе обычай никаких кроме церковных, и то греческого чиноположения, с греческого на словенский язык преводиых книг и имети, и читати, и почитати; к навыкновению же и учению иностранных языков (кроме словенского и греческого) и малейшего не бысть усердия»[1].

Иллюстрацией к этой тенденции — ограничить сферу употребления «славенского диалекта» — и вместе с тем ярким свидетельством непонятности церковнославянизмов для широкой публики, симптомом разрыва между высокой «славенской» лексикой и формами «гражданского посредственного наречия» могут служить синонимические переводы церковнославянизмов на русский язык в сочинении Дм. Кантемира «Книга систима или состояние мухамеданския религии» (1722); *хранилище — магазин или житница; ветрило — парус; клятва — божба; косный — нескорый; овн — баран; ковчег — сундук; скала — каменная гора* и т. п.[2] Принцип национализации церковнославянского языка, сближения его с устной разговорной речью очень ярко и ясно выступает в грамматике иподиакона Федора Максимова (1723)[3], где также широко применяется прием перевода церковнославянизмов на национально-бытовой язык. Например: *древле* — давно; *дондеже* — на всякое время; *присно* — беспрестанно; *искони* — сначала; *зде* — здесь; *горé* — вверху, высоко; *далече* — далеко; *добре* — хорошо; *зле* — худо, неладно; *сладце* — сладко и т. п. Федор Максимов решительно призывает к литературной канонизации просторечия, к включению его в систему славянского языка, «ибо многая употребления

---

[1] Цит. по: *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом, т. 1, с. 193—194.

[2] Цит. по: *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом, т. 2, с. 584.

[3] См.: Грамматика славенская в кратце собранная в Грекославенской школе иже в великом Нове Граде при доме Архиерейском. Лета от рождества Христова 1723.

обносима зрятся, а правил себе в славенстей грамматице не имеют. Например: «Давид роди Соломона от Уриины». Се полагается едино имя прилагательное со отъятием существительного, еже прислышимо бывает (т. е. подразумевается) сие: *жены*; но и просте употребляется по сему правилу: яко же сие; *держи обема*, приразумевается существительное сие — *рукама*».

Упрощение строя литературного языка, приближение его грамматической, лексической и семантической структуры к пониманию широких кругов русского народа, удобопонятность языка — лозунг правительства и живая потребность самого общества. Переводчик Виниус писал Петру I (1709) о языке перевода книги по механике: «Униженно молю величество ваше, дабы прежде изволил еси тот трактат выслушать и свыше данным вам разумом рассудить, от неа кая польза людем будет ли? Понеже автор сего трактата писал зело сокращенно и прикрыто, не толико зря на пользу людскую, елико на субтильность своего философского письма»[1]. Относительно перевода книги Пуффендорфа Петр приказывал Гавриилу Бужинскому: «Прошу, дабы не по конец рук переведена была, но дабы внятно и хорошим штилем»[2]. Феофан Прокопович в предисловии к переводной книге «Изображение христиано-политического властелина» обращался к Петру (1709), выражая опасение, что перевод не удовлетворит «желанию пресветлейшаго величества... отнюд бо невозможно есть... всю темность и стропотность прогнати во преведении на славенский язык книжицы сея»[3]. Ивана Зотова Петр убеждал в письме от 25 февраля 1709 г.: «Надлежит вам к той книжке, которую ныне переводите, остерегаться в том, дабы внятнее перевесть и не надлежит речь от речи хранить в переводе, но точию сенс выразумев, на свой язык уж так писать, как внятнее»[4]. Брюс, стараясь оправдать необычность некоторых терминов в переводе на российский язык голландской грамматики, писал Петру от 6 мая 1717 г.: «И хотя... сыщутся не мало слов, не сходных с простым наречием и со иными лексиконы, однако ж я принужден был следовати лексикона автора тое грамматики, который ко мне прислан из Амстердама...»[5]. Характерно распоряжение Петра синоду (19 апреля 1724 г.) о составлении катехизиса, «...чтоб просто написать так, чтоб и поселянин знал, или на две: поселяном простяе, а в городах покрасивее , для сладости слышащих, как вам удобнее покажется»[6]. Тут «славенский высокий диалект» и просторечие, простой слог русского «гражданского» языка, противопоставляются не только как разные стили литературного языка, но и как социально дифференцированные и эстетически не равноценные типы словесного выражения.

---

[1] Цит. по: *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом, т. 1, с. 206.

[2] Цит. по: Там же, с. 213.

[3] Цит. по: Там же, т. 2, с. 216.

[4] Цит. по: Там же, т. 1, с. 227*[1].

[5] Там же, с. 302.

[6] Цит. по: Там же, с. 181.

Едва ли не самое меткое и точное обозначение того стиля, который культивировался правительством как норма литературного языка, принадлежит Мусину-Пушкину. Он доносил Петру (10 декабря 1716 г.) о переводе «книжки г. Еразма»: «Я префекту приказал, чтобы исправил и речения б клал некоторые русским обходительным языком»[1]. Характерно также заявление Ф. Поликарпова о языке перевода «Географии генеральной» (1718): «Преводих сию не на самый высокий славенский диалект против авторова сочинения и хранения правил грамматических, но множае гражданского посредственнаго употреблял наречия, охраняя сеис и речи оригинала иноязычного»[2]. Таким образом, в первой трети XVIII в. пролегла более глубокая и более широкая грань между «славенским диалектом» и светскими — деловыми, научно-техническими, повествовательными — стилями русского литературного языка. Славенский диалект в XVIII в. становился, по выражению Тредиаковского, «очюнь темен». Иподиакон Федор Максимов, издавая грамматику «с приложением простых речений», указывал, что в прежних грамматиках «обдержатся славянские речения, российски вмале разумеваема»[3]. Однако даже в пределах светско-деловых стилей вопрос шел не о полном разрыве с церковнокнижной традицией, а об ее модернизации, об ее идеологическом преобразовании, о выделении из нее живых элементов для последующего развития европеизированной русской литературной речи. Происходило в пределах церковнославянского языка разграничение профессионально-культовых церковнобогословских элементов и национально-литературных, секуляризованных обществом. Поэтому не было замены, вытеснения одного языка другим. А. П. Веселовский, русский поверенный в Вене, доносил Петру о переводах лексиконов: «И мнится мне, что помянутые переводы малого труда к исправлению требуют, а именно Кроликов (т. е. переводчика Феофила Кролика) склоняется на киевское знаменование языка, а Воейков на славянский»[4]. Итак, дело идет только о грамматической, лексико-фразеологической и стилистической реорганизации литературного языка, который теперь составлен из смешения русизмов, церковнославянизмов и европеизмов.

Литературный стиль Петровской эпохи, несмотря на свой смешанный состав, не переставал быть и называться «славенским». Переводчик Виниус писал Петру от 17 января 1709 г.: «Трактат о механике... на словенский язык преложил»[5]. В 1715 г. Петр писал Конону Зотову: «Все, что ко флоту надлежит, на море и в портах, сыскать книги; также чего нет в книгах, но чинят от обычая, то помнить и все перевесть на славянский язык нашим стилем, а за штилем их не гнаться»[6]. 19 ноября 1721 г. Петр велел Синоду распорядиться о переводе на

[1] Цит. по: *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом, т. 2, с. 368.

[2] Цит. по: Там же, с. 433.

[3] Цит. по: *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом, т. 1, с. 185.

[4] Цит. по: Там же, с. 234.

[5] Цит. по: Там же, с. 206, ср. с. 231, 232.

[6] Там же, с. 157.

«словенский диалект» труда Пуффендорфа «De officiis hominis et civis» («О должности человека и гражданина»)[1]. Между русским или «российским диалектом» и «славенским» языком ставился нередко даже знак равенства. Иногда употреблялся и термин «славенороссийский язык» (см. письмо к Петру Мусина-Пушкина от 2 октября 1716 г.) для обозначения новой системы русской национально-литературной речи, сохранившей связь с церковнославянской традицией, но полуосвобожденной от профессионально-церковного гнета.

§ 14. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Преобразование «светских» стилей литературного языка не могло не отразиться на структуре самой церковнокнижной речи. Целый ряд жанров церковнославянского языка, например жанр обличительной, проповеднической литературы, подвергается еще более глубоким воздействиям светско-деловых и публицистических стилей. Завершается процесс церковной «специализации» и богословской «профессионализации» «еллино-славянских» стилей XVII в. Бывший «восточник», защитник «еллинизма» Ф. Поликарпов в 1723 г. 9 января писал в своем заявлении Синоду: «Книга Григория Богослова Низианзена, с прочими, иже с ней, переведена необыкновенною славянщизною, паче же рещи еллинизмом, и затем о ней мнози недоумевают и отбегают. А можно оную вновь превести удобнее, и неудобопроходные стези в пути гладки устроить»[2]. В системе церковнокнижного языка берут решительный перевес те семантические, синтаксические, а отчасти и лексико-фразеологические формы, которые принесены юго-западной «славенской» традицией. Но прямые «украинизмы» постепенно вытравляются из русско-славянского языка[3]. Однако еще Сумароков жаловался, констатируя зависимость ломоносовского высокого слога от украинской традиции: «*Летá* вместо *лéта* г. Ломоносов утвердил, быв не москвитянином, а не ввел сам собою; ибо малороссияня то ввели; а потому, что все школы ими были наполнены; так сие провинциальное произношение и вкоренилось, яко *всигды*, *теби*, *мья* и протчие малорусские испорченные выговоры...», «Знатнейшие наши духовные были ко стыду нашему только малороссиянцы, почти до времени владеющие нами самодержицы», и далее обличалось слепое следование русского духовенства «их неправильному и провинциальному наречию»[4]. Но если отражения живых форм украинского языка постепенно стушевывались, исчезали, то влияние юго-западной риторики долго, до второй половины XVIII в., сохраняло свою силу. Особенности этого фигурально-изысканного стиля церковнославянской речи выступают в таком виде: «Заметно увлечение реторическою фигуральностью, часто слишком изысканною и однообразною;

[1] См.: *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом, т. 1, с. 213.

[2] Цит. по: *Браиловский С. Н.* Ф. П. Поликарпов-Орлов, директор московской типографии, с. 31.

[3] См.: *Житецкий П. И.* К истории литературной речи в XVIII в., с. 25—28.

[4] *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе. М., 1787, ч. 10, с. 24, 26.

иногда один оборот идет через три страницы. В конструкции речи, конечно, не всегда, но заметен латинизм: расстановка слов и длиннота периодов, запутанных вставными предложениями, напоминают латынь, употреблявшуюся в школах. К красотам языка думали причислить и употребление слов иностранных, которыми со времени Петра были наполнены и официальные бумаги; в поучениях тогдашних, конечно, такие обороты не были дики для слуха, каковы, например, следующие: «Посмотри на салдат, не токмо когда в ордер баталии устроеваются, но и когда в екзерцициях воинских обращаются, каково чинно, каково с бережением регулы, каково по науке их артикула прохождение и возвращение, каково по гласу командующего соотвечание, словом: дивная армониа». (Слово Кирилла Флоринского на освящение храма, 1742). В проповедях часто встречаются слова: *економия, инструкция, потентаты, екстракт, експеримент, кондиция, презерватива;* Иоав называется *фельдмаршалом войска Давидова* и т. п.[1]. Внутри сферы самого церковнославянского языка усиливается брожение; происходит дифференциация стилей, некоторые из них переживают процесс «обмирщения». В языке проповедей Стефана Яворского, слов и речей Феофана Прокоповича «ярко является характер тогдашнего слога, — эта смесь церковнославянского языка, простонародных и тривиальных слов, тривиальных выражений и оборотов русских и слов иностранных»[2]. Например, в проповедях Феофана Прокоповича чрезвычайно ярко выражены симптомы «обмирщения» церковнославянского языка: «Естьли бы к нам добрии гости, не предвозвестя о себе, морем ехали, узревше их, немощно бы уготовати трактамент для них, как же на так нечаянно и скоро нападающего неприятеля мощно устроити подобающую оборону? едина конфузия, един ужас, трепет и мятеж»[3]. «...Когда слух пройдет, что государь кому особливую свою являет любовь, как вси возмятутся, вси к тому на двор, вси поздравляти, дарити, поклонами почитати, служити ему, и умирати за него будто бы готовы, и тот службы его исчисляет, которых не бывало, тот красоту тела описует, хотя прямая харя, тот вводит рода древность из-за тысячи лет, хотя бы был харчевник или пирожник... А с тем, кто в такое добро вбрел, что делается, тот уже и сам себя забыв кто он, не ведомо что о себе мечтает. Между тем от зеркала не отступит, и делает экзерцицию, как бы то честно и страшно являти себе, как то и сидети, и постанвати, и поглядывати, и поговаривати»[4].

Но, с другой стороны, высокие, торжественные стили «гражданского наречия» питаются церковнокнижной риторикой. Для иллюстрации смешения «высокого славенского диалекта» с формами европеизированной деловой и разговорно-светской речи можно извлечь яркий материал из панегирика «Сказание радостного и торжествен-

---

[1] *Смирнов С. К.* История московской Славяно-греко-латинской академии. М., 1855, с. 119—120.

[2] *Аксаков К. С.* Ломоносов в истории русской литературы и русского языка, с. 252.

[3] *Феофан Прокопович.* Слова и речи. СПб., 1760, ч. 2, с. 54.

[4] Там же, ч. 3, с. 34—35.

ного триумфа, еже сотворися вхождением его пресветлейшего величества, великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всея Великия, Малыя и Белыя России самодержца, преславного суща победителя шведов и внутренних своих врагов (многоглавой гидры). Како той великий монарха, сего 1709 года, декабря 21 ...с плененными шведскими генералы, вышними и с нижними офицерами и с прочими шведского короля служительми, со знамены, артиллериею, мунициею, канцеляриею и с прочими различными добычами в своих свышеполученных под Полтавою, Лесным и Переволочною викториях, со славою и помпою велиею, в Москву благоволил есть внити». Здесь встречаются во множестве грамматические и лексические приметы высокого славенского слога, которые для «обходительного» или «посредственного» гражданского языка той эпохи были церковно-книжными архаизмами. Таковы, например, архаизованное образование причастия *восставших*, частое употребление форм аориста: *бе, прогна, победи, порази, воздвигоша своя оружиа* и т. п.; слова и выражения вроде *вознепщуя, абие, обаче;* наблюдаются даже формы, лишенные иотации: «... иже... вместо помощи воздвигоша своя *оружиа*» и т. п. Характерно соседство и столкновение стилистически разнородных словесных рядов — высоких и разговорно-бытовых: «...и те *русацы*, увидя храбрость вашу, абие оружие брося сами побегут»; «наши воины... задних несколько верст гнали, иже ушед стали обозом под местечком Переволочной...» и т. п. Рядом с церковнославянизмами располагаются и иноязычные заимствования: «объездя свои полки и всем *кураж* наговоря, *викторию* приял»; «и тако меньши дву часов с небеси дарованная, царского величества оружием полученная *виктория* совершилася»; *редуты*; «советы искусных своих *генералов* презрев»; «*багинетами*... поколов» и т. п. Конструкция фразы, предложения, периода является отражением латинского синтаксиса. Ср. хотя бы порядок слов в предложении, которое замкнуто глаголом: «...и тако меньши дву часов с небеси дарованная, царского величества оружием полученная виктория совершилася»; «...како злокозненных тех врагов мысли, яко воду, рассыпа и, яко прах пред лицом ветра, прогна»; «...на редуты государские дерзновенно пошел и два редута недоделанных взял» и т. п. Но это смешение и взаимопроникновение церковнокнижных и светских «высоких», риторических стилей лишь углубляет идеологические и формально-грамматические противоречия между архаическим строем церковной речи, между ее профессионально-культовым характером и живой общественно-бытовой основой светского литературного языка.

Отжившие формы церковнославянского языка (вроде форм «славенского» склонения, форм со смягчением заднеязычных, форм аориста, имперфекта, деепричастий на *-юще, -яще*, и т. п.) должны были постепенно выветриться из литературного языка.

На передний план в «обходительном» языке выдвигались русские общественно-бытовые элементы, или тождественные с церковнославянскими, или приведенные в большее или меньшее согласие с ними, и «европеизмы».

§ 15. ПЕРЕЖИТКИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ФЕТИШИЗМА В СФЕРЕ ЦЕРКОВНОКНИЖНОЙ РЕЧИ

Однако в семантике русского литературного языка очень долго, до второй половины XVIII в., сохранялись пережитки религиозно-культового, магического отношения к «священным» словам и следы богословско-схоластической интерпретации их. Эта черта отличает главным образом язык духовенства и выходцев из духовной среды. Поучительным примером может послужить Тредиаковский, который после неудачных попыток переустройства литературного языка на основе разговорной речи образованных слоев города вернулся к культу церковнославянского языка (в 50—60-е годы) с возрождением национально-патриотических настроений в правящих сферах. Тредиаковский наряду с европейскими замашками обнаруживает характерное для церковнокнижника фетишистское отношение к словам, которые в богословском или церковнобогослужебном языке имели условно-символическое, религиозное значение. Адъюнкт Теплов *[1] так писал об этом свойстве Тредиаковского: «На всякого сочинителя толк безбожия наводит из маловажных слов... По его мозгу никакого из сих слов прилагательных употребить нельзя: *совершенный, бесконечный, беспредельный, бесчисленный, безмерный,* хотя бы такие слова к хлебу, к пище, к народу, к вкусу и пр. приложены были. Тотчас скажет: когда *бесчисленный,* тогда *неограничаемый,* а когда *неограничаемый,* то *безначальный,* а когда *безначальный,* то *всесовершенный,* а когда *всесовершенный,* то *самобытный* и пр. И после таковых глупостей софистических восклицает как бешеный: «О безбожное утверждение»[1].

Очень любопытны для понимания принципов этой магически-богословской интерпретации религиозных понятий, укоренившейся в среде духовенства и разночинцев из духовной школы, замечания Тредиаковского о словоупотреблении Сумарокова. Тредиаковский осуждает сумароковские стихи: *Отверзлась вечность, все герои предстали во уме моем.* «Автор прорицает о прошедшем... и говорит неправо, что ему отверзлась *вечность;* ибо ему отверзлась вместо ея *древность...* Вечность единому токмо богу свойственна, а не героям *[2]. Еще более показательно следующее затем богословско-схоластическое истолкование понятия вечности: «Ежли б я не был совершенно уверен, что автор отнюдь не знает богословия, тоб подумал, что он говорит о так называемой у богословов предней вечности, aeternitas a parte ante... а от сея, и так же по кончине тварей, пойдет задняя вечность aeternitas a parte post. Но проявления такого церковнобогословского отношения к слову в сфере литературной речи представляли своеобразный атавизм и были свойственны по преимуществу духовенству. Они были лишены внутренней целостности и последовательности. Ведь и Тредиаковский сначала боролся за «обмирщение» ли-

---

[1] Цит. по: *Пекарский П. П.* История Академии наук в Петербурге, т. 2, с. 190.

тературного языка, за создание национального русского литературного языка на основе живой устной речи и только потом преклонился пред величественной «славянщизной» высокого слога. И схоластический номинализм Тредиаковского был далек от словесного фетишизма раскольников.

Чрезвычайно симптоматично, что тот же «вечный труженик» Тредиаковский (в «Слове о богатом, различном, искусном и несходственном витийстве»*[3]) заявляет о необходимости порвать вообще с источниками схоластической образованности, выступая против исключительной роли не только греческого языка, но и латинского (будто он «есть не начало и основание, а верьх всех наук и знаний»), и призывая к более глубокому освоению западноевропейских языков и западноевропейской культуры.

Резкий удар средневековому фетишизму в сфере церковнославянского языка был нанесен реформой азбуки (1708). Это было ярким выражением упадка гегемонии церковной идеологии.

§ 16. РЕФОРМА АЗБУКИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНО-КНИЖНОГО ЯЗЫКА

Внешним, однако полным глубокого значения символом расхождения между церковнокнижным языком и светским — техническими, публицистическими, деловыми и литературно-художественными — стилями письменной речи была реформа русской азбуки. Новая гражданская азбука приближалась к образцам печати европейских книг. «Это был первый шаг к созданию народного русского письменного языка» (Я. Грот)*[1], призыв к созданию живого литературного языка[1]. Церковнославянская графика переставала быть нормой литературности. Она низводилась на роль иероглифического языка религиозного культа. Изменение графики снимало с литературной семантики покров Священного писания (ср. например, устранение титл над словами, внушавшими благоговение), предоставляло большие возможности революционных сдвигов в сфере литературного языка, открывало более широкую дорогу русскому литературному языку к стилям живого устного языка и к усвоению западноевропейских элементов речи. Словом, введение русской гражданской азбуки обозначало упадок церковнокнижной культуры средневековья, утрату церковнославянским языком господствующего положения в структуре русского литературного языка и вместе с тем намечало пути дальнейшей борьбы за создание на народной основе национально-русского литературного языка. Правда, реформа графики не была коренной. «Преобразование церковной азбуки для гражданского письма ограничилось почти единственно упрощением и округлением начертаний — сближением их с латинскими буквами»[2]. Новый шрифт

---

[1] См.: *Брандт Р. Ф.* Петровская реформа азбуки. М., 1910.

[2] *Грот Я. К.* Спорные вопросы русского правописания.— В кн.: *Грот Я. К.* Филологические разыскания. СПб., 1899, с. 600, 603.

«разнился от славянского тем, что в нем сначала были вовсе исключены буквы Ѧ, ξ, ω, ѿ, Ψ, ξ, γ, ν и др. и устранены титлы и силы (т. е. ударения). Остальные буквы изменили свое начертание, приспособившись к латинской графике. Но вскоре были сделаны как бы уступки славянской азбуке: являются силы-ударения, возвращаются буквы γ, ѿ, над і ставятся везде две точки: постепенно начинает употребляться ν»[1]. Таким образом, реформа шрифта, не разрушая в корне графических основ церковнославянской письменности, отражала «переходное», «смешанное» состояние русского литературного языка. Однако значение ее было велико. Усиливалась потребность в более четком разграничении «церковных» и гражданских форм и категорий речи. Симптоматична произведенная Тредиаковским в «Разговоре об ортографии» глубокая критика фонетических и морфологических оснований церковной графики. Анализ церковной графики сопровождался указаниями на различия в грамматическом строе церковного и гражданского языков (например, формы дат. пад. мн. ч. *человеком* «точно славенскии, а мы их ныне произносим и пишем через *а* так: *человекам*»[2], формы им. пад. мн. ч. прилагательные *добрии, добрыя, добрая* «употребляются точно в церковном языке, но гражданский наш инако»[3]»; «славенскими» же признаются формы аориста, формы двойственного числа[4] и др.). Характерно отрицательное отношение Тредиаковского к грамматическим утверждениям и правилам «литвина» Мелетия Смотрицкого и архаиста Федора Поликарпова. Сама мысль Тредиаковского писать и печатать книги «по звонам», т. е. в соответствии с фонетикой живого московского разговорного языка, служит ярким свидетельством растущей в русском обществе потребности национально-языкового самоопределения, эмансипации от феодальной церковнокнижной культуры.

§ 17. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТИЛЕЙ

В атмосфере хаотического смещения старых и новых речевых элементов, в атмосфере борьбы церковной и «гражданской» языковых систем, беспорядочного столкновения и механического сцепления национальных и чужеязычных форм речи в русском литературном языке начала XVIII в. восходят и развиваются своеобразные ростки новых стилей повествования и лирического выражения.

Они создают оригинальный синтез национально-русской и западноевропейской культуры художественного слова. В этих поэтических стилях обозначаются признаки образно-идеологического приспособления русского литературного языка к художественной системе западноевропейского словесного выражения. Но вместе с тем углубляется связь литературно-художественной речи с устной народной сло-

---

[1] Цит. по: *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом, т. 2, с. 645.
[2] *Тредиаковский В. К.* Соч. СПб., 1849, т. 3, с. 50.
[3] Там же, с. 611*2.
[4] См. там же, с. 202.

весностью. Сама структура русского книжного стиха изменяет свои силлабические формы, тонизируясь по русским народно-поэтическим и западноевропейским литературным образцам[1].

В этом направлении очень интересные разведки произведены акад. В. Н. Перетцем[2]. Он доказывает, что под влиянием общения русских с иностранцами из немецкой слободы и европейцами начинает складываться в русском литературном языке своеобразный «европейский» стиль интимно-лирического выражения. Например, церковнобиблейское мифологическое представление о страсти как огне проявляется теперь в таких фразеологических формах, которые сближены с образами и лексикой западноевропейской лирической поэзии.

Мне же бедному достоить
Искры в пепел закопать...
На сто (что) же *в них любовь искры родила,*
Иже сердце во мне *нещадно жгут.*
Мысль меня снедает.
Надежды лишает,
Невидимо *пламень*
В сердце *зажигает*[3].

И те же образы, та же фразеология отражаются в повествовательном стиле: «Яко огнь распалилось сердце ея» («История о российском купце Иоанне и о прекрасной девице Елеоноре»). Любовь, по словам В. Н. Перетца, изображается в виде негасимого огня, запаляющего душу; любить — это «болети и огнем горети, и сердцем скорбети...». Ср. также в драматической речи «Акта или действия о Петре Златых ключах». «И любовны пламень пространно пылаешь... Растерзаю мое сердце, и виждь, как пылает»[4].

В польской любовной лирике: Ogien' srogi pali (*Перетц,* с. *35).* Ср. у Симеона Полоцкого в пьесе «Вдовство»: «Срам возбраняет любве изъявляти, а в персех пламень, нужда есть страдати» (*Л. Н. Майков. Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий*) *2.

Фразеология западноевропейского сентиментального романса и сентиментальной повести обнаруживается и в образах сердечных

---

[1] О песенно-стиховом творчестве разных социальных групп в XVII в. см. сборник песен П. А. Квашнина 1681 года.— В кн.: *Сперанский М. Н.* Из материалов для истории устной песни.— Изв. АН СССР. Отд. ОН, 1932, № 10; ср.: *Данилов В. В.* Сборники песен XVII столетия Ричарда Джемса и П. А. Квашнина.— ТОДРЛ. М.—Л., 1935, т. 2; ср.: *Майков Л. Н.* О старинных рукописных сборниках народных песен и былин. — ЖМНП, 1880, ноябрь, с. 197—216.

[2] См.: *Перетц В. Н.* Очерки по истории поэтического стиля в России. Эпоха Петра Великого и начало XVIII столетия. I—IV.— ЖМНП, 1905, № 10, с. 1—62. ср. также: *его же.* Историко-литературные исследования и материалы. СПб., 1900—1902, т. 1—2.

[3] Ср. в немецких стихах В. Монса, любимца царицы Екатерины Алексеевны: Und also lieb'ich mein Verderben Und heg' in Feuer in meiner Brust*1.

[4] Цит. по: *Бадалич И. М.* Об одном драматическом памятнике Петровского времени. «Акт или действие о Петре Златых ключах» — ИОРЯС. Л., 1926, т. 31, с. 252.

ран — Купидона, уязвляющего стрелами сердце, в символе раненого сердца. В записной книжке В. Монса, содержавшей материалы для будущих любовных посланий на немецком и русском языках, и в его письмах читаем: «...мое сердце ранено... сердечное мое сокровище и ангел и купидон со стрелами, желаю веселого доброго вечера...»

Купидо вор прокляты вельми радуитса,
Пробил стрелою серца. лежу без памети,
Не магу я ачнутца, и очимы плакати:
Таска великая, серца крававая,
Рудою запеклоса и всо прабитая.
Вы, хорошия стрелы, всегда вам услужал.
А ныне ж мое серце люто изнуренно
И стрелою внутрь острою зело простреленно.
Немедли, драгая, милость мне явити,
Ах, рана, смертиая в серцы застрелила:
Злая купида насквозь мя пробила.
Видите рану, мне от вас данну;
Прошу вас исцелить, служить вам стану *3.

Ср. у В. К. Тредиаковского в стихотворении «Прошение любве»*4:

Покинь, Купидо стрелы
Уже мы все не целы,
Но сладко уязвлены
Любовною стрелою
Твоею золотою [1].

Те же образы характерны для повествовательной и драматической речи начала XVIII в.: «Острыя очей взоры так сердцу моему раны дали, что кроме вас самих никто исцелити не возможет» («История о Александре российском дворянине»); «Лютые стрелы красота ваша в сердце мое вонзила» (там же); в «Акте или действии о Петре Златых ключах»: «Стрелю, стрелю вам сердца и дам вам язву зелну»*5.

Одним из общих мест этой сентиментальной фразеологии, воспроизводящей чувствительную галантность западноевропейского «кавалера», является также образ оков, плена или образ таяния. Влюбленный «тает от любви»:

Аки воск растаяше.
Аки воск в печали тает.

В другой песне — у влюбленного, которого уязвил злой Купида, — сердце, «как воск, от огня тает».

Возлюбленная сравнивается с цветком. Сама любовь — «цвет весенний». «Цвет любви» — любовь и ее радости; сердце в горе от неудачной любви, «аки цвет во осени тако иссыхает». Злая судьба, — жалуется автор одной песни, — «не дала расцвесть цвету моему».

«Друг любезный — цвет благоуханнейший» или «цвет благоуханнейший сапфир драгий прекраснейший...»[2]

---

[1] Ср. в виршах Симеона Полоцкого «Лица их стрелы в сердца пущают. Неопасную вдову уязвляют» («Вдовство»).

[2] Цит. по: *Перетц В. Н.* Очерки по истории поэтического стиля в России. Эпоха Петра Великого и начало XVIII столетия. I—IV, с. 40—41.

В этот сентиментальный строй лирической фразеологии вступают многочисленные образы школьного классицизма, его мифологические аксессуары. Тут действует «Фортуна», вертящая колесо:

Ах злая фартуна зделала так вдруг.
Обратила вскоре колом своим вкруг.

Выступает толпа богов древнего Олимпа: Венера, Купидо, Аполло, Музы, Волкан, Перзефона, Беллона, Марс, Минерва, Паллада, Еол, Химера, Анфион. Характерно смешение христианской лексики с мифологическими образами классицизма:

Ах, боже, дай милости,
Узри мя в жалости,
Убий злую Купиду
За мою обиду.

Ср. эротически-галантное переосмысление образа *ангела*: «Остаюсь мой ангел, верный твой слуга по гроб» (Монс).

Где твоя верна мысль? мой ангел отлетел
(*Столетов*)

Так в русский литературный язык начала XVIII в. вливается эмоционально насыщенный поток западноевропейской галантной фразеологии, соответствовавшей изменившемуся светскому этикету и европеизованным формам светского обхождения, особенно в отношениях мужчины и женщины светского общества. «Зарождавшаяся галантность между мужчинами и женщинами высшего, более образованного, сословия породила значительное количество любовных стихов»[1]. «Самая нежная любовь, — пишет о несколько более поздней эпохе (40—50-е годы XVIII в.) А. Т. Болотов *6, — толико подкрепляемая нежными и любовными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получила первое только над молодыми людьми свое господствие... но оне были в превеликую еще диковинку, и буде где какая проявится, то молодыми боярынями и девушками с языка была неспускаема»[2]. Стиль повествования также проникается этим чувствительно-галантным тоном. Но эта фразеология в своем лексическом составе обнаруживает типичные для Петровской эпохи формы пестрого, неорганического смешения разных языков и стилей. Лексической основой как лирического, так и повествовательного стиля продолжают служить церковнославянизмы и вообще слова и выражения старого церковнолитературного языка: *глаголы, зрак, сицеву, не хощу, обаче, препятие, пресецает, тя обрящу, двоелична, неизглаголанный* и т. п. Сюда же примыкает и морфология этого языка — архаические формы склонения со смягчением заднеязычных: *мнози, неподолзе* и т. п.; формы склонения нечленных причастий и сравнительной степени прилагательных: *цветуща, имущи, любезнейша;* деепричастия на *-яще, -юще* и т. п.; формы аориста: *обретох, принесох,*

---

[1] *Майков Л. Н.* Очерки из истории русской литературы XVII—XVIII столетий, с. 213.
[2] *Болотов А. Т.* Записки. СПб., 1871, т. 1, с. 179.

отлучихся, вкоренися, получих и т. д. Не обходится этот язык и без участия приказной лексики: *что чинишь; фортуна злая учинила; фортуна злая мне ничему не служит* и др.

Глубоки следы польско-украинского влияния, особенно в лирическом стиле самого начала XVIII в.: *шукати, еднак, мушу* (music'), *зрадлива* (фортуна), *красна панна, с великим далем, кохает, в слезах уплываги, жерточки жертовать* и т. п.[1]. Ощутительно веяние того пристрастия к варваризмам, «европеизмам», которое так характерно для языка первых десятилетий XVIII в.: *афект, конпания, дамы, натура, персона* и т. п.

И наконец, в очень своеобразной форме выступают русское разговорно-бытовое просторечие и отражения народной поэзии. Едва ли прав акад. В. Н. Перетц, утверждая: «Авторы песенок лишь в слабой степени вносят словарные особенности простонародной речи, вроде *дружечка, не допущает, лапушка* и т. п.». На самом деле, разговорный язык города играет заметную роль в этом новом стиле — светского выражения галантности и эротических томлений. Характерны, например, такие слова и выражения: *Ты, сердце, спишь, бес памяти лежишь; лежу бес памяти; не могу я ачнутца...*

А я свои глаза
Мочу слезами.
Для чево так? я не бывал
твой враг.
Одумайся, от сна пробудися,
Проклятый враг, поть вон.
Для ча мне мстишь
И милова манишь —
Прочь отгоняешь.

Ср. бытовую разговорную речь застольной песни:

Малой вор, куди ты ходишь?
Дай мне ренско з сахаром.
Брат Масалской, куда ты бродишь?
Поднеси нам всем кругом.
За здоровье, кого мы знаем
Дай ему бог, что мы желаем
Вам, Голицыным скончати.
Князь Иван, до тебе я пию,
Князь Борис, изволь нас ждати:
Завтра я к тебе приду.
Дружба наша так велика;
Хлеб да соль — заемная дела*[7],

§ 18. ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СВЕТСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СТИЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

Новые «европеизированные» формы русской литературной речи, возникавшие в сфере повествования и лирической поэзии, были симптомом роста и укрепления светских национально-литературных стилей. Литературный язык сближался с разговорной речью образованного общества. Новые веяния шли от западноевропейской литературы, т. е. новые формы литературного языка создавались в процессе перевода. «Езда в остров любви» (1730) В. К. Тредиаковского (пе-

---

[1] Ср. наличие украинизмов в стихах М. Г. Собакина, одного из ранних представителей дворянской поэзии первой половины XVIII в. «Характерные для этого периода русской поэзии особенности языка — украинизмы — имеются налицо и здесь»,— пишет П. Берков в статье «У истоков дворянской литературы XVIII в.» — Так, в оде на 1735 г.: «писать благодарные стихи з (вместо *из*) *сердца* ныне», и т. д.— В кн.: Литературное наследство, М., 1933, № 9—10, с. 424—425.

ревод аллегорической любовной повести Paul Tallement «Voyage à l'isle d'Amour», Paris, 1713)*[1] ярче всего отразила эту потребность в новом языке, ощущаемую европеизировавшимся обществом. В предисловии от переводчика «К читателю» объявляется о кризисе церковнокнижного языка, «глубокословныя славенщизны», о необходимости сближения литературного языка с «простым русским словом, то есть каковым мы меж собою говорим», о необходимости разработки стилей «мирской», т. е. светской, литературной речи на основе «нашего природного языка»[1]. Перевод повести Таллемана и выставлялся как творческая попытка содействовать образованию литературного «неславенского» языка, пригодного к передаче чувств, мыслей и понятий реформирующегося русского общества. Социальное значение такой попытки определяется, по словам Тредиаковского, тремя причинами. «Первая: язык славенской у нас есть язык церковной; а сия книга мирская. Другая: язык славенской в нынешнем веке у нас очюнь темен; и многия его наши читая неразумеют; а сия книга есть сладкия любви, того ради всем должна быть вразумительна. Третия: которая вам покажется может быть самая легкая, но которая у меня идет за самую важную, то есть, что язык славенской ныне жесток моим ушам слышится, хотя прежде сего не только я им писывал, но и разговаривал со всеми: но зато у всех я прошу прощения, при которых я с глупословием моим славенским особым речеточцем хотел себя показывать». Между тем современники говорили об этом переводе, что «Тредиаковский пренебрег духом родного языка, слишком следуя французскому словосочинению»[2] (свидетельство Мюллера).

Анализ языка этого перевода, как и других переводных и оригинальных повестей первой половины XVIII в., приводит к выводу, что в разных комбинациях и в разных пропорциях здесь наблюдается то же смешение русских (с примесью живой народной речи), церковнославянских и западноевропейских элементов литературного языка, как и в лирической поэзии. При этом польская струя начинает постепенно иссякать и замещаться немецкой и французской (особенно

---

[1] Литературные нормы «природного языка» В. К. Тредиаковский ищет в речи дворянской знати и просвещенной буржуазии: «С умом ли общчим употреблением называть, какое имеют деревенскии мужики, хотя их и больше, нежели какое цветет у тех, которыи лучшую силу знают в языке? Ибо годится ль перенимать речи у сапожника, или у ямщчика? А однако все сии люди тем же говорят языком, что и знающчии (то есть которыи или хорошее имеют воспитание, или при дворе обращчаются, или от знатных рождены, или в науках, и в чтении книг с успехом упражнялись), но не толь исправным способом, природным языку, коль искусны. Первыи говорят так, как они для нужды могут, но другии, как должно и с рассуждением» (Разговор об ортографии.— В кн.: *Тредиаковский В. К.* Соч. СПб, 1849, т. 3, с. 215).

...«Ежели между двемя, или многими такими неважными разностями, ни одна разумом утверждена быть не может, то я оную праведною называю, которая и от большия части людей и от искуснейшия восприята. Большая часть людей не пахатники, но учтивыи граждане; а искуснейшая, не неучи грубыи, но науками просвешченныи: обеж не две разные, но одна и таж, что до важности. Ибо, лучше полагаться в том на знаюшчих и обходительством вылщеченых людей, нежели на нестройную и безрассудную чернь» (там же, т. 3, с. 220).

[2] Цит. по: *Пекарский П. П.* История Академии наук в Петербурге, т. 2, с. 24.

в творчестве высших слоев общества)[1]. В повести, может быть, несколько резче и определеннее выступают различия между разными стилями литературной речи. При общности основных элементов — принципы их связи и употребления были неоднородны в письменном языке разных слоев общества. В демократических, «мещанских» стилях русской литературы XVIII в. язык более «простонароден», более близок к устной народной словесности и вместе с тем иногда более архаичен, более скован отмирающими нормами старой церковнокнижной и приказно-канцелярской грамматики, лексики и фразеологии. Он менее «литературен» с точки зрения возобладавших стилей и жанров, ориентирующихся на высшие круги общества. Характерна, например, долгая живучесть украино-польских вирш, кантов, псальм и стариных переводных повестей в «среднем сословии» в течение XVIII в., когда литературные вкусы и стилистические нормы высшего общества резко изменились. Записи на сборниках вирш и кантов в XVIII в. показывают, что старинная поэзия хранится среди лиц духовного звания, мелких чиновников, купцов, низшего офицерства и солдат, т. е. преимущественно в среде полуинтеллигенции. Рукописи старых переводных повестей и романов XVI—XVII вв. также обслуживают читателей из этой среды. Эти архаические литературные жанры, еще не вытесненные новым литературным движением, не могли не оказывать влияния на соответствующие «мещанские» стили литературно-письменного языка. Эти стили, меняясь и впитывая элементы «высокой» литературы, почти до самого конца XVIII в. еще остаются на периферии «словесности». История русского литературного языка в XVIII в. характеризуется ростом и укреплением «европеизированных» литературных стилей, которые растворяют в себе и ассимилируют элементы народно-поэтичесокго творчества.

Обрусение русского литературного языка происходит при постоянном контакте не только с городским просторечием, но и с крестьянской речью. Язык крестьянства, хотя его старательно и противопоставляли барскому, в период отречения от церковнославянщины, являлся естественным союзником нового литературного языка. Однако степень демократизации литературного языка была еще очень ограничена, это были лишь всходы нового строя национально-литературного языка. Тредиаковский в своей речи «О чистоте российского языка» (1735) предрекал: «Впредь твердо надеюсь, малый, узкий и мелкий наш источник, наполнився посторонними струями, возрастет в превеликую, пространную и глубокую реку. Довольно с нас ныне и сея единыя славы, что мы начинаем»*[2]. Но характерно, что тот же «попович» Тредиаковский, приняв петровскую европеизацию литературного языка («совершеннейший стал в Петровы лета язык, нежели в прежде его бывшия»), готов считать структурной основой литературной речи язык «знатнейшего и искуснейшего» дворянства.

---

[1] Ср. список церковнославянских архаизмов, народных выражений, «европеизмов и полонизмов» в языке «Тилемахиды» В. К. Тредиаковского у акад. А. С. Орлова в статье «Тилемахида» В. К. Тредиаковского».— В сб.: XVIII век. М.—Л., 1935.

«Украсит оной в нас двор... в слове наиучтивейший, и богатством наивеликолепнейший. Научат нас искусно им говорить благоразумнейшие... министры, и премудрейшие священноначальники... Научат нас и знатнейшее и искуснейшее дворянство» (Речь о чистоте российского языка, 1735 г.)[1]. Ссылки на «общее учтивое употребление» как норму литературного языка находятся и в предисловии к переводу «Речей кратких и сильных (1744)*[4].

Нормы литературного языка, опиравшегося на разговорную речь высшего общества, по мнению Тредиаковского, необходимо перенести и в сферу высокого слога, «витийства». Так, в «Известии» (1744), сопровождавшем «Слово о терпении и нетерпеливости», Тредиаковский объявляет: «Прилагается здесь следующее слово... для сего, дабы самым делом показать, что истинное витийство может состоять одним нашим употребительным языком, не употребляя мнимо высокого славянского сочинения»[2]. Но эта задача построения национального литературного языка, даже в таком социально урезанном и ограниченном виде, была еще не по силам и не по рангу Тредиаковскому. Язык европеизированного разночинца не соответствовал нормам того дворянского вкуса, на который склонен был ориентироваться В. К. Тредиаковский. Тредиаковский, несмотря на свои филиппики по адресу «мужицкого», «подлого заблуждения», сам нередко впадал в «подлость»: он не мог освободиться от мещанского просторечия и от тривиальной церковнокнижности выученика духовной академии. В произведениях Тредиаковского причудливо смешиваются церковные слова и слова самого «подлого» просторечия, архаизмы, варваризмы и многочисленные неологизмы «профессора красноречия». Даже в его лучших стихах сталкиваются самым резким образом наиболее далекие по стилистической окраске слова. Например, в торжественной оде:

Петр, глаголю, Российский отбыл с сего века
Не внушила вселенна сего необычно,
Ибо вещала слава уж сипко, незычно...

В оде «Вешнее тепло»:

Премножество явилось птиц,
На ветвь с той ветви от *поспеха*,
Препархивающих певиц:
Вещает *зык* от них громчайший,
Что их жжет огнь любви жарчайший...
От яркой разности гласов,
Котора всюду раздается,
В приятность слуху все мятется
Молчание густых лесов.
То славий, с пламеня природна,
В хврастинных *скутавшись* кустах,
Возгласностию, коя сродна,

---

[1] Цит. по: *Куник А. А.* Сборник материалов для истории Академии наук в XVIII в. СПб., 1865, ч. 1, с. 11, 14; ср.: Разговор об ортографии, с. 215—225*[3].

[2] Цит. по: *Пекарский П. П.* История Академии наук в Петербурге, т. 2, с. 104. Примечание.

К себе д р у г и н ю в тех местах
Склоняет, толь *хлеща умильно,*
Что различает хлест обильно:
Т о к ра́ с т е л ь в о б о е й заре,
Супружку кличет в е л е г л а с н о,
А клик сей слышится нам красно,
Несущийся по той поре.
Там стенет горлица печально,
Рыдая сердца в тесноте.
Как скроет друга место дально.
С е г о в з ы в а е т в чистоте;
Повсюду жаворонок поющий
И, зрится *вкось и впрямь снующий;*
Кипя ж е л а н ь м и с о л н ц е з р е т ь.
Взвивается к верьхам пространным,
Путем, б е с к р и л ь н о й т в а р и странным;
Так вьясь, не престает сам петь *5.

В записке адъюнкта Теплова приводятся характерные для стиля Тредиаковского вульгарные шутки, которые «у него за bon mot приемлются», например: *вот первая белянка в кузов... да голь нелюдим; с копылья сбился автор* и пр.[1] Ср. в «Письме к приятелю»: *прилеплен, как горох к стене; соваться во все стороны, как угорелой кошке; поправиться с печки на лавку; два гриба в борщ, говоря по-украински; сам ни шкиля, как говорят, не умеет; ты молокососиха была:* в «Разговоре об ортографии»: *пригнала нужа к поганой луже* и т. п.— и все это рядом с церковнокнижными архаизмами вроде *нощеденство, давцы, возгласность* и т. п. Естественно, что Сумароков находил «изъяснения» Тредиаковского «подлыми»[2]. Но дело было не в личных задачах и неудачах, а в соотношении и колебании стилей литературного языка, тем более, что Тредиаковский скоро перешел, подчинившись возобладавшему стилю, на иной путь.

§ 19. ТЕНДЕНЦИИ К РЕСТАВРАЦИИ ЦЕРКОВНОКНИЖНОЙ ТРАДИЦИИ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в.

Борьба с засильем иностранцев в высшем правительственном и бюрократическом аппарате, рост национального самосознания в русском обществе 40-х годов XVIII в. отразились на понимании литературных функций церковнославянского языка, особенно в сфере высокого слога.

Стремление ограничить увлечение «европеизмами», искоренить искажения русского языка на немецкий или французский лад вело к переоценке исторической роли церковнославянского языка в системе национального русского литературного языка. Приобретал необыкновенную остроту вопрос о регламентации литературных стилей на основе смешения в разных дозах и пропорциях церковнославянского языка с народным русским. Исторически целесообразные пути

[1] Цит. по: *Пекарский П. П.* История Академии наук в Петербурге, т. 2, с. 189.
[2] *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе, ч. 10, с. 95.

решения этого вопроса были найдены не сразу. Обозначились крайние течения.

Так, новые общественные настроения стремительно отбросили чуткого к веяниям времени Тредиаковского в другую сторону, вернув его к церковным истокам «славянщизны». В 40—50-х годах начинается усиленная реставрация литературных прав церковнославянского языка. В это время громче раздаются протесты против засилья западноевропейских языков и в то же время еще резче обнаруживается отрыв высоких стилей литературы от русских национально-языковых основ. «На чтож нам претерпевать добровольно скудость и тесноту французскую, имеющим всякородное богатство и пространство славенороссийское?...» («Предъизъяснение об ироической пииме» при «Тилемахиде»*[1]). «Когда некоторыи из наших (привыкших к французскому и немецкому языкам, не имеющим кроме гражданского употребления, а в нашем гражданском сочинении увидевших два, три речения славенские или славенороссийские) восклицают, как будто негодуя, *это не по-русси*, то жалобы их не в том, чтоб те речения были противны свойству российского языка, но что оные положены не площадные, не рыночные, и словом не подлые, да и знающим знаемые». Таким образом, здесь звучит одновременно протест против расширения литературных прав простонародной речи и против нормативного приспособления «высоких» стилей литературного языка к системе французского и немецкого языков. Утверждается значение стилей, организуемых «славенским языком или уже славенороссийским, непосредственно проистекающим от того»; особенно в таких сочинениях, «когда содержание пишемого или прямо возносится к святилищу божества или принадлежит токмо до священного обиталища любомудрыя мусы». Торжественные и официальные стили литературного языка архаизуются. Внешним выражением этой архаизации высокого слога являются, между прочим, изменения во внешней форме слов, их морфологическая славянизация. «В гражданском языке писать бы по *западных* выговору, а в церковнейшем несколько по *восточных* и правописанию для взора, и произношению для слуха. Сия есть причина, что в «Тилемахиде», нашей (книге, по содержанию своему и языку, высящейся толико над градскою площадию, колико святый холм Афона превышает подлежащую себе дебелобренную в низостях земных основу) *Тилемах* написан есть и произнесен *Тилемах*, а не *Телемах* или не право *Телемак*; *Одvссей* или *Одvсс*, а не *Улvсс* или *Улvкс*; *Ментор* (Mentor), а не всемерно ложно *Мантор*; *Омир*, а не *Гомер*; *Ирой*, *ироический*, а не *герой*, *героический*; *пиима*, а не *поэма*» и т. д. Такой несколько архаизирующий оттенок принимает борьба с неумеренной «европеизацией» внешних форм литературной речи у выходца из духовенства. В 1752 г., перепечатывая «Речь к членам Российского собрания» 1735 г., Тредиаковский подвергает ее систематической обработке, сознательно славянизируя и архаизируя свой язык, изгоняя из него элементы живой устной и приказно-канцелярской речи. Примеры, извлеченные П. Н. Берковым для сопоставления двух редакций «Речи», достаточно выразительны:

Издание 1735 г.	Издание 1752 г.
пред мои представляют очи	...мысленному зрению моему представляют...
вижу уже ту любезну, прибыточну, честну...	вижу ее уже любезну, плодоносну, похвальну...
не будет никаковыя отговорки	...не будет отнюд отречения
...достойным меня несколько быть вашего сообщества найдет	несколько меня достойным изобрящает вашего сообщества
...один *все* хотя вскатнть	...один *токмо* хотя вскатнть
что все чрез меру	а сие все безмерно [1].

Обличая Сумарокова в склонности к «подлому» словоупотреблению, Тредиаковский утверждает, что «толикие недостатки и толь многие как в речах порознь, так и вообще в сочинении, проистекают из первого и главнейшего сего источника, именно же, что не имел в малолетстве своем автор довольного чтения наших церьковных книг, и потому нет у него ни обилия избранных слов, ни навыка к правильному составу речей между собою»*[2]. Тредиаковский, по словам Сумарокова, старался в последний период своей деятельности испортить литературный язык «глубокою и еще учиненною самим собою глубочайшею славенщизною», вопреки молодому увлечению своему «простонародным наречием». Отсюда Сумароков выводит мораль: «Истина никакая крайности не причастна»*[3].

Преодоление «крайностей» могло быть достигнуто лишь стройным синтезом живых церковнославянских, русских народных и необходимых западноевропейских элементов в структуре национального русского языка. Тредиаковский же бросался из одной крайности в другую. Ему не хватало художественного вкуса, «чувства соразмерности и сообразности» (Пушкин) и исторической широты гения. Проблема синтеза национально-языковой культуры и в то же время широкого раздвижения границ литературного языка в сторону живой народной речи была по-разному разрешена двумя великими русскими писателями XVIII в. — М. В. Ломоносовым и А. П. Сумароковым.

* *
*

Таким образом, в первых десятилетиях XVIII в. проблема создания литературной системы русского национального, «природного» языка и проблема структурного объединения в ней церковнославянских, русских и западноевропейских элементов остались не вполне решенными. Хотя и обозначались контуры новых «европейских» стилей русского литературного языка, однако роль и соотношение разных социально-языковых стихий в процессе общенационального литературно-языкового творчества еще недостаточно определились и традиции феодальной эпохи в литературном языке еще не были преодолены.

---

[1] *Берков П. Н.* Литературно-теоретические взгляды Тредиаковского.— В кн.: *Тредиаковский В. К.* Стихотворения. Л., 1935, с. 312—313.

III. Нормализация трех стилей на основе синтеза народного и церковнославянского языков. Распад этих стилей в связи с расширением национальных и западноевропейских элементов в литературном языке

§ 1. ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ И РУССКОЙ ЯЗЫКОВЫХ СТИХИЙ

Расширение границ русского литературного языка в сторону живой народной речи, смешение стилей и контекстов (особенно «высокого» с «простым»), бурный процесс освоения «внешних» лексических заимствований из западноевропейских языков, политехнизация языка, осложнение функций и содержания деловой, официально-канцелярской речи, распад тех идеологических звеньев церковнославянского языка, которыми раньше, до XVII в., скреплялась система литературной речи, — все эти явления социально-речевого брожения к 40-м годам XVIII в. умерили свой темп. Процесс демократизации и европеизации русского книжного языка не мог сгладить резких различий между социально-групповыми и стилистическими разновидностями литературной речи. Русская культура еще не выработала устойчивой системы литературно-языковых стилей и жанров, хотя уже с Петровской эпохи стали рельефно обозначаться новые формы литературного выражения. Стилистические противоречия в литературном языке, его хаотическая бессистемность, совмещавшая варваризмы, канцеляризмы, просторечие и церковнокнижную речь, отсутствие твердых признаков жанра и стиля могли бы быть преодолены или новым синтезом тех языковых элементов, тех стихий, которые и в прошлой истории русского языка имели основное национально-объединяющее значение, т. е. церковнославянского языка и разных стилей русской письменной и разговорно-бытовой речи, или же построением новой «европеизированной» структуры русского национально-литературного языка, которая удовлетворяла бы идеологическим и культурно-политическим потребностям реформирующегося русского общества и вобрала бы в себя основные категории грамматики, семантики и стилистики западноевропейских языков, их освоив.

Путь нового синтеза церковнославянской и русской разговорно-бытовой стихий более соответствовал принципам национально-исторического реализма и мог скорее всего содействовать демократизации литературного языка. Кроме того, здесь открывалась возмож-

ность на почве новой системы литературных стилей постепенно ассимилировать и национализировать внутренние конструктивные формы западноевропейских языков и освободиться от «внешних» лексических заимствований, от «диких и странных слова нелепостей». Западноевропейская струя в литературных стилях начала XVIII в. была еще слишком слаба и поверхностна, чтобы претендовать на равноправие с церковнославянским языком в системе русской литературной речи.

§ 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТРЕХ СТИЛЕЙ

С именем Ломоносова — великого реформатора русского языка и создателя первой научной русской грамматики — связана попытка теоретически обосновать новую систему литературных стилей, обусловленных взаимодействием церковнославянских и русских, народных элементов в составе литературной речи. Теория Ломоносова известна под названием учения о трех стилях. Учение о трех стилях, знакомое античным риторикам и встречающееся во многих старых славянских риториках XVI—XVII вв., послужило Ломоносову лишь удобной рамкой для схематического разграничения основных стилистических контекстов русского литературного языка *[1]. Предпосылки ломоносовской реформы сводились к трем основным положениям: 1) к констатации того, что пределы и функции литературного употребления церковнославянского языка сузились и что реставрация «обветшалых» систем церковнокнижной речи нереальна и нецелесообразна, что следует развивать и разрабатывать из круга старой славянской традиции лишь живое, понятное, образно-выразительное и идейно-содержательное; 2) к доказательству того, что живые структурные элементы церковнославянского языка необходимо искать в кругу библии, употребительных богослужебных книг, популярных религиозных сочинений вроде прологов *[2], житий святых и т. п., т. е. не в старых традициях профессионально-богословской (догматической, полемической, обличительной) литературы, а в сфере «обобществленной», широко известной массам и признанной государством бытовой практики религиозного культа; 3) к утверждению того исторического факта, что формы народной речи являются существеннейшей составной органической частью структуры литературного языка и что состав и соотношение разных жанров литературы обусловлены приемами и принципами смешения и взаимодействия церковнославянизмов с русизмами.

Таким образом, Ломоносов делает новый крупный шаг на пути национализации и демократизации русского литературного языка. Уже в своих пометках на экземпляре «Нового и кратного способа к сложению российских стихов» В. К. Тредиаковского Ломоносов (1736) выступает против устарелых и ветшающих церковнославянизмов (в морфологии и лексике, вроде *мя, тя, вем, бо*), иноязычных заимствований и просторечных вульгаризмов (ср. замену слова — *утре*

общерусским *завтра*)[1]. Любопытен и прогрессивен общий морфологический принцип, выдвигаемый здесь великим реформатором: «Новым словам ненадобно старых окончаниев давать, которые неупотребительны». Но еще ярче новые национально-демократические тенденции ломоносовской реформы выражаются в «Письме о правилах российского стихотворства» (1739). Тут Ломоносов углубляет ту мысль, что русский литературный язык должен развиваться «соответственно его национальному складу, но не в отрыве от общечеловеческой культуры»[2]. Он выдвигает такие тезисы:

1) употребление и развитие языка должно покоиться «на природном его свойстве»: «того, что ему весьма не свойственно, из других языков не вносить»;

2) необходимо употреблять и углублять «собственное и природное»;

3) следует «из других языков ничего неугодного не ввести, а хорошего не оставить».

В другом своем рассуждении («О качествах стихотворца рассуждение») Ломоносов *[3] еще более остро и выразительно формулирует свой взгляд на национальные основы русского литературного языка в виде совета начинающему писателю: «Рассуди, что все народы в употреблении пера и изъявлении мыслей много между собою разнствуют. И для того береги свойства собственного своего языка. То, что любим в стиле латинском, французском или немецком, смеху достойно иногда бывает в русском. Не вовсе себя порабощай однакож употреблению, ежели в народе слово испорчено, но старайся оное исправить»[3]. Итак, Ломоносов стоит за «рассудительное употребление» «чисто российского языка», обогащенное культурными ценностями языка церковнославянского. В новом «понятном и вразумительном» литературном языке необходимо «убегать старых и неупотребительных славенских речений, которых народ не разумеет, но при том не оставлять оных, которые хотя в простых разговорах не употребительны, однако знаменование их народу известно»[4].

Основные идеи, лежащие в основе ломоносовской системы трех стилей, Ломоносов изложил и развил в рассуждении «О пользе книг церьковных в Российском языке»*[4].

Значение церковнославянского языка здесь обосновано и укреплено историей. Прежде всего он — восприемник и передатчик античной и христианской византийской культуры, «греческого изобилия»: «Оттуду умножаем довольство российского слова, которое и собственным своим достатком велико и к приятию греческих красот посредством славенского сродно». Из славянского языка вошло в русскую литературную речь «множество речений и выражений разума»

---

[1] См.: *Берков П. Н.* Ломоносов и проблема русского литературного языка в 1740-х годах.— Изв. АН СССР. Отд. ОН, 1937, № 1, с. 207—210.

[2] Там же, с. 204.

[3] Цит. по: *Берков П. Н.* Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750—1765. М.—Л., 1936, с. 184.

[4] *Ломоносов М. В.* Соч СПб., 1895, т. 3, с. 67—68,

(т. е. отвлеченных понятий и научно-философских терминов). Историю русского литературного языка Ломоносов противопоставляет истории литературных языков Западной Европы. Там процесс образования национальных литературных языков был связан во многих странах с отрывом от культуры церковнокнижного языка феодальной эпохи. В отличие от «интернационального» — культового и ученого — языка западноевропейского средневековья, именно языка латинского, который был далек от родной национальной речи многих европейских народов, например немцев и поляков, церковнославянский язык состоит в прямом, непосредственном, ближайшем родстве с русским народным языком. Церковнославянский язык национализирован русской культурой и, будучи «священным» языком религии и церковных книг, в то же время обогащает, развивает народную речь, является неисчерпаемым источником идейного и художественного воздействия на стили общественного языка. Это сродство церковнославянского и русского языков, по Ломоносову, — непререкаемое доказательство необходимости строить систему литературного языка русской нации на основе синтеза церковнокнижных и народных русских форм речи. Таким образом, русское общество, стремясь к созданию новой системы национального языка, соответствующей идейному, научно-техническому и культурному уровню века, может построить ее (по убеждению Ломоносова) не путем огульного отрицания всей культуры церковнославянского языка, языка средневековой науки и литературы, но в действенном союзе и общении с живыми традициями церковнокнижной речи. В этом отношении Ломоносов противопоставлял историческую судьбу русского литературного языка истории немецкого и польского языков, т. е. тех европейских языков, которые с XVII в. сильнее всего влияли на русский язык. «Немецкий язык по то время был убог, прост и бессилен, пока в служении употреблялся язык латинский. Но как немецкий народ стал священные книги читать и службу слушать на своем языке, тогда богатство его умножилось и произошли искусные писатели». Напротив, богатство и «великолепие» русского литературного языка только возрастают от связи и единения его с родственным церковнославянским языком. Когда же церковный язык чужд народу, он только тормозит развитие национального языка. Пример — поляки. «Поляки, преклонясь издавна в католицкую веру, отправляют службу по своему обряду на латинском языке, на котором их стихи и молитвы сочинены во времена варварские по большей части от худых авторов, и потому ни из Греции, ни от Рима не могли снискать подобных преимуществ, каковы в нашем языке от греческого приобретены».

В этой исторической концепции не только утверждается тесная связь между традицией церковнославянской письменности и последующим развитием национально-русского языка, но церковнославянский язык провозглашается даже хранителем национального единства русского языка. Ломоносов еще в «письме о правилах российского стихотворства» выдвигает ту точку зрения, что славянский язык «с нынешним нашим не много разнится». В «Предисловии о пользе книг церьковных в российском языке» он этот взгляд развивает

дальше. «Народ российский, по великому пространству обитающий, невзирая на дальное расстояние, говорит повсюду вразумительным друг другу языком в городах и селах. Напротив того, в некоторых других государствах, например в Германии, баварский крестьянин мало разумеет мекленбургского или бранденбургского, швабского, хотя все того же немецкого народа». Таким образом, Ломоносов подчеркивает структурное единство национального русского языка, отсутствие в нем такой резкой диалектной разобщенности, как, например, в языке немецком. Ломоносов склонен объяснять эту «однородность» русского языка, сравнительно слабое отражение в его диалектах феодальной раздробленности воздействием церковнославянского языка. «Ломоносов считает церковный язык как бы уравнительным маятником, который своим влиянием сближает расходящиеся диалектические формы и задерживает слишком быструю изменчивость языка живого»[1].

Действию церковнославянского языка Ломоносов приписывает также историческую устойчивость основного ядра литературного языка. «Российский язык от владения Владимирова до нынешнего веку, больше семи сот лет, не столько отменился, чтобы старого разуметь не можно было: не так как многие народы, не учась, не разумеют языка, которым предки их за четыреста лет писали, ради великой его перемены случившейся через то время». Таким образом, церковнославянский язык выступает не только как источник и опора национального единства русского языка, но и как конструктивная основа русской литературной речи. Отсюда и вытекают своеобразия теории трех стилей — высокого, среднего и низкого.

§ 3. ТРИ СТИЛЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА; РАЗЛИЧИЯ В ИХ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ И В СФЕРАХ ПРИМЕНЕНИЯ КАЖДОГО ИЗ НИХ. РАБОТА ЛОМОНОСОВА НАД СОЗДАНИЕМ РУССКОЙ НАУЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Структура каждого стиля русского литературного языка определяется соотношением церковнославянских и русских форм речи. Но Ломоносов ссылается только на употребительные, живые в церковной традиции элементы книжнославянского языка и устраняет из всех стилей неупотребительные и обветшалые церковнославянизмы, например: *обаваю*, *рясны*, *свене* и т. п. Церковнобогослужебное употребление как составная часть бытового обихода — вот для Ломоносова критерий живых и мертвых слов и выражений церковнославянского языка. «Российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку неподвержен утвердится, коль долго церковь Российская славословием божиим на славянском языке украшаться

[1] *Будилович А. С.* М. В. Ломоносов как натуралист и филолог. СПб., 1869, с. 95.

будет», — пишет Ломоносов. Эта точка зрения находила опору и в литературной практике Ломоносова. Церковнославянские слова и выражения заимствованы Ломоносовым главным образом из книг богослужебных, т. е. прежде всего они падают на те книги Священного писания, которые по преимуществу употребляются в церковном богослужении, а именно: Псалтырь, Апостол, Евангелие. Довольно много заимствований из паремий, а также из церковных песнопений (стихир, ирмосов и т. п.) и молитв[1]. Ломоносов описывает объем и границы литературного языка — в то же время своего стиля, рисуя «образ природного российского ученого» (т. е. Ломоносова), который «с малолетства спознал общий российский и славенский языки, а достигши совершенного возраста с прилежанием прочел почти все древним славено-моравским языком сочиненные и в церкви употребительные книги. Сверх того, довольно знает все провинциальные диалекты здешней империи, также слова, употребляемые при дворе, между духовенством и простым народом»[2]. Так утверждается принцип синтеза разных категорий речи — с точным указанием их иерархического соотношения. Но еще важнее произведенная Ломоносовым грамматическая реконструкция литературного «славянороссийского» языка: из него решительно исключаются архаические церковнокнижные формы грамматического построения, а те грамматические категории, которые, будучи еще живыми и производительными, сближают литературный язык с церковнокнижной письменностью, заключаются в границах высокого слога. Таким образом, «высота» и «низость» литературного слога зависят от связи его с системой церковнокнижного языка. Литературный язык «через употребление книг церковных по приличности имеет разные степени: высокой, посредственной, и низкой». Ломоносов к каждому из трех стилей прикрепляет строго определенные жанры литературы. Высоким штилем «составляться должны героические поэмы, оды, прозаичные речи о важных материях... Сим штилем преимуществует российский язык пред многими европейскими, пользуясь языком славенским из книг церковных». Средним штилем рекомендуется «писать все театральные сочинения, в которых требуется обыкновенное человеческое слово к живому представлению действия. Однако может и первого рода штиль иметь в них место, где потребно изобразить геройство и высокие мысли; в нежностях должно от того удаляться. Стихотворные дружеские письма, сатиры, еклоги и элегии сего штиля больше должны держаться. В прозе предлагать им пристойно описания дел достопамятных и учений благородных». Низким штилем пишутся комедии, увеселительные эпиграммы, песни, фамильярные дружеские письма, изложение обыкновенных дел. Стили разграничены не только грамматически, лексически и фразеологически, но и фонетически. В рассуждении «О пользе книг церковных» Ломоносов остановился бегло

---

[1] См.: Солосин *И. И.* Отражение языка и образов. св. писания и книг богослужебных в стихотворениях Ломоносова.— ИОРЯС, 1913, т. 18, кн. 2, с. 241—242.

[2] *Билярский П. М.* Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865, с. 603—604.

только на словарном различении стилей. Ломоносов указывает пять групп слов: 1) церковнославянские «весьма обетшалые» и «неупотребительные» — как, например, *обаваю, рясны, овогда, свене* и т. п.; 2) церковнославянские слова, хотя в разговоре не употребляемые, но понятные всем грамотным людям: *отверзаю, господень, насажденный, взываю* и т. д.; 3) слова общие и русскому и церковнославянскому: *бог, слава, рука, ныне, почитаю* и т. д.; 4) слова русские, неизвестные в церковнославянском языке, принятые в разговорной речи культурного общества: *говорю, ручей, который, пока, лишь* и 5) простонародные слова. Первая категория слов исключается Ломоносовым и изгоняется из живого лексического фонда литературного языка. Смешением других четырех видов слов в разной дозировке образуются три штиля: высокий, посредственный (или средний) и низкий[1]. В высокий штиль, по мнению Ломоносова , входят церковнославянские слова, понятные русским, и слова, общие церковнославянскому и русскому языкам. Средний штиль состоит из слов, общих для церковнославянского и русского языков. В нем можно употребить и некоторые русские просторечные слова, но не вульгарные, не слишком «низкие». В него можно подмешать в небольшом количестве «высокие» церковнославянизмы, «однако с великою осторожностью, чтобы слог не казался надутым». Низкий штиль чуждается церковнославянских слов. Он состоит из разговорно-бытовых, просторечных слов и выражений и допускает «по рассмотрению» даже простонародную лексику *[1].

«Такое разделение церковнославянского материала, — говорит акад. А. И. Соболевский, — принадлежит вполне Ломоносову. К нему подходили Кантемир и Тредиаковский, но лишь отчасти, не давая себе отчета. Если бы Ломоносов ограничился этим разделением церковнославянского материала, он сделал бы уже крупное дело. Но он им не удовлетворился. Он присоединил к нему также разделение элементов живого русского языка. Ломоносов понял, что соединение церковнославянских элементов с вульгарными русскими в литературном языке не может звучать приятно для человека с развитым вкусом, и потому устранил это соединение. Он воспользовался живым русским языком, тем русским языком, которым говорили при царском дворе и в лучшем обществе того времени, но, где было нужно, облагородил его, возвысил и украсил прибавлением тех элементов литературного церковнославянского языка, которые вошли в него из церковных книг, которые действительно были церковнославянскими. Эти элементы были точно определены Ломоносовым».

Ломоносов, регламентируя на национальных началах стили современной ему литературной речи, исходит из идеи непрерывности и преемственности языковой эволюции. Таким образом, Ломоносов «пожелал совместить старину и новизну в одно гармоничное целое, так, чтобы друзья старины не имели основания сетовать о крушении

---

[1] См. статью С. М. Бонди «Тредиаковский. Ломоносов. Сумароков».— В кн.: *Тредиаковский В. К.* Стихотворения. Л., 1935.

этой старины, а друзья новизны не укоряли в старомодности»[1]. Реформа Ломоносова имела своей задачей концентрацию живых национальных сил русского литературного языка. Язык самого Ломоносова не чужд вульгаризмов и разговорных крестьянских диалектизмов даже в высоком слоге *3. В нем иногда вдруг проступает яркая простонародная областная окраска. Например:

То где *лыва кустовата*
По истокам вдоль ростиôт...[2]

Из *лыв* густых выходит волк...[3]
Пустыня, где быстриною
Стриôж моей реки шумит...[4]

В поэме «Петр Великий»:

Сломив *уразину*, нагие члены рвут[5].

Ср. в «Оде, выбранной из Иова»:

И тяготу земли тряхнуть
Дабы безбожных с ней *сопхнуть*[6].

Ср. в простом слоге:

Каков то, молвил, лук,
В дожже *чать* повредился[7]

В стихотворении «Зубницкому»:

Никто не поминай нам подлости ходуль
И к пьянству твоему потребных *красоуль*[8] и т. п.

За эту крестьянскую областную окраску языка, особенно в высоком слоге, а также за недостаточно архаическую «славянщизну» Ломоносова (так же, как и Сумарокова) порицал Тредиаковский:

Он красотой зовет, что есть языку вред:
Или ямщичей вздор, или мужицкой бред.
Пусть вникнет он в язык славенский наш степенный.
Престанет злобно врать и глупством быть надменный...
Увидит, что там *коль* не за *коли*, но только
Кладется как и долг — в количестве за *сколько*.
Не *голос* чтется там, но сладостнейший *глас*;
Читают око все, хоть говорят все *глаз*;
Не *лоб* там, но *чело*; не *щеки*, но *ланиты*;
Не *губы*, и не *рот*, *уста* там багряниты;
Не *нонь* там и не *вал*, но *ныне* и *волна*.

---

[1] *Соболевский А. И.* Ломоносов в истории русского языка (речь на торжественном собрании Академии наук). СПб., 1911, с. 7, 8; ср. также: *Карский Е. Ф.* Значение Ломоносова в развитии русского литературного языка.— РФВ. Варшава, 1912, т. 67*2.

[2] *Ломоносов М. В.* Соч. СПб., 1891, т. 1, с. 5; *лыва — лужа*, болото; лес, поросль на болотистой местности, куча наносной поросли в море; ср.: *Подвысоцкий А. О.* Словарь областного Архангельского наречия. СПб., 1885, с. 84.

[3] Там же, с. 14.

[4] Там же, с. 5; *Стреж* — русло, фарватер.

[5] Там же, т. 2, с. 219.

[6] Там же, с. 311.

[7] Там же, т. 1, с. 158

[8] Там же, т. 2, с. 142.

Но где ему то знать, он только что зевает,
Святых он книг отнюдь, как видно, не читает.
За образец ему в письме пирожной ряд,
На площади берет прегнусной свой наряд,
Не зная, что писать у нас слывет — иное,
А просто говорить по дружески — другое.
Славенский наш язык есть правило неложно,
Как книги чище нам писать, коль и возможно.
В гражданском и доднесь, однак не в площадиом,
Славенском по всему составу в нас одном,
Кто ближе подойдет к сему в словах избраниых,
Тот и любее всем писец есть, и не в странных.
У немцев то не так, ни у французов тож:
Им нравен тот язык, кой с общим самым схож.
Но нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щегольков, ниже и грубый деревенский...[1]

Любопытны также нападки на «простонародность» Ломоносовского языка со стороны Сумарокова. Сумароков, например, осуждает в оде Ломоносова *чудился* («И с трепетом Нептун чудился») как «слово самое подлое, и так подло, как *дивовался*». Фигурирующее позднее как пример в грамматике Ломоносова слово *грамотка* («Написав я грамотку, посылаю за море») в «Епистоле о русском языке» (1748) Сумарокова квалифицируется как слово простонардное («Письмо, что грамоткой простой народ зовет») и т. п.

Стремясь к демократической национализации церковнокнижной речи, Ломоносов вместе с тем ограничивает сферу воздействия на русский язык «чужих», т. е. западноевропейских, языков. «Старательным и осторожным употреблением сродиого нам коренного славенского языка купно с российским, — пишет Ломоносов, — отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков... Оные неприличности ныне небрежением чтения книг церковных вкрадываются к ним нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене, и к упадку преклоняют».

Любопытно, что даже церковные проповеди того времени, представлявшие рецидив схоластического проповедничества юго-западных «казнодеев» XVII—начала XVIII в. и бывшие объектом литературных нападений Ломоносова, были переполнены иноязычными заимствованиями официально-канцелярского или общественно-политического характера. «Вот образцы смешения лексики в предиках тогдашних ораторов»; «*нейтралитета* Христос наш не любит», «Иоанн Дамаскин — философии и богословия прехрабрый *кавалер*, монашеских ликов *генерал*»; «для науки и всякой *експериенции*»; «заводили *регулярство*»; под разными *претекстами*»; «абие *декрет оных* изречется неключимому рабу»; «во всероссийскую *империю сукцессора* избрать» и т. д.[2]

---

[1] Библиографические записки, 1859, № 17, с. 518—520.

[2] *Берков П. Н.* Ломоносов и проблема литературного русского языка в 1740-х годах, с. 221—222. Примеры заимствованы Берковым из книг П. Заведеева «История русского проповедничества от XII в. до настоящего времени» (Тула, 1873) и Г. А. Воскресенского «Придворная и академическая проповедь в России полтораста лет назад» (М., 1894).

Вместо излишних заимствований Ломоносовым в кругу отвлеченных понятий и научной терминологии вводятся неологизмы, образованные из русских или употребительных церковнославянских морфем. Е. Станевич *4 так писал об этом: «До Кантемира, Ломоносова и других наших писателей не было много таких слов, которые потом искусно ими составлены; но из сего еще не следует, чтобы слова сии не существовали в языке нашем; а иначе откуда бы они их почерпнули? Их не было в сложности, но был их корень... Не было *окружность*, которое слово сначала по незнанию согласно с иностранным наименованием называли *сиркумференция*; но было *округ* и глаголы *кружить, окружить;* не было *поперешник*, вместо которого также переводили *диаметр*. В новейшие времена вздумалось кому-то *горизонт небосклоном* назвать... Слово сие довольно объясняет описываемую вещь и довольно удачно составлено, но старинное слово *обзор* несравненно лучше сие выражает, представляя моему воображению все пространство мною обозреваемого неба...»[1]

Избегая иноязычных заимствований, Ломоносов в то же время стремился содействовать сближению русской науки с западноевропейской, используя, с одной стороны, интернациональную научную терминологию, составленную преимущественно из греко-латинских корней, а с другой стороны, образуя новые русские термины или переосмысляя уже существующие слова. В предисловии к своему переводу «Вольфиянской експериментальной физики» (1748) Ломоносов писал: «Сверх сего принужден я был искать слов для наименования некоторых физических инструментов, действий и натуральных вещей, которые хотя сперьва покажутся несколько странны, однако надеюсь, что они со временем через употребление знакомее будут».

Проф. Б. Н. Меншуткин так характеризует значение Ломоносова в образовании русского научного языка: «Столь же значительна роль Ломоносова в создании русского научного языка. Этот язык у нас начинает появляться лишь при Петре I и представляет собой почти исключительно заимствования из иностранного: каждый специалист пользовался немецкими, голландскими, польскими и латинскими словами для обозначения технических вещей словами, не понятными другим. Кто, например, может догадаться, что *текен* обозначает чертеж, *киянка* — молоток, *бер* — запруда, *дак* — крыша, *кордон* — шнурок и т. п. Понемногу стали появляться и химические обозначения, опять-таки совершенно непонятные, как: *лавра* — кубовая краска, *тир* — жидкая смола, *шпиаутер* — цинк (это выражение до сих пор имеет хождение на заводах) и научные термины, как-то: *перпендикул* — маятник, *радис* — корень, *триангул* — треугольник, *кентр* — центр, *аддиция* — сложение.

Всестороннее знание русского языка, обширные сведения в точных науках, прекрасное знакомство с латинским, греческим и западноевропейскими языками, литературный талант и природный гений позволили Ломоносову заложить правильные основания русской технической и научной треминологии.

---

[1] *Станевич Е.* Рассуждение о русском языке. СПб., 1809, ч. 2, с. 4.

Эти основные положения, которых держался он, а затем после него и другие русские ученые <...> таковы:

а) Чужестранные научные слова и термины надо переводить на русский язык.

б) Оставлять непереведенными слова лишь в случае невозможности подыскать вполне равнозначное русское слово или когда иностранное слово получило всеобщее распространение.

в) В этом случае придавать иностранному слову форму, наиболее сродную русскому языку.

Очень многие из научных выражений на русском языке, составленных соответственно этим правилам самим Ломоносовым, применяются нами всеми. Вот несколько примеров: а) *воздушный насос, законы движения, зажигательное стекло, земная ось, огнедышащие горы, преломление лучей, равновесие тел, удельный вес, кислота, магнитная стрелка, квасцы, крепкая водка, негашеная известь.*

Сюда же он присоединил ряд русских слов общераспространенных, но имевших иное бытовое значение, как: а) *опыт, движение, наблюдение, явление, частица* <...> б) *горизонтальный, диаметр, квадрат, пропорция, минус, формула, сферический, атмосфера, барометр, горизонт, эклиптика, микроскоп, метеорология, оптика, периферия, сулема, эфир, селитра, поташ.*

Ломоносовские научные и технические слова и выражения мало-помалу заменили собой прежние неуклюжие термины <...> Он (Ломоносов) положил начало нашему точному научному языку, без которого теперь никто не может обходиться»[1].

§ 4. ФОНЕТИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СТИЛЯМИ

Различие трех стилей не сводилось только к словарному и фразеологическому составу их. Оно было обосновано грамматически, т. е. подкреплялось фонетическими, морфологическими и синтаксическими особенностями. Разделение языка на три стиля вносило порядок в ту пестроту внешних форм — русских и церковнославянских, которая была особенно характерна для стилей литературного языка конца XVII — первой трети XVIII в. Это была великая грамматическая реформа. Но в области фонетической дифференциации стилей резко обозначались только отличия высокого слога от низкого. «Важному и красноречивому слогу приличен такой же выговор слов» (Шишков).

Орфоэпические принципы высокого слога состояли главным образом в тенденции к оканью, в различении звуков ѣ и *е*, в сохранении ударяемого *е* перед твердыми согласными (т. е. в сохранении церковнославянской огласовки *е* на месте русского *о* после мягких согласных), в широкой распространенности фрикативного *h* (звучавшего в тех словах, которые низкий слог знал только с взрывным *г*), нередко в своеобразиях ударения и в особой системе декламативных инто-

[1] *Меншуткин Б. Н.* Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова.— Изв. АН СССР. Отд. ОН, 1937, № 1, с. 132—134.

наций. Конечно, господство церковнославянских морфем (без полногласия, с *щ* и *жд* на месте русских *ч* и *ж* и т. п.) еще более выделяло высокий слог как особую разновидность литературного языка. Необходимо подробнее рассмотреть орфоэпические нормы высокого слога.

1. О произношении *о* там, где звучало церковнославянское ударяемое *е* (перед твердым согласным), писал Тредиаковский: «*ио*... для простых и народных слов несколько»[1]. А. А. Барсов в своей грамматике указывал, что «*е* под ударением часто переменяется в просторечии на *ио*: *лед, мед, веселый, Семен* произносятся: *миод, лиод, весиолый, Семион*. Собственное имя *Петр* хотя и переменяет в просторечии *е* на *ио*, но когда принадлежит высоким особам, то удерживет е: *Петр Великий, Петр апостол*, а не *Пиотр*»[2]. В «Грамматике» Ломоносова правило перехода *е* в о было тоже ограничено областью просторечия. Во-первых, Ломоносов выделял формы склонения и спряжения, в которых *е* оказывается под ударением. Например: «*три, трех; везу, везешь; огонь, огнем*, выговаривают в просторечии, *триох, везиош, огниом*. Также когда в разных падежах или временах перенесено будет ударение на *е*: *несу, нес; верста, верст; бревно, бревна*, выговаривают *ниос, виорст, бриовна*». Во-вторых, Ломоносов указывал на произношение суффикса *иок: кулиок, якориок* — в уменьшительных на *-ек*. В-третьих, он давал перечень «имен», в которых рекомендовалось выговаривать *е* под ударением, как *ио: мед, лед, семга, едрен, лен, овес, орел, осел, пес, перст, пестр, тепл, темен, Петр, Федор, Семен*[3].

Таким образом, сфера произношения *е* первоначально замыкалась простым слогом[4]. В высоком слоге господствовала церковнославянская огласовка. Даже в начале XIX в. А. С. Шишков признавал звук *ио (ё)* на месте церковнославянского *е* перед твердыми согласными «несвойственным благородству и чистоте» книжного языка[5]. В среднем слоге ё вместо *е* было окончательно канонизировано карамзинской реформой, хотя в бытовом разговорном языке образованного общества оно уже давно преобладало.

2. На неполное «аканье», на тенденцию к чтению звука *о* как произносительную норму высокого слога, помимо косвенных свидетельств долго державшегося церковного произношения, указывет так-

[1] *Тредиаковский В. К.* Разговор об ортографии. — В кн.: *Тредиаковский В. К.* Соч. СПб., 1849, т. 3, с. 45.

[2] Цит. по: *Сухомлинов М. И.* История Российской академии. СПб., 1878, вып. 4, с. 280.

[3] См.: *Ломоносов М. В* Российская грамматика. § 94 по I—IV изданиям, § 97 по изданию: *Ломоносов М. В.* Соч. СПб., 1898, т. 4. См. примечания в этом томе, с. 34.

[4] Ср. у В. К. Тредиаковского в «Разговоре об ортографии»: «Но всего народа, а сей то есть ниский и почитай могу сказать самый простой выговор такое у нас свойство имеет, что едва не все или по самой большой части *е* ударяемые произносит двугласною *ио*» (с. 252).

[5] *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов. СПб., 1824, ч. 3, с. 32.

же замечание Ломоносова, что произношение «в чтении книг и в предложении речей изустных к точному выговору букв склоняется»[1]. На оканье же косвенно намекают и такие слова Ломоносова о «поморском диалекте»: «Поморский несколько склонен ближе к старому славянскому»*[1]. В «Российской грамматике» Российской академии закон об аканье формулируется так: «Буква *о*, когда не имеет над собою ударения, во многих словах произносится в обыкновенных разговорах, для смягчения выговора, подобно букве *а*»[2].

Отголоски такого произношения сохранялись долго, до начала XIX в. М. Макаров в своих записках о знакомстве с А. С. Пушкиным вспоминает: «Некто NN прочел детский катрен поэта и прочел по-своему, как заметили тогда, по образцу высокой речи на *о*»[3]. Впрочем, московское аканье врывалось в церковное произношение и сближало в этом отношении высокий слог с фонетикой бытового языка[4]. Ср. у Тургенева в рассказе «Пунин и Бабурин»: «Я даже... вдохновясь Рубаном, четверостишие... сложил. Постойте... как бишь! Да!

С пеленок не щадя гонений лютых, рок
Ко краю бездны зол Бабурина привлек.
Но огнь во мгле, злат луч на гноище блистает,—
И се! Победный лавр чело его венчает!

Пунин произнес эти стихи размеренным певучим голосом, и на *о*, как и следует читать стихи»*[2].

3. Разница в произношении звуков *е* и ѣ в церковнославянском языке, воспринятая высоким слогом, подтверждается рядом свидетельств XVII—XVIII вв.[5], но в половине XVIII в. уже начинает исчезать. В «Технологии» 1725 г. (рукопись Ленинградской Публичной библиотеки) читается: «Буква ѣ произносится аки *ие*... вместо ѣ писатися и произноситися *е* или *и* не может; аще ли же кто сице употребляет, той убо не весть ни разума речений ниже силы писаний...» (24 л.). В грамматике 1731 г., помещенной в приложении к немецко-латинско-русского словарю (изд. Академии наук), заявляется, что ѣ принадлежит к дифтонгам (Anfangsgründe der Russischen Sprache, с. 3)*[3].

В. К. Тредиаковский, отличая ѣ от *е* и сближая ѣ с йотированным *е*, обозначавшим «звон латинских букв *ие* по немецкому и польскому

---

[1] *Ломоносов М. В.* Российская грамматика, § 100 (104).

[2] Российская грамматика, сочиненная Российской академией. 2-е изд., 1809, с. 6.

[3] Современник, 1843, т. 29, с. 381.

[4] Ср. у В. К. Тредиаковского в «Разговоре об ортографии»: «Нашего российского произношения природа есть такая, что оно каждый звон свойственным ему отверстием произносит *а, е, и, о, у*. Однако сие надобно знать, что московский выговор все неударяемые о произносит как *а*» (с. 252).

[5] Подробнее см. в работах Л. Л. Васильева «К истории звука ѣ в московском говоре в XIV—XVII вв.» (ИОРЯС, 1905, т. 10, кн. 3) и в моей книге «Исследования в области фонетики севернорусского нарсчия» (Пг., 1922, гл. 5, с. 325 и след). Л. А. Булаховский в дополнение к собранному мною материалу указал еще на «Лиродидактическое послание кн. Е. Р. Дашковой» Н. Николева. См.: *Булаховский Л. А.* Исторический комментарий к литературному русскому языку. Харьков, 1937, с. 60.

латины произношению», признает смешение звуков ѣ и е «толь порочным, что невозможно изобразить, сколько, разве токмо, что оно пребезмерно порочное»[1].

А. П. Сумароков о различии в произношении ѣ и е высказывается так: «Когда которая литера остра и когда тупа, сие и сам нежный слух являет, например, *ме́д, мѣдь;* в одном слове и *м* и *д* тупые, а в другом и *м* и *д* — острые»[2]. Характерно также заявление, что «ѣ всегда несколько в *и* вшибается»[3]. Однако тот же Сумароков свидетельствует, что под напором разговорно-бытового языка церковнославянская традиция различного произношения ѣ и *е* умирает и что ѣ и *е* в высоком славянском слоге нередко сливались в один звук. «Мне труднее многих, — говорит Сумароков, — научиться было отличать ѣ от *е*, ибо в прекрасном произношении московском, которое почти одни только приближенные к Москве крестьяне употребляют, не шпикуя языка своего чужими словами и не пременяя древнего произношения, мы находим то, что благородные люди, наши предки, многие тупые слова в острые пременили»[4].

Ломоносов в своей грамматике уже почти отказывается различать ѣ и *е* в просторечии. Однако, по его словам, эту разность «в чтении весьма явственно слух разделяет и требует в *е* дебелости, в ѣ — тонкости». Иными словами, фонетическое различие между ѣ и *е*, уже чуждое просторечию и состоявшее в более узком произношении ѣ по сравнению с *е* и в смягчении согласных перед ѣ при неполной палатализации их перед *е*, — это различие продолжало еще держаться в церковном языке и в высоком слоге [но ср. «Российскую грамматику» Ломоносова, § 113 и 114; ср. также свидетельство А. Л. Шлецера*[4] в «Русской грамматике» (Сборник II отделения Академии наук. Т.XIII. СПб., 1875, с. 432)], постепенно сглаживаясь, и приблизительно в 60-х годах XVIII в. исчезло совсем из литературного языка.

4. Указания на произношение *г* как звука фрикативного в русском литературном языке XVIII в., т. е. в высоком слоге славяно-российского языка, встречаются в конце XVII — начале XVIII в. (например, в грамматике Генриха Вильгельма Лудольфа, в «Anfangsgründe der russischen Sprache», 1731). Тредиаковский писал, конечно, о литературном произношении: «Все мы россиане наш *г* произносим как латинское *h*»[5]. Поэтому тут же развивается мысль о необходимости введения буквы g для обозначения взрывного *г*: «В нашем великороссийском произношении давно, или еще исстари уже она употребляется. Ибо никто у нас сего слова *гусь*, и бесчисленно многих других, не произносит так, как оно написано через *г*, т.е. как через *h* латинское по немецкому и польскому латины произношению, но как через *g* латинское *ж*, как например, *gусь;* однако, все такие

---

[1] *Тредиаковский В. К.* Разговор об ортографии, с. 128.

[2] *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе. М., 1787, ч. 10, с. 48.

[3] Там же. с. 49.

[4] Там же, с. 42.

[5] *Тредиаковский В. К.* Разговор об ортографии, с. 260.

слова пишем мы через *г* в противность произношению»[1]. В «Российской грамматике»*5 Ломоносова, которая, несомненно, страдала уклоном к севернорусскому областному произношению, пределы употребления славянского *г* (*h*) рисуются более узко, хотя и не вполне отчетливо: «Сие произношение осталось от славенского языка, а особливо в косвенных падежах речения *бог*... в речениях *господь, глас, благо* и в их производных и сложенных»[2].

Ближе к нормам церковного произношения стоял Аполлос Байбаков *7, который в своей «Грамматике» заявлял: «В церковных словах *г* произносится мягко, например, *господи, глас грома твоего грядет;* а в простонаречии жестко, как латинское *g*, например *гром гремит...; г* произносится жестко, ежели стоит перед *р*, например, *грабли, грибы;* перед *л: глаз, гладко*. Когда соединяется с гласными *е, и, ѣ, о, у*, произносится по большей части мягко: *гибель, нагибаю, гости, гумно* и пр.»[3]. Ср. указание на распространенность «латинского звука *h*» в высоком слоге в «Российской грамматике», сочиненной Российской академией[4]. О преобладании фрикативного *г* в высоком слоге говорил А. С. Шишков даже в начале XIX в.[5]

5. Различия в ударении слов между высоким и простым слогом подчеркиваются разными писателями и грамматиками. Чаще всего уклонения от церковнославянского языка истолковываются как искажение норм литературной речи. Так, А. А. Барсов указывает, что недостаточное знакомство с церковными книгами, классическими сти-

---

[1] *Тредиаковский В. К.* Разговор об ортографии, с. 261.

[2] Российская грамматика, § 99 (102)*6. Ср. стихотворение Ломоносова, переполненное словами со звуком: *г*:

Бугристы берега, благоприятны влаги,
О горы с гроздами, где греет юг ягнят.
О грады, где торги, где мозгокружны браги,
И деньги, и гостей, и годы их губят.
Другие ангелы, пригожие богини,
Бегущие всегда от гадкия гордыни,
Пугливы голуби из мягкого гнезда.
Угодность с негою, огромные чертоги,
Недуги наглые и гнусные остроги,
Богатство, нагота, слуги и господа,
Угрюмы взглядами, игрени, пеги, смуглы,
Багровые глаза, продолговаты, круглы,
И кто горазд гадать, и лгать, да не мигать,
Играть, гулять, рыгать и ногти огрызать,
Ногаи, болгары, гуроны, геты, гунны,
Тугие головы, о иготи чугунны,
Гневливые враги и гладкословный друг,
Толпыги, щеголи, когда вам есть досуг.
От вас совета жду, я вам даю на волю:
Скажите, где быть *га*, и где стоять *глаголю*.

(Ломоносов М. В. Соч. СПб., 1891, т. 2, с. 286).

[3] Грамматика, руководствующая к познанию славяно-российского языка. Печатана в типографии Киевопечерския лавры. 1794.

[4] См.: Российская грамматика СПб., 1809, с. 7.

[5] *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов. СПб., 1824, ч. 3, с. 31—40.

хотворениями и словарями «подало причину к некоторым неправильным и странным, ныне усиливающимся ударениям слов, на польское по большей части и вообще на чужестранное или безграмотное и низкое произношение склоняющимся. Например: *должны́* и даже *должно́* вместо *до́лжны* и *до́лжно;* также *множе́ственное, обще́ственное, римля́не россия́не, Гекто́р* и пр. вместо *мно́жественное, о́бщественное, ри́мляне, росси́яне, Ге́ктор* и пр. Он же отмечает все усиливающееся воздействие русского общественно-бытового ударения на высокий, славянский слог: «...вместо *во́здух* мнится, нельзя уже ныне сказать *возду́х* по-церковному»[1]. В начале XIX в. А. С. Шишков писал о разнице в системе ударения между высоким слогом и просторечием: «Высокий слог отличается от простого не только выбором слов, но даже ударением и произношением оных (в высоком слоге на *һору*, в просторечии *на́-гору*)»[2]. И в другом месте: «Хотя простой безграмотный народ, всегда искажающий произношение, вместо *смыслен, хитр,* и говорил: *смышлион, хитиор,* однако грамотные люди никогда в письменной язык сего грубого и низкого произношения не вводили: оно противно было и глазу их и слуху»[3].

Конечно, при отсутствии твердых норм высокого произношения проникали в высокий слог просторечные и даже диалектальные ударения. Так, Сумароков упрекал Ломоносова в провинциальном севернорусском произношении, например: вместо *ле́та — лета́,* вместо *гра́дов — градо́в* и пр. и констатировал: «Многие не размышляя таковые... ошибки приняли украшением пиитическим и употребляют оные к безобразию нашего языка, что г. Ломоносову яко провинциальному уроженцу простительно, как рожденному еще и не в городе, а от поселян, но протчим, которые рождены не в провинциях и не от поселян, сие извинение быть не может»[4]. Однако и сам Сумароков, внося в высокий слог формы московско-дворянской разговорной речи, подвергался нападкам и обличениям со стороны Тредиаковского, отмечавшего и акцентологические несоответствия в языке Сумарокова: «Слово *сыны́* положены ямбом неправо: надо *сы́ны*, а по словенски *сы́нове*» мы произносим не *дальне́йший*, но *да́льнейший*... Неправо ударяется *вредне́йший* за *вре́днейший, важне́йше* за *ва́жнейше... освирепе́л* за *освире́пел; разру́шил* за *разруши́л; изы́дите* за *изыди́те; кро́ме за кроме́* и т. п.»[5] Ср. у В. И. Майкова: *зна́тнейшего, разруши́*[6].

А. А. Прокопович-Антонский *8 в «Трудах Общества любителей российской словесности» (М., 1812, ч. IV, с. 71—77) напечатал заметку о различиях ударения «по выговору церковному и гражданскому» и выставил такое правило: «В разговорах и в простом

---

[1] Цит. по: *Сухомлинов М. И.* История Российской академии, вып. 4, с. 282.

[2] *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов, ч. 3, с. 31—40.

[3] Там же, ч. 5, с. 96.

[4] *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе, ч. 10, с. 7.

[5] Цит. по: *Куник А. А.* Сборник материалов для истории Академии наук в XVIII в. СПб., 1865, ч. 2, с. 450, 469, 481.

[6] Цит. по: *Чернышев В. И.* Заметки о языке басен и сказок В. И. Майкова.— В кн.: Сборник памяти Л. Н. Майкова. СПб., 1902, с. 147.

слоге мы должны держаться московского наречия, как самого лучшего в России, а в книжном и высоком слоге следовать ударению славенского языка» (72). Вот примеры различий в церковном и гражданском ударении, отмеченные Прокоповичем-Антонским:

Церковное ударение	Гражданское ударение	Церковное ударение	Гражданское ударение
во́инствующий	войнствующий	преждепомя́нутый	преждепомяну́тый
высо́ко (наречие)	высоко́	craft posя́гнет	посягне́т
да́ры	дары́	преукраше́нный	преукра́шенный
де́рзнет	дерзнёт	призва́н	при́зван
жёсток	жесто́к	прине́сено	принесено́
защи́тить	защити́ть	ра́мена	рамена́
зна́менует	знамену́ет	сумра́к	су́мрак
изба́витель	избави́тель	се́мена	семена́
избра́н, изгна́н	и́збран, и́згнан	терпи́т	те́рпит
крамола́	крамо́ла	удержа́н	уде́ржан
милосты́ня	ми́лостыня	ужа́снется	ужасне́тся
наро́читый	нарочи́тый	уте́шитель	утеши́тель
по́друга	подру́га	филосо́ф	фило́соф
посра́млен	посрамлён	це́на	цена́ и др.
преда́нный	пре́данный		

6. Высокий слог отличался от среднего и простого особой системой интонаций и мимической «игры», жестовых иллюстраций, по-видимому, видоизменявших традицию церковного ораторства.

Таковы наиболее резкие фонетические особенности высокого слога. Они углубляли грамматическую разницу между стилями.

§ 5. ПРИНЦИПЫ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СТИЛЕЙ. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ

Вопросы грамматической дифференциации стилей были особенно существенны. Ощущалась неотложная потребность узаконить отход высокого «славяно-российского» слога от староцерковной речи. Грамматические категории, уже вымершие в общем употреблении, но сохранившиеся в церковном языке,— например формы простых прошедших времен аориста, имперфекта, формы склонения со смягчением заднеязычных типа *руце*, *врази* и т. п., — еще появлялись в книжно-мещанской литературе, а иногда попадали и в письменный язык дворянства, близкий к канцелярскому и церковнославянскому. Например, в «Записках» В. А. Нащокина: *от сего временного в вечное блаженство отыде*[1], *умре*[2] и т. п. В. К. Тредиаковский свидетельствует: «Многие не токмо говорят, что простительнее, но и пишут: *по торгом и рынком, в рядех и на площадех*, вместо *по торгам и рынкам, в рядах и на площадях*»[3]. Нормализация высокого слога была связана с точным определением тех морфологических категорий цер-

---

[1] *Нащокин В. А.* Записки. СПб., 1842, с. 20, 28, 31.
[2] Там же, с. 26, 35.
[3] *Тредиаковский В. К.* Разговор об ортографии, с. 223.

ковнославянского языка, за которыми еще сохранились литературные права[1]. Ограничение церковнославянского языка открывало широкий доступ в литературу грамматическим формам национальной русской бытовой речи.

Грамматические отличия высокого слога от простого сводятся к следующим формам:

1. В род. пад. ед. ч. существительных муж. р. твердого и мягкого склонения у «славенских» слов, у слов высокого слога преобладает окончание *-а*, у русских *-у*, и русские слова «тем больше оное принимают, чем далее от славенского отходят». Например, *размаху, часу, взгляду, визгу, грузу, попреку, переносу*, но *возрасту* и *возраста*; *виду* и *вида*, *трепет* — только *трепета*. «Сие различие древности слов и важности знаменуемых вещей весьма чувствительно, и показывает себя нередко в одном имени. Ибо мы говорим: *святаго духа, человеческаго долга, ангельскаго гласа*, а не *святаго духу, человеческаго долгу, ангельскаго гласу*. Напротив того свойственнее говорится: *розоваго духу, прошлогодняго долгу, птичья голосу*, нежели *розоваго духа, прошлогодняго долга, птичья голоса*»[2].

2. В общем то же стилистическое отношение устанавливается между формами предл. пад. ед. ч. существительных муж. р. на *-е* (*-ѣ*) и на *-у* (особенно при предлогах *в* и *на*) (§ 188—189).

3. Простой слог отличается от высокого широким распространением «имен увеличительных и умалительных» (§ 246—256).

4. Формы сравнительной и превосходной степени на *-ейший, -айший, -ший* признаются приметой «важного и высокого стиля, особливо в стихах»: *далечайший, светлейший, пресветлейший, высочайший, превысочайший, обильнейший, преобильнейший*. «Но здесь должно иметь осторожность, чтобы сего не употребить в прилагательных низкого знаменования или в неупотребительных в славенском языке, и не сказать: *блеклейший, преблеклейший; прытчайший, препрытчайший* и сим подобных» (§ 215).

5. Категория числительных в высоком слоге сохраняет архаические формы, например: *четыредесятый (сороковой), девятьдесятый (девяностой)* (§ 258); точно так же девять производных числительных от одиннадцати до девятнадцати, «составляющиеся приложением *надесять*: *первыйнадесять, вторыйнадесять* и протчие, употребляются только в важных материях и в числах месячных: *Карл вторыйнадесять*, а не *двенатцатой; Лудвиг пятыйнадесять*, и не *пятнатцатой; сентября пятоенадесять число*, а не *пятнадцатое число*» (§ 259).

6. Числительные *двое, трое, четверо, десятеро* и пр. «употребляются только о людях — и то по большей части низких. Ибо не при-

[1] Характеристику языковой реформы Ломоносова и описание его языка см. в книге: *Martel Antoine.* Michel Lomonosov et la langue litéraire russe. Paris, 1933, особенно в разделах гл. II: "La doctrine", III: "Le problème de la norme et de l'usage" и "La pratipue" и IV: "La théorie des styles".

[2] *Ломоносов М. В.* Российская грамматика. — В кн.: *Ломоносов М. В.* Соч. СПб., 1898, т. 4, § 171, 172. В дальнейшем указываются параграфы того же издания.

лично сказать: *трое бояр, двое архиереев;* но *три боярина, два архиерея*» (§ 491). Так устанавливаются ограничительные нормы употребления собирательных числительных в высоком слоге.

7. Формы причастий признаются характерной особенностью высокого «славенского» слога. Поэтому «причастия только от тех российских глаголов произведены быть могут, которые от славянских как в произношении, так и в знаменовании никакой разности не имеют (§ 343), например (*венчающий, питающий, пишущий* (§ 440), *питавший* (§ 441), *венчаемый, пишемый, питаемый, подаемый, видимый, носимый* (§ 444); также в глаголах на *-ся: возносящийся — возносившийся, борющийся — боровшийся, боящийся — боявшийся* (§ 450); с суффиксом *-ну — двигнувший, свернувший* (§ 442). Причастные конструкции «употребляются только в письме, а в простых разговорах должно их изображать через возносимые местоимения *который, которая, которое*. Весьма не надлежит производить причастий от тех глаголов, которые нечто подлое значат и только в простых разговорах употребительны» (§ 338 и 343), например *говорящий, чавкающий* (§ 440), *трогаемый, качаемый, мараемый* (§ 444), *брякнувший, нырнувший* (§ 442). Поэтому же от глаголов типа *сматривать* употребительны только краткие формы причастий — *сматриван, -на, -но, -ны;* а *сматриваной, сматриваная, сматриваное* и сим подобные не в частном употреблении. Славенские глаголы, редко в российском языке употребительные, сих причастий не имеют» (§ 448) *[1]. Вместе с тем в тех стилистических условиях, где представляется целесообразным употребить причастие, «можно в пристойные места взять из славенского языка...: *колдующий, дерущийся* не принимаются; но вместо их служить могут: *волшебствующий, воюющий*» (§ 453).

8. Причастия «прошедшие» страдательного залога в «славенских» глаголах имеют окончания *-ый*, род. *-аго* и пишутся с двумя *н (-нн)*, например: *питанный, венчанный, писанный, написанный, виденный;* в русских они кончаются на *-ой*, род. *-ого* (и *-ово*) и пишутся с одним *н*, например: *качаной, мараной* (§ 446).

9. В формах деепричастий также устанавливается стилистическое разделение: «Деепричастия на *-ючи* пристойнее у точных российских глаголов, нежели у тех, которые от славенских происходят»; и напротив того, деепричастия на *-я*, «употребительнее у славенских, нежели у российских» (например, лучше сказать *толкаючи*, чем *толкая;* но *дерзая*, а не *дерзаючи)* (§ 356).

10. В «простом российском языке» для изображения «скорых действий» употребительны междометные формы глаголов, «производимые от прошедших неопределенных (т. е. несовершенного вида.— *В. В.*): от *глядел — глядь;* от *брякал — бряк;* от *хватал — хвать;* от *совал — сов*, от *пыхал — пых*» (§ 427). Ср. у В. И. Майкова: *«Тут щука приплыла и уду трях»; «Медведь на пашню шасть»* и др.

11. Возвратные формы страдательного залога на *-ся* считаются особенностью высокого слога: *«Он от нас превозносится*, для приближения к славенскому свойству, слуху не противно» (§ 510). «Славенские речения больше позволяют употребление возвратных, вместо страдательных; к чему требуется прилежное чтение и довольное ра-

зумение книг церковных» (§ 512), например: *ветром* или *от ветра колеблется море* (§ 511). Но «всегда безопаснее употреблять страдательные глаголы» (т. е. формы с причастиями страдательного залога): «*Фараона вода потопила; Фараон водою потопился;* последнее уже другую силу имеет будто бы Фараон потонул по своему желанию. Прямое страдательное знаменование: *Фараон потоплен водою*» (§ 512).

12. Глагол *есмь* «редко явственно изображается, особливо в обыкновенном штиле и в разговорах» (§ 518), но в высоком стиле применение этой формы все же возможно.

13. В употреблении междометий как свойство славянского языка отмечается «восклицательное *о!* с род. пад.: *о чуднаго промысла!* Но россиянам свойственнее именительный: *о, чудный промысл!*» (§ 570).

14. С этими морфологическими различиями Ломоносов объединяет синтаксический оборот дательного самостоятельного («*восходящу солнцу*»). В высоком слоге «с рассуждением» допустимо его употребление. «Может быть со временем общий слух к тому привыкнет, и сия потерянная краткость и красота в росийское *слово* возвратится» (§ 533).

Проф. А. А. Барсов,*[2] отстаивавший литературные права городской бытовой речи в своей грамматике (1771 г. и позднейшие переработки), пополняет этот перечень отличий высокого слога от простого новыми категориями:

15. В области склонения существительных: а) в простом слоге им. пад. мн. ч. существительных ср. р. оканчивается на *-ы*, *-и*, *-ии*: *желании*, *селы*, *правилы* и т. п.; ср. у Державина: *отдохновеньи*, *поученьи* («Фелица»), *раченьи* и т. п.; б) имена существительные средн. рода на *-ие*, имеющие в просторечии вместо *-и -ь*, в род. пад. мн. ч. по большей части оканчиваются на *-ев*, например *желаньев;* в высоком же слоге употребительны только формы на *-ий;* в) имена на *-мя* склоняются в простом слоге по образцу слов среднего рода, например род. пад. ед. ч. типа *время*, *бремя* «от поврежденного и самого низкого именительного»; поэтому не только в высоком, но и в среднем слоге нельзя позволять себе такого употребления[1]; ср. в «Записках» В. А. Нащокина: со *знамем;* у Державина: *сын время; в водах и в пламе* и т. п.

16. В области склонения прилагательных: а) им. пад. муж. рода в «штиле» оканчивается на *-ый* в ударяемом и безударном положении, в просторечии на *-ой*. «Кажется,— говорит также В. П. Светов*[3] в «Опыте нового российского правописания» (1773),— что в высоком слоге высокие особливо слова лучше кончить на *-ый*, *-ий*, оставив окончания *-ой*, *-ей* просторечью и низкому, каков комической, роду сочинения» (17); по словам Академической грамматики *[4], «перед простыми существительными именами приличие слога требует и прилагательные ставить простые же, т. е. с простым окончанием, как например: *большой палец у руки, маленькой домик, ветхой сарай* и

[1] См.: *Сухомлинов М. И.* История Российской академии, вып. 4, с. 284—285.

проч., ибо в сем случае не хорошо бы было сказать: *больший, маленький, ветхий*»[1]; б) в просторечии род. пад. ед. ч. прилагательных муж. и ср. р. оканчивается на *-ово́, -ево́* и *-ова, -ева: великова, знатнова, божьевя* и пр., вместо книжных: *великаго, божьяго* и пр.[2]; ср. у В. И. Майкова: *єво, тово, ково, одново, жаренова, худова, нашева.*

17. В области склонения числительных отмечается как свойство просторечия совпадение падежей от слова *сорок* в одной форме *сорока*. Впрочем, возможны были варианты. Например, *двумя сты пятью тысячью, сороком часов* или, по простому употреблению, *сорока часами*, либо *сорокью часами*[3].

В. П. Светов присоединяет еще несколько указаний на грамматическую разницу между высоким и простым слогом, между просторечием и «штилем».

18. В формах род. пад. ед. ч. жен. р. прилагательные «в важном слоге, а наипаче высокие слова пристойнее, кажется, кончить на *-ыя, -ия*. Напротив того, не говорится и не пишется *цена черепаховыя табакерки, человек подлыя природы*»; но ср. у В. И. Майкова: *средь склизкия дороги; крестьянския кобылы* и др.[4]; ср. также смешение русских и «славенских» форм в языке Сумарокова.

19. По указанию В. Светова в «Грамматике», изданной в 1790 г., формы склонения на *-ие, -ия, -ием* и т. п., в которых сохранялось *и* (а не *ь: ье, ья, ью* и т. д.), характеризуют «важную материю», например, *житие* (а не *житье*) *Петра Великого, дреколие, верою* и *любовию* и т. п.; напротив, было бы странно говорить и писать *пылию засыпан* вместо *пылью* и т. п.

20. То же явление отмечается «при глаголах, в просторечии и в низком роде сочинений, кончаемых на *-ью*, которые в слоге, важность некую заключающем, вместо *ь* принимают *и: пиется, бию, пию*» и др.

21. В формах инфинитива (например, *вещати, глаголати, облещися в бодрость* и т. п.) высокий слог допускает окончание *-ти* (ср. *рещи*), а во 2-м лице настоящего времени *-ши, -шися* (*трудишися, подвизаешися* и пр.). «Чем ближе глагол к славенскому свойству подходит, тем сие окончание слуху приятнее становится»[5]. В «Начальных основаниях Российския грамматики» Петра Соколова *5 (Спб., 1806, с. 19) рекомендовалось: «Славенские глаголы, в Российском языке употребляемые, в высоком слоге, а особливо в поучительных словах, второе лице наст. времени, так же и в неокончательных (т. е. в инфинитиве. — *В. В.*) можно писать через *и*».

---

[1] Цит. по: *Сухомлинов М. И.* Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. СПб., 1889, т. 1, с. 454. В руководстве для школы «Начальные основания российской грамматики» Петра Соколова (4-е изд. СПб., 1806) предлагалось такое правило: «Прилагательные имена в высоком слоге пристойнее кончить на *-ый, -ий*, а в простом или низком на *-ой* и *ей*, ибо непристойно говорить и писать: *острый ножик* вместо *вострой ножик;* так же *великой государь* вместо *великий государь*»... (с. 17).

[2] Цит. по: *Сухомлинов М. И.* История Российской академии, вып. 4, с. 281.

[3] Цит. по: *Сухомлинов М. И.* История Российской академии, вып. 4, с. 290.

[4] Цит. по: *Чернышев В. И.* Заметки о языке басени сказок В. И. Майкова, с. 139.

[5] *Сухомлинов М. И.* История Российской академии, вып. 4, с. 312.

Количество морфологических параллелей высокого и простого слога можно было бы еще увеличить.

22. Например, сюда относятся различия форм им. пад. множ. ч. имен существительных мужского рода на *-а*, *-а́*, *-ья́*, *-ья* и на *-е*, *-и*, *-ы* (ср. замечание Тредиаковского о просторечном *дворяна* вместо *дворяне*[1]).

23. Формы сравнительной степени на *-яе* постепенно вытесняются в просторечие, а в высоком и среднем штиле утверждаются образования на *-ее*. Еще Ломоносов писал (Грамматика, § 218): «Нередко ради двух или трех *е*, первые склады составляющих, вместо *ее* употребляется *яе*: *блекляе*, *светляе*. Однако и *блеклее*, *светлее* равное или и лутчее достоинство имеют». Сумароков, отстаивая литературные права просторечия, защищал *миляй*, *складняе* (Соч., ч. 10, с. 43). А. А. Барсов, следуя за Ломоносовым, писал в «Кратких правилах Российской грамматики» (изд. 3-е, М., 1780): «Рассудительный степень происходит от именительного женского, переменяя *-а* на *яе*, а лучше на *-ее*, например: *смирна* — *смирнее*, *бодра* — *бодрее*, *весела* — *веселее*». В светско-дворянских литературных стилях конца XVIII в. форма на *-яе* была окончательно запрещена как «простонародная».

24. Характерны стилистические различия в видах глагола (ср. широкое развитие многократного вида в простом слоге, например у В. И. Майкова: *станавливалась*, *приезживал* и т. п.), и некоторые другие.

Но и без того ясны глубокие морфологические разделы между стилями. Вместе с тем становится еще явственнее структурная рознь между профессиональным церковнославянским и литературным славяно-русским языком[2]. Русский литературный язык постепенно освобождается от грамматических архаизмов языка церковнославянского. Устанавливается грамматическая автономия славяно-российского языка. Область применения церковнославянских форм суживается, количество их сокращается. Морфологическая система русской литературной речи сближается с устным бытовым языком, а в простом слоге стремится к совпадению с ним. В сфере грамматики остро и глубоко обозначается национальное преодоление церковнокнижной феодальной культуры. М. В. Ломоносов справедливо писал в своем прошении (1762): «На природном языке разного рода моими сочинениями грамматическими, риторическими, стихотворческими, так же и до высоких наук надлежащими физическими, химическими и механическими, стиль российский в минувшие двадцать лет несравненно вычистился перед прежним и много способнее стал к выражению идей трудных, в чем свидетельствует общая апробация моих сочинений и во всяких письмах употребляемые из них слова и выражения, что к просвещению народа много служит»[3].

---

[1] См.: *Тредиаковский В. К.* Разговор об ортографии, с. 223.

[2] Ср. также статьи проф. Е. Ф. Будде «Несколько заметок из истории русского языка». — ЖМНП, 1898, № 3, № 5, а также «Из истории русского литературного языка конца XVIII и начала XIX в.». — ЖМНП, 1901, № 2.

[3] Цит. по: *Пекарский П. П.* История Академии наук в Петербурге. СПб., 1873, т. 2, с. 772.

§ 6. СИНТАКСИС ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

В области синтаксиса литературно-языковая нормализация половины XVIII в. была сосредоточена почти исключительно на формах высокого слога. Это понятно. За высоким слогом стояла богатая традиция церковнокнижной риторики, достигшей в конце XVII — начале XVIII в. под латинским и польским влиянием блеска и изощренности. Сюда присоединилось и влияние немецких риторик (например, «Ausführliche Redekunst» Готшеда *[1]). В среднем и простом слоге царило смешение синтаксических форм просторечия с отражениями латино-немецкого синтаксиса, шедшими из церковнославянского языка и официально-канцелярского слога. Только еще начинало развиваться влияние французской синтаксической системы, находившей опору в навыках и свойствах разговорного языка дворянского общества. Но писатели отстаивают свободу словорасположения, особенно в стиховом языке. Е. Станевич в «Рассуждении о русском языке» (ч. 2, с. 75) писал: «Подобно грекам и римлянам мы можем оживлять слово наше разнесением прилагательных от существительных, и местоимений от имен их, и произвольным помещением глагола в начале или в середине или в конце речи, смотря по движению страсти и по приличию слога». Запутанные латино-немецкие конструкции встречаются и в деловом языке, и в разных стилях литературной речи до последних десятилетий XVIII в. Например, зависимые от имени существительного формы других существительных (особенно часто род. пад. объекта) со всеми относящимися к ним словами ставятся впереди определяемого имени и притом нередко размещаются между формой прилагательного и управляющим существительным. Например, в эпистолярном стиле: «И мы почти ежедневно ожидаем подлинного о Бухарестского конгресса разрыве известия» (письмо Бибикова к Фонвизину, 1773 г.). «Буду я самолично тебя благодарить за все твои дружеские мне в бытность здесь одолжения» (там же , 16 апреля, 1773 г.). «Побить их я не отчаиваюсь, да успокоить почти всеобщего черни волнования великие предстоят трудности» (там же, 29 января, 1774 г.). Ср. такой оборот речи: «Я, по совершению договорных пунктов, считаю добрым его (перемирие) быть основанием к желаемому миру» (там же, 6—17 июня 1772 г.). Ср. в «предисловии от сочинителя» к «Душеньке» (Богдановича): «Общее единоземцов благосклонное о вкусе забав моих мнение заставило меня отдать сочинение сие в печать, сколь можно исправленное». Характерен для прозаического языка этой эпохи порядок слов с глаголом на конце; например в «Записках» В. А. Нащокина: «Намерение восприять изволила оный брак в месяце маие, при помощи вышняго, совершить» (с. 23); «весьма от болезни слаб был» (с. 19) и др. под.

Противопоставляя новый европеизированный синтаксис русского литературного языка XIX в. старому, И. И. Дмитриев пояснял разницу таким примером: «Елагин, помнится мне, третью книгу «Российской истории» начинает так: «Неизмеримой вечности в пучину отшедший князя Владимира дух...». Держась естественного порядка в словорасположении, следовало бы поставить: «Дух князя Владими-

ра, отшедший в пучину вечности неизмеримой», хотя и таким образом изложенная часть периода была бы надута и нетерпима образованным вкусом»[1]. В 1775 г. (11 июня) приятель Карамзина Петров писал ему, пародируя синтаксис книжного языка первой половины XVIII в. и иронически советуя «сочинять» на славяно-русском языке «долгосложно-протяжно-парящими словами»: «Для дополнения же твоего искусства писать таким слогом советую тебе читать сочинения в стихах и в прозе Василия Тредиаковского, коего о в любви езде остров книжицею пользуюсь переводною ныне с французского языка и весьма ту читаю»[2]. Н. И. Греч *[3] в «Чтениях о русском языке», указав на латино-немецкий синтаксис Ломоносова, продолжает: «Ломоносов не говорит о собственной русской конструкции, т. е. о порядке и размещении слов, свойственных русскому языку. От этого упущения возникло странное и нелепое правило позднейших грамотеев: ставь слова как хочешь» (с. 110—111). Порядок слов — это был больной вопрос синтаксиса русской литературной речи XVIII в. С ним соединялся вопрос о составе и протяжении предложения, о длине периода. Когда в начале XIX в. представители новой литературы говорили о «старом слоге», то они прежде всего обвиняли его в запутанной расстановке слов и в затрудненном движении мысли по тягучим периодам. Так, П. А. Плетнев, отмечая среди недостатков Милонова как писателя, который «стоит по языку назади от своего времени», запутанную расстановку слов, тут же прибавляет: «Встречаются у него периоды столь длинные, что внимание, будучи утомлено набором подлежащих и сказуемых, теряет из виду связь мыслей»[3]. «Правильный ход всех слов периода, смотря по смыслу речи», «естественное словотечение» и «гармония» — вот те свойства слога, которые противополагались в светском языке, созданном дворянской интеллигенцией конца XVIII в., запутанности конструкций и однообразию периодов «старого» языка, языка Ломоносова, Фонвизина, Державина. В заметке о сочинениях Жуковского и Батюшкова тот же Плетнев приводил в качестве иллюстрации к синтаксическому строю XVIII в. примеры из сочинений Державина:

Живи — и тучи пробегали
Чтоб редко по водам твоим...

(Водопад)

Сия гробница скрыла
Затмившего мать лунный свет...

(На смерть гр. Румянцевой)

[1] *Дмитриев И. И.* Взгляд на мою жизнь.— В кн.: *Дмитриев И. И.* Соч. СПб., 1895, т. 2, с. 60—61*[2].

[2] Цит. по: *Погодин М. П.* Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современиников. М., 1866, ч. 1, с. 30.

[3] *Плетнев П. А.* Сочинения и переписка. СПб., 1885, т. 1, с. 23—25.

«Всякий согласится, что подобная расстановка слов, при всех совершенствах поэзии, стихи делает запутанными»[1]. Н. Д. Чечулин правильно указывал, что это «искусственное расположение слов, совершенно не соответствующее логическому отношению отражаемых ими понятий»[2], было связано с классическими, преимущественно латинскими, традициями в русском литературном языке. Искусственность, даже запутанность словоразмещения почиталась за одно из украшений речи в классической, особенно в римской, литературе; такой взгляд держался и в среде поэтов, писавших по-латыни и в XVI—XVII вв. Синтаксис Державина особенно пестрит запутанностью конструкций — например:

Кого ужасный глас от сна
На брань трубы не возбуждает...
И чем в Петрополе. будь счастливей на Званке...
Забавно, в тьме челнов с сетьми как рыбаки
Ленивым строем плыв, страшат тварь влаги стуком...[3]

К. С. Аксаков в своей диссертации «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» (1846) очень ярко описывает своеобразия книжно-письменной церковнославянской фразы (по его терминологии, «фразы органической») — длинного периода с запутанной расстановкой слов, с глаголом на конце, с обилием союзов, включающих одно придаточное предложение в другое и разрывающих ткань главных предложений. «Риторика» Ломоносова стремилась в эти синтаксические формы «высокого» славенского слога, которые господствовали с XVII в., внести многообразие варьяций словорасположения и сложность, фигурную затейливость синтаксической симметрии. Ср. в стихах поэта ломоносовского направления В. П. Петрова:

Бегущих провожая оком,
Я разными страстьми горю,
То сердце бьется мне от страху,
Чтоб сей герой теча с размаху,
Чем не был в беге преткновен:
То вдруг, лишь он мечом заблещет,
Его успеху совосплещет.

(Ода на карусель, 1766)

Так часто гады ядовиты.
Залегши в лесе под кустом,
Кудрявой зеленью покрыты
И палым со древес листом,
Когда кто мимо пронесется,
И куст им тронут затрясется,
Грозя полудню их открыть,
Да мнимую напасть умалят,
Прохожего от страху жалят,
Чтоб им раздавленным не быть.

(На войну с турками)

Приподнятый, оторванный от бытовой повседневности, риторически-изукрашенный, поражающий изобилием тропов и фигур, полный,

---

[1] *Плетнев П. А.* Сочинения и переписка. СПб., 1885, т. 1. с. 25.
[2] *Чечулин Д. Н.* О стихотворениях Державина. — ИОРЯС, т. 24, кн. 1, с. 87—88.
[3] *Грот Я. К.* Замечания о языке Державина и словарь к его стихотворениям. — В кн.: *Державин Г. Р.* Соч. СПб., 1883, т. 9, с. 352—354.

по выражению В. Петрова, гадательных эмблем, иероглифики и аллегории, орнаментальный «штиль» требовал сложного разнообразия различных синтаксических конструкций. Ломоносов разрабатывает теорию периодической речи. Он различает три рода периодов: круглые, или умеренные, зыблющиеся и отрывные. Круглые, или умеренные,—это периоды, в которых «члены» (т.е. синтагмы-предложения), а «также подлежащие и сказуемые величиною немного разнятся» (почти одинаковы по размерам); зыблющиеся — такие, в которых «части, т.е. члены, или в членах подлежащие и сказуемые будут очень неравны»; отрывные — когда «речь состоит из весьма коротких и по большей части одночленных периодов, в которые могут быть переменены долгие через отъятие союзов» (т.е. отрывистые периоды состоят из коротких бессоюзных предложений)[1].

Например, зыблющийся период: «Смотреть на роскошь преизобилующия натуры, когда она в приятные дни наступающего лета поля, леса и сады нежною зеленью покрывает и бесчисленными родами цветов украшает, когда текущие в источниках и реках ясные воды с тихим журчанием к морям достигают, и когда обремененную семенами землю то любезное солнечное сияние согревает, то прохлаждает дождя и росы благорастворенная влажность; слушать тонкий шум трепещущихся листов и внимать сладкое пение птиц: есть чудное и чувства и дух восхищающее увеселение».

Пример отрывного периода:

Уже врата отверзло лето,
Натура ставит общий пир,
Земля и сердце в нас нагрето.
Колеблет ветви тих зефир,
Объемлет мягкий луг крилами,
Крутится чистый ток полями;
Брега питает тучиой ил,
Древа и цвет покрылись медом,
Ведет своим довольство следом
Поспешно ясный вождь светил.

«Порядок и обращение периодов в течении слова суть главное дело и состоят в положении целых и в переносе их частей и членов. Положение целых периодов зависит от умеренного смешения долгих с короткими, зыблющихся с отрывными, чтобы переменою своею были приятны и не наскучили бы одинаким течением, которое, как на одной струне почти ни в чем не отменяющийся звон, слуху неприятно» («Риторика», § 177). Так возникает сложная и причудливая система расположения и соотношения периодов в пределах словесной композиции и устанавливается стройная иерархия соподчиненных элементов внутри периода. Речь превращается в торжественную декламацию, подчиненную строгим и разнообразным схемам ритма и мелодики интонационного движения.

В области предложения Ломоносов также не отступает от традиции: в высоком слоге он санкционирует идущий от конца XVII в. тип церковнославянской конструкции, сближенной с формами латино-немецкой фразы, конструкции, отодвигающей глагол на конец предложения и отличающейся причудливыми формами инверсивного словорасположения. Лишь для некоторых конструкций были выставлены

---

[1] *Ломоносов М. В.* Риторика, № 43—44*[4].

твердые ограничительные правила. Так, «деепричастия с своими падежами полагаются приличнее напереди как в прозе, так и в стихах («Риторика», § 319), например:

Взирая на дела Петровы,
На град, на флот и на полки,
И купно на свои оковы,
На сильну власть чужой руки,
Россия ревностно вздыхала.

Вообще же принцип прихотливого, хотя и симметрического, разнообразия, принцип варьирования конструкций — организующее начало синтаксического строя в орнаментальном стиле половины XVIII в. Рекомендуется «осторожность», чтобы периоды не начинались всегда с одной части слова, с одного падежа или времени; но «должно стараться, чтобы перьвое речение было то имя, то глагол, то местоимение. то наречие и прочая. То же надлежит наблюдать и при конце каждого периода» («Риторика», § 177)*[5].

§ 7. ПРИЕМЫ И ПРИНЦИПЫ РИТОРИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ ВЫСОКОГО СЛОГА

Для изучения стилистической структуры высоких жанров литературной речи XVIII в., опиравшихся на церковнобиблейскую фразеологию, представляет необыкновенный интерес «Риторика» Ломоносова. Она воспроизводит нормы той системы связей и соотношений идей и образов, которою определяется не только лексика и фразеология, но и «словесная композиция» высокого стиля. «Своими «Риториками» Ломоносов нарушает многовековую традицию, согласно которой преподавание правил красноречия и обучения приемам ораторского искусства считались прерогативой духовенства, а самая риторика — одним из краеугольных камней высших церковных школ. Появление «Риторики» на русском языке, а не на славянском или на еще менее доступной латыни «было фактом исключительной демократической тенденции Ломоносова и не могло не рассматриваться как вторжение в привилегированную компетенцию церкви»[1].

Каждая «тема»[2] распадается на «термины», к которым влекутся определенные идеи — «первые», «вторичные», «третичные», и они все должны быть «пристойны предлагаемой материи». Это своего рода морфология идей обусловлена «общими риторическими местами», композиционно-логическими категориями. Индивидуальная «сила со-

---

[1] *Берков П. Н.* Ломоносов и проблема русского литературного языка в 1740-х годах, с. 224.

[2] Тема — это мысль, «сложенная идея», «материя» сочинения. Например, вот тема: *неусыпный труд препятства преодолевает. Термины* — это слова, обозначения «простых идей» или сами «простые идеи», из которых «составляется» (т. е. состоит) тема. Например, «сия тема «неусыпный труд препятства преодолевает» имеет в себе четыре термина: «*неусыпность, труд, препятства* и *преодоление*. Предлоги и другие вспомогательные части слова (т. е. служебные части речи) за термины не почитаются» (§ 25).

ображения», т. е. «душевное дарование с одною вещию, в уме представленною, купно воображать другие, как-нибудь с нею сопряженные», не отрицается (например, «когда, представив в уме корабль, с ним воображаем купно и море, по которому он плавает, с морем бурю, с бурею волны, с волнами шум в берегах, с берегами камни и так далее») (§ 23). Но это индивидуальное творчество действует и обнаруживает себя на фоне грамматики идей, связанной «общими риторическими местами», строго определенными типами «изображения страстей», правилами сочетания тропов и фигур, приемами синтаксического расположения. Прежде всего устанавливается типическая, «стандартная» система связей между предметами. Она покоится на таких категориях, как «род и вид», «целое и части», «свойства материальные», «свойства жизненные», «имя», «действия и страдания», «место», «время», «происхождение», «причина», «предыдущее и последующее», «признаки», «обстоятельства», «подобия», «противные и несходные вещи», «уравнения». Это — не только обязательные точки зрения на предмет, принципы его словесного «представления», но и формы познания, формы языкового мышления. Например, в категории «жизненных свойств», определяющих смысловую структуру одушевленного предмета, не только точно разграничены душевные дарования, страсти, добродетели, пороки, внешнее состояние, «телесные свойства» и чувства, но и нормированы принципы соотношения между элементами внутри одного разряда. Так, в кругу страстей устанавливаются контрастные пары: удовольствие и раскаяние, надежда и боязнь, упование и отчаяние, гнев и милосердие, удивление и гнушение, честь и стыд и т. д. (§ 91). Точно так же и в отношении, например, имени заданы формы его понимания и интерпретации. Тут выступают принципы этимологизации и морфологического осмысления (*Владимир* — владетель мира), перевод с одного языка на другой (*Андрей* — мужественный), игры омонимами (*свет* — вселенная и *свет* — в противоположность тьме), буквенно звуковых перестановок (*Рим* — *мир*), образно-исторических характеристик (*Аттила* — бич божий) и т. п. (ср. риторики XVII в.). Особенно ярко связь идей проявляется в тех соотношениях, которые подводятся под категорию «противных и несходных вещей».

Очень любопытен пример из «Опыта риторики» проф. Ивана Рижского[1]. Тема: «*Соболезнование утешает несчастного*» через «изображение» идей по принципу синонимии и антономии обставляется такими словесными рядами: соболезнование. К нему «приищем подобозначащие слова: сожаление, сострадание, и синонимическое выражение: человеколюбивое участие в горестях ближнего; прилагательные имена: искреннее, усердное; противные (т. е. противоположные) понятия: нечувствительность, беспристрастие. Ответ на вопрос: кто? — Имеющий чувствительное сердце. Что? — Желает помочь. Каким способом? — Видя страдания подобного себе. Для чего? — Для удовлетворения своему человеколюбию. Как? — Даже до слез; даже до ненависти к гонителю. Когда? — Есть ли сам испытал когда-ни-

---

[1] См.: *Рижский И.* Опыт риторики. 3-е изд. М., 1809, с. 69—72.

будь подобную участь». В той же последовательности раскрывается термин *утешение*. Его синоним: отрада. Антонимы: огорчение, оскорбление. Подобнозначащее выражение: уменьшение горести другого. Прилагательные имена: восхитительное, трогающее. Путем ответа на те же вопросы создается период: «Благоразумный приводит в радостные слезы в темницах, на смертном одре советами, примерами, по причине дружества, привязанности заставляет несчастного забыть на время свое состояние во время отчаяния». Так же обрабатывается и последний термин темы *несчастный*. Синонимы: бедствующий, злополучный. Подобнозначащие выражения: гонимый, утесняемый судьбою. Наречия: невинно, внезапно. Противные понятия: благополучие, благоденствие. Путем развития «вторичных» и «третичных» идей можно получить период: «Малодушный плачет, ропщет в обществе, в семействе, от злобы и зависимости других или от собственной неосторожности, так что лишается всего во время или юности, или мужества, или старости». Таким образом, тема обрастает со всех сторон соответствующими образами, терминами, идеями.

В «Риторике» Ломоносова принципы всестороннего сцепления вокруг темы «терминов» первых, вторичных и третичных идей на основании «риторических мест» детально не раскрыты. Они лишь иллюстрированы темой «неусыпный труд препятства преодолевает». Например, к термину *препятство* влекутся первые идеи: от жизненных свойств — *страх*, от времени — *зима*, *война*, от места — *горы*, *пустыни*, *моря*. Так разъясняется образная сфера «препятства» в ее основных семантических формах. Непосредственно притягиваемые образом «препятства» слова не только определяют те направления, по которым может двигаться развитие идеи препятства, но сами, в свою очередь, связаны со строго очерченным кругом фразеологии. Так, слово *страх* окружается «образами» бледности, трясения членов (как листы от ветра в осень); *зима* тянет за собой мороз, снег, град, деревья, лишенные плодов и листьев, отдаление солнца; *война* вызывает представление о лютости неприятелей, мечах, копьях, огне, разорении, о слезах разоренных жителей. Тем же способом вокруг каждой темы собираются «слова, которые не без разбору принимаются, но от идей подлинные вещи или действия изображающих происходят, и как к предложенной теме, так и к самим себе некоторую взаимную принадлежность имеют» (§ 32).

Те же риторические категории приходят в действие, когда возникает проблема распространения, т. е. «присовокупления идей к кратким предложениям, которые их изъяснить и в уме живяе представить могут» (§ 48). Однако в этом случае риторические правила («места») управляют уже не системой связи идей-слов, а формами композиционных сочетаний больших синтактико-семантических групп, типами фразеологических сцеплений. Отсюда следует, что в структуре высокого стиля половины XVIII в. (как, впрочем, и в более ранюю эпоху) константные, устойчивые (так сказать, грамматические) формы смысловых соотношений располагаются по одним и тем же направлениям и категориям как между словами, так и между фразами, идиомами. Можно думать, что обилие идиом и устойчивость фразеологических

сращений, выступающих как целостные смысловые единства,— характерная особенность высокого стиля первой половины XVIII в., резко отделяющая его в эту эпоху от «среднего стиля», который до конца XVIII в. в кругу своих светско-бытовых и литературно-художественных контекстов не имел устойчивой фразеологической системы, находясь все время в состоянии брожения. Иллюстрацией к этой особенности высокого стиля могут служить такие примеры из практики самого Ломоносова[1]:

Россия как прекрасный крин
Цвет под Анниной державой...

(Ода на взятие Хотина)

Тобою наш российский цвет
Во всех землях, как крин, цветет...

(Первые трофеи Иоанна Антоновича, стихи 194—195)

Ср. церковную фразеологию: *Да возрадуется пустыня и процветет, яко крин* (Исаии, 35, 2, 1; паремия на освещение воды в навечерии богоявления и т. д.).

Брега Невы руками плещут,
Брега Ботнийских вод трепещут...

(Ода на прибытие Елисаветы Петровны, 1742 г., стихи 9—10)

Но холмы и древа скачите,
Ликуйте множество озер.
Руками реки восплещите...

(Там же, *стихи 251—254)*

Тебе от верной глубины
Руками плещут воды белы;
Ликуют западны пределы...

(Ода на восшествие на престол Петра III)

Ср. псалом 97,8: «Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются».

Но зрю с весельем чудо славно:
Дивняе неж Алцид чинил:
Как он лишь был рожден недавно,
Скрутив змиям главы сломил.

Ср. псалом 73,13: *Ты стерл еси главы змиев в воде;* ср. стихиру в навечерии богоявления, гл. 2: *Сокрушил еси главы змиев.*

Ты как змею попрешь пороки,
Пятой наступишь ты на льва...

(Ода на день тезоименитства в. кн. Петра Федоровича)

---

[1] Ср.: *Солосин И. И.* Отражение языка и образов св. писания и книг богослужебных в стихотворениях Ломоносова.— ИОРЯС. СПб., 1913, т. 18, кн. 2.

Ср. псалом 90,13: *На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змея.*

И от российских храбрых рук
Рассыплются противных стены,
И сильных изнеможет лук...

*(Ода на бракосочетание в. кн.
Петра Федсровича)*

Ср. ирмос 3 канта преображения: *Лук сильных изнеможе*[1].

Но эта грамматика идей подчинена своеобразным требованиям «поэтичности». Между речью высокой, «поэтической», между «штилем» и речью обыденной, «подлой» — образуется качественная грань. Существенным элементом организованной литературной речи являются «украшения» ее, тропы и фигуры. Создается торжественный, условный орнаментальный стиль, организующими формами которого делаются церковнобиблейская фразеология и символика. Церковнославянизм лексический и фразеологический выступает как элемент отвлеченного орнамента. «Увеличительное распространение» «важностью» присоединяемых идей обогащает формы выражения. Речь должна быть насыщена патетикой, пиитическим восторгом. «Сочинитель... предлагаемой материи должен слушателей учинить страстными к оной»[2]. Действие красноречия «долженствует быть велико, стремительно, остро и крепко, не первым токмо стремлением ударяющее и потом упадающее, но беспрестанно возрастающее и укрепляющееся»[3]. Такому действию должны помогать «правила для возбуждения, утоления и изображения страстей». Церковнославянская стихия своей «важностью», «великолепием», «изобилием», «величием» вполне гармонирует с этой атмосферой напряженного волнения «страстей». «Возвышению» и «оживлению» стиля содействуют «витиеватые речи», «предложения», в которых «подлежащее и сказуемое сопрягаются некоторым странным, необыкновенным или чрезъестественным образом, и тем составляют нечто важное или приятное»[4]. Устанавливается четырнадцать типов «витиеватых речей». В определении и классификации этих приемов стилистической орнаментации ярко отражается связь ломоносовской теории с теми принципами церковнокнижного «извития словес», которые разрабатывались риториками юго-западной киевской школы XVII — начала XVIII в. под влиянием латинопольской литературно-книжной традиции. Но у Ломоносова эти стилистические приемы осложнены влиянием немецкой литературы (ср. германизмы в языке Ломоносова, например: *Грусть прочь забава бьет; прочь бить* — wegschlagen)[5]. Примеры витиеватых речей, демонстрируемые Ломоносовым:

Сребро скупым сребро, железо людям щедрым
(разделение, § 132)
Раздранный коньми Ипполит
Несходен сам с собой лежит.

(Уподобление, § 143)

---

[1] Ср. указания А. С. Шишкова на слова и выражения священного писания в языке Ломоносова: *Связуешь воду в облаках (связуяй воду в облаках)* и мн. др.— *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов. СПб., 1828, ч. 12, с. 156 и след.; ср. комментарии акад. М. И. Сухомлинова в кн.: *Ломоносов М. В.* Соч. СПб., 1891, т. 1; СПб., 1893, т. 2.

[2] *Ломоносов М. В.* Риторика, § 94.

[3] Там же, § 99.

[4] Там же, § 129.

[5] Ср. в романе Мельникова-Печерского «В лесах» рассуждение о термине *Северное сияние*: «*Пазори* — северное сияние. Слова *северное сияние* народ не знает. Это слово деланное, искусственное, придуманное в кабинете, едва ли не Ломоносовым, а ему как холмогорцу не могло быть чуждым настоящее русское слово *пазори*. *Северное сияние* — буквальный перевод немецкого Nordlicht».

Смотря на цепь свою, он сам оцепенел,
И жалким голосом металл об нем звенел.

(Превращение, § 142)

Хоть ныне я в волнах плыву,
но воды не гасят любви (§ *138*) и т. п.

Таким образом, утверждается в высоком стиле игра слов; канонизируются приемы образования резких и неожиданных метафор, принципы употребления смелых эпитетов, нарушающих логическую связь понятий; вводится целая система сопряжения «далековатых идей», «противных или несходственных вещей».

Слова и фразы сочетаются и размещаются не столько по смежности и соответствию их вещественных значений, сколько по их экспрессивным оттенкам. «Рядом с церковнославянизмом может стоять мифологическое имя... необыкновенное слово, связанное с представлением об античной древности, об Олимпе, т. е. вводящее в ряд возвышенных ассоциаций. Таким же образом могут вводиться и научные термины и имена собственные, в смысле антономазии, в перифразе и т. п. Все эти слова иного порядка, чем те, из которых составляется практическая речь, и иначе употребляемые»[1]. Таким сложным приемам «сопряжения идей» и сочетания образов-метафор подчинен высокий слог[2], который по замыслу Ломоносова должен был преимущественно вращаться в сфере общественной, героической, государственной или религиозно-философской тематики [*1].

§ 8. ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ТЕОРИЕЙ ТРЕХ СТИЛЕЙ И РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКОЙ ОБРАЗОВАННЫХ СЛОЕВ ОБЩЕСТВА

Учение о трех стилях не давало исчерпывающих критериев для стилистического разграничения слов, фраз и конструкций русского литературного языка. Ломоносовская реформа обновила старый принцип, предоставив его развитие и варьирование индивидуальному вкусу. В общественно-бытовом употреблении дифференциация стилей была сложнее. Труднее всего было определить структурные свойства прозаического среднего стиля. В этой области почти до самого конца XVIII в. царило пестрое смешение церковнокнижных или приказных, канцелярских конструкций с формами «нейтрального», общего светско-литературного и разговорно-бытового языка. Например, Подшивалов [*1] писал о языке «Палефата» Туманского: «Сверх многих славянских слов, не кстати употребленных, например, *дондеже*, *весь* (село), *якобы он могл видеть* и пр.; сверх неприличной смеси славянского с русским, например: *уста и глотка возсели на объезженных лошадей; не мог решиться на убиение отрочати...* заметили мы еще большие странности»[3]. А. Т. Болотов так писал о пристрастии П. Львова[*2], сочинителя романа «Российская Памела, или история Марии добродетельной поселянки» (2 части, 1789), к производству

---

[1] *Гуковский Г. А.* Русская поэзия XVIII в. Л., 1927, с. 16; ср. также статью Л. В. Пумпянского «Очерки по литературе первой половины XVIII века».— В сб.: XVIII век. Л., 1935.

[2] Ср. статья Ю. Н. Тынянова «Ода как ораторский жанр».— В кн.: *Тынянов Ю. Н.* Архаисты и новаторы (Л., 1929) и особенно Г. А. Гуковского «Из истории русской оды XVIII в.» — В сб.: Поэтика. Л., 1927, вып. 3.

[3] Цит. по: *Грот Я. К.* Карамзин в истории русского литературного языка.— В кн.: *Грот Я. К.* Филологические разыскания. СПб., 1899, т. 2, с. 57.

сложных слов по церковнославянским образцам: «Что касается до отваги господина сочинителя помещать тут же в сочинении своем многие совсем вновь испеченные и нимало еще необыкновенные слова, как, например, *себялюбие*, *себялюбивый*, *белольнистая борода*, *флейтоигральщик*, *челопреклонцы*, *великодумцы*, *щедрохищники* и другие тому подобные; так в сем случае он совсем уже неизвинителен, и ему б было слишком еще рано навязывать читателям подобные новости, а надлежало б наперед аккредитоваться поболее в сочинениях»[1].

А. П. Сумароков в статье «К типографским наборщикам» отмечал сильное влияние канцелярского, чиновничьего слога на литературный язык: «Вы знаете, что не только многие переводчики, но и некоторые авторы грамоте еще меньше знают, нежели подъячие, которые высокомерятся любимыми своими словами: *понеже*, *точию*, *якобы*, *имеет быть*, *не имеется* и прочими такими»[2]. Сумароков упрекнул Ломоносова в употреблении канцеляризмов даже в высоком слоге. Например, по поводу ломоносовского стиха:

И токмо шествуя желали

Сумароков писал: «*Токмо* есть слово приказное, равно так, как *якобы* и *имеется*»[3]. Ср. у Ломоносова:

В сей час старалась то чинить,
В чем щастья верх себя являет.

(Соч., 1,43)

Ср. своеобразное и частое употребление наречия **купно** в языке Ломоносова:

Богатство, счастье и полки
И купно дел геройских слава.
Мне вдруг ужасный гром блистает
И купно ясный день сияет и т. п.[4]

Таким образом, сложная и противоречивая эволюция литературной речи не могла уместиться в русло трех стилей, так как только высокий слог елизаветинской поры вырисовывался в более или менее ярких очертаниях. Но и тут ломоносовские краски должны были померкнуть: дворянское общество, подвергаясь непосредственному воздействию французской предреволюционной культуры, пленялось

---

[1] Литературное наследство. М., 1933, № 9—10, с. 217. В литературе более демократических слоев общества состав стилей, их границы и их структура были иные. Интересен, например, язык Ф. В. Кречетова, «забытого радикального публициста XVIII в.»: «Кречетов писал тяжелым языком с очень путанной конструкцией фраз, длиннейшими периодами, с большой примесью церковнославянских слов, со множеством сложных словообразований, в особенности любил он прибавлять к разным словам слово *благо*, как, например: *Итак благоволите же благовнимательное человечество быть благоснисходительны*. Часть фразы у него прерывается доказательствами какого-нибудь положения и возобновляется через много строк». См. статью Н. Чулкова о Кречетове в «Литературном наследстве» № 9—10, с. 453—470.

[2] Трудолюбивая пчела. СПб., 1759, май, с. 266—267.

[3] *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе, ч. 10, с. 86.

[4] Ср. примеры у акад. М. И. Сухомлинова: *Ломоносов М. В.* Соч., т. 1. Объяснительные примечания, с. 160.

французским красноречием. Завоевывался язык для передачи обычных житейских, более простых, но более тонких, сложных и разнообразных чувств и мыслей, охватывающих весь культурный слой русского общества. Недаром А. П. Сумароков в своих «Вздорных одах» остро и зло пародировал беспредметный, условный и многословно-пухлый символизм ломоносовских метафор и их причудливую композицию:

Трава зеленою рукою
Покрыла многие места;
Заря багряною ногою
Выводит новые лета...

(Вздорная ода III)

Ср. у Ломоносова в оде VI:

И все уже рукой багряной
Врата отверзла в мир заря,

и особенно в оде IX:

Заря багряною рукою
От утренних спокойных вод
Выводит с солнцем за собою
Твоей державы новый год.

у Сумарокова:

Там вихри с вихрями дерутся,
Там громы в громы ударяют...

(Вздорная ода I)

Вы, тучи, с тучами спирайтесь,
Во громы, громы, ударяйтесь,
Борей на воздухе шуми...

(Вздорная ода III)

От пепла твердь и солнце тмится;
От грома в гром, удар в удар...

(Дифирамб Пегасу)

Ср. у Ломоносова:

Что вихри в вихри ударялись
И тучи с тучами сражались,
И устремлялся гром на гром...

(Ода на день восшествия на престол, 1746)

Ср. у Ломоносова (в оде X):

Там кони бурными ногами
Взвивают к небу прах густой —

и у Сумарокова во «Вздорной оде III» и в «Дифирамбе Пегасу» издевательство над образом бурных ног.

Крылатый конь перед богами
Своими бурными ногами
В сей час ударит в вечный лед...

Стремись, Пегас, под небеса:
Дави эфирными брегами
И бурными попри ногами
Моря и горы и леса [1].

у Ломоносова:

(Что) здесь зимой весна златая,—

у Сумарокова:

На севере я вижу полдень (т. е. юг),
У Колы Флору на лугах.

у Ломоносова (в оде XV):

Целуйтесь громы с тишиною;
Упейся молния росою;
Стань ряд планет в щастливый знак...

у Сумарокова:

Там громы в громы ударяют
И не целуют тишины:
Уста горящих тамо молний
Не упиваются росою.

Итак, язык светского общежития, письменный язык общества, развивается в ином направлении, идет другими, не «славенскими» путями. И дело Ломоносова очень быстро у его подражателей потребовало поправок, а писателей, стремившихся создать стили русского литературного языка, сближенные с семантическими системами западноевропейских языков, оно побудило на прямое противодействие.

Кодифицированные Ломоносовым три контекста, три стиля литературно-книжного языка не покрывали жанров переводной «европейской» литературы. Трудно было подыскивать фразеологические эквиваленты семантике западноевропейских языков в условно-метафорической, церковнокнижной структуре высокого слога. Поэтому приходилось или сочетать славянизмы с варваризмами, чем разрушались принципы строения высокого стиля, или же создавать кальки, морфологические «снимки» с западноевропейской [преимущественно французской] фразеологии, допуская пестрое смешение разных лексических категорий. В обоих случаях происходило нарушение границ стилей и возникали новые структурные формы высокого и «среднего» слога, мало соответствовавшие ломоносовским нормам. Таким образом, теория трех стилей, обоснованная на разных принципах и приемах соотношения «славенского» и русского языков, вернее — на постепенном переходе от «славенских» жанров к смешанным, славено-русским и, наконец, к чистым «российским», обнаруживала свой схематизм, свое несоответствие с более сложными стилистическими категориями литературно-книжной речи и с разнообразием социальных диалектов разговорно-бытового языка. Разграничение стилей в этой теории было не историческое, не этимологическое, а нормативно систематизирующее. Острие реформы было направлено против иноязычных влияний. Но именно в этом направлении сильнее всего

[1] *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе. М., 1787, ч. 2, с. 303, 305, 309. *Ломоносов М. В.* Соч., т. 1, с. 206, 209.

нарушались и разрушались нормы ломоносовского высокого и среднего слога. Структура высокого слога была обращена к традиции употребительных «церковных книг», которая в своем основном русле становилась все более и более профессионально-богословской, церковнокультовой. Эволюция же высокого слога на путях «светских» литературных жанров приводила его к отрыву от первоначального церковнокнижного контекста, следовательно, к органическому перерождению в средний «французский стиль» или в высокий «цветной» слог с иным строем фразеологии и образов, чаще всего тоже восходивших к французским поэтикам и риторикам. Таким образом, высокий славенский слог мог развиваться преимущественно за счет ветшавших церковных книг или же за счет профессионально-богословской, проповеднической литературы. Но от этой церковной культуры все дальше отходила русская художественная литература, стремясь вступить в культурно-исторический контекст западноевропейских литератур. Этой антиномии высокого слога, которая исторически сказывается в умирании ряда прикрепленных к нему литературных жанров или в их трансформации [например, героической поэмы, трагедии, оды], соответствовала механическая зыбкость, ненормированность «посредственного» слога. Это была промежуточная сфера без устойчивых границ. Но именно эти две стилистические сферы — высокого слога, подвергшегося воздействию французской риторики, и среднего стиля — более всего отвечали интересам европеизировавшегося образованного русского общества. В этом отношении очень характерна принадлежащая И. И. Дмитриеву оценка А. П. Сумарокова: «Из среды юношей кадетского корпуса выходит на поприще Сумароков, и вскоре мы услышали новое благозвучие в родном языке, обрадовались игре остроумия: узнали оды, элегии, эпиграммы, комедии, трагедии, и, несмотря на привычку к старине, на новость в формах, словах и оборотах, тотчас почувствовали превосходство молодого сподвижника над придворным пиитом Тредьяковским, и все прельстились его поэзией. Это истинно шаг исполинский. Это права одного гения» [«Взгляд на мою жизнь»]*[3]. Кроме того, народная, иногда областная, диалектальная струя в общественно-бытовом обиходе даже высшего общества была настолько широка и свежа, что ее не могли остановить преграды среднего и простого стиля, как не остановили потом, в конце XVIII — начале XIX в., запруды карамзинского языка. Тем более, что простой слог пока вообще не подвергался никакой нормировке, он отражал вольность бытового разговора, не скованного салонным этикетом.

§ 9. СТОЛКНОВЕНИЕ ЦЕРКОВНОКНИЖНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ТРАДИЦИИ СО СТИЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Процесс сближения русского литературного языка с семантической системой французского языка как «стиля» европейского «благородного» общества развивался в разных направлениях. Для высоких торжественно-официальных стилей литературной речи задача своди-

лась к европеизации церковнославянского языка, к слиянию французской семантики с церковнокнижными формами выражения. Этого рода попытки были особенно активны со второй трети XVIII в. Пока не были разработаны средние стили русского литературного языка, более доступные для широких кругов образованного общества и более связанные с западноевропейскими языками и живой русской разговорной речью [к этому стремился еще Тредиаковский, но с уклоном в «подлость», в «простонародность»], вопрос о примирении и «смешении» церковнославянского языка с французским имел решительное значение для последующего развития русской литературной речи. Требование синтеза церковнокнижного, торжественного витийства с французским красноречием исходило из кругов высшего общества [преимущественно столичного]. Д. И. Фонвизин в своем «Чистосердечном признании» очень красочно на своем примере изображает, как провинциальный дворянин сначала изучал русский язык по сказкам дворового мужика и по церковным книгам[1], затем, попав в столицу и устремившись «к великолепию двора», убеждался, что без знания французского языка в аристократическом кругу «жить невозможно». «Стоя в партерах, — пишет Д. И. Фонвизин, — свел я знакомство с сыном одного знатного господина, которому физиономия моя понравилась, но как скоро спросил он меня, знаю ли я по-французски, и услышал от меня, что не знаю, то он вдруг переменился и ко мне похолодел: он счел меня невеждою и худо воспитанным, начал надо мною шпынять... Но тут узнал я, сколько нужен молодому человеку французский язык, и для того твердо предпринял и начал учиться оному».

В первой редакции «Недоросля», относящейся, по-видимому, к 60-м годам, Д. И. Фонвизин очень ярко изображает культурно-языковое расслоение высшего общества, борьбу между старой языковой культурой, опиравшейся на церковную книжность, и новой, светско-европейской. Отец недоросля, Аксен Михеич, мечтает о том, чтобы «одумались другие отцы в чужие руки детей своих отдавать»: «Намнясь я был у Родиона Ивановича Смыслова и видел его сына... французами ученого. И случилось быть у него в доме всенощной, и он заставлять сынка-то своего прочесть святому кондак. Так он не знал, что то кондак, а чтоб весь круг церковной знать, то о том и не спрашивай». Между тем же Аксеном Михеичем и Добромысловым, представителем просвещенного дворянства, происходит такой разговор о воспитании детей:

«А к с е н. Неужли-то ваш сын выучил уже грамоту?

Д о б р о м ы с л о в. Какая грамота? Он уже выучился по-немецки, по-французски, по-итальянски, арифметику, геометрию, тригонометрию, архитектуру, историю, географию, танцовать, фейхтовать, фортификацию, манеж и на рапирах биться и еще множество наук

---

[1] «Как скоро я выучился читать, то отец мой у крестов заставлял меня читать. Сему обязан я, если имею в российском языке некоторое знание, ибо, читая церковные книги, ознакомился с славянским языком, без чего российского языка и знать невозможно».

окончил, а именно на разных инструментах музыкальных умеет играть.

Аксен. А знает ли он часослов и псалтырь наизусть прочесть?

Добромыслов. Наизусть не знает, а по книге прочтет.

Аксен. Не прогневайся ж, пожалуй, что и во всей науке, когда наизусть ни псалтыри, ни часослова прочесть не умеет, — поэтому он церковного устава не знает?

Добромыслов. А для чего же ему и знать? Сие представляется церковнослужителям, а ему надлежит то знать, как жить в свете, быть полезным обществу и добрым слугою отечеству.

Аксен. Да я безо всяких таких наук, и приходский священник отец Филат выучил меня грамоте, часослов и псалтырь и кафизмы наизусть за двадцать рублев, да и то по благодати божьей дослужился до капитанского чину»[1].

В высоком прозаическом стиле Д. И. Фонвизина обнаруживается очень рельефно тенденция к синтезу французского и церковнокнижного языков, к «согласованию языка церковного с языком общества» (Вяземский). В пестроте галлицизмов и славянизмов языка фонвизинской прозы П. А. Вяземский со своей позиции аристократа-европейца видел попытку сочетать ломоносовскую реформу со вкусами европеизированного столичного общества: «Прозаический язык Ломоносова — тело, оживленное то германским, то латинским духом, коему даны в пособие славянские слова. Язык Фонвизина при тех же пособиях часто сбивается на галлицизмы. Ни в том, ни в другом нет чисто русского, ни чисто славянского, ни даже чисто славяно-русского языка»[2].

И. И. Дмитриев отмечал также тенденцию Фонвизина, мешая в высоком слоге русские слова с славянским, «для благозвучия наблюдать некоторый размер, называемый у французов кадансированною прозою».

Таким образом, высокий слог славяно-российского языка в лексике, фразеологии, синтаксисе, ритме терпел изменения под воздействием французской риторики, управлявшей языковыми вкусами русского дворянства. Но и в среднем прозаическом слоге Фонвизина часто смешивались и скрещивались славянизмы с галлицизмами, и в них растворялись формы живого русского просторечия. Например, в языке «Писем из Франции» и в «Письмах из путешествия» легко обособить такие категории слов, выражений и оборотов[3]:

1. Церковнославянизмы, нередко торжественно архаической окраски: *господь наградит* со *сторицею* ту сумму, которую они согласятся ныне заплатить своему государю (10); главное *рачение* мое (13): *потрясли основания сего пространного здания* (13); общий или *паче сказать* природный характер нации (20); *надобно отрещись*

---

[1] *Коровин Г.* Ранняя комедия Д. И. Фонвизина. Первая редакция «Недоросля».— В кн.: Литературное наследство. М., 1933, № 9—10, с. 256, 258.

[2] *Вяземский П. А.* Фонвизин. СПб., 1848, с. 66.

[3] *Фонвизин Д. И.* Полн. собр. соч. В 4-х частях. Изд. И. Г. Салаева. М., 1830, ч. 2 (В скобках указаны страницы этого издания.)

вовсе от общего смысла (23); почтение, ему оказываемое, ничем не *разнствует* от обожания (27); кто из *мудрых века сего* (45) и мн. др.; ср. в «Жизни Н. И. Панина»: *душ, заматеревших* в робости старинного рабства (ч. 4, с. 10). Но особенно архаичны у Фонвизина славянизмы в высоком стиле — например, в «Слове на выздоровление цесаревича Павла Петровича»: *колико тяжких воздыханий восходило к небесам; воссиял прекрасных день по часах толико мрачных; видел его стеняща и сокрывающа слезы своя; обык творити в крепости сил своих; превечный подвигся о людях своих на милосердие* и т. п.; но ср. рядом же фразеологические славяногаллицизмы типа: *воздать природе горестную дань* (162): *воображение, извлекающее слезы из чувствительных сердец* и др.

2. Примыкающие к славянизмам канцеляризмы: *препоручает* провинцию в... покровительство (16); *надлежит присовокупить* к нему и развращение нравов (20); он *ниже* взглянул на сундуки наши (68) и др. под.

Ср. в «Жизни Н. И. Панина»: *оно совокупно* с его положением отвлекло его совсем от дел (ч. 4, с. 18) и т. д.

Ср. тесно связанные в языке той эпохи с церковнославянизмами и канцеляризмами латино-немецкие обороты и конструкции: *считаю я остаться здесь* до совершенного ея исцеления (21). Ср. порядок слов: д и в и т ь с я н а д о б н о, как люди с пятью человеческими чувствами в такой нечистоте жить могут (5) и др. под.

3. Галлицизмы, «европеизмы» разного рода, особенно часто заимствованные слова и буквально переведенные выражения, так называемые фразеологические кальки: *взяв свои места* (prendre place), ожидали прибытия графа (9); читал потом речь весьма *трогающую* (touchant) (10); *я принял смелость* (prendre l'audace) (11); *взял я намерение* (21); они *дают тон* всей Европе (37); душевные *расположения* (dispositions); *утопает* он *в* презрительных забавах (47) (ср. французское noyer dans quelque chose). Ср. слова: *комплимент* (10); в самых *генеральных терминах* (11); *машинально* на язык попадаются (20); *вояж* (21); *вояжеры* (38); с мирными *кондициями* (24): *публично* (40); *модель вкуса* (60); *репутация* (73); *офрировать* (75); *сделать визит* (73) и т. д. Ср. в «Жизни Н. И. Панина»: приобрел *эстиму* (ч. 4, с. 9); *негоциация* (8); *секрет* (9); дать всю полную *дозу* (приема) (76). Ср. синтаксические обороты: *п р о ш е д в р е м е н а д р е в н и х к о р о л е й и у п о м я н у в*, как оно перешло во владения французских государей, *с к а з а н о в з а к л ю ч е н и е* всего... (9—10); *п р о б и в а я с ь л е с о м п о у з к о й д о р о г е, б ы л и у н а с п о н е с ч а с т и ю п о д н я т ы с т е к л а* (69) и мн. др.

4. Слова и выражения национально-бытового просторечия: *жить в грязи по уши* (37); при въезде в город *ошибла нас мерзкая вонь* (77); церемония так смешна, что *треснуть* надобно (78); колокольня уже не *Ивану Великому чета* (78) и др. под. Таким образом, язык фонвизинской прозы служит типическим примером литературных стилей третьей четверти XVIII в., приспособлявших книжную традицию начала века к европейской системе выражения и к русской народной речи *[1].

§ 10. ОБИХОДНАЯ РЕЧЬ РУССКОГО ОБЩЕСТВА И ЕЕ «ОЛИТЕРАТУРИВАНИЕ» (ЛИТЕРАТУРНАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ)

Однако не все слои высшего русского общества искали синтеза церковнокнижной культуры с французской. Напротив, для широких масс столичного и провинциального образованного круга, подвергавшегося европеизации, была характерна тенденция к отрыву от церковнославянской письменности. Русское образованное общество стремилось выработать систему литературных стилей, освобожденных от излишнего груза «славянщизны» и сочетавших европейскую культуру устной и письменной речи с разновидностями русского общественно-бытового языка. Обиходная речь той эпохи не чуждалась мещанского просторечия и свободно включала в себя элементы «простонародного», крестьянского языка, даже областные, диалектальные. Ср., например, в языке басен и сказок В. И. Майкова: «портняжка прибежал, пыхтит и, как *собака, рьяст*»[1]; *не перекочкавши* ни истца, ни судей, заплакав слезно, пошла»[2]; *хлехочет* (т. е. кричит, квакает), *замать* и др.; в письме И. И. Хемницера (1745—1784)[3]: «чтобы те места, которые нам *не казались*, переменены не были; в «Ябеде» В. В. Капниста: «где плохо лежит, там зетит он далеко» (д. I, явл. 1) (*зетить* — слово воровское, офенское: видеть, зорко глядеть); «полно вам пороть-та *дребедень*» (реплика прокурора Хватайки, д. III, явл. 4); «*свахляют* пусть они, а я уж пропущу» (д. III, явл. 5); «какой *хабар*» (Фекла, д. I, явл. 8); «но не на олухов молодчик *расскакался*» (д. I, явл. 9): у А. П. Сумарокова в притчах: «мужик осла еще *навъютил* и на него себя и с бородою *взрютил*» и мн. др.; у Богдановича в «Душеньке»: «иные *хлипали*, другие громко выли»; к рыбачьему *наслегу* (**там же**) и др.; в языке Нелединского-Мелецкого: «Уж, матка, ты мне уши *прожузжала*.. что весь опричь меня переженился свет»; «ну, в этот год попы *машонки понабьют*» (письмо к Д. И. Головиной); «поспорить, почитать, меж дела *подрюнить*» (ответ В. Л-чу М...му в 1778 г.) и мн. др. Ср. язык «Писем к Фалалею» в «Живописце» Н. И. Новикова.

Но внутри категории «простонародности» устанавливалась своеобразная дифференциация «подлого», «мужицкого» и того, что употреблялось или могло стать употребительным в быту высшего образованного общества. Существовали условные нормы «мужицкого языка». В «Записках» С. А. Порошина *[1] (2-е изд. СПб., 1881, с. 184) читаем: «Желание народа такое, присовокупил я нарочно мужичьим наречием, *штобы* Павел *Петровиць* был в *свово* прадедушку царя

---

[1] В «Толковом словаре» Даля *зарьять* — загореться, задохнуться, надорваться с перегону; в статье С. П. Микуцкого «Охотничьи слова»: *зарьять* — лишиться дыхания. (Материалы для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики. СПб., 1854, т. 1, с. 492.)

[2] У Даля: *перекочкать* — нижегородское: пересупрямить, поставить на своем.

[3] Ср.: *Будде Е. Ф.* Очерк истории современного литературного русского языка (XVII—XIX век).— В кн.: Энциклопедия славянской филологии. СПб., 1908, вып. 12, с. 66—67.

Петра *Алексеевица*». Характерно, что у Сумарокова в комедии «Опекун» старуха-простолюдинка также цокает (*цесной, яблоцко* и т. п.). Необычайно ярко это представление «о мужичьем наречии» отразилось в речи работников Мирона и Василия из комедии В. И. Лукина «Щепетильник». Тут отражаются и фонетические, и морфологические, и лексические приметы областного крестьянского языка. Мирон и Василий оба цокают, произносят *ц* вместо мягкого *т*, дзекают, акают, вместо ѣ говорят *и*. Они употребляют член, частицы *стани, ста*. В их речи мелькают слова: *пробаить, ляд ведает, галиться, голчить, позагугориться, фигли, шалбер, притаранить, посиденки, смямкать*. Вот образцы их разговора на *«костромском наречии»*:

«Мирон [держа в руках зрительную трубку]. Васюк, смотри-ка. У нас в экие дудки играют: а здесь в них один глаз прищуря, не веть цаво-то смотрят... У них мне-ка стыда-та совсем кажетсяниту. Да посмотрець было и мне. Нет, малец, боюсь праховую испорцить.

Василий. Кинь ее, Мироха. А как испорцишь, так сороми-то за провальную не оберешься. Но я цаю, в нее и подуцеть можно, иколиб она ни ченна была, так бы я сабе купил, и пришедши домой, скривя шапку, захазил с нею. Меня бы наши деули во все посиденки стали с собою браци, и я бы, брацень, в переднем углу сидя, чуфарился над всеми.

Мирон [вынув группу купидонов, изображающих художества и науки, смеется]. Смотрит-ка! что за проказ? Какая их сарынь рабенок [испугавшись]. Ах, братень, никак это ангели божии! прости меня, чарь небесный!.. Экие мемцы-та безбожники, как они их в кучу сколько смямкали.

Василий [смотря на купидонов]. И, дурачина! С вора вырос, а ума не вынес! Какие ангели? Я слушал от нашево хозяина, что это хранчуские болванчики»[1].

Однако эти приемы разграничения «простонародных» элементов стали казаться недостаточными во второй половине XVIII в. Процесс сближения бытовой и литературной речи высшего общества с французским языком влек за собой переоценку функций и состава просторечия и простонародного языка в светском употреблении. Нащупывались новые формы национального и в то же время европейского выражения. Для этого процесса литературного «облагораживания» низкого слога характерны оценки, как, например, у Федора Дмитриева-Мамонова в предисловии к переводу лафонтеновской «Любови Псиши и Купидона» (Ч. 1. М., 1769, с. 16—17): «Благородный стиль всегда привлечет меня к чтению, а низкими словами наполненной слог я так оставляю, как оставляю и не слушаю тех людей, которые говорят степною речью и произношением».

Эти новые общественные искания не могли не отразиться и на отношении к церковнокнижному языку. Упадок общественно-бытовой роли церковнославянского языка выразился в том, что в основу школьного обучения теперь ложится не церковнославянский язык, а русский (в сухопутном кадетском корпусе, в воспитательном доме).

[1] *Лукин В. И.* Щепетильник.— В кн.: *Лукин В. И.* и *Ельчанинов Б. Е.* Соч. и переводы. СПб., 1868, с. 197—199.

Очень интересны рассуждения о русском и церковнославянском языке в «Генеральном плане воспитательного дома» И. И. Бецкого: «Смеха достойный присвоили мы обычай учить детей в школах грамоте по книгам на языке и буквах славянских и провожать в сем учении по несколько лет... Детям прежде начатия славянского, должно учить букварь печатные на употребляемом ныне языке... Известно, что всякому человеку в обществе должно знать всю силу и все пространство языка своего отечества... Может быть, скажет кто: не можно совершенно знать обыкновенного языка незнающему славянского, которому для того прежде всего и учиться надобно. Таковое воображение признавать должно справедливым... Не отрицается сей язык... да и познание оного некоторым образом за нужное почитается, потому что обряды в церкви нашей на том языке совершаются, от него же зависит и совершенство употребительного, но сие познание для детей отменно понятных и назначаемых к особливым искусствам...»[1].

Таким образом, церковнославянский язык как предмет изучения уступает место «природному» языку. Естественно, что на такой культурно-общественной почве должна была разрушаться и видоизменяться, сближаясь с разговорной речью, структура высокого слога, и что в системе национально-литературного языка должны были все большее значение приобретать средние стили. Иллюстрацией к этому направлению в истории трех стилей может служить очерк языковой деятельности замечательного поэта и драматурга А. П. Сумарокова.

§ 11. ДЕФОРМАЦИЯ ВЫСОКОГО И СРЕДНЕГО СТИЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЖИВОЙ РУССКОЙ БЫТОВОЙ РЕЧИ И СТИЛЕЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Опираясь на обыденный устный и письменный язык столичной образованной среды, на московское интеллигентское употребление, А. П. Сумароков объявляет борьбу ломоносовскому высокому слогу во имя «естественности» и простоты выражения. «Пухлость, пущенна к небесам», «многоглаголание тяжких речений», «высокопарность» высокого слога, по Сумарокову, несовместимы с красноречием и с «естественностью», простотой, чистосердечностью экспрессии живого общественного языка. Условная возвышенная речь, оторванный от повседневных нужд и потребностей быта «язык богов» кажутся надутыми и фальшивыми. «Природное изъяснение из всех есть лучшее»[2]. «Что более писатели умствуют, то более притворствуют, а что боле притворствуют, то более завираются»[3]. Сумароков бранит поэ-

---

[1] Цит. по: *Пекарский П. П.* Русские мемуары XVIII в.— Современник, 1855, № 4, с. 88—89.

[2] *Сумароков А. П.* О стихотворчестве камчадалов. — Трудолюбивая пчела. СПб., 1759, январь, с. 63; ср. статью *Г. А. Гуковского* «Литературные взгляды Сумарокова» в кн.: *Сумароков А. П.* Стихотворения. Л., 1935.

[3] *Сумароков А. П.* О неестественности. — Трудолюбивая пчела. СПб., 1759, апрель, с. 240.

тов, которые «словами нас дарят, какими никогда нигде не говорят». «Языка ломать не надлежит, лучше суровое произношение, нежели странное словосоставление»[1]. Сумароков выступает против искусственности «духовного красноречия», против высокого церковнославянского слога: «Многие духовные риторы, не имеющие вкуса, не допускают сердца своего, ни естественного понятия во свои сочинения, но умствуя без основания, воображая неясно и уповая на обычайную черни похвалу соплетаемую ею всему тому, чево не понимают, дерзают в кривые к Парнасу пути, и вместо Пегаса обуздывая дикого коня, а иногда и осла, встащатся едучи кривою дорогою на какую-нибудь горку, где не только неизвестны музы, но нигде имена их, и вместо благоуханных нарциссов, собирают курячью слепоту»[2]. Поэтому и церковнокнижная риторика высокого слога, которая основана на условных метафорах и перифразах, замещающих простые обозначения, признается «многоречием». А «многоречие свойственно человеческому скудоумию. Все те речи и письма, в которых больше слов, нежели мыслей, показывают человека тупова»[3].

«Чувствуй точно, мысли ясно, пой ты просто и согласно», — наставляет Сумароков свою ученицу в поэзии Е. В. Хераскову (Письмо Е. В. Херасковой. — В кн.: *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе. СПб., 1787, ч. 2). «Витийство лишнее природе злейший враг», — пишет он другому своему ученику — В. И. Майкову:

Ум здравый завсегда гнушается мечты,
Коль нет во чьих стихах приличной простоты
Ни ясности, ни чистоты,—
Так те стихи лишенны красоты
И полны пустоты.

(Ответ на оду В. И. Майкова. — В кн.: *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе. СПб., 1787, ч. 1).

Насколько русской интеллигенции становилась чужда искусственно-риторическая фразеология церковнокнижного языка, наглядно показывает стиль «вздорных од» Сумарокова, пародирующих высокий ломоносовский слог, а также стилистические комментарии Сумарокова к стихам Ломоносова:

Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда...

«*Градов ограда* сказать не можно. Можно молвить *селения ограда*, а не *ограда града*; *град* от того и имя свое имеет, что он огражден. Я не знаю сверх того, что за *ограда града* тишина. Я думаю, что *ограда града* войско и оружие, а не тишина»[4].

Войне поставила конец.

«*Войну окончать* или *сделать войне конец* сказать можно, а *войне поставить конец*, я не знаю, можно ли сказать. Можно употребить, вме-

---

[1] *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе, ч. 6, с. 313.
[2] Там же, с. 298—299.
[3] Там же, с. 349.
[4] *Сумароков А. П.* Полн. собр. соч. в стихах и прозе, ч. 10, с. 77—78.

сто *построить дом, поставить дом*, а вместо *окончать войну*, весьма мне сумнительно, чтоб позволено было написать *поставить конец*»[1]. Между тем ломоносовское выражение явилось, конечно, как лексическое видоизменение церковнославянской фразы: *поставить предел.*

Сумароков не знал так тонко, как Тредиаковский или Ломоносов, церковнославянского языка, его лексики, фразеологии и грамматической системы. Заставляя Ксаксоксимениуса, героя комедии «Тресотиниус», говорить по-церковнославянски, Сумароков делает ошибки: «Подаждь ми перо, и абие положу знамение преславного моего имени, его же не всяк язык изрещи может», — говорит Ксаксоксимениус. Между тем «надобно было следующим образом: «Даждь ми трость, да абие положу знамение преславнаго моего имене, еже не всяк язык изрещи может», — поправляет Тредиаковский. Тредиаковский иронизирует: «В полутаре строчке пять грехов»[2]. Эти «грехи», во-первых, лексические: русское *перо* вместо церковнославянского *трость*, *подаждь* вместо *даждь*; во-вторых, морфологические: род. пад. *имени* вместо церковнославянского *имене*; в-третьих, синтаксические: *и абие* вместо *да абие*, *его же* вместо *еже* (вин. средн. рода, согласованный со словом *имя*). Смешение русских и церковнославянских форм, просторечное искажение церковнославянизмов свидетельствует, что церковнокнижный язык становился чужим, иностранным языком для русского интеллигента. Поэтому в языке Сумарокова нередко ломается, теряет устойчивость и прочность семантика церковнославянского слова. Эти нарушения церковнокнижной системы очень зорко подмечены Тредиаковским в «Письме к приятелю»:

«*Простри с небес свою зеницу*» (ср. *простер премудрую зеницу*). «*Зеница* есть славенское слово; а по нашему просто называется *озарочко*», — комментирует Тредиаковский. «Говоря *распростерть озарочко*, есть означать, что оно так простирается, как рука. Подлинно, можно сказать, что зрение далеко распростирается... *Простри зеницу* есть ложная мысль, и не свойственное зенице дело»[3].

«Ложные знаменования, данные от автора словам..., происходят от того, что автор отнюдь не знает коренного нашего языка славенского. Пишет он *коль*, производя от подлого *коли*, за (вместо) *когда* и *ежели* весьма неправо и развращенно». В стихе «Не так свирепая, коль толь твой вреден взгляд...» *коль* за *когда* полагается от автора ложно, потому что *коль* значит *колико* Пишет же автор *отселе* за *отсюду*, не зная, для того что *отселе* значит *отныне*... Пишет он и *довлеют* за *долженствуют*, как-то: *не их примеры нам во бранях быть довлеют*; однако слово *довлеет* значит *довольно есть*, а *не должно есть*». Неправильное употребление слова *поборник* (в значении противник, см. «Гамлет», д. II, явл. 1: «*Поборник* истины, бесстыдных дел рачитель») показывает, что «автор мало бывает в церькве на великих

---

[1] *Сумароков А. П.* Полн. собр. соч. в стихах и прозе, ч. 10, с. 8.

[2] *Тредиаковский В. К.* Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю (1750).— В кн.: *Куник А. А.* Сборник материалов для истории Академии наук в XVIII в. СПб., 1865, ч. 2, с. 438*[1].

[3] Там же, с. 446—447.

вечернях, и на всенощных бдениях, ибо инако, то б автор мог услышать в богородичне, что слово *поборник* значит не *противника*, но *защитника* и *споспешника*». «*Под ними твердь трясется...* Кто славенский язык наш знает, тот совершенно ведает, что через слово *твердь* разумеется у нас... французское firmament, то есть *небо*...» (французский перевод «автору вразумительнейший»). Итак, Сумароков «не имеет искусства в употреблении и в избрании речей». У него Кий (в трагедии «Хорев», д. V, явл. 3, первоначальный вариант) «просит, пришед в крайнее изнеможение, чтоб ему подано было *седалище*... Знает автор, что сие слово есть славенское и употреблено в псалмах за *стул*, но не знает, что славенороссийский язык, которым автор все свое пишет, соединил с сим словом ныне гнусную идею, а именно то, что в писании названо у нас *афедроном*»[1].

Таким образом, русское образованное общество, не вникая в тонкости самого церковного языка, переосмысляло церковнославянизмы на основе бытового просторечия или семантики французского языка.

Нормой «литературности» для писателя становится не церковнославянский язык, а «общее употребление». Его «почитал за устав» и Сумароков[2]. «Я употреблению с таким следую рачением, как и правилам; правильные слова делают чистоту, а употребительные слова из склада грубость выгоняют», — пишет он. В ответ на упрек Тредиаковского, что нельзя в «красном слоге» говорить *опять* вместо *паки*, Сумароков заявляет: «Прилично ли положить в рот девице семьнадцати лет, когда она в крайней с любовником разговаривает страсти, между нежных слов *паки*? А *опять* — слово совершенно употребительное, и ежели не писать *опять* за *паки*, так и *который*, *которая*, *которое* надобно отставить и вместо того употреблять к превеликому себе посмешеству неупотребительные ныне слова *иже*, *яже* и *еже*, которые хорошо слышатся в церковных наших книгах, и очень будут дурны не только в любовных, но и в геройских разговорах»[3]. Сумароковский «высокий» стиль кажется защитникам церковнокнижной культуры «низким», так как «выбор слов» у Сумарокова недостаточно великолепен», и Сумароков даже в важном слоге не чуждается «обыкновенных народных речей» и в лексике и в морфологии. Например, возмущается Тредиаковский: «Чего б ради ему не положить *воззри*, вместо *взгляни*?»; «*Петров прах* (в стихах: «Что ты Петров воздвигла прах, Дела его возобновила») есть уничижительное изображение. Надлежало бы... не вносить такия нискости... Благоразумный и богослов, и в приличной нравоучительной материи, назовет его или *перстию*, или *мертвенностию*, или *останками*, или как инак, только ж с почтением...» «Слово *миг* есть подлое. Вместо его высоким стилем говорится *мгновение ока*». То же в морфологии: «...*любезной дщери*, вместо *любезныя дщери*, есть неправильно, и досадно слуху... *Любез-*

---

[1] *Тредиаковский В. К.* Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю, с. 479, 480, 481, 483.

[2] *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе, ч. 10, с. 98.

[3] Там же, с. 97—98.

ной есть род. п. сокращенный или лучше развращенный от народного незнания, а в самой вещи он есть детальный»: «*Красы безвестной*, вместо *красы безвестныя*, нерадивое соединение имен»; «*Твоей державы*, вместо *твоея*, неправо, и досадно нежному слуху». Ср. в «Оде парафрастической» смешение форм: «...*защитник слабыя сей груди*». «Худой выбор» разговорных слов отмечается консервативными современниками и в трагедиях Сумарокова: «*Опять* за *паки*, *этот* за *сей*, *эта* за *сия*, это за *сие*». Употребление слов, «кои худо в важное сочинение полагаются, для того что гнусное нечто по употреблению означают», — например, *блудя* вместо *заблуждая*, типично для сумароковского языка. «Неравность», «совокупно высокость и нискость», «малое нечто приличное, а премногое непристойное... точный хаос...» — вот характеристические особенности сумароковского языка с точки зрения сторонника теории трех стилей. «Мило очень нашему автору непостоянное употребление слов, как то инде *ево*, инде *на него*, инде *ея*, а инде *ее*»[1]. Так создается путем смешения средний стиль русского литературного языка, более близкий к живой разговорной речи образованного общества.

Но выступая противником «крайностей», Сумароков отрицает отожествление, слияние книжного языка с разговорным, подмену литературной речи просторечием. «Для чего не писать так, как мы говорим? Такая вольность будет уже безмерно велика, и наконец, не останется следов древнего языка нашего. Мы отменим старое наречие в разговорах, отменив его в письмах, потом насеем в свой язык чужестранных слов, наконец, вовсе по-русски позабыть можем, что очень жалко, и такого убийства с природным языком ни один народ не делал, хотя уже и так конечным истреблением наш язык угрожает»[2]. Бытовое просторечие образованных кругов общества само сближается с литературным языком, ассимилируя себе церковнокнижные выражения. Формы высокого, среднего и даже простого слога смешиваются. Вот примеры из сочинений Сумарокова, выделенные Тредиаковским: «*Повергаются грады прахом*... надобно — *в прах*»; «Глагол *владаю*... есть развращенный: искусныи в языке говорят *владею*, а на *аю* произносят и пишут сей — *обладаю*, а не *владаю*»; «*Вопящих* вместо *вопиющих* есть весьма неисправно»[3]. Литературный язык, свободно комбинируя церковнокнижные морфемы с разговорными категориями словообразования, создает стилистические варианты и синонимы славяниэмов, с одной стороны, а с другой — отбирает из наличных синонимов менее архаичные и более близкие к живой речи.

---

[1] *Тредиаковский В. К.* Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне в свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю, с. 456—457, 459, 462, 474, 476, 477.

[2] *Сумароков А. П.* О московском наречии. — В кн.: Свободные часы, 1763, февраль, с. 67—75.

[3] *Тредиаковский В. К.* Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне в свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю, с. 454, 465, 470; ср. также «Ответ на письмо о сафической и горацианской строфах» (*Пекарский П. П.* История Академии наук в Петербурге, т. 2, с. 250—257).

Таковы сумароковские замены: *мгновенно* вместо *во мгновении*, *отколе* в «Гамлете» вместо *откуду*, *бремянило* вместо *отягощало* и т. д.[1]

Вместе с тем в литературных стилях второй половины XVIII в. происходит переоценка прав простонародных выражений на «красный» слог, особенно если эти выражения приняты обиходной речью дворянства. Тредиаковский жаловался на Сумарокова: «У автора и сельское употребление есть правильное и красное: его жерновы, по присловию, толь добры, что все мелют»[2]. Но своеобразие сумароковского словоупотребления, например употребление слова *седалище*, в котором Сумароков игнорирует книжно-мещанские ассоциации[3], и борьба Сумарокова с областными, «поселянскими» элементами в языке Ломоносова доказывают, что сумароковский стиль чуждается специфических особенностей старокнижного языка и избегает узких провинциализмов простонародной речи. Он опирается на столичное (преимущественно московское) употребление. Не менее характерен протест Сумарокова против попытки В. П. Светова узаконить некоторые формы городского «низового» просторечия. Исходя из той идеи, что «может быть со временем испорченные простым и обыкновенным выговором слова не странно будет писать по настоящему их произношению», Светов рекомендовал, например, слова *острый*, *оспа*, *отчина*, *осьмой* и др. писать в стиле, а в обыкновенном разговоре и в простом роде сочинения придавать в: *вострый*, *воспа*, *вотчина*, *восьмой* и т. п. Но Сумароков, опираясь на критерий светского словоупотребления, различает эти формы по их социально-языковой окраске. «Все приняли без изъятия *вотчина*, а *вострой* говорят только крестьяне и самые низкие люди, да и то не все»[4]. Таким образом, Сумароков апеллирует к «общему» национальному языку, но его строй и состав часто ограничивает нормами дворянского лингвистического вкуса. Он вооружается против испорченных выражений «простонародного наречия» и против славянщизны: «Истина никакия крайности не причастна. Совершенство есть центр, а не крайность»[5]. Например, ссылаясь на общее употребление, Сумароков даже в высоком слоге употреблял от имен существительных ср. р. формы им. пад. мн. ч. на *-ы*, *-и*, *-ии*. Ср. протесты Тредиаковского: «Красный слог не может быть красным, буде он притом неисправен...»; «*Леты* положены как *селы* за *лета*, всеконечно против грамматического рода, и против искусных людей употребления... Впрочем, кажется, что автор

---

[1] Цит. по: *Тредиаковский В. К.* Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне в свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю, с. 477.

[2] Там же, с. 469—470.

[3] Ср. рассуждения Дюлижа и Критициондиуса об этом слове в комедии Сумарокова «Чудовищи». См.: *Филиппов В. А.* К вопросу об источниках комедий А. П. Сумарокова.— ИРЯС. Л., 1928, т. 1, кн. 1, с. 210—211. Интересно, что слово *седалище* остается в литературном языке второй половины XVIII в. только со значением *зад*. *Ср.* у А. С. Болотова в статье «Современник, или записки для потомства»: «Их как маленьких ребяток выпороть гораздо, гораздо и так розгами на козле, чтоб им неделю, другую на седалище сесть было неможно»*[2].

[4] Цит. по: *Сухомлинов М. И.* История Российской академии, вып. 4, с. 315.

[5] *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе, ч. 10, с. 15.

сие нарочно делает, подражая такому употреблению...»[1] Ср. примеры из языка трагедий Сумарокова: *озеры, достоинствы, воздыхании, блаты, железы, действии, посольствы, правилы, правы* и т. п. Но Сумароков, апеллируя ко всему свету, защищал эти формы: «Мне кажется все равно: *права* и *правы, лета* и *леты*»[2]. Точно так же Сумароков в «красном слоге» по «вольности дворянства» употребляет просторечные формы род. пад. мн. ч. *-ев, -иев* в соответствии с им. пад. мн. ч. на *-ии, -ы* от имен существительных ср. р., например: *подозрениев, следствиев, нещастиев, отсутствиев* и т. п.[3] О вторжении разговорной речи в сферу «высокого слога» свидетельствовало и употребление *-ье, -ья, -ью* и т. п. вместо *-ие, -ия, -ию*. «Слово *подобьем*, вместо *подобием*, так досадно нежному слуху, что невозможно ему никак стерпеть, равно как и имена в Гамлете *Офелью, Полонья* вместо *Офелию, Полония*»,— осуждает это употребление Тредиаковский. «Слово *мольнья* вместо *молния* есть развращенное»; «*К престолу божьему* за *к престолу божиему* по самой большой и по площадной вольности»; «Многие он (Сумароков) речи составляет подлым употреблением, как-то: *паденье* за *падение, отмщенье* за *отмщение, желанье* за *желание, воспоминанье* за *воспоминание;* так же: *оружье, сомненье, понятье, безумье, Офелью*... и пр. премногие»[4]. Трансформируются применительно к среднему стилю в языке Сумарокова и деепричастия: «Настоящие деепричастия за прошедшие пишет по площадному, как то: *премени* вместо *пременив* и *пременивши, увидя* за *увидевши, услазясь* за *усладившись, утомя* за *утомивши* и прочая»[5].

Но Сумароков энергично протестовал против квалификации этих форм «подлыми»: «То употребляют все, лутче бы он (Тредиаковский)

---

[1] *Тредиаковский В. К.* Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю, с. 469—471, 476; ср.: *Пекарский П. П.* История Академии наук в Петербурге, т. 2, с. 256.

[2] *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе, ч. 10, с. 98.

[3] *Тредиаковский В. К.* Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю, с. 476; ср. у Сумарокова защиту этих форм: *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе, ч. 10, с. 97—98.

[4] *Тредиаковский В. К.* Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю, с. 450, 459, 477; ср. у Ломоносова защиту в стихотворении «Искусные певцы» (против Тредиаковского) конечного *-ь* вопреки *-и* в высоком слоге:

...ищет наш язык везде от *и* свободы
Или уж стало *иль, коли* уж стало *коль;*
Изволи ныне все везде твердят *изволь.*
За *спиши спишь* и *спать* мы говорим за *спати.*
На что же, Триссотин, к нам тянешь *и* не кстати?
Напрасно злобной сей ты предприял совет...
(Ломоносов М. В. Соч., т. 2, с. 132)

[5] *Тредиаковский В. К.* Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю, с. 477.

говорил, что то неправильно, а не в подлом употреблении»[1]. Пуристы, охранявшие ломоносовскую грамматику, указывали и другие отголоски просторечия в морфологии и синтаксисе сумароковского высокого слога: «В трагедиях его и склонение имен, в составе косвенных их падежей, есть новое и необыкновенное: пишет он часто *любови* за *любви, заразов* вместо *зараз, глазми* за *глазами*» и др.[2] Ср. в формах глаголов: «...*услышилось* за *услышалось, слышил* за *слышал, оставшей* за *оставшейся*... *иттить из градских стен* за *сходить с градских стен* или *итти из-за градских стен; на чью он жизнь алкал;* но *на жизнь алкать* сочинено весьма странно: ибо глагол *алчу* есть самостоятельный, и не правит никаким падежом, то есть, говорится просто: *алчу*. Пусть перечтет автор послания святого апостола Павла, то и увидит во многих местах... свою превеликую погрешность»[3]. Так процесс образования средних стилей литературного языка неизбежно вел к разрушению границ между высоким и простым слогом и к ломке традиций церковнославянского языка.

«Олитературивание» просторечия сопровождается у Сумарокова борьбой с лексическими варваризмами, с неумеренным преклонением перед иностранщиной.

Сумароков не был консерватором в словаре. Он сам вводил новые слова и значения. Он допускал необходимые иностранные заимствования. Но он возмущался галломанией в языке светских щеголей, пересыпавших свою речь французскими (а иногда немецкими) словами, усматривая в этом макароническом жаргоне опасность утраты национального своеобразия русского языка.

«Кроме того, язык петиметров — это был язык той придворной верхушки, с которой боролся Сумароков, так же как он боролся с языком подьячих, с его канцеляризмами, архаикой и своеобразной запутанностью» (Гуковский)*[3].

В статье «К несмысленным рифмотворцам» Сумароков писал: «Правописание наше подьячие и так уже совсем испортили. А что свойственно до порчи касается языка, немцы насыпали в него слов немецких, петиметры — французских, предки наши — татарских, педанты — латинских, переводчики Священного писания — греческих... Немцы склад наш по немецкой учредили грамматике. Но что еще больше портит язык наш? худые переводчики, худые писатели; а паче всего худые стихотворцы».

В статьях «О истреблении чужих слов из русского языка» и «К несмысленным рифмотворцам»[4], Сумароков воюет за чистоту рус-

---

[1] *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе, ч. 10, с. 99.

[2] *Тредиаковский В. К.* Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, трех трагедий и двух эпистол, написанное от приятеля к приятелю, с. 481.

[3] Там же, с. 477—478.

[4] *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе, ч. 9, с. 244—247 и 276—279, ср. Сумарокова же «Эпистолу о русском языке» (Там же, ч. 1, с. 331—335). Ср. в его сатире «О французском языке» (Там же, ч. 7, с. 368) обличение «петиметра», щеголя: «французским словом он в речь русскую плывет; солому *пальею, обжектом* вид зовет...» Ср. язык щеголей и щеголих в комедиях

ского словаря. Это, конечно, нисколько не препятствовало Сумарокову менять значения русских слов применительно к французскому языку и создавать фразеологические снимки с французских выражений. Но ведь здесь он оставался на почве живого употребления высших слоев образованного общества[1]. Прав Н. Н. Булич, утверждая, что язык Сумарокова приспособлен к «массе», что в художественном стиле у Сумарокова, «воспитанного не в школе, а в обществе... больше жизни и движения, нежели у Ломоносова. Отрывистые и короткие фразы заменили здесь плиниевские тирады Ломоносова». В языке Сумарокова и сама «наука не завертывалась в жреческую мантию и не становилась на треножник, она говориал просто и ясно»[2]. Характерным выражением этой тенденции к литературно-светскому преобразованию бытовой речи дворянской интеллигенции являлась борьба Сумарокова с приказным, канцелярским языком, влияние которого было особенно сильно в литературном обиходе, начиная с Петровской эпохи. «Что почтенние, — язвительно спрашивает Сумароков в посвящении своих эклог «прекрасному российского народа женскому по-

---

Сумарокова. Особенно вооружался Сумароков против лексических дублетов, заимствованных из чужих языков: *фрукты* вместо плоды, *сервиз* вместо столовый прибор, *антишамбера* вместо передняя комната, *камера* вместо комната, *корреспонденция* (или *каришпанденция*) вместо переписка; *гувернанта* вместо мамка; *нахтиш* и *тоалет* вместо уборной стол; *пансив* вместо задумчив; *жени* вместо остроумие; *деликатно* вместо нежно; *пассия* вместо страсть и т. п. («О истреблении чужих слов из русского языка»).

Похлебка ли вкусняй, или вкусняе *суп*?
Иль *соус*, просто сос, нам *поливки* вкусняе?
(Эпистола о русском языке).

[1] Ср. борьбу за «простой склад», без украшения, за национальные нормы русского литературного языка, с одной стороны, против церковнокнижных основ высокого слога, против его растянутых периодов и высокопарной перифрастической фразеологии и, с другой стороны, против варваризмов, против иноязычных заимствований в литературной деятельности придворного круга, связанного с именем Екатерины II. Так, в «Завещании», которым оканчивается текст «Былей и небылиц», Екатерина II излагает свои мысли о том, как надобно писать: «Краткие и ясные изражения предпочитать длинным и кругловатым. Кто писать будет, тому думать по-русски. Иностранные слова заменять русскими, а из иностранных языков не занимать слов; ибо наш язык и без того довольно богат... Слова класть ясные и, буде можно, самотеки... Ходулей не употреблять, где ноги могут служить, то есть надутых и высокопарных слов не употреблять, где пристойнее, пригоднее, приятнее и звучнее обыкновенные будут... Где инде коснется до нравоучений, тут оные смешивать наипаче с приятными оборотами, кои бы отвращали скуку... Глубокомыслие окутать ясностию, а полномыслие легкостью слога, дабы всем сносным учиниться» (Соч. СПб., 1907, т. 5, с. 104—105). Ср. описание норм дворянских светских стилей русского литературного языка в следующей главе. О стилистических правилах Екатерины II см. в работе П. П. Пекарского «Материалы для истории журнальной и литературной деятельности Екатерины II» (Записки Академии наук, 1863, т. 3. Приложение, № 6, с. 1—87), в статьях: *Грот Я. К.* Сотрудничество Екатерины II в «Собеседнике» кн. Е. Дашковой.— В кн.: Сборник Русского исторического общества, 1877, т. 20, с. 525—542; также в кн.: *Грот Я. К.* Труды. СПб., 1901, т. 4, с. 311—327; см. также: *Грот Я. К.* Примечания и приложения к биографии Г. Р. Державина.— *Державин Г. Р.* Соч. СПб., 1883, т. 9, с. 103—108; письма и бумаги Екатерины II. Изд. А. Ф. Бычкова. СПб., 1873 и Екатерина II. Соч. СПб., 1901—1907, т. 1—5, 7—12.

[2] *Булич Н. Н.* Сумароков и современная ему критика. СПб., 1854, с. 170.

лу», — эклоги ли составлять, наполненные любовым жаром и пишемые хорошим складом, или тяжебные ябедников письма, наполненные плутовством и складом писанные скаредным?»[1] «Подьячие... точек и запятых не ставят... для того, чтобы слог темнее был, ибо в мутной воде удобняе рыбу ловить»[2]. «Несмысленные авторы, напуганные крючктоворцами, им сочинения свои отдают во полномочие»[3]. От этого портится литературный язык. «Подьячие... высокомерятся любимыми своими словами: *понеже, точию, якобы, имеет быть, не имеется* и прочими такими[4]. Ср. в «Эпистоле о русском языке» [1748. Соч., ч. 1, с. 335].

Коль, аще, точию обычай истребил.
Кто нудит, чтоб ты их опять в язык вводил.

Таким образом, Сумароков, ограничивая употребление церковнославянизмов и приспособляя их к разговорному языку образованного общества, решительно отрицая «подьяческий», канцелярски-бюрократический язык, ориентируется на живую устную речь дворянской интеллигенции, в некоторых своих особенностях близкую к народному языку, например к языку крестьян. Но в самой речи высшего общества не было единства и единообразия.

Подьяческому, приказному языку резче всего противополагается стиль светского салона, иронически называемый в сатирическом журнале «нынешним щегольским женским наречием» (Живописец, 1772, ч. 1, с. 30). В пародическом письме, обращенном от имени писательницы-женщины к издателю «Трутня», содержится жалоба: «А ином уж я и не говорю: что из женскава слога сделал ты подьяческай, наставил ни к чему: *обаче, иначе, дондеже, паче.* Мы едаких речей ничуть не пишем, у мущин они в употреблении, а у женщин нет» (Трутень, 1769, л. XIV). Язык «светской дамы», освобожденный от груза канцеляризмов и славянизмов и организованный по французскому образцу, претендует на светскую всеобщность. «Модное наречие петербургских щеголих многим нашим девицам вскружило головы», — раздается в «Живописце» голос из Москвы. «Все такие модные слова, в «Живописце» напечатанные, они вытвердили наизусть и ввели во употребление; но при том чувствуют еще во оном наречии великий недостаток; почему хотят посылать нарочного поверенного, который будет стараться все слова, в модном наречии употребляемые, собирать и сообщать к нам в Москву» (1772, ч. 1, с. 157). Подчиняясь требованиям верхов столичного общества, часть писателей сумароковской школы стала приспособлять русский литературный язык к стилю светского салона.

Ограничение форм и функций церковнославянского и канцелярско-бюрократического языков было связано и с синтаксической реор-

---

[1] *Сумароков А. П.* Полн собр. всех соч. в стихах и прозе, ч. 8, с. 4,
[2] Там же, ч. 6, с. 367.
[3] Там же, ч. 10, с. 32.
[4] *Сумароков А. П.* К типографским наборщикам. — Трудолюбивая пчела. СПб., 1759, май, с. 266—267. *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе, ч. 6, с. 315.

ганизацией литературного языка. Постепенно сокращается и исчезает употребление таких оборотов, как дат. самостоятельный, вин. с инфинитивом (ср. *не считающую в мыслях его ничего; к ней почтительного быти*)[1], именит. с инфинитивом [«Хотя день солнцем освещен, но *мнит он быть* средь темной ночи» — Покоющийся Трудолюбец, (1785, IV, с. 85) и др. под.[2]

Однако влияние приказно-бюрократического стиля и церковнославянского языка на литературные стили было еще очень сильно. Оно заметно даже в языке легкой поэзии, например в языке «Душеньки» Богдановича. «Там из-за Душеньки выглянет фигура подьячего, здесь запахнет семинарией, в другом месте вместо купидона невольно мерещится фризовая шинель.

Здесь: ... Хор певиц протяжистым манером
С приличным некаким размером
Воспел стихи, возвысив тон,
Толико медленно, толико слуху внятно и т. п.

Там: Царевна, вышедши из бани, наконец,
Со удовольствием раскидывала взгляды
На выбранны для ней и платья и наряды
И некакой венец[3].

В самом деле, канцелярская струя в языке «Душеньки» очень заметна. Например, в «Предисловии от сочинителя»: «Я же, не будучи из числа учрежденных писателей, чувствую, сколько обязан многих людей благодушию, которым они заменяют могущие встретиться в сочинениях моих погрешности».

В самом тексте «Душеньки»:

С улыбкою на всех кидая взор приятно,
Сама *рядила путь* во остров свой обратно
И для *отличности* такого торжества.
Явила тут себя во славе божества...
Богиня, *учредив* старинный свой парад...
Письмо вручить...
И службу надлежащим рядом
Исправно совершить
(кн. III).

Легко могла судить царевна на досуге
О будущем супруге,
Что он, как видно, был *гораздо не убог* (кн. I).

Так в русском литературном языке XVIII в. происходит постепенная деформация высокого и среднего стилей. Церковнославянские и канцелярские формы сокращаются, исключаются или стилистически преобразуются. Европеизация русского общества и распад феодальной культуры неизбежно приводят к крушению норм высокого слога, опиравшихся на традиции церковнокнижной риторики. Рус-

---

[1] Санкт-Петербургский Вестник, 1779, т. 4, с. 260.

[2] См.: *Будде Е. Ф.* Очерк истории современного литературного русского языка (XVII—XIX век).— В кн.: Энциклопедия славянской филологии. СПб., 1908, вып. 12, с. 105—107.

[3] Русский Вестник, 1856, т. 1 и 2.

ский разговорный язык заявляет права на расширение своих литературных функций.

Национально-демократические основы русского литературного языка крепнут и углубляются.

§ 12. ВНЕДРЕНИЕ ПРОСТОРЕЧИЯ В СРЕДНИЙ И ВЫСОКИЙ СЛОГ. ЯЗЫК ДЕРЖАВИНА

Проблема перераспределения функций между славянским высоким слогом и живой народной речью, иногда уклоняющейся в «простонародность», т. е. в крестьянские диалекты, находит своеобразное разрешение в стихотворном языке великого поэта конца XVIII в. Г. Р. Державина[1]. В языке Державина можно наметить несколько грамматических категорий, в пределах которых осуществляется явное «опрощение», «снижение» высокого слога, как бы приспособление его к нормам разговорного языка, далекого от утонченности светского дворянского салона.

1. Прежде всего, Державин часто употребляет в страдательном значении возвратную форму от таких глаголов, которые, по ломоносовской инструкции, «сего отнюдь не терпят»[2]. Ломоносов утверждал, что «славенские речения больше позволяют употребление возвратных вместо страдательных»[3], а Державин придавал страдательное значение возвратным глаголам разговорного конкретно-бытового содержания:

Так свирепыми волнами
Сколько с нею ни *делюсь* (т. е. ни разделен)...

(Препятствие к свиданию с супругой, стих 17)

То ею в голове *ищуся*...

(Фелица, стих 105)

Лель упорством *рассердился*...

(Бой, стих 31)

Красою мужество *сражалось*...

(Победа Красоты, стих 31)

2. Формы деепричастий русифицируются: просторечные формы на *-ючи* встречаются даже от слов высокого и среднего стилей вроде *блистаючи, побеждаючи, зараждаючи, являючи*. Характерно также широкое употребление деепричастий на *-я*, *-а* не только от приставочных глаголов совершенного вида на *-ить: возмостясь, настроя, нахму-*

---

[1] См.: *Грот Я. К.* Замечания о языке Державина и словарь к его стихотворениям.— В кн.: *Державин Г. Р.* Соч. СПб., 1883, т. 9.

[2] *Ломоносов М. В.* Российская грамматика, § 511.

[3] Там же, § 512.

ря, распустя, согласяя, сотворя и т. п., но и от глаголов других категорий, например: *затея*, причем безразлично — от русских и церковнославянских: *разлиясь, вержа, низвержась* и др.

3. В категории причастий также происходит пестрое смешение форм разнообразной стилистической окраски. Наряду с архаическими церковнославянскими формами типа *творяй, создавый, седящ, ядущий, исшвенны* и т. п. встречаются причастные образования от просторечных глаголов.

4. Симптоматичны частые формы просторечного склонения слов *бремя, время, племя* и т. п. по образцу *поле* и т. п. Например, *сын, время, случая, судьбины* [«Счастье»]; *когда от бремя дел случится* [«Благодарность Фелице», стих 55]; *в водах и в пламе* [«Осада Очакова»]; *чтоб в прошлом време не жил я; жниц с знаменем идущих.* Ср. также у И. И. Дмитриева: *в дыму и в пламе* [«Освобождение Москвы», 1795].

...Он всего собачья *племя*
Был истинный отец, блюститель и покров.

(Дмитриев И. И. Соч. СПб., т. 1, с. 205.)

5. Формы род. п. мн. ч. на *-ов, -ев* от слов ср. и жен. р. вроде *зданиев, стихиев, кикиморов, фуриев*, аналогичные муж. р. *витиев* и т. п. также свидетельствуют о расширяющемся влиянии просторечия.

6. Обращают внимание просторечные приемы грамматического употребления числительных имен: *На сорок двух столпах* [«Изображение Фелицы»], ср. *пребудут в тысящи веках* [«На новый год»][1].

7. В сфере союзов достаточно указать на разговорное применение *что* в причинном значении:

Он верно любит добродетель,
Что пишет ей свои стихи.

(На смерть Бибикова, стихи 39—40)

Еще ярче и нагляднее в лексике Державина смешение церковнославянских форм и выражений с просторечными. Я. К. Грот пишет: «Часто церковнославянское слово является у Державина в народной форме и, наоборот, народное облечено в форму церковнославянского» [Соч., т. 9, с. 337]. Вместе с тем в языке Державина резки переходы от церковнославянизмов к простонародным словам и выражениям. Например, в пьесе «Кружка» мы находим, между прочим, следующие выражения: *Ведь пьяным по колено море; И жены с нами куликают; На карты нам плевать пора* [Соч. СПб., 1864, т. 1, с. 47—48]. Но тут же встречаются и такие слова, как *дщерь, сих утех, предстань, пребудь*. В оде «*На счастье*» среди «высокой» фразеологии «есть много стихов в простонародном тоне, например: *Их денег куры не клюют; Весь мир стал полосатый шут; Бегу, нос вздернув, к кабинету; И в грош не ставлю никого; Бояре понадули пузы*» [Соч., т. 1, с. 248—

---

[1] Ср. также примеры употребления местоимений: *Мово счастья не гублю.*— В кн.: *Державин Г. Р.* Стихотворения/Под ред. Г. А. Гуковского. Л., 1933, с. 412.

254][1]. Очень красочно характеризует эту державинскую тенденцию к смешению высокого слова с низким Гоголь: «Слог у него [Державина] так крупен, как ни у кого из наших поэтов; разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми.

И смерть как гостью ожидает,
Крутя задумавшись усы.

Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить такое дело, как ожидание смерти, с таким ничтожным действием, каково кручение усов?[2]»

Просторечие у Державина выступает со всей своей фамильярно-бытовой беззастенчивостью:

А разве кое-как вельможи,
И так и сяк, нахмуря рожи,
Тузят инова иногда.

(*На счастие*)

В стихотворении «К самому себе»:

Но я тем коль бесполезен,
Что горяч и в правде черт...

В стихотворении «Желание зимы»:

На кабаке Борея
Эол ударил в нюни;
От вяхи той бледнея,
Бог хлада слякоть,
слюни
Из глотки источил,
Всю землю замочил.

Узря ту Осень шутку,
Их в правду драться нудит,
Подняв пред нами юбку,
Дожди, как реки, прудит,
Плеща им в рожи грязь,
Как дуракам смеясь...

(*Соч., т. 3, с. 343—344*)

В стихотворении «Привратнику» — пародическая антитеза церковнославянизмов и просторечных русизмов:

Он тянет руку дам к устам.
За честь я чту тянуться с рылом
И целовать их ручки сам...
Он тайны сердца исповесть,
Скрывать я шашни чту за честь...

[1] *Грот Я. К.* Замечания о языке Державина и словарь к его стихотворениям.— В кн.: *Державин Г. Р.* Соч., т. 1, с. 248—254; ср. просторечные слова в языке Державина: *растобары, шлендовать, перехерять, тазать, шашни, пошва, гам, гамить, дутик* (все дутики, все краснощеки. — Соч. СПб., 1865, т. 2, с. 611), *кубарить, кутерьма* (*и нимф прекрасных кутерьма.* — Соч., т. 2, с. 611), *в назолу* (*смеясь мне девушки в назолу.* — Соч., т. 2, с. 265), *ненароком, озетить* (*озетя агницу смиренну.* — Соч., т. 2, с. 456), *пхнуть* (он *сильны орды пхнул ногою,* «На взятие Измаила», строфа 22), *стеребить* (*стеребили кожу львину.* — Соч., т. 2, с. 181), *схрапнуть, чобот* (*чобот о чобот стучите,* «Любителю художеств», строфа 12) и мн. др. под.

[2] *Гоголь Н. В.* В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенности? — В кн.: *Гоголь Н. В.* Выбранные места из переписки с друзьями. СПб., 1847, с. 208.

А вот стиль домашнего диалога между мужем и женой [в стихотворении «Совет»]:

— Уймешься ль куликать? — жена тазала мужа:
— Ты видишь, нас скуда как пришибла, нужа!
— Тащит кто боле дом,— ей муж сказал в ответ,—
Ты лучше знаешь то, иль я, иль наш сосед?
Жена ему на то ни слова не сказала,
Краснела только лишь, задумалась, молчала.

Характерно также для языка Державина употребление таких областных простонародных слов, как *жолна* (дител; ср.: «рев крав, гром жолн»), *колпица* (аист; ср.: «колпиц алы черевички»); *вяха* (удар), *козырбацкий* («в убранстве козырбацком»); *кобас* (род балалайки); *троп* в значении *хлоп* (ср.: «с похмелья чарку водки троп»); *курамшить* («Проказьте, вздорьте, курамшите») и т. п.

Любопытны такие заметки в «Объяснениях на сочинении Державина», изданных Ф. П. Львовым (СПб., 1834):

Зреть корду с тучными волами.

(Похвала сельской жизни)

«Кордой называются в низовых губерниях зимние загороды для скота, куда в ясный день пускают оный» [ч. 1, с. 48].

Гуню вздел худую.

(Птицелов)

«Гуня» — простонародное название худого крестьянского платья [ч. III, 20] и др. под.

Замечательно яркую и острую характеристику поэзии Державина дает Белинский: «Ломоносов был предтечею Державина; а Державин — отец русских поэтов... Державин имел сильное влияние на Пушкина...» «В поэзии Державина уже слышатся и чуются звуки и картины русской природы, но перемешанные с какою-то искаженною на французский манер греческою мифологиею. Возьмем для примера прекрасную оду «Осень во время осады Очакова»: какая странная картина чисто русской природы с бог ведает какой природою, — очаровательной поэзии с непонятною риторикою:

Спустил седой Эол Борея
С цепей чугунных из пещер;
Ужасные крыла расширя,
Махнул по свету богатырь;
Погнал стадами воздух синий,
Сгустил туманы в облака,
Давнул — и облака расселись.
Спустился дождь и восшумел.

К чему тут Эол, к чему Борей, пещеры и чугунные цепи? Не спрашивайте; к чему нужны были пудра, мушка и фижмы? Во время оно без них нельзя было показаться в люди...И как нейдет русское слово «богатырь» к этому немцу «Борею»!.. Можно ли гонять стадами синий воздух? И что за картина: Борей, сгустив туманы в облака, давнул их; облака расселись, и оттого спустился дождь и восшумел? Ведь это — слова, слова, слова! Но далее:

Уже румяна осень носит
Снопы златые на гумно.

Какие прекрасные два стиха! По ним вы думаете, что вы в России.

И роскошь винограду просит
Рукою жадной на вино.

Тоже прекрасные стихи; но куда они переносят вас — бог весть»...

Или вслед за чудными национально-реалистическими стихами идут:

По селам нимфы голосисты
Престали в хороводах петь...
Небесный Марс оставил громы,
И лег в туманы отдохнуть...

«Какой «небесный Марс» и в какие «туманы» лег он на отдых? Что за «нимфы голосисты» — уж не крестьянки ли?.. Но называть наших крестьянок нимфами все равно что называть Меланией Маланью»[1].

Живая народная речь до Пушкина непосредственно не поддавалась органическому слиянию с книжным языком. Она была неорганизованна, не приспособлена к выражению отвлеченных понятий и в необработанном виде не могла стать семантическим центром сложной системы разнообразных стилей национально-литературного языка[2]. Кроме того, бытовое просторечие с его непринужденной и фамильярной простотой выражения не соответствовало требованиям салонно-дворянской цивилизации, казалось слишком «низким» и «грубым» и не могло удовлетворить разборчивого вкуса «просвещенного» и «галантного» дворянина. Высшие слои русского общества, усваивая европейскую цивилизацию, к концу XVIII в. пришли к убеждению, что той цементирующей массой, которая сольет в единство светского литературного языка русскую народную речь и необходимые церковно-книжные формы, является система французского языка, передового языка западноевропейской цивилизации.

---

[1] См. статью «Сочинения Державина». — *Белинский В. Г.* Соч. М., 1874, ч. 7, с. 92—94, 154; ср. также в ст. «Сочинения Александра Пушкина»: «С Державина начинается новый период русской поэзии... В лице Державина поэзия русская сделала великий шаг вперед»... В его стихотворениях «нередко встречаются образы и картины чисто русской природы, выраженные со всею оригинальностью русского ума и речи... Поэзия Державина была первым шагом к переходу русской поэзии от риторики к жизни» (*Белинский В. Г.* Соч. М., 1874, ч. 8, с. 117—118)*[1].

[2] Ср. призыв к использованию диалектальной лексики в целях обогащения литературного языка: «Страны, в коих вы воспитаны, и в коих пребываете, имеют каждая собственные свои простонародные слова, в других областях неупотребительные и незнакомые. Хлебопашество, скотоводство, домоводство, ремесла и рукоделия с их обстоятельствами, много принимают таковых речений, кои людям, в других упражнениях обращающимся, а тем более в других странах живущим, вовсе неизвестны. Когда таковые слова собраны будут и обнародованы с объяснением прямого их знаменования, то вам же самим, государи мои! и другим глубокомысленным любителям Российского языка, подадут они легкий способ к возрождению, оживлению и расширению нашего языка, в естественных ему изображениях». (Письмо к любителям Российского языка. — Новые ежемесячные сочинения, 1787, ч. 11, месяц май, с. 74.)

§ 13. ЯЗЫК РАДИЩЕВА

В прозаическом языке литературы XVIII в., отражавшей прогрессивные тенденции, намечается новый синтез живой русской речи с церковнокнижными, патетическими элементами при посредстве западноевропейской революционной идеологии и конструктивных форм западноевропейских языков. Это были смелые, но с лингвистической точки зрения не вполне удачные попытки порвать с традициями феодального разобщения разностильных и разноязычных элементов во имя новой общенациональной конструкции русского литературного языка. Язык Радищева является наиболее ярким выражением этих прогрессивных тенденций, осуществление которых, на почве иной идеологии и иными стилистическими методами, удалось только Пушкину в 20—30-х годах XIX в.

Радищев, следуя за Ломоносовым и Фонвизиным, широко пользуется церковнославянской лексикой и фразеологией — иногда очень архаической, но придает ей граждански-патетический оттенок и новое эмоциональное, общественное содержание, нередко переосмысляя ее формы на западноевропейский образец, переводя их в план сентиментализма (или «преромантизма»), однако с очень заметной материалистической окраской.

Например: «Беззаботный дух и разум неопытностию не претили в веселии распростираться чувствам, чуждым скорбного еще нервов содрогания» («Житие Федора Васильевича Ушакова»). «Окрест себя узришь нередко согбенные разумы и души и самую мерзость. Возненавиден будешь ими; поженут тебя, да оставишь ристание им свободно» (там же). «Человек в естественном положении при совершении оскорбления, влекомый чувствованием сохранности своей, пробуждается на отражение оскорбления» (там же); «извлечет его из руки отягощения» (там же) и т. п.; в «Путешествии из Петербурга в Москву»: «О природа! объяв человека в пелены скорби при рождении его, влача его по строгим хребтам боязни, скуки и печали чрез весь его век, дала ты ему в отраду сон» («София»); «...вдруг почувствовал я быстрый мраз, протекающий кровь мою» («Любани»); «...ведаешь ли, что в первенственном уложении, в сердце каждого написано» («Любани»); «...зерцаловидная поверхность вод» («Чудово»); «В толико жестоком отчании, лежащу мне над бездыханным телом моей возлюбленной, один из искренних моих друзей прибежав ко мне...» («Спасская полесть»); «Некоторое мозговое волокно, тронутое сильно восходящими из внутренних сосудов тела парами, задрожало долее других на несколько времени, и вот что я грезил» [там же]; «...речи таковые, ударяя в тимпан моего уха, громко раздавалися в душе моей» [там же]; «Жертвенные курения обыдут на лесть отверстую душу» [там же]; «...пасутся рабы жезлом самовластия» [«Новгород»]; «...может ли оно [право] существовать, когда решение запечатлеется кровию народов?» [там же]; «...и пребыл я несколько мгновений отриновен окрестных мне предметов» («Бронницы»); «...города почувствуют властнодержавную десницу разрушения» («Зайцово»); «...да будет им творяй благостыню, их рассудок. Восся-

дите, и внемлите моему слову, еже пребывати во внутренности душ ваших долженствует» («Крестьцы»), «...совершенно бесстрастный человек есть глупец и истукан нелепый, невозмогаяй ни благаго, ни злаго» (там же); «...не пропусти юношу, опасными лепоты прелестями облеченного» («Едрово»); (Воины) «...совокупны, возмогут вся, но разделенны и на едине, пасутся, яко скоты, аможе пастырь пожелает» («Хотилов»); «...сии упитанные тельцы сосцами нежности и пороков, сии незаконные сыны отечества наследят в стяжании нашем» («Выдропуск»); «Правительство да будет истинно, вожди его не лицемерны; тогда все плевелы, тогда все изблевания, смрадность свою возвратят на извергателя их» («Торжок»); ср. словообразования типа «*согрение* моея дружбы» («Крестьцы»); «нега, *излснение*» (там же); «*распростертие* своея пышности и гордыни» («Зайцово»); «*развержение* ума» («Крестьцы»); «*разверстие* ада» («Яжелбицы»); *гремление* («Хотилов»); *сочетование* («Медное»); *воспоминовение, любление, зыбление, произречение* и т. п. Радищев не боится перегружать свой стиль не только славянскими словами и выражениями, но архаически-славянскими формами и конструкциями. Таковы, например, в языке Радищева церковнославянские формы причастий: *носяй, вещаяй, соболезнуяй, приспевый, возмнивый* и т. п.; архаические формы склонения им. сущ.: *на крылех* и т. п.; относительные союзные слова: *иже, его же* и т. п. в значении — который; союзы и частицы церковнославянского языка: *убо, яко, дабы, токмо, се, небы* (если бы не), *аки, амо, бо, дондеже* и др. под; оборот — дательный самостоятельный и др.

В языке Радищева часто встречаются такие архаизмы церковно-книжного языка, как *израждаться, воскраие; плена* печали; *сосцы, утщетить, ужасоносный, возглавие* (подушка), *единожитие, избыточество, ползущество, коликократно, лепота, соплощать* и мн. др. Однако церковнославянский язык, несмотря на всю его архаическую внешность, лишен в стиле Радищева отпечатка церковной идеологии. «Радищеву важно было создать словесный принцип «важной», идейно значительной речи. Он хотел передать на русском языке в условиях национальной речи ораторский подъем, эмоциональное напряжение декламаций Руссо и Рейналя, языка Мирабо... Радищев пользуется языком, традиционно окруженным ореолом проповеднического пафоса и высших сфер мышления»[1].

Характерны в стиле Радищева новые фразовые серии западноевропейского типа, возникающие из лексико-морфологических элементов церковнокнижного языка. Например: «Спокойствие упреждает нахмуренность грусти, располажая *образы радости в зерцалах воображения*» («Путешествие из Петербурга в Москву», «Выезд»); («Извощик *извлек* меня *из задумчивости*» (там же, «София»; ср. употребление франц. tirer); «...соглядал величественные *черты природы*» («Чудово»); «если б я мог достаточные *дать черты* каждому *души* моея *движению*» (там же); «Внезапу смятение распростерло мрач-

---

[1] *Гуковский Г. А.* Радищев как писатель.— В кн.: *А. Н. Радищев.* Материалы и исследования. М.—Л., 1936, с. 190.

ной покров свой по *чертам веселия*, улыбка улетела со уст *нежности* и блеск радования с *ланид удовольствия*» («Спасская полесть»); «В жилище, для мусс уготованном, не зрел я лиющихся благотворно струев *Касталии* и *Ипокрены*» (там же); «Я мог *в чертах лица читать внутренности человека*» («Зайцово»); «Изредка *из уст раболепия* слышалося журчание негодования» (там же); «Не мог он стрясти с себя *бремени предрассуждений*» («Торжок»); ср. лексические заимствования, иногда придающие языку Радищева отпечаток научно-философской тяжеловесности: «В суждениях о вещах нравственных и духовных начинается *ферментация*» («Подберезье»); «Если точных не сниму *портретов*, то доволен буду их *силуетами*» («Новгород»); ср. также: *контрфорсы*, *нервы осязательности* и др. Впрочем, Радищев, стремясь к созданию демократической и общенациональной системы литературного языка, избегает излишних словарных варваризмов. Но синтаксис Радищева переполнен галлицизмами и отражениями немецкого языкового строя. Например, галлицизмы (свободное, не связанное с подлежащим употребление деепричастий): «Лежа в кибитке, мысли мои обращены были в неизмеримость мира» («Путешествие...», гл. «Любани»); «Совершив мою молитву, ярость вступила в мое сердце» (там же); «Прожив покойно до 62 лет, нелегкое надоумило ее собраться за муж» («Зайцово»); «Смотря иногда на большого моего сына... у меня волосы дыбом становятся» («Крестьцы»); «Прорвав оплот единожды, ни что уже в розлитии его противиться ему не возможет» («Хотилов») и т. п. Ср. также самостоятельное, несогласованное употребление причастий: «Носимые валами, внезапу судно наше остановилось недвижимо» («Чудово»); «Тронутый до внутренности сердца толико печальным зрелищем, ланидные мышцы нечувствительно стянулися ко ушам моим» («Спасская полесть»); «Вождаем собственныя корысти побуждением, предприемлемое на вашу пользу имело всегда в виду собственное мое услаждение» («Крестьцы»); «Превращенные точностью воинского повиновения в куклы, отъемлется у них даже движения воля» («Хотилов»); Ср. германизмы: «Намерение мое при сем было то, чтобы сделать его чистосердечным» («Спасская полесть»); «Излишне, казалось бы, при возникшем столь уже давно духе любомудрия, изыскать или поновлять доводы, о существенном человеке, а потому и граждан равенстве» («Хотилов») и др.; ср. лексические новообразования по образцу сложных немецких слов вроде: *самонедоверение*, *самоодобрение*, *бредоумствование*, *времяточие*, *глазоврачеватель*, *чиносостояние*.

Церковнославянизмы в языке Радищева непринужденно, без всяких стилистических мотивировок и маскировок, помещаются рядом с разговорными русизмами и смешиваются с формами живой устной речи образованного общества, с выражениями простонародного языка и крестьянского фольклора. Например, в «Путешествии из Петербурга в Москву»: «Голой наемник *дерет с мужиков кожу*» («Любани»); «Сокровенные доселе внутренние каждого движения, *заклепанные*, так сказать, ужасом, начали являться при исчезании надежды» («Чудово»); «Не почувствуешь ли *корчущей* мраз, лиющийся в твоих жилах» (там же); «Окончать не мог моея речи, *плюнул почти ему*

в рожу и вышел вон. *Я волосы драл с досады*» (там же); «Стал он к устерсам как *брюхатая баба*» («Спасская полесть»); «Не успел выговорить, как *шасть* курьер в двери» (там же); «Я долг отдал естеству, и *рот разинув* до ушей, *зевнул во всю мочь*» («Спасская полесть»); «Необличи меня, любезный читатель, в моем воровстве; с таким условием, я и тебе сообщу, что я *подтибрил*» («Подберезье»); «Нос *кляпом*, глаза ввалились, *брови как смоль*» («Новгород»); «На пятнадцатом году матери *дал оплеуху*» (там же); «Я прослыл *копотким*» («Зайцово»); «Сродно *хвилым*, робким и подлым душам содрогаться от угрозы власти» (там же); «Будете иногда осмеяны, что не имеете *казистого* восшествия» («Крестьцы»); «...*нейокнет* ли у вас *сердечко*» («Едрово»); «...совершенной на возрасте будет *калякa*» («Торжок»); «Неутомимый *возовик* Тредиаковский» («Тверь»); «Но любезный читатель я с тобою *закалякался*» и т. п.; ср. *крючок* (т. е. чарка) *сивухи, призариться, скосырь* (щеголь, наглец), *прилучиться* (случиться) и др.

Вместе с тем в языке Радищева очень красочно использованы формы народно-поэтической речи (ср., например, крестьянские вопли и причитания в гл. «Городня» в «Путешествии из Петербурга в Москву», простонародные образы в богатырской поэме «Бова», например:

> А как не дал нам бог власти,
> Как корове рог бодливой...
> Обнять старую хрычовку... и т. п.

На этом фоне приобретают глубокий национально-исторический смысл в «Путешествии из Петербурга в Москву» защита просвещения на «языке народном, на языке общественном, на языке Российском» и призыв к знанию французского и немецкого языков [гл. «Подберезье»].

Характерно, что Радищев в стиле своей прозы дифференцирует разговорный язык персонажей. Купец, семинарист, поэт, помещик, крестьянин говорят у него разными языками. Здесь существенное отличие Радищева, например, от Карамзина [1].

Однако не надо слишком преувеличивать количество и качество «простонародной и народно-поэтической примеси в языке Радищева. «Радищев, «западник» до мозга костей по своим убеждениям, по образованию, по всей культуре мышления, в то же время с гениальным прозрением для выражения своих мыслей — в прозе и стихах — обращается к сокровищнице народного творчества и народного языка... Но в чисто литературном плане эта линия в литературе была еще слабо продвинута, а потому Радищев — только зачинатель того процесса, который свое завершение нашел в Пушкине. Поэтому вполне понятна значительная доля литературной ориентации у Радищева и его учеников на Державина... В поэзии Державина «народная» лите-

---

[1] Для лингвистического изучения «Путешествия из Петербурга в Москву» очень важны в «Материалах к изучению «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева» (М.—Л., 1935) статья и комментарии Я. Л. Барскова*[1].

ратурная стихия нашла наиболее яркое выражение для всего дворянского XVIII в. (в языке, образах, тематике, сатирическом тоне)»[1].

Но основная линия развития русского литературного языка в эпоху торжества дворянской культуры лежала в стороне от того революционного пути, по которому шел Радищев*[3].

[«Речь, — писал Радищев, — есть, кажется, средство к собиранию мыслей воедино». «Она есть наилучший и, может быть, единственный устроитель нашея мысленности». И поэтому велик тот писатель, который создал литературный язык, учтя национальные качества языка народа, и «не оставил его при тощем без мыслей источнике словесности». Он считал, что литература должна быть «глаголом истины», видел ее достоинство в глубине мысли, ставил перед ней задачу воспитания «добродетелей общественных».

Радищев, Фонвизин, Державин, Новиков с разных сторон и в разных направлениях открывают литературе новые средства выражения и новые сокровища живого слова. Они производят сложную перегруппировку языковых элементов. Их творчество не умещается в рамки теории трех стилей. Возникает разрыв между формально-языковыми схемами литературы и между живой семантикой «языка народного, языка общественного, языка российского», как выражался Радищев.

К концу XVII — началу XVIII в. все острее ощущалась потребность в реорганизации русского литературного языка, в отмене или ослаблении жанровых ограничений, в создании средней литературной нормы, близкой к разговорному языку, свободной от устарелых славянизмов, от простонародных вульгаризмов и диалектизмов, способной удовлетворить вкус образованного русского человека. Обоснование новой литературно-языковой нормы связано с именем Карамзина, который окончательно разрушил старокнижный славянский фундамент теории трех стилей.

Карамзин и его сторонники ставят себе целью образовать доступный широкому читательскому кругу один язык «для книг и для общества», чтобы «писать, как говорят, и говорить, как пишут». Этот новый язык должен быть языком русской «общественности», русской цивилизации, языком «хорошего светского общества». В понятии «хорошего общества» Карамзин, в отличие от Пушкина, не объединял интеллигенцию и простой народ. Поэтому «новый слог российского языка» не был достаточно демократичен. Он опирался на «светское употребление слов» и на «хороший вкус» европеизированных верхов общества. Тем не менее реформа, произведенная Карамзиным, значительно содействовала развитию и углублению национально объединяющих тенденций в русском литературном языке.][2]

---

[1] *Десницкий В. А.* Радищевцы в общественности и литературе начала XIX в.— В кн.: Поэты-радищевцы. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. Л., 1935, с. 71; ср. его статью «Пушкин и мы»*[2].

[2] Текст, заключенный в квадратные скобки, взят из рукописи В. В. Виноградова для полноты изложения материала.

IV. Процесс образования салонно-литературных стилей высшего общества на основе смешения русского языка с французским

§ 1. УПАДОК СТАРОКНИЖНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ВЫСШИХ СЛОЯХ РУССКОГО ОБЩЕСТВА

Во второй половине XVIII в. на почве безраздельного политического и социально-экономического господства дворянства расцветает пышная русская культура, которая носит ярко выраженный отпечаток подражания французской. Петербургский двор стремится копировать Версаль, и «славная Версалия» находила то или иное отражение в быту, в мысли и во вкусах высшего русского общества. Один из замечательных писателей конца XVIII — начала XIX в. Гавриил Добрынин*[1] в своих записках с тонкой иронией изображает европеизированный вид помещичьей усадьбы, в которой все предметы сменили свои русские названия на французские: «Вместо подсвечников — *шандалы;* вместо занавесок — *гардины;* вместо зеркал и паникадил — *люстра;* вместо утвари — *мебель;* вместо приборов — *куверты*; вместо всего хорошего и превосходного — *требиен* и *сюперб*. Везде вместо размера — *симметрия*, вместо серебра — *аплике*, и слуг зовут *лякс*»[1].

Процесс европеизации русского быта привел во второй половине XVIII в. не только к широкому распространению французского языка в «лучших обществах» (как тогда выражались), но и к образованию разговорно-бытовых и литературных стилей русского языка, носящих яркий отпечаток французской языковой культуры[2]. Язык дво-

[1] Русская старина, 1871, 1—6, с. 413.

[2] Ср. жалобы В. Левшина в «Послании русского к французолюбцам». СПб., 1807: «Язык французской стал всеобщим и утеснил отечественной; отчего многие, кои по дарованиям своим могли бы сделаться хорошими писателями, на Российском языке пишут так, что земляки их не понимают; удивляются же им только те, кои офранцузели, по русски несколько знают, и восхищаются единственно потому, что в русском писании видят галлицизм, или оборот языка французского» (с. 12). Характерно здесь же примечание: «...Завелось у нас новое общество литераторов, в котором молодые люди, склонные к литературе, успевают и стараются древнее здание Российской словесности перестроить так, чтобы камень на камне не остался».

рянского салона, развиваясь, вступает в борьбу с церковнокнижной традицией. В «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» (1803) А. С. Шишков очень четко рисует социально-бытовые причины упадка старой книжной культуры в среде европеизированного дворянства: «...дети знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее нежели своим, и даже... до того заражаются к ним пристрастием, что в языке своем никогда не упражняются... Будучи таким образом воспитываемы, едва силою необходимой наслышки научаются они объясняться тем всенародным языком, который в общих разговорах употребителен; но каким образом могут они почерпнуть искусство или сведение в книжном или ученом языке, толь далеко отстоящем от сего простого мыслей своих сообщения?» (5—6).

Дворяне французского воспитания, по словам Шишкова, «в церковные и старинные славянские и славяно-русские книги вовсе не заглядывают». В «Трутне» сатирически изображается русская «щеголиха», которая, принявшись за старые книги («Всьо Феофаны, да Кантемиры, Телемаки, Роллены, Летописцы и всякой едакой вздор»), чуть не «провоняла *сухой моралью*»: «Честью клянусь, что я, читая их, ни слова не разумела. Один раз развернула Феофана и хотела читать, но не было мочи: не поверишь, радость, какая сделалась *теснота в голове*»[1].

Д. И. Фонвизин, комически сгущая краски, рисует в комедии «Бригадир» процесс национально-языкового расслоения русского дворянства. Язык персонажей этой комедии пародически представляет основные стили разговорной речи того времени (60-х годов XVIII в.). Речь советника — смесь церковнославянского языка с приказным; речь советницы и Иванушки — отражение русско-французского жаргона щеголей и щеголих; речь бригадира складывается из выражений военного диалекта грубого фрунтовика с сильной примесью низкой «простонародности»; речь бригадирши целиком погружена в атмосферу провинциально-поместного просторечия и простонародного языка; только речь Софии и Добролюбова воплощает авторские нормы литературного языка.

По изображению Фонвизина, язык разных групп русского общества настолько различен, что они не в состоянии понять друг друга. Так, бригадирша не разумеет смысла условных метафор церковнославянского языка в речи советника и вкладывает в них прямое бытовое содержание.

«Советник. Нет, дорогой зять! Как мы, так и жены наши, все в руце создателя: у него власы главы нашея изочтены суть.

Бригадирша. Ведь вот, Игнатий Андреевич! ты меня часто ругаешь, что я то и дело деньги да деньги считаю. Как же это? Сам господь волоски наши считать изволит, а мы, рабы его, и деньги считать ленимся, — деньги, которые так редки, что целый парик

[1] Журнал «Трутень». 3-е изд. СПб., 1865, с. 255.

изочтенных волосов насилу алтын за тридцать достать можно».

После другой такой же сцены непонимания (д. II, явл. 3) бригадирша признается: «Я церковного-то языка столько же мало смышлю, как и французского».

С той же комической нарочитостью язык офранцузившихся петиметров и щеголих противопоставляется просторечию старого поколения дворян:

«Сын. Mon pére! не горячитесь.

Бригадир. Что не горячитесь?

Сын. Mon pére! Я говорю: не горячитесь.

Бригадир. Да первого-то слова, черт те знает, я не разумею.

Сын. Ха, ха, ха, ха, теперь я стал виноват в том, что вы по-французски не знаете»[1].

Русская сатирическая и комедийная традиция XVIII в. очень ярко, хотя и криво, отражает это смешение языков. С особенной охотой она рисует искаженные профили салонных стилей, русско-французский жаргон щеголей и щеголих[2]. Но этот язык обеднен в литературных пародиях, и новиковский «Опыт модного словаря щегольского наречия»[3] содержит лишь комические обрывки щегольской лексики и фразеологии. На самом же деле к более полным и содержательным проявлениям этой светской русско-французской речи нередко был близок складывавшийся литературный язык европеизирующейся интеллигенции.

§ 2. ПРОЦЕСС ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЧИ К ВЫРАЖЕНИЮ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ПОНЯТИЙ

Стиль переводной словесности и творчество национально-языковых форм в тесном контакте с семантическими системами западноевропейских языков — вот те литературные силы, которые приходят на помощь быту и с ним вступают во взаимодействие. Для истории русского литературного языка представляет громадный интерес история переводов с иностранных языков на русский. Процесс европеизации русского литературного языка в половине XVIII в. продвигается вглубь. В структуре национального русского языка осознаются морфологические и семантические соответствия формам выражения западноевропейских языков. Лексические заимствования сокращаются. Дело идет не столько о частном заимствовании слов и понятий, сколько об общем сближении семантической системы русского литературного языка с смысловым строем западноевропейских языков. Тредиаковский в предисловии «К читателю» в своих «Сочинениях и переводах» 1752 г. предлагает «главнейшие критерии, то есть неложные знаки доброго переводу стихами с стихов»: «Надобно, чтобы

---

[1] Ср. такие же сцены в действии III, явлении 1; в действии III, явлении 3 (в конце).

[2] См.: *Покровский В. И.* Щеголи в сатирической литературе XVIII в. (М., 1903) и Щеголихи в сатирической литературе XVIII в. (М., 1903).

[3] См.: Живописец, 1772, л. 10.

переводчик изобразил весь разум, содержащийся в каждом стихе; чтоб не опустил силы, находящияся в каждом же; чтоб то же самое дал движение переводному своему, какое и в подлинном; чтоб сочинил оный в подобной же ясности и способности; чтоб слова были свойственны мыслям; чтобы они не были барбарисмом опорочены; чтоб грамматическое сочинение было исправное, без солецизмов, и как между идеями, так и между словами без прекословий...»*[1]. Впрочем, наплыв западноевропейских слов, даже таких, для которых уже были русские или церковнославянские соответствия и эквиваленты, еще продолжается.

В «Записках» Семена Порошина[1] (1764—1766) находим постоянное употребление таких словарных заимствований, которые к началу XIX в. становятся менее обычными, например: «она танцует без *кадансу*» (127); «*сентиментов* в ней хороших очень много» (246); «генерал-адмирал *президировал*» (278); «прямой был *конфиянс*» (confiance — доверие) (304); «говорили... о *сюбординации*»; «*рецитировали* (читали вслух) последнюю его штрофу» (309); «*имажинировал* (рисовал в воображении) небылицы» (333); «говорили... про *агременты* (agrément — удовольствие) жизни в чужих карях» (343); «всякой... столько *резонабелен*» (рассудителен) (432); «*объект* нашего махания (т. е. ухаживания, влюбленности) был дежурный»; «многие происходили *минодерии*» (minauderie — жеманство) (480); и очень мн. др. Однако с середины XVIII в. растет протест против механического копирования западноевропейских языков. Характерны беседы на тему об отношении русского языка к французскому между Порошиным и его воспитанником, будущим императором Павлом I: «Иные русские в разговорах своих мешают столько слов французских, что кажется будто говорят французы и между французских слов употребляют русские. Также говорили, что иные столь малосильны в своем языке, что все с чужестранного от слова до слова переводят и в речах и в письме, например: «Vous aves trop de pénétration pour ne pas l'entrevoir» — *вы очень много имеете проницания, чтобы этова не видеть*; «on prétend qu'il n'est patir que ces jours-ci» — *требуют, что он не поехал, как только на сих днях*» и т. п.[2]

С заимствованиями начинается борьба во имя национальных форм литературного выражения. Задачей писателя и переводчика становится разрешение проблемы внутренних соотношений между русским языком и западноевропейскими языками. Очень интересный материал для понимания тех путей, по которым шла русская литература в решении этой задачи, можно извлечь из наблюдений над переводческой деятельностью Тредиаковского, особенно в последний период его жизни. Тредиаковский стремился «по возможности все понятия передавать русскими или церковнославянскими словами». В «Сокращении философии канцлера Бакона»[3] В. К. Тредиаковский употре-

---

[1] В скобках указаны страницы «Записок» по второму изданию (СПб., 1881).
[2] *Порошин С. А.* Записки, с. 13.
[3] 1760 г., перевод трактата Alexandre Deleyere "Analyse de la Philosophie du Chancelier Fransois Bacon", 1755.

бил «111 иностранных слов, из которых 57 вошли в русский язык еще в Петровскую эпоху. Относительно остальных 54... можно полагать, что большинство из них... вошло в употребление до появления «Сокращения». Кроме того, «95 слов, которые современный наш переводчик почти во всех случаях передал бы иностранными словами, Тредиаковский передал русскими словами, и только 5 из них попадаются в «Сокращении» в передаче иностранными словами». Как трудно было подыскивать русские или церковнославянские эквиваленты для французских слов (для «европеизмов»), и как еще неустойчива, не разработана была система отвлеченных понятий в русском литературном языке, показывают многочисленные примеры передачи одного понятия несколькими словами, иногда ничего общего между собой не имеющими, и, наоборот, обозначения одним словом различных понятий. Например, harmonie передается через *согласие, сличное сочегание, сличие;* instinct — через *побудок, тайное побуждение;* manie — *неистовство, шалость, сумасбродство;* pathétique — *сладостное и умилительное, пристрастное...* Существительное indifférence передается через *неразнственность* и *равность*, а прилагательное indifférent через *не пекущийся*. Понятия symphonie и harmonie не различены и обозначены словом *согласие*. Не различаются также révolution и revers, и для обозначения их употребляется слово *преобразование*. Кроме того, для обозначения revers употребляются еще два слова: *преобращение* и *противность*. *Изобразование* и *образование* передают imagination.

Передача западноевропейских понятий осуществляется тремя основными приемами.

1. Метод описания значений, метод определения понятия, выражаемого французским словом. При отсутствии в русском литературном языке соответствующего слова и понятия значение французского слова передается посредством фразы, посредством целой словарной характеристики: geste — *телесное мановение;* concert — *щебетание согласное;* ressource — *обилие в способах;* chaos — *дебрь смеси;* fanatisme — *ревнительное неистовство;* cabinet — *уединенная хижина*; écho — *отзывающийся голос*, chef d'oeuvre — *верховная преизрядность*; cérémonial — *чин обряда*; enthousiasme — *жар иссупления;* période — *урочный круг*; police — *политическое учреждение;* proportion — *сличный размер* и т. д.

Любопытно, что бо́льшая часть таких описательных обозначений сочетается с приемом калькирования, буквального перевода французского слова. Подставленные под французскую лексему русские слова включаются в формулу описания.

Например, abstraction — *отвлечение от вещества;* abstrait — *отвлеченный от вещественности;* acteur — *действующее лицо на театре;* laboratoire — *работная храмина;* objet — *подверженная вещь;* une robe trainante (платье со шлейфом) — *влекущаяся воскрилием одежда;* organisation — *членовное составление* и т. д.

2. Метод калькирования, морфологически точной съемки или морфологического отражения французского слова. В тех случаях, когда французские лексе-

мы не находили себе непосредственного соответствия в системе живых слов русского литературного языка, переводчикам приходилось осмыслять морфологический состав иностранных слов и, переводя их — морфему за морфемой, создавать русские «снимки» с них, морфологические копии их из русского или (что было в первой половине XVIII в. чаще) из церковнославянского языкового материала.

Например, im-pulsion — *по-толкновение;* in-différence — *неразнственность;* realite — *вещность;* reflexion (отражение) — *восклонение;* inversion (изменение порядка) — *изеращение;* imagination — *образование, изобразование;* influence — *натечение;* conjoncture — *сопряжение,* préjugé — *предрассуждение*[1]; divisibilité — *разделенность;* épanouissement du visage — *разлияние лица* (выражение лица); activité — *действенность;* généralisation — *повсемествование;* inertie — *недействие;* neutralité — *посредность* и мн. др.

В приемах перевода французских понятий характерна для Тредиаковского ориентация на лексику и семантику церковнославянского языка. Например, dissolution (растворение) — *разрежение;* dissipation — (рассеяние) — *расточение;* possession — *стяжание;* revers — *преобращение;* loix pénale — *казнительный устав* и т. п.

Любопытно также приспособление к «европейским» понятиям калькированных грецизмов: sympathie — *сострастие;* symphonie — *согласие* и т. д.

3. П р и е м с е м а н т и ч е с к о г о п р и н о р а в л и в а н и я о б щ е и з в е с т н о г о р у с с к о г о и л и ц е р к о в н о с л а в я н с к о г о с л о в а к н е п о с р е д с т в е н н о й п е р е д а ч е з н а ч е н и й ч у ж о г о с л о в а. Перевод русскими словами: charlatanerie — *цыганство;* charlatan — *обманщик;* idole — *богинька;* nerf — *становая жила;* artère — *духовая жила;* rélation — *отписка;* réputation — *слава;* sculpture — *резьба;* raideur de l'âme — *душевная жестота;* épineux — *узловатый* (вопрос) и др. под.

Но гораздо чаще до 50—60-х годов XVIII в. выступают церковнославянизмы в роли выразителей европейских понятий: intrigue — *ухищрение;* lustre — *паникадило;* naturaliste — *естествословствующий;* prestige — *обольщение;* те (нежность) — *благоутробие* и *благосердие;* attrait (привлекательность) — *доброзначность;* levaine (закваска) — *квас;* emportement (увлечение) — *разъярение* и т. п.

Деятельность переводчиков подготовляет процесс формирования русской национальной-литературной речи, сближенной с «европейской системой» (П у ш к и н).

---

[1] По-видимому, *предрассудок* и *предрассуждение* для передачи французского préjugé введены А. П. Сумароковым. Тредиаковский писал об этом: «Словом *предрассудок* и *предрассуждение* автор переводит французское préjugé вновь. По нашему сие слово значит: *давно затверделое и ложное мнение».* (*Тредиаковский В. К.* Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю.— В кн.: *Куник А. А.* Сборник материалов для истории Академии наук в XVIII в. СПб., 1865, ч. 2, с. 490).

§ 3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЛЛИЦИЗМОВ В СИНТАКСИСЕ И СЕМАНТИКЕ

Приспособление литературно-книжной и разговорной систем выражения к передаче понятий западноевропейских языков, естественно, вело к изменению соотношений между церковнославянскими и русскими элементами в составе русского литературного языка. Французский язык — язык «светского обращения». Его воздействие было связано с ограничением функций церковнокнижного языка. В этом отношении особенно значительной с половины XVIII в. была роль художественной литературы. Писатели, испытывая влияние Запада, отходили от церковнокнижной языковой культуры и в работе над формами русской литературной речи брали за образец стили французской литературы. На этой почве происходило сближение с семантикой французского языка таких стилей русской литературной речи, которые были близки к общественно-бытовому языку интеллигенции.

Иллюстрации можно извлечь из сочинений А. П. Сумарокова. Язык Сумарокова и в области синтаксиса и в области лексики стремится сочетать формы живого русского языка с «европеизмами». В сфере синтаксиса Сумароков ограничивает свободу расстановки слов — применительно к французскому языку. Мишенью нападок Сумарокова в этом направлении был Тредиаковский, допускавший в стиховом языке ничем не ограниченную свободу словорасположения и писавший языком, похожим на запутанный крючкотворский стиль канцелярского документа. Например:

Добродетель за твою милость с нами бога...
И людей двор весь полки что сей окружает?
Сила коль врагов твоя всех збивает с поля...
По достоинству от всех, и по долгу чтим был,
Веселящеся его которы встречают.

Ср. начало «Поздравления барону Корфу» (1734):

Здесия, достойный муж, что Ти поздравляет
Вящия и день от дня чести толь желает
(Честь велика ни могла бы коль та быть собою,
Будет, дается как тебе, вящая Тобою)
Есть Российска муза, всем и млада и нова,
А по долгу Ти служить с прочими готова [1].

С. М. Бонди приводит примеры «многочисленных и ничем не ограниченных инверсий» из языка Тредиаковского: «Он помещает союзы *и*, *или* после присоединяемого ими слова: «Тот пришед в дом, кушать *и* садится»; «Презираю вашу битву — лестных *и* сетей ловитву»; «В ночь *или* бывает рыб ловец». Он отставляет предлог от относящегося к нему слова: «*Вне* рассудок правоты»; он отделяет определения от определяемых, скопляя в одной части предложения существительные, а в другой их определения: «Дух в смятении мой зельном» и т. д. Ср..: «Свой палат дом лучше для него»; «То с вол-

[1] *Тредиаковский В. К.* Разные стихотворения. 1734—1737.— В кн.: *Куник А. А.* Сборник материалов для истории Академии наук в XVIII в. СПб., 1865., ч. 1, с. 75—85, 4.

ками смотрит псовы драки», «Будеж правит весь толь постоянна — Дом жена благословенный с ним» и т. д.[1] Этому синтаксическому беспорядку Сумароков противопоставляет французско-европейский порядок словорасположения.

Правда, и Сумарокову нередко приходилось, особенно в стихах, допускать отступления от того «европейского» порядка слов, который он считал нормальным. Например:

Но в деле есть ли нет свидетельства когда...

(«Хорев», первонач. вариант, д. II, явл. 3.)

Не приклони к их ухо слову.

(*«Ода парафрастическая» пс. 143. Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе. СПб., 1787, ч. 1, с. 208.)*

Но чаще в языке Сумарокова принцип «правильного» словорасположения торжествовал. Тредиаковский осуждал это правило: «Господин автор изволит смеяться над теми, кои иногда в стихах прелагают части слова, будто б наш язык так же был связан тем, как Французской и Немецкой»[2].

У Сумарокова встречаются и прямые галлицизмы в конструкциях, обличаемые Тредиаковским: «*Еще стократ щасливы боле* написано не по русски вместо *еще стократ щасливее*, или *щасливейшии*»[3].

О, Боже, восхотев прославить
Императрицу ради нас...
Тебе судьбы суть все подвластны...

Деепричастие *восхотев* вместо причастия *восхотевый* или *восхотевший* неправо, как то всем знающим чувствительно»[4] и т. п.

И Ломоносов протестовал против несогласованного употребления деепричастий: «Весьма погрешают те, которые по свойству чужих языков деепричастия от глаголов личных лицами разделяют. Ибо деепричастие должно в лице согласоваться с главным глаголом личным, на котором всей речи состоит сила: *идучи в школу, встретился я с приятелем; написав я грамотку, посылаю за море*. Но многие в противность сему пишут: *идучи я в школу, встретился со мною приятель; написав я грамотку, он приехал с моря; будучи я удостоверен о вашем к себе дружестве, вы можете уповать на мое к вам усердие*; что весьма неправильно и досадно слуху, чувствующему правое Российское сочинение» (Российская грамматика, § 532). Из писателей XVIII в. такие французские обороты часто употреблял Фонвизин: «Не имея третий месяц никакого об вас известия, нетерпение наше было несказанное» (по изд.: *Фонвизин Д. И.* Соч. СПб., 1846, с. 433);

[1] *Бонди С. М.* Тредиаковский. Ломоносов. Сумароков. — В кн.: *Тредиаковский В. К.* Стихотворения. Л., 1935, с. 63—64.

[2] *Тредиаковский В. К.* Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне изданном на свет от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к прителю, с. 448.

[3] Там же.

[4] Там же, с. 470.

«Приехав в Белев, по счастию попалась нам хорошая квартира» (525) и т. п.

Но независимо от этих частных нарушений установившейся синтаксической системы, писатели сумароковской школы стремятся сблизить строй русской литературной речи одновременно и с французским синтаксисом и с конструкциями живого разговорного языка, создать фразу возможно короткую, непринужденную. Избегаются не только условноторжественные, славянские обороты, но и поэтические инверсии вообще. С точки зрения блюстителей традиции высокого слога Сумароков не учился «периодологии», не слыхал «о разности периодов, об их членах и об их существенных частях», и не сочинил «ни одного еще поныне правильного периода»[1].

Однако в области синтаксиса воздействие французского языка умерялось и регулироэалось влиянием живой русской разговорной речи. Более яркие отражения французского влияния можно найти в семантике сумароковского языка. Некоторые из семантических галлицизмов обличались и комментировались Тредиаковским. Например:

Дела, что небеса *пронзают*,
Леса и гордые валы.

Автор «изволит ли знать, — спрашивал Тредиаковский, — что глагол *пронзаю* есть тож что и *прободаю*? Итак, что то у нас за разум, когда дела прободают небо, лес и гордую волну?.. Но скажут, что он взял *пронзаю* за французское percer: однако метафора сия у французов употребительна, а у нас она странна и дика, еще никакия пошлыя (т. е. употребительной) в сем разуме (смысле) не означает идеи»[2].

Тредиаковский предлагает исправить стихи так:

Дела, что в небо проникают,
В леса, и в гордые валы.

«Глагол *проникаю* есть точно то, что у французов pénétrer».

«*Тронуть* его, вместо *привести в жалость*, за французское toucher толь странно и смешно, что невозможно словом изобразить. Вы можете тотчас почувствовать неблагопристойность сего слова на нашем языке из околичности: «... *И на супружню смерть не тронута взирала*» (Гамлет, д. II, явл. 2). Кто из наших не примет с е г о с т и х а в следующем разуме, именно ж, что у Гертруды супруг скончался, не познав ее никогда, в рассуждении брачного права и супруговы должности? Однако автор мыслил не то: ему хотелось изобразить, что она нимало не печалилась об его смерти»[3].

---

[1] *Тредиаковский В. К.* Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне изданном на свет от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю, с. 462.

[2] *Тредиаковский В. К.* Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне изданном на свет от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю, с. 455—456.

[3] Там же, с. 476—477.

Ср. пародию Ломоносова на этот сумароковский стих:

Женился Стил, старик без мочи,
На Стелле, что в пятнадцать лет,
И не дождавшись первой ночи,
Закашлявшись оставил свет.
Тут Стелла бедная вздыхала,
Что *на супружню смерть нетронута взирала*[1].

Все это с достаточной четкостью рисует борьбу русского общества за европеизацию русского литературного языка и участие в этом процессе разных социальных групп. Русский писатель из высшего общества с середины XVIII в. всегда ориентировался в той или иной степени на стили западноевропейских языков и литератур. Можно вспомнить языковую деятельность Фонвизина.

Рост культурно-общественного значения интеллигенции ускорял сближение книжного языка с живой разговорной речью и формирование светских литературных стилей по типу западноевропейской языковой системы. Суживалась сфера применения языковых и стилистических форм, выработанных в союзе с церковнокнижной традицией. К концу XVIII в. процесс европеизации русского литературного языка, осуществлявшийся преимущественно при посредстве французской литературы, достиг высшей степени развития. Глава и вождь нового литературного течения Н. М. Карамзин признавался Г. П. Каменеву *[1], что, работая над созданием «нового слога Российского языка», он «имел в голове некоторых иностранных авторов: сначала подражал им, но потом писал уже своим, ни от кого не заимствованным слогом»[2]. Характерны такие суждения современников о состоянии русского литературного языка во второй половине XVIII в. и о перспективах его дальнейшего развития (см.: Опыт трудов Вольного российского собрания, 1776, т. 3, с. 1): «Он (т. е. язык Российский) требует многих исправлений, и хотя он изобилен, однако он должен быть распространен; много слов ему не достает; но всего больше нужно оный установить. Мы еще колеблемся в разных грамматических правилах, и есть множество слов в нашем языке, которые не имеют определенного смысла. Мы не имеем метафизического языка, без которого о многих материях писать не возможно... Чтоб поправить наш язык, надлежит утвердить грамматические правила, кои не утверждены, или от коих многие удалились, и исключить из него все то, что ему несвойственно; чтоб распространить оный, должно изобресть многие слова, или з а н я т ь и х и з ч у ж е с т р а н н ы х я з ы к о в; чтоб оный установить, должно иметь лексиконы, определяющие смысл слов, и другие сочинения, где сила их должна необходимо быть с точностью означена. В е с ь м а п р о т и-

---

[1] Ср. пародическое использование галлицизма *трогать* в пьесе А. А. Ш а х о в с к о г о «Новый Стерн», направленной против Карамзина и его школы: в ответ на слова сентиментального героя пьесы (графа): *«Добрая женщина, ты меня трогаешь»* — старуха-крестьянка, к которой обращена речь, восклицает: «Что ты, барин, перекрестись, я до тебя и не дотронулась».

[2] Цит. по: *Второв Н.* Г. П. Каменев.— Альманах «Вчера и сегодня». СПб., 1845, кн. 1, с. 58.

вен распространению, а некоторым образом и установлению нашего языка обычай, введенный с некоторого времени, откидывать все чужестранные слова, кои уже в общем употреблении, и, естьли так осмелюсь сказать, натурализованы были, и изображать оные Российскими словами, которых никто не разумеет, или по крайней мере не столь ясное понятие с ними сопрягает, как с первыми. Мы видим, что нет народа, у коего науки и художества сколько-нибудь цветут, который бы не заимствовал от других языков».

§ 4. РОЛЬ ДВОРЯНСКОГО САЛОНА В УСТАНОВЛЕНИИ НОРМ «СВЕТСКИХ» СТИЛЕЙ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в.

Общественно-бытовой лабораторией, в которой вырабатывались нормы и принципы этого нового европеизированного светского слога, был дворянский салон. К. Н. Батюшков так характеризовал эту связь литературных стилей конца XVIII — начала XIX в. с языком светского салона: «Бо́льшая часть писателей... провели жизнь свою посреди общества Екатеринина века, столь благоприятного наукам и словесности; там заимствовали они эту людкость и вежливость, это благородство, которого отпечаток мы видим в их творениях; в лучшем обществе научились они угадывать тайную игру страстей, наблюдать нравы, сохранять все условия и отношения светские и говорить ясно, легко и приятно»[1]. П. Макаров, один из последователей Карамзина, высказываясь против языковой реформы Ломоносова, который «не мог поравнять нашей словесности с французскою, ни даже с итальянскою, ни даже с английскою, не мог поравнять наших понятий с понятиями других народов», заявлял: «Уже в царствование Екатерины... мы переняли от чужестранцев науки, художества, обычаи, забавы, обхождение; стали думать, как все другие народы (ибо чем народы просвещеннее, тем они сходнее), — и язык Ломоносова так же сделался недостаточным, как просвещение Россиян при Елизавете недостаточно для славного века Екатерины»[2].

Эти социальные причины создают отрыв «верхов» русского общества от старой церковнокнижной, «славянской» системы литературного языка. П. Макаров констатирует, что «книжный язык сделался некоторым родом «священного таинства». «Есть ли язык книжный отделится; есть ли он не последует за переменами в обычаях, в нравах и понятиях, то весьма скоро сделается темным»[3]. Н. М. Карамзин в статье «Отчего в России мало авторских талантов»*[1] называл прежние русские книги «бездушным собранием только материального или словесного богатства русского языка». «Писатели не хотели обогатить слов тонкими идеями, не показали, как надобно выражать

---

[1] *Батюшков К. Н.* Соч. СПб., 1885—1887, т. 2, с. 243.
[2] *Макаров П.* Соч. и переводы. М., 1817, т. 1, ч. 2, с. 21.
[3] Там же, с. 41.

приятно некоторые, даже обыкновенные мысли». Карамзин набрасывает программу работ по созданию новой системы русского литературного языка, которая удовлетворяла бы требованиям развитого общественного лингвистического вкуса и соответствовала бы духу и стилю европейской цивилизации. «Русский кандидат авторства, недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык. Тут новая беда: в лучших домах говорят у нас более по-французски. Многие женщины... пленяют нас нерусскими фразами». По мнению Карамзина, писатель должен, полагаясь на свой вкус, культуру и знание европейских языков, преимущественно французского, сам создавать нормы литературного языка и притом такого, который мог бы влиться в разговорную речь, обогатить ее новыми формами выражения. Ведь «французский язык весь в книгах (со всеми красками и тенями, как в живописных картинах), а русский только отчасти: французы пишут, как говорят, а русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом». «Что ж остается делать автору? выдумывать, сочинять выражения; угадывать лучший выбор слов; давать старым некоторый новый смысл, — предлагать их в новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения». Мысль о необходимости творческого преобразования русского литературного языка по типу и образцу западноевропейских языков стала аксиомой русской литературы конца XVIII — начала XIX в. «В отношении к обычаям и понятиям, мы теперь совсем не тот народ, который составляли наши предки; следовательно, хотим сочинять фразы и производить слова по своим понятиям, умствуя, как французы, как немцы, как все иноземные просвещенные народы» (П. Макаров). Дворянин-европеец, наблюдая, что по-русски говорят только «на площади, на бирже, по деревням», видел путь для создания национального русского языка в речевой практике «высшего» общества, искал «верных средств усовершенствования языка» в сближении русской литературной речи с западноевропейскими языками (ср. указания Е. И. Станевича в его «Рассуждении о русском языке», СПб, 1808, ч. I—II)[1]. Карамзин настойчиво подчеркивал мысль о необходимости включения русского литературного языка в систему европейской цивилизации: «Петр Великий, могущей рукою своею преобразив отечество, сделал нас подобными другим европейцам. Жалобы бесполезны. Связь между умами древних и новейших Россиян прервалась навеки. Мы не хотим подражать иноземцам, но пишем, как они пишут: ибо живем, как они живут... Красоты особенные, составляющие характер словесности народной, уступают красотам общим; первые изменяются, вторые вечны. Хорошо писать для Россиян: еще лучше писать для всех людей» (Академическая речь 5 декабря 1818 г.)*[2].

---

[1] Необходимо вспомнить, что «подражание легкости и щеголеватости речений изрядной компании» было лозунгом литературной деятельности Тредиаковского в 30—40-е годы XVIII в.; ср.: *Будилович А. С.* Об ученой деятельности Ломоносова по естествоведению и филологии.— ЖМНП, 1869, ч. 165, № 9, с. 78.

Этот западноевропейский космополитизм высшего русского общества ставил знаки равенства между французским языком и западноевропейскими языками вообще, между галлицизмами и европеизмами. П. А. Вяземский в статье об И. И. Дмитриеве (1823) считает возможным новые обороты называть галлицизмами, «если слово галлицизм принять в смысле европеизма, т. е. если принять язык французский за язык, который преимущественнее может быть представителем общей образованности европейской»[1]. Европеизированные дворяне внедряли европеизмы и в литературный и в обиходный язык своей среды.

О бытовой речи Н. М. Карамзина в 1801 г. Г. П. Каменев писал: «Карамзин употребляет французских слов очень много; в десяти русских верно есть одно французское; *имажинация*, *сентименты*, tourment, énergie, épithète, *экспрессия*, *экселлировать* и пр. повторяется очень часто»[2].

Однако уже во второй половине XVIII в. крепнет даже среди западнически настроенной русской интеллигенции убеждение в необходимости замены галлицизмов литературного языка национальными русскими соответствиями или подобиями. Характерно в этом смысле замещение французских слов русскими или книжнославянскими в позднейших редакциях « Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина. Так, *вояж* заменено словом путешествие; *визитация* — осмотр, *визит* — посещение; *партия за партиею* — толпа за толпой; *публиковать* — объявить; *интересный* — занимательный; *рекомендовать* — представлять; *литтеральный* — верный (список); *мина* — выражение; *балансирование* — прыганье; *момент* — мгновение; *инсекты* — насекомые; *фрагмент* — отрывок; *энтузиазм* — жар и др. под.[3] Во имя национальной самобытности борются с галлицизмами самые разнообразные группы интеллигенции.

Так, М. Попов *[3], переведя первые две песни поэмы Дора «На феатральное провозглашение (Sur la déclamation), в «предъизвещении» заявляет о своем желании, «любя природный свой язык», заменять барваризмы русскими словами: *буффон* — кощун; *компас* — окружлец; *инстинкт* — естественность, природное стремление; *партер* — помост; *актер* — действователь; *суфлер* — поправлятель, напоминатель и т. д. В приложенном к «предъизвещению» списку «речений вновь переведенных» интересны еще такие примеры: cadence — *равногласие*; caractère — *свойство;* déclamation — *возглашение;* esquisse — *первоначертание;* frivolité — *пустословие*, *пустота*; monotonie — *одногласность;* symétrie — *соразмерность*. Вместе с тем любопытны мотивы, по которым М. Попов отказывается перевести третью (последнюю) песнь дидактической поэмы Дора: «Остановили меня многие речения, принадлежащие к сей материи, которым перевода на нашем языке еще нет, и без чистого выражения коих исчезли бы все красо-

---

[1] *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1878, т. 1, с. 126.

[2] Альманах «Вчера и сегодня», 1845, кн. 1, с. 49—50.

[3] *Сиповский В. В.* Н. М. Карамзин — автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899, с. 174—176.

ты сия песни. Я не думаю, чтобы кто поставил мне в вину, что я не осмелился ее перевесть, переделывая искусственные именования на свой салтык: ето бы был урод; оставить их не переведенными было бы еще гаже» (Попов М. Досуги или собр. соч. и переводов. СПб., 1772, ч. 1, с. 211—212). В журнале М. Чулкова «И то и сио» (1769, неделя 26 и 27) был помещен словарик, предлагавший такие русские соответствия иностранным словам: *аппетит* — побуждение, желание, хотение; *багаж* — имение, пожитки; *директор* — правитель; *инженер* — искусной строитель крепостей и т. д.

Продолжением и развитием тех же национально-патриотических настроений и тенденций являются в начале XIX в. протесты против пристрастия к заимствованиям (т. е. главные образом к галлицизмам) со стороны «Журнала Российской словесности» (1805, № 3, с. 141—142): «Сколько я читал русских книг, в которых сочинители говорят: *гармония, монотония*, plaisir и пр., как будто *согласие, единообразность, удовольствие* не так выражают мысль, как французские слова». «Северный Вестник» твердил то же (1804, ч. 1, с. 18—19): «...сочинитель справедливо вооружается против чрезвычайной привязанности некоторых молодых наших писателей к французским словам и оборотам. Неопытность и мода наводнили книги наши бесчисленными иностранными выражениями. Таковая, можно сказать, дерзость достойна самой строгой критики. Но строгость имеет худой успех, если основательность не составляет ее подпоры». Беницкий (издатель альманаха «Талия» 1807 г. и журнала «Цветник» 1809 г.) писал: «Правило не вносить в язык ничего чужого и любовь к отечественному должны же иметь пределы. Дело совсем не в том, чтобы как-нибудь, лишь бы перевести иностранное слово: нет, надобно чтобы перевод сей был не дик, ясен, вразумителен и критичен; надобно, чтобы переведенное слово было и равносильно подлинному и не противно не только одному рассудку, но вкусу и слуху»[1].

§ 5. ПРИЕМЫ И ПРИНЦИПЫ СМЕШЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА С ФРАНЦУЗСКИМ

Рост тенденций к перевоплощению западноевропейских понятий в национальные формы русского языка, к подыскиванию соответствий европеизмам в самом русском языке свидетельствует, что процесс европеизации русского языка к концу XVIII в. продвинулся еще далее в глубь грамматического и семантического строя. «Вместо изображения мыслей своих по принятым издревле правилам и понятиям изображаем их по правилам и понятиям чужого языка», — так описывает славянофил[2] Шишков сущность этого процесса. В этом смешении русского языка с французским следует различать несколько явлений.

---

[1] Цит. по: *Десницкий В. А.* Радищевцы в общественности и литературе начала XIX в.— В кн.: Поэты-радищевцы. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. Л., 1935, с. 84.

[2] Славянофилами, по терминологии той эпохи, называются защитники церковнокнижной языковой культуры.

1. При усвоении западноевропейских понятий, при переводе их на русский язык происходило семантическое приспособление русских слов к соответствующим французским. Это вело к слиянию круга значений русского слова с сферой значений французского. Смысловая структура слова резко менялась. Развивались отвлеченные, переносные значения, не вытекавшие непосредственно из семантической системы русского языка и находившие полное соответствие только в семантических свойствах французской речи. Например: *упиться* — s'enivrer, т. е. вполне насладиться чем-то; отсюда — *упоение* (enivrement), *упоительный* и т. п.; *плоский* — plat — в значении *избитый, банальный, плоское выражение, плоская физиономия* и т. п.; черта — trait в разных значениях: *черты лица, черта характера, черта вероломства*, даже в смысле поступок: «*эта не лучшая черта* (поступок) *моей жизни*» (Пушкин); *вкус* — goût. Славянофил Шишков комментирует: «Французы по бедности языка своего везде употребляют слово *вкус*: у них оно ко всему пригодно: к пище, к платью, к стихотворству, к сапогам, к музыке, к наукам и к любви. Прилично ли нам... писать...: *украшенный с тонким вкусом?* Когда я читаю *тонкой, верной вкус*, то не должен ли воображать, что есть также и *толстой и неверной вкус*? Обыкновенно отвечают на сие: как же писать? как сказать: un goût délicat, un goût fin? Я опять повторяю, что есть ли мы... станем токмо о том помышлять, каким бы образом перевесть такое-то или иное французское выражение... одним словом, есть ли мы... не перестанем думать по-французски, то мы на своем языке всегда будем врать, врать и врать... Какая нужда нам вместо: *она его любит*, или *он ей нравится*, говорить: *она имеет к нему вкус*, для того только, что французы говорят: elle a du goût pour lui» (*Шишков А. С.* Рассуждение о старом и новом слоге российского языка, с. 204—206).

Но в начале XIX в. новые значения слова *вкус* и связанная с ними фразеология настолько укоренились в русском литературном языке, что даже защитники церковнокнижной старины принуждены были доказывать их национальную самобытность. Так, Е. И. Станевич заявлял: «Мы имели свой *вкус* за целые сотни лет до того *вкуса*, который получили к галлицизму, хотя предки наши, когда рассуждали о вещах до понятий относящихся, вместо сего употребляли *чувство*, но перемена сия произошла в самом языке так как и многие слова изменились у нас в свом знаменовании»[1]. Ту же точку зрения развивал Станевич и на употребление слова *блистательный* (ср. франц. brillant): «Слово *блистательный* так точно у нас, как и у французов brillant, употребляться может, с тою токмо разностию, что французы по своей бедности одно слово ко всему прилагают, а мы должны ставить по приличию. Например, француз скажет esprit brillant, и русский, не слыхавший никогда французского слова brillant, может сказать тоже *блистательный ум*; но француз говорит и про лошадь cheval brillant, а русской сего сказать не может; для сего есть у него

[1] *Станевич Е. И.* Способ рассматривать книги и судить о них. СПб., 1808, с. 19.

статная, казистая, пригожая, красивая, видная лошадь. И кажется, что блистательным мы можем называть приличнее и чаще умственно представляемые вещи, как-то: *блистательные подвиги, мечты, надежды, призраки* и пр.» (там же, стр. 22).

Но Е. И. Станевич должен был констатировать, что множество слов и выражений в русском литературном языке ярко отражают французскую семантику. «Француз, говоря о вселенной, скажет tableau, и мы за ним говорим также *картина*, забыв свое природное *зрелище, позорище;* француз напишет tableau, когда хочет выразить превосходство красоты, а мы за ним пишем себе тоже: *этот человек, эта лошадь картина*, а не хотим говорить по своему: *какой красавец, какой благозрачной человек, какая статная лошадь»* (26). Легко указать много других примеров семантического «скрещения» русских слов с французскими.

Слово *тонкий* изменило свои значения под влиянием французского fin. Ср. выражения: *тонкий вкус, тонкий ум, тонкий человек, тонкий слух, тонкая бестия* и т. п. Ср. слова: *утонченность, утонченный* — raffiné. Слово *живой* приспособилось к семантике французского vif; ср. значения этого слова в выражениях: *живой ум* (l'esprit vif), *живое воображение* (l'imagination vive), *живой интерес* (avec un vif intérêt), *живые глаза* (les yeux vifs), *живая изгородь* (haie viv) и т. п.[1] Количество русских слов, изменивших свои значения под влиянием французского языка в эту эпоху, трудно определить в точных цифрах. Но оно очень велико. Ср. в начале XIX в. постоянные семантические заимствования из французского языка, например: «*Ты не можешь изменить своей природе, как говорят французы»* (письмо Д. В. Веневитинова к С. А. Соболевскому, 1827 г. — В кн.: Литературное наследство. М., 1934, № 16—18, с. 732). «*Шеллингу обязан я моею теперешнею привычкою все малейшие явления, случаи, мне встречающиеся, родовать* (так перевожу я французское слово: généraliser, которого у нас по-русски до сих пор не было...») (Письмо кн. В. Ф. Одоевского к В. П. Титову от 16 июля 1823 г.)[2] и др. под.

2. Соответствия и подобия иностранным словам еще в первой половине XVIII в. составлялись посредством калькирования «европеизмов». В таких кальках русские морфемы, входившие в состав слова, были буквальным переводом морфологических элементов иноязычного слова. Происходила как бы точная съемка морфемы за морфемой.

Однако в первой половине XVIII в. кальки французских слов нередко складывались из церковнославянских элементов. Во второй половине XVIII в. протекал напряженный процесс отбора, преобразования и восполнения таких слов. Церковнокнижные образования устранялись и замещались более «светскими» синонимами. Вместе с тем кальки получали более отвлеченную, семантическую окраску

---

[1] Ср. значение слов *жилка* (художественная, артистическая жилка) с французским veine; *след* — trace; *убивать* — tuer *(убить время); сдержанный* — contenu, *складка* — pli (у Грибоедова: «век с англичанами, вся английская складка») и т. п.

[2] Цит. по: *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. М., 1913, т. 1, ч. 1, с. 132.

(ср. *влияние* вместо *натечение*). Например: *расположение* — disposition; *положение* — position; *влияние* — influence; *сосредоточить* — concentrer; *трогательный* — touchant; *утонченный* — raffiné; *письменность* — litterature; *развлечение* — distraction; *впечатление* — impression; *наклонность* — inclination; *расстояние* — distance; *предрассудок* — préjugé; *насекомое* — insecte; *развитие* — développement; *переворот* — révolution; *присутствие духа* — présence d'esprit; *обстоятельство* — circonstance; *развлекать* — distraire; *рассеянный* — distrait, dissipé; *подразделение* — subdivision и мн. др. под.; ср. *благодеяние* — латинск. beneficium, франц. bienfait, нем. Wohltat; *благосостояние* — bien-être, *нем.* Wohlsein и т. д.[1]; ср. кальки в научной терминологии вроде: *непроницаемость* — l'impénétrabilité; *вменяемость* — l'imputabilité[2]; *равновесие* — equilibre, от латинск. aequilibrium, нем. Gleichgewicht.

Любопытны суждения консервативного филолога начала XIX в. об этих кальках французских слов и понятий: «Скажите кому-нибудь из русских *любомудрие, обзор, небосклон*, даже и без всякой связи с целой речью, он поймет вас: но чтобы понять *трогательные сцены и ваши перевороты*, то для сего непременно потребно знание языка французского. При слове *небосклон* я тотчас вообража склоняющееся небо, но при слове *переворот*, я ничего ясного не могу себе представить: ибо глагол *переворотить*, откуда произвели и *переворот*, служит к выражению весьма низких понятий и употребляется в весьма ограниченном и тесном знаменовании»[3].

3. Вместе с лексическими кальками возникали кальки фразеологические. Буквальный перевод приводил к образованию таких русских фраз, в которых связи и отношения слов не выводились из норм русской речи, а являлись лишь копией, воспроизведением соответствующих конструкций французского языка. В Eléments de langue russe par Charpentier[4] (1768), во французском учебнике русского языка XVIII в., указываются, например, такие случаи фразеологических совпадений между русским и французским языком: prendre résolution — *принять решение* (283); ср. *принять, брать участие* — prendre part; dans le nombre — *в числе кого-нибудь (быть)*[5] (299); avec le temps — *со временем* (283); faire honneur — делать честь (299); faire honner — *делать честь* (299); avoir un peu patience — *иметь немножко терпения;* (318); regner sur son visage — *царить на его* (чьем-нибудь) *лице* (о чувстве (342) и т. п.; в «Бригадире» Фонвизина: *остатки дней наших* — les restes de nos jours; от *всего сердца* — de tout mon coeur; *взять меры* — prendre les mesures и т. п.

А. Т. Болотов в своей рецензии на перевод с французского сочи-

---

[1] См.: *Unbegaun B.* Le calque dans les langues slaves littéraires. — Revue des études slaves, t. XII, fasc. 1 et 2; ср. также: *Sandfeld K.* Notes sur les calques linguistiques. — Festschrift Wilh. Thomsen, 1912.

[2] *Сухомлинов М. И.* История Российской Академии. СПб., 1875, вып. 2, с. 131.

[3] *Станевич Е. И.* Рассуждения о русском языке, ч. 2, с. 5.

[4] Далее в скобках указаны страницы этого издания.

[5] Ср. протест Шишкова против перевода ses lettres sont au nombre de quarante — *его письма в числе сорока.* — В кн.: *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов. СПб., 1824, ч. 3, с. 225.

нения «Луиза, или хижина среди мхов» (1790), сделанный П. Белавиным, писал о слоге этого перевода: «Того сказать не можно, чтоб не было в нем никаких несовершенств, а особливо в рассуждении изображения некоторых речений и фраз, которые переведены слишком буквально и на французском языке хороши, а на русском еще не очень обыкновенны и слишком еще новы, как, например, *прижимать к сердцу* или *святой ангел* и прочее тому подобное»[1].

Однако было бы ошибочно сводить все фразеологическое творчество второй половины XVIII — начала XIX в. только к таким простым французским идиомам и фразам, которые укрепились в русском литературном языке и сохранились в большом количестве вплоть до современной эпохи. Например: diable m'emporte — *черт побери;* pur sang — *чистокровный;* faire la cour — *строить куры;* le jeu n'en vaut pas la chandelle — *игра не стоит свеч;* avaler la pilule — *проглотить пилюлю;* brûler la chandelle par les deux bouts —*жечь свечу с двух концов*; corne d'abondance — *рог изобилия;* faire une scène à quelq'un — *сделать сцену кому-нибудь;* bon ton — *хороший тон;* brouiller les cartes — *смешать чьи-нибудь карты* [переносно]; rendre les derniere devoirs aux morts — *отдать последний долг усопшему;* porter germes de destruction — *носить в себе семена разрушения;* le livre de la nature — *книга природы;* a vol d'oiseau — *с птичьего полета;* rompre la glace — *сломать лед* [переносно]; une main lave l'autre — *рука руку моет;* un front d'arain — *медный лоб;* être sur les épines — *быть как на иголках;* ne pasêtre dans assiette — *не в своей тарелке;* pêcher en eau trouble — *ловить рыбу в мутной воде;* voir tout en noir — *видеть все в черном свете* и мн. др.[2]

Русско-французская фразеология в стилях XVIII в. имела своеобразные особенности. Она носила отпечаток того манерного, перифрастического, богатого метафорами, риторически изукрашенного языка, который был так характерен для французского общества и французской поэзии той эпохи[3]. Там был создан искусственный, жеманно-изысканный стиль выражения, далекий от простоты бытовых предметных обозначений. Вместо *солнце* (soleil) говорили *светило дня, дневное светило* (le flambeau du jour), вместо *глаза* (les yeux) — *зеркала, зерцала души* (les miroirs de l'âme) или *рай души* (le paradis de l'âme); *нос* (le nez) назывался *вратами мозга* (la porte du cerveau), *рубашка* (la chemise) обозначалась фразой — *вечная подруга мертвых*

---

[1] Цит по: *Морозов И.* Из неизданного литературного наследия Болотова.— В кн.: Литературное наследство. М., 1933, № 9—10, с. 203—204.

[2] Ср. avoir une dent contre quelqu'un — *иметь зуб против кого-нибудь;* travailler comme un boeuf — *работать как вол;* mener quelqu'un par le bes — *водить кого-нибудь за нос;* bâtir en l'air — *строить на воздухе;* au premier aspect — *на первый взгляд;* appeler des choses par leur nom — *называть вещи их именами;* échapper comme une anguille — *выскользнуть как угорь;* ancre de salut — *якорь спасения;* parler, raisonner en l'air — *говорить, рассуждать на ветер;* cela est dans l'air — *это носится в воздухе;* c'est affaire de goût — *дело вкуса;* être sur le bord de l'abime — *на краю пропасти;* une question de vie et de mort — *вопрос жизни и смерти;* arrière pensée — *задняя мысль* и т. п.

[3] См.: *Nyrop Kr.* Grammaire historique de la lanque francaise. I. Chap. IV, pp. 56—57.

и живых (la compagne perpetuelle des morts et des vivants); *сапожник* именовался *смиренный ремесленник* (l'humble artisan); саблю заменяла *губительная сталь* (l'acier déstructeur) и т. п. [1]

Шишков описывает фразеологию нового стиля такими чертами: «Старые писатели сказали бы: *в этом городе*, или *стране, повсюду наблюдается порядок и спокойствие*, а нынешние говорят: *все, что вы в этом городе видите, носит на себе* (как будто какое платье) *отпечаток порядка и спокойствия*. Выражение сие переведено с французского porter l'empreinte» [2].

«Мы не смели вводить в сочинения наши таких переутонченных мыслей, каковы суть: *стеснить время в один крылатый миг*, или *молодая горячность скользит по жизни*» [3].

Простое выражение: *она имела власы кудрявые* похоже ли на то, что *волосы у нея льются с чела и свиваются с какими-то другими кудрявыми волосами* [4]. Ср. переносные значения французского couler [литься] и фразеологические контексты этого слова.

По мнению сторонников «старого слога», писатели русско-французской школы «почти каждому слову дают... не то значение, какое оно прежде имело, и каждой речи не тот состав, какой свойственен грубому нашему языку». Отсюда, по их мнению, «рождается сия тонкость мыслей, сия нежность и красота слога, как например, следующая или сему подобная: *бросать убегающий взор на распростертую картину нравственного мира*» [5].

Особенно любопытны приводимые Шишковым фразовые параллели старого и нового слога:

Старый слог	Новый слог
Как приятно смотреть на твою молодость!	*Коль наставительно взирать на тебя в раскрывающейся весне твоей!*
Луна светит.	*Бледная Геката отражает тусклые отсветки.*
Окна заиндевели.	*Свирепая старица разрисовала стекла.*
Любуемся его выражениями.	*Интересуемся назидательностью его смысла.*
Око далеко отличает простирающуюся по зеленому лугу пыльную дорогу.	*Многоездный тракт в пыли являет контраст зрению.*
Деревенским девкам навстречу идут цыганки.	*Пестрые толпы сельских ореад сретаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся фараонит.*

---

[1] Ср. такие перифразы: l'animal traitre et doux, des souris déstructeur (кошка), l'aquatique animal, sauveur de Capitole *(гусь)* и т. д.

[2] *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов. СПб., 1828, ч. 12, с. 193—194.

[3] Там же, с. 103.

[4] *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов. СПб., 1825, ч. 4, с. 371—372.

[5] *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов. СПб., 1828, ч. 12, с. 68—69.

Жалкая старушка, у которой на лице были написаны уныние и горесть.	*Трогательный предмет сострадания, которого уныло задумчивая физиономия означала гипохондрию.*
Какой благорастворенный воздух!	*Что я обоняю в развитии красот вожделеннейшего периода!*
Когда я любил путешествовать.	*Когда путешествие сделалось потребностью души моей* [1].

(Карамзин)[2]

Шишков настойчиво подчеркивает «излишнюю кудрявость мыслей» в языке европейцев. «Чем короче какая мысль может быть выражена, тем лучше. Излишность слов, не прибавляя никакой силы, распространяет и безобразит слог». Характерны такие размышления Е. И. Станевича по вопросу о фразеологических кальках с французского языка: «Какой живописец осмелился бы попытаться по правилам Вольтера изобразить на картине: les mains avides de sang qui volent à des parricides, des yeux qu'on voit venir de toutes parts, des mains qui promettent?.. Les mains qui volent (р у к и, *которые летят*) — у нас: не р у к и, а н о г и л е т я т у него [так скоро он идет]. Другие две метафоры: des yeux qu'on voit venir de toutes parts, *очи отвсюду притекающие* [появляющиеся] и des mains qui promettent, *руки обещающие*, также нашему языку не свойственны. Равным образом русской не может сказать: Time will melt her frozen thoughts — *время растопит ее замерзшие мысли* вместо *время смягчит суровость ее мыслей*. Напротив того, un dieu qui met un frein à la fureur des flots — *бог, обуздывающий* [налагающий узду] *свирепость волн*, как у французов, так и у нас с пользою употреблено быть может»[3].

На почве этой русско-французской системы фразовых сочетаний возник новый литературный стиль со своеобразными формами метафоризации, со специфическими условными типами перифраз, не поддающихся непосредственной этимологизации и прямому предметному осмыслению, с манерною изысканностью приемов экспрессивного выражения[4]. Устойчивая система литературной фразеологии, условной и пышной, состоящей из перифраз и метафор, была характерна для салонного риторического стиля. Она заменяла простую номина-

---

[1] *Шишков А. С.* Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка. СПб., 1803, с. 57—58.

[2] Комментарий Шишкова: «Свойственно ли по-русски говорить: *потребность души моей*, и можно ли путешествие называть *потребностью, надобностью* или *нуждою* души?.. Здесь речь сия расположена точно по французскому складу: quand le voyage est devenu nécessaire à mon âme» (Там же, с. 176).

[3] *Станевич Е. И.* Рассуждение о русском языке, ч. 2, с.109—110.

[4] Ср. замечания Шишкова о выражениях:... *сосн густых, согбенных времени рукою, над глухо воющей рекою*... (Ср. у Пушкина в стихотворении «Осеннее утро», 1816 г.: *Уж осени холодною рукою Главы берез и лип обнажены*). Когда сосны рукою времени сгибаются? Прилично ли говорить о реке: *глухо-воющая река?* Ср. еще пример *«нелепых»* выражений: *нежное сердце, которое тонко спит под дымкою прозрачной*. (Рассуждение о старом и новом слоге российского языка, с. 61).

цию идей и вещей и делала излишним обращение к церковнокнижному языку, сила которого заключалась в богатой фразеологии, упорядоченной риториками ломоносовской школы. Эта была обширная область фразеологических иносказаний, через которые трудно было пробраться к точному предметно-бытовому значению слов. Ср., например, в «Письмах русского путешественника» Карамзина (по изд.: *Карамзин Н. М.* Соч. СПб., 1848, т. 2).

«Магазин человеческой памяти»; «Образ милой саксонки остался в моих мыслях, к украшению картинной галереи моего воображения»; «Роскошная природа... в пенящейся чаше подает смертному нектар вдохновения и сладкой радости» [183]; «Простите радостному исступлению нежных родителей, которые трепетали о жизни милых детей своих» [примечание: Слово в слово с французского; но галлицизмы такого рода простительны»] [198]; «Не знают сего прекрасного средства убивать время [простите мне этот галлицизм] [241]; «...во всех приятных сценах моей юности» [246]; «Натура и поэзия в вечном безмолвии будут лить слезы на урну незабвенного Геснера» [252]; «рука времени, все разрушающая» [252]; «Печальный флер зимы лежал на природе» [366]); «нимфы радости» [т. е. проститутки] [442]; «Зефиры опахала ее не принимают уже сильфов» [743]; «А вы наслаждайтесь ясным вечером своей жизни! сказал я, вспомнив ла-Фонтена стих: sa fin [т. е. конец мудрого] est le soir d'un beau jour» [131] и т. п.

4. Воздействие французского языка изменяло синтаксические формы слова, формы управления. Происходило разрушение связей между этимологическим строем слов и их синтаксическими свойствами. «Например: переводят *влияние*, и несмотря на то, что глагол *вливать* требует предлога *в*: *вливать вино в бочку, вливает в сердце ей любовь*, располагают ново-выдуманное слово по французской грамматике, ставя его по свойству их языка с предлогом на»: faire l'influence sur les esprits — *делать влияние на разумы*»[1]. Любопытно, что окончательному торжеству французской конструкции — *влияние на кого-нибудь, на что-нибудь* предшествовал период борьбы. Ср. конструкцию: *влияние в кого-нибудь, во что-нибудь*, например в переводе акад. Севергина [1803—1807][2]: *Повсюду, где бедные имеют влияние в общие рассуждения*; у А. А. Барсова: *путь открылся влиянию в общие дела европейские*[3] и т. д. Ср. сколки с французского синтаксиса в переводах акад. Лепехина: tant la mort est prompte à remplir ces places — *столь поспешна смерть к наполнению сих мест*[4]; в переводах самого А. С. Шишкова: «Словоизвращение, подающее средство все части речи приводить в благоустройство и согласие... всегда ухо привязывать к воображению, *без того, чтобы сие искусственное составление приняло хотя малейшую темноту в разуме*» (ср.

---

[1] *Шишков А. С.* Рассуждение о старом и новом слоге российского языка, с. 24.

[2] *Сухомлинов М. И.* История Российской академии. СПб., 1878, вып. 4, с. 135.

[3] Там же, с. 237.

[4] Там же, вып. 2, с. 560.

во французском тексте: sans que toute cette composition artificielle laissât le moindre nuage dans l'esprit)[1]; «Наше согласие не есть дар языка, но *труд дарования* (l'ouvrage du talent)» и др. под.

Изменение синтактики слова могло выражаться также в появлении форм управления падежами у таких имен, которые раньше в русском языке не имели дополнений. Таково, например, широкое распространение род. определит. пад. у имен существительных. Слово *предмет*, приспособив свои значения к французскому objet, стало сочетаться с род. пад. дополнения. Отсюда возникли, по словам А. С. Шишкова, такие «несвойственные языку нашему выражения», как: *предмет кровопролития, предмет ссор, предмет любви* и т. п. Слово *чувство*, получив под влиянием франц. sentiment значение «сознание, понимание, восприимчивость к чему» (ср. sentiment du ridicule и т. п.), вступает в такие фразеологические сочетания с род. пад.: *чувство изящного, чувство истины, чувство целого*. Например, у Карамзина: «имеет природное нежное чувство изящного» [II, 81]; «не имеют чувства истины» [II, 113]; «занимаясь частями, теряем чувство целого» [II, 672] и др. под.

Этот процесс синтаксического реформирования русского литературного языка на французский лад наглядно отражается в приемах «олитературиванья» летописной фразеологии у Карамзина, особенно в первых томах «Истории государства Российского» *[1]. Например: «Наконец, сделавшись ревностной христианкой, Ольга — по выражению Нестора, *денница и луна спасения* — служила убедительным примером для Владимира и предуготовила торжество истинной веры в нашем отечестве» [I, гл. VII]. Склонность к родительному определительному вызвала фразу: *луна спасения*. Между тем в летописи соответствующее место читается так: «Си бысть предтекущия крестьянстеи земли аки деньница пред солнцемь и аки зоря пред светом, си бо сьяше аки луна в нощи»[2]. Ф. И. Буслаев, отмечая «злоупотребление родительным существительного вместо определяющего прилагательного» в литературных стилях начала XIX в., приводит характерный пример из «Истории государства Российского» Карамзина: «Народ в исступлении ярости, умертвил отца и сына [Федора и Иоанна], которые были таким образом первыми и последними *мучениками христианства* в языческом Киеве». Ф. И. Буслаев комментирует: «Двусмыслие оттого, что этот родительный [*мученик христианства*] можно почесть и родительным лица действующего, т. е. христианство мучило,— и родительным определения, т. е. христианские мученики»[3]. Ср. в языке Пушкина такие примеры: «*Лицейской жизни* милый *брат*» [«Кюхельбекеру»]; «Позволь в *листах воспоминанья* Оставить им минутный след» [«В альбом А. Н. Зубову»]; «О сын угрюмой ночи» [«Эвлега»]; «сын шумного потока» [«Кольна»]; «воин мести» [«К принцу Оранскому»] и т. п.

---

[1] См. рецензию Дашкова на «Перевод двух статей из Лагарпа» А. С. Шишкова.— Цветник, 1810, ч. 8, с. 446—447.

[2] Ср.: *Буслаев Ф. И.* О преподавании отечественного языка. М., 1844, ч. 1, с. 263.

[3] *Буслаев Ф. И.* О преподавании отечественного языка, ч. 2, с. 145.

Точно так же менялись под воздействием французского синтаксиса конструкции с глаголами, например: *предшествуемый* — форма страдательного залога от непереходного глагола, возникшая как перевод франц. précédé. Шишков отводил во множестве такие галлицизмы в глагольных конструкциях: «*Когда сей наружный мир будет достигнут. Достигать до чего, доходить до чего, доплывать до чего;* при сих глаголах несвойственно говорить: *будет достигнут, будет дойден, будет доплыт*»[1]. Ср. atteindre le but [*достигнуть цели*], atteindre l'age de quatre-vingts ans [*достигнуть сорокалетнего возраста*] и др. под. «*Корпус потребован к сдаче, приятель мой потребован к гулянью, слуга мой потребован к причесанию соседа* — все это не по-русски»[2]. Ср. в «Трутне» [1769]: *ежели хорошо услужен быть хочет* [41]; ср. франц. servir; в «Истории государства Российского» Карамзина: *если ты уступишь мне Эстонию, угрожаемую Сигизмундовым властолюбием* [XI, 34[; ср. франц. menacer [у Пушкина: *угрожаемого каким-то бедствием*]; у Озерова: *но алчные тираны, едва возникшие,* наш *угрожают край* (*Озеров В. А.* Соч. СПб., 1846, с. 136). Ср. у Пушкина: *стихотворений, знаемых всеми наизусть и столь неудачно поминутно подражаемых* [imitées]; *механизму стиха г-на Катенина, слишком пренебрегаемому лучшими нашими стихотворцами* [neglige] и др. под. В переводах Н. И. Болтина: он *хвастался иметь* перо золотое — qu'il se vantait d'avoir une plume dor; *клеветать все веры* — calomnier toutes les sectes[3]; в переводах акад. Лепехина: *любят видеть человека* — on aime àvoir un homme; нельзя *сделать шага без того чтобы...* — on ne peut faire un pas sans[4] и т. д. Ср. у Пушкина в «Полтаве» отслоения таких французских конструкций:

Отмстить поруганную дочь (venger sa fille)
Не он ли помощь Станиславу
С негодованьем отказал (refuser son assistance)...[5]

Ср. у Карамзина в «Письмах русского путешественника: «*отказывая себе все, кроме самого необходимого* [II, 781]. Вместе с тем французское влияние содействует стремительному росту предложно-аналитических конструкций как в глагольных, так и в именных синтагмах.

5. Под влиянием западноевропейских языков, французского, а в начале XIX в. и английского, устанавливается порядок слов в предложении, соответствующий синтаксическим тенденциям самого русского языка. На смену латино-немецкой конструкции, по словам С. П. Шевырева, пришла «легкая, ясная, новоевропейская фраза». В этой синтаксической реформе литературного языка основная роль

---

[1] *Шишков А. С.* Рассуждение о старом и новом слоге российского языка, с. 185—186.

[2] Там же, с. 189.

[3] *Сухомлинов М. И.* История Российской академии. СПб., 1880, вып. 5, с. 262.

[4] *Сухомлинов М. И.* История Российской академии. СПб., 1880, вып. 2, с. 554.

[5] *Корш Ф. Е.* Разбор вопроса о подлинности окончания «Русалки». — ИОРЯС, 1898, т. 3, кн. 3, 1898; СПб., 1899, т. 4, кн. 1—2.

принадлежала Н. М. Карамзину. Вводится как норма такой порядок слов: 1) подлежащее впереди сказуемого и дополнений; 2) имя прилагательное перед существительным, наречие перед глаголом [1]; слова, обозначающие свойство, употребляемые для замены прилагательных и наречий, ставятся на их места, например: *природа щедрою рукою рассыпает благие дары* [пример И. И. Давыдова]; 3) в сложном предложении слова и члены управляющие помещаются возле управляемых; 4) среди дополнений, зависящих от глагола,— впереди дат. или твор. пад., после всех — вин. пад.; 5) слова на вопрос: «где?», «когда?», т. е. слова, рисующие обстоятельства действия, ставятся перед глаголом; предложные обстоятельственные конструкции, зависимые от сказуемого, следуют за ним; например: *Сократ уже в последний раз, на праге смерти беседовал* о *вечности;* 6) все приложения должны находиться после главных понятий; 7) «слова, которые потребно определить должно ставить впереди слов определяющих»— например, род. пад. всегда после управляющего слова (*житель лесов, кот в сапогах*). Этот порядок слов признается нормальным для системы литературного языка [2]. Чтобы оценить значение этой реформы, надо сопоставить три синтаксические группы — два ломоносовских периода: 1) «Уже мы, римляне, Катилину, столь дерзновенно насильствовавшего, на злодеяния покушавшегося, погибелью отечеству угрожавшего, из града нашего изгнали» [период латинский]; 2) «Благополучна Россия, что единым языком едину веру исповедует, и единою благочестивейшею самодержицею управляется, великий в ней пример к утверждению в православии видит» [период немецкий],— и период новый, карамзинский: «Юная кровь, разгоряченная ночными сновидениями, красила нежные щеки ее алейшим румянцем; солнечные лучи играли на белом ее лице, и проницая сквозь черные пушис-

---

[1] Но прилагательное следует за именем существительным в сказуемом: *Филалет был человек благородный по душе своей;* так же и прилагательное притяжательное, заменяющее род. пад. существительного: *Век Екатеринин и Александров* (*Давыдов И. И.* Опыт о порядке слов. — В кн.: Тр. Общества любителей российской словес. М., 1816, ч. 5, с. 122). Н. И. Греч в «Чтениях о русском языке» (СПб., 1840, ч. 2, с. 251—252) дополняет перечень случаев постановки имени прилагательного после существительного следующими условиями: 1) когда исчисляется несколько из многих качеств существительного, а об остальных как бы умалчивается; например: *он человек честный, умный;* от этого происходит, что выражение *добрый человек* есть хвала, а *человек добрый* — косвенное порицание, ибо после оного ожидаем исчисления других качеств, может быть, уничтожающих первое; 2) когда при имени прилагательном находятся дополнения, например: *Петр был государь великий и на поле битвы и среди мира;* 3) когда прилагательное не столько означает качество, сколько ограничивает объем его и заменяет придаточное ограничительное предложение, например: *человек непросвещенный знает только место своего жительства;* 4) когда прилагательное с существительным находится в самом конце предложения, и надобно обратить большее внимание на прилагательное, например: *у меня шуба медвежья; я люблю детей прилежных;* 5) после имен собственных или означающих звание и тому подобное, когда прилагательное составляет существенную, отличительную часть наименования или титула, например: *Сципион Африканский.*

[2] Любопытно сопоставить с этими нормами отчасти близкие к ним правила о порядке слов в «Славенской грамматике» Мелетия Смотрицкого (М., 1648, с. 328—330).

тые ресницы, сияли в глазах ее светлее, нежели на золоте» [«Наталья, боярская дочь»].

С этим литературным словорасположением не вполне согласуется «естественный порядок слов», присущий разговорному языку «простого народа». По мнению И. И. Давыдова,*[2] отражающему, конечно, общее убеждение литературно образованных людей начала XIX в., для простонародного языка [если оставить в стороне эллипсис] обычным является сначала указание предмета, определяемого действием, затем действия и, наконец, действующего предмета [1]. Таким образом, констатируется резкое различие в порядке слов между литературным языком и устным просторечием. Конечно, установившаяся норма литературного словорасположения не только не противоречила духу русского языка, но, напротив, ярко отражала основные тенденции русского национального стиля в отношении порядка слов [2]. Влияние западноевропейских языков (преимущественно французского) лишь содействовало осознанию этих тенденций и включению их в строго определенные нормы. Любопытен, например, упрек, адресованный «европеистом» Дашковым «славянофилу» А. С. Шишкову, что тот «чрезмерно опирается на дозволенную нам перестановку слов» (Цветник, 1810, № 11, ч. 8, с. 232). Вместе с тем нормальный порядок слов в литературном языке допускает отступления, стилистически мотивированные и создающие экспрессивное разнообразие «словотечения». Карамзин в статье «О русской грамматике француза Модрю» писал: «Мне кажется, что для переставок в русском языке есть закон: каждая дает фразе особый смысл; и где надобно сказать: *солнце плодотворит землю*, там *землю плодотворит солнце* или: *плодотворит солнце землю* будет ошибкой. Лучший, то есть истинный, порядок всегда один для расположения слов; русская грамматика не определяет его: тем хуже для дурных писателей» *[3]. Особенно резкие отступления от прямой расстановки слов наблюдаются при ораторском порядке слов. Е. Станевич так писал о соотношении французского «связанного» и русского свободного словорасположения: «Из всех новейших наречий французское более других отличается легким и ясным течением речи, составляя и располагая ее по естественному порядку понятий: ибо французы наперед поставляют лице или предмет речи, потом глагол, означающий действие, и наконец причину сего действия, т. е. вещь или дело. Как ни изряден сей порядок для умствования, но по собственному же их признанию, он имеет тот недостаток, что противуречит чувствам, которые требуют поставления впереди вещи, коей всего прежде поражаются. По сей причине французской язык может быть удобнее в разговорах, но за то он не имеет той живости и того жару, какой потребен в описаниях сильных, где говорят страсти, ниспровергающие упомянутый порядок»[3]. В соответствии с этими замечаниями И. И. Давыдов учил:

---

[1] См.: *Давыдов И. И.* Опыт о порядке слов. В кн.: Труды Общества любителей российской словесности. М., 1819, ч. 14, с. 12—17.

[2] См.: *Булаховский Л. А.* Исторический комментарий к литературному русскому языку. Харьков. В отделе синтаксиса § 19. Порядок слов, с. 273—283.

[3] *Станевич Е. И.* Рассуждение о русском языке, ч. 2, с. 75.

«Логика приносить красноречию жертву, когда рассудок покоряется сильному чувству. В этом случае расположение не имеет правил, кроме сердечных движений; каждая часть речи может занимать первое место, если она выражает главное чувство»[1]. В патетической речи логический принцип размещения слов осложняется целями эмоционального воздействия. На первое место выдвигается «главный», наиболее эмоциональный предмет. Например: *Раздался звук вечевого колокола, и вздрогнули все сердца в Новгороде*. Кроме того, здесь имеют большое значение требования благозвучия и ритмическая каденция[2]. Однако излишняя ритмизация прозы запрещается: «Всякий знает, что поэзия прозаическая неприятна». Метрические закономерности в прозе невыносимы.

Так на почве французской культуры речи в стилях русского литературного языка происходит рационализация национального словорасположения.

6. В области синтаксиса предложений прежде всего происходит под влиянием французского языка разрушение той сложной периодической речи, которая, с одной стороны, была связана с формами построения латино-немецкого периода, с другой стороны, носила явный отпечаток канцелярского, официального слога. В «Сокращенном курсе российского слова» В. И. Подшивалова (1796) говорилось, что «промежутки от одной точки до другой в старину бывали очень велики, так что периода одним духом весьма часто выговаривать было не можно; но ныне употребляются по большей части пункты коротенькие, по причине трудного понимания длинных. Слов 8, 10 и 15 в периоде, так и довольно». Прежде, при долгих периодах «союзы были необходимы; но ныне опущение их, т. е. союзов соединительных, особливую составляет приятность; а особливо стиль французской, от всех ныне принимаемой, не мало заимствует от сего красы своей»[3]. Исключение ряда союзов и частиц (например. *ибо, дабы, зане, понеже, послику, в силу, колико* и др.) изменяло логику синтаксического движения. «Вестник Европы» заявлял:

Понеже, в силу, послику
Творят довольно в свете зла[4].

«*Вследствие чего, дабы* и пр.,— писал «Московский журнал» в разборе перевода «Неистового Роланда»,— это слишком по-приказному»[5].

Исключение архаических союзов и частиц обновило синтаксический строй. Под влиянием французского языка укрепляется присоединительное сочетание причастия или имени прилагательного (в обо-

---

[1] Труды Общества любителей российской словесности. М., 1816, ч. 5, с. 118.
[2] См.: *Давыдов И. И.* Опыт о прядке слов.— В кн.: Труды Общества любителей российской словесности. М., 1817, ч. 9, с. 58.
[3] *Подшивалов В. И.* Сокращенный курс российского слога. М., 1796, с. 20; ср.: *Грот Я. К.* Карамзин в истории русского литературного языка.— В кн.: *Грот Я. К.* Филологические разыскания. СПб., 1899, с. 63 и след.
[4] Вестник Европы, 1802, № 3, с. 22.
[5] Московский журнал, ч. 2, с. 324.

собленном употреблении) с относительным придаточным предложением (которое обычно начинается словами *который* или *кой*, реже — *где, куда* и т. п.). Например, у Карамзина в «Письмах русского путешественника»: «Потом ввели всех в богатую залу, обитую черным сукном, и в которой окна были затворены» (II, 135); ср.: «Так называемый итальянский театр, но где играют одне французские мелодрамы, есть мой любимый спектакль» (II, 480); у Батюшкова: «Посмотрите, как говорит о беспечном сне Лафонтен, жертвовавший ему половиною жизни своей, и которого добродушие вошло в пословицу» (Соч. М. — Л., 1934, с. 359); «Вопрос важный, достойный внимания мудрецов и которого решить не смею» (I, 230) и др. под.; у Жуковского (по изд.: *Жуковский В. А.* Стихотворения. СПб., 1849—1857, т. 1—13): «Спустились во глубину долины по лесистой горе, называемой die heiligen Hallen и которая как необъятный разрушительный амфитеатр...» (VII, 204); у Пушкина (по изд.: *Пушкин А. С.* Соч. СПб., 1838—1841, т. 1—11): «По Спасскому монастырю, занимающему его правый угол, и коего ветхие стены едва держались» (V, 115); «Две маленькие пушечки, найденные в Яссах на дворе господаря, и из которых бывало палили» (VII, 249); «Движение дерзкое и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом» (VII, 160); «...женат на вдове, женщине хорошей дворянской фамилии, и которая для него переменила свое вероисповедание» (XI, 252); «...был утвержден стол необыкновенной длины, и за которым насчитал я до ста десяти кувертов» (XI, 284. Ср. также: VIII, 248; XI, 275, 281, 304, 314, 337, 346).

Старые союзы приобретали под влиянием западноевропейских языков новые значения. Например, еще Ф. И. Буслаев [1] отметил новые синтаксические функции союза *чтобы* и новые конструкции с ним, возникшие в русском литературном языке конца XVIII — начала XIX в.

1) *Чтобы* с инфинитивом в двух оборотах: а) после вопросительного местоимения кто, что (для выражения франц. pour) — например, у Жуковского: «А ты кто, *чтоб* меня Так дерзостно позорить?... И кто же ты, *чтоб* петлей мне грозить? И кто твой Тус, *чтоб* руку на Рустема Поднять в повиновенье Безумной ярости твоей? (VI, 86); по-французски: «et toi qui es-tu, pour m'outrager si hardiment? et qui es-tu pour me menacer de la corde? et qu'est que ton Touss, pour lever la main» и т. д.; ср. у В. А. Озерова в трагедии «Ярополк и Олег»: «Кто я, *чтобы* желал когда твоей державы, *Чтобы* изменою я трон хотел обресть» (Олег, действие II, явл. 2); б) после наречия слишком (trop), обозначающего степень качества и состояния или какого-нибудь предметного свойства тоже в соответствии с франц. pour (*слишком — чтобы*) — например, у Пушкина: «Я слишком был счастлив, *чтоб* хранить в сердце чувство неприязненное (VII, 116; франц.: «j'étais trop heureux pour conserver dans mon coeur un sentiment d'inimtie»); «Сильвио был *слишком* умен и опытен, *чтобы* этого не заметить» (VIII, 22; — «Silvio avait trop d'esprit — pour ne pas le remarquer»);

2) *Чтобы* с сослагательным наклонением для обозначения предположения после глаголов *слушать, думать, допустить* и т. п. в соответствии с франц. que — например, у Карамзина в «Письмах русского путешественника»: «Ле-Брюн не мог равнодушно слышать, *чтобы* говорили о Ле-Сюеровых карти-

[1] См.: *Буслаев Ф. И.* Опыт исторической грамматики. М., 1858, ч. 2, с. 383.

нах» (II, 574; франц.: «Le Brun ne pouvait entendre de sang froid qu'on parlât des tableaux de Lesueur»)[1]. Кроме того, под влиянием западноевропейских языков широко развиваются в русском литературном языке описательные обороты с союзом *чтобы* (при инфинитиве или сослагательном наклонении) вместо простых инфинитивных зависимых конструкций. У Жуковского: «Пошел он к королю и приказал, чтобы о нем немедля доложили» (VI, 286; нем.: und befahl, dass man ihn unverzüglich anmelden solle); «Дай мне мешок да сапоги, чтоб мог я ходить за дичью по болоту» (VI, 284; нем.: gib mir die Jagdtasche und die Stiefel, damit ich im Sumpfe jagen kann); ср. также: «Если ваша питомица подлинно дочь нам, то должно, чтоб были три родимых пятна» (V, 224); «Позвольте мне, чтоб я умыл вам руки и лицо» (VI, 320): нем.: erlauben sie mir, dass ich ihnen Hände und Gesicht wasche.

Сокращение общего количества союзов возмещалось сложными формами синтаксической симметрии. Бессоюзные конструкции разнообразились прихотливыми приемами смысловой связи, неожиданностями соседства. Согласно канону салонно-дворянских стилей, автор должен «ко всему привязывать остромную мысль... или обыкновенную мысль, обыкновенное чувство украшать выражением. показывать оттенки... находить неприметные аналогии, сходства, играть идеями»[2]. Гоголь очень метко охарактеризовал изменение в системе литературного языка, произведенное литературными стилями конца XVIII в.: «Поэзия наша по выходе из церкви очутилась вдруг на бале... Русский язык получил вдруг свободу и легкость перелетать от предмета к предмету, — легкость, незнаемую Державину»[3].

Так в салонно-светских стилях, которые становились в конце XVIII в. организующим центром всей системы русского литературного языка, структурной основой синтаксиса и семантики был французский литературный язык.

§ 6. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НОРМЫ САЛОННО-ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЧИ

Идеалом речевой культуры высшего русского общества XVIII в. был французский салон предреволюционной эпохи[4]. Во Франции в XVIII в. «не выходило книги, написанной не для светских людей, даже не для светских женщин... Сочинения исходили из салона и, прежде чем публике, сообщались ему... Характер общества делал записных философов светскими людьми... Публика обязывала такого человека быть писателем еще более. чем философом, заботиться о способе выражения столько же, сколько о мысли... Ему нельзя было быть человеком кабинетным... В вопросах стиля (en fait de parole) — все знатоки, даже записные. Математик Даламбер обнародывает

---

[1] Ср. многочисленные примеры синтаксических галлицизмов в «Сыне отечества» (1825, № 14, отдел «Антикритика», с. 11—16).

[2] Аониды, 1797, ч. 2.

[3] *Гоголь Н. В.* В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность? — В кн.: *Гоголь Н. В.* Выбранные места из переписки с друзьями. СПб., 1847, с. 210—211.

[4] В статье «Предпочтение природного языка» М. Н. Муравьев так характеризовал «сияние» французского языка «в столетие Людовика XIV»: «Не было придворного человека, благородной женщины, которые не умели бы изъясняться

трактат о красноречии; натуралист Бюффон произносит речь о слоге; законовед Монтескье составляет сочинение о вкусе; психолог Кондильяк пишет книгу об искусстве писать. Литературный язык преобразуется под влиянием «светского употребления слов и хорошего вкуса». Словарь облегчается от излишней тяжести. Из него исключается большинство слов, которые хоть краем соприкасаются с сферой какой-нибудь специальности. Из него выбрасываются «чересчур латинские и чересчур греческие выражения», термины школы, науки, ремесла и хозяйства, все, что не может считаться у места в обыкновенном светском разговоре. Из него выкидываются слова областного, провинциального происхождения, домашние или простонародные, словом, все то, что могло бы шокировать «светскую даму»[1]. Конечно, в живом историческом процессе эволюции французского языка картина соотношения, борьбы и взаимодействия разных социальных стилей была сложнее и противоречивее[2]. Но именно эти пуристские заветы блюстителей благородства и чистоты литературного салонного стиля привлекали русских дворян-европейцев[3]. И. И. Дмитриев в статье «О русских комедиях» писал: ...«Какая... нужда знатнейшей части публики: боярыне, боярину, первостатейному откупщику или заводчику, — какая польза им знать, что происходит в трактирах, на сельских ярмарках и в хижине однодворцев, которые известны только их старостам и управителям? У них свои обыкновения, свои предрассудки и свои пороки»[4].

Живая народная речь вовлекалась в сферу этого изысканного языка в ничтожном количестве и со строгим отбором. «Нагая простота» выражения казалась неэстетичной и даже «непристойной». Нормы стилистической оценки определялись бытовым и идейным

с приятностью и не полагали в числе отличий своих преимущество хорошо говорить и писать на природном языке. Многие дамы, украшение пола своего, вливали природные и неподражаемые приятности разума своего в сочинения, повидимому легкие и нетщательные, но к которым не может подделаться никакое искусство: госпожа Севинье, Лафает и другие. Уединенной ученой не может перенять сих нежных оборотов языка, введенных употреблением общества. Прилежание и рассеяние попеременно способствовали к обогащению языка столь многими приятностями, что он внесен почти в число классических языков Европы, не перестав быть, как древние, живым языком народным». (*Муравьев М. Н.* Полн. собр. соч. СПб, 1820, ч. 1, с. 165).

[1] См.: *Лафарг Поль.* Язык и революция. Пер. с франц. Л., 1930; *Taine.* Les origines de la Franse contemporaine. L'ancien regime, II, p. 231—234; *Vaugelas.* Remarques sur la langue française, ed. Chassang Paris, 1880. *Потебня А. А.* Из записок по теории словесности. Гл. «Середнинность языкознания». Харьков, 1930, с. 633—634.

[2] См., например, *Fergus.* La langue française avant et après la Révolution.— Nouvelle Revue, 1888, т. 51, с. 385—406, 644—669; *Gohin F.* Les transformations de la langue française pendant la deuxième moitié du XVIII siècle (1740—1779). Paris, 1903; *Brunot F.* Histoire de la langue française, и др. работы по истории французского языка XVIII в.

[3] Ср. ссылку Карамзина на французских писателей («Отчего в России мало авторских талантов?»): «Все французские писатели, служащие образцом тонкости и приятности в слоге, переправляли так сказать, школьную свою реторику в свете, наблюдая, что ему нравится и почему» (*Карамзин Н. М.* Соч. СПб., 1848, т. 3, с. 530).

[4] Вестник Европы, 1802, № 7.

назначением предмета, его положением в системе других предметов, «высотой» или «низостью» идеи. «То, что не сообщает нам дурной идеи, не есть низко». «Один мужик говорит *пичужечка* и *парень*: первое приятно, второе отвратительно,— пишет Карамзин.— При первом слове воображаю красный летний день, зеленое дерево на цветущем лугу, птичье гнездо, порхающую малиновку или пеночку, и покойного селянина, который с тихим удовольствием смотрит на природу и говорит: «Вот гнездо, вот пичужечка»! При втором слове является моим мыслям дебелый мужик, который чешется неблагопристойным образом или утирает рукавом мокрые усы свои, говоря: «Ай, парень! Что за квас!» Надобно признаться, что тут нет ничего интересного для души нашей». «Имя *пичужечка*,— продолжает Карамзин,— для меня отменно приятно потому, что я слыхал его в чистом поле от добрых поселян. Оно возбуждает в душе нашей две любезных идеи: о свободе и сельской простоте»[1].

Таким образом, оценка литературного достоинства слова, «светская доброкачественность» слова обусловлены всем социально-бытовым контекстом его употребления, картиной ассоциированных с ним предметов. В сюжетную структуру слова входят не только «значение», но и социально-бытовое содержание слова, его обстановка и широкий круг его соседства, его предметных и идейных связей. В зависимости от этого была и экспрессия слова, его «тон», как говорил Карамзин. Литературному языку была задана как норма его экспрессивных возможностей строго определенная плоскость «тональностей» (если можно так выразиться), связанная с идеальным образом чувствительного, галантного и просвещенного «человека».

Понятно, что все слова и фразы, которые относились к слогу «грубому, сухому и надутому», т. е. выражения «простонародные», низкие, официально-канцелярские, специальные, профессиональные, церковнославянские, в этом салонном стиле были запрещены. Любопытны презрительные замечания И. И. Дмитриева о запутанном, варварском слоге наших толстых экстрактов и апелляционных челобитен» («Взгляд на мою жизнь»). Язык салона и возникавшие на почве его стили литературы были далеки от многообразия бытовых вариаций речи. Рецензии и статьи о слоге в журналах конца XVIII — начала XIX в. ярко рисуют стилистические нормы этого салонно-литературного языка. «Господин переводчик весьма старался примениться к языку, употребительному в обыкновенном разговоре. Только надлежало бы ему подражать людям, которые говорят хорошо, а не тем, которые говорят дурно. Выражения простонародные не должны писателям служить правилом»[2]. В рецензии «Цветника» на сочинение: Н. Страхова «Мои Петербургские сумерки» (Ч. I и II, 1810) читаем: «Иногда г. Сочинитель употребляет низкие слова и выражения, которые нельзя даже употреблять в хорошем разговоре; например он сравнивает сердце несчастного с *раскаленною* сковородою (Ч. I,

---

[1] *Карамзин Н. М.* Письма к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, с. 39. Письмо от 22 июня 1793 г.

[2] Московский Меркурий, 1803, ч. 2.

с. 119). Сковорода вещь очень нужная и необходимая на поварне, но в словесности, особливо в сравнениях и уподоблениях, можно и без нее обойтитсь»[1].

С такой же настойчивостью и ревностью изгоняются из этого литературного языка славянские, книжные слова, которые «часто затмевают стиль и более изобличают педанта или школьника», и канцеляризмы. Все, напоминающее приказной слог и церковную речь, из салонного языка устранялось. «*Кажется, чувствую как бы новую сладость жизни,*— говорит Изведа, но говорят ли так молодые женщины? *Как бы* здесь очень противно». «*Учинить*, вместо *сделать*, нельзя сказать в разговоре, а особливо молодой девице»[2]. «*В следствие чего, дабы* и пр.— это слишком по-приказу и очень противно в устах такой женщины, которая... была прекраснее Венеры». «*Колико для тебя чувствительно* и пр. Девушка, имеющая вкус, не может ни сказать, ни написать в письме *колико*». В предложении «Человек при самом уже рождении плачет и производит вопли» Карамзин осуждает церковнославянскую фразу — *производить вопли*»[3].

Так, критерием стилистической оценки, законодателем норм литературности провозглашается вкус «светской женщины». Этот салонный вкус не мирится с канцеляризмами и церковнославянизмами. «Мы и без того имеем множество выгод пред всеми европейскими народами: наш русский язык сам по себе гораздо богатее, великолепнее всех прочих... Правда, что возвышенный слог не может у нас существовать без помощи славенского: но сия необходимость пользоваться мертвым для нас языком для подкрепления живого... требует большой осторожности» (Цветник, 1810. Ч. 8, с. 262—263). Система идеологии и мифологии церковного языка дворянам «европейцам» была чужда. Славянская речь за пределами общеевропейской библейской фразеологии представлялась им механически движущимся рядом образов, выражений, «устарелых», «грубых» слов и конструкций, один из которых «европейцы» считали необходимым сдать в архив, а другие приспособить к структуре «салонного» светского языка. «Слог церковных книг, — заявляет П. Макаров, — не имеет никакого сходства с тем, которого требуют от писателей светских... При том наши старинные книги не сообщают красок для роскошных будуаров Аспазий»[4].

Конечно, стилистическое отрицание церковнославянизмов не означало отказа от библейских образов. Ведь библейские образы и фразы вошли и в систему европейских языков. За библией сохранялось значение поэтического и идеологического источника. Но библейские образы и мифы должны быть переведены на светский язык, приспособ-

---

[1] Цветник, 1810, № 4, ч. 6, с. 122.

[2] Приложения к статье Я. К. Грота «Карамзин в истории русского литературного языка» под названием «Замечания Карамзина о языке» из разборов его, помещенных в «Московском журнале» (1791—1792)».— В кн.: *Грот Я. К.* Филологические разыскания, с. 89—91.

[3] Московский журнал, 1791, ч. 1, с. 232—233.

[4] *Макаров П.* Соч. и переводы, т. 1, ч. 2, с. 25.

лены к его структуре. «Когда переведут священное писание на язык человеческий?»[1] — спрашивал К. Н. Батюшков.

Сама по себе система церковнославянского языка западникам казалась чужеродным организмом, скроенным по типу греческого языка. Поэтому церковнославянские слова и фразы отвлекались писателями-«европейцами» от смыслового контекста церковнобиблейской идеологии и мифологии и расценивались с точки зрения норм светского, салонно-литературного языка, очерченного строгим кругом экспрессивных оценок и элегантного вкуса. Исключались все церковнокнижные формы, не соответствовавшие нормам «светского» вкуса. «*Персты* и *сокрушу* производят какое-то дурное действие»[2], — писал Карамзин Дмитриеву. «*Отзыв* для меня лучше, чем *отглас*», — оценивал Карамзин. «*Все части учености возделываются там с успехом.* Лучше бы было в сем смысле сказать по-русски обработываются»[3]. Карамзин иронизирует над «*големыми претолковниками, иже отревают все, еже есть русское, и блещаются блаженне сиянием славеномудрия*»[4]. Пародический подбор «обветшалых» славянизмов подчеркивает, что в таком виде представлялась западникам основная сфера церковнославянского языка. Ломоносовский принцип смешения церковнославянской речи с простонародным языком отрицался. Для «европейцев» многообразие славяно-русских стилистических контекстов было лишено выразительности. Оно возмещалось разнообразием экспрессивно-стилистических вариаций словоупотребления, но в строго очерченном кругу норм «светской» речи.

Вместе с тем изменялись в салонно-литературных стилях конца XVIII — начала XIX в. самые принципы предметного осмысления церковнославянизмов. Оторванные от своего контекста, славянизмы проецировались на семантическую систему бытового языка и подвергались «этимологизации» на основе его норм. В этом стиле из «старых слов и фраз» «иные пришли совсем в забвение; другие, не взирая на богатство смысла своего, сделались для не привыкших к ним ушей странны и дики; третьи переменили совсем знаменование свое и употребляются не в тех смыслах, в каких с начала употреблялись»[5]. Шишков указывает много примеров такого забвения. «*В безмолвной куще сосн густых...*», «*Куща* ничего не значит, как шалаш или хижина. Что ж такое: *куща сосн*»[6] и т. д. Любопытно, что у Карамзина в «Моих безделках» (ч. 2, 1797) в стихотворении «Осень» была допущена такая же ошибка:

Пение в *кущах* умолкло.

Но, переиздавая свои сочинения, Карамзин, под влиянием критики Шишкова, исправил стих:

---

[1] *Батюшков К. Н.* Соч., т. 3, с. 410. Можно вспомнить перевод В. А. Жуковским Евангелия и Апокалипсиса на русский язык.

[2] *Карамзин Н. М.* Письма к И. И. Дмитриеву, с. 42.

[3] Московский журнал, 1791, ч. 3, с. 42.

[4] Там же, 1791, ч. 4, с. 112.

[5] *Шишков А. С.* Рассуждение о старом и новом слоге российского языка, с. 46—47.

[6] Там же, с. 61—62.

Пение в *рощах* умолкло.

(*Карамзин Н. М.* Соч. М., 1803, т. 1, с. 43.)

Протесты против «долгосложно-протяжно-парящих слов» свидетельствуют, что отрицательная оценка славянизмов зависела не только от значения слов, но и от их морфологической структуры. О славянофиле П. Львове «Сатирический разговор в царстве мертвых» судил так:

Писал похвальные слова мужам великим
Надутым слогом, пухлым, диким.
Предлинные слова в шесть, семь слогов ковал[1].

Писатели-«европейцы» подвергали ядовитым насмешкам язык одного из видных приверженцев Шишкова — кн. С. А. Ширинского-Шихматова, переполненный многосложными «славянизмами». Например, в поэме Ширинского-Шихматова «Петр Великий»: *быстромолнийное* (слово); *беспищные* (скалы); Этна *чревоболящая* пожарами; *триобоюдное* (острие); *огнезарный* (взор); *небопарный* (орел); *водостланная* (равнина); *солнцелучный* (полдень); *трисолнечная* (слава) и др. под.

Д. В. Дашков*[1], защитник аристократических светских норм литературного языка, приводил пародические примеры длиннейших славянских образований по типу *древо благосенно-лиственное* — вроде: *длинногустозакоптелая* борода, *христогробопоклоняемая страна* и т. п.[2]

Отбор и запрет были только начальным этапом в работе западников над церковнославянизмами. Далее наступал процесс фразеологического приспособления и переосмысления их. Для характеристики приемов салонного *«переодевания»* церковнославянизмов любопытен такой пример каламбурного употребления библейских символов у Карамзина в письме к Дмитриеву: Как можно вымарать стихи свои? Они для меня всех дороже. Воля твоя: я *воскрешу* их, *сниму с креста или крест с них*»[3].

Так церковнославянская лексика и фразеология, отобранная и приноровленная к стилистическим и жанровым вариациям языка высшего светского общества, теряла свою культовую и книжно-официальную экспрессию и отрывалась от контекста церковной идеологии. В этом «очищенном» виде она вступала в разнообразные сочетания с формами бытовой фразеологии, смешиваясь с разговорной речью образованных слоев общества и с французским языком. Шишков жаловался: «Славянский язык презрен, никто в нем не упражняется, и даже самое духовенство, сильною рукой обычая влекомое, начинает уклоняться от него»[4].

Таким образом, границы литературного языка для «европейцев» сужались. Обречен был на отмирание целый ряд жанров в высоком

---

[1] Современник, 1857, т. 63, № 5. Примечания к письмам Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, с. 15.

[2] Цветник, 1810, № 11, ч. 8, с. 297—300.

[3] *Карамзин Н. М.* Письма к И. И. Дмитриеву, с. 106.

[4] *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов, ч. 12, с. 249.

и даже среднем славянском слоге. «Со времен Карамзина, — замечает И. И. Дмитриев, — так называемый высокий, полуславянский слог и растянутый, вялый среднего рода стали мало-помалу выходить из употребления» («Взгляд на мою жизнь»)*2. Задача европеизированных верхов общества заключалась в том, чтобы из фонда слов и выражений, который составлял общее владение русского книжного и разговорного языка, с захватом смежных сфер литературы и просторечия, создать формы общественного «красноречия», далекого от приказных и церковных стилей, чуждого всякой «простонародности», ориентируясь на французский язык и на риторику «благородного» буржуазно-дворянского круга. Различие между стилями салонно-литературного языка было обусловлено степенью риторической изощренности. «Высокий слог должен отличаться не словами или фразами, но содержанием, мыслями, чувствованиями, картинами, цветами поэзии»[1], — писал П. Макаров, один из сторонников Карамзина.

§ 7. ЗНАЧЕНИЕ КАРАМЗИНА В ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Создание «нового слога» русской литературной речи, который должен был органически сочетать национально-русские и общеевропейские формы выражения и решительно порвать с архаической традицией церковнославянской письменности, было связано с именем Н. М. Карамзина. Карамзин стремился во всех литературных жанрах сблизить письменный язык с живой разговорной речью образованного общества. Однако, считая русский общественно-бытовой язык недостаточно обработанным, Карамзин надеялся поднять его идеологический уровень и усилить его художественно-выразительные средства с помощью западноевропейской культуры литературного слова. Он призывал писателей к заимствованию иностранных слов и оборотов или к образованию соответствующих русских для выражения новых идей и в своей литературной деятельности дал яркие и чаще всего удачные образцы словотворчества (ср., например, такие образования, как *влюбленность, промышленность, будущность, общественность, человечный, общеполезный, достижимый, усовершенствовать* и др.). Стараясь привить русскому языку отвлеченные понятия и тонкие оттенки выражения мысли и чувства, выработанные западноевропейской культурой, Карамзин расширял круг значений соответствующих русских или обрусевших церковнославянских слов (например *образ* — в применении к поэтическому творчеству; *потребность, развитие, тонкости, отношения, положения* и мн. др.). Освобождая русский литературный язык от излишнего груза церковнославянизмов и канцеляризмов (вроде: *учинить, изрядство* и т. п.), Карамзин ставил своей задачей образовать доступный широкому читательскому кругу о д и н язык «для книг и для общества, чтобы писать, как говорят, и говорить, как пишут». Сторонник и последователь Карамзина — П Макаров так характеризовал стилистическую позицию новой

[1] *Макаров П.* Соч. и переводы, т. 1, ч. 2, с. 40.

литературной школы: «Фокс и Мирабо говорили от лица и перед лицом народа, или перед его поверенными, таким языком, которым всякий, если умеет, может говорить в обществе; а языком Ломоносова мы не можем и *не должны* говорить, хотя бы умели: вышедшие из употребления слова покажутся странными; ни у кого не станет терпения дослушать период до конца». Кроме того, старый книжный язык «сделался некоторым родом священного таинства, и везде там, где он был, словесность досталась в руки малого числа людей»[1]. Таким образом, Карамзин своеобразно разрешает задачу создания «языка общества». Реформированный им «новый слог Российского языка» не был достаточно демократичен. Он не включал в себя широкой и свежей струи простонародного языка и очень ограничивал литературные функции бытового просторечия. Он был несколько жеманен, манерен и излишне элегантен, так как исходил из норм дворянского салонно-литературного вкуса[2]. Но работа, произведенная Карамзиным в области литературной фразеологии и синтаксиса, поистине грандиозна. Карамзин дал русскому литературному языку новое направление, по которому пошли такие замечательные русские писатели, как Батюшков, Жуковский, Вяземский, Баратынский. Даже язык Пушкина многим обязан был реформе Карамзина. Н. И. Греч в своих «Чтениях о русском языке» так описывал влияние карамзинского стиля на русскую литературу: «Слог его изумил всех читателей, подействовал на них, как удар электрический... Карамзин... угадал и употребил русское словосочинение... Он увидел и доказал на деле, что русскому языку, основанному на собственных своих, а не на древних началах, свойственна конструкция новых языков, простая, прямая, логическая... Ломоносов создал язык. Карамзину мы обязаны слогом русским... С того времени стала возрастать русская литература и числом производимых ею творений и числом читателей. Она... сделалась необходимостью всей нашей публики»[3]. Карамзин производит новую грамматическую реформу русского литературного языка, отменяющую устарелые нормы ломоносовской грамматики трех стилей. Карамзиным выдвигается лозунг борьбы с громоздкими, запутанными, беззвучными или патетически-ораторскими, торжественно-декламативными конструкциями, которые отчасти были унаследованы от церковнославянской традиции, отчасти укоренились под влиянием латино-немецкой ученой речи. Принцип произносимый речи, принцип легкого чтения литературного текста, принцип перевода стиха и прозы в звучание, свободное от искусственных интонаций высокого слога, ложатся в основу новой стилистики. Проблема легкого логического членения речи, проблема естественной связи и последовательности мыслей была основной в карамзинской реформе синтаксиса. Выбрасывались архаические союзы, развивались новые значения у тех, которые упо-

---

[1] Московский Меркурий, 1803, декабрь, с. 180—181. Критика на книгу под названием «Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка»; ср. также: *Макаров П.* Соч. и переводы, т. 1, ч. 2, с. 39—40.

[2] См. ст.: Грот Я. К. Карамзин в истории русского литературного языка.— В кн.: *Грот Я. К.* Филологические разыскания, с. 46—99.

[3] *Греч Н. И.* Чтения о русском языке. СПб., 1840, ч. 1, с. 124—138.

треблялись в живой речи. Менялась структура «подчинения предложений». Сокращались объем, протяженность предложения.

Синтаксическая неорганизованность старого литературного языка особенно остро обнаруживалась в приемах союзного сцепления предложений. Отсутствие синтаксической перспективы и строгой логической расчлененности в строении периода характерна, например, для языка Державина.

В «Оде к премудрой Киргиз-Кайсацкой царевне Фелице»:

Пророком ты того не чнслишь,
Кто только рифмы может плесть:
А *что* сия ума забава,
Калифов добрых честь и слава,
Снисходишь ты на лирный лад.

В стихотворении «Крестьянский праздник»:

И днесь, как звери, с ревом, с воем,
Пьют кровь немецкую *разбоем*,
Мечтав, и *Русь что* мищура.

В балладе «К старухе»:

Горит — как печь, хладна как лед!
Но *в клетке ветр сдержать желая*,
И *птички как полет?* Кто сед,
Прости уже, любовь драгая.

Карамзин разрабатывает сложные и узорные, но легко обозримые формы разных синтаксических фигур в пределах периода. Строй крупных синтаксических объединений в языке Карамзина основан на принципе сцепления однородных (односоюзных или бессоюзных) предложений. Фраза сжималась, укорачивалась. Сокращение союзов возмещалось многообразием экспрессии, игрой живых интонаций. Почти полностью сохранились лишь союзы сочинительные, из которых чаще всего употреблялись *и*, *или*, *а* и *но*, очень редко — *ибо*. Из подчинительных союзов остались лишь: *что*, *чтобы*, *когда*, *как*, *пока* или *покамест*, *между тем как*, *едва*, *лишь*, *потому что*, *затем что*, *для того что*, *есть ли* (=если), (очень редко — *ежели*) и формы относительного связывания (*который*, *кой*, *где* и т. п.). Устранение устарелых союзов (вроде: *поелику*, *понеже*, *зане*, *дабы* и т. п.) придавало новому слову элегантную простоту. Длинные включения предложений — одного в другое — запрещались. Формы сочинения получили перевес над формами подчинения. Возросло смысловое разнообразие бессоюзных сочетаний. Укреплялся прием неожиданных и остроумных присоединений. Сокращение количества союзов, обладавших правами литературного гражданства, вело к усложнению функций правоспособных союзов, в которых развивались тонкие экспрессивные оттенки значений. Отрыв от старой книжной традиции был осуществлен. «Последователи Шишкова предавали проклятию новый слог, грамматику и коротенькие фразы»[1], — вспоминал Н. И. Греч в своих записках.

[1] *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М. — Л., 1930, с. 250—251.

«Карамзин имел огромное влияние на русскую литературу, — писал В. Г. Белинский, — он преобразовал русский язык, совлекши его с ходуль латинской конструкции и тяжелой славянщины и приблизив к живой, естественной, разговорной русской речи. Своим журналом, своими статьями о разных предметах и повестями он распространял в русском обществе познания, образованность, вкус и охоту к чтению. При нем и вследствие его влияния тяжелый педантизм и школярство сменялись сентиментальностью и светскою легкостью, в которых много было странного, но которые были важным шагом вперед для литературы общества»[1]. Язык Карамзина, правда, сам переживший сложную эволюцию от «Писем русского путешественника» и «Бедной Лизы» до последних томов «Истории Государства Российского», ложится в основу новой грамматической нормализации*[2].

§ 8. ГРАММАТИЧЕСКАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЕ XIX в.

Перегруппировка стилей, разрушение высокого славянского слога, ограничение литературных функций и состава просторечия не могли осуществиться без перестройки морфологической системы русского литературного языка. Часть грамматических форм, допускавшихся раньше в простой слог, теперь выбрасывались за пределы литературного языка. Некоторые из морфологических особенностей высокого слога сдавались в исторический архив, другие — вовлекались в структуру тех стилей, которые объявлялись нормой литературного выражения.

Нормализация морфологического строя речи, изменяя строение и значение грамматических категорий, производя отбор форм, устраняя грамматические архаизмы и вульгаризмы, привела в начале XIX в. к устойчивой грамматической системе русского литературного языка, усвоенной в основных чертах и стилями XIX в.

Так, в литературной речи начала XIX в. признаются неправильными и начинают уменьшаться в числе такие особенности простого слога:

1. Отвергается образование им. пад. мн. ч. на *-и*, *-ьи*, *-ии* и *-ы* от имен существительных ср. р. В «Начальных основаниях Российския грамматики» П. И. Соколова (1806) преподавалось: «Неправильно пишут *мучении* вместо *мучения; странствовании* вместо *странствования*... Равным образом противу грамматических правил пишут: *сокровищи* вместо *сокровища; свойствы* вместо *свойства*». Считается нормальным окончание *-ы*, *-и* в им. пад. мн. ч. имен существительных ср. р. только у уменьшительных на *-це: зеркальце — зеркальцы, окон-*

[1] *Белинский В. Г.* Статья «Сочинения Александра Пушкина». — В кн.: *Белинский В. Г.* Соч. М., 1847, ч. 8, с. 124*[1].

це — *оконца, оконцы* и т. д.[1] — и на *-ко:* *местечко* — *местечки*. «Неправильно написать *окны* вместо *окна*»[2].

Однако отношение к формам им. пад. мн. ч. вроде *имении, мучении, желании* и т. п., нередким в языке Сумарокова, Фонвизина, Радищева и других писателей XVIII в., и к формам типа *вороты, белилы* и т. п. было разное. *Мучении, имении* и тому подобные формы на *-ии* категорически запрещались грамматикой начала XIX в. В замечаниях членов «Беседы любителей российского слова» об ироикомической поэме Шаховского «Расхищенные шубы» не раз указывается: *подражанья*, а не *подражаньи*, *мудрствия*, а не *мудрствии* и т. п.[3] Формы же *леты, селы* и т. п. окончательно устранены из литературного языка только в период последующей грамматической рационализаций и стандартизации к половине XIX в.[4]

2. Объявляется нелитературным род. пад. мн. ч. на *-иев, -ев, -ов* от имен существительных ср. и жен. р. Исключение составляют некоторые имена, кончающиеся на *-ье*, особенно употребляемые в просторечии, как то: *кушанье* — *кушаньев, поместье* — *поместьев*[5]. Ср. в замечаниях членов «Беседы любителей российского слова»: «Родительный пад. множ. числа имени *крыло* — *крыл* и *крыльев*, но не *крылиев*»[6].

3. Запрещается тв. пад. мн. ч. на *-ы, -и* от имен существительных муж. и ср. р., частый у продолжателей ломоносовской традиции, но уже начавший вымирать во вторую половину XVIII в.

4. Осуждаются формы тв. пад. мн. ч. на *-ьми* вроде *избавительми, победительми* (Фонвизин), *коньми, рыцарьми* (Державин) и т. д. Однако эти формы, хотя и редкие, употребляются как дублеты и в первой половине XIX в., суживая свои пределы и постепенно превращаясь в немногочисленную, замкнутую категорию однообразных примеров[7].

5. Порицаются, хотя и не исчезают вовсе из письменной речи, формы дат. и пред. пад. на *-е* от имен существительных жен. р. типа: *шинеле, при мысле, на кровате*, и т. п., формы род. пад. на *-е* от имен существительных жен. р. с окончанием *-а*, например *у колонне* и т. п. и другие просторечные образования.

---

[1] Российская грамматика, сочиненная Российской академией. 2-е изд. СПб., 1809, с. 75; ср. у Н. И. Греча в «Практической русской грамматике» (СПб., 1834, с. 59) выбор того же примера для этой категории на *-ы* (*зеркальцы*). Отсюда и *солнцы*.

[2] Там же, с. 28; примеры из писателей конца XVIII — первой половины XIX в. см. у С. П. Обнорского в «Именном склонении в современном русском языке» (Л., 1930, вып. 2, с. 123—125).

[3] *Гуковский Г. А.* Литературное наследие Державина. — В кн.: Литературное наследство. М., 1933, № 9—10, с. 390—391.

[4] Ср.: *Лобов Л. П.* Из истории русского литературного языка. — Сборник общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете, 1929, вып. 3, с. 171—172.

[5] *Греч Н. И.* Практическая русская грамматика, с. 63; ср. также: *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи. Пг., 1915, вып. 2, с. 84, 90—91.

[6] Литературное наследство. М., 1933, № 9—10, с. 390.

[7] Ср.: *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи, вып. 2, с. 80.

6. Сравнительная степень на *-яе* устраняется. Утверждаются окончание *-ее* (*-ѣе*) независимо от ударения.

Нормализация грамматических форм и функций ограничивает употребление в литературном языке морфологических диалектизмов. В пределах грамматики простого слога происходит сложная дифференциация. Целый ряд морфологических категорий, бывших приметами простого слога, теперь принимается в литературный язык без специальной стилистической мотивировки.

1. Формы род. пад. ед. ч. имени существительного муж. рода на *-у* (*взгляду* и т. п.) и предл. пад. на *-у* выводятся за пределы просторечия. Они более строго прикрепляются к определенным семантическим группам имен существительных — например, род. пад. на *-у* к категории существительных отвлеченных, собирательных и вещественных, и уменьшаются в числе[1]. В устной речи употретбление этих форм было шире и свободнее. Это создавало колебания и в литературном языке.

Н. И. Греч указывает, что формы род. пад. на *-у* встречаются «особенно в просторечии», не допускает их применение и в средних стилях литературного языка[2].

2. Употребление *-ье, -ья, -ью* и т. п. вместо *-ие, -ия, -ию* и т. п. предоставляется «воле пишущего»[3]. Но в именах, имеющих перед этими звуками «шипящую букву», Гречем, по-видимому, искусственно предписывается всегда производить сокращение — например *помощью, ночью*[4] и т. п.

3. Получают более широкое распространение в литературном языке формы им. пад. мн. ч. на *-а* от имен существительных муж. р.[5], захватывая и категорию одушевленности.

4. Формы им. пад. мн. ч. на *-ья* (типа: *брусья, крючья, листья, друзья*), еще «Российской грамматикой, сочиненной Российской академией», оцененные как просторечные, теперь считаются общелитературными. Определяются семантические различия между *листы* и *листья, мужи* и *мужья, крюки* и *крючья, зубы* и *зубья* и т. п.[6]

5. В тв. пад. ед. ч. имен существительных жен. р. окончания *-ою, -ой* признаются равноправными[7], но в формах твор. пад. имен прилагательных жен. р. окончание *-ой, -ей* рассматривается как «сокращение, употребляемое в просторечии»[8].

6. Формы им. пад. ед. ч. муж. р. прилагательных на *-ой, -ей* вместо *-ый, ий* род. пад. муж. и ср. р. *-ова, -ева, -ово, -ево* перестают быть признаками простого слога, так как признаются графическим

---

[1] См.: *Востоков А. Х.* Русская грамматика. СПб., 1831, § 28. Ср.: *Unbegaun B.* La langue russe au XVI siècle. P., 1935.

[2] Ср.: Российская грамматика, сочиненная Российской академией, с. 65, 67. *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи, вып. 2, с. 27—28.

[3] См.: *Греч Н. И.* Практическая русская грамматика, с. 67.

[4] См. там же, с. 67.

[5] Ср.: *Обнорский С. П.* Именное склонение в современном русском языке, вып. 2, с. 4 и след.

[6] *Греч Н. И.* Практическая русская грамматика, с. 63—64.

[7] См. там же, с. 57.

[8] Там же, с. 63—64.

отражением нормального литературного произношения (что связано с признанием окончаний *-аго*, *-яго* и т. п. — приметой церковного чтения).

Однако само понятие общенационального просторечия в аспекте литературного языка не умирает. Оно противополагается по грамматическому строю областным отклонениям как близкая к литературной речи разновидность «общего языка». Например, многократный вид глаголов относится к просторечию[1]. Для просторечия характерны «частицы присловные»: *-ко*, *-то*, *-от*, например: *давай-ко*, солдатка-то, *отец-то вышел*[2]. Окончания деепричастий *-ючи* и *-ши*, по грамматике Греча, употребляются преимущественно в «изустном разговоре, в просторечии» и «неупотребительны на письме и в возвышенном слоге».

Уже эти примеры стилистической перегруппировки форм с достаточной определенностью рисуют процесс образования «нейтральной» грамматической системы литературного языка, которая должна была регулировать и разговорную речь интеллигенции.

Но сближение литературной речи с разговорным языком сопровождается и обратным течением в сторону книжного языка. Происходит общелитературное освоение некоторых форм высокого слога, их нейтрализация.

Морфологические категории высокого слога, не носившие отпечатка архаичности или церковнокнижности, теперь включаются в общую грамматическую систему литературной речи. Таковы, например, формы сравнительной и превосходной степени[3] на *-ейший*, *-айший*, формы причастий, деепричастий. Интересно сопоставить отношение к категориям причастия и деепричастия академической грамматики и грамматики Греча. В первой — соответственно ломоносовской традиции — причастия, особенно причастия настоящего времени на *-щий*, еще рассматриваются как свойство высокого слога: «Причастия, а наипаче настоящего времени, по большей части употребляются в высоком слоге, следовательно, от простых глаголов, каковы суть *вялю*, *топчу*, *барышничаю* и пр. причастия не употребляются, а вместо оных глаголы употребляются в изъявительном наклонении с местоимением *который* или *кой*». В грамматике Н. И. Греча молчаливо допускается возможность образования причастий от глаголов разной стилистической окраски и причастия рассматриваются как общее достояние литературно-книжного языка[4]. В «Чтениях о русском языке» Н. И. Греч, склоняясь к петербургской чиновничьей тенденции — сделать разговорный язык более книжным, даже писал: «Некоторые граматеи выражали странное мнение, будто причастия и деепричастия могут быть употребляемы только в книжном языке, в высшем слоге, придерживающемся оборотов церковного языка. Мы находим это несправедливым: гораздо лучше, приятнее, выразительнее, коро-

---

[1] См.: *Греч Н. И.* Практическая русская грамматика, с. 167.
[2] Там же, с. 216.
[3] См. там же, с. 87.
[4] См. там же, с. 246.

че употреблять причастия и деепричастия, нежели затычки: *который, кой, как, так, после того, что, когда, тогда* и т. п. На это возгласят, что у нас они не употребляются в изустном разговоре. Вольно говорить дурно!»[1] Но вообще категория причастий, распространившись на все глаголы, входит преимущественно в норму книжного языка — в отличие от разговорного (ср. суждение о формах причастия А. С. Пушкина). Европеист Дашков, отстаивая свободу писателя употреблять по произволу и конструкции с *который* и причастные обороты, заявлял: «Не токмо в стихах, но и в прозе писать все причастями и деепричастиями была бы такая же принужденность... как избегать оные там, где они необходимы» (Цветник, 1810, № 11, ч. 8, с. 288).

Любопытно, что в литературных стилях конца XVIII — начала XIX в. причастия получают более явственный оттенок «прилагательности», «качественности».Об этом свидетельствует широкое распространение прилагательных на *-мый* со значением способности, пригодности к чему-нибудь, возможности или невозможности чего-нибудь (соответственно французскому суффиксу able), например: *непроницаемый, неутомимый, вменяемый, достижимый* (достижимая цель)[2] и др. под. Качественные значения широко развиваются у причастий прошедшего времени страдательного залога, например: *смущенный взор, удивленное выражение лица* и т. п. Усиление качественности причастий доказывается попыткой Карамзина распространить формы степеней сравнения и на причастия. Так, он писал (в переводе заметки Лафатера): «Чем простее, вездесущнее, всенасладительнее, постояннее и благодетельнее есть средство или предмет, в котором или через который мы сильнее существуем, тем существеннее мы сами, тем мы мудрее, свободнее, любящее, любимее, живущее, оживляющее, блаженнее, человечнее, божественнее»[3]. Но эти формы не привились. Они были отвергнуты грамматической рационализацией 20—30-х годов. Н. И. Греч писал в «Чтениях о русском языке»: «Имеют ли причастия степени сравнения, то есть: можно ли сказать: *любящее, влюбленнее, живущее?* Нет. Имея значение времени, они не могут в то же время означать степень качества»[4]. Однако усиление значения качественности в причастиях повело к некоторому изменению синтаксической роли их времени. Например, именно в эту эпоху начинается смешение нестрадательных форм прошедшего и настоящего времени причастий несовершенного вида при сказуемом-глаголе прошедшего времени, так как причастие настоящего времени становилось все менее и менее способным выражать временные оттенки. Так, у Карамзина в «Бедной Лизе»: «Остановилась над Лизой, лежавшей на земле»; и там же: «Видались под тенью дубов, осеняющих глубокий, чистый пруд».

Но в русском литературном языке того времени преобразование причастия было органически связано с общим усилением значения

---

[1] *Греч Н. И.* Чтения о русском языке, ч. 2, с. 44.
[2] *Карамзин Н. М.* Соч. СПб., 1848, т. 2, с. 243.
[3] Там же, с. 243—244.
[4] *Греч Н. И* Чтения о русском языке, т. 2, с. 43.

категории качественности в грамматической системе. Этому сложному семантическому процессу помогал тесный контакт с французским языком, имевшим тонко разработанную систему отвлеченных понятий и качественных определений. Имена прилагательные тогда не только расширяют сферу своих значений, но и изменяют свою грамматическую структуру. Получают широкое развитие формы качественных прилагательных, соответствующих имени существительному с предлогом, например: *бестрепетный* (Жуковский), *замогильный* и т. п. Развитие качественности содействует ограничению употребления притяжательных прилагательных. Под влиянием европейских языков предпочитается замена их формой род. пад. имени существительного. Ср. широкое употребление таких форм в языке до конца XVIII в. У Майкова: *львов приход*; у Карамзина в «Переводах»: *жена откупщикова, у дверей священникова дому, после крестьянкиной смерти* и т. п.[1] Вместе с тем широко распространяются разного рода отыменные образования глаголов (особенно с темой имени прилагательного типа *улегчить* и *облегчить* и т. п.). Имена прилагательные очень часто у некоторых писателей той эпохи выступают в функции имени существительного. Ср. у Жуковского: «так живо близкое, далекое так ясно» (II, 150); «умерщвляй одно лишь смертное» (III, 196); «великое свершается в отчизне» (III, 215); «кто-то светлый к нам летит, подымает покрывало и в далекое манит» (IV, 131); «иль оплакивать бывалое слез бывалых дайте мне» (IV, 141); «счастлив еще, когда при разделе житейского был ты» (V, 232) и мн. др.

Так меняются границы и функции грамматических категорий и производится из «старого слога» отбор форм для «нейтральной», общей грамматической системы обновленного русского национально-литературного языка, который вступает в живое взаимодействие с разговорной речью разных социальных слоев. Поэтому книжно-архаические и церковнославянские формы подвергаются оценке с точки зрения норм общественного употребления и в значительном количестве исключаются. Происходит напряженная борьба с морфологическими «архаизмами» высокого слога, вроде род. пад. ед. ч. жен. р. прилагательных на *-ыя* и *-ия* (*великия, грозныя* и т. п.), которые на некоторое время, до 30-х годов, еще сохраняются в стихотворном языке[2]; вроде инфинитива на неударяемое *-ти*; 2-го лица настоящего — будущего времени на *-ши* и т. п. Характерна тенденция точно определить категории чередования звуков *т — щ* в формах спряжения. Например, Греч допускает *щу* (вместо *чу*) только в таких глагольных основах на *-тить: богатить, вратить, кратить, претить, работить, святить, сытить, сетить, хитить* и немногих других, заимствованных непосредственно из церковнославянского языка, и в четырех глаголах на *-тать: клеветать, роптать, скрежетать* и *трепетать*[3].

Так русский литературный язык в конце XVIII — начале XIX в.

---

[1] Ср.: *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи, вып. 2, с. 158, 167—168.

[2] Ср.: *Греч Н. И.* Практическая русская грамматика, с. 88.

[3] Там же, с. 142.

ограничивает церковнославянскую стихию в сфере грамматических форм и категорий и вырабатывает стройную систему грамматики, сближенную с разговорным языком и его в свою очередь контролирующую.

§ 9. ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЕ XIX в.

Фонетическая система русского литературного языка также к началу XIX в. выливается в устойчивые формы. Диалектальным, поместно-областным колебаниям произношения противополагается фонетическая структура «общего» русского языка, покоящегося на средних нормах московского произношения [1]. Отголоски севернорусского (например о вместо *е* в безударном слоге, отражения оканья и т. п.) и южнорусского произношения (например, яканье, длительное *г* и т. п.) осуждаются в литературном языке. Точнее определяются правила и нормы аканья [2]. Но главное регламентируется отношение между русскими и церковнославянскими фонетическими особенностями. Распространяется о вместо ударного *е* (не на месте исконного ѣ) перед твердыми согласными и на конце слов приблизительно на те слова и формы, в которых оно звучит в настоящее время. Исключение делается только для «слов церковнославянских, в просторечии неупотребительных» [3], например: *уже, сие, бытие.* Сужается сфера употребления фрикативного *г*. Это явление легко доказать сопоставлением правил «Российской грамматики, сочиненной Российской академией» (СПб., 1809), отражающей «старый слог российского языка», и грамматики Греча, основанной на нормах нового стиля, утвержденного Карамзиным. «Грамматика Российской академии» учит, что как латинское h буква *г* произносится в словах, заимствованных из славянского языка и высокому слогу свойственных, например: *глава, погасаю, возгнещаю, господствую, гортань, гугнивый* (7). Вместе с тем отмечается как норма произношение *х* вместо *г* в конце слов (7—8) и указывается, что в этом положении *г* выговаривается лишь иногда на подобие *к*, например: *друк, снек, недосук* (с. 8).

---

[1] Ср. еще в «Грамматике» проф. А. А. Барсова (1780) замечания о фонетических диалектизмах в московском произношении; см.: *Чернышев В. И.* Несколько указаний на московское наречие в конце XVIII в.— РФВ, 1904, т. 51, № 1—2. По данным «Грамматики» Барсова видно, что еще в конце XVIII в. говор Москвы и ее окрестностей был более смешанным. В нем можно было еще нередко услышать некоторые южные особенности, например *ф* вместо *хв: фалить, фатать, х* в конце слов на месте *г (нох, мох — мог)*. Во времена Барсова в некоторых московских семьях акали сильнее: *яму, твоямy, просвященный*. Но, с другой стороны, в московской же среде жили и севернорусское оканье и безударное о̂ на месте е *(пишот, сыплиотся)*. Но эти крайности в литературном произношении отвергаются, а за образец принимается произношение коренного московского и подмосковного «знатного и среднего дворянства».

[2] Ср. указания «Практической русской грамматики» Н. И. Греча, с. 474, 475, 477. Карамзин вводит ё для обозначения русского о на месте церковнославянского *е* уже в «Аонидах» (1797, кн. 2); ср.: *Грот Я. К.* Спорные вопросы правописания.— В кн.: *Грот Я. К.* Филологические разыскания, с. 658.

[3] *Греч Н. И.* Практическая русская грамматика, с. 417.

В грамматике же Греча формулировка правил о произношении буквы *г* резко изменяется и принимает такой вид: «В начале и средине слов как *г*, например: *гром, глаз, губа, пагуба, гну, горе, игра;* в словах, непосредственно перешедших из церковнославянского языка, пред гласною как h, например: *господь, благо, бога* и т. д.». Поэтому нормальным признается произношение в конце слов *г* как *к* (*друк, порок, снек*), кроме слов *бог, убог*.

Так семантическое преобразование церковнославянизмов и книжных слов, их «обмирщение» сопровождается русификацией их фонетического облика. «Общеупотребительное произношение русского языка» противополагается «чтению церковных книг». «Книги церковнославянские читаются так, как пишутся, например, слова: *единаго, моего, Петр* не выговаривают: *единова, моево, Пётр*»[1].

В соответствии с нормами городского (столичного) просторечия признаются общелитературными некоторые фонетические свойства простого слога, например: произношение *ава, ева, ова, ево*, в род. пад. муж. и ср. р. ед. ч. прилагательных (или *шн* вместо *чн*)[2].

Итак, в системе русского литературного языка конца XVIII — первой трети XIX в. определяются законы и правила литературного произношения, в существенных своих чертах не подвергавшиеся коренной ломке до эпохи революции.

§ 10. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ «САЛОННО-ДВОРЯНСКИХ» СТИЛЕЙ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Литературные стили конца XVIII — первой четверти XIX в. в области фонетики, морфологии и синтаксиса наметили в основном структуру русского национально-литературного языка. В них обозначились основные линии грамматической эволюции русского литературного языка в XIX в. Но лексический состав, семантическая система и идеология господствующих литературных стилей XVIII в. были очень узки, социально ограничены. Поэтому эти стили не могли удовлетворить все слои русского общества, которым они внушались как строго замкнутая система литературно-книжного выражения.

---

[1] *Греч Н. И.* Практическая русская грамматика, с. 421.
[2] См. там же.

V. Стилистические противоречия в литературном языке первой трети XIX в

§ 1. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ СТИЛЕЙ КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX в.

Литературные стили русского языка, формировавшиеся во второй половине XVIII в. и окончательно сложившиеся в первые десятилетия XIX в., претендовали на значение семантического центра общенациональной русской речи.

Русское общество первой четверти XIX в. именно с этой точки зрения расценивало реформу русского литературного языка, которая была прикреплена к имени Карамзина.

«В конце XVIII столетия, вследствие повсюдного распространения знаний, — пишет Н. Л., автор статьи «О составных началах и направлении отечественной словесности в XVIII и XIX вв.» (1835), — с основанием многих учебных и ученых заведений развился в России новый класс людей образованных. Этому классу, равно далекому от утонченностей и блеска придворной жизни, как и от схоластической славяно-греко-латинской учености тогдашнего времени, нужны были новый язык и новая словесность, соответствующая характеру его образования. Карамзин первый отозвался на эти потребности... Видно, что язык его останется навсегда языком русской словесности, несмотря на все изменения, каким она может подвергнуться в направлении своем. Но средний класс, для которого Карамзин создал язык, только что вступал еще на поприще духовной деятельности: ни вкус его, ни понятия еще не были развиты; и потому не удивительно, что Карамзин, столько превосходивший своих предшественников по языку, как бы отстал от них в первых своих сочинениях по возвышенности и силе мыслей»[1].

Точно так же писал о Карамзине Н. Стрекалов: «В отношении к языку Карамзин является начинателем нового периода в нашей словесности. Этим он отвечает на требование новой формы, языка на-

---

[1] *Вульф.* Чтения о новейшей изящной словесности. М., 1835. Дополнительная глава переводчика, с. 463—464.

родного, для литературы народной. Но по духу своих произведений Карамзин решительно принадлежит предыдущему веку — и заключает собою нашу словесность XVIII столетия»[1]. Имя Карамзина было символом всей системы нового литературного стиля. С. П. Шевырев выразил общее представление эпохи: «Речь Карамзина была чрезвычайно оригинальна, когда в первый раз явилась на Руси после тяжеловесного периода древней школы. Но эта оригинальность ее заключает в себе черты общие, всем доступные, никому не обидные... Вот почему ее так скоро усвоили себе писатели всей России и слог Карамзина стал слогом всех»[2].

Однако даже те писатели из дворянской, а особенно из разночинно-демократической среды, которые восприняли и усвоили внешние формы нового слога российского языка, отмечали идеологическую бедность его. К 30-м годам XIX в. признание идейного однообразия, интеллектуальной скудности, социально-стилистической ограниченности, неполноценной «народности» салонно-литературного языка, символически связанного с именем Карамзина, стало общим местом. Оно было утверждено «Московским телеграфом»; оно входило даже в «Руководства к познанию истории литературы». Так, В. Плаксин, один из разночинных критиков и литературоведов 20-х — 30-х годов, отказывается признать Карамзина преобразователем русской прозы из-за бедности идей в его произведениях: «Тот может быть назван преобразователем прозы, кто дает новое направление понятиям, изменяет общий способ воззрения на предметы, подлежащие знаниям, кто вместе с тем изменяет способ выражения положительных знаний... Карамзин... не был выше своего века, он нашел в душе своей все совершенства и недостатки оного, действовал в литературе по тем же самым идеям, и даже применялся к его слабостям»[3]. С иной точки зрения на лексическое и экспрессивное однообразие, на социально-групповую замкнутость салонного стиля еще в 20-х годах указывал В. К Кюхельбекер: «Из слова... русского богатого и мощного силятся извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный для немногих язык, un petit jargon de coterie»[4]. Антинационализмом салонно-дворянского языка возмущались даже такие писатели, как кн. В. Ф. Одоевский. Арист, герой его произведения «Дни досад» (Письмо к Лужницкому старцу. — Вестник Европы, 1823, июнь, № 11), подчеркивает галлицизмы, которыми пестрит великосветский язык: *сформировать себе пару платья; быть в вояжах; аранжировать дела; слышал ее петь; третировать нас* и т. д. Ср.: *Выдать себя за человека степенного и основательного или, говоря по-светски, солидного* (там же, № 17, с. 31).

В. Г. Белинский в «Литературных мечтаниях» заявлял: «Может

---

[1] *Стрекалов Н.* Очерк русской словесности. М., 1837, с. 99*[1].

[2] *Шевырев С. П.* Взгляд на современную русскую литературу. — Москвитянин, 1842, № 2, с. 166.

[3] *Плаксин В.* Руководство к познанию истории литературы. СПб., 1833, с. 266, 316—318.

[4] *Кюхельбекер В. К.* О направлении нашей поэзии, особенно лирической в последнее десятилетие.— Мнемозина, 1824, № 2*[2].

ли художник унизиться, нагнуться, так сказать, к публике, которая была бы ему по колена, и потому не могла бы его понимать!.. Карамзин писал для детей и писал по-детски: удивительно ли, что эти дети, сделавшись взрослыми, забыли его и, в свою очередь, передали его сочинения своим детям. Это в порядке вещей»[1].

В тех же «Литературных мечтаниях» Белинский подчеркивал недостаток народности и идейной глубины в карамзинской реформе русского литературного языка: «Тогда был век фразеологии, гнались за словом, и мысли подбирали к словам только для смысла. Карамзин был одарен от природы верным музыкальным ухом для языка и способностью объясняться плавно и красно, следовательно, ему не трудно было преобразовать язык. Говорят, что он сделал наш язык сколком с французского, как Ломоносов сделал его сколком с латинского. Это справедливо только отчасти. Вероятно, Карамзин старался писать, как говорится. Погрешность его в сем случае та, что он презрел идиомами русского языка, не прислушивался к языку простолюдинов и не изучал вообще родных источников»[2].

Таким образом, внутренние противоречия, заложенные в салонных стилях, идеологическая узость и экспрессивная бедиость их, при утонченной отделке внешних форм выражения, лишали этот литературный язык устойчивости и жизнеспособности, мешали его «обобществлению». Кроме того, большим препятствием к национализации литературных стилей карамзинской школы, к возведению их на степень общелитературного языка была их социально-диалектная ограниченность, недостаток в них народности и широкого демократизма. Эти стили оставляли за пределами литературного языка большую часть инвентаря книжной и разговорно-бытовой речи разных слоев общества.

§ 2. ОБЩЕСТВЕННО-БЫТОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ЖИВУЧЕСТИ ЦЕРКОВНОКНИЖНЫХ РЕЧЕВЫХ ТРАДИЦИЙ

«Новый слог» русского литературного языка противополагался старой книжной культуре, которая была основана, главным образом, на структуриых элементах церковиославянской речи. Естественио, что новые литературные стили встречали резко враждебный отпор в тех общественных группах, идеология которых находила литературное выражение в формах церковнокнижного языка. Такими группами были духовенство, бюрократические круги и широкие слои городской буржуазии, купечества, часть дворянства. Правда, иекоторые слои духовенства, преимущественно придворного, столичного, а также отдельные представители высшего монашества, подвергались «европеизации». Однако такие типы, как описанный в «Записках» Гаврила Добрынина архиерей-вольтерьянец, поклонник Парижа и французской культуры, все же были исключением. П. А. Вяземский

---

[1] *Белинский В. Г.* Соч. М., 1872, ч. 1, с. 65*[3].
[2] Там же, с. 64*[4].

иронически рисует в своей «Старой записной книжке» картину языкового взаимодействия между духовенством и европеизированным дворянством: «Во дни процветания библейских обществ, манифестов Шишкова и злоупотребления, часто совершенно не у места, текстами из священного писания, Дмитриев (бывший министр и поэт — сподвижник Карамзина) говорил: «С тех пор как наши светские писатели просятся в духовные, духовные стараются применить язык свой к светскому». К нему ходил один московский священник, довольно образованный и до того сведущий во французском языке, что, когда проходил по церкви мимо барынь с кадилом в руках, говорил им: «Pardon, mesdames».

Он не любил митрополита Филарета и критиковал язык и слог проповедей его. Дмитриев... защищал его. «Да помилуйте, ваше превосходительство, — сказал ему однажды священник, — ну таким ли языком писана ваша «Модная жена?»[1].

Бюрократически-чиновничья среда сохраняла также много пережитков церковнославянского языка, который представлялся более близким к архаическому строю приказной речи. Из элементов церковнославянского языка преимущественно слагались формы официальной риторики (ср., например, стиль манифестов).

Любопытно, что В. А. Жуковский, обратившись к военно-патриотической оде (в 1806—1807 гг.), для своей «Песни барда над гробом славян-победителей» заготовляет архаический материал церковнославянских слов и выражений: *скудельный сосуд; одержание* — владение; *достояние* — наследство; *пасти* — управлять; *ущедрить; препоясать силою; одевая светом, яко ризою; умастить елеем* и т. п.[2]

Д. И. Фонвизин, заставляя в «Бригадире» (1766) советника говорить на смеси церковнославянской речи с канцелярски-официальным языком, точно воспроизводил бытовое явлеиие. Кроме того, чиновнические кадры в большом количестве составлялись из семинаристов. Ф. Ф. Вигель писал в «Воспоминаниях»: «При Екатерине дворяне собственно званием канцелярского гнушались, и оно оставлено было детям священно-церковно-служителей»[3].

Псалтырь, церковная книга, проповедь на церковнославянском языке оставались достоянием и чтением низов — купечества, людей третьего чина», подьячих... «Славянизм явился носителем одновременно двух функций: с одной стороны, он был проявлением проповеднической функции, связанной с традиционным значением церкви как агитатора и центра филологической культуры, с другой стороны, он был признаком национальным, поскольку славянская речь едва ли отличалась в сознании, ее культивировавшем, от древнерусской»[4].

За церковнокнижную культуру речи стояли и консервативные кру-

---

[1] *Вяземский П. А.* Старая записная книжка. Л., 1929, с. 76*[1].

[2] *Резанов В. И.* Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. СПб., 1916, вып. 2, с. 390—391.

[3] *Вигель Ф. Ф.* Воспоминания. М., 1865, ч. 1, с. 172.

[4] *Гуковский Г. А.* Радищев как писатель. — В сб.: Радищев. Материалы и исследования. М.—Л., 1936, с. 189.

8*

ги дворянства[1]. С одной стороны, провинциальное мелкопоместное дворянство еще не освободилось от традиции обучения грамоте по часослову и псалтырю. С другой стороны, разные слои дворянской бюрократии и знати видели в церковнокнижном языке и его идеологии охранительное национальное начало, противодействующее вредному влиянию французского языка и связанной с ним буржуазно-либеральной, материалистической или даже революционной идеологии. В этом смысле очень показательны политические намеки Шишкова на революционную идеологию защитников нового европеизированного, «французского» слога: «Следы языка и духа чудовищной французской революции, доселе нам неизвестные, мало по малу, но прибавляя от часу скорость и успехи свои, начали появляться и в наших книгах. Презрение к вере стало сказываться в презрении к языку славенскому»[2]. «Желание некоторых новых писателей сравнить книжный язык с разговорным, т. е. сделать его одинаким для всякого рода писаний, не похоже ли на желание тех новых мудрецов, которые помышляли все состояния людей сделать равными?»[3]. Другой славянофил, Е. Станевич, порицая М. Каченовского *2 за употребление в ироническом смысле церковнославянских слов и выражений: *одесную, ошуюю, стадо овец, козлища* и т. п., заявлял: «Один на посмеяние употребит из священной книги слово, другой, видя что сие нравится, попытается простерть свое дерзновение и далее; а наконец, ежели попустить ему, то вскоре, в угождение умов развращенных, сердец испорченных, все священное ниспровергнется, падет нравственность, законы потрясутся в их основании, и Мараты и Робеспиеры возникнут на гибель народов и человечества. От таковых-то шуток во Франции ниспроверглась вера»[4].

Языковая реформа «европейцев» казалась славянофилу-реакционеру попыткой «под именем русского языка произвести новый, который бы состоял из одного просторечия, располагаемого по складу французского языка, совершенно свойствами своими с нашим различного»[5]. Вяземский рассказывает характерный лингвистический анекдот : «В конце прошлого столетия сделано было распоряжение коллегией иностранных дел, чтобы впредь депеши заграничных министров писаны были исключительно на русском языке. Это переполошило многих из наших посланников, более знакомых с французским дипломатическим языком, нежели с русским. Один из них в разгаре Великой французской революции писал: *гостиницы гобзят* (*гобзити* — славянизм, означающий: делать обильным; *гобзовати* — изобиловать. — *В. В.*) *бесштанниками*, что должно было соответство-

[1] Ср. попытку В. А. Десницкого истолковать социально-политический смысл упорной борьбы за язык между шишковистами и карамзинистами во вступительной статье «О задачах изучения русской литературы XVIII в.» в кн.: Ироикомическая поэма. Л., 1933, с. 41—42.

[2] *Шишков А. С.* Записки, мнения и переписка. Berlin — Прага, 1870, т. 2, с. 4—5.

[3] *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов. СПб., 1825, ч. 4, с. 74.

[4] *Станевич Е. И.* Способ рассматривать книги и судить о них. СПб., 1808, с. 81—82.

[5] *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов. СПб., 1828, ч. 12, с. 163.

вать французской фразе: «les auberges abondent en sans-culotte» (гостиницы переполнены санкюлотами)».

В этой связи необходимо вспомнить изданный в 1797 г. (при Павле) декрет об «изъятии из употребления некоторых слов и замене их другими».

Слова отменяемые:	Взамен их повелено употреблять
сержант	унтер-офицер (хотя и прежде отставлен)
общество	этого слова совсем не писать
граждане	жители или обыватели
отечество	государство
приверженность	привязанность, или усердие.

Характерны также такие сообщения К. Массона в «Секретных записках о России» (М., 1918, т. 1)[*3]. «Одним из первых распоряжений Павла было строгое предписание торговцам стереть с своих вывесок французское слово *магазин* и подставить там русское слово *лавка*, приводя за основание, что один лишь император мог иметь магазины топлива, муки, зерна и пр., что ни один купец не должен подниматься превыше своего значения, но оставаться в нем в своей лавке» (с. 102). «Павел запретил особенным указом носить *фраки*, *жилеты* и *панталоны*. Он запретил Академии пользоваться термином *революция*, говоря о течении звезд, и предписал актерам употреблять слово *позволение* вместо слова *свобода*, которое они ставили в своих афишах» (с. 103).

Еще более яркий свет на общественно-политическую ситуацию языковой борьбы проливают фразеологические параллели «классического» высокого слога и романтического, нового, создавшегося на основе французской послереволюционной буржуазной семантики, в «Записках» Гавриила Добрынина:

«Я люблю говорить то, что понятно, и люблю слушать то, что ясно и полезно.

Для меня понятно, например: *восстановить и утвердить порядок правления.*	Но не на мой вкус: *поставить здание на незыблемых столбах политических.*
Я могу написать: *изнеможение или остаток законной силы и власти.*	Но никогда не напишу: *единая тень колоссального могущества.*
Я могу написать: *падение государства и его законов.*	Но не напишу: *потеря тяжести, равновесия политических постановлений.* Кто так пишет, тот моей своеобычливости кажется таким аптекарем, который в одной ступе толчет историю с механикой.
Я могу говорить:	Но не скажу:

---

[1] Ср. у Пушкина в «Послании к цензору»:
Старинной глупости мы праведно стыдимся,
Ужели к тем годам мы снова обратимся,
Когда никто не смел отечество назвать,
И в рабстве ползали и люди и печать?

французы уклонились от порядка, истины, должности.

Я могу говорить, что
духовенство могло бы произвести споры за веру, проклятия и казни.

Я разумею значение
отвратительного самолюбия.

Мне понятно:
исступление народа во время всеобщего мятежа.

Мне понятно:
французы, зараженные исступлением своих соотечественников.

Я разумею:
ужасное смятение народа в такой уже было степени, что всякая преграда благоразумия бессильна была отвратить его.

Нет такого таинства, что
кровожаждущему Робеспьеру отрублена голова на эшафоте 9-го термидора, при радостном рукоплескании всего народа.

французы уклонились от знамен философии.

Но не скажу, что
духовенство зажгло бы религиозную войну.

Но гнушаюсь
гнусным эгоизмом.

Но отвратителен:
энтузиазм народа в сию эпоху революционной бури.

Но смешно:
наэлектризованные сообщительным энтузиазмом французских патриотов.

Но стыжусь разуметь:
река революционная, которой берега низко опущены, развивалась с такою быстротою, что уносила с собою все оплоты, которыми хотели поздно удержать ее.

Но не кстати загадка:
глухой рев, который бывает предтечею бури, возвестил ее приближение, 8-го термидора гром загремел, а 9-го термидора удар совершился. Стрельцы, физики и канонеры говорят, что прежде совершается удар, а после ударяет гром; у наших ораторов напротив. Пусть так пишет мой современник Сегюр — он человек государственный»[1].

Характерна также борьба против «французского учения» и против распространения знания французского языка среди разных кругов русского общества во имя «противоположных истин» церковно-книжного просвещения в книгах вроде: «Предмет французского просвещения ума...» (1816). Здесь уже в «предуведомлении» издатель констатирует, что французский язык, который сначала был «в употреблении при всех европейских дворах, потом знатных фамилий в домах, наконец, распространился на людей всякого состояния. Начали почитать за необходимость знать французский язык и тем, которых природа определила, сидя на донце, обращать внимание свое на гребень»[2]. Еще более резко и подчеркнуто выступают социально-политические и идеологические мотивы борьбы против французского влияния в «Оставшемся после покойного NN рассуждении об опасности и вреде, о пользе и выгодах от французского языка (сравнение его с российским)»[3]. Излагается история «модного щеголя французского языка»: «За 400 или 500 лет был он еще деревенским мужичком, оляповат... За 200 лет или больше он поисправился, поприоделся, из крестьянина стал уже городовым купцом, а в сии 100 лет уже и в первую гильдию записался. Но сего не довольно; он спознал большой свет, а у большого света стал в знати... Наконец, в последние 50 лет, а в особенности лет за 25 сделался он по употреблению и

[1] *Добрынин Г. И.* Записки.— Русская старина, 1871, № 1—4, с. 270—271.

[2] Предмет французского просвещения ума и противоположные оному истины... М., 1816, ч. 2, с. 11.

[3] М., 1817, с. 54; 2-е изд., 1825.

по моде всеобщим почти во всей Европе, и в других частях света по соразмерности. В это время он уже крайне избаловался». И далее следует презрительное описание свойств французского языка: «...вертляв, лукав, высокомерен, вместе почтителен и вместе едок и горд, политикант крайний, пролазлив, любострастен и циник, обманчив, презирающ другими, все охуждающий у других, несносный самолюбец, одного себя выхваляющий, и начиная с Вольтера по сию пору восстал на все; старое портит и губит, а нового хорошо не видно: стал горами качать... Он сделался безбожен и стал распространять безбожие; он стал первым действующим оружием повсюдного головокружения и необычайно злых замыслов, от века неслыханных. Одним словом, по якобинцам, он сделался совсем диаволическим адским языком... Он очаровал сперва повсюду знатность, а потом и прочих в уме перепортил»[1].

§ 3. БОРЬБА РЕАКЦИОННЫХ ГРУПП РУССКОГО ОБЩЕСТВА ЗА ЦЕРКОВНОКНИЖНУЮ ЯЗЫКОВУЮ КУЛЬТУРУ

«Славянофилы» отстаивали церковнославянский язык как национально-историческую основу русской литературной речи, источник ее единства и ее риторических красок. А. С. Шишков был вождем консервативной группы славянофилов, противопоставлявших церковнокнижную идеологию тем буржуазно-революционным веяниям и идеям, которые несло с собой влияние французского языка. По мнению Шишкова, церковнославянский язык был первобытным языком всего человечества и сохранил в наибольшей чистоте первоначальную систему связи понятий, «коренные» образные формы идеального первоязыка. Церковнославянизмы, по Шишкову, не утратили «разума», выводимого из первоначального понятия, т. е. из корня[2]. Поэтому в церковнославянской речи прозрачнее и яснее группировка слов и понятий по «гнездам», по корням. Поэтому же церковнославянизмы богаты значениями и лаконичны. Различие между церковнославянским языком и русским общественно-бытовым — стилистическое. По корням оба языка «образуют один и тот же язык». Различие же их обусловлено соотношениями «ветвей»: «Всякое слово пускает от себя ветви, из которых иные приличны высокому, а другие простому слогу». Слоги литературного языка разграничены структурно, характером мыслей и форм их выражения. Те писатели, которые под влиянием французского языка стремятся создать однообразный стиль салонного выражения, не вдумываются в глубокие стилистические различия таких параллелей:

юная дева трепещет	молодая девка дрожит;
к хладну сердцу выю клонит	к холодному сердцу шею гнет;
склонясь на длань рукой	опустя голову на ладонь и т. п.—

---

[1] Ср.: *Булич С. К.* Очерк истории языкознания. СПб., 1904, т. 1, с. 580—581.

[2] См.: *Шишков А. С.* Собр. соч., и переводов, ч. 4, с. 27—31.

или не хотят заметить комической нелепости такого смешения: «Несомый быстрыми конями рыцарь низвергся с колесницы и расквасил себе рожу...» или: «Я, братец, велегласно зову тебя на чашку чаю...» или: «Препояши чресла твоя и возьми дубину в руки»[1]. Эта структурная разграниченность литературных стилей ярче всего изобличает всю нерассудительность, смехотворность карамзинской мысли о сближении и слиянии книжного языка с разговорным. «Нельзя сказать в разговоре: «Гряди, Суворов, надежда наша, победи врагов» или употребить такие слова, как *звездоподобный, златовласый, быстроокий*». С другой стороны, «весьма бы смешно было в похвальном слове какому-нибудь полковнику вместо: «Герой! вселенная тебе дивится», сказать: «Ваше превосходительство, вселенная вам удивляется»[2]. Точно так же странно, забывая внутреннее соотношение разных стилей и контекстов в пределах книжного языка, механически притягивать русский литературный язык к смысловой структуре языка французского. «Французы по недостатку сложных имен и сословов (т. е. синонимов) часто должны бывают употреблять одинакие слова как в простом, так и в высоком слоге. Они, например, между выражениями: *он разодрал себе платье* и *он растерзал свою одежду* — не могут чувствовать такой разности, какую мы в своем языке чувствуем, потому что они как в том, так и в другом случае употребят одинаковый глагол déchirer. Для выражения худого или изорванного платья имеют они пять сословов: haillons, quenilles, chiffons, lambaux, drillons; все сии слова суть самые простые, соответствующие нашим: *лохмотье, лоскутье, орепье, ветошки, обноски*, но высоких, тож самое значущих слов, таковых, как *рубище, вретище*, у них недостает»[3].

Другой пример: «*Ход* есть простое слово, среднему слогу мало, высокому же совсем не приличное и употребляемое токмо в общенародных разговорах, как например: не ходи, тут нет *ходу*; велик ли *ход* корабля? есть ли *ход* на рыбу, т. е. ловится ли рыба? и пр. Все происходящие отсюда названия частию суть самые простые, не могущие быть употребляемы в благородном слоге, как-то *ходьба, ходня, ходули, ходок* и пр. Итак, весьма странно читать, когда не разбирающие приличия слов писатели, последуя французскому выражению la marche de la nature, думают, что и нам вместо *течение природы* пристойно говорить *ход природы* и т. д. Мне кажется: *ход законов, солнца, государственных дел* и пр. вместо *течение законов, солнца, государственных дел* и пр. столь же не хорошо, как есть ли бы Ломоносов вместо *чрез огнь и рвы течет с размаху* сказал: *бежит с размахи*»[4].

Три ломоносовских стиля — это особого рода структуры, обладающие внутренним смысловым единством. Их цельность создается контекстом, сочетанием слов «одной высоты», равенством слога. «В слогах отдельно от выражений не всегда должно полагаться на

---

[1] *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов, ч. 4, с. 102.
[2] Там же, ч. 2, с. 432, 434.
[3] Там же, с. 134—135.
[4] Там же, ч. 4, с. 343.

один суд навыка, не внимая советам рассудка»[1]. Необходимо достигнуть «в прибирании слов искусства, какое должны иметь продавцы жемчужных нитей: малейшая худость или неравенство одной жемчужины с другими уменьшает в глазах знатока цену всей нитки»[2]. Между тем писатели, утратившие под влиянием французского языка чутье литературных стилей, ломают всю систему литературной фразеологии, разрушают «разум» языка. «Прежние писатели, прочитав стихи:

И душу первую и первый вздох зажег,
В победе чистыя любви приняв залог...

сказали бы: мы употребляем глагол *зажечь*, говоря о вещах, имеющих тело: *зажечь свечку, зажечь дрова* и пр. Но когда надлежало говорить о предметах умственных, о страстях, в которых предполагается некоторый огонь или пылкость, тогда находили приличнее вместо *зажечь* говорить: *воспламенить гнев, любовь, ярость* и пр. О вещах же таковых, как дума или вздох... не говорили мы ни *зажечь* ни *воспламенить*»[3].

Внутренняя цельность и единство стилей нарушаются внедрением иноязычных, например французских, смысловых связей и лексическими заимствованиями. «Всякое иностранное слово есть помешательство процветать своему собственному, и потому чем больше число их, тем больше от них вреда языку»[4].

Разграничение стилей и контекстов литературного языка связано с прикреплением к каждому из них группы литературных жанров. В пределах «простого слога» устанавливалось речевое взаимодействие между разговорно-бытовым употреблением и литературным. Эпиграммы, сонеты, сказочки, «басенки» вырастают на почве разговорного языка. В этих родах можно быть «прекрасным сочинителем, не знав и десятой доли своего языка»: тут «потребны только острота ума и обыкновенный в разговорах употребляемый язык»[5]. Но есть такие сферы творчества, в которых необходимо потенциальное обладание всем лексико-семантическим составом литературной речи. Вмещенные в установленный контекст книжного языка, эти жанры, однако, требуют непрестанного обогащения, приспособляя к своей структуре новые языковые формы. «Творцу поэмы, богослову, философу, сочинителю естественной истории и другим подобным писателям нужен не один токмо разговорный, но весь книжный язык и во всем его пространстве. Даже и оный иногда им не достаточен: они принуждены бывают сами творить, созидать слова для выражения своих мыслей»[6]. Так, Шишков, следуя ломоносовской традиции, делит словесность «на три рода». «Одна из них давно процветает, и сколько древностью своею, столько же изяществом и высотою всякое новейших языков витийство превосходит. Но оная посвящена была одним

[1] *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов, ч. 12, с. 182.
[2] Там же, ч. 4, с. 65.
[3] Там же, ч. 12, с. 201.
[4] Там же, ч. 5, с. 13.
[5] Там же, ч. 5, с. 18—19.
[6] Там же, с. 18—19.

духовным умствованиям и размышлениям. Отсюда нынешнее наше наречие или слог получил, и, может, еще более получит недосягаемую другими языками высоту и крепость. Вторая словесность наша состоит в народном языке, не столько высоком, как священный язык, однако же весьма приятном, и который часто в простоте своей скрывает самое сладкое для сердца и чувств красноречие... Третья словесность наша, составляющая те роды сочинений, которых мы не имели, процветает не более одного века. Мы взяли ее от чужих народов, но, заимствуя от них хорошее, может быть, слишком рабственно им подражали и, гоняясь за образом мыслей и свойствами языков их, много отклонили себя от собственных занятий»[1]. Эта третья словесность — литература среднего стиля, главным образом культивируемая писателями-западниками. Шишков вовсе не отрицает и не отвергает процветания словесности среднего стиля, несмотря на «необдуманно-избранный путь» подражания французскому языку, «отчасу далее отводящий нас от двух богатейших в языке нашем источников», т. е. церковнославянской стихии и «простонародной» речи.

Таким образом, в славянофильской концепции литературы и литературного языка упор был на книжную культуру речи, на церковнославянский язык, который вместе с живой русской устной речью рассматривался как органическая основа национального русского языка. Славянофилы были не «архаистами» вообще, а националистами-церковнокнижниками. Показательно в этом смысле замечание П. А. Катенина: «Напрасно силятся защитники нового слова беспрестанно смешивать в своих нападениях и оборонах высокий слог любителей церковных книг с обветшалым слогом многих из наших старых сочинителей, которые напротив держались одинаковых с новыми правил и только оттого не совсем на них похожи, что разговорный язык в скорое время переменился»[2].

Проблема социально-стилистических дроблений в сфере разговорного просторечия не получает у Шишкова принципиального обоснования и рассмотрения. Это и понятно. Ведь Шишков отрицает твердые и устойчивые нормы разговорной речи, наличие в ней «стилей»; только «книги пишутся простым, средним и высоким слогом». Карамзинисты, «перемешав, как видно, сии понятия, думают, что мы разговариваем между собою простым, средним и высоким языком. Признаться, что я о таком разделении разговоров наших на различные слоги отроду в первый раз слышу»[3]. Поэтому Шишков склонен относиться к устной стихии как к некоторому субстанциональному единству, которое строится на принципиально иных основах, чем язык литературы[4]. Стилистическая нерасчленность разговорной речи

---

[1] *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов, ч. 4, с. 140—142.

[2] Сын отечества, 1822, ч. 77, № 18, с. 76.

[3] *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов, ч. 2, с. 432.

[4] «Книжный язык так отличен от языка разговорного, что ежели мы представим себе человека, весь свой век обращавшегося в лучших обществах, но никогда не читавшего ни одной важной книги, то он высокого и глубокомысленного сочинения понимать не будет» (там же, с. 434). «Вопреки сему часто бывает, что человек пресильный в книжном языке, едва в беседах разговаривать умеет» (с. 435).

как специфической сферы выражения, резко отличной от книжного языка, объясняется условиями ее социального и материального бытования. Разговорной речью владеют «слух» и «употребление», т. е. те силы, которым не подвластен книжный язык. Отсюда и более широкая социальная терпимость Шишкова к лексическому составу простого слога, который может включать в себя даже «простонародные», «грубые» слова. Так как салонный язык, «язык светской дамы», также относится к сфере разговорной речи, то нормы его славянофилу представляются не только необязательными для языка литературы, но даже и вовсе чуждыми принципам книжного «разума». «Милые дамы, или по нашему грубому языку, женщины, барыни, барышни, редко бывают сочинительницами, и так пусть их говорят, как хотят»[1].

§ 4. ОБЩЕСТВЕННО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА ГРУППАМИ ЛИБЕРАЛЬНОЙ И РЕВОЛЮЦИОННОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.

Патриотически настроенная русская либеральная и революционная интеллигенция начала XIX в., несмотря на резкое отличие своих общественно-политических взглядов от шишковских, по вопросу о литературной роли церковнославянского языка развивала идеи, близкие к Шишкову. Так, П. А. Катенин полагал, что «перевод священных книг» был для высших слоев общества «верным путеводителем, которому последуя, они не могли сбиться, не могли исказить свое наречие, а напротив беспрестанно очищали и возвышали его, держась коренных слов и оборотов славянских». «И вот чему мы обязаны, даже в последнее время, воскресением нашего языка при Ломоносове, а без того он сделался бы не тем чистым коренным, смею сказать, единственным в Европе языком, но грубым, неловким, подлым наречием, пестрее английского и польского»[2]. Катенин, как и Шишков, признавал церковнославянский язык структурной основой деления литературной речи на слоги — высокий, средний и простой. «Не только каждый род сочинений, даже в особенности каждое сочинение требует особого слога, приличного содержанию. Оттенки языка бесчисленны, как предметы, ими выражаемые: в нем оба края связаны неприметной цепью, как в самой природе. В комедии, в сказке нет места славянским словам, средний слог возвысится ими, наконец, высокий будет ими изобиловать. Если сочинитель употребит их некстати или без разбора, виноват его вкус, а не правила»[3]. Следовательно, для Катенина идея общенационального единства русского литературного языка, его стилистической структурности была связана с признанием возводимой к Ломоносову идеи об объединяющей роли церковносла-

---

[1] *Шишков А. С.* Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. СПб., 1803.
[2] Сын Отечества, 1822, ч. 77, № 18, с. 173.
[3] Там же, с. 176—177.

вянского языка. Катенин писал: «Язык русский? Ломоносов первый его очистил и сделал почти таким, каков он есть и теперь. Чем же достиг он своей цели? Приближением к языку славянскому и церковному. Должны ли мы сбиваться с пути, им так счастливо проложенного? Не лучше ли следовать по нем, и новыми усилиями присвоивать себе новое богатство, в коренном языке нашем сокрытое?»[1]. Катенину был ближе Ломоносов с его национально-историческим реализмом, чем Шишков с его метафизически-панславистской концепцией.

Сходные идеи о соотношении стилей, о контекстах литературной речи, обусловленных структурной ролью языков церковнославянского и народного русского, развивает В. К. Кюхельбекер, борясь с салонным стилем «для немногих», с узким жаргоном салонных разговоров (un peilt jargon de coterie). «Из слова русского богатого и мощного... без пощады изгоняют... все речения и образы славянские и обогащают его *архитравами, колоннами, баронами, траурами,* германизмами, галлицизмами и барбаризмами. В самой прозе стараются заменить причастия и деепричастия бесконечными местоимениями и союзами»[2].

Социальными причинами этого тяготения к церковнославянскому языку со стороны общественных групп, связанных с декабристами, были, кроме борьбы с европейским космополитизмом и антинационализмом аристократии, революционный патриотизм, демократический национализм, обычно совмещавший народность и простонародность с церковной книжностью, и ориентация на народную словесность и на высокие риторические жанры гражданской поэзии, исторически прикрепленные в русской художественной литературе к торжественной патетике церковнославянского языка. Кюхельбекер писал: «Недовольно... присвоить себе сокровища иноплеменников: да создастся для славы России поэзия истинно русская; да будет святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первою державою во вселенной. Вера праотцов, нравы отечественные, летописи, песни и создания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности»[3].

Можно привести много примеров употребления церковнокнижных архаизмов, отверженных салонно-дворянскими стилями, из славянофильских сочинений в высоком роде:

Уста мои, сердце и весь мой *живот*
Подателя благ мне да господа славит.

(Катенин, перевод «Эсфири» Расина)

Ср. иронические комментарии Бестужева-Марлинского: «Переводчик хотел украсить Расина; у него даже животом славят всевышне-

---

[1] Сын Отечества, 1822, ч. 76, № 13, с. 251.
[2] *Кюхельбекер В. К.* О направлении нашей поэзии, особенно лирической в последнее десятилетие.— Мнемозина, 1824, ч. 2, с. 38.
[3] Там же, с. 42.

го... в переносном смысле принять сего нельзя, ибо поющая израильтянка перечисляет здесь свои члены».

Но вящий дар от щедрых нам богов
Священное, чудесное то древо,
Его же вдруг земли родило чрево,
А Зевс и дщерь его под свой приялн кров.

(Катенин. Софокл)

Далече страх я отжеия
Во сретеиье исшел: меия
Он проклял идолми своими.

(А. С. Грибоедов. Давид)

Ср. другие примеры грибоедовского словоупотребления (по изд.: Грибоедов А. С. Полн. собр. соч. СПб., 1911—1917, т. 1—3 — в прозе и в стихах: *блуждалище* (т. 3, с. 28) вместо лабиринт; *сосуд водовмещальный* (т. 1, с. 20); *Земля садителя дарит плодами* (т. 1, с. 18) и т. п.[1]

У Кюхельбекера:

Все, все в твоем слиялись зраке...

(Памяти Грибоедова)

Кроме того, в формах церковнокнижного языка поэт-трибун, поэт-революционер находил яркие краски для символически-обобщенного, но понятного современникам выражения революционной идеологии[2].

Например у Рылеева:

Настаиет век бореиий буриых
Неправды с правдою святой

(Видение, 1823)

У В. Ф. Раевского:

Свирепствуй, грозный деиь!.. да страшною грозою
Промчится ие в возврат иевииных скорбь и стои,
Да адские дела померкиут адской тьмою
И в бездну упадет железиой злобы трон!
Да яростью стихий минутиое нестройство
Устройство вечиое и радость возродит...
Врата отверзиутся свободы и спокойства —
И добродетели луч ясный возблестит...

У Кюхельбекера:

Глагол господеиь был ко мне
За ценью гор иа Курском бреге:
Ты дии влачишь в мертвящем сие,
В мертвящей душу вялой иеге.
На толь тебе я пламень дал
И силу воздвигать народы?

Восстань, певец, пророк свободы,
Воспрянь, возвести, что я вещал!..
И се вам зиамеиье спасеиья.
Народы! близок, близок час!
Сам саваоф стоит за вас!
Восходит солнце обиовленья!..

---

[1] Ср.: *Пиксанов Н. К.* Творческая история «Горя от ума». М.—Л., 1928, с. 158—159.

[2] См. ст.: *Гофман В.* Литературное дело Рылеева.— В кн.: *Рылеев К. Ф.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1934.

§ 5. ПОПЫТКА СИНТЕЗА НАЦИОНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ЦЕРКОВНОКНИЖНЫХ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА XIX в.

Понятно, что общие стилистические принципы и основанные на них литературно-языковые системы западников и славянофилов не исчерпывают всего многообразия русского литературного языка начала XIX в. Намечаются по разным направлениям и в разных социальных сферах пути синтеза национально-русских, церковнокнижных и западноевропейских элементов в составе русской литературной речи. Но в этих попытках нет единства, нет последовательности и устойчивости.

Нет оснований придавать преувеличенное значение литературно-языковой деятельности таких обществ, как «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств» (1801—1807), и усматривать «на фронте борьбы за язык» наряду с двумя позициями — славянофилов и карамзинистов — столь же сильную третью, противопоставленную им обеим и нашедшую «свое преимущественное выражение в литературной деятельности членов «Вольного общества» и литературных кругов, с ним так или иначе связанных»[1]. Едва ли правильно утверждение, что «деятели» «Вольного общества» и в практике, и в теории ставили задачу образования такого языка, который, не создавая разрыва между языком «литературы» и «народа», в то же время не ставил бы никаких преград к широкому усвоению начал западноевропейской культуры»[2]. Язык «поэтов-радищевцев» не обнаруживает никаких особенных признаков «буржуазного демократизма»[3] и, за исключением некоторой стилистической архаичности, преимущественно в прозаических жанрах, у большинства из этих писателей не имеет ярко выраженных особенностей. Поэтому нельзя согласиться с такой преувеличенной оценкой исторического значения литературно-языковой деятельности членов «Вольного общества»: «Их мысли о литературе, языке, их поэтические опыты, являясь продолжением... радищевской линии, были отправным моментом на том пути к «народности» в языке и литературе, завершающим этапом которого для первой половины XIX в. был Пушкин, вобравший в свое творчество весь опыт прошлого»[4].

Однако характерно выраставшее и укреплявшееся, особенно в кругах либерально настроенной дворянской и служило-разночинной интеллигенции, убеждение, что народная поэзия и письменная старина не нуждаются в стилистических украшениях новейшего времени и только искажаются переводом их на язык светского салона, или соответствующей правкой, приспособлявшей их речевой строй к нормам современного литературного вкуса. Так, у И. Борна в его «Кратком руководстве к российской словесности» (СПб., 1808) в главе «О поправках древних сочинений» сообщалось: «Кроме едва простительного нерадения об отечественных древностях, впадали некоторые в другую погрешность: выдавали древние сочинения с нарочитыми правками. Сие, по их мнению, конечно, значило свести с них ржавчину; но вместо того они покрыли их новомодным лаком, уничтожа первобытный вид их и цену... Мы должны разбирать, объяснять и истолковывать, сколько возможно, дошедшие до нас драгоценные остатки прежних веков: оттого выигрывает язык. Признаюсь неложно, что простота и беспечность некоторых старинных народных песен мне более нравится, нежели тщательная отделка многих новейших богатых рифмами, а не чувствами... Пусть тот, что любопы-

---

[1] *Десницкий В. А.* Радищевцы в общественности и литературе начала XIX в.— В кн.: Поэты-петрашевцы. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. Л., 1935, с. 81.

[2] Там же, с. 81—82.

[3] Ср. там же, с. 61.

[4] Там же, с. 90; ср. также статью В. А. Десницкого «Пушкин и мы» в журнале «Литературный современник» 1936, № 1.

теи и с пользою желает упражняться в своей словесиости, сам делает сравнеиие. Он по крайней мере будет читать русские книги»[1].

Симптоматична отповедь реакциоино-дворянскому журналу «Патриот» (издававшемуся В. Измайловым) со стороны «Северного Вестника», 1804, № 3, с. 35—36): «Выражеиие *подлый народ* есть остаток иесправедливости того времеии, когда говорили и писали *подлый народ*, ио ныне, благодаря человеколюбию и закоиам, *подлого народа* и *подлого языка* иет у иас, а есть, как у всех иародов, *подлые мысли, подлые дела*. Какого бы состояиия человек ии выражал сии мысли, это будет *подлый язык*, как, иапример, подлый язык дворяниие, купца, подъячего, бурмистра и т. д.».

В связи с ростом иациоиальио-демократических теидеиций в области литературного языка усиливается борьба против излишнего употреблеиия иностраииых слов. Например, в «Цветнике» часто встречаются такие критические суждеиия: «Г. переводчик (Сочинеиия Г. Книгге «Об обращеиии с людьми») любит иностранные слова. Например: *сентенционный, афоризменный, фантастический, реформатор, претензионы, монотония, интерес, мина, манер, каприс* и проч. и проч. Неужели, читая русскую кингу, иадобно иметь при себе немецкий или фраицузский лексикои?» (Цветиик, 1810, ч. VII, с. 157). В рецеизии иа «Историческое похвальное слово Суворову» там же отмечеио: «Г. сочинитель часто употребляет иностранные слова. В похвальиом слове найдешь у иего: *патриотизм, махиавелизм, героизм и эгоизм*, силы *физические*, железы *магические* и проч. и проч.» (т а м ж е, с. 260).

Одиако в заметке о «Начертании художеств» А. Писарева встречаем здесь же защиту «общеприиятого техиического слова *форма*»: «Слово *форма* у скульпторов и литейщиков уже обрусело и дало от себя несколько производных, как-то: *формовать, формованье, формовщик, формовский* и проч.» (268). «Не все иностраииые слова можио заменять отечествеииыми, а особливо давно уже употребляемые в нашем языке и сделавшиеся, так сказать, техиическими, или искусствеииыми термииами» (Цветник, 1810, ч. VI, с. 264). Таким образом, суживается круг иноязычиых заимствоваиий. Напротив, расширяется влияиие иародиой речи иа литературный язык.

§ 6. СОСТАВ И ФУНКЦИИ ПРОСТОРЕЧИЯ И ПРОСТОНАРОДНОГО ЯЗЫКА В РАЗГОВОРНО-ОБИХОДНОЙ РЕЧИ РАЗНЫХ СЛОЕВ ОБЩЕСТВА

Кроме тех противоречий, которые создавались отношением разных общественных групп к церковнокнижной культуре речи, обнаруживались еще глубокие коллизии между литературой и бытом в отношении к живой устной речи. Вопреки аристократической тенденции — сблизить литературный язык с разговорной речью «лучшего общества» — обострялся конфликт между изысканными литературными стилями и повседневно-бытовыми стилями разговорной речи разных слоев общества. Одной из основных составных частей обиходного языка широких кругов русского общества была «простонародная», крестьянская стихия, та струя просторечия, живой народной речи и провинциализмов, которая подвергалась преследованиям и ограничениям в литературных стилях карамзинской школы. В. Г. Белинский, отражая общее мнение передовой интеллигенции 30-х годов, утверждал, что Карамзин «презрел идиомами русского языка, не прислуши-

[1] Ср.: *Десницкий В. А.* Радищевцы в общественности и литературе начала XIX в., с. 73.

вался к языку простолюдинов и не изучал вообще родных источников»[1].

Разговорно-бытовая речь провинциальной мелкопоместной дворянской среды была вообще близка к крестьянскому языку. М. А. Дмитриев в «Мелочах из запаса моей памяти» пишет: «Барыни и девицы были почти все безграмотные. Собственно о воспитании едва ли было какое понятие, потому что и слово это понималось в другом смысле. Одна из барынь говаривала: «Могу сказать, что мы у нашего батюшки хорошо воспитаны, одного меду не впроед было»[2].

Н. Д. Чечулин, характеризуя по мемуарным источникам изменения в темах и стиле разговорного языка русского общества конца XVIII в., пишет: «У очень многих тогда в ходу были разные особенные поговорки, часто ничего не значущие, иногда даже непристойные, от которых рассказчик не умел, однако, удержаться даже в чужом доме, и речь некоторых была по привычке настолько вольна, что стесняла женщин. Интересно также замечание одного современника, что тогда (в Казанской гимназии) особенное внимание обращали на то, чтобы научить «говорить по грамматике», и слова другого, который, вспоминая свою молодость, прошедшую в конце 50-х — начале 60-х годов, говорит что тогда мало где умели правильно говорить и правильно мыслить»[3].

Для языка столичной аристократии и крупного, отчасти и среднепоместного европеизированного дворянства было характерно сочетание французского языка с повседневными, нередко простонародными выражениями. «Сатирический вестник» пародически печатал в таком стиле «Ежедневные записки, оставшиеся после покойной известной красавицы»: «Впанеделник павечеру была pour faire visite[4] госпоже Д. Все которые ни находились у ней были étrangement stupide s[5]. М-г Ч. тама не был. Perdu[6] 50 рублиоф. Приехала дамой de fort mauvaise humeur[7]. Приметила, што М est amoureux de la petite[8] Б., которая хаша и странна, толка son chapeau lui allait bien[9]. Князь Д. также amoureux[10] в Ж. Ане такия люди, што князь porte la tête haute[11], а та стучит ходя о пол. У графа М. кафтан счит сновыми boutons d'acier[12], и очення харашо, толко сам собою он гадак»[13].

Комедийная традиция очень рельефно обнажает в речи персонажей из высшего общества просторечие, далекое от салонно-европей-

---

[1] *Белинский В. Г.* Соч., ч. 1, с. 65*[1].
[2] *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, с. 17.
[3] *Чечулин Н. Д.* Русское провинциальное общество во второй половине XVIII в. СПб., 1889, с. 33—34.
[4] С визитом.
[5] Страшно глупы.
[6] Потеряла.
[7] В очень плохом настроении.
[8] Влюблен в маленькую Б.
[9] Ее шляпка ей очень шла.
[10] Влюблен.
[11] Задирает голову.
[12] Стальными пуговицами.
[13] Сатирический вестник, 1790, ч. 2, с. 74—85.

ского стиля, иногда с сильной областной, диалектальной основой. В конце XVIII в. (1794) напечатана комедия в одном действии, сочиненная А. Копьевым: «Что наше, тово нам и не нада», в которой «фонетическая» запись речи действующих лиц проведена последовательно через всю пьесу. При этом с точки зрения произношения выделена из общей группы (Machmère, Мавруша, Причудин, Повесин) княгиня, молодая вдова, выговаривавшая шипящие звуки с манерной шепелявостью. В комедии почти с фотографической точностью отражается разговорный дворянский язык.

Вот образцы записей речи дворян:

«Причудин: Ба! ба! ба! Павесин! — аткуда ты взялса? Здраствуй, братец! сматри, пажалуй *(осматривает его кругом)*, да ты в мундире, адет парядашно, куды девалася то время, как ты носил по три жилета, и чуть не надел три кафтана? ты не напеваешь арий, гаваришь па руски, уж полна ты ли это?

Повесин: Чево братец! ат дурных сочинителей скоро некуды будет деватца; я принужден был все наряды маи бросить от глупой комедии.

Причудин: Што так?

Повесин: Па неволе надаедят ани, кали всю сваю гардеробу увидишь вдруг или на Затейкине или на пагонщиках; вить это ешо досаднее нежели бы запрещали. В старые годы, когда я мешал в речах моих французские слава, я бы назвал это превращение nécessitée vertu, а таперь переведу, шта нужда научит калачи есть: я праигрался да последней капейки, и когда перестали мне верить, так и я перестал матать. Дядюшка мой столька на меня азлился, шта не хател умереть, пакуда не пабывал я в армии и не вздумал а смерти ево жалеть; тут та он не к стате и сканчался, оставив мне две тысячи душ, которые надеюсь да первой игры ища уцелеют... (Явл. 1).

Machmère: Мавруша... падвинь ка мне столик, мать мая, загадать бала апять *(надевает очки)*. Давеча эта праклятая гран пасьянс меня замучила, таперь уж другим манером, на четыре кучки.

Княгиня *(перестав писать, сердитая. сидя на софе, вяжет жилет, спускает петли и кусает себе ногти с досады)*: Мавруся... Мавруся...

Мавруша *(вяло)*: Што, ma cousine?

Княгиня *(испугавшись)*: Ах, матуська! Сьто йта, паскари... ай! муха!....

Machmère: Ах, мать ма! штойта за беда? Ну, правались ана акаянна! Ат тебя я эту пракляту девятку залажила, бог знает куды, да что у вас там?

Княгиня: Ницево-с... ох, тиотуська, как вы скусьны! Мавруся!

Мавруша: Да чево-с?

Княгиня: Так, ницево; дусинька Мавруся! Пади сюды!

Мавруша *(подходит к ней)*: Што, ma cousine?

Княгиня: Да́ сьто ты пристала ка мне? Пади проць!

Мавруша: Да вить вы сами кликали; ах, ma cousine, знаете, шта вы севодни больше блажите нежели обыкновенно!

Княгиня *(бросается ее целовать)*: Мавруся... дуся мая! Зись

мая! паслусай! зделай милось; атдай эта письмо Прицюдину, как он приедет, да сказн ему, сьто езели он застрелитца, так эта будет оцень глупа, я на нево осерзюсь, и век с ним гаварить не буду!

Мавруша: Слышу, ma cousine, шта кали он застрелитца, так вы не будите гаварить с ним!

Княгиня: Да, да, позаластась, угаваривай зя ево больсе, больсе!

Мавруша: Харашо, ma cousine, *(прыгает неловко к столу матери)*. Machmère! Machmère!

Княгиня: Што, матш?...

Мавруша: Десятку-та, десятку-та, вы позабыли.

Machmère: Тьфу, пропась! всегда спутаю *(мешает карты)*. Нет, уж знать не выдет; загадать бала червонну-та кралю с крестовым-та каралиом (стр. 14—17, явл. 4)»*[2].

И. С. Аксаков очень ярко характеризует смесь французского и простонародного, крестьянского в языке высшего русского общества конца XVIII — начала XIX в.: «В конце XVIII и в самом начале XIX в. русский литературный язык был ... еще только достоянием «любителей словесности», да и действительно не был еще достаточно приспособлен и выработан для выражения всех потребностей перенятого у Европы общежития и знания... Многие русские государственные люди, превосходно излагавшие свои мнения по-французски, писали по-русски самым неуклюжим, варварским образом, точно съезжали с торной дороги на жесткие глыбы только что поднятой нивы. Но часто, одновременно с чистейшим французским жаргоном... из одних и тех же уст можно было услышать живую, почти простонародную, идиоматическую речь, более народную во всяком случае, чем наша настоящая книжная или разговорная. Разумеется, такая устная речь служила чаще для сношения с крепостною прислугой и с низшими слоями общества,— но тем не менее, эта грубая противоположность, эта резкая бытовая черта, рядом с верностью бытовым православным преданиям, объясняет многое, и очень многое, в истории нашей литературы и нашего народного самосознания»[1]. Интересной иллюстрацией может служить бытовая сценка, рисуемая Ф. Ф. Вигилем: «Одним праздничным утром, окруженный всей свитой, посол (как все знатные люди, которые думают славно говорить по-русски, когда употребляют простонародные выражения) иностранным наречием своим сказал: «Пал Митрич, у меня малатцов, что сакалов»[2].

О том же сочетании простонародности с французским языком говорит Вяземский, приводя свой стиль в пример такого дворянского синтеза: «При всем моем французском отпечатке, сохранил или приобрел я много и русского закала. Простонародные слова и выражения попадались мне под перо, и нередко, кажется, довольно удачно. Впрочем, за простонародием никогда и не гонялся, никогда не искал я образовать школу из него. Этот русский ключ, который пробивался

---

[1] *Аксаков И. С.* Биография Ф. И. Тютчева. М., 1886, с. 10.
[2] *Вигель Ф. Ф.* Воспоминания. М., 1864, ч. 2, с. 179.

во мне из-под французской насыпи, может быть, родовой, наследственный»[1].

О речи известного масона Лабзина С. Т. Аксаков вспоминал: «В обращении он был совершенно прост и любил употреблять резкие, так называемые тривиальные или простонародные выражения; как например: *выцарапать глаза, заткнуть за пояс, разодрать глотку* и т. п.»[2]

Наконец, ярким художественным отражением речи московского барства может служить язык знаменитой комедии Грибоедова («Горе от ума»). Если отвлечься от тех индивидуально-характеристических особенностей языка, которыми отдельные персонажи этой комедии отличаются друг от друга, то в общем течении ее драматического языка («совершенно такого, каким у нас говорят в обществах»,— по признанию кн. В. Ф. Одоевского) сольются, кроме нейтрального, общелитературного словесного потока, четыре струи:

1) струя церковнокнижная или — шире — «высокая» славянороссийская: «перст указательный»; «ум алчущий познаний»; «воссылал желанья»; «власть господня»; «издревле»; «отторженных детей»; «чужевластье» и т. п.;

2) струя французская: «с дражайшей половиной» (moitié); «еще; два дня терпение возьми» (prendre patience); «сделай дружбу» и т. п.

3) струя повседневно-разговорная, которая вбирает в себя и фамильярное просторечие: «как пить дадут»; «она не ставит в грош его»; «да полно вздор молоть»; «ни дать ни взять»; «как бог свят»; «треснуться»; «час битый»; «чорт сущий» и т. п.;

4) струя простонародная, крестьянская: «больно не хитер»; «вдругорядь»; «зелье»; «покудова» и т. п.[3]

Таким образом, устанавливается тесная связь и взаимодействие между просторечием образованного общества и крестьянским языком в русской разговорной речи начала XIX в.

§ 7. ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕЧЬ НАЧАЛА XIX в. И КРЕСТЬЯНСКИЕ ГОВОРЫ

Однако лексикографическая традиция и литературная стилистика второй половины XVIII и первой трети XIX в. проводили резкую стилистическую и диалектологическую грань между просторечием и простонародным языком. Понятие «простонародного языка» применялось к обиходному языку сельского населения (в его общих, не имевших резкого местного, областного отпечатка формах), к языку дворни, городских ремесленников, мещанства, к языку мелкого чи-

---

[1] *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1878, т. 1, с. LVIII.

[2] *Аксаков С. Т.* Полн. собр. соч. СПб., 1886, т. 3, с. 142. Статья «Встреча с мартинистами».

[3] Подробнее о языке «Горя от ума» см.: *Куницкий В. Н.* Язык и слог комедии Грибоедова «Горе от ума». Киев, 1894; *Каменев В. Н.* Язык комедии Грибоедова «Горе от ума».— В кн.: Научные труды Индустриального педагогического института им. К. Либкнехта. Серия социально-экономическая. М., 1930, вып. 12; *Пиксанов Н. К.* Творческая история «Горя от ума». М.—Л., 1928*[3],

новничества (тоже в его общих, непрофессиональных выражениях), вообще к бытовому языку широких демократических масс, не тронутых «просвещением» и не усвоивших манеру вульгарно-книжной, «околесной» речи. Элементы этого простонародного языка были очень сильны и в просторечии образованного общества. Вот несколько примеров «простонародных» слов и выражений из «Словаря Академии Российской» 1805—1822 гг.[1]: *брюхатая* (беременная); *брюхатеть* (1, 324); *буянить* (1, 349); *бывальщина* (1, 350); *валандаться* (1, 375); *верховье* реки (1, 628; 1, 789); *дворяниться* (принимать на себя вид дворянина, барина, 2, 38); *дуралей* (2, 278); *калека* (3, 23); *калечить, канючить* (3, 55); *кляузник, кляузничать; книгочет* (охотник до чтения, 3, 192); *козачить* (батрачить. 3, 213); *козачка* (рукоятка у сохи, 3, 214); *кока* (яйцо, 3, 221); *кокошить* (бить, 3, 223); *колодец* (вместо «колодезь», 3, 295); *коротышка* (3, 325); *корпеть* (3, 236); *кортышки* (т. е. корточки, 3, 327); *краснобай* (3, 379); *колотырный* (3, 258); *конопатый* (3, 278); *остарок* (пожилой, приближающийся к старости человек, 4. 433); *портняга* (5, 12); *по свойски; посиделки; прибаутки* (5, 251); *прибочениться* (5, 258); *сволочь* (6, 74); *тороторить* (6, 750); *трескать* (6, 774) и т. д.

В рукописном словаре Академии наук второй половины XVIII в. к простонародным отнесены, например, такие слова, как *штукарь, чушь, раздолье* (довольство), *припьян, приглух* и др. под. И. И. Лажечников в письме от 25 марта 1824 г. сообщает в «Обществе любителей российской словесности» список «провинциальных» простонародных слов, в котором, между прочим, находятся такие слова по Саратовской губернии: *сквалыга, прощелыга* (насмешник), *рохля, дотошный, дока, юла, подлипала, трущоба, бирюк, ширинка* (платок), *чурбак, калымага, зипун, зря* (некстати); по Пензенской губ.: *огорошить, больно* и т. п.[2]

Как всякому очевидно, многие из приведенных слов, которые в литературно-бытовом обиходе первой четверти XIX в. считались «простонародными», крестьянскими, а некоторые даже «провинциальными» областными, вошли в XIX в. в общегородское разговорное просторечие. Ср. в «Словаре Академии Российской» XVIII в. (1789—1794) такие категории простонародных слов, из которых одни так и остались в областных крестьянских говорах, другие стали общелитературными: с одной стороны, *бахарь, зажига* (зачинщик), *лихая болесть* (падучая), *лытать* (шататься, слоняться без дела), *бутор* (пожитки), *повычка* (повадка), *гуня* (рубище), *тазать* (журить), *шишимора* (мошенник), *лылы* (обман) и др. под.; с другой стороны — *быль, верховье, то и дело, батрак, перебивать лавочку у когонибудь* и т. д.*[1]

Симптомом намечающегося изменения норм литературной речи в первой четверти XIX в., признаком расширения ее границ в сторону

---

[1] Далее в скобках указаны тома и страницы этого издания.

[2] *Трубицын Н.* Из начальных глав истории русской диалектологии.— РФВ. Варшава, 1913. т. 79, № 1, с. 149—152.

так называемых «простонародных диалектов»[1], в сторону живой народной речи является не только усиленное собирание диалектологического материала, но и литературная переквалификация крестьянских диалектизмов. При выработке планов составления словаря литературного языка в первой четверти XIX в. за некоторыми областными словами признается право на вход в литературу. Традиция исключения диалектизмов не прерывается (см. проекты словаря, предложенные И. И. Давыдовым, А. Я. Болдыревым)[2]. Но раздаются протесты, опирающиеся на принцип «исторической народности». «Выключение областных или местных слов не слишком ли решительно?.. В наших летописях, грамотах, старинных песнях и разных преданиях встречаются диалектизмы»[3]. Об этом же пишет «Вестник Европы»: «Нельзя не заметить, что во многих словах, совершенно забытых в языке старого общества, но сохраненных где-нибудь между крестьянами, скрываются объяснения на историю нашего отечества»[4]. Любопытно замечание, что многие слова, употребляемые теперь только в простонародном языке, некогда могли быть «благороднейшими выражениями»[5]. В диалектизмах романтически настроенное общество находило колорит экзотики, очарование первобытной свежести. В связи с этой переоценкой литературного значения народной речи находится интерес к профессиональным и областным словарикам, которые в большом количестве появляются на страницах журналов и литературных сборников. Крепнет мысль о составлении словаря простонародного языка. Так, И. Ф. Калайдович*2 полагает, что «весьма бы не худо было собрать словарь языка простого народа и показать грамматические отличия оного от чистого, общеупотребительного наречия»[6]. Но И. Ф. Калайдович не закрывает доступа многим «простонародным» словам и в словарь общелитературного языка. «Ежели простонародные слова имеют силу и многозначительность, по крайней мере, когда не противны слуху, или когда трудно заменить их, то и они должны иметь место» (334). Вообще, объем «русского производного словаря» рисуется Калайдовичу в таком виде: он должен объединить «слова русского происхождения, общеупотребительные в языках книжном и разговорном... Языки книжный и разговорный взаимно помогают друг другу: первый исправляет злоупотребление последнего, а сей доставляет материалы литераторам; первый утверждает правила грамматики,— последний дает слову характер народный» (331). Дополнением к этому общелитературному

---

[1] Для понимания общего направления переоценки простонародного языка см. суждения писателей второй половины XVIII — начала XIX в. в кн.: *Трубицын Н.* О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX в. СПб., 1912, с. 186—191.

[2] См.: Труды Общества любителей российской словесности. М., 1817, ч. 8, с. 114—134.

[3] Там же, с. 239—241.

[4] Вестник Европы, 1811, ч. 59, с. 308.

[5] Там же, ч. 60, с. 28—30.

[6] *Калайдович И. Ф.* Опыт правил для составления русского производного словаря.— В кн.: Соч. в прозе и стихах. Труды Общества любителей российской словесности. М., 1824, ч. 5, с. 334.

словарю, по мнению Калайдовича, должны служить словарь «простонародного» языка и словарь терминов технических. Мысль о необходимости особого словаря профессиональных, ремесленных терминов высказывалась и М. Т. Каченовским: «Все слова, общеупотребительные у земледельцев, кузнецов, плотников и других ремесленников... не составят ли особого огромного словаря» (Труды Общества любителей российской словесности. М., 1817, ч. 8, с. 240). Настойчивее и чаще звучит со стороны отдельных лиц и литературных обществ призыв изучать «язык наш, разнообразные его наречия, корни слов, особенные изречения и обороты, пословицы, поговорки, прибаски и прочее» (там же, ч. 20, с. 105). Н. И. Греч пишет в том же духе: «Желательно было бы, чтобы почтенные обитатели провинций, особенно же сельское духовенство, удалившиеся от шума света и службы в поместья свои дворяне, стали замечать и собирать областные наречия, особые выражения, необыкновенные грамматические формы, присловицы, и другие особенные свойства языка в разных странах неизмеримой России; тем способствовали составлению сначала обозрения, а потом словаря сравнительной грамматики русских провинциализмов»[1]. М. Н. Макаров, один из беллетристов, археологов и этнографов той эпохи, доказывал пользу областных словарей ссылкой на то, что «они только могут разрешить многие недоумения о происхождении слов русских, а с тем вместе исправить и обогатить язык отечественный, язык, долженствующий, может быть, скоро поступить на степень языков необходимых, языков общественных; ибо сила народа, сила его образованности должны уже составить силу языка»[2].

Таким образом, простонародная, даже областная стихия речи все решительнее выступала как ценный и значительный материал для создания национального русского литературного языка[3]. Это был симптом начала резкой «демократизации» литературного языка и, во всяком случае, явное стремление к раздвижению его социальных пределов.

Впрочем, в оценке литературного значения заимствований из крестьянского языка, в оценке значения «слов простонародных и низких», было большое различие между разными общественными группами. Те слои высшего общества, которые были неудовлетворены салонно-литературными стилями, защищали «простонародность», употребление крестьянских слов в литературном языке, в его простом слоге, правда, с ограничениями, с условием чистки, «облагороженія». В «Разговорах о словесности» А. С. Шишков писал: «Народ-

---

[1] Сын Отечества, 1820, ч. 61, с. 269—271.

[2] Соч. в прозе и стихах. Труды Общества любителей российской словесности, 1822, ч. 21, с. 287—288.

[3] Ср. у Ф. Н. Глинки в «Письмах русского офицера». — В кн.: *Глинка Ф. Н.* Соч. М., 1872, ч. 3: «В простонародном наречии, сколько в протчем ни пренебрегают оным, встречаются необыкновенные выражения; простодушные поселяне без всякого намерения блистать умом, нередко изъясняют чувства и мысли свои весьма замысловато». В качестве примеров указываются выражения вроде: *у всякого душа грудью закрыта; он* (беглец) *везде чужой и везде огорожен* (с. 73—74).

ный язык, очищенный несколько от своей грубости, возобновленный и приноровленный к нынешней нашей словесности, сблизил бы нас с тою приятною невинностью, с теми естественными чувствованиями, от которых мы удаляясь делаемся больше жеманными говорунами, нежели истинно красноречивыми писателями»[1]. О. М. Сомов заявлял: «В подражании простонародному языку должно соблюдать великую осторожность и воздержанность; излишняя расточительность на слова и выражения грубые или областные, нисколько не способствуя живости и верности подражания, может наскучить и опротиветь образованному классу читателей»[2].

В период увлечения романтизмом казались свежими и острыми, национально значительными «первобытность», сила и живописность простонародных выражений, воплощавших как бы квинтэссенцию «национального духа». Поэтому особенное значение придавалось «народной словесности». В. А. Жуковский считал «простонародный язык» наиболее характерным выражением народности: «Все языки имеют между собою некоторое сходство в высоком, и совершенно отличны один от другого в простом, или лучше сказать, в простонародном»[3].

Вообще в положительной оценке значения «простонародного», главным образом, крестьянского языка для литературной речи сходились решительно все слои общества. Но идеологическое приспособление простонародных элементов к системе литературного языка у них было различно. Таким образом, «салонно-европейским» стилям наносился удар при посредстве живого народного языка. Правда, процесс олитературивания простонародной речи протекал очень медленно и был связан с большими стилистическими препятствиями и идеологическими затруднениями в разных социальных кругах.

В среде разночинцев из семинаристов, купцов, мелкого чиновничества, дворни, крестьянские диалекты признавались достойными литературной канонизации с очень существенными ограничениями. Например, областные выражения положительно запрещались многими представителями интеллигенции 20—30-х годов как подрывающие единство национально-литературного языка. Так, Н. А. Полевой возражает против перенесения в литературный язык речи «черного народа»[4]; областные слова называет «варварскими», «нерусскими», «исковерканными». «К чему послужат для русского языка,— спрашивает он,— исковерканные уездные слова, и какая надобность нам, что в Раненбургском уезде говорят вместо *стыдить* — *обизорить*... вместо *шалить* — *дуровать*?»[5].

В связи с этим и по отношению к словарю простонародных выражений предъявлялось такое требование: «В нем должно быть только

---

[1] *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов. СПб., 1824, ч. 3, с. 163.
[2] Северные цветы, на 1831 г., с. 60.
[3] *Жуковский В. А.* О басне и баснях Крылова.— В кн.: *Жуковский В. А.* Соч. в прозе. 2-е изд., 1826, с. 84.
[4] Московский телеграф, 1829, № 15, с. 322.
[5] Там же, № 9, с. 125.

то, что может свидетельствовать о духе народа, пространстве его познаний, об его высокой промышленности, о силе и благородстве мыслей, о высшей его образованности»[1].

§ 8. СОЦИАЛЬНО-ГРУППОВЫЕ СТИЛИ ПРОСТОРЕЧИЯ

Эти глубокие социальные противоречия в оценке литературных прав простонародного, крестьянского языка отражались и на составе, содержании и употреблении разных социальных стилей бытового просторечия. Просторечие (т. е. обиходные, не «светские», не связанные нормами этикета стили живой устной речи) представляло собой разнородную массу диалектов, колеблющуюся между несалонным бытовым разговорным языком разных слоев дворянства и буржуазии и «простонародностью», близкой к крестьянскому языку.

Лексикографическая традиция XVIII — начала XIX в. очень четко отделяет от «просторечия» профессиональные диалекты. Но лексический состав самого просторечия в словарях остается социологически не дифференцированным. Между тем достаточно вдуматься в критические суждения современников, чтобы понять социальную разнородность и даже враждебность разных стилей просторечия. Разное понимание литературных границ просторечия в среде высшего общества — только одна сторона вопроса. Если консервативным писателям карамзинской школы казались «низкими», «площадными» такие слова, как *истомить* вместо *утомить*, *подмога* (письмо И. И. Дмитриева к Д. И. Языкову)[2], *пронюхать*, *тянуть за волосы*, *фу пропасть*, *враки*, *бред*[3], *вскарабкаться*, *взмоститься*[4] и т. п., то для передовых интеллигентов разной общественной ориентации, не чуждавшихся «простонародности» (например, для П. А. Катенина, П. А. Вяземского и др.), область литературного употребления просторечия была очень широка.

Просторечие в академических словарях (XVIII — первой половины XIX в.) характеризуется признаками фонетическими, морфологическими, больше всего — лексическими и семантическими. Так, в «Словаре Академии Российской» XVIII в.[5] выстраиваются параллели книжных и просторечных форм: *жестко* — в просторечии же *жостко* (2, 1113); *объем* — просто же *объиом* (2, 971); *отъемное* — просто же *отъиомное* (2, 975) и т. д.; *божий* — в просторечии *божей* (1, 254); *оспа* — в просторечии *воспа* (1, 967); *клирос* — в просторечии *крылос* (9, 613) и т. д. Таким образом, уже по звуковым особенностям видно, что просторечие представляло собой литературно не нормированную массу фамильярно-бытовых диалектов города, одни из

---

[1] Вестник Европы, 1819, ч. 107, с. 276.

[2] *Дмитриев И. И.* Соч. СПб., 1895, т. 2, с. 185.

[3] *Макаров П.* Соч. и переводы. М., 1817, т. 1, ч. 2.

[4] *Шишков А. С.* Рассуждение о старом и новом слоге российского языка, с. 429.

[5] СПб., 1789—1794. В скобках указаны тома и страницы этого издания.

которых сливались с разговорной речью высших классов, другие — с говорами мещанского и крестьянского языка. Те же свойства просторечия выступают и в лексическом составе. Например, в «Словаре Академии Российской» (1805—1822)[1] к просторечию отнесены такие слова и выражения, которые для нас являются уже элементами общелитературного языка, иногда с оттенком разговорности: *пороть* (в значении больно наказывать — *пороть лозами)* (5, 8); *поставить на своем* (5, 48); *постоять за себя* (5, 49); *потчевать* (переносно: его потчевали хорошим местом, но он предпочитает всему спокойствие) (5, 89); *потягивать* (попивать: *потягивать пивцо, винцо*, 5, 92); *почта* (в значении почтовый двор, где письма и посылки отправляются и получаются: *отнести письмо, посылку на почту*, 5, 112); *набить карман* (нажиться, обогатиться, 3, 76); *клоктать* (о больных, которые охают, 3, 172); *из кожи лезть* (3, 210); *копаться* (непроворно что-нибудь делать, 3, 289); *браниться* (вместо *бранить*, ср. *выбраниться*, 1, 303); *да* (в значении но, же: я *бы поехал, да не велят*, 2, 2); *досужий* (досужий человек, 2, 214); *горожанин; вздор; быт* (состояние, род жизни); *богач; раздумье; раздобреть*; *скряга*; *талант* (дарование) и мн. др. под.

Вместе с тем понятие просторечия как будто является родовым по отношению к разновидностям простой речи, обозначаемым выражениями: низкое просторечие, низкий слог, низкое слово, простое употребление, простое наречие и т. п.[2] Во всяком случае, стилистический диапазон просторечия очень широк. Вот примеры из «Словаря Академии Российской» XVIII в.

Приказная строка — говорится в низком просторечии и значит то же, что ябедник, крючкотворец (3, 378). *Уходить* — в низком просторечии относительно к вещам значит — промотать: *ему ничего нельзя дать, он тотчас же уходит* (3, 280). *Хапаю* — глагол, в низком слоге употребляемый и значащий: хватаю, беру (6, 501—502). *Хабар* — слово низкое, означающее прибыль, прибыток, барыш (6, 499). *Мастероват* — в просторечии: довольно искусный (4, 54). *Огласка* — в просторечии: извещение многих о деле, которое таилось, крылось (2, 78). *Пай* — в просторечии иногда берется за счастье, удачу (3, 1385). *Причина* — в просторечии иногда означает неприятное или вредное приключение (6, 769—770). *Дар божий* — в просторечии называется хлеб (2, 465). *Густ* — в просторечии значит: достаточен, богат (2, 440). *Наблошняюсь* — в просторечии: навыкаю, перенимаю, проворным, ухватливым делаюсь: «живучи по людям, довольно наблошнился» (1, 229). *Взвариваю* — в просторечии: прытко иду, шибко бегу, весьма скоро еду, мчусь: «как она на гору взваривает» (1, 497). *Ономедни, ономеднись, ономеднясь*» (2, 584). *Прижать к ногтю* — в просторечии: притаить, присвоить себе принадлежащее другому (4, 548—549) и т. п.

---

[1] В скобках указаны тома и страницы этого издания.

[2] См.: *Сухомлинов М. И.* История Российской академии. СПб., 1888, вып. 8, с. 93.

Иногда просторечие сливается с крестьянским языком. Например, к просторечию отнесены слова и выражения: *балы* (балясы) подпущать, *негод* (неурожай), *глот* (обидчик, притеснитель), *отклика* и т. п. Выражение: «навязаться кому на шею» (1, 1115) считается просторечным, а «навязать кому на шею» (1, 1115) названо простонародным. Слово «разбодряться» (1, 263—264) включено в просторечие, а «прибодряться» (1, 263) — в простонародный язык. Но нередко среди значений одного и того же слова проводится дифференциация просторечного и простонародного. Например. *Варганю* — в просторечии употребляется в 3-м лице и значит *кипит* с *шумом:* «вода в котле заварганила», в простонародном употреблении значит: немножко на каком орудии играю (1, 493). *Отбиваю* — в просторечии берется иногда вместо *увечу:* «отбить руки и ноги»; простонародно: отлучаю, отдаляю, отчуждаю; «отбить купца»: «он умел отбить от меня многих моих знакомых» (1, 137). *«Наваливаюсь»* — в просторечии — нападаю, притесняю кого: «на него всем миром навалилися»; простонародно: во множестве, кучею, толпою, вхожу: «в избу навалились мужики» (1, 472)[1].

Таким образом, просторечие включает в себя не только разговорно-фамильярные стили интеллигенции, но и бытовой язык разных социальных групп города, поместья, иногда даже деревни. Любопытны, например, такие стилистические оценки в рецензии С. Т. Аксакова, на перевод «Федры» (Вестник Европы, 1824, № 1): *«Ось с скрыпом хряснула... Хряснула* самое низкое слово... *Рухнула*, мне кажется, неприлично сказать о колеснице. *Рухнула башня, стена* — дело другое. Слово сие у нас еще не облагородствовано употреблением его в высоких родах сочинений»[2].

Интересный материал для изучения социальных дроблений просторечия можно извлечь из критических разборов языка и стиля литературных произведений представителями разных общественных групп. Например, Булгарин порицал в языке романа Загоскина «Юрий Милославский» «грубые», «простонародные», «противные вкусу» выражения: *гости порядком подгуляли; шибко дерутся, собачьи дети; и этого-то, собачий сын, не умел сделать* и т. п.[3]

Между тем А. С. Пушкину претила не простонародность стиля «Юрия Милославского», а зараженность этого романа «языком дурного общества», т. е. речью городской полуинтеллигенции, вульгарной книжностью бывалых людей из полуобразованных слоев купечества, чиновничества и городского мещанства. «Выражения *охотиться* вместо *ехать на охоту, пользовать* вместо *лечить*... не простонародные, как видно полагает автор, но просто принадлежат языку дурного общества»[4].

Для понимания социальных основ этого претенциозного языка дурного общества любопытны материалы очерка А. А. Бестужева-

---

[1] *Сухомлинов М. И.* История Российской академии, вып. 8, с. 88.
[2] *Аксаков С. Т.* Полн. собр. соч. СПб., 1886, т. 4, с. 375.
[3] Северная пчела, 1830, № 39.
[4] Литературная газета, 1830, т. 1, № 5, с. 38*[1].

Марлинского «Новый русский язык»[1]. «Всякое звание, — пишет А. А. Бестужев-Марлинский,— имеет у нас свое наречие. В большом кругу подделываются под jargon de Paris. У помещиков всему своя кличка. Судьи не бросили еще *понеже* и *поелику*. У журналистов воровская латинь. У романтиков особый словарь туманных выражений; даже у писарей и солдат свой праздничный язык. В каждом классе, в каждом звании отличная тарабарщина: никто сразу не поймет другого, в этом-то вся претензия, чтоб, не думавши, заставить думать[2]; но купчики, пуще всего купчики, любят говорить свысока, то-есть сбирать кучу слов без связи и смыслу. Вот образчик».

И далее изображается разговор автора с двумя купцами в трактире на станции.— «Позвольте попросить позволения узнать, с кем то-есть имеем осчастливленную честь говорить-с»,— «Я не говорю с вами».— «Так-с, все конечно-с, дело дорожное-с. Я ведь, впрочем, не для ради чего иного прочего, а так из кампанства, хотел только, утрудив побеспокоя вас, попросить соблаговоления, чтобы нашему чайнику возыметь соединяемое купнособщение с этим самоваром-с. Попросту, так сказать-с, малую толику водицы-с».— Сначала я думал, что это мистификация, потом мне стало смешно; потом и совестно, что я так небрежно отвечал этому сплетателю глупостей... Мало-помалу у нас завелся уж и политический разговорец. Старший купчик, поглаживая свою подстриженную бородку, смотрит на лубочный портрет Кульнева.

— «Вот, батюшка, была в двенадцатом-то году кампания, так уж — кампания-с! Уж много сказать, что *богатель*. Французские все армии, да и войски уничтожительно истреблены-с двунадесятью язык, и по делам супостату-с. Вся антирель теперь в Москве лежит: пушек-с — как моркови. Возвольте, к слову стало, узнать-с, достохвальный и знаменитый генерал Кульнев в конном или в кавалерицком полку служительство производить быть имел?» — «Он служил в гусарах».— «Так-с (обращается к товарищу). А ты, спорил, что в кавалерии (ко мне). Ученье свет, неученье тьма-с. С нашим удовольствием благодарение приносим, что изволили объяснить-с. А этот храбрый генерал-майор Кульнев-с и в чины происходить к повышению производство в том же полку благоволил-с?» — «Помнится, в одном и том же».— «По всему видно, что герой-с. А он на поле чести или на поле брани живот за отечество положить удостоен-с?» — «Он был смертельно ранен на поле сражения».— «А вот этот простяк говорит, что на поле брани-с».— «Мне кажется, это все равно».— «Так-с. Справедливо изволите иметь таковое умственное рассуждение

---

[1] Предварительно описан диалог между купцами за игрой на биллиарде: «и... купец помоложе (бьет): Ах, дал скользея. 42 и 10! Купец постарее: ... Не в ударе, брат, не в ударе (бьет). Ась, каково! — Да еще *верхним подходцем*. 45 и 10! Купец помоложе: Вам можно *отчаяваться* и на удалую, партия в дороге-с. Вот и мы *накатцем* доехали».

[2] Ср.: *Погодин М. П.* Письмо о русских романах (журнал «Северная лира», 1827, с. 263): «Какое различие у нас в званиях! У каждого есть свой язык, свой дух... Одним языком говорит у нас священник, другим — купец, третьим — помещик, четвертым — крестьянин».

в мыслях-с. Я и сам, то-есть, по своей комплекции, думаю, что он наверно был славно знаменит-с»[1].

На почве этой своеобразной «вульгарной» книжности вырастало у полуинтеллигенции презрение к «простонародному», «мужицкому языку»[2].

Язык «дурного общества», речь городской полуинтеллигенции в лексикографической традиции не выделялась из общих категорий просторечия и простонародного языка. Например, *предел* (в значении: участь, жребий, судьбина счастливая или злополучная) (5, 204), *преестественный* (5, 206) *добродетель* (в значении благодеяние) (2, 100) и др. под. отнесены в «Словаре академии Российской» (1805—1822) к «просторечию»; слова: *кляуза, крючкотвор. крючкотворец, кознодей* и т. п. названы «простонародными». Элементы литературно-книжной речи, выходившие из употребления в языке образованного общества, еще долго бытовали в среде этой полуинтеллигенции, которая обычно черпала свои словесные средства не только из «простонародного» крестьянского источника, но и из культуры архаических традиций и даже из отслоений западноевропейской письменности. Торжественная устная и письменная речь грамотных купцов, мещан, дворовых вообще была склонна к своеобразной книжно-вульгарной риторике, иногда с церковным или канцелярским налетом, и

---

[1] *Бестужев-Марлинский А. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1840, ч. 12, с. 69—72; Ср. у А. С. Шишкова в «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка»: «Обветшалые иностранные слова,— как например, *авантажиться, манериться, компанию водить, куры строить, камедь играть* и пр., изгнаны уже из большого света и переселились к купцам и купчихам» (Примечание, с. 22—23). Ср. позднее у Мельникова-Печерского в рассказе «О том, какие были последние приготовления у Елпидифора Перфильевича» (*Мельников-Печерский П. И.* Полн. собр. соч. СПб., 1909, т. 6, с. 167): «А жену называют у нас *фамилией* так, ради деликатства; знаете, сказать жена — по-мужицки будет, сожительница — по-купечески, а супруга — слишком высоко, куда уж нам, михрюткам этаким, супруг иметь? Так вот и зовется фамилиею — это, знаете, по-модному».

[2] Ср. у Мельникова-Печерского наставления маклера Алексею Лохматому (купцу из крестьян): «Да вот что еще, Алексей Трифоныч. Вам бы и речь-то маленько поизменить, чтоб от вас деревней-то не больно припахивало,— с добродушной улыбкой сказал маклер.— А то вот вы все на «о» говорите — праздному человеку аль какому гулящему это и на руку... Тотчас зачнут судачить, да пересмеивать... Вам бы модных словец поучить, чтобы разговаривать политичнее... Учиться надо... Наука не больно хитрая... В трактиры почаще ходите, в те, куда хорошие купцы собираются, слушайте, как они меж собой разговаривают, да помаленьку и перенимайте... А еще лучше в коммерческий клуб ходите» (*Мельников-Печерский П. И.* В лесах. Ч. 3. — В кн.: Полн. собр. соч. СПб., 1909, т. 3, с. 210). После стилистических уроков Алексей Лохматый так ведет разговор с Колышкиным: «По тому самому, Сергей Андреич, что так как я теперь будучи при таких, значит, обстоятельствах, что совсем на другую линию вышел, по тому самому должен быть по всему в окурате...» Расхохотался Колышкин пуще прежнего» — А говорить-то не по-людски у кого научился?.. *На линии!.. в окурате!..* У какого плута таких слов нахватал?...» — «По образованности, значит,— изо всех сил таращa кверху брови, сказал Алексей.— По тому самому, Сергей Андреевич, что так как ноничи я собственным своим пароходом орудую, так и должно мне говорить политичнее, чтобы как есть быть человеком полированным» (там же, с. 215).

чуждалась «низких» простонародных слов, хотя и не могла от них освободиться, и допускала постоянные комические срывы из книжного языка в вульгарное просторечие и областные диалектизмы. Язык этой мещанской литературы менялся в своем составе, подвергаясь сложным и разносторонним влияниям фольклора и книжности. Но общие его особенности до 20-х годов XIX в. еще не подвергались коренной ломке. Ср., например, в стихотворении дворового человека Матвея Комарова (1771), осуждавшего слог, каким «обыкновенно подлые люди рассказывают сказки»:

Желал бы я *невеждов* тех спросить,
Кои худо от добра не могут отличить [1].

В его повести о Ваньке Каине: «велел он его с воза стащить..., а имеющуюся на возу солому, высекши, из *носящего* всегда с собою огнива, огонь зажечь»[2].

«О, боги, сказал милорд, какое это *похабство!*» (Повесть о приключении английского милорда Георга. Ч. 3, с. 47) и др. под.*[3]

В сочинении Александра Орлова «Встреча чумы с холерою... Московская повесть» (М., 1830) [3] встречается подобное же сочетание архаической книжности с вульгарным просторечием: «гении медицины не могут утвердительно сказать, что ты есь» (5); «*отвещай* же ты. *высокобезобразная*, не съешь ли ты нас с Кручининым?» (10); «*точит* пену клубом изо рту» (18); и т. п. В книге Ив. Гурьянова «Слухи о моровом поветрии в Персии или дружеская беседа по сему случаю провинциального секретаря Евстигнея Анкудиновича Загребалина с его сожительницею и отставным майором Прямодушиным» (М., 1830): «ввернешь словечко такое, чтоб был *насущный хлебец*» (22); «сделанное добро само по себе *неоцененная награда*» (30); «благодарен за *неоставление*» (26); (надзиратель) «первое облегчение им делает *высасыванисм* или, лучше сказать, *облегчением их от излишних крох*» (28); «болезни требуют продолжительного *пользования*» (50); «око *правительства на неусыпной страже* охраняет наше благополучие» (37); «рассказы *болтуньев* и болтунов» (40); «блистала (у Загребалина) на глазах *слеза — драгоценный перл чувствительности*» (46) и т. п.

Эти устные и книжные стили «мещанского» языка были очень разнообразны. Они считались лежащими за пределами «изящной словесности» в художественной культуре XVIII в. и до начала XIX в. оставались на периферии литературного языка. Лишь в первой трети XIX в. они глубоко внедряются в систему литературной речи и ее трансформируют, вступая в синтез и столкновение с господствующими стилями литературы (см. гл. IX).

---

[1] *Шкловский В Б.* Матвей Комаров, житель города Москвы. Л., 1929, с. 23.
[2] Там же, с. 72, а также в издании повести 1779 г., с. 24*[2].
[3] В скобках указаны страницы этого издания.

§ 9. ПРОСТОРЕЧИЕ КАК ОСНОВА ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЧИ В БАСЕННОМ ЯЗЫКЕ И. А. КРЫЛОВА

Живая устная разговорная речь в разных ее социальных пластах и стилях басенным языком Крылова в начале XIX в. была возведена на степень основной базы общерусского национального языка. В. Г. Белинский чрезвычайно ярко характеризовал «народность» крыловских басен, находя в них выражение целой стороны русского национального духа: «В них вся житейская мудрость, плод практической опытности и своей собственной, и завещанной отцами из рода в род. И все это выражено в таких оригинально-русских, непередаваемых ни на какой язык в мире образах и оборотах; все это представляет собой такое неисчерпаемое богатство идиомов, русизмов, составляющих народную физиономию языка, его оригинальные средства и самобытное, самородное богатство,—что сам Пушкин не полон без Крылова в этом отношении»[1]. Широкий влив просторечия в литературу создавал условия для образования единого самобытного национально-литературного языка, доступного широким массам[2].

А. А. Бестужев-Марлинский видел в языке И. А. Крылова идеал народного стиля: «Невозможно дать... большей народности языку»[3]. В начале XIX в. «один только самобытный, неподражаемый Крылов обновлял повременно и ум и язык русский, во всей их народности. Только у него были они свежи собственным румянцем, удалы собственными силами. Он первый показал нам их без пыли древности, без французской фольги, без немецкого венка из незабудок. Мужички его — природные русские мужички; зверьки его с неподкрашенной остью. Счастливцы мы: Крылов и XIX в. были нашими крестными отцами! Первый — научил нас говорить по-русски, второй мыслить по-европейски»[4].

Вполне созвучен отзыв Ф. Булгарина (Литературный листки, 1824, № 2), доказывавшего, что язык Крылова «есть, так сказать, возвышенное, простонародное наречие. Это — русский ум, народный русский язык». Н. И. Надеждин в тридцатых годах заявлял, что Крылов возвел простонародный язык на высшую ступень литературного достоинства (Телескоп, 1836, № 1 и 2, статья «Европеизм и народность»). «Крылов вывел басню на площадь» — таково было ходячее определение демократического стиля баснописца у современников.

---

[1] Отечественные записки, 1840, т. 10, отд. 6, с. 5*[1].

[2] Ср. статью В. Гофмана «Басенный язык Крылова».— В кн.: *Крылов И. А.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1935, т. 1. К сожалению, грамматический анализ басенного языка Крылова в этой статье совершенно неудовлетворителен.

[3] *Бестужев-Марлинский А. А.* Взгляд на старую и новую словесность в России.— В кн.: *Бестужев-Марлинский А. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1840, ч. 11, с. 205.

[4] *Бестужев-Марлинский А. А.* О романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем».— В кн.: *Бестужев-Марлинский А. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1840, ч. 11, с. 283.

[5] Ср.: Русская старина, 1893, июль, с. 77.

Крылов ускоряет в системе литературных стилей три процесса перемещений.

1) Он открывает широкую дорогу в литературу для простонародного языка, для говоров городского просторечия, лишенных яркой профессиональной окраски, для разговорного чиновничьего диалекта как официального, так и фамильярно-бытового вообще, для разных стилей народной поэзии и диалектов живой народной речи. В этом направлении литературная деятельность Крылова (правда, ограниченная сферой басни), нарушая господствующие тенденции и нормы книжно-аристократической культуры литературного слова (ср. оценку языка Крылова у А. Е. Измайлова, Жуковского, кн. Вяземского, Блудова и др.), отвечала потребностям и задачам глубокой национализации и демократизации литературного языка. Стиль Крылова воспринимается как свободный поток национального просторечия, пробившийся широкой струей из недр народного самосознания, из глубин «духа русского народа».

Например:

Отнес полчерепа медведю топором.

(Крестьянин и работник)

Коль в доме станут воровать,
А нет *прилики* вору,
То берегись *клепать*
Или наказывать всех *сплошь* и без разбору.

(Хозяин и мыши)

Мужик ретивый был работник,
И *дюж* и свеж на взгляд.

(Огородник и философ)

Гуторя слуги вздор, плетутся вслед шажком.

(Муха и дорожные)

Разбойник мужика, *как липку, ободрал.*

(Крестьянин и разбойник)

Нет *угомона* на старуху.

(Госпожа и две служанки)

Куда людей на свете много есть,
Которые везде хотят себя приплесть.

(Муха и дорожные)

Бедняжка — *нищенький под оконьем таскался.*

(Фортуна и нищий)

Построить вздумал Лев большой курятный двор
И так его *ухитить и уладить*,
Чтобы воров совсем *отвадить*.

(Лиса-строитель)

Барыш на всем большой он *слупит*,
Забыл совсем, что есть *наклад*.

(Фортуна в гостях)

Мальчишка, думая поймать угря,
Схватил змею и, *воззрившись*, от страха
Стал бледен, как его рубаха.

(Мальчик и змея)

Узнав про то, булыжник *развозился*.

(Булыжник и алмаз)

От стужи *малого прошибли слезы*.

(Мот и ласточка)

Завистливый Паук...
Задумал на продажу ткать,
Купца затеял *подорвать*...

(Паук и пчела)

Поутру, чуть лишь я *глаза продрал*.

(Бритва)

А там сосед, в овсе услыша звук звонка,
Ослу *колом ворочает* бока.

(Осел)

И на извозчика бросается с дубиной,
Да лих схватился он не с олухом-детиной.
Извощик — *малый удалой*
Злодея *встретил мостовиной*.

(Разбойник и извощик)

И ты б там *слез не обобрался*.

(Вельможа)

Ср. чиновничьи выражения:

Ту *подать доправлять*
Пустились сами.

(Водолазы)

Пошли у бедняков *дела другой статьей*.

(Фортуна в гостях)

Ср. приговор лисы:

Не *принимать никак резонов* от овцы:
Понеже хоронить концы,
Все плуты, *ведомо*, искусны.

(Крестьянин и овца)

Крылов, переплавив разнородные элементы устной народной речи, создал из них «общерусский» поэтический стиль басни, близкий к народной словесности. П. А. Плетнев так характеризовал эту сторону языка Крылова: «Искусственный подбор простонародных слов так же далек от простонародного языка, как словарь от книги... Чтобы заимствованный простонародный язык сохранил в сочинении все принадлежности органической своей природы, сочинителю надобно прежде принять в душу свою и в сердце ясный образ самого народа... Крылов обладал неизъяснимым искусством сливать этот язык с общею нашею поэтическою речью. Все подобные оттенки у него не разделялись заметно, а составляли одно целое. Можно подумать, что... он в уме своем представлял только Россию, одним духом движимую, поражающую воображение своею огромностию. величиною частей своих, красками своими, и действующую как одно существо в гигантских размерах»[1].

2. Крылов свободно и широко вводит в строй литературного («авторского») повествования синтаксические формы устной речи с ее эллипсисами, подразумеваниями и с ее идиоматическими своеобразиями.

Например:

Уединение любя,
Чиж робкий на заре чирикал про себя,
Не для того, чтобы похвал ему хотелось,
И не за что; так как-то пелось!

(Чиж и еж)

Когда перенимать с умом, тогда не чудо
И пользу от того сыскать;
А без ума перенимать,
И боже сохрани, как худо.

(Обезьяны)

Оне — чтоб на утек,
Да уж никто распутаться не мог.

(Обезьяны)

С лакеем в два кнута тиранит с двух сторон;
А легче нет...

(Муха и дорожные)

Не тут-то: море не горит.
Кипит ли хоть? — И не кипит.
И чем же кончились затеи величавы?
Синица со стыдом в свояси уплыла.

(Синица)

Послушать — кажется одна у них душа,
А только кинь им кость, так что твои собаки.

(Собачья дружба)

---

[1] *Плетнев П. А.* Жизнь и сочинения И. А. Крылова.— В кн.: ***Плетнев П. А.*** Соч. и переписка. СПб., 1885, т. 2, с. 34.

Окончили торги и делят барыши.
Но в дележе когда без спору?

(Раздел)

И подлинно, весь город знает,
Что у него ни за собой,
Ни за женой.

(Лисица и сурок)

Велеть молчать: так власти нет.
Просил: так просьба не берет.

(Откупщик и сапожник)

Покрал бессовестно, что мог:
И то сказать, какая совесть в воре!
Ну так, что наш мужик, бедняк,
Богатым лег, а с голью встал такою,
Хоть по миру поди с сумою.

(Крестьянин в беде)

Потоплено скота, что и не счесть.

(Крестьяне и река)

Ан смотришь: тут же сам запутался в силок,
И дело:
Вперед чужой беде не смейся, голубок!

(Чиж и голубь)

Он к ней, она вперед: он шагу прибавлять,
Она туда ж; он, наконец, бежать.

(Тень и человек)

Не отказался бы мой Мишка и от драки,
Да весь опутан сетью он,
А на него со всех сторон
Рогатины и ружья, и собаки:
Так драка не по нем.

(Медведь в сетях)

Плутовка, кажется, над рыбаком смеется,
Сорвет приманку, увернется,
И хоть ты что, обманет рыбака.

(Плотичка)

Но в дружбе что за счет? Котел горой за свата,
Горшок с котлом за панибрата.

(Котел и горшок)

Не то бы в Питере, да не о том уж речь.

(Три мужика)

Таким образом, Крылов противопоставил симметрическому однообразию синтаксической системы салонно-европейских стилей экспрессивное разнообразие, красочную идиоматичность и выразительный лаконизм живого устно-народного русского синтаксиса.

3. Крылов с необыкновенным искусством смешивает архаические и литературно-книжные формы выражения с разговорными и просторечными. В его стиле литературная лексика и фразеология — даже в ее стиховых, условно-поэтических вариациях — глубоко проникает в систему устно-бытового просторечия. Стиль варьируется в зависимости от темы, сюжета, от экспрессивного тона повествования и принимает яркий отпечаток национально-русского своеобразия.

Например:

В каком-то *капище* был деревянный бог:
И стал он говорить *пророчески ответы*...

(Оракул)

Но солнышко взошло, природу осветило,
По царству Флорину рассыпало лучи
И бедный Василек, завянувший в ночи,
Небесным взором оживило.

(Василек)

Вот дело слажено; уж в роще огонек
Становится огнем; огонь не дремлет:
Бежит по ветвям, по сучкам,
Клубами черный дым несется к облакам,
И *пламя* лютое всю рощу вдруг *объемлет*.
Погибло все вконец.

(Роща и огонь)

Чиж робкий на заре чиликал про себя.
Не для того, чтобы похвал ему хотелось,
И не за что; так как-то пелось!
Вот в блеске и во славе всей
Феб лучезарный из морей
Поднялся.
Казалось, что с собой он жизнь принес всему.
И в *сретенье* ему
Хор громких соловьев в густых лесах раздался.

(Чиж и еж)

И даже, говорят, на слух *молвы крылатой*
Охотники таскаться по пирам
Из первых с ложками явились к берегам...

(Синица)

Тучегонитель оплошал...
Что мой ушастый *Геркулес*...

(Осел)

Ребенок, черепком наметя в голубка, —
Сей возраст жалости не знает —
Швырнул и раскроил висок у бедняка.

(Два голубя)

Пождем,
Юпитер рек: «а если не смирятся
И в буйстве прекоснят, бессмертных не боясь,
Они от *дел своих казнятся*».

(Безбожники)

9*

Спустившись, наконец, из *облачных вершин*,
Царь-птица отдыхать садится на овин.
Хоть это для орла насесток незавидный,
Но у царей свои причуды есть.

(Орел и куры)

На сей, однакож, раз послушал их *Зевес*.
Дал им царя. Летит к ним с шумом царь с небес.
И плотно так он треснулся на царство,
Что ходенем пошло трясинно государство.

(Лягушки, просящие царя)

Смерть рыщет по полям, по рвам, по высям гор;
Везде разметаны ее *свирепства жертвы*.
Неумолимая, как сено, косит их:
А те, которые в живых,
Смерть видя на носу, чуть бродят полумертвы.

(Мор зверей)

Вздурился лев.
Престрашный поднял рев,
Скрежещет в ярости зубами,
И землю он дерет когтями.
От рыка грозного окружный лес дрожит.

(Лев и комар)

Младая лань, своих *лишась любезных чад*,
Еще сосцы *млеком имея отягченны*,
Нашла в лесу двух малых волченят
И стала выполнять долг матери священный,
Своим питая их *млеком*.

(Лань и дервиш)

Едва лишь на себе собака *испытала*
Совет разумный сей —
Шалить собака перестала.

(Собака)

Однако же Зевес не внял *мольбе пустой*,
И дождь себе прошел своею полосой.

(Цветы)

Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь:
Но если помолчать во время не умеешь
И ближнего ушей ты не жалеешь,
То ведай, что твои и проза и стихи
Тошнее будут всем Демьяновой ухи.

(Демьянова уха)

От стужи малого прошибли слезы,
И ласточку свою, *предтечу* теплых дней,
Он видит на снегу замерзшую...

(Мот и ласточка)

По дебрям гнался лев за серной:
Уже ее он настигал
И взором алчным пожирал
Обед себе в ней сытный верный.

(Лев, серна и лиса)

Какой-то в древности вельможа
С богато убранного ложа
Отправился в страну, где царствует Плутон.
Сказать *простее* — умер он.

(Вельможа)

Ср. в первоначальной редакции басни «Парнас» («Драматический Вестник» 1808):

Как в Греции богам пришли минуты *грозны*,
И стал их колебаться трон,
Иль так сказать *простее* взявши тон,
Как боги выходить из моды стали вон,
То начали богам прижимки делать *разны*.

Так, Крылов еще до Пушкина намечает приемы нового синтеза живой народно-разговорной и литературно-книжной стихий. По словам Плетнева, «отличия речи, выставляющиеся в стихах его, бросаются в глаза не так, как что-то оторванное от целого, а как красивые части, природой утверждаемые на своем месте, здоровые, сильные, и привлекающие к себе внимание крепким организмом, связывающим их с другими»*2.

Диалог в стиле Крылова достигает предельной лаконичности, драматической быстроты и реалистической естественности, приспособляясь к социальному облику басенных персонажей. Например, в басне «Лягушка и вол»:

— «Смотри-ка, квакушка, что, буду ль я с него?» —
Подруге говорит.— «Нет, кумушка, далеко!»
— «Гляди же, как теперь раздуюсь я широко.
Ну, каково?
Пополнилась ли я?» — «Почти что ничего».
— «Ну, как теперь?» — «Все то ж».

В басне «Фортуна и нищий»:

Сума становится уж тяжеленька.
— «Довольно ль?» — «Нет, еще».— «Не треснула б?»
— «Не бойсь».
— «Смотри, ты крезом стал».— «Еще, еще маленько:
Хоть горсточку прибрось»,
— «Эй, полно! Посмотри, сума ползет уж врозь».
— «Еще щепоточку». Но тут кошель прорвался...

Вместе с тем реплики басенных персонажей имеют характер непринужденной и грубой бытовой фамильярности, далекой от всяких салонных приличий. Это — разговор «площади», в котором нивелируются резкие социальные различия между речью разных слоев общества. И в этом национально-демократическом стиле Крылов «обнял собственною мыслию русскую жизнь в главных ее оттенках и красках, изобразил ее резко и верно, наполнил создания свои фило-

софиею, сатирою и поэзиею того народа, которого был представителем» (Плетнев). Басни Крылова — это художественная галерея ярких национальных портретов. По словам Белинского, «басни Крылова, кроме поэзии, имеют еще другое достоинство, которое вместе с первым заставляет забыть, что они — басни, и делает его великим русским поэтом: мы говорим о народности его басен.

Он вполне исчерпал в них и вполне выразил ими целую сторону русского национального духа; в его баснях, как в чистом, полированном зеркале, отражается русский практический ум, с его кажущеюся неповоротливостью, но и с острыми зубами, которые больно кусаются; с его сметливостью, острогою и добродушно-саркастическою насмешливостью; с его природною верностию взгляда на предметы и способностию коротко, ясно и вместе кудряво выражаться»[1].

Из языка Крылова вошло в литературный оборот множество пословиц, поговорок, афоризмов. Например: «А ларчик просто открывался» («Ларчик»); «Если голова пуста, то голове ума не придадут места» («Парнас»); «Наделала синица славы, а моря не зажгла» («Синица»); «Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона» («Слон и моська»); «А философ без огурцов» («Огородник и философ»); «Чтоб гусей не раздразнить» («Гуси»); «А Васька слушает да ест («Кот и повар»); «Услужливый дурак опаснее врага» («Пустынник и медведь»); «Полают да отстанут» («Прохожие и собаки»); «Слона-то я и не приметил» («Любопытный»); «Да эта крыса мне кума» («Совет мышей»); «Пускай ослиные копыта знают» («Лисица и осел»); «Худые песни соловью в когтях у кошки» («Кошка и соловей»); «От ворон она отстала, а к павам не пристала» («Ворона»); «Как белка в колесе» («Белка»); и другие подобные[2].

Таким образом, Крылов своим басенным языком указал новые пути синтеза литературно-книжной традиции с живой русской устной речью, создав художественные образы глубокого и обобщающего реализма и подготовив Пушкину путь к народности*[4].

§ 10. ДВОРЯНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИАЛЕКТЫ

Во второй половине XVIII и в начале XIX в. художественные стили русского литературного языка чуждались слов профессиональной окраски. Поэтому с середины XVIII в. до тридцатых годов XIX в., когда в русском литературном языке организующая роль принадлежала стилям «изящной словесности» — стиховым и прозаическим, профессиональные диалекты и жаргоны (стили канцелярского, официального языка не относились к профессиональной диалектологии, а имели общее политическое значение) оставались почти запредельными литературному языку. Их литературное употребление было очень стеснено, а в салонно-литературных стилях даже вовсе

---

[1] Отечественные записки, 1840, т. 10, отд. 6, с. 5[3]*.

[2] См. статью Б. И. Коплана «Басни Крылова». — В кн.: *Крылов И. А.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1935, т. 1.

запрещено. В поле литературной жизни находилось ограниченное количество слов и выражений с отпечатком профессионального происхождения вроде: *загнуть словечко, обдернуться* (ср. у Пушкина в «Пиковой даме»), *срезать* и т. п. (из картежного арго), *зарубить на носу, без сучка — без задоринки* (из лесного дела), *животрепещущий* — технический термин рыбных торговцев, употреблявшийся в переносном значении — ср. в «Мнемозине»: *животрепящих новостей литературы*, и т. п.[1]

Несомненно, что в столичном просторечии высшего общества преобладающее значение имели диалекты и жаргоны, связанные с светской кружковой жизнью, с военной профессией (ср. язык Дениса Давыдова: ср. слова офицерского арго в «Горе от ума» Грибоедова: *хрипун, удавленник, фагот* — о Скалозубе, *хрипун* в «Домике в Коломне» Пушкина»[2]; *рябчик:* у Гоголя *сенатский рябчик* в статье о «Борисе Годунове» Пушкина; ср. у Марлинского в «Испытании»: «...фрачные, которых военная каста называет обыкновенно рябчиками»), с играми в карты и шулерскими ухищрениями.

Интересно свидетельство Вяземского об одном офицере-«лингивисте» Раевском, «обогатившем гвардейский язык многими новыми словами и выражениями, которые долго были в ходу и в общем употреблении,— например: *пропустить за галстук, немного подшефе* (chauffé), *фрамбуаз* (framboise — малиновый) и пр. Все это по словотолкованию его значило, что человек лишнее выпил, подгулял»*[1].

Вместе с тем характерен для стиля эпохи подбор тех профессиональных диалектов, из которых приводятся (хотя и в очень ограниченном количестве) слова и выражения в словарях XVIII — начала XIX в. Это — прежде всего диалекты приказно-канцелярские (ср. *тоги* — перечни в счете; *иск* — в приказном наречии,— «Словарь Академии Российской» XVIII в., 3, 325; *говорить суд* — речение приказное: доказывать иск или оправдаться, 5, 950; *подбирать законы* — речение приказное. Деяние ябедников и крючкотворцев, которые собранием множества законов запутывают дело, 3, 10 и др. под.), мореходное и военное «наречия» (ср. пометы слов: *базанить, взвод, верстать; предавать огню и мечу* и т. п.) и карточное арго (ср. словарики при изданиях вроде «Новейший карточный игрок»... 1809, ч. 1—2; ср. происхождение слов и выражений, проникших в литературную речь из карточного жаргона; *под сюркуп, наверное — наверную, в руку, под мухой, идти в гору* и т. п.), т. е. диалекты и жаргоны, связанные с служебно-деловыми отношениями и общественно-бытовыми занятиями дворянства и буржуазии. Далее идут профессиональные диалекты, которые преимущественно относятся к поместному или

---

[1] Мнемозина. 1824, № 2, с. 105.

[2] *Хрипун* — фронтовик, фанфарон, щеголяющий французским языком и светской ловкостью обращения. Ср. у П. А. Вяземского в «Старой записной книжке»: «Слово *хрип...* означало какое-то хватовство, соединенное с высокомерием и выражаемое насильственною хриплостью голоса» (с. 110). Ср. также характеристику хрипунов у Булгарина в рассказе «Приключения квартального надзирателя» (1834). Ср. позднее у *И. С. Тургенева в* «Старых портретах»: «Военные... шею затянули туго-на-туго... хрипят, глаза таращат, да и как не хрипеть?».

крестьянскому быту, к сфере помещичьего дворового хозяйства или к общим потребностям домашнего хозяйственного обихода: охотничий (*называть* — в наречии охотничьем: скликать собак, 3, 118; *отозваться* в наречии охотничьем: дать знать о затраве зверя, 3, 120; *плоха* — в наречии охотничьем: просека в лесу, прорубленная для охоты на уток, 4, 913 и др. под.), пивоваренный (как *вороново крыло* — речение пивоварное, употребляемое к означению густого и крепкого пива, 1, 855), плотнический (*в лапу сдирать* — соскабливать), диалект гранильщиков (*наждак*), каменщиков (*кружало*), портных (*ворсить*), гончаров (*мостница*), сапожников (*липка*, *варовик*), кожевников (*бухтарма* — мясистые волокна на коже животных), столяров, печников и, наконец, торговый (*харчи*, *заваль*, *жилец* — товар, который скоро сходит с рук и т. п.) с его областными и арготическими разновидностями.

Следовательно, в словарях не представлена масса диалектальных разновидностей языка города, которые находились во взаимодействии с демократическими стилями городского просторечия,— например язык мелких чиновников, мелких торговцев, рабочих и т. п. Эти профессиональные диалекты ждали литературной канонизации. И она приходит для некоторых из них в 30—40-е годы.

Таким образом, и с этой стороны преобладающие литературные стили конца XVIII — начала XIX в. обнаруживали социально-диалектальную узость и должны были подвергнуться напору новых языковых пластов, которые поднимались на уровень литературной жизни вместе с культурно-политическим ростом демократических кругов общества.

§ 11. ВЛИЯНИЕ САЛОННЫХ СТИЛЕЙ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ РЕЧЬ ШИРОКИХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ КРУГОВ ОБЩЕСТВА

Несмотря на ту борьбу и противодействие, которые были направлены на салонно-литературные стили, их нормирующая роль была велика. Они укрепились в системе национально-литературного языка как одна из социально ограниченных разновидностей литературного выражения. В 20—40-х годах на нормы литературной речи карамзинской школы в той или иной степени ориентировалась едва ли не большая часть стилей художественной литературы (ср. влияние А. А. Бестужева-Марлинского или Кукольника и др.). Пушкин иронизировал над искусственным «великосветским» тоном писателей, которые проявляли жеманство и чопорность «уездной заседательницы», «деревенской просвирни-дьячихи, пришедшей в гости к петербургской барыне», «поминутно находя одно выражение бурлацким», другое мужицким, третье неприличным для дамских ушей и т. п.[1] Но разночинец Н. А. Полевой писал: «Автор обязан выражаться языком хорошего общества»[2] и отрицал «нагую простоту народной речи».

---

[1] *Пушкин А. С.* Соч. Л., 1928, т. 9, ч. 1, с. 106.

[2] Московский телеграф, 1829, № 15, с. 323.

[«Благородный» стиль светского обихода не терпит вульгаризмов, простой, но грубой лексики демократического просторечия. Путем такого соскабливания несветских шероховатостей русский язык сокращается, приобретая внешнюю декоративную гладкость и нарядность. Устраняются слишком резкие или слишком простые, грубые и низкие идеи и формы их выражения. Действительность облекается риторическим покровом «цветов слога», полувуалем описательных выражений и метафор западноевропейского галантного стиля. Русский язык карамзинской школы риторически схематизирует и логически классифицирует общие впечатления от действительности и основанные на ней абстрактные идеи. Идеалом светского этикета предопредлены словесные средства эмоционального выражения. Устанавливается фонд приличных и красивых светских выражений, обобщенных и лишенных индивидуального колорита. Из поэзии изгнано множество прямых обозначений бытовых вещей и действий: они заменены перифразами. Поэт имеет в своем распоряжении меньше одной трети общерусского словаря. В этом же направлении преобразуется и грамматика.][1]

Однако, имея направляющее, регулятивное значение для некоторых стилей последующей литературы, эти книжно манерные стили быстро стали консервироваться и превращаться в кружковой искусственно-литературный «диалект». Передовая литература первой трети XIX в. стремилась к выработке такой системы общего национально-литературного языка, которая объединила бы по возможности большую часть книжных и разговорных стилей русского языка. В этой работе по созданию новой структуры демократического национально-литературного языка особенное значение имеет литературно-языковая деятельность великого русского поэта А. С. Пушкина.

---

[1] Текст, заключенный в квадратные скобки, взят из рукописи В. В. Виноградова для полноты изложения материала.

VI. Язык Пушкина и его значение в истории русского литературного языка

§ 1. ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ЯЗЫКЕ ПУШКИНА

В языке Пушкина вся предшествующая культура русского художественного слова не только достигла своего высшего расцвета, но и нашла решительное преобразование. Язык Пушкина, отразив прямо или косвенно всю историю русского литературного языка, начиная с XVII в. до конца 30-х годов XIX в., вместе с тем определил во многих направлениях пути последующего развития русской литературной речи и продолжает служить живым источником и непревзойденным образцом художественного слова для современного читателя. Стремясь к концентрации живых сил русской национальной культуры речи, Пушкин прежде всего произвел новый, оригинальный синтез тех разных социально-языковых стихий, из которых исторически складывается система русской литературной речи и которые вступали в противоречивые отношения в разнообразных диалектологических и стилистических столкновениях и смешениях до начала XIX в. Это были: 1) церковнославянизмы, являвшиеся не только пережитком феодального языка, но и приспособлявшиеся к выражению сложных явлений и понятий в разных стилях современной Пушкину литературной (в том числе и поэтической) речи; 2) европеизмы (преимущественно во французском обличье) и 3) элементы живой русской речи, широким потоком хлынувшие в стиль Пушкина с середины 20-х годов. Правда, Пушкин несколько ограничил литературные права русского просторечия и простонародного языка, в особенности разных областных говоров и наречий, а также профессиональных диалектов и жаргонов, рассматривая их с точки зрения глубоко и своеобразно понимаемой им «исторической характерности» и «народности», подчинив их идеальному представлению об общепонятном языке «хорошего общества»[1]. Однако «хорошее общество», по мнению Пушкина, не пугается ни «живой странности» простонародного слога, восходящего главным об-

[1] Подробнее см. в моей книге «Язык Пушкина». М.—Л., 1935.

разом к крестьянскому языку, ни нагой простоты выражения, свободного от всякого «щегольства», от мещанской чопорности и провинциального жеманства. Пушкин стремится к созданию демократического национально-литературного языка на основе синтеза книжной культуры литературного слова с живой русской речью, с формами народно-поэтического творчества. С этой точки зрения представляет глубокий социально-исторический интерес оценка Пушкиным басенного языка Крылова, признанного в передовой критике 20-х годов XIX в. квинтэссенцией русской народности. Когда князь Вяземский с аристократических позиций отрицал национальное представительство Крылова, Пушкин возражал Вяземскому: «Ты уморительно критикуешь Крылова, молчи, то знаю я сама, да эта крыса мне кума» (*Пушкин А. С.* Переписка. СПб., 1906, т. 1. с. 301)*[1].

Здесь Пушкин с необыкновенным остроумием и с политической свободой от узкодворянской догмы применил к Крылову образ бесхвостой крысы из басни Крылова «Совет Мышей». Известно, что в этой басне мыши, вздумавшие себя прославить, решили составить совет из одних длиннохвостых мышей.

Примета у Мышей, что тот, чей хвост длиннее,
Всегда умнее
И расторопнее везде.
Умно-ли то, теперь мы спрашивать не будем;
Притом же об уме мы сами часто судим
По платью, иль по бороде.

Но на совете мышей оказалась среди длиннохвостых мышей и крыса без хвоста.

Мышонок молодой возмущен ее обществом и говорит:

«Какой судьбой
Бесхвостая здесь с нами заседает?
И где же делся наш закон?..
И можно ль, чтоб она полезна нам была,
Когда и своего хвоста не сберегла?
Она не только нас, подполицу всю сгубит».
А Мышь в ответ: «Молчи, все знаю я сама;
Да эта крыса мне кума».

Так Пушкин объявил Крылова бесхвостой «кумой» своего стиля и тем самым демонстрировал свой выход за пределы классовой, аристократической культуры литературного слова. Это было свободное признание демократических основ новой системы русского литературного языка. Народная поэзия была для Пушкина наиболее ярким выражением «духа» русского языка, его основных свойств. «Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка»,— писал Пушкин[1]. «Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтоб видеть свойства русского языка»[2].

---

[1] Полемические и грамматические заметки, связанные с рецензиями на «Евгения Онегина»*[2].

[2] Ответ на статью в «Атенее» об «Евгении Онегине»*[3].

Обращение «к свежим вымыслам народным и к странному просторечью», по мысли Пушкина, является одним из наиболее существенных признаков «зрелой словесности»*4. Период «зрелости» русской литературы открывается творчеством Пушкина в 20—30-е годы XIX в.

Синтез разных речевых стихий, которые были строго разграничены ломоносово-шишковской теорией трех стилей и которые подверглись решительной переоценке и стеснительным ограничениям в стилистических канонах русских «европеистов» (особенно в стилях карамзинской школы и ее ответвлений), обусловливал полноту и безмерную экспрессивно-смысловую емкость пушкинского стиля. Традиционное деление русского литературного языка на три слога было окончательно разрушено Пушкиным. Пушкин утверждает многообразие стилей в пределах единой общенациональной нормы литературного выражения. Этот процесс был неотделим от реформы литературного синтаксиса и семантики. Расширяются границы литературного языка в сторону устной речи и народной поэзии. В слове, в его смысловой глубине происходит скрещение разных социально-языковых и литературно-стилистических контекстов. Те значения слова, которые прежде были разъединены употреблением, принадлежали разным стилям языка художественной литературы, разным диалектам и жаргонам письменной речи или устно-бытового просторечья, сочетаются Пушкиным в новые единства. В слово вкладывается заряд из таких значений, которые раньше представлялись стилистически или диалектологически разобщенными.

Эта стилистическая многогранность слова прежде всего подготовляется постепенным перемещением границ между литературой и бытом, реалистическим их сближением, которое начинается в творчестве Пушкина уже на рубеже 10—20-х годов, но особенно ярко обнаруживается около середины 20-х годов (в период работы над «Евгением Онегиным», «Цыганами» и «Борисом Годуновым»).

§ 2. ЗАВИСИМОСТЬ РАННЕГО ПУШКИНСКОГО ЯЗЫКА ОТ СТИЛЕЙ КАРАМЗИНСКОЙ ШКОЛЫ

Пушкин вступил в атмосферу языковой борьбы своего времени как «француз», как сторонник европейской культуры художественного слова, но понял эту борьбу по-своему. Он сначала воспринял ее в свете романтико-философских категорий исторического процесса, и она постепенно изменила для него свое назначение и содержание. Вступив на путь национального реализма, Пушкин придал ей широкий демократический характер. Для предшествующего поколения русских «европейцев» (карамзинистов) в центре литературной политики стоял вопрос об ограничении состава и форм русского письменного и литературного языка, о частичном приближении его к устной речи образованного общества. Одним из средств этой реформы был перевод, перевоплощение «европейской, преимущественно французской, семантики в формы национального русского языка, сближение русского языка с системами западноевропейских языков. На роль руко-

водителя художественного вкуса претендовал великосветский салон. Салон — царство женщины. И идеальный образ дамы-читательницы и эстетической законодательницы определял стилистическое построение, идейное содержание и экспрессию манерного, жеманного светского стиля карамзинской школы, этого, по определению Пушкина, «нежного и разборчивого языка». Язык Пушкина до конца 10-х — начала 20-х годов движется в русле «западнических» традиций карамзинского течения. Сфера употребления церковнославянизмов ограничена. Народная струя в раннем пушкинском языке еще не очень широка.

§ 3. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПУШКИНСКОГО ЯЗЫКА ОТ ФОНЕТИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ АРХАИЗМОВ ЦЕРКОВНОКНИЖНОЙ РЕЧИ

Не отказываясь совсем от культурного наследия церковнославянского языка, от скрытых в нем возможностей поэтического выражения и экспрессивного воздействия, Пушкин постепенно освобождает литературный язык от груза излишних и потерявших выразительность церковнославянизмов. К началу 20-х годов исчезают из пушкинского употребления такие устарелые церковнославянские слова, как

расточить (в значении разогнать, рассеять):

Там с верной, храброю дружиной
Полки врагов я *расточил*...

(Кольна, 1814);

вседержитель:

Но сильного в боях небесный *вседержитель*
Лучом последним увенчал...

(Воспоминания в Царском Селе, 1814);

сретать:

Бегут — и в тьме ночной их глад и смерть *сретают*...

(Там же);

воитель (в последний раз это слово употребляется в «Песни о вещем Олеге», 1822)[1]:

Воителю слава — отрада...

куща:

Повесит меч войны средь отческия *кущи*...

(Эпиграмма, 1815);

затем это слово встречается у Пушкина только дважды: в пародической «Оде его сиятельству графу Дм. Ив. Хвостову» (1825) и в «Цыганах»:

---

[1] Ср. в стихотворениях 1814 г.: «Кольна», «Воспоминания в Царском Селе».

Скажи мне, что такое слава?
Могильный гул, хвалебный глас,
Из рода в роды звук бегущий?
Или под сенью дымной *кущи*
Цыгана дикого рассказ?

(Ср. у Н. М. Карамзина статью «Посвящение кущи»)*[1];

поносный — в значении постыдный (ср. «Воспоминания в Царском Селе», 1814);

влиять — в прямом значении — вливать: в стихотворении «К Батюшкову» (1814):

...певец тиисский
В тебя *влиял* свой нежный дух.

В стихотворении «Воспоминания в Царском Селе» (1814):

О если б Аполлон пиитов дар чудесный
Влиял мне ныне в грудь;

В стихотворении «Дельвигу» (1817):

...и мне богини песнопенья
Еще в младенческую грудь
Влияли искру вдохновенья...

Исключение архаических церковнославянизмов из языка Пушкина сопровождалось постепенным сокращением и устранением таких фонетических и морфологических примет церковнокнижной речи, которые были типичны для «высокого» славянского слога. Например, церковнославянское *е* в ударяемом слоге перед твердым согласным на месте русского о в ряде грамматических категорий к концу 10-х годов или вовсе исчезает из стихов Пушкина, или остается в единичных примерах, вытесняясь ё. Так, рифмы показывают, что употребление церковнославянской огласовки в конечном ударном слоге 3-го лица ед. ч. настоящего и будущего времени глаголов 1-го спряжения (с тематическим гласным *е*, например *льет*, *взойдет*, *стрежет*):

Их гробы черный вран *стрежет*.
Гряди — и там, где их не стало,
Воздвигни памятник побед!

(Кольна, 1814);

в начале 20-х годов прекращается.

Последний по времени пример такого употребления падает на 1821 г. в стихотворении «Наполеон»:

Исчез властитель осужденный,
Могучий баловень побед,
И для изгнанника вселенной
Уже потомство *настает*.

Точно так же, за исключением одного примера в высоком слоге «Полтавы» (*вознесен* — *измен*), 1817 годом заканчивается употребление им. пад. муж. р. нечленной формы причастия страдательного залога прошедшего времени в церковнославянской огласовке. Ср., например, в стихотворении «Городок» (1814):

О добрый *Лафонтен.*
С тобой он смел сразиться...
Коль можешь ты дивиться,
Дивись: ты *побежден.*

Церковнославянская огласовка здесь решительно вытесняется русской (на это указывают рифмы типа *удивлен — он*; «Евгений Онегин», VI, 8)[1]. Характерно также, что в огласовке ударяемых окончаний твор. пад. ед. ч. мягкого склонения *-ем (алтарем — шлем)* и *-ею (чешуею — над нею,* в «Гавриилиаде») у Пушкина сохраняются лишь единичные отражения церковнославянского произношения, между тем как в стихах Батюшкова случаи церковнославянской огласовки нередки, например:

И ты, Амур, меня в жилища безмятежны,
В Элизий приведешь таинственной *стезей*
Туда, где вечный май меж рощей и полей.

(Элегия из Тибулла);

Напрасно я спешил от северных степей,
Холодным солнцем освещенных,
В страну, где Тирас бьет излучистой *струей...*

(Разлука) и др.

Тот же принцип постепенного освобождения пушкинского языка от церковнославянских грамматических форм можно установить, наблюдая употребление церковнокнижных окончаний род. пад. жен. р. имен прилагательных *-ыя, -ия:*

С рассветом *алыя* денницы...

(Кольна, 1814);

Когда под скипетром *великия* жены
Венчалась славою счастливая Россия...

(Воспоминания в Царском Селе, 1814);

Подруги тайные моей весны *златыя...*

(Погасло дневное светило, 1820) и др. под.

Бóльшая часть примеров приходится на ранние годы поэтической деятельности Пушкина, кончая 1820 г. В позднейшую эпоху встречаются немногочисленные примеры употребления окончания род. пад. *-ыя, -ия* и притом всегда со специальной стилистической мотивировкой. Например: в «Сказке о мертвой царевне» (1833) — *зеленыя;* в церковнобиблейском стиле «Пророка» — *жало мудрыя змеи* и др. под.[2]

---

[1] Ср. примеры из Пушкина и из других поэтов пушкинской и допушкинской поры в ст.: *Бернштейн С. И.* О методологическом значении фонетического изучения рифмы (к вопросу о пушкинской орфоэпии).— В сб.: Пушкинист. М.—Л., 1922, т. 4.

[2] См.: *Будде Е. Ф.* Опыт грамматики языка А. С. Пушкина. СПб., 1904, вып. 2, с. 30; ср. его статью: О поэтическом языке Пушкина.— В кн.: *Пушкин А. С.* Соч. СПб., 1911, т. 5, с. 240.

Таким образом, в языке Пушкина (правда, с некоторыми ограничениями) торжествует принцип сближения фонетико-морфологического строя литературного языка с живой разговорной речью образованного общества.

§ 4. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА В ЯЗЫКЕ ПУШКИНА

Вопрос о литературно-книжных элементах в составе пушкинского языка — это вопрос об отношении Пушкина к предшествующей книжной, преимущественно церковнославянской традиции. До начала 20-х годов Пушкин разделял карамзинскую точку зрения на необходимость сближения книжного языка с разговорным языком образованного общества и боролся с церковнокнижной культурой речи. Церковнобиблейские выражения и образы смешиваются в ранних стихотворениях Пушкина с условно-литературными отражениями античной, классической мифологии.

Например:

Тогда, клянусь богами...
Я с сельскими попами
Молебен отслужу.

(Городок, 1814);

Послушай, муз невинных
Лукавый духовник...

(К Дельвигу, 1815);

Христос воскрес, питомец Феба!

(Из письма к В. Л. Пушкину, 1816);

...Святую библию харит...
Да сохранят тебя в чужбине
Христос и верный Купидон!

(Когда сожмешь ты снова руку, 1818);

В Меркурии архангела избрал...

(Гавриилиада, 1821)

Церковнославянизмы не только сокращаются в числе, не только лишаются церковнобиблейской окраски, но употребляются каламбурно, с иронией. Например:

Дай бог, чтоб милостию неба
Рассудок на Руси воскрес...
Чтоб в Академии почтенной
Воскресли члены ото сна...
Но да не будет воскресенья
Усопшей прозы и стихов.

(Из письма к В. Л. Пушкину, 1816);

Мой друг! неславный я поэт,
Хоть христианин православный.

(В альбом Илличевскому, 1817);

И с Соломоном восклицаю:
Мундир и сабля — суеты!

(Орлову, 1819)

Употребление церковнославянизмов в переносном значении также сопровождается их «светским» переосмыслением. Например:

Апостол неги и прохлад...

(Пирующие студенты, 1814);

Октавию — в слепой надежде —
Молебнов лести не пою.

(В стране, где Юлией венчанный, 1821);

Он сочинял любовные *псалмы*...

(Гавриилиада)

Ср. в письме кн. П. А. Вяземскому: «...вся трагедия написана по всем правилам парнасского *православия*»; в письме к А. И. Тургеневу: «...не знаю, пустят ли этого бедного Онегина в *небесное царствие* печати»[1] и т. п.

Приспособляя слова, выражения, обороты церковнославянского языка к стилям художественной литературы и к бытовому русскому языку, Пушкин вкладывает в церковнославянизмы новое содержание, нередко атеистическое или вольнодумное. Например, призыв к революционной борьбе, к народному восстанию выражен поэтом в таких словах:

Ужель надежды луч исчез?
Но нет! — мы счастьем насладимся,
Кровавой чаши причастимся —
И я скажу — Христос воскрес.

(В. Л. Давыдову, 1821)

Поэма «Гавриилиада» переполнена атеистически перевернутыми выражениями церковного языка. Например:

И ты пылал, о боже, как и мы.
Создателю постыло все *творенье*,
Наскучило *небесное моленье*,
Он сочинял *любовные псалмы*

И громко пел: Люблю, люблю Марию,
В унынии *бессмертие влачу*...
Где крылия! К Марии полечу
И на груди красавицы *почию*!..

Эта борьба с церковнокнижной культурой, опиравшаяся на идеологию атеистически настроенного вольтерьянца, выражалась также в своеобразных приемах смешения церковнославянских и русских выражений, в приемах морфологического и семантического их взаимодействия. Например, в «Руслане и Людмиле»:

---

[1] *Пушкин А. С.* Переписка. СПб., 1906, т. 1, с. 67, 124*[1].

Как ястреб, богатырь летит
С *подъятой, грозною десницей*
И в щеку тяжкой рукавицей
С размаха голову разит.

(Песнь III)

В «Братьях разбойниках»:

Уже мы знали *нужды глас*...
Душа рвалась к лесам и к воле,
Алкала воздуха полей...
Потом на прежнюю *ловитву*
Пошел один...

Ср. в отрывке (1822):

Свод неба мраком обложился...
И пламя яркое костров,
И трубный звук, и лай *ловитвы*.

Современная поэту критика настойчиво упрекала его в неуместном смешении церковнославянизмов с «чисто русскими словами, взятыми из обыкновенного общественного быта». Эта общая тенденция к ассимиляции церковнокнижных и архаически-славянских выражений с общеупотребительными формами речи сохраняется до конца в пушкинском языке. Но само отношение к церковнославянскому языку у Пушкина начинает меняться с 20-х годов. Причины этого явления очень сложны. Тут сказывалось и влияние на поэта славянофильски настроенных групп передовой интеллигенции, к которым принадлежали, между прочим, и декабристы, и люди, близкие к ним, например В. К. Кюхельбекер и П. А. Катенин. В церковнославянской традиции, в выработанной ею системе оборотов и отвлеченных значений Пушкин видел опору в борьбе с засилием французских стилей. Вместе с тем церковнокнижная культура представлялась поэту более демократической, национальной, более близкой к «коренным» основам народного русского языка... Слияние «книжного славянского языка» с простонародным выдвигается как основной принцип творчества русской литературы. «Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей» («О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова»)*2. Правда, в церковнославянском языке поэт ценит не идеологию христианской морали и не религиозную мифологию, а его стилистические достоинства — простоту, краткость, первобытную свежесть и свободу от европейского жеманства. «Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке,— пишет Пушкин Вяземскому в 1823 г.,— следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали»[1]. Этот возврат к традициям церковнокнижной культуры налагал на пушкинский язык,

[1] *Пушкин А. С.* Переписка, т. 1, с. 85*3.

на некоторые его стили, отпечаток известной архаичности, который в отдельных жанрах усиливался в 30-е годы.

Продолжая по разным направлениям разрабатывать «неистощимый рудник языка славянского», Пушкин, однако, освобождал русский литературный язык от оков архаической церковной идеологии. Он воскрешал старинные выражеиия с ярким колоритом национальной характерности, смешивал и сливал слова и обороты церковнославянского языка с живою русской речью и на таком соединении создал поразительное разнообразие литературных стилей и жанров. Но Пушкин всегда проводил отчетливую грань между широкою возможностью художественного или риторического использования церковнославянизмов и узким кругом их общественно-бытового употребления. «Давно ли мы стали писать языком общепонятным?» — спрашивал Пушкин.— «Убедились ли мы, что славянский язык не есть язык русский, и что мы не можем смешивать их своенравно, что если многие слова, многие обороты счастливо могут быть заимствованы из церковных книг в нашу литературу, то из сего еще не следует, чтобы мы могли писать: *да лобжет мя лобзанием*, вместо *целуй меня*» (Черновые наброски к так называемым «Мыслям на дороге», см. «Путешествие из Москвы в Петербург»)*[4]. Таким образом, в общенациональной системе литературного языка Пушкин подчиняет церковнославянские формы выражения особенностям живой русской речи.

§ 5. ПРИЕМЫ И ПРИНЦИПЫ ПУШКИНСКОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМОВ

Все особенности, касающиеся употребления церковнославянизмов в пушкинском языке с середины 20-х годов, можно разбить на три основные группы явлений. Прежде всего романтический интерес к русскому средневековью заставляет Пушкина оценить значение церковнославянского языка как основной формы литературного выражения в ту эпоху. Отсюда — сложные приемы пользования церковнославянским языком как средством воспроизведения культуры, быта и мировоззрения изображаемой эпохи в «Борисе Годунове»[1] и «Полтаве». Высокая оценка национально-исторической роли церковнославянского языка побуждает поэта переносить его формы из стиля исторического повествования в общую систему современного Пушкину литературного языка. Историзм Пушкина помогает ему извлечь национально-характерное и художественно ценное содержание из музейных сокровищ старой книжной культуры. Архаические церковнославянизмы и выражения древнерусского летописного и приказного языка проникают в гражданскую поэзию Пушкина, например:

Но *днесь*, когда мы вновь со славой
К Стамбулу грозно *притекли*...

(Олегов щит, 1829);

---

[1] См.: *Винокур Г. О.* Язык «Бориса Годунова».— В сб.: «Борис Годунов» А. С. Пушкина, 1936; ср. также мою рецензию на этот сборник во «Временнике Пушкинской Комиссии Академии наук». М.—Л., 1936, вып. 2.

И тут же древнерусские историзмы: *славянская дружина; победы стяг; во славу Руси ратной; строптиву греку в стыд и страх; щит булатный* и др. В стихотворении «Моя родословная» (1830):

> Мой предок Рача *мышцей бранной*
> Святому Невскому служил...

В стихотворении «Бородинская годовщина» (1831):

> И Польша, как бегущий полк,
> *Во прах бросает* с т я г к р о в а в ы й...
> Но вы, *мутители* палат,
> *Легкоязычные витии*...

Вместе с тем романтическое увлечение Пушкина «восточным пестрым слогом» (ср. «Подражания Корану», переложения «Песни песней») влечет за собой признание художественных красот церковнобиблейского языка.

Другая категория явлений, связанных с употреблением церковнославянизмов, подводит к вопросу о патетических, торжественных стилях пушкинского языка. Церковнославянская стихия здесь в стиховом языке разбивается на три основные стилистические струи. Она образует главный фонд религиозной лирики. Она является источником, откуда черпаются формы гражданской риторики и лирической патетики. Из сферы церковнославянского языка, наконец, берутся краски для высоких эпических картин и для литературной стилизации народной поэзии. Достаточно привести лишь некоторые, наиболее архаические примеры из разных жанров. Из религиозной лирики: «сердцем возлетать во области заочны»; «владыко дней моих»; «дух праздности... любоначалия... и празднословия»; «дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья» («Отцы пустынники и жены непорочны», 1836): «гортань геенны хладной»; «с веселием на лике» («Как с древа сорвался», 1836); «даль указуя перстом», «я оком стал глядеть болезненно-отверстым» («Странник», 1835); «препоясáлась высота» и мн. др.; из стихотворений лирико-эпических: «нимфа плод понесла»; «ее прияла сама Мнемозина» («Рифма», 1830); «творить возлиянья, вещать благовещие речи»; «да сподобят нас чистой душою правду блюсти» («Подражания древним», 1833); «се ярый мученик»; «древеса»; «исторженные пни» («Из А. Шенье». 1835) и т. п.: из «Песен западных славян»: «...грех велик христианское имя нарещи такой поганой твари» («Феодор и Елена»); «и мертвые уста отворились, голова Елены провещала» (т а м ж е) и др. под.

Прозаический язык Пушкина менее богат церковнославянскими выражениями, особенно язык художественной прозы. Но и он не чуждается церковнославянизмов. Таковы, например, союзы: *дабы, ибо;* наречие *токмо;* местоимения *кои, сей, оный:* церковнобиблейская фразеология: «положить... непреодолимую преграду» («Метель»); «кто не почитает их извергами человеческого рода» («Станционный смотритель»); «сердце наше исполнится искренним состраданием» (т а м ж е); «сие да будет сказано не в суд и не во осуждение» («Барышня-крестьянка») и мн. др.

Более архаична лексика и фразеология «метафизического», отвле-

ченного, критико-публицистического языка Пушкина: «...поэзия... *кольми паче* не должна унижаться»; «поприще жизни»[1]; «восстав от сна» (36); «писателей, подвизающихся во мраке» (52); «стать в притчу и посмеяние» (108); «наскуча звуками кимвала звенящего» (52) и мн. др.

Со второй половины 20-х годов в пушкинском стиле обнаруживаются тенденции к синтезу самых разнородных форм выражения. Основное ядро системы национальной русской поэтической речи представляется Пушкину более или менее установленным. Пушкин теперь стремится расширить круг литературных стилей, сочетая «крайности», воскрешая и пополняя новым жизненным и образно-художественным содержанием старые выражения. Снимаются все преграды на пути движения в литературу для всех тех элементов русского языка, которые могли претендовать на общенациональное значение и которые могли бы содействовать развитию индивидуально-художественных композиций. Вместе с тем старинные образы получают яркий отпечаток живой народной общерусской речи.

В «Родословной моего героя»[*2] поразительны приемы перевода церковнославянизмов, старинных летописных формул, древнерусизмов, исторических терминов и книжно-поэтических образов в фамильярно-народный стиль, блещущий всей непринужденностью и простотой бытового рассказа. Например:

Одульф, его начальник рода,
Вельми бе грозен воевода
(Гласит Софийский Хронограф).
При Ольге, сын его Варлаф
Приял крещенье в Цареграде
С приданым греческой княжны.
От них два сына рождены,
Якуб и Дорофей. В засаде
Убит Якуб, а Дорофей
Родил двенадцать сыновей...

Ср.:

При Калке
Один из них был схвачен в свалке,
А там раздавлен, как комар,
Задами тяжкими татар.
Зато со славой, хоть с уроном,
Другой Езерский, Елизар,
Упился кровию татар,
Между Непрядвою и Доном,
Ударя с тыла в табор их
С дружиной суздальцев своих.
В века старинной нашей славы,
Как и в худые времена,
Крамол и смуты в дни кровавы
Блестят Езерских имена.

Или:

...Геральдического льва
Демократическим копытом
У нас лягает и осел:
Дух века вот куда зашел.

Ср. в «Медном всаднике»:

Да *умирится* же с тобой
И побежденная стихия.

И у Карамзина в «Истории Государства Российского» (т. 1, 136),

---

[1] *Пушкин А. С.* Соч. Л., 1928, т. 9, ч. 1, с. 38. В дальнейшем ссылки на это же издание[*1].

в летописной цитате: «Первым словом *да умиримся* с вами, греки»[1].

Третья категория стилистических особенностей в употреблении церковнославянизмов характеризует основную тенденцию пушкинского языка к взаимодействию и смешению церковнославянизмов и русских литературных и разговорно-бытовых выражений. Церковнославянизмы сталкиваются с русскими словами, обрастают «светскими» переносными значениями, заменяются русскими синонимами, сливаются с ними, передавая им свои значения. Этот процесс литературной ассимиляции церковнославянизмов вызвал у современников поэта больше всего откликов и недоумений.

Зима. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь...

«В первый раз, я думаю, *дровни* в завидном соседстве с *торжеством*»,— писал «Атеней» (1812, № 4, ч. 1). Этот процесс можно наблюдать в таких явлениях стилистического преобразования церковнославянизмов:

В том совести, в том смысла нет,
На всех различные *вериги*...

(Евгений Онегин, 1, XIV);

Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня *преобразив*.

(5, II);

Мальчишки разогнали псов,
Взяв барышню *под свой покров*.

(7, XVI);

Старушка очень полюбила
Совет разумный и благой...

(7, XXVII);

И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие чумы...

(Пир во время чумы)

Характерны такие приемы переносного употребления церковнославянских слов и выражений:

Как *утеснительного сана*
Приемы скоро приняла.

(Евгений Онегин, 8, XXVIII);

И Страсбурга пирог *нетленный*...

(1, XVI);

---

[1] Ср указания в кн.: *Буслаев Ф. И.* О преподавании отечественного языка. М., 1844, ч. 1, с. 286.

Высокопарный, но голодный
Для виду прейскурант висит...

(7, XXXIV)[1]

Нередко русские слова вбирают в себя значения семантически или этимологически близких церковнославянизмов. Таково, например, употребление слова *зевать*, возникшее на основе этимологических связей с глаголом *зиять:*

И всех вас гроб *зевая* ждет,
Зевай и ты...

(Сцена из «Фауста»)

Могилы склизкие, которы также тут,
Зеваючи жильцов к себе на утро ждут[2].

Любопытно также применение церковнославянизмов в просторечном значении или уравнение церковнославянизмов с просторечными дублетами. Например, в «Медном всаднике» — параллелизм форм *обуянный* («обуянный силой черной») и *обуялый* («спасать и страхом обуялый и дома тонущий народ»).

§ 6. «ЕВРОПЕИЗМЫ» В ЛЕКСИКЕ, ФРАЗЕОЛОГИИ И СЕМАНТИКЕ ПУШКИНСКОГО ЯЗЫКА И ИХ НАЦИОНАЛЬНОЕ ОПРАВДАНИЕ

Гораздо более изменчивы были в пушкинском стиле принципы лексического и фразеологического отражения «европеизмов» в русском литературном языке. От метода копирования европейской фразеологии, характерного для стиля карамзинистов, Пушкин отрекается уже в начале 20-х годов, вступив на путь борьбы с шаблонными перифразами и беспредметными метафорами русско-французских стилей конца XVIII — начала XIX в. Правда, Пушкин в сфере отвлеченных понятий всегда признавал образцом французский язык. Одобряя «галлицизмы понятий, галлицизмы умозрительные, потому что они уже европеизмы», поэт писал Вяземскому: «Ты хорошо сделал, что заступился явно за галлицизмы. Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай бог ему когда-нибудь образоваться на подобие французского (ясного, точного языка прозы — т. е. языка мыслей)»[3]. Отсюда у Пушкина нередки пояснения значений русских слов французскими. Отвлеченные понятия, выработанные западноев-

---

[1] См. статью Л. Е. Случевской и М. А. Рыбниковой «Лексика „Евгения Онегина" как отражение борьбы за реализм». — В сб.: А. С. Пушкин. 1837—1937. М., 1937; см. также: *Бродский Н. Л.* Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 2-е изд. М., 1937*[3].

[2] Ср. отражения пушкинского образа у Н. В. Гоголя: «Зевота видна была на строениях, крыши также зевали» («Мертвые души», т. 2); у И. С. Тургенева: «Внизу дверь на балкон широко зевала, раскрытая настежь» («Дворянское гнездо»).

[3] *Пушкин А. С.* Переписка, т. 1, с. 236*[1].

ропейской культурой, еще не находили точного выражения в системе значений, свойственных русскому языку. Русское слово, фраза кажутся Пушкину семантически зыбкими, текучими, и он в скобках уточняет их значение. Например: *семейная неприкосновенность* (inviolabilité de la famille)[1]; *презирать* (braver), *судить людей не трудно*[2]; *чрезвычайная известность* (extrême popularité)[3]; *Он невольно увлекает необыкновенною силою рассуждения* (discussion)*[5] *во всех отношениях самый народный* (le plus national et le plus populaire)[4] и др. под. Желая в повести «Барышня-крестьянка» точнее обозначить смысл слова *самобытность*, Пушкин ставит в скобках (individualité). Таким образом, семантическая система русского языка приспособляется к выражению понятий, выработанных западноевропейскими языками. Оценивая и определяя значение слова, Пушкин прибегал почти всегда к сопоставлению с французским языком. Критикуя стихотворение Вяземского «Нарвский водопад», поэт увидел в выражении *междоусобные волны* искажение прямого значения слова *междоусобный* и сопоставил его с французским mutuel: «*междоусобный* значит mutuel, но не заключает в себе идеи брани, спора — должно непременно тут дополнить смысл»[5]. Задумавшись над употреблением слова *случай* в стихах Батюшкова:

Колен пред случаем во век не преклоняет
И в хижине своей с фортуной обитает.

Пушкин приписал: «faveur» — «не то»[6]. Но, обогащая семантику русского литературного языка новыми понятиями, уже нашедшими себе выражение в западноевропейских языках, Пушкин вслед за Шишковым отвергает прием калькирования французских слов, укоренившийся в русской западнической традиции XVIII в.: «Множество слов и выражений, насильственным образом введенных в употребление, остались и укоренились в нашем языке, например *трогательный*, от слова touchant (смотри справедливое о том рассуждение г. Шишкова). *Хладнокровие* — это слово не только перевод буквальный, но еще и ошибочный. Настоящее выражение французское есть sens froid — *хладномыслие*, а не sang froid. Так писали это слово до самого XVIII столетия. Dans son assiette ordinaire. Assiette значит *положение* от слова assoir, но мы перевели каламбуром — *в своей тарелке: «Любезнейший, ты не в своей тарелке»* («Горе от ума»)»*[7].

Таким образом, Пушкин вносит существенные ограничения в принципы смешения русского и французского языков. Он протестует против буквальности перевода, против калькирования французских (или

---

[1] *Пушкин А. С.* Переписка, т. 3, с. 122*[2].

[2] Там же, т. 1, с. 287*[3].

[3] Там же, с. 235*[4].

[4] «Критические заметки» (1830).— В кн.: *А. С. Пушкин.* Соч., т. 9, ч. 1, с. 112; ср. в «Дневнике» И. М. Снегирева под 16 мая 1823 г.: «Думали, как перевести originalité — естественность, подлинность, особенность; вместо *национальность* — н а р о д н о с т ь» (М., 1904, с. 25).

[5] *Пушкин А. С.* Переписка, т. 1, с. 284*[6].

[6] Цит. по: *Майков Л. Н.* Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899, с. 301.

немецких) слов. «Каждый язык имеет свои обороты, свои условленные риторические фигуры, свои усвоенные выражения, которые не могут быть переведены на другой язык соответствующими словами. Возьмем первые фразы: Comment vous portez vous? How do you do? Попробуйте перевести их слово в слово на русский язык. Если уж русский язык столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам, не способен к переводу подстрочному, к переложению слова в слово, то каким образом язык французский, столь осторожный в своих привычках, столь пристрастный к своим преданиям, столь неприязненный к языкам, даже ему единоплеменным, выдержит таковой опыт?» (О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая, 1836)*8. Принцип смысловой ассимиляции «европеизмов» с руской национально-бытовой сферой значений, принцип соответствия заимствованных западноевропейских понятий и форм их выражения национальному стилю речи и, как следствие, вытекающее отсюда, строгий отбор «галлицизмов» в зависимости от их согласия с русской национально-языковой структурой лексики и семантики, ограничение заимствований, искание соответствующих оттенков мысли в формах церковнославянской речи и народного языка — вот те стеснительные нормы, которыми Пушкин постепенно (особенно рельефно — с середины 20-х годов) стал руководствоваться в отношении галлицизмов. Устанавливая пределы и функции применения французской системы связи понятий в русском литературном языке, Пушкин исходит из семантических закономерностей русского языка; он вовлекает в структуру литературной речи и стили устного просторечия, и простонародные диалекты, и еще понятные, хотя и несколько архаические, формы церковнославянского языка. Но такие предметы и понятия, для которых нельзя найти равнозначного выражения среди «сокровищ родного слова», естественно, притягивают к себе иностранные названия. Поэтому Пушкин признает законным употребление «иноплеменных слов», если они обозначают предметы или понятия, для которых нет подходящего выражения в самом русском языке:

Но *панталоны, фрак, жилет*,
Всех этих слов на русском нет.
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо меньше б мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический словарь.

(Евгений Онегин, 1, XXVI)

Но Пушкин решительно протестовал против загромождения русского книжного языка иностранными словами. Он убеждал избегать по возможности даже ученых терминов. «Избегайте ученых терминов, — писал он И. В. Киреевскому (от 4 февраля 1832 г.), — и старайтесь их переводить, т. е. перефразировать: это будет и приятно неучам и полезно нашему младенчествующему языку»*9.

Точно так же Пушкин, вопреки славянофилам, санкционирует те «европейские» значения русских слов, которые уже укоренились

в литературном языке[1], и те простейшие фразы и идиомы, которые вошли в русский язык путем перевода с западноевропейских языков, преимущественно с языка французского (например: *носить отпечаток* — porter l'emreinte; *во цвете лет* — dans la fleur de jour; *бросить тень на что-нибудь* — jetter les ombres sur quelque chose; *завести далеко* (в переносном значении) — mener loin и т. п.).

Но стремясь к сближению русского литературного языка с западноевропейскими языками в общем строе мысли, в характере связи понятий, Пушкин борется с теми формами фразообразования, которые являлись кальками, копиями манерных французских метафор, были отражением перифрастических стилей французского языка. В пушкинском языке только до конца 10-х годов еще встречаются такие условные перифразы французско-карамзинского типа, в которых слова утрачивают прямое предметное значение, в которых смысловая связь составных элементов не может быть выведена из семантики русского языка, а непосредственно возводится к французской фразеологии. Эти застывшие перифразы выступали как замены простых обозначений. Сам Пушкин иронически выстраивает такие параллели, противопоставляя длинным и вялым выражениям простые и короткие обозначения:

Дружба, сие священное чувство, коего благородный пламень и пр.,	попросту: *дружба.*
Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба	вместо: *рано по утру.*
Сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Аполлоном	*эта молодая актриса.*
И совсем поглотила его бездна забвения	*и совсем его забыли* (проще и лучше*10).

Поэтому к началу 20-х годов из пушкинского языка исчезают перифразы такого типа:

Небес сокрылся вечный житель (т. е. солнце).
(Колона, 1814);

---

[1] Например:

В ней сердце, полное мучений,
Хранит надежды темный сон...
(Евгений Онегин, 3, XXXIX);

Тебе — но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
(Полтава, посвящение);

Кончину ль темную судил мне жребий боев?
(Война, 1821);

И жертва темная, умрет мой слабый гений.
(К Овидию, 1821) и др.

Ср. значения французского obscure.

Челнок свой весело направил
По влаге бурной глубины (т. е. по волнам).

(К Н. Г. Ломоносову, 1814);

И светлые цари
Смеркающейся ночи
Плывут по небесам (т. е. звезды)... и др. под.

Чтобы вникнуть в процесс национально-бытового усвоения, в процесс «русификации» тех значений и образов, которые шли из французского языка, достаточно сопоставить такие параллели абстрактных метафор из пушкинского языка ранней поры и близких к ним по значению конкретных, живых, вещественных образов в пушкинском языке со второй половины 20-х годов:

В последний раз, на груди снежной
Упьюсь отрадой юных дней...

(Мое завещание, 1815)

и в стихотворении «Подъезжая под Ижоры» (1829):

Упиваясь неприятно
Хмелем светской суеты,
Позабуду, вероятно,
Ваши милые черты.

В стихотворении «Как ваше сердце своенравно» (1823):

Играть душой моей покорной
В нее вливать огонь и яд...[1]

и в стихотворении «19 октября 1825 г.»:

А ты вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук[2].

Мифологические образы «вод забвенья»:

Хочу я завтра умереть
И в мир волшебный наслажденья
На тихий берег вод забвенья
Веселой тенью полететь...

(Мое завещание, 1815)

или «брегов забвенья»:

Брегов забвения оставя хладну сень,
К нему слетит моя признательная тень.

(К Овидию, 1821)

---

[1] Ср. у Батюшкова:

Все в неистовой прельщает,
В сердце льет огонь и яд...

[2] Ср. в черновом наброске «Кавказского пленника»:

И наконец тоска любви
Стесненной речью пролилася.

Вы нас уверили, поэты,
Что тени легкою толпой
От берегов холодной Леты
Слетаются на брег земной...

Затем с реалистической иронией представлены лечебно-минеральными водами:

...Я воды Леты пью,
Мне доктором запрещена унылость.

(Домик в Коломне)

Не менее ярким примером образного оправдания и, следовательно, смыслового преобразования традиционной лирической перифразы является употребление выражения *утро года* (весна) в «Евгении Онегине»:

Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года...

(7,I)

Утро года ассоциируется с образом спящей природы: перифраза становится метафорическим неологизмом. Ср. употребление той же перифразы и притом в переносном значении — юность — в ранних стихах:

Погиб на утре лет,
Как ранний на поляне цвет...

(К Дельвигу, 1817)

Или:

И вяну я на темном утре дней[1]...

(Элегия, 1816)

Характерно также стилистическое преобразование заимствованных из французского языка фраз, например: *кружиться в вихре вальса, в вихре удовольствий* в «Евгении Онегине» (5, XLI):

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный...

или оправдание французских значений в русских словах, например *рой* — essaim в значении: толпа, множества (ср. «рой веселья», «комедий шумных рой» и др. под.):

---

[1] Ср. у В. Туманского:

Он на утре дней угас.

(Надгробная надпись, 1818)

Еще раньше у И. И. Дмитриева:

Утро дней моих затмилось
И опять не расцветет.

(Стансы к Н. М. Карамзину, 1793)

Толпа в гостиную валит:
Так пчел из лакомого улья
На ниву шумный рой летит.

(Евгений Онегин, 5, XXXV)

Но, конечно, больше всего и прежде всего это национальное освоение элементов европейской, преимущественно французской, семантики достигалось посредством вовлечения в структуру литературного языка таких слов и выражений из разных стилей просторечия и «простонародного» языка, которые в традиции салонных стилей, утвержденной Карамзиным и его последователями, расценивались как «низкие», «простонародные» и «нелитературные».

§ 7. ОСТАТКИ СИНТАКСИЧЕСКИХ ГАЛЛИЦИЗМОВ В ЯЗЫКЕ ПУШКИНА. ИХ ПОСТЕПЕННОЕ ВЫМИРАНИЕ

В сфере синтаксиса пушкинский язык представляет сравнительно небольшое количество таких галлицизмов, таких «заимствований» из французского языка, которые противоречили нормам грамматики живой народной русской речи. Прежде всего сюда относятся примеры нарушения форм управления, свойственных отдельным словам, например изменения в управлении глагола падежом существительного. Так, в «Полтаве»:

Отмстить поруганную дочь...

Ср. конструкцию французского venger — *мстить*.

Не он ли *помощь* Станиславу
С негодованьем *отказал*...

Ср. конструкцию французского refuser — *отказать*.
В «Борисе Годунове»:

Доверенность младого венценосца
Предательством ужасным *заплатить*...

Ср.:

Я знал донцов, *не сомневался видеть*
В своих рядах казачьи бунчуки.

Такого же характера изменения в предложной конструкции после глагола, например, в «Каменном госте»:

Я прошу
И вас свой голос *к ним соединить*...

Ср.: joindre à...,
Или:

И старец беспокойный взгляд
Вперил на витязя в молчанье...

(Руслан и Людмила);

Взор немой
Вперил он на свое созданье...

(Незаконченная картина)

Ср.: вперить взор на кого-нибудь, на что-нибудь — fixer régards, ses yeux sur...

Точно так же и в формах синтаксической связи имен существительных с прилагательными наблюдаются отдельные случаи смешения русского и французского языков. Таково, например, широкое употребление форм род. пад. существительных в функции определения к другому существительному: *девы веселья* (filles de joie), *дева красоты* («Евгений Онегин», 6, XXII), *дева неги и любви* (вариант в описании Одессы), *сабля мести* («К Юдину»), *язва чести* («К принцу Оранскому»), *жизни цветы* и др.

Особенный интерес для изучения процесса «европеизации» синтаксических форм русского литературного языка представляют конструкции с предлогами. Отношения между словами, которые раньше выражались материальными значениями самих слов и основанными на них формами падежного управления, теперь получали расчлененное, аналитическое обозначение посредством предлогов. Вместе с тем укреплялись новые типы синтаксических связей, выражаемых предлогами. Например, *для* (pour), *в* (en, dans).

Пока сердца *для* чести живы...

(К Чаадаеву, 1818)

Ср. церковнославянские фразы· *умер славе, умер греху*. «Молодые люди, расчетливые *в* ветреном своем тщеславии» («Пиковая дама») и др. под. Из французских принципов связи синтагм в пушкинском языке еще встречается употребление независимого и несогласуемого оборота — в функции вводной синтагмы или в качестве обособленного причастия и прилагательного. Например:

Тошней идиллии и холодней, чем ода,
От злости мизантроп, от глупости поэт,
Как страшно над тобой забавилась природа.

(Тошней идиллии и холодней, чем ода... 1815);

О вы, хранимые судьбами
Для сладостных любви наград:
Любви бесценными слезами
Благословится ль ваш возврат!

(Наездники, 1816);

Бежал от радостей, бежал от милых муз
И — слезы на глазах — со славою прощался!

(К ней, 1817);

Когда, с угрозами, и слезы на глазах,
Мой проклиная век, утраченный в пирах...

(Андрей Шенье, 1825)

Ср. в черновом наброске «Евгения Онегина» «непростительный галлицизм», по определению самого Пушкина:

Ах, долго я забыть не мог
Две ножки... Грустный, охладелый,
И нынче иногда во сне
Они смущают сердце мне.

В «Дубровском»: «Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового».

Но эти скудные синтаксические галлицизмы являются в пушкинском языке лишь остатками, пережитками того антинационального «европеизма», который был характерен для аристократической речевой культуры XVIII в. И значение Пушкина заключается именно в том, что он, отчасти придерживаясь конструкции французской и английской фразы, утвердил в русском литературном языке стройную систему национально оправданных синтаксических форм и довел карамзинский синтаксис до необыкновенной логической прозрачности, придав ему мужественное напряжение и быстроту повествовательного движения.

§ 8. СВОЕОБРАЗИЕ ПУШКИНСКОЙ ПОЗИЦИИ В СФЕРЕ СИНТАКСИСА

Стилистические приемы западнической литературной традиции в области синтаксиса оказали на язык Пушкина большое влияние, но подверглись в нем решительному преобразованию на основе живой русской речи. Расстановка слов в пушкинском стихе, а особенно в прозе близка к тем «русифицированным» или оправданным живой народной русской речью принципам «европейского» (преимущественно французского и английского) синтаксиса, которые изложены И. И. Давыдовым в его работе «Опыт о порядке слов»*[1] (как норма: качественное определяющее впереди определяемого, подлежащее перед сказуемым, дополнения позади глагола):

«Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому: но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступил ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый нумер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною». («Выстрел»)

Известный французский писатель Проспер Мериме, переведший «Пиковую даму» Пушкина на французский язык, писал о пушкинской фразе приятелю Пушкина Соболевскому: «Я нахожу, что фраза Пушкина звучит совсем по-французски, я, конечно, имею в виду французский язык XVIII в. Иногда я спрашиваю себя, а что, в самом деле, перед тем, как писать по-русски, не думаете ли вы все — бояре — по-французски?»[1]

---

[1] *Виноградов А. К.* Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928, с. 100—101.

Интересно сопоставить текст пушкинской прозы и перевод Мериме с синтаксической точки зрения:

Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спрашивали: «который час», он отвечал: «без пяти минут семерка». Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды.

(Пиковая дама, гл. VI)

Deux idées fixes ne peuvent exister à la fois dans le monde moral de même que dans le monde physique deux corps ne peuvent occuper à la fois la même place. Trois — sept — as — effacèrent bientôt dans l'imagination de Hermann le souvenir des derniers moments de la vieille comtesse. Trois — sept — as — ne lui sortaient plus de la tête et venaient à chaque instant sur ses lèvres. Rencontrait-il une jeune personne dans la rue: — Quelle jolie taille! disait-il; elle ressemble à un trois de coeur. — On lui demandait l'heure: il répondait: sept de carreau moins un quart. Tout On lui demandait l'heure: il répondait: un as. Trois — sept — as — le suivaient en songe, et lui apparaissaient sous formes étranges.

(*La dame de pique*).

В области синтаксических конструкций, признав своим образцом французский, а потом и английский язык и, таким образом, примкнув к традиции западников, Пушкин, однако, не только не навязывает русскому языку чуждых ему синтаксических норм, но, напротив, все теснее и теснее сближает синтаксис литературного языка с конструкциями живой разговорной речи. Пушкин вступает в борьбу с тем засилием категорий качества и эмоциональной оценки (т. е. форм прилагательных, причастий, наречий, относительных предложений и описательных выражений), засилием, которое характеризовало европеизированный язык писателей, следовавших за Карамзиным. Реформа синтаксиса, основанная на признании преимуществ глагола и имени существительного и связанная с изменениями форм времени, а, следовательно, и приемов сочетания предложений (повествовательных единиц), привела к полному обновлению повествовательного стиля в стихе и прозе. И тут наметились в построении предложения точки соприкосновения Пушкина с противниками европеизма — славянофилами. Ведь вождь их — Шишков — со своей точки зрения тоже боролся за глагол против господства качественных слов в стиле «европейцев», вспоминая изречение Плутарха: «Речь без глагола не есть речь, но мычание»[1]. Однако приемы сцепления предложений и ритмические формы связи синтаксических единиц в пределах предложения у Пушкина носили явный отпечаток «европеизма» и приближали язык Пушкина к французской традиции конца XVIII — первой четверти XIX в.

Основная конструктивная роль глагола особенно ярко выступает в языке пушкинской прозы. Например, в «Пиковой даме»:

---

[1] Цит. по: *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов. СПб., 1828, ч. 12, с. 205.

«В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера; он схватил ее руку; она не могла опомниться от испугу, молодой человек исчез: письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку, и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала...» (гл. III).

«Часы пробили первый и второй час утра, — и он услышал дальный стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресла. Германн глядел в щелку: Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германн услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести, и снова умолкло. Он окаменел» (гл. III).

По подсчету, произведенному М. О. Лопатто[1], в пушкинской прозе в «Пиковой даме» 40% глаголов при 44% существительных и 16% эпитетов (ср. с «Мертвыми душами» Гоголя: 50% существительных, 31% глаголов и 19% эпитетов). Но и в стихотворном повествовательном стиле Пушкина, который более богат эпитетами, глаголу принадлежит основное место. «Все члены предложения нанизываются почти непосредственно на глагол. Совершенно почти нет распространенной, цепной зависимости от существительных в форме, например, родительного определительного. Сами существительные в управлении падежами сохраняют свойства глаголов. Например:

...услужливый угодник
Царю небес...

а не *царя небес*.

Обычно существительное определяется одним только прилагательным эпитетом и, следовательно, не является центром организации сложного члена, предложения»[2]. Б. В. Томашевский, исследуя язык «Гавриилиады», правильно указывает на то, что здесь «как будто и на эпитетах преобладает глагольная стихия». Кроме прилагательных с суффиксом *-ливый* (*заботливый, услужливый, послушливый, докучливый, проказливый, шутливый, нетерпеливый, горделивый, несправедливый* и т. д.) «обильно количество эпитетов с суффиксом *-тельный* (*внимательный, решительный, пленительный* и т. д.) и разных отглагольных, главным образом причастных форм страдательного залога (*забытый, необозримый, благословенный, усталый* и пр.)». Таким

---

[1] См.: *Лопатто М. О.* Повести А. С. Пушкина. Опыт введения в теорию прозы.— В сб.: Пушкинист. Пг., 1918, т. 3.

По словам С. И. Абакумова, в «Метели» из общего числа знаменательных частей речи 28,7% составляют глаголы, прилагательных только 9,8%, наречий — 5,3%. См.: *Абакумов С. И.* Из наблюдений над языком «Повестей Белкина».— В сб.: Стиль и язык Пушкина. М., 1937, с. 73.

[2] *Пушкин А. С.* Гавриилиада. Поэма. Редакция, примечания и комментарий Б. В. Томашевского. Пг., 1922, с. 22.

образом, Пушкин, строя синтаксические группы по типу французского и английского словосочетания и в то же время в полном соответствии с «духом» русского языка, делает глагол центром фразы, от которого зависят все члены предложения. Отсутствие различных степеней подчинения в составе простейшей синтаксической группы придает литературному языку логическую прозрачность.

§ 9. РИТМ ПУШКИНСКОЙ ПРОЗЫ

Ритмическое движение синтаксических групп в языке пушкинской прозы подчинено стройному принципу. Синтаксические единицы, т. е. простейшие семантические и интонационно-грамматические единства («синтагмы», или «колоны», как их называют), обычно содержат от 6 до 12 слогов, чаще всего 7—8—9 слогов, в единичных случаях доходят до 15—18 слогов. Предложение часто исчерпывается одной синтагмой, нередко включает в себя от 2 до 4 синтагм и обычно не превышает 7—8 синтагм. Сложное синтаксическое целое (период, система главных и придаточных предложений) также обычно не выходит за пределы 8—10 синтагм. Например, в «Капитанской дочке» (в скобках указано количество слогов в каждой синтагме):

Я выглянул из кибитки (8): все было мрак и вихорь (7). Ветер выл с такой свирепой выразительностью (14), что казался одушевленным (9); снег засыпал меня и Савельича (11); лошади шли шагом (6), и скоро стали (5).

Или из «Метели»: сложное синтаксическое целое:

1) То казалось ей (5),
2) что в самую минуту (7),
3) как она садилась в сани (8),
4) чтоб ехать венчаться (6),
5) отец ее останавливал ее (11),
6) с мучительной быстротой (7),
7) тащил ее по снегу (7),
8) и бросал *в* темное, бездонное подземелье (14).

Присоединенное синтаксическое целое:

1) ...и она летела стремглав (8),
2) с неизъяснимым замиранием сердца (12);

Третье синтаксическое целое:

1) то видела она Владимира (10),
2) лежащего на траве (7),
3) бледного (3),
4) окровавленного (6) [1].

П. С. Попов, изучая приемы конспектирования Пушкиным «Деяний Петра Великого» Голикова, заметил: «На протяжении всех тетрадей можно проследить, как под пером Пушкина трансформировался голиковский стиль: вместо сложных предложений с большим количеством вспомогательных частей, мы получаем краткие фразы, причем предложение в большинстве случаев состоит из двух элементов» [2].

---

[1] См.: *Томашевский Б. В.* Ритм прозы («Пиковая дама»).— В кн.: *Томашевский Б. В.* О стихе. Л., 1929; *Эйхенбаум Б. М.* Проблема поэтики Пушкина.— В кн.: *Эйхенбаум Б. М.* Сквозь литературу. Л., 1924.

[2] *Попов П. С.* Пушкин в работе над историей Петра I. — Литературное наследство. М., 1934, № 16—18.

У Голикова:	У Пушкина:
Грозили ему силою, но г. Шипов ответствовал, что он умеет обороняться.	Шипов упорствовал. Ему угрожали. Он остался тверд.
Бесчестие таковое его флагу и отказ в требуемом за то удовольствии были толико монарху чувствительны, что принудили его, так сказать, против воли объявить сдавшихся в крепости всех военнопленными.	Петр не сдержал своего слова. Выборгский гарнизон объявлен был военнопленным.

В сущности, эта система ритмического построения прозы была частным воплощением того общего правила, которое в теории карамзинской прозы (например в «Общей риторике» Н. Кошанского, 1-е изд., СПб., 1829) получило такую формулировку: «Располагать слова, выражения и знаки препинания так, чтобы чтение было легко и приятно» (с. 33)[1].

§ 10. ЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ СЛОЖНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ ФОРМ В ЯЗЫКЕ ПУШКИНА

Той же цели — логической ясности и грамматической компактности — отвечали и приемы синтаксического сочинения и подчинения предложений в пушкинском языке. В нем преобладают формы бессоюзного сцепления или же присоединительные конструкции с союзами *и*, *а*, *но*. Подчинительные конструкции очень ограничены: кроме форм относительного подчинения и придаточных предложений с союзом *что* для пушкинского языка типичны временные предложения с союзами *когда*, *как*, *едва*, *лишь* (в прозе изредка: *как скоро*); условные с союзами *если*, *но если;* целевые с союзами *чтобы* (*чтоб*), *дабы;* причинные с союзами *для того что*, *затем что*, *потому что*, *ибо*. Эта логическая прозрачность синтаксических форм, сближенных с западноевропейской конструкцией французского или английского типа, была достигнута не ценою насилия над русскими формами словосочетания, а только своеобразным подбором русских национальных синтаксических оборотов, рельефно воспроизводящих логический ход ясной мысли[2].

---

[1] См. мою статью «Стиль „Пиковой дамы“ во „Временнике Пушкинской Комиссии Академии Наук“». М.—Л., 1936, вып. 2.

[2] Для полноты исторической перспективы следует сопоставить пушкинскую систему синтаксиса с нормами «французского стиля», описанными В. С. Подшиваловым в «Сокращенном курсе российского слога» (1796): «Что принадлежит до союзов, то в рассуждении их примечать надлежит, что есть ли случатся союзы условные, то непременно должно не упускать их, если не хотеть, чтоб смысл в периоде совершенно потерян был. Союзы, и выпускаемые и часто употребляемые, особую имеют приятность и делают речь сильнее, а особливо в изображении сильных чувствований души. В старину употребляемы были в речи периоды долгие, а потому союзы были необходимы: но ныне опущение их, т. е. союзов соединительных, особливую составляет приятность, а особливо стиль французской, от всех ныне принимаемый, не мало заимствует от сего красы своей» (с. 29).

§ 11. СБЛИЖЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ КНИЖНОГО СИНТАКСИСА С СИНТАКСИСОМ ЖИВОЙ УСТНОЙ РЕЧИ В СТИХОТВОРНОМ ЯЗЫКЕ ПУШКИНА

В последний период своего творчества (с конца 20-х годов) Пушкин освобождает поэтическую речь от громоздких конструкций старого славяно-русского стиля и, производя синтез разговорных и книжных синтаксических форм, руководится критерием национальной характерности и реалистической ясности. Поэтому бытовая «проза» широким потоком врывается в стиховой язык, преобразуя его строй, приближая его к непринужденному синтаксису живой разговорной речи, устного рассказа. Например, в «Медном всаднике»:

Прошла неделя, месяц — он
К себе домой не возвращался.
Его пустынный уголок
Отдал в наймы, как вышел срок,
Хозяин бедному поэту.
Евгений за своим добром
Не приходил. Он скоро свету
Стал чужд. Весь день бродил пешком,
А спал на пристани; питался
В окошко поданным куском.
Одежда ветхая на нем
Рвалась и тлела. Злые дети
Бросали камни вслед ему.
Нередко кучерские плети
Его стегали, потому
Что он не разбирал дорог
Уж никогда; казалось — он
Не примечал...

Стремление сблизить разные стили литературной речи с разговорным языком выражается в синтаксическом сгущении речи, в ограничении протяжения синтагм и предложений. Короткие, точно и строго организованные отдельные предложения выстраиваются в стройную цепь. Этот принцип синтаксического сжимания обособленных единиц, прием дробления речи на лаконические и в то же время полные мысли и энергии предложения порождал у писателей, воспитавшихся на сложном синтаксисе периодически развернутой и симметрически расположенной, богатой узорными конфигурациями и экспрессивными красками параллелизмов, соответствий и антитез — речи карамзинской школы, впечатление черновых, отрывистых набросков, представление о эскизной разорванности, лаконической неотделанности незавершенного плана.

Любопытно, что Жуковский изменил синтаксический строй заключительных стихов пушкинского стихотворения «Кто из богов мне возвратил...» «Из Горация» (кн. II, ода VI ad Pompeium):

Как дикий скиф хочу я пить.
Я с другом праздную свиданье.
Я рад рассудок утопить...

слив предложения в соединительный период по законам своего стиля:

Как дикий скиф хочу я пить
И с другом празднуя свиданье,
В вине рассудок утопить [1].

---

[1] См.: Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Пб., 1922, вып. 34—35, с. 384.

Приспособляясь к быстроте живого сказа, поэтический синтаксис нередко сводится к движению коротких нераспространенных предложений, состоящих только из главных членов.

Например:

Дети спят, хозяйка дремлет,
На полатях муж лежит,
Буря воет; вдруг он внемлет:
Кто-то там в окно стучит.

(Утопленник, 1828);

Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш...

Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.

(*Делибаш*, 1829)

Синтаксис стихового языка воспроизводит всю непринужденность устной речи, ее быстрые переходы, ее эллиптичность. Например:

Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?

(Зимнее утро, 1829);

Поедем, я готов: куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая...
. . . .
Повсюду я готов. Поедем... но, друзья,
Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя?

(Поедем, я готов, 1829)

С конца 20-х годов в пушкинском стиле конструкции живой разговорной речи свободно и широко применяются в разных жанрах и стилях лирического языка. Например:

Тебе бы пользы все — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.

(Поэт и толпа, 1828);

Но черт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!

(Сапожник, 1829);

Пороша. Мы встаем, и тотчас на коня,
И рысью по полю при первом свете дня;
Арапники в руках, собаки вслед за нами...

(Зима, что делать нам в деревне, 1829);

Ну, что за пестрая семья?
За ними где ни рылся я!
Зато какая сортировка!

(Собрание насекомых, 1829):

...На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед.
Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил.
Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил.

(Румяный критик мой, 18

Меня зовут аристократом:
Смотри, пожалуй, вздор какой!

(Моя родословная. 1830);

Вот молодежь: погорячился,
Продулся весь и так пропал!

(Послание к Великопольскому, 1828);

Что ты мчишься, удалая?
И тебе пришла пора.

(Кобылица молодая, 1828);

Но, сам признайся, то ли дело
Глаза Олениной моей!

(Ее глаза, 1828)

в «Евгении Онегине»:

И страшно ей; и торопливо
Татьяна силится бежать:
Нельзя никак; нетерпеливо
Метаясь, хочет закричать:
Не может...

(5, XIX);

Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести;
Оно у нас покамест ново,
И вряд ли быть ему в чести.

(8, XVI);

С ней речь хотел он завести
И — и не мог. Она спросила,
Давно ль он здесь, откуда он
И не из их ли уж сторон?

(8, XIX);

А где, бишь, мой рассказ несвязный?
В Одессе пыльной, я сказал.
Я б мог сказать: в Одессе грязной...

(Путешествие Онегина);

Он так привык теряться в этом,
Что чуть с ума не своротил
Или не сделался поэтом.
Признаться: то-то б одолжил!

(8, XXXVIII);

...а Татьяне
И дела нет (их пол таков);
А он упрям, отстать не хочет,
Еще надеется, хлопочет...

(8, XXXII)

Конечно, быстрая смена разных планов речи, сближение повествования с сферами сознания действующих лиц романа лишь углубляет и разнообразит устную стихию в синтаксисе «Евгения Онегина»:

Приехал ротный командир;
Вошел... Ах, новость, да какая!
Музыка будет полковая!
Полковник сам ее послал.
Какая радость: будет бал!
Девчонки прыгают заране;
Но кушать подали.

(5, XXVIII);

...В одно собранье
Он едет; лишь вошел... ему
Она навстречу. Как сурова!
Его не видят, с ним ни слова;
У! как теперь окружена
Крещенским холодом она!

(8, XXXIII);

Вперил Онегин зоркий взгляд:
Где, где смятенье, состраданье?
Где пятна слез?.. Их нет, их нет!
На сем лице лишь гнева след...

(8, XXXIII)

Таким образом, синтаксис живой устной речи еще ярче выступает при смешении авторского изложения с чужой речью. Например:

Поздно ночью из похода
Воротился воевода.
Он слугам велит молчать;
В спальню кинулся к постеле;
Дернул полог... В самом деле!
Никого; пуста кровать.

(Воевода, 1833)

Вместе с тем простой, естественный синтаксис живой русской разговорной речи в пушкинском стихе приобретает особенную рельефность, интимную выразительность и национальную характерность — на фоне господствовавшего в ту эпоху канона книжно-поэтического синтаксиса. В «Осени»:

Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель, вонь, грязь — весной я болен;
Кровь бродит...
Но надо знать и честь; полгода снег да снег,
Ведь это, наконец, и жителю берлоги,
Медведю, надоест...
Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.

Характерны тут же приемы смешения синтаксиса книжной и разговорной речи:

Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет.
Она жива сегодня, завтра нет.

Ср. в стихотворении «Пир Петра Первого»:

Что пирует царь великий
В Питербурге-городке?
Отчего пальба и клики
И эскадра на реке?

Озарен ли честью новой
Русский штык иль русский флаг?
Побежден ли швед суровый?
Мира ль просит грозный враг?

Разговорный синтаксис, смешиваясь с книжными конструкциями, придает необыкновенную простоту и интимную значительность «метафизическому языку», языку глубоких и отвлеченных мыслей. Таков, например, синтаксис стихотворения «Из Пиндемонти» (1836).

Смешение стилей приводит к новым формам лирической композиции. Экспрессия речи различна в книжном и разговорном языке. В смысловом строе стихотворения возникают острые эмоциональные противоречия. Яркой иллюстрацией синтаксического «смешения» может служить стихотворение «Пора, мой друг, пора». В лирическое движение фраз, почти лишенных оттенка разговорности (если отрешиться от слова *частичку*) (ср. книжность образов: «покоя сердце просит... и каждый час уносит частичку бытия»...), вдруг затем врывается интимно-разговорный синтаксис предложений, включающих в себя и просторечное междометие (*глядь*) и разговорное наречие (*как раз*) с характерными для просторечия противительно-присоединительными значениями союзов *а* и особенно *и* («предполагаем жить — *и глядь — как раз* — умрем»). Бросается в глаза, что стиховая эвфония как бы приносится в жертву принципам разговорной речи с ее нагромождением коротких слов, с ее неупорядоченным сцеплением гласных (ср.: *и глядь как раз*).

Вслед за этими стихами опять начинаются фразеология и синтаксис литературного языка. Впрочем, наречие *давно*, дважды выдвинутое в начало стиха, создает некоторую двусмысленность понимания, рассчитанную как бы на произнесение, в зависимости от того, относить ли это наречие к глаголам — *давно мечтается... давно замыслил* — или соединять его с прилагательным для усиления его «глагольности», активности: *давно завидная... доля... давно усталый раб*. Ср.: «Одной картины я желал быть *вечно зритель*». Эти перебои разговорного и книжного синтаксиса создают своеобразную «тональную» двуплановость лирического осмысления — сочетание интимного, простого, глубоко личного и безыскусственного разговора с торжественным символизмом лирического монолога.

Таким образом, Пушкин сблизил поэтический «язык богов» с живой русской речью и сделал поэзию общенациональным достоянием. Непреодолимая граница между стихотворным языком и бытовой прозой была стерта. Проза засверкала яркими красками поэтической ре-

чи. «Читатель услышал одно только благоухание; но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоухание, того никто не может услышать» (Гоголь)*[1].

§ 12. ПУТЬ ПУШКИНА К ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

До конца 10-х годов в пушкинском языке встречается еще очень мало таких слов и фраз, которые можно было бы, следуя стилистическим оценкам той эпохи, отнести к области «низкого», «внелитературного» просторечия или чисто крестьянского языка. *Хват* («Казак», 1814); *детина* («Городок», 1814); *уходить горе* (там же); *размазать* («Дамам вслух того не скажет, а уж так и сяк *размажет*); («К Наталье», 1813); *ерошить волосы* («Моему Аристарху», 1815); *маяться* («Усы, 1816); *закадышный друг* («Мансурову», 1819) и некоторые другие подобные слова не выходят за пределы норм дворянского фамильярно-бытового просторечия, легко могут найти себе параллели в предшествующей литературной традиции карамзинского слога (например, у И. И. Дмитриева, Ю. А. Нелединского-Мелецкого, В. Л. Пушкина). Только кое-что ведет к языку Д. Давыдова. Лишь в «Руслане и Людмиле» замечается уклон к просторечию и простонародности, несколько больший, чем это допускалось нормами светского карамзинизма. Во всяком случае, герои этой поэмы говорят и действуют не по правилам салонного этикета. Они несколько стилизованы под демократическую старину и сказочную простонародность:

Княжна с постели соскочила...
Дрожащий занесла кулак,
И в страхе завизжала так,
Что всех арапов оглушила.

(II)

Речи героев непосредственны и грубы.
Руслана:

Молчи, пустая голова!..
Я еду, еду, не свищу,
А как наеду, не спущу!

(III, 278—283);

Теперь ты наш: ага, дрожишь!

(V, 102);

Карлы:

Не то — шутите вы со мною —
Всех удавлю вас бородою!

(III);

Головы:

Ступай назад, я не шучу.
Как раз нахала проглочу.

(III, 265—266);

Послушай, убнрайся прочь...

(III, 273);

Я сдуру также растянулся;
Лежу не слыша ничего,
Смекая: обмаиу его!

(III, 438—440)

Вполне понятно, что литературные консерваторы выдвигали против Пушкина обвинение в «нелитературности» языка и чрезмерной демократичности: «Шутка грубая, не одобряемая вкусом просвещенным, отвратительна... Если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях, и закричал бы зычным голосом: «Здорово, ребята!» — неужели бы стали таким проказником любоваться?»[1] Так Пушкин к началу 20-х годов сбрасывает с себя стилистические путы карамзинской школы и начинает упорную борьбу с условными формами литературно-салонного языка во имя демократического национального русского литературного языка.

Понятие «хорошего общества» (bonne société) было выдвинуто Пушкиным как норма, определяющая границы и строй нового литературного языка. Оно было неизмеримо шире той социальной категории высшего света (или «большого света»), к которой апеллировали в своих реформах Карамзин и его школа, и оно не противоречило языковым вкусам и тенденциям демократических слоев интеллигенции. Словом, оно было пригодно для создания синтетической системы литературного языка. Но надо было с этой точки зрения осознать и оценить те социально-языковые деления, те стили, диалекты, жаргоны, которые наметились в сфере живой русской речи. Местные этнографические особенности, конечно, Пушкиным не принимались в расчет; они, в общем, им избегались. Из областных наречий и профессиональных говоров Пушкин вводил в литературу лишь то, что было общепонятно и могло получить общенациональное признание. Пушкин, отбросив наносный слой буржуазных подражаний салонам и оценивая наиболее характеристические формы живой народной речи, широко вовлек ее в ту структуру литературного языка, над созданием которой трудился. Пушкин осмеивает литературных эпигонов карамзинизма, которые «поминутно находят одно выражение бурлацким, другое мужицким, третье неприятным для дамских ушей и т. п.», которые «гнушаются просторечием и заменяют его простомыслием». «Если б «Недоросль», сей единственный памятник народной сатиры, если б «Недоросль», которым некогда восхищалась Екатерина и весь ее блестящий двор, явился в наше время, то в наших журналах... с ужасом заметили бы, что Простакова бранит Палашку *канальей* и *собачьей дочерью*, а себя сравнивает — с *сукою* (!) «Что скажут дамы,— воскликнул бы критик,— ведь эта комедия может попасться дамам». ...Что за нежный и разборчивый язык должны употреблять господа сии с дамами!»*[1] Пушкин, напротив, подчеркивает связь

---

[1] Вестник Европы, 1820, № 16.

светского и «простонародного» в быту и литературе. «Откровенные и оригинальные выражения простолюдинов повторяются и в высшем обществе, не оскорбляя слуха»[1]. По Пушкину, процесс демократизации литературного языка — признак «зрелой словесности». «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и странному просторечию... Но,— с горестной иронией замечает Пушкин,— прелесть нагой простоты для нас непонятна». Тем не менее Пушкин стремится придвинуть литературу к языку «простого народа». «Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований... Не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком»[*2]. Многочисленные ссылки на «мужичков», «простолюдинов», «просвирен» как на обладателей живого народного языка, богатого «свежестью, простотой и, так сказать, чистосердечностью выражений», показывают, что Пушкин отстаивает литературные права народной поэзии, «простонародного» крестьянского языка и тех стилистических пластов городского просторечия, которые были близки к нему[2]. Следовательно, центр тяжести в вопросе о расширении пределов литературного языка, о преобразовании его перемещается для Пушкина с просторечия высшего общества на городскую и деревенскую «простонародность». В «Заметках о Борисе Годунове» Пушкин употребляет даже слово *площадной*, говоря об этой струе своего языка: «Есть шутки грубые, сцены простонародные. Поэту не должно быть площадным из доброй воли, если может их избежать: если же нет, то ему нет нужды стараться заменить их чем-нибудь иным»[*4].

«Простонародность», «народность» — это было отстоявшееся собирательное имя для тех жанров словесного творчества, которые в начале XIX в. обслуживали почти весь народ, его самые разнообразные классы и сословия.

В эту широкую категорию народности вмещались и те памятники древнерусской письменности, которые мало подходили под современное началу XIX в. понятие литературы. Эта народная словесность для Пушкина не только воплощала в себе синтез национально-русской культуры с западноевропейской, но она представляла собой квинтэссенцию «исторической народности». П. А. Вяземский метко определил именно этим понятием «исторической народности» отношение языка Пушкина к простонародности: «В Пушкине более обозна-

---

[1] Ср. в «Евгении Онегине» изображение языка истинно дворянской гостиной:

В гостиной истинно-дворянской
Смеялись щегольству речей
И щекотливости мещанской
Журнальных, чопорных статей.

Хозяйкой светской и свободной
Был принят слог простонародный
И не пугал ее ушей
Живою странностью своей.

[2] Ср. завет Пушкина: «Вслушивайтесь в простонародные наречия, молодые писатели, вы в них можете научиться многому, чего не найдете в наших журналах» (Ответ на статью в «Атенее» об «Евгении Онегине», 1829)[*3].

чалась народность историческая... Немного парадоксируя, Пушкин говорил, что русскому языку следует учиться у просвирен и лабазников, но, кажется, сам он мало прислушивался к ним и в речи своей редко простонародничал»*5. Это значит, что бытовое просторечие расценивалось Пушкиным с точки зрения его социально-характеристических функций. Значения слов, состав лексики и стилистические приметы просторечия и простонародного языка проверялись Пушкиным на материале устной народной словесности и отбирались в литературу применительно к национально-исторической характерности [1].

Простонародную речь Пушкин противопоставлял языку «дурного общества», т. е. языку полуинтеллигенции, представлявшему пеструю смесь грубых, мещанских, областных выражений с напыщенными, вульгарно-книжными оборотами речи. О языке романа Загоскина «Юрий Милославский» Пушкин писал: «Выражения *охотиться* вместо *ездить на охоту* [2]; *пользовать* вместо *лечить*... не простонародные, как видно полагает автор, но просто принадлежат языку дурного общества»*6. Наиболее ярким воплощением «языка дурного общества» для Пушкина был язык Полевого, язык «Московского телеграфа». Таким образом, простонародность пушкинского языка носит заметную крестьянскую или народно-поэтическую окраску [3]. Элементы простонародного языка, вовлекаемые Пушкиным в литературный оборот, подвергаются стилистическому отбору, освобождаются от классовой узости и ограниченности посредством приспособления к системе литературной речи. Так, Пушкин, дорожа «простонародностью» «Братьев-разбойников», предлагал А. А. Бестужеву напечатать отрывок из поэмы в «Полярной звезде», «если отечественные звуки: *харчевня, кнут, острог* не испугают нежных ушей читательниц» (Письмо от 13 июня 1823 г.)*7. Между тем критика 30-х годов находила, что «разбойник из простолюдинов говорит по местам языком книжным; от этого в колорите происходит неверность, неточность» (Галатея, 1839, № 24, с. 483). И все же путь литературной ассимиляции простонародного языка и просторечия в пушкинском стиле, процесс яркой демократизации пушкинского стиля вырисовывается в середине 20-х годов очень отчетливо.

---

[1] Содержание этого метода исторической народности в системе словесного творчества Пушкина освещается другой цитатой из того же Вяземского: Пушкин «не историю воплощал бы в себя и свою современность, а себя перенес бы в историю и в минувшее. Пушкин был одарен, так сказать, самоотвержением личности своей настолько, что мог отрешить себя от присущего и воссоздавать минувшее, уживаться с ним, породниться с лицами, событиями, нравами, порядками, давным-давно замененными новыми поколениями, новыми порядками, новым общественным и гражданским строем. Все это необходимые для историка качества, и Пушкин обладал ими в достаточной мере».

[2] *Охотиться* в дворянском просторечии 20-х годов означало: иметь, обнаруживать охоту, желание что-нибудь делать. См.: Словарь Академии Российской. СПб., 1822, ч. 4, с. 730.

[3] Характер и степень участия просторечия и простонародного языка в языке Пушкина особенно рельефно выступают в языке пушкинских писем. Языку писем А. С. Пушкина посвящена работа *В. А. Малаховского* в Изв. АН СССР. Отд. ОН, 1937, № 2—3. К сожалению, недостаточное знакомство автора с языком пушкинской эпохи привело его к ряду грубых ошибок.

§ 13. РАСШИРЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ И ФУНКЦИЙ ПРОСТОРЕЧИЯ И «ПРОСТОНАРОДНОГО» ЯЗЫКА В ЯЗЫКЕ ПУШКИНА

В пушкинском стиле 20-х годов расширяется область устного просторечия. Просторечие несет с собой в пушкинский язык свою систему слов, значений и образов. Так, полированная манерность отвлеченных метафор французского стиля разрушается простыми словами и образами, тесно связанными с повседневным бытом. Слово, идиома в просторечии тесно слиты с предметом и носят резкий отпечаток социальной среды, образа говорящего субъекта, его экспрессии. Вместе со словами и выражениями просторечия и простонародного языка вторгаются в литературный язык и синтаксические конструкции живой устной речи. Например:

Я, вспыхнув, говорил тебе немного крупно,
Потешил дерзости *бранчивую свербежь* —
Но извини меня: мне было *невтерпеж*.

(Второе послание к цензору, 1824);

Как загасить *вонючую лучинку*?
Как уморить Курилку моего?
Дай мне совет.— Да... *плюнуть на него*.

(Жив, жив курилка, 1825);

Я сам служивый: мне домой
Пора *убраться на покой*.

(Ответ Катенину, 1828) и др. под.

Слова, непосредственно обозначая предметы, создают реалистический стиль изображения. В средний слог литературного языка, в авторское повествование входят такие предметы и их обозначения, которые до сих пор игнорировались дворянской литературно-языковой традицией [1]. Например, в «Графе Нулине» Наталья Павловна:

...скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.
Кругом мальчишки хохотали.
Меж тем печально, под окном,
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже;
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор.

В «Домике в Коломне»:

При ней варилась гречневая каша...
Бывало, мать давным-давно храпела,
А дочка — на луну еще смотрела...

---

[1] Ср.:

С перегородкою коморки,
Довольно чистенькие норки,
В углу на полке образа,
Под ними вербная лоза
С иссохшей просвирой и свечкой...
Две канареечки над печкой*[1].

Просторечие, живая народная и даже простонародная речь еще ярче и свободнее выступали в сказе и диалоге. Здесь экспрессия речи, формы обращения с собеседником становились непринужденными, свободными от стеснений салонно-дворянского этикета, даже в тех случаях, когда действующие лица изображались в обстановке дворянского быта. В «Евгении Онегине» критик строгий авторам элегий

Кричит: «Да перестаньте плакать
И *все одно и то же квакать...»*.

(4, XXXII)

В стихотворении «Румяный критик мой» (1830) сам автор ведет разговор с критиком в той же развязной, непринужденно-фамильярной атмосфере просторечия:

Румяный критик мой, *насмешник толстопузый*,
Готовый век *трунить* над нашей томной музой,
Поди-ка ты *сюда, присядь-ка* ты *со мной,*
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой...
Что, брат? уж не трунишь, тоска берет — ага!

В стихотворении «Моя родословная» (1830) авторский монолог вбирает в себя «простонародные» слова:

И не *якшаюсь* с новой знатью,
И крови спесь *угомонил.*
Я сам большой: я мещанин.

В авторский стиховой стиль теперь проникают даже такие грубые слова, как *сволочь, шлюха:*

А, вы ребята подлецы, —
Вперед! Всю нашу *сволочь* буду
Я мучить казнию стыда!

(О муза пламенной сатиры!..);

Из мелкой *сволочи* вербую рать...

(Домик в Коломне);

Меж ими нет — замечу кстати —
Ни тонкой вежливости знати,
Ни ветрености милых *шлюх.*

(Ненапечатанная строфа гл. 4 «Евгения Онегина»)

Еще разнообразнее и красочнее элементы простонародности и просторечия в прозаическом диалоге, и опять-таки не только в речи персонажей из демократического круга, но и в разговоре персонажей из высшего общества (ср. язык диалога в «Полтаве», «Арапе Петра Великого», «Капитанской дочке» и др.). «Простой народ,— говорит акад. Ф. Е. Корш,— представлялся Пушкину не безразличной массой, а старый гусар думает и говорит у него иначе, нежели выдающий себя за монаха бродяга Варлаам, монах не так, как мужик, мужик отличается от казака, казак от дворового (например Савельича); мало того: трезвый мужик не похож на пьяного (в шутке: «Сват Иван, как пить мы станем»). В самой «Русалке» мельник и его дочь по

воззрениям и даже по языку — разные люди»*2. В приемах пушкинского выбора форм просторечия и простонародного языка можно отметить некоторые закономерности. Пушкинский язык избегает всего того, что непонятно и неизвестно в общем литературно-бытовом обиходе. Он чужд экзотики областных выражений, далек от арготизмов (кроме игрецких-карточных в «Пиковой даме», военных, например, в «Домике в Коломне», условно-разбойничьих в «Капитанской дочке», которые все требуются самим контекстом изображаемой действительности). Пушкинский язык почти не пользуется профессиональными и сословными диалектами города (ср., например, отсутствие примет купеческого языка в «Женихе»). Он, в общем, сторонится разговорно-чиновничьего диалекта, который играет такую значительную роль в произведениях Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского. Словом, пушкинскому языку чужды резкие приемы социально-групповой и профессиональной диалектизации литературной речи, столь характерные, например, для языка гоголевской «натуральной школы». Пушкинский язык колеблется между стилями городского просторечия и выражениями простонародного, крестьянского языка. Из области простонародного языка, кроме той простонародной струи, которая просочилась в обиходный язык интеллигенции, у Пушкина в сказе и диалоге шире всего представлены крестьянские и солдатские стили речи (например, в «Утопленнике», в «Гусаре», в «Рефутации Беранжера»*3 и др.).

Но гораздо существеннее проследить ассимиляцию простонародных элементов системой авторского, т. е. литературного, языка. Уже около середины 20-х годов в пушкинском языке наблюдается процесс идеологического и образного сближения с семантикой простонародного языка и народной поэзии (ср., например, стихотворение «Телега жизни»).

Работы Пушкина над народными сказками ярко отражает пушкинские приемы воспроизведения эпической простоты народного стиля и пушкинские методы синтезирования литературно-книжного и устно-поэтического творчества. Передавая дух и стиль народной сказки, Пушкин не избегает лирических формул литературного языка. Самый пушкинский синтез состоит в том, что, с одной стороны, он придает лирическое напряжение и широкое, обобщающее содержание формам народной поэзии, а с другой — Пушкин находит в фольклорных образах и приемах могущественное средство национального обновления и демократизации книжно-поэтических стилей. Вот несколько примеров отражения лирической или традиционно-книжной фразеологии в стиле пушкинских сказок:

С берега душой печальной
Провожает бег их дальный...

(Сказка о царе Салтане);

Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце
С грустной думой на лице.

(Там же);

Князь Гвидон тогда вскочил,
Громогласно возопил...

(Там же);

Черной зависти полна.

(Сказка о мертвой царевне);

Головой на лавку пала
И тиха, недвижна стала...

(Там же);

Братья в горести душевной
Все поникли головой.

(Там же);

Сотворив обряд печальный,
Вот они во гроб хрустальный
Труп царевны молодой
Положили...

(Там же);

Вдруг погасла, жертвой злобе,
На земле твоя краса;
Дух твой примут небеса.

(Там же);

Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора.

(Там же);

И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.

и мн. др.

Ср. приемы смешения народно-поэтических и книжных образов и выражений:

Но царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась—и расцвела.

(Сказка о мертвой царевне);

Ты встаешь во тьме глубокой,
Круглолицый, светлоокий,
И, обычай твой любя,
Звезды смотрят на тебя.

(Там же)

и др. под.

Особенно сложны и разнообразны формы этого смешения в «Сказке о золотом петушке», в которой больше всего отслоений литературно-книжной речи.

Например:

Застонала тяжким стоном
Глубь долин, и сердце гор
Потряслося...
Царь, хоть был встревожен сильно,
Усмехнулся ей умильно.

и т. п.

Процесс воспроизведения народного эпического стиля состоял не только в стилизации непосредственности и простоты выражения, своеобразий наивной народно-поэтической экспрессии, в широком использовании формул народного слога и оборотов просторечия, но и в воссоздании «мировоззрения», духа национальной поэзии.

В. Д. Комовский*4 писал Н. М. Языкову (от 25 апреля 1832 г.) о стиле пушкинских сказок:

«В сказке Жуковского нахожу я более искусственности, чем у Пушкина. Жуковский как сказочник обрился и приоделся на новый лад, а Пушкин — в бороде и армяке. Читая «Спящую царевну», нельзя забыть, что ее читаешь. Читая же сказку Пушкина, кажется, будто слушаешь рассказ ее, по русскому обычаю, для того, чтоб сон нашел»[1].

В «Песнях западных славян» Пушкин образует сложный сплав разных систем народно-поэтической фразеологии с выражениями устной речи и книжно-поэтического языка. Тут можно найти отслоения стиля не только народной песни, но и сказки, а больше всего былины.

Например:

Слышит, воет ночная птица,
Она чует беду неминучу,
Скоро ей искать новой кровли
Для своих птенцов горемычных.

Не сова воет в Ключе-граде,
Не луна Ключ-город озаряет,
В церкви божией гремят барабаны,
Вся свечами озарена церковь.

(Видение короля);

Тут и смерть ему приключилась.

(Янко Марнавич)

Ср. ту же формулу конца в ряде былин и песен из сборника Кирши Давыдова; например, так заканчиваются «Гришка Растрига», «Ермак взял Сибирь», «Дурьня» и др.[2]

Ср. у Пушкина песенно-лирические формулы:

Против солнышка луна не пригреет,
Против милой жена не утешит.

(Яныш Королевич)

Ср. фразеологию сказочного типа:

---

[1] Литературное наследство. М., 1935, № 19—21, с. 79—80.

[2] Связь языка и стиля «Песен западных славян» с «Древними русскими (или российскими) стихотворениями», собранными Киршей Даниловым, несомненна. См. издания 1804 и 1818 гг. См. также: Сборник Кирши Данилова/Под ред. П. Н. Шеффера. СПб., 1901*5.

Стала пухнуть прекрасная Елена,
Стали байть: Елена брюхата.
Каково-то будет ей от мужа,
Как воротится он из-за моря!

(Феодор и Елена);

Круглый год проходит, и — Феодор
Воротился на свою сторонку.
Вся деревня бежит к нему навстречу.
Все его приветливо поздравляют...

(Там же);

Отвечает Георгий угрюмо:
«Из ума, старик, видно, выжил,
Коли лаешь безумные речи».
Старый Петро пуще осердился,
Пуще он бранится, бушует.

(Песня о Георгии Черном)

и т. п.

Ср. язык «Сказки о рыбаке и рыбке».

Ср. также:

Между ими хлещет кровь ручьями,
Как потоки осени дождливой.

(Видение короля);

А суки дерев так и трещали,
Ломаясь, как замерзлые прутья.

(Марко Якубович)

А рядом с этими народно-поэтическими оборотами располагаются выражения и образы литературно-книжной речи:

Ужасом в нем замерло сердце...

(Видение короля);

Рано утром, чуть заря зардела...

(Яныш Королевич);

Неподвижно глядел на него Марко,
Очарован ужасным его взором.

(Марко Якубович)

Вместе с тем в стиль этого былинного цикла широко и свободно вливаются церковнославянские формулы, характеризующие христианскую культуру славянства (в противовес туркам и татарам):

Громко мученик господу взмолился:
«Прав ты, боже, меня наказуя!
Плоть мою передай на растерзанье,
Лишь помилуй мне душу, Иисусе!»

(Видение короля);

Нарекает жабу Иваном
(Грех велик христианское имя
Нарещи такой поганой тварн!)

(*Феодор и Елена*);

«Воротись, радн господа бога:
Не введи ты меня в искушенье!»

(*Песня о Георгии Черном*)

Иногда стиль песен сливается с языком старорусского житийного повествования:

Поднял он голову Елены,
Стал ее целовать умиленно,
И мертвые уста отворились,
Голова Елены провещала...

(*Феодор и Елена*)

В некоторых случаях этот былинный язык склоняется к формам стиля старорусских героических повестей (вроде «Слова о полку Игореве»):

Кровью были покрыты наши сабли
С острия по самой рукояти.

(*Битва у Зеницы-Великой*);

Кровь по сабле свежая струится
С вострия до самой рукояти.

(*Видение короля*)

Безыскуственная «народность» пушкинского фольклорного стиля особенно ощутительна при сопоставлении стихов Пушкина с циклом «Сербских песен» А. Х. Востокова.

Например, у Востокова в «Жалобной песне благородной Асан-Агиницы» (Северные цветы на 1827 г.):

Не снег то, не белые лебеди,
А белеется шатер Асан-Аги,
Где он лежит тяжко раненый.

У Пушкина в стихотворении «Что белеется на горе зеленой?» (1835):

То не снег и не лебедн белы,
А шатер Агн Асан-аги.
Он лежит в нем, весь люто изранен.

У Востокова:

Вняла жена таковы слова;
Стоит, цепенея от горести;
Вдруг конский топот заслышала:
Взметалась жена Асан-Агн,
Чтоб с башни из окна сй низринуться.

У Пушкина:

Как услышала мужнины речи,
Запечалилась бедная Кадуна.
Она слышит, на дворе бьют кони;
Побежала Асан-агиница,
Хочет броситься, бедная, в окошко.

У Востокова:

Успокоилась тогда Агиница,
Обнимает брата с горькой жалобой:
«Ах, братец, какое посрамленье мне!
Выгоняют меня от пятерых детей!»

У Пушкина:

Воротилась Асан-Агиница,
И повисла она брату на шею —
«Братец, милый, что за посрамленье!
Меня гонят от пятерых деток».

Понятно, что у Пушкина в стиле «Песен западных славян» не встречается таких выражений традиционного книжно-поэтического языка, противоречащих духу русской народной поэзии, как, например, в «Сербских песнях» А. Х. Востокова:

Небожители солнце утешали.

(Девица и солнце);

Чтоб *сердце не расторглося злой тоской.*

(Жалобная песня благородной Асан-Агиницы);

И тогда же, от *безмерныя жалости,*
На детей взирая, предала свой дух.

(Там же)[1]

Пушкинские «дополнения» в «Песнях западных славян» говорят сами за себя. Таковы, например, стихи, не находящие никаких соответствий у Мериме в книге «Guzla», из которой Пушкин заимствовал большую часть песен для перевода:

Поделом тебе, старый бесстыдник!
Ах да баба! Отделала(сь) славно!

(Федор и Елена, IV);

Оттого мой дух и ноет...

(Конь, XVI)

С конца 20-х годов простонародные слова и выражения в пушкинском языке начинают свободно двигаться в сферу авторского стиля и здесь смешиваются с литературно-книжными формами речи. Пушкин как бы стремится сочетать «крайности», объединить противоположные разновидности литературных стилей. С. П. Шевырев так писал об этой особенности пушкинского языка последней поры: «Пушкин не пренебрегал ни единым словом русским и умел, часто

[1] См.: *Востоков А. Х.* Стихотворения. Л., 1935.

взявши самое простонародное слово из уст черни, оправлять его так в стихе своем, что оно теряло свою грубость. В этом отношении он сходствует с Дантом, Шекспиром, с нашим Ломоносовым и Державиным. Прочтите стихи в «Медном всаднике»:

...Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури,
И спорить стало ей невмочь.

Здесь слова *буйная дурь* и *невмочь* вынуты из уст черни. Пушкин вслед за старшими мастерами указал нам на простонародный язык как на богатую сокровищницу, требующую исследований»[1]. Ср. другие примеры смешения простонародного с книжно-литературным или литературно-разговорным:

Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но *черт его несет* судить о свете...

(Сапожник, 1829)

Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать.

(Когда за городом задумчив, 1836);

И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.

(Из Пиндемонти, 1836)

Ср. в прозе: «*хлопнул* двери ему *под-нос*» («Станционный смотритель»); «*вытянул* он пять стаканов» (там же); «баба *здоровенная*» («История села Горюхина»); «он надеялся *выместить* убыток на старой купчихе» («Гробовщик»); «заставал их без дела *глазеющих* в окно на прохожих» (там же); «любил *хлебнуть* лишнее» («Капитанская дочка»); «со смеху чуть не *валялся*»; «моя любовь уже не казалась батюшке пустою *блажью*» (там же); «*краснорожий* старичок... *гнуся*, начал читать» («Кирджали») и т. п.

Итак, вступая в сферу литературной речи, простонародная струя смешивается с формами литературно-книжного, иногда церковнославянского языка.

Процесс образования нового демократического национально-литературного языка был связан с семантическим углублением и образно-идеологическим обогащением живой русской речи[2]. Осуществляя

---

[1] Москвитянин, 1841, № 9, ч. 5, с. 269; ср. также: *Сыроечин Г.* Речевые стили в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина.— В сб.: Стиль и язык А. С. Пушкина. М., 1937.

[2] См. статьи А. С. Орлова «Пушкин — создатель русского литературного языка» и мою «Пушкин и русский язык» в Изв. АН СССР. Отд. ОН (1937, № 2—3); ср. также: *Орлов А. С.* Пушкин — создатель русского литературного языка.— В кн.: Временник Пушкинской Комиссии АН СССР. М.—Л., 1937, вып. 3.

эту задачу, Пушкин безмерно расширяет границы литературного языка, отбирая из старинного языка, из церковнокнижной письменности, из классических стилей XVIII в., из романтических стилей первой четверти XIX в. все то, что носило яркий отпечаток русской национально-исторической характерности, что могло без усилий сочетаться с общепонятными формами выражения, что придавало русскому языку остроту, свежесть и яркую выразительность. Поэтому в пушкинском стиле с конца 20-х годов своеобразно комбинируются самые разнообразные фразеологические серии.

§ 14. ЗНАЧЕНИЕ ПУШКИНА В ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Итак, в языке Пушкина впервые пришли в равновесие основные стихии русской речи. Осуществив своеобразный синтез основных стихий русского литературного языка, Пушкин навсегда стер границы между классическими тремя стилями XVIII в. Разрушив эту схему, Пушкин создал и санкционировал многообразие национальных стилей, многообразие стилистических контекстов, спаянных темой и содержанием. Вследствие этого открылась возможность бесконечного индивидуально-художественного варьирования литературных стилей. Таким образом, широкая национальная демократизация литературной речи давала простор росту индивидуально-творческих стилей в пределах общелитературной нормы. Необычайно глубоко писал о роли Пушкина как русского национального поэта Гоголь: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте... В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство». (Несколько слов о Пушкине)*[1]. «Нет сомнения,— говорил позже И. С. Тургенев,— что он (Пушкин) создал наш поэтический, наш литературный язык и что нам и нашим потомкам остается только идти по пути, проложенному его гением» (Речь на открытии памятника А. С. Пушкину, 1880)*[2]. А. Н. Островский связывал с именем Пушкина высвобождение национальной русской мысли из-под гнета условных приемов и вступление русского литературного языка как равноправного члена в семью западноевропейских языков. Однако русская литературная речь в своем развитии не сразу направилась по прямому широкому пути, проложенному гением Пушкина. В 20—40-е годы русская литература, как бы пораженная великими стилистическими открытиями Пушкина, стремится вобрать в себя и те стили и диалекты живой речи, которые не были использованы или не были исчерпаны Пушкиным, а именно: разные разговорно-бытовые стили города, язык чиновничества, разночинной интеллигенции, разные городские профессиональные диалекты. Эти формы выражения надвигались на старую культуру речи и грозили ей коренной ломкой*[3].

VII. Язык Лермонтова

§ 1. ЯЗЫК ЛЕРМОНТОВА И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ПУШКИНСКОМУ ЯЗЫКУ

В языке Пушкина заключаются истоки всех последующих течений русской поэзии XIX в. Прямое или косвенное воздействие пушкинского языка ощутительно на всех литературных стилях 30—40-х годов. Борьба с Пушкиным, обход его поэтической системы (например, в стиле Бенедиктова) не исключали зависимости от нее. Переворот, произведенный Пушкиным в истории литературного языка, сказывался на всех стилях русской литературы. Тем более, что всеобъемлющая широта пушкинского творчества открывала возможности и романтикам и реалистам извлекать новые художественные средства и творческие приемы из сокровищницы пушкинского языка.

Своевременным и современным могло быть лишь продолжение, расширение или восполнение пушкинской поэтической реформы.

Поэтические стили Жуковского, Козлова*[1], Подолинского*[2], с другой стороны — Баратынского, Вяземского*[3], Ден. Давыдова, с третьей — Рылеева, Полежаева*[4], А. Одоевского*[5], с четвертой — Тютчева, Шевырева*[6], Хомякова*[7], Языкова и др., наконец, стили Кукольника*[8], позднее — Тимофеева*[9], Бенедиктова*[10] и др., испытывая воздействие пушкинского языка, в то же время двигались по другим путям и перепутьям. Понятно, что и в этих художественных системах было выработано много таких выражений, образов, оборотов, конструкций (не говоря уж о новых технических средствах стиха), которые нуждались в объединении и примирении с пушкинским стилем. Именно так понимал свою литературно-языковую задачу Лермонтов в первый период своей литературной деятельности (до 1836 г.). Классицизм был побежден Пушкиным, и Лермонтов не возвращается к его жанрам и стилям, влияние которых еще заметно на раннем пушкинском языке. Но романтическая культура художественного слова не была целиком признана Пушкиным. Напротив, иногда Пушкин противопоставлял ей свой стиль, борясь с ее формами. Лермонтов, стремясь воспользоваться наиболее ценным из того груза поэтических традиций, который остался неиспользованным в творчест-

ве Пушкина, напрягает русский язык и русский стих, старается придать ему новое обличие, сделать его острым и страстным. Он, по образному выражению Б. М. Эйхенбаума, стремится «разгорячить кровь русской поэзии, вывести ее из состояния пушкинского равновесия»[1].

Современники Лермонтова глубоко понимали и чувствовали значение пушкинского языка и стиля для творчества Лермонтова. С. П. Шевырев писал: «Узник», «Ветка Палестины», «Памяти А. И. Одоевского», «Разговор между журналистом, читателем и писателем» и «Дары Терека» напоминают совершенно стиль Пушкина». Приведя из «Узника» строфы с ярким народно-поэтическим отпечатком:

Добрый конь в зеленом поле
Без узды, один, на воле
Скачет весел и игрив.
Хвост по ветру распустив...

Только слышно: за дверями,
Звучномерными шагами,
Ходит в тишине ночной
Безответный часовой.

Шевырев замечает: эти «стихи как будто написал Пушкин. Кто хорошо знаком с лирою сего последнего, тот, конечно, согласится с нами»[2]. О языке лермонтовского стихотворения «Журналист, читатель и писатель» Белинский отзывался так: «Разговорный язык этой пьесы — верх совершенства; резкость суждений, тонкая и едкая насмешка, оригинальность и поразительная верность взглядов и замечаний — изумительны. Исповедь поэта, которой оканчивается пьеса, блестит слезами, говорит чувствами»[3].

Барон Розен, второстепенный поэт, драматург и критик пушкинской эпохи, не принимая того нового и оригинального, что вносилось Лермонтовым в стиль русской поэзии, писал о связи языка Лермонтова с языком Пушкина: «Лермонтов удачно перенял легкость и звучность и самый склад стиха, ясность и гибкость языка и образ выражения Пушкина»[4]. Говоря о языке стихотворения «Памяти А. И. Одоевского», Розен отмечает: «В этой пьесе Лермонтов всего удачнее перенял манеру, обороты, образ воззрения, а местами даже и собственность Пушкина; вся поэзия так и пахнет и блещет Пушкиным!»

Связь языка Лермонтова с языком Пушкина очевидна. Неизгладимая печать пушкинского стиля лежит на всех ранних стихотворениях Лермонтова. Пушкинские образы, выражения, обороты, синтаксические ходы встречаются почти в каждой строчке. Исследователи (Висковатов, Нейман[5], Семенов, Дюшен, проф. Сумцов, Эйхенбаум

[1] *Эйхенбаум Б. М.* Мелодика русского лирического стиха. Пг., 1922, с. 91—92.

[2] *Шевырев С. П.* Стихотворения Лермонтова. — Москвитянин, 1841, т. 2, № 4, с. 525—540.

[3] Отечественные записки, 1841, т. 14, № 2.

[4] *Розен Е. Ф.* О стихотворениях Лермонтова. — Сын отечества, 1843, кн. 3, с. 3—4.

[5] См.: *Нейман Б. В.* Влияние Пушкина в творчестве Лермонтова. Киев, 1914; ср. примечания к Полному собранию сочинений М. Ю. Лермонтова. М.—Л., 1936—1937, т. 1—4.

и др.) отметили множество совпадений в языке Лермонтова с языком Пушкина.

Язык Лермонтова переполнен пушкинскими образами, метафорами и оборотами.

Достаточно привести два-три примера.

В первой редакции «Демона» (1829):

Все оживилось в нем, и вновь
Погибший ведает любовь.

(II, 386)

Ср. у Пушкина в «Полтаве»:

Но чувства в нем кипят, и вновь
Мазепа ведает любовь.

Или:

И крылья, легкие как сон,
За белыми плечьми сияли.

(Демон)[1]

Ср. у Пушкина в «Пророке»:

Перстами легкими как сон...[2]

У Лермонтова в «Кавказском пленнике» (1828):

Но роковой ударил час...
Раздался выстрел — и как раз
Мой пленник падает. Не муку,
Но смерть изображает взор;
Кладет на сердце тихо руку...
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.

Ср. у Пушкина в «Евгении Онегине»:

На грудь кладет тихонько руку
И падает. Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая[3].

(6, XXXI)

Ср. у Лермонтова в «Измаил-Бее» (1832) более самостоятельное применение и видоизменение того же пушкинского образа:

Лезгинец, слыша голос брани,
Готовит стрелы и кинжал;
Скопилась месть их роковая
В тиши над дремлющим врагом:
Так летом глыба снеговая,
Цветами радуги блистая,
Висит, прохладу обещая,
Над беззаботным табуном...

(I, IX)

В области синтаксиса Лермонтов также продолжает развивать и углублять пушкинские традиции как в построении сжатой фразы, так

---

[1] *Лермонтов М. Ю.* Полн. собр. соч. СПб., 1910, т. 2, с. 397, 411*[11].

[2] Ср.: *Семенов Л. П.* М. Ю. Лермонтов. Статьи и заметки. М., 1915, с. 96 и 250.

[3] См.: *Нейман Б. В.* Влияние Пушкина в творчестве Лермонтова, с. 37—38.

и в приемах соединения предложений. Экспрессивные значения и оттенки союзов в языке Лермонтова еще более осложняются. Так, характерное для пушкинского стиля присоединительное употребление союза *и* в языке Лермонтова поражает разнообразием функций. Например, в «Демоне»:

Всегда жалеть и не желать,
Все знать, все чувствовать, все видеть,
Стараться все возненавидеть
И все на свете презирать!..

Комментируя эти стихи, Эйхенбаум писал: «Есть ли это *и* в последней строке простой соединительный союз, так что слово «стараться» одинаково управляет обоими инфинитивами, или оно имеет противительный смысл («и между тем») и тем самым слово «презирать» не подчинено слову «стараться», а стоит на одном с ним уровне? Начальная антитеза, где *и* имеет именно такой противительный смысл, требует, по всему ритмико-синтаксическому характеру этого отрывка, своего интонационного повтора. Вопрос решается тем, что в «Вадиме» мы находим подобную же формулу, смысл которой прояснен. «Я желал возненавидеть человечество, и п о н е в о л е стал презирать его»[1].

Не подлежит сомнению, что даже ранний язык Лермонтова — при всей его романтической пестроте — сдерживался в границах лексической ясности и живой доступности влияниям пушкинского стиля.

Так, уже в языке ранних стихотворений Лермонтова обнаруживается стремление к освобождению от фразеологической расплывчатости и неопределенности романтического стиля, стремление к сжатости и четкости поэтического выражения. Любопытны такие стилистические поправки Лермонтова. Например, в стихотворении «Силуэт» (1830) первоначально были такие строки:

Есть у меня твой силуэт:
На память я его чертил,
И мнится, этот черный цвет —
Родня с моей душою был.

В окончательном тексте эти образы сжались в две прозрачные строки:

Есть у меня твой силуэт.
Мне мил его печальный свет

В юношеской поэме «Аул Бастунджи» (1831) — черновой вариант:

Тонкими ветвями
Чуть ветер шелестел и парил зной,
И тени листьев пестрыми рядами
Играли на челе ее.

---

[1] *Эйхенбаум Б. М.* Лермонтов как историко-литературная проблема.— В кн.: Атеней. Л., 1924, 1—2, с. 107; ср. также кн.: *Эйхенбаум Б. М.* Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки. Л., 1924, с. 99.

В обработанном тексте эпитеты обострены, и образы углублены, все лишнее отброшено:

Шаткими ветвями
Шумел под ними ветер полевой,
И тени листьев темными рядами
Бродили по лицу ее [1].

Вместе с тем Лермонтов, подчиняясь влиянию пушкинской реформы, все теснее сближает разные жанровые формы своего стиля с живой разговорной речью, с языком народной поэзии, с стилями народной старины. Самый лермонтовский путь преодоления романтизма рост реалистических тенденций в языке Лермонтова, приемы синтеза романтических и реалистических форм выражения и изображения напоминают историческую эволюцию пушкинского языка.

Стихотворный язык Лермонтова во второй период его творчества (с 1836 г.), под несомненным влиянием пушкинского языка, достигает необыкновенной простоты, живости и естественной непринужденности разговорной речи. Например:

...на шинели,
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал;
В груди его едва чернели
Две ранки; кровь его чуть-чуть
Сочилась. Но высоко грудь
И трудно подымалась, взоры
Бродили страшно, он шептал...
«Спасите, братцы! — Тащат в горы.
Постойте — ранен генерал...
Не слышат...» Долго он стонал,
Но все слабей и понемногу
Затих и душу отдал богу...

(Я к вам пишу)

Таким образом, пушкинский стиль является для языка Лермонтова не только основной направляющей стихией, но и главной цементирующей массой. Лишь с помощью пушкинской системы выражения Лермонтову удалось произвести синтез разнообразных и в то же время наиболее ценных достижений романтической культуры художественного слова и создать на основе этого синтеза оригинальный стиль эмоциональной исповеди — в сфере лирики и драмы и глубокий стиль психологического реализма — в области как стихового, так и прозаического повествования.

§ 2. ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА РОМАНТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА В РАННЕМ ЯЗЫКЕ ЛЕРМОНТОВА

Стремление к широкому охвату и синтезу самых разнообразных стилей художественной литературы и к их новому, оригинальному сплавливанию чрезвычайно ярко обнаруживается уже в раннем языке Лермонтова. Современная поэту критика не раз отмечала этот «необыкновенный протеизм» лермонтовского таланта. С. П. Шевырев писал: «Вам слышатся попеременно звуки то Жуковского, то Пушкина, то Кирши Данилова, то Бенедиктова; примечается не только в

[1] См.: *Родзевич С. И.* К вопросу о процессе творчества М. Ю. Лермонтова.— Оттиск из «Филологических записок», 1916, вып. 2—3.

звуках, но и во всем форма их созданий; иногда мелькают обороты Баратынского, Дениса Давыдова иногда видна манера поэтов иностранных»[1]. В. К. Кюхельбекер так характеризовал стиль Лермонтова в своем «Дневнике»: «В нем найдутся отголоски и Шекспиру, и Шиллеру, и Байрону, и Пушкину, и Кюхельбекеру... Но и в самых подражаниях у него есть что-то свое, хотя бы только то, что он самые разнородные стихи умеет спаять в стройное целое, а это не безделица»[2].

Исследователи отметили отголоски и отражения языка Ломоносова, Капниста, Дмитриева*[1], Батюшкова, Жуковского, Козлова, Бестужева-Марлинского*[2], Дельвига, Баратынского, Подолинского, Одоевского, Полежаева и других поэтов в стиле Лермонтова. Юный Лермонтов нередко создает своеобразный сплав из чужих стихов[3].

Еще С. П. Шевырев указывал на совпадения между языком Лермонтова и Жуковского[4].

Например, у Лермонтова в «Мцыри»:

То трепетал, то снова гас:
На небесах, в полночный час,
Так гаснет яркая звезда!

Ср. в «Шильонском узнике» Жуковского:

...Увы! он гас,
Как радуга, пленяя нас,
Прекрасно гаснет в небесах...

Или:

Он гас, столь кротко-молчалив,
Столь безнадежно-терпелив,
Столь грустно-томен.

Ср. то же фразовое построение у Лермонтова в «Мцыри»:

Грузинки голос молодой
Так безыскусственно живой,
Так сладко вольный...

Круг таких соответствий особенно широк в ранних стихах Лермонтова.

Например, у Лермонтова в «Черкесах»:

Лишь ветра тихим дуновеньем
Сорван, листок летит, блестит,
Смущая тишину паденьем.

Ср. у Жуковского в «Славянке»:

Лишь сорван ветерка минутным дуновеньем,
На сумраке листок трепещущий блестит,
Смущая тишину паденьем.

---

[1] *Шевырев С. П.* Стихотворения Лермонтова, с. 525—540; ср. сб.: Русская критическая литература в произведениях М. Ю. Лермонтова/Под ред. В. А. Зелинского. М., 1904, ч. 1, с. 192.

[2] *Кюхельбекер В. К.* Дневник. Л., 1929, с. 292.

[3] См.: *Эйхенбаум Б. М.* Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки, с. 24—30 и след.

[4] См.: *Шевырев С. П.* Стихотворения Лермонтова, с. 527.

У Лермонтова в «Корсаре»:

Перебежавши через ров,
Пошел я тихо по кладбищу,
Душе моей давало пищу
Спокойствие немых гробов.

У Жуковского в стихотворении «Эльвина и Эдвин»:

Задумчивый, он часто по кладбищу
При склоне дня ходил среди крестов;
Его тоске давало пищу
Спокойствие гробов [1].

Не менее рельефны и многочисленны заимствования у юного Лермонтова из языка И. И. Козлова.

Например, у Лермонтова в «Кавказском пленнике»:

Потом чрез вал она крутой
Домой пошла тропою мшистой,
И скрылась вдруг в дали тенистой,
Как некий призрак гробовой.

и у И. И. Козлова в поэме «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая»:

И меж кустов тропинкой мшистой
Она пошла к горе крутой,
И скрылась вдруг в дали тенистой,
Как некий призрак гробовой.

У Лермонтова в «Корсаре»:

Как бы сражаяся с судьбою,
Мятежной ярости полна,
Душа, терзанью предана,
Живет утратою самою.

Ср. у Козлова в той же поэме: «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая»:

Мятежной горести полна,
Как бы сражаяся с судьбою,
Душа терзанью предана
Живет утратою самою.

Ср. у Лермонтова в «Корсаре»:

Чтоб турок сабля роковая
Пресекла горестный удел.

и у Козлова в «Чернеце»:

Когда минута роковая
Пресекла горестный удел [2].

Но характерно, что, сплавляя свои произведения из чужих образов, фраз и оборотов, Лермонтов отбрасывает архаические слова и

---

[1] См.: *Нейман Б. В.* Лермонтов и Жуковский.— Русский библиофил, 1914, № 6.

[2] Ср., например: *Нейман Б. В.* Отражение поэзии Козлова в творчестве Лермонтова. Пг., 1914; *Семенов Л. Г.* Лермонтов и Л. Толстой. М., 1914.

выражения или заменяет их живыми, разговорными. Например, в композицию своих «Черкесов» Лермонтов включил (с небольшими изменениями) отрывок из стихотворения И. И. Дмитриева «Освобождение Москвы» (напечатанного в 1803—1805 гг., написанного в 1795 г.)[1]. Однако Лермонтов производит характерные стилистические замены.

Например, у Дмитриева:

Вдруг стогны ратными сперлись;

у Лермонтова:

Ворота крепости сперлись.

у Дмитриева:

И се — зрю зарево кругом;

у Лермонтова:

И видно зарево кругом;

у Дмитриева:

Отовсюду треск и громы внемлю,
Глушащи скрежет, стон и вой;

у Лермонтова:

Повсюду слышен стон и вой.

Точно так же в «Корсаре», заимствовав несколько стихов из оды Ломоносова «На пресветлый праздник восшествия на престол Елизаветы Петровны» (1746), Лермонтов заменяет:

Земля стенала от зыбей.

на:

Земля стонала от зыбей[2].

Художественная задача — создать оригинальный эмоциональный сплав из соединения самых разнообразных выражений, образов и оборотов как русской, так и западноевропейской поэзии (преимущественно романтической), наполнить новый стиль глубоким идейным содержанием и экспрессивной выразительностью, придать ему необыкновенную силу и остроту красноречия и в то же время национальной русской характерности — эта задача несколько сближает язык юного Лермонтова с языком Марлинского[3].

В сущности, к такому же сплаву самых разнородных образов, оборотов и фраз по принципу романтической свободы стремился А. А. Бестужев-Марлинский, несомненно, имевший влияние на язык и стиль молодого Лермонтова.

---

[1] См.: *Нейман Б. В.* К вопросу об источниках поэзии Лермонтова. — ЖМНП, 1917, № 3—4.

[2] См.: *Фишер В. М.* Из юбилейной литературы о Лермонтове. — Голос минувшего, 1914, № 10.

[3] См.: *Семенов Л. П.* К вопросу о влиянии Марлинского на Лермонтова. — ФЗ, 1914, вып. 5—6.

В 1835 г. Марлинский в письме к братьям так характеризовал метод своей работы над языком: «Не у одних французов, я занимаю у всех европейцев обороты, формы речи, поговорки, присловия. Да, я хочу обновить, разнообразить русский язык, и для того беру мое золото обеими руками из горы и из грязи, отовсюду, где встречу, где поймаю его. Что за ложная мысль еще гнездится во многих, будто есть на свете галлицизмы, германизмы, чертизмы? Не было и нет их!.. Однажды и навсегда — я с умыслом, а не по ошибке гну язык на разные лады, беру готовое, если есть, у иностранцев, вымышляю, если нет; изменяю падежи для оттенков действия или изощрения слова... В любом авторе я найду сто мест, взятых целиком у других; другой может найти столько же; а это не мешает им быть оригинальными, потому что они иначе смотрели на вещи»[1].

Влияние Бестужева-Марлинского сказывается у Лермонтова в стремлении к декламационной патетике, к эффектным и изысканным образам и сравнениям, к эмоциональной риторике.

Так, в языке ранних лермонтовских драм, например в языке «Испанцев» или «Menschen und Leidenschaften», легко найти напыщенно-риторические образы в духе Марлинского. Ср.: «Ревность в грудь ее, как червь, закралась»; «Вот вы услышите! Горою встанет волос ваш; не слезы — камни уроните из глаз вы»; «Меня ты не обманешь, крокодил!»; «О, не срывай покрывала с души, где весь ад, все бешенство страстей» и т. п.[2]

Стремясь к объединению, сплаву самого разнообразного материала, Лермонтов отовсюду заимствует яркие, изысканные сравнения[3].

«Юношеские стихи его, — пишет Б. М. Эйхенбаум, — переполнены сравнениями, которые иногда накопляются целым роем. Сравнения эти обнаруживают потребность в «красноречии» (в противоположность Пушкину). Например:

На нем пещера есть одна —
Жилище змей — хладна, темна,
Как ум, обманутый мечтами,
Как жизнь, которой цели нет,
Как недосказанный очами
Убийцы хитрого привет.

(Ангел Смерти, I)

Вместе с тем Лермонтов — не без влияния Марлинского, с одной стороны, и Вяземского и Баратынского, с другой,— обнаруживает необыкновенную силу красноречия и изобретательности в образовании острых и внушительных афоризмов, в создании выразительных и метких формул, которые нередко и являются ударными местами стихотворения. Например:

---

[1] Ср.: *Эйхенбаум Б. М.* Лермонтов как историко-литературная проблема, с. 96.

[2] Ср.: *Дюшен Э.* Поэзия М. Ю. Лермонтова в ее отношении к русской и западноевропейской литературам. Пер. с франц. яз. Казань, 1914, с. 7—8.

[3] См.: *Эйхенбаум Б. М.* Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки, с. 46.

И целый мир возненавидел,
Чтобы тебя любить сильней.

Он тень твоя, но я люблю,
Как тень блаженства, тень твою.

Безумцы! Не могли понять,
Что легче плакать, чем страдать
Без всяких признаков страданья!

И сном никак не может быть
Все, в чем хоть искра есть страданья!

Когда я свои презираю мученья,
Что мне до страданий чужих?

Чья душа слишком пылко любила,
Чтобы мог его мир полюбить.

Расстаться казалось нам трудно,
Но встретиться было б трудней!

А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой.

Посредством скрещения и сцепления устоявшихся романтических формул Лермонтов образует новые фразовые единства и цепи. Например, у Жуковского не раз встречается образ, заимствованный из французской лирики,— образ «гостя на пиру земном или на жизненном пиру»:

Когда мы гости молодые
У милой жизни на пиру
Из полной чаши радость пили

(К Воейкову, 1814)

В «Шильонском узнике»:

Без места на пиру земном
Я был бы лишний гость на нем.

У Пушкина в «Послании к кн. А. М. Горчакову» (1817):

... на жизненном пиру
Один с тоской явлюсь я, гость угрюмый,
Явлюсь на час и одинок умру [1].

Ср. у А. Одоевского в «Элегии» (1830):

Как званый гость или случайный,
Пришел он в этот чуждый мир.

Вместе с тем у Полежаева встречается для обозначения того же представления другой образ: «член ненужный бытия».

И член ненужный бытия,
Не оскверню собой природы.

(Живой мертвец)

[1] Ср. у Жильбера в "Ode imitée de plusieurs psaumes":
Au banquet de la vie, infortuné convive,
J'apparus un jour, et je meurs:
Je meurs, et sur ma tombe, ou lentement j'arrive,
Nul ne viendra verser des pleurs.

Ср. у него же в «Человеке» (из Ламартина):

> Несчастный, страждующий и смертными презренный,
> Я буду жалкий член живого бытия [1].

Лермонтов, смешав оба образа, создает гибридную формулу:

> Ненужный член в пиру людском,
> Младая ветвь на пне сухом;
> В ней соку нет, хоть зелена,—
> Дочь смерти — смерть ей суждена!
>
> *(Стансы, 1831)*

Таким образом, Лермонтов производит не только оригинальный отбор стилистических средств, выработанных русской и западно-европейской поэзией, не только осуществляет своеобразный синтез романтической культуры художественного слова, но и создает новые формы литературного выражения, продолжает начатое Пушкиным дело образования национального русского языка, с одной стороны, подготовляя путь для гражданской патетики Некрасова, а с другой стороны, расчищая заросли романтизма и углубляя семантическую систему русского литературного языка, приспособляя ее к новому стилю психологического реализма.

Уже в юные годы Лермонтов накопляет целый арсенал художественных средств: образов, метафор, фразеологических оборотов, поэтических афоризмов, сравнений, рифм, которые не находят себе прочного места в неустойчивых сплавах 1828—1832 гг., будучи переплавляемы из формы в форму: «Всем этим сокровищам зрелое мастерство последних лет найдет окончательное применение, поставив их так крепко на место, что они будут казаться неотрывными от него»[2].

В этот период упорной подготовительной работы над языком и стилем, в период художественных заготовок и сложных экспериментов Лермонтов создает необыкновенное разнообразие стихотворных ритмов и метров, синтаксических ходов, рифменных созвучий[3], строфических вариаций. Он обогащает и опережает стиховую культуру пушкинской эпохи, обращаясь как к западно-европейским литературным, так и к русским народно-поэтическим образцам. Такие стихотворения, как «Атаман» (1831), «Воля» (1831), «Песня» (1830), «Желтый лист о стебель бьется», своей ритмической и метрической новизной и сложностью выдают громадную самостоятельную работу юного поэта над русским стихом. В это же время Лермонтов, стремительно переходя от одного жанра к другому и испытывая самые разнообразные их типы, ломает перегородки между традиционными «родами» и «видами» поэзии, как бы продолжая реформаторскую деятельность Пушкина в новом направлении.

---

[1] См.: *Эйхенбаум Б. М.* Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки, с. 54—55.

[2] *Дурылин С. Н.* Как работал Лермонтов. М., 1934, с. 23; *Эйхенбаум Б. М.* Мелодика русского лирического стиха. Пг., 1922; *Фишер В. М.* Поэтика Лермонтова.— В кн.: Венок М. Ю. Лермонтову. М.—Пг., 1914, и мн. др.

[3] См.: *Жинкин Н. М.* Рифма и ее композиционная роль в поэме Лермонтова «Демон» (с приложением словаря рифм).— Юбилейный збірник на пошану акад. Д. І. Багалієві. Киев, 1927, ч. 1—3.

§ 3. ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГО, «ОРАТОРСКОГО» СТИЛЯ В ЯЗЫКЕ ЛЕРМОНТОВА

Лермонтов стремится приспособить русский литературный язык к выражению сложных психических коллизий и раздумий сильной рефлектирующей личности [1], к передаче ее внутренней исповеди, ее политического протеста и ее общественных стремлений и идеалов, сложных мотивов ее недовольства и ее борьбы с современным обществом. Он стремится вложить в запас литературной фразеологии, в систему форм синтаксического построения, средств стиховой организации, в арсенал риторических приемов, вообще в национальную культуру художественного слова более современную конкретно-бытовую содержательность, усилить идейную насыщенность стиля и эмоциональное разнообразие. Для достижения этой цели Лермонтов с начала 30-х годов работает над созданием внушительного и действенного ораторского стиля, свободного от литературных архаизмов.

От ранних опытов в романтическом роде Лермонтов прокладывает путь к созданию широкого ораторского стиля с яркой эмоциональной патетикой, с глубокими и отточенными афоризмами, с красочными и выразительными эпитетами, с громкой декламационной интонацией, с вопросами и с восклицаниями, с острыми экспрессивными эффектами, с своеобразным эмоциональным синтаксисом.

Например, в «Умирающем гладиаторе» (1836):

А он — пронзенный в грудь — безмолвно он лежит,
Во прахе и крови скользят его колена...

Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
Он презрен и забыт... освистанный актер.

Напрасно — жалкий раб,— он пал, как зверь лесной,
Бесчувственной толпы минутною забавой...

Ярким образцом лермонтовского ораторского стиля и декламационного стиха является стихотворение на смерть Пушкина «Смерть Поэта» (1837). «Перед нами страстная речь оратора: речевые периоды, сменяя друг друга, образуют целую скалу голосовых тембров от скорбного до гневного, полного угрозы, а в промежутках между этими периодами являются патетические повторения, восклицания и вопросы, за которыми чувствуется эмоциональная жестикуляция... Как и в «Умирающем гладиаторе», ораторская интонация с особенной энергией падает на эпитеты, которые благодаря этому выступают на первый план и скопляются в целые группы» [2].

Лермонтов придает лирическому стилю необыкновенную эмоциональную силу и ораторское напряжение, превращая лирику в патетическую исповедь. Отсюда — многие своеобразия лермонтовского язы-

---

[1] Ср. у В. Г. Белинского в статье о «Герое нашего времени»: «Это переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет, и в котором человек есть только возможность чего-то действительного в будущем... Тут-то возникает в нем то... что на языке философии называется рефлексиею» (Отечественные записки, 1840, т. 11, № 6—7, с. 25).

[2] *Эйхенбаум Б. М.* Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки, с. **107**.

ка. В. Плаксин в 1848 г. писал применительно к стилю Лермонтова: «Когда страсть управляет движением поэтических сил, то неполнота, несвязность создания и повторение образов и картин бывает необходимым следствием» (Северное обозрение, 1848, № 3). «Семантическая основа слов и словесных сочетаний начинает тускнеть — зато небывалым блеском начинает сверкать декламационная (звуковая и эмоциональная) их окраска»[1], например в монологе Демона:

Я бич рабов моих земных,
Я царь познанья и свободы,
Я враг небес, *я зло природы*...

В этом ораторском стиле Лермонтова главная экспрессивная роль поручена эпитетам. «Если вынуть эпитеты, то получаются иногда сочетания слов, вызывающие недоумение: «с насмешкой сомнений»[2]. Ср. в стихотворении Лермонтова «Последнее новоселье»:

Ты жалок потому, что вера, слава, гений,
Все, все великое, священное земли
С насмешкой глупою ребяческих сомнений
Тобой растоптано в пыли.

Характерна синтаксическая и семантическая схема особенно выразительных стихов Лермонтова, в которых на эпитеты падают смысловые акценты:

Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом *насмешливых* невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой *тайною обманутых* надежд.

(Смерть Поэта);

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой *горькою обманутого* сына
Над *промотавшимся* отцом.

(Дума)

Ср. «Бесчувственной толпы минутною забавой» («Умирающий гладиатор»); «Насмешливых льстецов несбыточные сны» (там же) и др. под.

Вместе с тем в языке Лермонтова укрепляется целый ряд других экспрессивных конструкций, придающих речи острое лирическое волнение и патетическое напряжение. Например, мотив лишенности, обреченности, обездоленности связан с своеобразным тяготением к частому употреблению предлога *без* в анафорической цепи однородных членов. Ср. «Без дружбы, без надежд, без сил»; «Без дум, без чувств, среди долин»; «Без дум, без трепета, без слез»; «Почти без чувств, без дум, без сил»; «Едва дыша, без слез, без дум, без слов» и др.

Б. М. Эйхенбаум предполагает, что в этом отношении Лермонтов опирался на стилистический опыт Жуковского и Козлова, в языке ко-

[1] *Эйхенбаум Б. М.* Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки, с. 97.
[2] Там же, с. 113.

торых эти синтаксические конструкции приобрели большую эмоциональную силу [1].

В ораторском строе речи обостренная сила эмоционального воздействия, стремительный поток внушительных образов нередко разрушают логическую ясность метафор и сравнений. Вещественные, конкретные значения слов вступают в конфликт с их выразительными оттенками, с их способностью экспрессивного внушения. Обнаруживаются противоречия предметных значений в единстве спаянной фразеологической цели. Например:

Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть:
Она, как *червь*, во мне жила,
Изгрызла душу и *сожгла*.

(*Мцыри*)

Потускнение семантических оттенков возмещается яркой эмоциональной расцветкой выражений. Наиболее экспрессивные и значительные образы нередко в языке Лермонтова передвигаются из одного контекста в другой — иногда очень далекий по прямому значению окружающих слов.

Например, в «Сашке» употреблен образ — *эпиграфы неведомых творений* — к надписям на стенах старого дома:

Как надписи надгробные, оне
Рисуются узором по стене —
Следы давно погибших чувств и мнений,
Эпиграфы неведомых творений.

И тот же образ, то же выражение применены к отрывкам разговоров и в «Сказке для детей» — при описании бала:

Улыбки, лица лгали так искусно,
Что даже мне чуть-чуть не стало грустно.
Прислушаться хотел я — но едва
Ловил мой слух летучие слова,
Отрывки безымянных чувств и мнений —
Эпиграфы неведомых творений!..

Б. М. Эйхенбаум очень тонко охарактеризовал «ораторскую», декламационную стихию в стиле Лермонтова и связанные с своеобразиями эмоциональной риторики особенности словоупотребления в раннем языке Лермонтова. Яркий блеск лирических формул, их экспрессивная сила, как бы гипнотизирующая слушателя (читателя) своею эмоциональностью, иногда вырастают в ущерб простоте и точности. Например, «начальная формула «Демона», сложившаяся у Лермонтова с самого первого очерка и дошедшая неизменной до последнего, — «Печальный демон, дух *изгнанья*» — вызывает недоумение, если задержать на ней свое внимание. Из пушкинского — «дух отрицанья, дух сомненья» — выражения, совершенно понятного и нормального для русского языка, возникает по аналогии нечто странное

---

[1] См.: *Эйхенбаум Б. М.* Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки, с. 60.

и непонятное: «дух *изгнанья»* — что это, дух *изгнанный* или дух *изгоняющий?* Путь к такому сочетанию проложен Подолинским: его выражение «мрачный *дух уединенья»* (поэма «Див и Пери») стоит на границе между Пушкиным и Лермонтовым»[1].

Ср. у Лермонтова в «Ауле Бастунджи»:

> Как *дух изгнанья,* быстро он исчез
> За пеленой волнистого тумана.
>
> *(I, XLII)*

Этот экспрессивный подбор выражений и образов, иногда приводивший к неточности, предметной противоречивости или логической неоправданности словесных сцеплений, вызывал отрицательную оценку у старших современников Лермонтова, воспитанных на пушкинском стиле. Например, барон Розен так критиковал язык Лермонтова, его образы в «Ветке Палестины»:

> Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
> Святыни верный *часовой!*

«Не говоря уже о том, как неверно это уподобление, потому что часовой уже по названию означает стража, сменяемого в короткое время, и, при всей важности в военном смысле, как-то не согласуется с кроткою святостью, придаваемою ветви Ерусалима».

В пьесе «Ребенку» вдруг «мы озадачены странным вопросом ребенку: «Слеза моя ланит твоих не *обожгла-ль?»* Розен видел «пустую, надутую метафору» в таких строках стихотворения «Памяти А. И. Одоевского»:

> Покрытое землей чужих полей,
> Пусть тихо спит оно (сердце друга — *В. В.),*
> как дружба наша
> В *немом кладбище* памяти моей!

«Говорят: *на* кладбище, а не *в* кладбище! Но что за *кладбище памяти? Кладбище сердца* можно бы допустить, потому что, в переносном смысле, можно схоронить друга в своем сердце. Но память есть некая область бессмертия, тихой светлой жизни, среди тревожной смертности: там для нас *живы* наши умершие други! Она ни в каком случае не может быть *кладбищем!* Если мы забываем кого, то это значит, что он выбыл из нашей памяти».

О стихах:

> О, как мне хочется смутить веселость их,
> И дерзко бросить им в глаза *железный* стих,
> Облитый горечью и злостью!..

Розен писал: «...*Железный* стих, *облитый* чем бы то ни было, есть неудачное выражение. Представьте себе злость в виде жидкости: будет желчь! и теперь эта желчь, текущая по железной полосе стиха,— право, не хорошо! Но без этой влаги, очень хорош сам по себе *же-*

[1] *Эйхенбаум Б. М.* Лермонтов как историко-литературная проблема, с. 106.

лезный стих»[1]. Любопытно, что даже Белинский отмечал в стиле некоторых стихотворений Лермонтова не свойственный Пушкину недостаток: «Это иногда неясность образов и неточность в выражении». Например: «Покрытый *ржавчиной презренья*» («Поэт», 1838). Однако наблюдения над эволюцией лермонтовского языка и стиля показывают, что Лермонтов стремится к достижению все большей сжатости, емкости, точности выражения. Например, в стихах на смерть Пушкина («Смерть Поэта») был вычеркнут шаблонно-одический стих «И плачет сирая Россия». Пушкин был сначала назван «добычей ревности и злобы гордеца»: «...можно было подумать, что Дантес ревновал Пушкина; Лермонтов добивался точности: добыча *ревности немой*», но и это не удовлетворило его, и «ревность» стала «глухой»[2].

Этот своеобразный стиль лирического выражения, богатый антитезами, эмоциональными повторениями, перебоями вопросительных и восклицательных интонаций, насыщенный острыми афоризмами и красочными образами, получает свое ритмико-синтаксическое разнообразие от смены и смещения литературно-книжных и разговорных форм речи. Прозаизмы бытовой аффективной речи все глубже и шире внедряются в строй литературного языка, обрастая новыми образными и отвлеченными значениями. Язык Лермонтова обнаруживает бо́льшую свободу от традиций старых литературных стилей, связанных с церковной книжностью, — даже по сравнению с языком Пушкина.

§ 4. СОЦИАЛЬНО-ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЯЗЫКА ЛЕРМОНТОВА

Лермонтовский язык пережил сложную эволюцию: от языка юношеских опытов Лермонтова до языка «Тамбовской казначейши», «Сашки», «Сказки для детей» или стихотворений «Бородино», «Дары Терека», «Спор», «Морская царевна» и др. — дистанция огромного размера. Однако уже в языке ранних произведений Лермонтова бросается в глаза усыхание, убыль церковнославянской стихии. Лермонтов делает дальнейший шаг за Пушкиным по пути освобождения русского языка от пережитков старой церковнокнижной традиции. Даже в ранних стихотворениях Лермонтова гораздо меньше архаизмов церковнославянского типа вроде:

Повсюду смерть и ужас *мещет*...

(Черкесы);

Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных *сел*...

(Предсказание, 1830);

---

[1] *Розен Е. Ф.* О стихотворениях Лермонтова, с. 12.

[2] *Дурылин С. Н.* Как работал Лермонтов, с. 51; см. варианты чернового автографа в «Полном собрании сочинений» М. Ю. Лермонтова, М.—Л., 1936, т. 2, с. 172—173.

Смотрите, *враны* на дубах
Вострепенулись, улетели...

(Кавказский пленник);

Чего бы то ни было земного
Я не *соделаюсь* рабом...

*(К ***, 1830);*

Так *зря* спасителя мученья,
Невинный плакал херувим

(Стансы, 1828)

и др.

Точно так же нечленные (или, по терминологии той эпохи, «усеченные») формы имен прилагательных и причастий, еще нередкие в стихотворениях Лермонтова 1828—1830 гг. (например, «поникши ели» — «Осень», 1828; «дружески обеты» — «Песня», 1829; «в старинны годы» — «Незабудка», 1830 и т. п.), постепенно сокращаются и вымирают.

Вообще в стиле Лермонтова формы живого русского языка решительно вытесняют устарелые церковнославянизмы даже из высоких жанров стихотворной речи.

Гораздо большую роль играла в структуре лермонтовского языка западноевропейская стихия. Семантические формы западноевропейской поэзии являются конструктивным центром стиля ранних стихотворений Лермонтова (до 1836 г.). Сохраняя большое значение в системе многих жанров лермонтовского стиля, западноевропейские (преимущественно французские) элементы постепенно приобретают яркий национальный русский колорит и органически сливаются с живой русской стихией лермонтовского языка. Те конструктивные формы французского языка, которые оказывались в противоречии с особенностями и свойствами живой русской речи, постепенно исчезали из языка Лермонтова. Французская стихия русского литературного языка, укоренившаяся с конца XVIII в., у Лермонтова широко представлена в лексике, фразеологии и синтаксисе, например: «я взял свои меры» (IV, 291[1]); «сделайте мне дружбу» (IV, 270); «он добр для (pour) меня» (IV, 20); «ты не должна иметь тайны для жениха» (III, 196); «я могу через одно пожатье руки превратить тебя в труп» (III, 132); «в первой моей молодости» (IV, 273); «я ее нашел замужем» (III. 332); «я не имел в то время жажды» (I, 159); «всадники поминутно находились принужденными оставлять» (IV, 37); «на постели смерти» (III, 178); «кончить жизнь на соломе» (IV, 9); «как вы нынче в своем здоровье» (III, 338); «вещи делают впечатление на сердце» (III, 168); «ощупать свои способности и честь»; ср. французское tâter (III, 213); «готов на вашу службу» (III, 142, 191)

---

[1] В скобках заключаются ссылки на тома и страницы «Полного собрания сочинений» М. Ю. Лермонтова. СПб., 1910—1913, т. 1—4; ср. также: *Абрамович Д. И.* О языке Лермонтова. В кн.: *Лермонтов М. Ю.* Полн. собр. соч. СПб., 1913, т. 5.

и мн. др. Ср.: «подойдя к одному из отверстий, Юрию показалось» (IV, 77); «окинув взором комнату и все, в ней находящееся, ему стало как-то неловко» (IV, 138):

Приметив юной девы грудь
Судьбой случайной как-нибудь,
Иль взор, исполненный огнем,—
Недвижно сердце было в нем.

(I, 162)

и др. под.

Ср. употребление заимствованных слов вроде: «индижестия» (IV, 335); «куртизанить» (III, 176); «кокетиться» (III, 126); «поменажируй» (III, 136); «фанфарон порока» (III, 346) и др.

Однако и в кругу грамматических и лексических отражений западноевропейских языков Лермонтов не выступает далеко за пределы тех норм литературной речи, которые были укреплены пушкинской реформой [1]. Грамматические формы, противные «духу русского языка», решительно избегаются. Но Лермонтов, так же как и Пушкин, стремился к обогащению семантической системы русского языка образами, понятиями и фразеологическими сочетаниями, выработанными западноевропейской поэзией.

Французские исследователи Мельхиор де-Вогюэ [2], Дюшен [3] отметили отражения в лермонтовском языке образов и фразеологии Шатобриана, Виктора Гюго, О. Барбье, Альфреда де-Виньи, Альфреда де-Мюссе и др.

Например, дважды повторенный Лермонтовым афоризм:

Так храм оставленный — все храм,
Кумир поверженный — все бог!

(Я не люблю тебя, 1830);

ср. стихотворение «Расстались мы; но твой портрет» (1837) восходит к следующей фразе Шатобриана: «Есть алтари, подобные алтарю чести, которые, и заброшенные, требуют жертвы: бог не уничтожился оттого, что храм его пуст».

Ср. у Ламартина в «Le solitaire»:

Ainsi plus le temple est vide,
Plus l'écho sacre retentit [4].

Или у Лермонтова в «Измаил-Бее» — о коне:

---

[1] Ср. у Лермонтова такие выражения, как *пустынная душа* (II, 208); *пустынное лобзанье* (I, 84); *пламенник войны* (I, 214); проколет грудь *раскаяния* нож («К***», 1829); *язвою упрека* («Наполеон», 1829); *дух раскаянья* («Черкешенка», 1829); *удушить голос природы* (III, 178); *являть остатки прежней красоты; являют бледные черты* (II, 396, 410); *театр являет сад* (III, 16); *память являет ужасные тени* (I, 269) и др. под.

[2] См.: Le Roman russe. Paris, 1866, chap. X.

[3] См.: Michel Yourievitch Lermontov. Sa vie et ses oevres, 1910.

[4] Ср. также очень известное сравнение с крокодилом в глубине колодца, встречающееся у Лермонтова в разных контекстах в «Вадиме» и в «Княгине Лиговской» и восходящее к «Атала» Шатобриана.

Твой конь прекрасен; не страшна
Ему утесов крутизна,
Хоть вырос он в краю далеком;
В нем дикость гордая видна,
И лоснится его спина,
Как камень, сглаженный потоком...

(I, XXXII)

Ср. у Виктора Гюго в «Прощании аравитянки»:

Ses pieds fouillent le sol, sa croupe est belle á voir:
Ferme, ronde et luisante, ainsi que un rocher noir
Que polit une onde rapide.

(«Его копыта взрывают землю, его круп прекрасен: сильный, круглый и лоснящийся, как черный утес, который обтачивает быстрая волна».)

Но, обогащая русский литературный язык понятиями и художественными образами, выработанными современной поэту западноевропейской культурой, Лермонтов в то же время освобождает литературные стили от мифологических образов и выражений классицизма, характерных для стародворянской литературы. В ранних стихотворениях Лермонтова еще встречаются в небольшом количестве такие фразы, как: «И Вакха милые дары» («Война», 1829); «болезнь и парка мчались надо мною» («Письмо», 1829):

И влагу дремлющих валов
С могилой тихою Диана осребрила.

(Наполеон, 1829)

и т. п., но вскоре они почти совершенно исчезают.

Таким образом, Лермонтов окончательно порывает связи с литературным языком XVIII в.

Понятно, что поток живой русской разговорной речи широко врывается в стиль Лермонтова с самого начала 30-х годов. Необыкновенно рельефно выступают уже в раннем языке Лермонтова особенности бытового просторечия — словарные, морфологические; употребительны даже такие, например, формы просторечия, которые обычно исключались в 30—40-е годы из грамматической системы литературно-книжного языка, как род. пад. на *-ов* у имен существительных ср. и жен. р.: *стадов* (I, 16); *толпа мадамов* (V, 125); им. пад. мн. ч. ср. р. на *-ы: сердцы, кольцы, вины, знамены, леты, румяны, паникадилы*, и т. п.; формы род. пад. на *-мя* от существительных *имя, время, пламя:* «не знал другого имя» (II, 153); «не имел ни время, ни охоты» (I, 296); частые формы деепричастий на *-чи: пируючи, сбегаючи, скрываючи* и мн. др. под.

Лермонтов вовлекает в систему литературного языка главным образом общегородское просторечие и общенародные формы крестьянского языка. В этом направлении он является непосредственным преемником и продолжателем пушкинской демократической реформы литературной речи. Так же как и Пушкин, Лермонтов ориентируется на общенациональный фонд живой разговорной речи и чуждается областных диалектизмов.

Из профессионально-жаргонной лексики он пользуется только игрецкими, картежными («рутеркой понтирнуть со славой»; «семпелями плохо»; «надо гнуть»; «карта соника была убита» и др.; ср. лексику «Пиковой дамы» Пушкина) и военными (в том числе и кавалерийскими) выражениями («не тянул он ногу в пятку», «кобылу серую собрав» и др.)[1], словарем охотничьего (например, «сосследить зверя», «пропорскать» — «Вадим» и др.) и живописного диалекта (например: «луговина, обведенная лесом, как волшебным *очерком*» — IV, 58; «вокруг нее был какой-то волшебный *очерк*» — III, 331 и др. под.).

§ 5. ЯЗЫК ЛЕРМОНТОВА И НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ

Лермонтов очень рано понял (конечно, не без влияния поэзии Пушкина), каким животворным источником для русской литературы является народная поэзия. В 1830 г. он заносит в свою ученическую тетрадь такую заметку: «Если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская, — я не слыхал сказок народных: в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности»[2]. Однако в самых ранних произведениях Лермонтова, близких по сюжету к темам народной поэзии (например, «Преступник», 1829, «Атаман», 1831), влияние народного языка незаметно. Но в романтической повести «Вадим», в которой речь персонажей, особенно из простого народа, носит яркий отпечаток бытового реализма, широко воспроизводя особенности просторечия и простонародного языка, — чувствуется дыхание стиля народных преданий и разбойничьих песен. Например, слова нищей старухи Вадиму: «Чтобы тебе ходить — спотыкаться, пить — захлебнуться» напоминает формулу пожелания, с которым молодая жена в народной песне обращается к постылому мужу или свекру.

Таким образом, даже в первый период литературной деятельности Лермонтова ощутителен интерес поэта к народному языку и народной поэзии. «Он мог знать народные песни как непосредственно из уст народа, так и из песенников, народный репертуар которых в громадном большинстве примыкал к известному сборнику Чулкова-Новикова, из сборника Кирши Данилова, из журналов. Чаще всего в это время Лермонтов обращается к разбойничьим преданиям и песням»[3].

Лермонтов высоко ценил самобытность русской культуры и русского языка. Он часто говорил А. А. Краевскому: «Мы должны жить своею самобытною жизнию и внести свое самобытное в обще-

---

[1] Ср. в черновой рукописи «Княжны Мери»: «Это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию».

[2] *Лермонтов М. Ю.* Полн. собр. соч. СПб., 1913, т. 4, с. 350—351; ср. в планах Лермонтова неоднократное упоминание о народной песне про татарское иго и запись «Что за пыль пылит».

[3] *Мендельсон Н. М.* Народные мотивы в поэзии Лермонтова. — В кн.: Венок М. Ю. Лермонтову. М.—Пг., 1914, с. 175.

человеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французским?»[1] Понятно, что эта любовь к родине и родному народу сочеталась у Лермонтова с тщательным, любовным изучением национальной старины и народной поэзии. Наиболее ярко это глубокое проникновение Лермонтова в дух народной поэзии сказалось в языке и стиле «Песни про купца Калашникова», в которой отразились поэтические приемы старины, разбойничьих и бытовых песен.

В языке «Песни про купца Калашникова» с необыкновенной глубиной и художественной силой воссоздан стиль народной старины. Уже фамилия *Калашников* ведет к образу бойца из народных песен о Мастрюке. Например:

У нас есть бойцы,
Удалые молодцы,
Они люди Калашниковы,
Они дети Заложниковы[2].

Достаточно привести несколько фразовых параллелей.

У Лермонтова:

Не шутку шутить, не людей смешить
К тебе вышел я теперь, басурманский сын,
Вышел я на страшный бой, на последний бой!

Ср. в старине (из сборника П. Киреевского, VI, 185):

Ох ты гой еси, крестьянский сын!
Выходи скорей на борьбу со мной,
На борьбу со мной последнюю,
Что последнюю драку смертную.

Даже такая мелкая подробность, что Калашников «боевые рукавицы натягивает», находит соответствие в старинах о Мастрюке. Например, в одной калужской песне говорится об удалых молодцах Калашниковых, что они

...По торгу похаживают,
Рукавицы натягивают[3].

Но в языке «Песни про купца Калашникова» нет чисто механического соединения разноцветных лоскутков, выхваченных там и сям из народных песен. Эта песня представляет собой самобытное отражение и воспроизведение гениальным поэтом стиля народной поэзии, ее мотивов, образов и экспрессивных красок, типичных приемов песенного народного творчества (ее эпически-детальных описаний, ее игры синонимов, тавтологий, отрицательных сравнений, ретардаций и пр.). В. Г. Белинский писал об этом произведении: «Поэтическою душою своею Лермонтов умел так хорошо понять, так чудно уловить и дух и форму, и язык народной русской поэзии, что, читая «Песню» его, невольно увлекаешься ею как произведением живым, исполнен-

---

[1] Цит. по: *Висковатов П. А.* М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, с. 168.
[2] См.: *Мендельсон Н. М.* Народные мотивы в поэзии Лермонтова, с. 184.
[3] См. там же, с. 188.

ным неподражаемого простодушия, неподдельной натуры»[1]. «Нельзя довольно надивиться тому, как искусно поэт умел перенять все приемы русского песенника. Очень немногие стихи изменяют стилю народному. Нельзя притом не сказать, что это не набор выражений из Кирши, не подделка, не рабское подражание, — нет, это создание в духе и стиле наших древних эпических песен»[2].

«В последние годы жизни Лермонтова на Кавказе, — писал Н. М. Мендельсон, — его общение с миром народной поэзии не оборвалось: вращаясь среди казаков, верных хранителей старой песни, поэт вновь прикоснулся к чистому источнику народной поэзии и создал «Казачью колыбельную песню» (1840) и «Дары Терека» (1839)»[3]. Однако не подлежит сомнению, что как в широте охвата фольклорного материала, так и в разнообразии и простоте художественного воссоздания народно-поэтического стиля Лермонтов далеко уступал Пушкину.

§ 6. РОСТ РЕАЛИСТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ЯЗЫКЕ ЛЕРМОНТОВА

Растущий интерес Лермонтова к стилям народной поэзии, постепенное расширение живой русской разговорно-бытовой струи в его языке, усиливающаяся тенденция к широкому воспроизведению и отражению современной действительности, к изображению психологии своего поколения и героев своего времени — были в творчестве Лермонтова органически связаны с формированием нового стиля психологического реализма и с соответствующим преобразованием романтической поэтики.

Представляют необыкновенный историко-лингвистический интерес наблюдения над перерождением романтического стиля в реалистический в творчестве Лермонтова. Так, в 1830—1831 гг. Лермонтов в стихотворении «Поле Бородина» заставляет простого солдата произносить романтические тирады во французском духе, иногда с примесью одической архаики. Живая русская речь пробивается слабо через толщу книжной риторики. Простонародной струи совсем не видно. Например:

Брат, слушай песню непогоды:
Она дика, как песнь свободы.

Что Чесма, Рымник и Полтава?
Я вспомня леденею весь,
Там души волновала слава,
Отчаяние было здесь.

Душа от мщения тряслася,
И пуля смерти понеслася,
Из моего ружья.

---

[1] Отечественные записки, 1841, № 2.
[2] *Шевырев С. П.* О стихотворениях Лермонтова, с. 288.
[3] *Мендельсон Н. М.* Народные мотивы в поэзии Лермонтова, с. 193.

Я спорил о могильной сени...
На труп застывший, как на ложе,
Я голову склонил.

...отчизны в роковую ночь.

Однако же в преданьях славы
Все громче Рымника, Полтавы
    Гремит Бородино.
Скорей обманет глас пророчий,
Скорей небес погаснут очи,
Чем в памяти сынов полночи
    Изгладится оно.

В 1837 г. Лермонтов пишет свое знаменитое «Бородино», в котором национально-реалистический стиль поражает своею художественной правдой и простотой. Сюда перенесены некоторые строки из «Поля Бородина» и в новом окружении получили яркий отпечаток народно-поэтического стиля. В стихотворении «Бородино» отсутствуют декоративные штампы романтического стиля. Солдатское просторечие и поговорочный простонародный язык (ср. «у наших ушки на макушке»; «французы тут как тут»; «постой-ка, брат, мусью» и т. п.), не выделяясь грубо, в то же время придают рассказу старого солдата («дяди») яркий колорит народно-эпического повествования. Белинский писал о языке «Бородина»: «В каждом слове вы слышите солдата, язык которого, не переставая быть грубо простодушным, в то же время благороден, силен и полон поэзии».

Тут простонародные и книжно-литературные образы и выражения слиты в законченное художественное единство. Например:

Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
    Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
И *вот на поле грозной сечи*
    Ночная пала тень.

Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
    В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
    Гора *кровавых тел*[1].

Ср. также:

Земля тряслась — как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
    Слились в протяжный вой...

---

[1] Ср. в «Поле Бородина»:
Шесть раз мы уступали поле
Врагу и брали у него.
Носились знамена, как тени,
Я спорил о могильной сени,
    В дыму огонь блестел,
На пушки конница летала...

Необходимо привести несколько параллелей между языком «Поля Бородина» и «Бородино»:

И вождь сказал перед полками...
(Поле Бородина);

В «Бородине»:

Полковник наш рожден был хватом...
И молвил он, сверкнув очами...

В «Поле Бородина»:

Живые с мертвыми сравнялись;
И ночь холодная пришла,
И тех, которые остались,
Густою тьмою развела.
И батареи замолчали,
И барабаны застучали,
Противник отступил...

в «Бородине»:

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять...
Вот затрещали барабаны —
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать [1].

Очень хорошо заметил о стиле рассказа старого солдата в «Бородине» С. Дурылин: «Весь его рассказ — не о себе, а о других; он тонет в единой солдатской массе: «на наш редут», «перед нами», «наш бой», «наши груди», «считать мы стали раны» — с глубоким реализмом Лермонтов рисует бой, а не бойцов и не бойца, изображает общее, а не частное. Именно так, вслед за ним, станет рисовать войну Толстой: его «Севастопольские рассказы» и «Война и мир» с их психологией и динамикой воюющих масс — все родилось из «Бородина» и «Валерика»[2].

Не менее сложен и интересен процесс переработки романтического стиля цикла стихотворений, связанных с «Желанием», в реалистический стиль «Узника»[3].

Ср.:

Я пущусь по дикой степи
И надменно сброшу я
Образованности цепи
И вериги бытия.

и в «Узнике»:

Я красавицу младую
Прежде сладко поцелую,

[1] Ср.: *Владимиров П. В* Исторические и народно-бытовые сюжеты в поэзии М. Ю. Лермонтова. Киев, 1892, с. 26—28.

[2] *Дурылин С. Н.* Как работал Лермонтов, с. 31—32; ср.: *Семенов Л. П.* Лермонтов и Толстой. М., 1914.

[3] См.: *Дурылин С. Н.* Как работал Лермонтов, с. 33—36.

На коня потом вскочу,
В степь, как ветер, улечу.

Лермонтов ищет не только живых разговорных народно-поэтических красок, но и бытовых. реалистических ситуаций и деталей взамен ярко декоративных картин, написанных в духе романтической народности.

Ср. в «Соседке» первоначальный конец стихотворения:

У отца ты украдь мне ключи,
Часовых разойтись подучи,
А для тех, что у двери стоят,
Я сберег наточенный булат...

и стиль и образы последней редакции:

У отца ты ключи мне украдешь,
Сторожей за пирушку усадишь,
А уж с тем, что поставлен к дверям,
Постараюсь я справиться сам.

Избери только ночь потемнея,
Да отцу дай вина похмельнея,
Да повесь, чтобы ведать я мог,
На окно полосатый платок.

В связи с этим обостряется в повествовательном стиле Лермонтова тяготение к широким и обобщенным реалистическим образам, облеченным в формы живой разговорной речи, вместо многословных, хотя и детализованных описаний. Например, в языке «Валерика» было расплывчато первоначальное описание начинающегося боя:

Вот жарче, жарче... Крик!.. Глядим:
Уж тащат одного, — за ним
Других... и много... ружья носят
И кличут громко лекарей.

В окончательном тексте — простой, сжатый и яркий образ, нарисованный теми же красками живой разговорной речи:

Вот тащат за ноги людей
И кличут громко лекарей [1].

Во второй период литературной деятельности Лермонтова «чрезвычайная образность экзотизма уравновесилась простотою и меткостью реализма и сдобрилась народным элементом» (ср. язык «Сказки для детей», «Валерика»). «Этот стиль так идеально прост, что мог бы казаться прозаическим, если бы не был так насыщен чувством:

Во-первых, потому, что много
И долго, долго вас любил» [2].

Характерно, что в это время Лермонтов увлекается национально-русским стилем «Евгения Онегина» и прибегает к народному басенному языку Крылова.

Например, в «Тамбовской казначейше»:

---

[1] *Лермонтов М. Ю.* Полн. собр. соч. М.—Л., 1936, с. 93 и 724.
[2] *Фишер В. М.* Поэтика Лермонтова, с. 214.

...Ее в охапку
Схватив,— с добычей дорогой,
Забыв расчеты, саблю, шапку,
Улан отправился домой.

(LII)

Ср. у Крылова в «Демьяновой ухе»:

Схватя в охапку
Кушак и шапку,
Скорей без памяти домой...[1]

Вообще в стиле «Тамбовской казначейши» много острых афоризмов, крылатых выражений, двумя-тремя штрихами рисующих яркие реалистические образы. Таковы вошедшие в широкий обиход крылатые фразы: «времен новейших «Митрофан»; «идеал девиц, одно из славных русских лиц»; «весь спрятан в галстук, фрак до пят, дискант, усы и мутный взгляд».

Таким образом, Лермонтов преодолевает романтический стиль, декларируя свой отход от романтизма в таких стихах:

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.

Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык*[1].

Но особенно выразительны, сложны и значительны были реалистические краски в прозаическом стиле Лермонтова.

§ 7. ЯЗЫК ЛЕРМОНТОВСКОЙ ПРОЗЫ

В конце 20-х — в начале 30-х годов обозначился перелом в культуре художественного слова: с необычайной остротой встал вопрос о языке и стиле прозы. Пушкин, сначала призывавший Вяземского и Бестужева-Марлинского к работе над языком публицистической и художественной прозы, к 30-м годам сам перешел к прозаическим жанрам. Рост журнальной прессы и ее значения был неразрывно связан с формированием разных стилей прозы, которые и образуют ядро новой системы русского литературного языка. Пушкин, Бестужев-Марлинский, Даль, Загоскин*[1], Вельтман*[2], Погорельский*[3], Лажечников*[4], Н. Павлов*[5], Н. Полевой*[6], В. Ф. Одоевский, Сенковский*[7], Гоголь напряженно разрабатывают систему прозаической речи. Понятно, что Лермонтов не мог отстраниться от участия в этом национальном деле.

Гоголь особенно высоко ценил лермонтовскую прозу. По словам Гоголя, «никто еще не писал у нас такою правильною и благоуханною прозою. Тут видно больше углубления в действительность жизни — готовился будущий великий живописец русского быта»[2]. Еще

---

[1] См.: *Семенов Л. П.* М. Ю. Лермонтов. Статьи и заметки, с. 254.
[2] *Гоголь Н. В.* В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность? — В кн.: *Гоголь Н. В.* Выбранные места из переписки с друзьями. СПб., 1847, с. 258.

больший восторг перед стилем лермонтовской прозы испытывал Чехов. «Я не знаю, — говорил он, — языка лучше, чем у Лермонтова. Я бы так сделал: взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах, — по предложениям, по частям предложения... Так бы и учился писать»[1].

Однако Лермонтов не сразу выработал этот строгий, ясный и сжатый стиль реалистической прозы. Первоначальные прозаические опыты Лермонтова примыкают к традиции той романтической прозы, которая по образам, фразеологии, а отчасти и по синтаксису сближалась со стихотворным языком.

Так, в повести «Вадим» эмоционально-риторический стиль авторского повествования и речей возвышенных героев (в отличие от тривиально-бытовых) близок по образам, фразеологии, синтаксису к языку романтического стиха. Например: «Вадим имел несчастную душу, над которой иногда единая мысль могла приобрести неограниченную власть». Ср. в «Литвинке»:

В печальном только сердце может страсть
Иметь неограниченную власть.

Из речи Юрия Ольге:

Мир без тебя, что такое?.. Храм без божества..,

Ср. в лирическом стиле Лермонтова:

Что без нее земля и рай?
Пустые, звонкие слова,
Блестящий храм без божества.

(Исповедь, 1830[2]*)*

Ср. также: «И перед ним начал развиваться длинный свиток воспоминаний».

Ср. у Пушкина:

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток...

(Воспоминание)

Неопределенна и цветиста фразеология повествовательного стиля: «в глазах блистала целая будущность»; «этот взор был остановившаяся молния»; «и адская радость вспыхнула на бледном лице»; «как будто свинцовая печать отяготела на его веках»; «молодая девушка... это был ангел, изгнанный из рая за то, что слишком сожалел о человечестве»; «гений блистал на челе его, — и глаза, если б остановились в эту минуту на человеке, то произвели бы действие глаз василиска»; «жизнь ее встала перед ней, как остов из гроба своего»; «в книге судьбы его было написано, что волшебная цепь скует до гроба его существование с участью этой женщины»; «и он сделал шаг, чтобы выйти, кидая на нее взор свинцовый, отчаянный взор, один из тех, перед ко-

---

[1] Русская мысль, 1911, т. 10, с. 46*8; ср.: *Абрамович Д. И.* О языке Лермонтова.— В кн.: *Лермонтов М. Ю.* Полн. собр. соч. СПб., 1913, т. 5, с. 182.

[2] Ср. также: *Лермонтов М. Ю.* Полн. собр. соч. СПб., 1910, т. 2, с. 138, 369, 408.

торыми, кажется, стены должны бы были рушиться»; «и глубокая, единственная дума, подобно коршуну Прометея, пробуждала и терзала его сердце»; «и презрение к самому себе, горькое презрение обвилось, как змея, вокруг его сердца» и т. п.

Характерны изысканно-романтические сравнения и мелодраматические описания чувств в духе и стиле Марлинского:

«Вадим дико захохотал и, стараясь умолкнуть, укусил нижнюю губу свою так крепко, что кровь потекла; он похож был в это мгновенье на вампира, глядящего на издыхающую жертву».

«Его сердце, закаленное противу всех земных несчастий, в эту минуту сильно забилось, как орел в железной клетке при виде кровавой пищи»[1].

«И ныне сердце Юрия всякий раз при мысли об Ольге, как трескучий факел, окропленный водою, с усилием и болью разгоралось; неровно, порывисто оно билось в груди его, как ягненок под ножом жертвоприносителя».

«В эту минуту тревожная душа его, обнимая все минувшее, была подобна преступнику, осужденному испанской инквизицией упасть в колючие объятия мадонны долорозы (madonna dolorosa), этого искаженного, богохульного, страшного изображения святейшей святыни...» и т. п.

Но уже в этой повести «Вадим» риторический стиль повествования смешивается со стилем реалистического изображения бытовых сцен. Персонажи из простонародья имеют каждый свой склад речи. Например, в сцене пугачевской расправы с приказчиком речь казака Орленки, речь приказчика и язык мужиков реалистически дифференцированы. Вместе с тем нередко язык описаний, отражая жизнь во всей ее полноте и освещая ее с точки зрения свободолюбивой, бунтарской личности автора, приобретает яркую бытовую характерность. Например: «Дом Бориса Петровича стоял на берегу Суры, на высокой горе, кончающейся к реке обрывом глинистого цвета; кругом двора и вдоль по берегу построены избы, дымные, черные, наклоненные, вытягивающиеся в две линии по краям дороги, как нищие, кланяющиеся прохожим» (V).

Или: «Борис Петрович с горя побил двух охотников, выпил полграфина водки и лег спать в избе; — на дворе все было живо и беспокойно: собаки, разделенные по сворам, лакали в длинных корытах, — лошади валялись на соломе, и бедные всадники поминутно находились принужденными оставлять котел с кашей, чтобы нагайками подымать их» и т. п. (XIV).

Любопытно такое же стилистическое раздвоение и в языке ранних драм Лермонтова, находящее параллели в построении драм Шиллера, например в «Коварстве и любви». Патетический, мелодрамати-

---

[1] Ср. то же сравнение, но в более естественном и реалистическом обличье, в лирическом стиле «Бэлы»: «Метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. «И ты, изгнанница,— думал я,— плачешь о своих широких, раздольных степях! Там есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клетки».

ческий стиль трагических героев в пьесах Лермонтова тесно связан с художественной системой его романтического стихового языка. Например, в речи Юрия (Menschen und Leidenschaften): «О смерти моей, верно, больше будут радоваться, нежели о рождении моем».

Ср. в стихотворении «Одиночество» (1830):

Никто о том не покрушится,
И будут (я уверен в том)
О смерти больше веселиться,
Чем о рождении моем...

В драме «Странный человек»: «Женщина!... ты колеблешься? Послушай: если б иссохшая от голода собака приползла к твоим ногам с жалобным визгом и движеньями, изъявляющими жестокие муки, и у тебя бы был хлеб, ужели ты не отдала бы ей, прочитав голодную смерть во впалом взоре, хотя бы этот кусок хлеба назначен был совсем для другого употребления? так я прошу у тебя одного слова любви!..»

Ср. стихотворение «Нищий» (1830):

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!

Б. М. Эйхенбаум правильно отмечает, что тяготение Лермонтова к речевой патетике приводит поэта к стиховой драме, где риторика выглядит не так мелодраматично, как в прозе. Ср. письмо A. de Vigny по поводу постановки «Отелло» в его переводе на французский язык: «Проза, когда в нее переводят эпические места, представляет важный недостаток, слишком явный на сцене: она кажется надутою, высокопарною, мелодрамною, между тем, как стих, более эластичный, гнется на все формы; не удивляемся и тому, когда он летит, ибо когда он идет, мы чувствуем, что у него есть крылья»[1].

Вместе с тем язык бытовых сцен в ранних драмах Лермонтова поражает бытовой грубостью и реалистической, иногда даже натуралистической, обнаженностью.

Черты реалистического стиля постепенно растут и усиливаются в лермонтовской прозе. Уже в смешанном языке неоконченного романа «Княгиня Лиговская» (1836—1837) намечаются своеобразные особенности сжатого и образного, точного и живого стиля «Героя нашего времени» и отрывков из неоконченных повестей о Лугине и Арбенине.

Точный, живой, сжатый, образный и местами отвлеченный язык «Героя нашего времени» является высшим достижением Лермонтова в области прозы. Эпитет глубоко проникает в сущность предмета, становясь его характеристическим определением. В этом отношении

---

[1] Московский телеграф, 1830, № 24, с. 452.

очень симптоматичны лермонтовские поправки: Печорин замечает: «...или мне просто не удавалось встретить женщину с *упорным* характером?» — прежде было в тексте «Княжны Мери»: *«упрямым»*.

«Дверь отворилась, *маленькая* ручка схватила мою руку»; сначала было *«жаркая* рука», — и в этих словах не заключалось намека на женщину.

В «Фаталисте» вместо короткого и выразительного афоризма: «Ведь хуже смерти ничего не случится, — а смерти не минуешь» в черновом автографе было такое длинное романтико-философское рассуждение с оттенком декламационного стиля: «Весело испытывать судьбу, когда знаешь, что она ничего не может дать хуже смерти, и что эта смерть неизбежна, и что существование каждого из нас, исполненное страдания или радостей, темно и незаметно в этом безбрежном котле, называемом природой, где кипят [умирают], исчезают и возрождаются столько разнородных жизней».

Так же старательно и упорно Лермонтов работает над сравнениями. Так, в описании нового офицерского мундира Грушницкого первоначально фигурировало такое сравнение: «эполеты неимоверной величины *подобились двум котлетам*». Сравнение — точное, но безотносительное к личности влюбленного прапорщика; поэт заменил его другим: «эполеты... были *загнуты кверху в виде крылышек амура*». После блуждания по степи в погоне за Верой Печорин, измученный душой и телом. *«заснул богатырским сном»*. В чистовой рукописи Лермонтов переправил — *«заснул сном Наполеона после Ватерлоо»*: безразличный, банальный, «богатырский сон» сменился сном после поражения, но не простого поражения, а перенесенного человеком силы и воли, которым увлекалось как героем все поколение Печорина вместе со своими поэтами. Сравнение исходит из самого образа Печорина [1].

Лермонтов приводит в равновесие лирическую и повествовательно-воспроизводящую стихии прозаического языка. В сответствии с этим в языке Лермонтова нет такого стилистического преобладания глагола и глагольных конструкций, как в языке Пушкина. Роль определений (имен прилагательных и наречий) гораздо более значительна в прозе Лермонтова, чем у Пушкина. Живое, быстрое повествование, основанное на глаголах, в прозаическом стиле Лермонтова нередко сменяется лирическими медитациями, в которых выступают (хотя и в очень осторожном и ограниченном пользовании) характерные семантические особенности, идущие из стихового языка Лермонтова.

Например, с одной стороны, в «Фаталисте»: «Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху: дыхание у всех остановилось, все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно: в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок... осечка!»

И с другой стороны, там же:

«Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц,

---

[1] См.: *Дурылин С. Н.* Как работал Лермонтов, с. 115—118.

полный и красный, как зарево пожара, начал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? Эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником» и т. п.

Таким образом, в прозаическом стиле Лермонтова найдено равновесие между всеми основными грамматическими категориями.

В прозе Лермонтова нет той архаической окраски, которая характерна для пушкинского языка. Лермонтовская проза последнего периода освобождена от всякого груза церковнославянизмов и канцеляризмов (ср., например, отсутствие в «Герое нашего времени» таких союзов, как *дабы*, *не токмо*, *но и*... и т. п., употребительных в пушкинской прозе). «Язык в «Герое нашего времени», — писал современник поэта, — чуть ли не выше языка всех прежних и новых повестей, рассказов и романов»[1].

Белинский, выписав предисловие из «Героя нашего времени», восторженно комментирует: «Какая точность и определенность в каждом слове, как на месте и как незаменимо другим каждое слово! Какая сжатость, краткость и вместе с тем многозначительность! Читая эти строки, читаешь и между строками, понимая ясно все сказанное автором, понимаешь еще и то, чего не хотел говорить, опасаясь быть многоречивым. Как образны и оригинальны его фразы: каждая из них годится быть эпиграфом к большому сочинению»[2].

Вместе с тем в «Герое нашего времени» Лермонтов, широко вовлекая в строй повествования живую разговорную русскую речь, бытовое просторечие, делает их характеристическим фундаментом национально-реалистического стиля, связывая наиболее яркие проявления их с образом Максима Максимыча. «Лермонтов поручает Максиму Максимычу вытравлять в романе пятна романтизма и выспренности... В «Бэле» рассказана романтическая история, которой впору бы уместиться в романтическую поэму с черкесами и русским офицером на манер «Измаила-Бея», но Лермонтов дважды принял меры к тому, чтобы история прозвучала с предельной правдивостью и простотой: она извлечена из записок обыкновенного офицера, а в записки вписана со слов еще более обыкновенного армейского капитана; пропущенная сквозь призму изустного, незатейливого, бытового сказа Максима Максимыча, романическая история обошлась без малейшей мишуры и фальши»[3].

---

[1] *Сушков Н. В.* Московский университетский благородный пансион. М., 1858, с. 86; ср.: *Абрамович Д. И.* О языке Лермонтова.— В кн.: *Лермонтов М. Ю.* Полн. собр. соч. СПб., 1913, т. 5.

[2] *Белинский В. Г.* Герой нашего времени.— Отечественные записки, 1841, т. 18, № 9.

[3] *Дурылин С. Н.* Как работал Лермонтов, с. 108—109.

В. Г. Белинский так характеризовал живую национально-характеристическую струю в стиле «Героя нашего времени», связанную с образом Максима Максимыча: «Не знаем, чему здесь более удивляться: тому ли, что поэт, заставив Максима Максимыча быть только свидетелем рассказываемого им события, так тесно слил его личность с этим событием, как будто бы сам Максим Максимыч был его героем; или тому, что он сумел так поэтически, так глубоко взглянуть на событие глазами Максима Максимыча и рассказать это событие языком простым, грубым, но всегда живописным, всегда трогательным и потрясающим даже в самом комизме своем?»[1].

Например:

«Он отвернулся и протянул ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо: и мне стало жаль — такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал — и сказать ли вам? я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, бог его знает! Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. — Поверите ли? я, стоя за дверью, также заплакал, то есть, знаете, не то чтоб заплакал, а так — глупость!..» («Бэла»).

Но и стиль «Журнала Печорина», повестей «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист» пропитан живой стихией русского общенародного языка. Тут нет ни архаических церковнославянизмов, ни противных духу русского языка галлицизмов. «Книжность» растворяется в разговорном стиле литературного рассказа. Слова, выражения и образы сконцентрированы и стеснены до предела, оставляя простор мысли и чувству.

Например, «Поздно вечером, т. е. часов в одиннадцать, я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко; месяц подымался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрипом ногайской арбы и заунывным татарским припевом. Я сел на скамью и задумался» («Княжна Мери»).

Тут — ни одного лишнего или устарелого слова. Синтаксическая структура прозрачна. Предложения сжаты, лаконичны. Категории имен, глаголов и наречий находятся в гармонических пропорциях. «Несколько строк — и какая полная, всеобъемлющая картина вечера! Словам тесно, но живописи и музыке просторно. Первая половина описания построена на зрительных впечатлениях вечера; им на смену выступают слуховые впечатления вечера... С проникновенным реализмом — и вместе с тончайшим лиризмом — подмечает Лермонтов эту смену впечатлений и из нее сплетает картину и вместе симфонию ве-

---

[1] *Белинский В. Г.* Герой нашего времени. — Отечественные записки, 1840, № 6 и 7.

чера, опираясь на прекрасную ясность малейшей черты, на мелодичную точность любого звука. Это — проза поэта, умеющего кристаллизовать чувство, мысль, образ в емкое, прозрачное, как кристалл, слово; но это — проза реалиста, тонкого психолога и безошибочного наблюдателя людей и вещей. Этот отрывок объективно есть совершеннейшее изображение теплой южной ночи, но он же, в ряду страниц психологического романа, дает тонкую зарисовку субъективных переживаний Печорина, без которых был бы не полон его образ»[1].

§ 8. ЗНАЧЕНИЕ ЛЕРМОНТОВА В ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

В истории русского литературного языка значение языка Лермонтова очень велико. Лермонтов подготовляет путь не только Некрасову, но и Тургеневу, Л. Толстому и Достоевскому. В языке Лермонтова была окончательно и бесповоротно преодолена и отвергнута традиция литературных стилей XVIII в.

Несколько суммарна, в деталях не оправдана фактами, особенно в применении к раннему языку Лермонтова, но в общем справедлива оценка языка Лермонтова, сделанная Вл. Фишером в статье «Поэтика Лермонтова»: «Он почти совсем изгнал из своего языка мифологию... У него вы не встретите ни *сих*, ни *оных*, ни всяких архаизмов, которых еще так много у Баратынского. Он сам осуществлял свой завет:

Когда же на Руси бесплодной,
Расставшись с ложной мишурой,
Мысль обретет язык простой
И страсти — голос благородный?

Простой язык мысли и благородный голос страстей делают прозу Лермонтова несравненной и непревзойденной доныне»[2].

Лермонтов пускает в широкий демократический оборот лучшие достижения романтической культуры художественного слова, очистив романтический стиль от крайностей имажинизма и от бессодержательных украшений романтической фразеологии. Лермонтов осуществляет тот национальный синтез повествовательного и «метафизического», отвлеченно-книжного языка, к которому стремился Пушкин. Лермонтов углубляет семантическую систему литературного языка, создав новые формы сжатого и образного выражения мыслей и сложных чувств.

В лермонтовском языке художественная сила и выразительность сочетаются с предельной смысловой глубиной. Идейная содержательность настолько рельефно выступала даже в стиховом стиле Лермонтова, что Белинский заявил: «Для Лермонтова стих был только средством для выражения его идей, глубоких и вместе простых своею беспощадною истиною»[3].

---

[1] *Дурылин С. Н.* Как работал Лермонтов, с. 118.
[2] *Фишер В. М.* Поэтика Лермонтова, с. 215.
[3] Отечественные записки, 1843, № 2.

В письме к В. П. Боткину Белинский, может быть несколько преувеличенно, писал об идейном богатстве лермонтовского стиля: «Лермонтов далеко уступит Пушкину в художественности и виртуозности, в стихе музыкальном и упруго-гибком... но содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественной натуры, исполинский взмах, демонский полет... все это заставляет думать, что мы лишились в Лермонтове поэта, который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина»[1]. Аналитический стиль изображения чувства был создан Лермонтовым и затем был углублен в разных направлениях Тургеневым, Л. Толстым и Достоевским.

В стиле Лермонтова афористическая сжатость и острота языка достигают высшей степени. В этом отношении язык Лермонтова несравнимо превосходит афористический стиль Вяземского или Баратынского.

Еще Шевырев заметил: «Стихотворения: «Не верь себе», «1 января» и «Дума» завострены на конце мыслью и сравнением, например:

Как нарумяненный трагический актер,
Махающий мечом картонным.

Или:

И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью.

Или:

Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Эта манера напоминает обороты Баратынского, который в ранних своих стихотворениях прекрасно выразил на языке нашем то, что у французов называется pointe и чему нет соответственного слова в языке русском. При этом невольно приходит на ум то славное *вострие* (если нам позволят это выражение), которым заключается одно из лучших стихотворений Баратынского. Вспомним, как он говорит о поэте, поющем притворную грусть, что он:

Подобен нищей развращенной,
Просящей лепты незаконной
С чужим младенцем на руках»[2].

Афористический стиль Пушкина приобретает у Лермонтова психологическую глубину, романтическую красочность и аналитическую расчлененность отвлеченного изложения.

Язык Лермонтова оказывает влияние не только на стили художественной литературы, но и — вместе с языком Гоголя — на стили журнально-публицистической прозы, которые начинают с 40-х годов занимать центральное место в системе русского литературного языка*[1].

---

[1] *Белинский В. Г.* Письма. Пб., 1914, т. 2, с. 284.
[2] *Шевырев С. П.* Стихотворения Лермонтова, с. 533—534.

VIII. Борьба и взаимодействие разных литературных стилей в 30—40-е годы XIX в. Рост литературного значения разночинско-демократических стилей

§ 1. РАЗЛИЧИЯ В ФОРМАХ СЛОВЕСНОГО ВЫРАЖЕНИЯ И НОРМАХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ВКУСА МЕЖДУ ВЫСШИМ ОБЩЕСТВОМ И РАЗНОЧИННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ 30—40-х ГОДОВ

В 30—40-е годы «светские» стили русского литературного языка, реформированные Карамзиным и его продолжателями, теряют господствующее положение. Некоторые же из них подвергаются сложным и разнородным (в зависимости от социально-групповых подразделений общества) процессам изменений, приспособляясь к языковым нормам и вкусам разных социальных слоев, ассимилируясь со стилями их общественно-бытовой устной и письменной речи. В 1828 г. Орест Сомов*[1] констатировал стандартизацию поэтического языка — при отсутствии твердых норм прозаического выражения: «Для стихов у нас уже составился какой-то язык условный, в котором придуманы обороты и даже подобраны многие выражения, принятые или не принятые здравым вкусом. Как бы ни было, молодые, малоизвестные и вовсе неизвестные наши стихотворцы ловят их на лету и списывают у старших и известнейших, и из всего этого составляют как бы ходячий словарь запасных слов, оборотов и пр.; а из готового запаса легче брать, нежели приискивать и придумывать самому. То же можно применить и к выбору предметов: и здесь также есть свои данные». Сомов далее проводит аналогию между стиховой культурой и культом французского языка в высшем светском обществе: «Сие явление в литературном нашем мире легче объяснится через сравнение с тем, что мы ежедневно видим в нашем светском быту. Многие из наших единоземцев, даже из людей рассудительных и, положим, в равной мере знающих русский и французский языки, охотнее и свободнее говорят и пишут по-французски, нежели по-русски, потому только, что во французском языке все придумано, все готово: и приветствия, и фразы, и обороты речи; ни над чем не нужно самому ломать голову. Это средство изъясняться свободно, приятно и без дальнего труда

для ума нравится лени и в некотором смысле даже льстит самолюбию»[1]. Однако стилистические каноны, выработанные старой литературной традицией, разрушаются. Стихи уступают свою руководящую роль прозаическим жанрам. Соотношение социально-групповых диалектов в системе литературного языка меняется. Социально-диалектальной базой литературной речи постепенно становятся разночинно-интеллигентские и вообще демократические стили общественно-бытового языка. Их экспрессия, их демократический способ выражения, иногда даже при внешнем стремлении к цветистой книжности, отпугивают дворян старой формации. И. И. Дмитриев, сподвижник Карамзина, называет новые формы литературной речи «площадными». Он, с одной стороны, отмечает продвижение заимствований и европеизмов из прежних литературных стилей в массы, а с другой — вульгаризацию и демократизацию языка литературы. «Остановите порчу отечественного языка... — взывает он к В. А. Жуковскому (в письме от 13 марта 1835 г.), — у кого теперь перенимать его нашим детям. Научатся ли ему у семинаристов или в лакейской и девичьей. Я право иногда боюсь, чтобы мужики не заговорили по-французски, а мы *по-ихному*. Да мне уже удалось на улице подслушать пьяного каменщика, приветствовавшего товарища: «*Бонжур, мусье*», а в гостиной крестьянку-кормилицу: она, поднося к ее сиятельству двухлетнюю Додо или Коко, толкала ее в затылочек и повторяла: «Скажи, матушка, мерси, мерси»[2]. В письме к П. П. Свиньину (от 11 февраля 1834 г.) И. И. Дмитриев отмечает в языке «Библиотеки для чтения» «пошлые, неправильные речения, подслушанные на биваках, на рынках и в лабазах». Ср. в письме И. И. Дмитриева к Жуковскому от 16 сентября 1836 г.: «Что же такое народность, по мнению наших молодых учителей? Писать так, как говорят наши мужики на Сенной и в харчевнях»[3]. Племянник И. И. Дмитриева М. А. Дмитриев жалуется на утрату «благородства слова» в литературном языке 40—50-х годов, противопоставляя этот язык «правильному и чистому» карамзинскому слогу. «Ни один из тогдашних писателей не писал писем языком лакейским; ни один журналист не вставил бы в свою фразу: *изволите видеть*. Чувство вкуса предупредило бы его, что такими любезностями и такими поговорками не говорят в хорошем обществе. Ни один из них не писал, как пишут нынче: *взойти в дверь* и *войти на лестницу*. Ни один не сказал бы: *не хватало на это*, а сказал бы: *не достало на это*. А нынче так пишут даже дамы»[4]. Тот же М. А. Дмитриев отмечает своеобразие экспрессии и способа выражения в новом литературном слоге, в «нынешнем арлекинском языке»: «Большая *популярность*, даже, чтобы выразиться совсем по-нынешнему, скажу: *огромная популярность*, и прибавлю в доказательство: это *факт*. После этого слова, кажется, как не поверить?»*2.

И. И. Дмитриев в приложении к своим мемуарам «Взгляд на мою

---

[1] *Сомов О. М.* Обзор российской словесности в 1827 г. — Северные цветы на 1828 год, с. 79—80.

[2] *Дмитриев И. И.* Соч. СПб., 1895, т. 2, с. 315—316.

[3] Там же, с. 325.

[4] *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, с. 94.

жизнь» так характеризует «простонародный, или хватский» язык разночинно-демократической литературы, направляя свои выпады главным образом против «Московского телеграфа» и «Библиотеки для чтения»: «*Требования века, дух времени, народность* — вот пышные и громкие слова, непрестанно... произносимые... Выпишем здесь для примера несколько нововведенных слов, с переводом оных на язык Ломоносова, Шишкова и Карамзина и еще две-три фразы в последнем новейшем вкусе.

По-новому:	По-старому:
нисколько	нимало
маленькие народцы	малочисленные народы
проблескивает	просвечивает
суметь	уметь, сладить
колея привычки	это слово чаще других употребляемо было ямщиками; значит же: прорез от колес по густой грязи
покаместь[1]	доколе, пока
словно	как бы, подобно
поэтичнее	стихотворнее, живописнее
вдохновлять гения	вдыхать, одушевлять
вдохновлен страстями	воспламенен
узенькая ножка	тоненькая
исполинская шагучесть	шаг или ход
безграничный	неограниченный, беспредельный
огромные надежды, огромный гений	это прилагательное прикладывалось только к чему-нибудь материальному: огромный дом, огромное здание
ответить	отвечать; так говаривали прежде только крестьяне и крестьянки в Кашире и других верховых городах
пехотинец	пеший, сухопутный, солдат, ратник,
конник	конный, всадник. Нынешние авторы, любя подслушивать, оба сии названия переняли у рекрутов»[2].

С этими оценками интересно сопоставить характеристику речи студентов-разночинцев дворянином Иртеньевым в повести Л. Н. Толстого «Юность»: «...они употребляли слова: *глупец* вместо дурак, *словно* вместо точно, *великолепно* вместо прекрасно, *движучи* и т. п., что мне казалось книжно и отвратительно непорядочно. Но еще более возбуждали во мне эту комильфотную ненависть интонации, которые они делали на некоторые русские и в особенности иностранные слова: они говорили ма́шина вместо маши́на, дея́тельность вместо де́ятельность, на́рочно вместо наро́чно, в камине́ вместо в ками́не, Ше́кспир вместо Шекспи́р, и т. д. и т. д. ...Они выговаривали иностранные заглавия по-русски... *Подлец, свинья*, употребляемые ими в ласкательном смысле, только коробили меня и мне давали повод к внутреннему подсмеиванию, но эти слова не оскорбляли их и не мешали им

---

[1] Ср. некоторый материал по вопросу об употреблении слова *покаместь* в языке XVIII — первой половины XIX в. (кроме писателей карамзинской школы): *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи. Пг., 1915, вып. 2, с. 348.

[2] *Дмитриев И. И.* Взгляд на мою жизнь. М., 1866, с. 157—158.

быть между собой на самой искренней дружеской ноге»[1]. И дальше: «Наше понимание было совершенно различно. Была бездна оттенков, составлявших для меня всю прелесть и весь смысл жизни, совершенно непонятных для них, и наоборот».

Признания и жалобы Н. Д. Иванчина-Писарева, одного из преданных карамзинистов, также очень показательны для характеристики различия в лингвистических вкусах «аристократов, феодалов», по определению самого Иванчина-Писарева, и передовой демократической интеллигенции в 40-е годы. Он возмущается топорной «шероховатостью» языка, которым щеголяют петербургские модные писатели. «Слог есть одежда, содержание — самая фигура... Слог мой, распевно-карамзинский или, как вы говорите — обточенный, уже выходит и едва ли не вышел из моды»[2]. «Все журналисты хотят *юморического*, а я не поддаюсь новому значению этого слова, которого и старые англичане не понимают»[3]. Идеология «наездников литературы», «барышников» чужда и противна Иванчину-Писареву. Она направлена на «искоренение всего благонамеренного». Недаром издатель «Отечественных записок» в письме своем сравнивал свой журнал с «экстирпатором» (ср. замечание А. А. Краевского: «Я должен действовать с своим журналом не как с сеялкою, а как с экстирпатором»)[4]. Даже сторонник дворянской художественно-языковой культуры Ф. И. Буслаев в своей замечательной книге «О преподавании отечественного языка» (1844) писал: «Так называемый карамзинский слог, коим многие ныне пишут, по большей части усвоил себе только отрицательные качества, — каковы легкость периода, гладкость фразы, иногда переходящая в бесцветность и вялость, мерная проза, приторная в своей крайности, славянизмы, которые, будучи в оправе истертого выражения, придают речи напыщенность и театральность и т. п.» (ч. 1, с. 143).

Еще более яркую картину языковой борьбы 30-х годов рисует пародическая повесть «Авторский вечер. Странный случай с моим дядей»[5]. Оценка и освещение новых норм лингвистического вкуса, складывавшихся в среде разночинной интеллигенции, в разных группах «среднего сословия», здесь даются с точки зрения дворянина старой формации.

Объектом нападений сделан преимущественно язык «Библиотеки для чтения». Прежде всего комментируется выдвинутый О. И. Сенковским лозунг окончательного разрыва с церковнокнижной традицией. «Все слова, которые вошли в русский язык из славянского, должны быть изгнаны из русского языка, как пришлецы, которые уже внесли с собою развращение. Русский язык сделался уже ныне, благодаря всюду разлившемуся просвещению, языком европейским и

---

[1] *Толстой Л. Н.* Юность, гл. XLIII «Новые товарищи»*3.

[2] *Модзалевский Б. Л.* Письма Н. Д. Иванчина-Писарева к И. М. Снегиреву.— ИОРЯС, 1902, т. 7, кн. 3, с. 125—126.

[3] Там же, с. 82.

[4] Там же, с. 87.

[5] СПб., 1835. Далее в скобках указаны страницы этого издания.

никак не должен преклонять выи своей под ярмо ржавой старины... Мы введем что-нибудь новенькое... Это новенькое на первый случай могло бы заключаться в том, чтоб не употреблять ничего в писании, что не слышим мы в устах простого народа и частью среднего состояния» (26). Пародическая повесть «Авторский вечер» иронически заявляет, что в основу новой системы литературного языка ложатся «слова, которые слышишь и на бульваре и в магазине и в...Тут нет изысканности, но все просто и мило» (34—35). «Мы стараемся, — заявляет в повести один из представителей новой школы, — только самые простые, всеми употребляемые слова облечь в прелестные формы, и вы увидите, как лет в десять язык наш образуется, возвысится; как словесность наша процветет от лакейской и прачешной до гостиной и будуара красавицы, от театральной сцены, водевиля до самой сильной академической речи, от народной песенки, которую повторяют горничные девушки, до самой возвышенной оды и эпопеи. И все будет выражаться в самых простых, обыкновенных словах» (51). Однако эта простота была условна. Понятие «общедоступности» литературного языка также было социально ограничено. Оно было подчинено строгим социально-диалектологическим и стилистическим нормам, зависевшим от буржуазного представления о «тоне хорошего общества». Кроме того, сохранял силу принцип, выдвинутый еще карамзинистами: «Мы хотим и писать так, как говорят, хотим и того, чтобы все говорили как пишут» (116). «Поэтому-то самому и не употребляем мы ни *сей*, ни *оный*, ни *якобы*, ни *изрек*, ни *возвестил*» (117). В «Авторском вечере» приведено много слов и выражений, входивших в литературный обиход 30-х годов и неприемлемых для старой традиции дворянских стилей: *выказать* в значении о б н а р у ж и т ь, д о к а з а т ь (раньше это слово значило только: в ы с т а в и т ь н а п о к а з); *подметить*, *подглядеть*, *испаряться* (в значении и с ч е з а т ь, у х о д и т ь), *приосаниться*, *безвкусица* и т. п. Вместе с тем отмечается резкое изменение общего тона, экспрессии литературного изложения; входит в моду фамильярно-развязный, «хватский» тон, карикатурный, кривляющийся и насмешливый. «Мне все кажется, что автор подшучивает, подсмеивает, кривляется, и все невпопад, все некстати» (98). Писатели все время «хотят щеголять остротами и шуточками» (125), «насмешливым, издевчивым языком» (128). Они подобны «плясунам на канате и проволоке, забавникам, которые стараются изумить кривлянием» (130). Любопытно сопоставить с этой характеристикой экспрессивных особенностей нового стиля отзывы В. К. Кюхельбекера о литературе 30—40-х годов: «Надоела мне... судорожная (grimaçante) ирония, с какою с некоторого времени обо всем пишут»[1].

Все эти свидетельства говорят лишь о том, что нормы литературного выражения изменились, что законодателем лингвистического вкуса постепенно становится иной общественный слой, иная социальная группа с более яркой демократической окраской. 30—50-е годы — это полоса перелома в русском литературном языке. Но новые демо-

[1] *Кюхельбекер В. К.* Дневник, с. 222. 20—915.

кратические стили литературной речи еще очень разнотипичны, противоречивы и пестры. Традиции салонно-литературного языка сталкиваются с новыми разночинскими стилями, смешиваются с ними, подчиняются им, а иногда во многом подчиняют их себе. Большая часть новых стилей объединяется отрицательным отношением к церковно-книжной культуре и основанным на ней риторическим формам литературной речи конца XVIII — первой трети XIX в. Вместе с тем новые стили литературного языка — при всем своем различии — стремятся стать подлинным выражением национально-языковой стихии: они выдают себя за голос пробудившегося национально-общественного самосознания.

Правда, в столкновении и борьбе разных стилей 20—30-х годов еще трудно было современникам предугадать те языковые тенденции, которым суждено было возобладать в прозе и вытеснить старую литературную традицию. Однако Гоголь и Белинский со второй половины 30-х годов мощно двигают русскую литературу и русский литературный язык по новому пути. И. И. Панаев *4 вспоминал: «В обществе неопределенно и смутно уже чувствовалась потребность нового слова и обнаруживалось желание, чтобы литература снизошла с своих художественных высот к действительной жизни и приняла бы хоть какое-нибудь участие в общественных интересах. Художники и герои с риторическими фразами всем страшно прискучили. Нам хотелось видеть человека, а в особенности русского человека».

Этим «передовым» стилям русской литературной речи противостояли стили «ложно-величавой школы» (по выражению И. С. Тургенева), доводившие до крайнего предела риторику «высокого» романтического слога предшествующей эпохи (ср. язык Кукольника, П. Каменского *5, Тимофеева, Бенедиктова и др.). Но волна и этого течения спадает к концу 30-х — началу 40-х годов[1].

§ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

В основе формировавшихся стилей литературного языка, несмотря на все их социальные различия и внутренние противоречия, лежали четыре общие тенденции, частично унаследованные от прежней языковой культуры, но подвергшиеся преобразованию:

1) тяготение к большему ограничению высокой «славянской» традиции, к разрушению приемов старой церковнокнижной и «славенороссийской» риторики, у некоторых социальных групп — даже к полному разрыву с феодальной церковнокнижной культурой;

2) стилистический упор на живую устную речь, на народные говоры, на письменно-бытовые и разговорные диалекты, жаргоны и стили города, причем — в зависимости от социальной основы стиля — центр тяжести перемещался с одного социально-группового диалекта

---

[1] См.: *Тургенев И. С.* Литературные воспоминания.— В кн.: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. СПб., 1897, т. 10, с. 35—36; *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. СПб., 1888, с. 149—154.

на другой, от речи высших слоев общества до мещанского «просторечия», соприкасающегося с крестьянским языком[1];

3) более тесное взаимодействие между литературным языком и профессиональными диалектами городской речи; отсюда — осознание на почве литературного языка многих профессиональных характеристических и экспрессивных варьяций бытовой речи, свойственной не только чиновничеству, но и разным категориям городского ремесленного люда, мещанства и крестьянства; этот процесс диалектологической дифференциации русского литературного языка сопровождается как антитезисом, усиленным процессом выработки общей национально-языковой системы;

4) стремление к фиксации устойчивых норм общенационального выражения на «народном» фундаменте, искание таких форм национального русского литературного языка, которые могли бы по своему составу и содержанию («общенародному») стать отражением «духа» русской нации; в то же время эта концентрация форм национального выражения не исключала связи русского литературного языка с западноевропейскими языками, главным образом с немецким и французским.

§ 3. БОРЬБА С ОСТАТКАМИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ТРАДИЦИИ, ФОРМЫ ЭТОЙ БОРЬБЫ И ЕЕ ОБЩЕСТВЕННО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Борьба с церковнокнижной традицией нашла яркое, хотя социологически разнородное выражение в разных группах интеллигенции 30-х годов. Очень остро проблему отношения русского литературного языка к церковнославянскому в 30-е годы поставил О. И. Сенковский. Он ссылается на ничтожную роль церковного языка, языка феодальной эпохи, в современной культуре западноевропейских народов. «У всех европейских народов есть или был особый язык церковный, который произвел уже свое действие на язык книг и беседы введением множества слов и оборотов и перестал действовать»[2]. «Славянский язык должен оставаться как предание в нашей православной церкви и служить исключительно для потребностей веры... ему нет никакого дела до русской словесности»[3]. Поэтому признается необходимым «расторгнуть дружбу русского слова с славянским, утвердить самостоятельность русского языка и положить между дву-

---

[1] Консервативная «Северная пчела» жаловалась: «У нас не было классического вкуса ни для прозы, ни для стихов, и пуризм, т. е. щегольская чистота языка, только что родился под пером Карамзина. У нас еще не создан язык страстей, язык разговорный высшего общества, язык философический, а мы бросились в мелочные описания и в просторечье» (1831, № 286).

[2] *Сенковский О. И.* Резолюция по делу сего, оного и проч. — В кн.: *Сенковский О. И.* Собр. соч. СПб., 1858—1859, т. 8, с. 240.

[3] *Сенковский О. И.* Письмо трех тверских помещиков. — В кн.: *Сенковский О. И.* Собр. соч., т. 8, с. 222.

мя языками предел, так чтобы вперед они не смешивались, шли каждый своим путем»[1]. «Это расторжение должно быть подвинуто еще далее, до словарей и грамматики, которых сочинители странным образом перемешали слова и формы двух языков, совершенно различных. Грамматики... занимались всей этой смесью, языком условным, воображаемым, не существующим в природе, чисто книжным; из чего следует, что мы не имеем грамматики»[2].

Стилистический разрыв с церковнославянским языком должен привести к изменению синтаксической и лексико-фразеологической систем литературной речи. «Быстрые, короткие предложения», связанные строгою «логическою последовательностью мыслей, а не разнообразными союзами», должны заменить архаическое многосоюзие и конструкцию фразы с «трехсаженными причастиями, бесконечными местоимениями, наречиями, прилагательными отчетистости ради», и вообще вытеснить все «обороты, не свойственные русской логике»[3].

Лексика и фразеология церковнославянского языка, по мнению Сенковского, противоречат законам и нормам «изящного разговорного языка», представляя «формы, противные и гармонии и строению слов нашего языка». Церковнославянизмы должны быть вытеснены словами разговорного языка городской интеллигенции, «хорошего общества». «Словесность берет элементы простого разговорного языка, сбделывает их со вкусом, сообщает им красивейшие формы, укладывает из них звучные и ловкие фразы; эти фразы, восхитив, надушив собою ум читателя поутру в его кабинете, ввечеру возвращаются с ним в гостиную и вливаются в умную беседу, которая согревает их своим паром, разнообразит применениями, нередко придает им смысл новый, яркий, блестящий»[4]. Этот изящный разговорный язык интеллигентного общества — структурная основа общенационального языка. «Для поэта и писателя, в особенности, этот чистый однородный элемент есть живой язык народа, к которому они принадлежат, живой язык в том виде, как он существует в природе, в устах всей нации»[5].

Любопытны стилистические декларации 30-х годов, по-разному изображающие будущую систему национально-русского литературного языка и дающие оценку прошлого развития русской литературной речи. Такова, например, статья Н. Надеждина *[1] «Европеизм и народность» (Телескоп, 1836, № 1 и 2). «Восстановление русского языка в своем достоинстве, — пишет Надеждин, — весьма важно, не столько по мелочным расчетам народного самолюбия, сколько потому, что, определяя настоящие отношения его к другим, избавляет от опасности чуждого, несвойственного влияния. Таково именно было влияние церковнославянского языка, подавившее в самом начале русскую народную речь и долго, очень долго препятствовавшее ее развитию в живую народную словесность». Надеждин, возражая

---

[1] *Сенковский О. И.* Письмо трех тверских помещиков, с. 222.
[2] *Там же*, с. 232.
[3] *Там же*, с. 212, 214, 221, 230.
[4] *Сенковский О. И.* Резолюция по делу *сего, оного* и проч., с. 241.
[5] *Сенковский О. И.* Письмо трех тверских помещиков, с. 230.

против усыновления языка русского языку церковнославянскому, отмечает односторонность ломоносовской реформы и отрицает славянофильскую теорию и практику. «Слово Ломоносова все еще было искусственное, книжное, слишком уединенное, слишком возвышенное над живой народной речью». Между тем, по мнению Надеждина, литературный язык, должен, не впадая в вульгарную простонародность, преодолеть разрыв между живой народной речью и книжным слогом. Правда, «у нас нет языка разговорного общего: у нас есть разговор мужика, разговор купца, разговор ученого, разговор подьячего; разговор военного, разговор степного помещика, разговор светского столичного человека... Одно и то же слово имеет совершенно различные, часто противоположные смыслы в этом вавилонском смешении разговоров...»; «Надо переплавить все эти разнородные элементы и вылить из них один чистый, образованный изящный разговор, которого не стыдились бы книги...». Понятно, что с этих позиций Надеждин отрицает западнически-дворянскую карамзинскую реформу как социально ограниченную и однобокую. Карамзин, по словам Надеждина, «принялся нежить и холить русский язык, чтобы делать из него маленькие куколки, какими тогдашняя французская литература наполняла дамские будуары...». Это был «язык милый, красивый, любезный, язык — игрушка, язык гостиных и будуаров... Притирая и маневря на французскую стать, Карамзин стер с языка всю выразительность и силу». Борясь с притязаниями «языка высшего общества» на роль фундамента национально-литературной речи, Надеждин выдвигает лозунг сотрудничества разных социальных групп в образовании новой демократической системы общерусского литературного языка и не возражает против влияния европеизма. «Никакое сословие, никакой избранный круг общества не может иметь исключительной важности образца для литературы. Литература есть глас народа; она не может быть привилегиею одного класса, одной касты: она есть общий капитал, в котором всякий участвует, всякий должен участвовать... Основание народного единства есть язык, он должен быть всем понятен, всем доступен».

У писателей, которые стремились сделать структурной основой литературного языка устную народную речь, иногда даже с яркой областной окраской, например у В. И. Даля, наблюдается то же отрицание церковнокнижной речевой культуры. Даль думал, что «среднему сословию» суждено осуществить «синтез» «родимого и прививного» и создать подлинно национальную систему русского языка, в котором все будет переработано «брожением из начал русского духа», «будет все свое и все согласно, созвучно». Но Далю казалось, что среднее сословие как культурный класс еще не сложилось. «И вот поэтому и в словесности нашей еще и быть не может народности, родимости, свойскости ни в речи, ни в сущности ее. На разных обществах и сословиях наших нет еще своего лица... Самый быт наш — еще смесь быта вселенной, а язык почти то же и по словам и по оборотам, и ныне еще нет никакой возможности писать таким русским языком, как бы казалось писать должно. Ныне еще легко промолвиться и оступиться, попасть вместо родного в простонародное, по-

тому что средины, которой мы ищем, еще нет; а есть одни только крайности: язык высшего сословия — полурусский, язык низшего сословия — простонародный. У нас нет и среднего сословия, оно только что учреждается, основывается, и со временем от этого благодатного правительственного учреждения можно и должно ожидать много и много для самостоятельности русской во всех направлениях»[1].

Таким образом, по мнению Даля, перед русским обществом стоит задача создания чисто национального литературного языка посредством сочетания русских элементов речи высших классов с «живым языком русским, как он живет поныне в народе»[2]. Где же нам «учиться по-русски? Из книг не научиться, потому что они писаны не по-русски; в гостиных и салонах наших — подавно; где же учиться?.. Остается одна только кладь или клад — родник или рудник — но он зато не исчерпан... Источник один — язык простонародный. Русские выражения и русский склад языка остались только в народе; в образованном обществе и на письме язык наш измололся уже до пошлой и бесцветной речи, которую можно перекладывать, от слова до слова, на любой европейский язык»[3].

Итак, в видоизмененной форме вновь выплывает антизападническая концепция с ярко народнической и крестьянско-областной окраской. Но церковнославянизмы рассматриваются Далем как мертвый груз языка. По словам Даля, «труды славянистов как неуместная натяжка остались гласом вопиющего в пустыне»[4].

В статье о «Русском словаре» Даль писал о составе своего «Словаря живого великорусского языка»: «Церковный язык наш исключен; но приняты все выражения его, вошедшие в состав живого языка, также обиходные названия предметов веры и церкви. И славянских слов встречаем мы несколько в речи народной»[5]. Осуждая «диковатые на слух» книжные словообразования и среди них «недавно (т. е. в 30—40-е годы) пущенное в ход словечко «исчезновение», Даль прибавляет: «Это производство славянское или языка церковного» (Толковый словарь. СПб., 1863, т. 1 с. XXIII). Ср. также замечания Даля по поводу книжного слова *мертвенность*, образованного «на образец — *бренность, откровенность*» (с. VII).

Так старый литературный язык и вообще письменный язык высшего общества в концепции Даля поступает под контроль простонародных диалектов. Высшие классы «знают русские слова, но не русский язык, они говорят русскими словами по-французски, по-немецки»[6], «стараясь для ясности в изложении приблизиться сколько можно к языкам западным». По мнению Даля, в русском литературном языке дворянской традиции не осталось почти ничего националь-

---

[1] *Даль В. И.* Полтора слова о русском языке.— В кн.: *Даль В. И.* Полн. собр. соч. СПб., 1897, т. 10, с. 543—544.

[2] Там же, с. 545.

[3] Там же, с. 545—546.

[4] *Даль В. И.* Полн. собр. соч. СПб., 1897, т. 10, с. 541.

[5] Однако ср. в «Толковом словаре» не только такие слова, как *длань, глад, младой* и т. п., но и такие, как *средовек, спона, стогна, угобжать, дщи, сице* и т. п.

[6] *Даль В. И.* Полтора слова о русском языке, с. 549.

ного. В «вымышленном языке» офеней «гораздо более русского, чем во многих русских книгах»[1]. Лексика, фразеология, общий «склад, или слог» литературного языка высшего общества — иностранные, «европейские»[2].

§ 4. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОНИМАНИИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМОВ

Борьба с церковнокнижной традицией у передовой интеллигенции 30—40-х годов носила иные формы, чем у писателей карамзинской школы: различие литературных стилей было обусловлено разным пониманием «славянизмов» и разной экспрессией их употребления в разных слоях общества. В среде разночинцев были живы такие формы книжного и церковнославянского языка, которые в кругах дворянской интеллигенции уже считались архаическими, устарелыми. Те слова, которые для одних уже не носили отпечатка церковнокнижности, а вполне обрусели, были окружены экспрессией «литературности», — другим казались «вульгарными славянизмами». И, напротив, церковнославянизмы, уже ассимилированные старыми стилями литературного языка и изменившие свой смысл, свою экспрессию, могли еще сохранять в демократических стилях и диалектах русского языка архаические церковнокнижные значения. Характерно, например, что в «Русском букваре» Егора Зорича (1831), к которому приложен славяно-русский словарь, в числе славянских слов названы такие, как *пришелец, спутник, туземец, шествие, чаша, язва, юность*. С другой стороны, Н. А. Полевой считал обрусевшими и утратившими печать церковнославянизма даже такие слова, как *рукоплескание, скрежет, святилище*[3].

Все эти противоречия литературных стилей 30—40-х годов с особенной остротой обнаружились в творчестве В. И. Даля. Борясь с нормами старого литературно-книжного языка, Даль восстал и против полуинтеллигентских подражаний ему: «Людей менее основательного образования письменный язык наш сбивает вовсе с толка; они борются с трудностями языка, и, наконец, пускаясь поневоле на скоропись, теряют из ума и из виду природную логику свою, здравый смысл; из человека довольно умного на деле, на письме выходит, будьте здоровы, дурень»[4]. «Мы встречаем в письменном обиходе много дурных слов, пущенных в ход взамену более звучных и выразительных»[5]. Эти замечания Даля как будто несколько похожи на суждения Пушкина о «языке дурных обществ». Но сами литературные новообразования Даля такого типа, как *самовщина, мертвизна, ловкосилие, глазоем, мироколица, колоземица, насылка* (вместо *адрес*)

---

[1] *Даль В. И.* Полн. собр. соч., т. 10, с. 572.
[2] См.: *Сухотин А. М.* В. И. Даль и его словарь.— В кн.: *Даль В. И.* Толковый словарь. М., 1935, т. 1; *Сухотин А. М.* В. И. Даль. — *РЯШ*, 1937, № 6.
[3] См.: Московский телеграф, 1831, ч. 37, с. 109.
[4] *Даль В. И.* Полн. собр. соч., т. 10, с. 550.
[5] Там же, с. 574.

и т. п. едва ли могли в большей своей части избежать обвинительного приговора Пушкина: они также были бы отнесены им к «языку дурных обществ». На многих неологизмах Даля лежит отпечаток той же мещанской книжности, тяжеловесной книжной литературности, которая так претила лингвистическому вкусу Пушкина. Восставая против многосложных церковнославянизмов вроде: усовершенствование, руководствуемый, действование, чувствования, семейственный и др. под., Даль, однако, сам широко пользовался словообразованиями церковнославянского типа. Вместе с тем характерно, что Жуковский, которому Даль представил образчики своего идеального литературно-народного, широко вбирающего в себя областные диалектизмы языка, заметил, что так можно говорить только с казаками и притом о близких им предметах[1].

Интересен ряд указаний книги «Справочное место русского слова» (1839, 2-е изд., 1843) на смешение в русской литературной речи 30—40-х годов таких церковнославянизмов, которые в разговорном языке совпадают по произношению, становясь омонимами. Например: *освещение — освящение; освещать — освящать* (с. 76—77); *пребывание — прибывание* (89); *презрение — призрение* (90), *презреть — призреть* (90); ср. *старица — старуха* (105). Симптоматичны также такого рода предупреждения, свидетельствующие об умирании многих церковнославянизмов: «*Наперсник*. Не должно писать и произносить: *наперстник*. Правильно: *наперсник* (друг перси, груди)» (64); «*празднество*, а не *праздденство*, как часто пишут» (89); «*преполовение* (церковный праздник). Не должно говорить: *праздник переплавления*» (91).

Любопытно, что И. С. Тургенев в 40-е годы стили «ложновеличавой школы» (к которой он относил Марлинского, Кукольника, Тимофеева, Загоскина, Бенедиктова и т. д.) иронически называет «семинарскими», т. е. подчеркивает их церковнокнижный архаический колорит. В рецензии на альманах «Новоселье» (1846, ч. III). Тургенев писал о повести Кукольника «Старый хлам»: «Автор... чтоб хоть чем-нибудь резко оттенить свои лица, навел на них какой-то особенный, семинарский колорит... Мы назвали колорит новой повести семинарским и сейчас покажем, почему так назвали. Вот, например, как говорит Мак-Стефенс: «...Умереть с голоду!.. За то, что в *тайниках природы* я открыл ее новую силу... За то, что *попечительная* натура *моими устами* этой же столице, целому миру — *изволит поведать одну из благодетельных тайн своих*... Лилла, дочь Мак-Стефенса, *купно* с матерью своею Бетси, носит на себе тот же колорит»[2]. В рецензии на трагедию Кукольника «Генерал-поручик Паткуль» Тургенев повторяет ту же характеристику языка Кукольника. Княгиня Тэшен говорит в этой пьесе:

---

[1] Любопытны в этой связи упреки Я. К. Грота, обращенные к Далю: «Автор упускает из виду, что у каждой сферы языка есть свой характер, свой тон, который поддерживается не только целым составом речи, оборотами, но и отдельными словами. Поэтому переносить слова из одной сферы в другую, не всегда удобно» (*Грот Я. К.* Филологические разыскания. СПб., 1899, т. 2, с. 15).

[2] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. СПб., 1898, т. 11, с. 247.

«Ах, вашу руку, благородный Паткуль!
Теперь нужна мне твердая рука,
Чтобы сойти со скользкой высоты,
Куда меня *насилие втащило*...

и т. д., постоянно придерживаясь слога воспитанников старинных духовных заведений»[1].

§ 5. НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЛИТЕРАТУРНО-КНИЖНЫХ СТИЛЕЙ В ЯЗЫКЕ РАЗНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ГРУПП РУССКОГО ОБЩЕСТВА 30—40-х ГОДОВ

Своеобразие демократического понимания границ и содержания церковнославянской книжной струи объясняется тем, что в демократических кругах общества сложились свои нормы книжного и литературного выражения. Иное, по сравнению с салонными, аристократическими стилями, отношение к понятию «литературнокнижности» сказывается прежде всего в выборе и предпочтении какой-нибудь одной формы из двух или нескольких вариантных, и притом такой, которая раньше считалась менее «литературной», менее нормальной. Например, выбирались (по свидетельству «Авторского вечера»): *снова* вместо *вновь; лишь* вместо *только;* по свидетельству И. И. Дмитриева: *покаместь* вместо *пока; надо* вместо *надобно; словно* вместо *как бы; нисколько* вместо *нимало* и т. п. О том же говорят изменения значений слов, формы нового словоупотребления — например, *разбор* в смысле *рецензия; сложиться* в значении *устроиться* (например, об обстоятельствах); *пробел; насущный* (в переносном смысле) и т. п.[2] Приемы образования неологизмов также указывают на новые, чуждые предшествовавшей системе литературного языка нормы грамматики и семантики. Например, становится продуктивным архаический церковнокнижный суффикс *-овение;* появляются в 40-х годах слова *исчезновение, возникновение* (по образцу таких церковнославянизмов, как *отдохновение, прикосновение, дуновение*).

Очень интересна дискуссия о морфологии нового слова — *вдохновить* в повести «Авторский вечер. Странный случай с моим дядей» между племянником, отстаивавшим новый демократический слог, и дядей — защитником стилистических традиций старой дворянской литературы. Племянник стоит за слово *вдохновить — вдохновлять* — слово «новое, но в то же время и необходимое, которого никаким другим словом заменить невозможно... Оно составлено... по образцу других подобных слов: *вдохновение — вдохновенный, удивление — удивленный, удивить, удивлять*, следственно, можно сказать и *вдохновить, вдохновлять*». Дядя, защищая старое слово *воодушевлять*, служившее для обозначения того же понятия, резонно замечает: «Из приведенного тобою сравнения слов *вдохновенный* и *удивленный* еще не

[1] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. СПб., 1898, т. 11, с. 279.
[2] См.: *Грот Я. К.* Филологические разыскания, с. 14.

следует, что от всех слов могут быть производимы другие слова. От *вдохновенный* нельзя произвесть *вдохновлять* или *вдохновить*, точно так, как нельзя произвесть от *незабвенный* — *незабвенить*, от *надменный* — *надменить*, от *согбенный* — *согбенить*, от *поползновенный* — *поползновенить*»[1]. В самом деле, словообразование *вдохновить*, *вдохновлять* вело к разрыву морфологического ряда: *вдохнуть* — *вдохновение* — *вдохновенный*. Ср.: *возникнуть* — *возникновение*, *исчезнуть* — *исчезновение*, *столкнуть (ся)* — *столкновение*, *проникнуть* — *проникновение* — *проникновенный* и т. п.

Так в моменты ломки литературно-языковой системы колеблются сложившиеся стилистические традиции. Становятся зыбкими семантические очертания слов, и смешиваются омонимы. Расширяется и изменяется значение книжных слов, которые как бы не вполне усваиваются во всей обстановке их употребления новыми общественными группами, предъявляющими свои права на литературный язык. С книжным языком смешивается просторечие.

Для изучения колебаний в книжной и разговорной речи 30—40-х годов дает кое-какие данные книга «Справочное место русского слова» (изд. 1839 и 1843 гг.) — нечто вроде сборника ходячих стилистических ошибок.

1. Здесь отмечается расширение или обобщение значений некоторых слов, затмевающее их смысловой строй. Например: «*Антик*. Этим словом означаются все вещи, сданные в древности, но отнюдь не все редкости или диковины» (4). «*Бал*. Балом называется собрание, в котором танцуют; называть этим словом большой обед, пирушку, ужин или даже дружескую попойку, неправильно. Так же должно говорить: *на бале*, а не *на балу*» (6) и др.

На почве этого расширения и затемнения первоначальных значений возникают плеоназмы. В литературный язык врывается небрежная неточность разговорно-бытового словоупотребления. «*Более*. Перед словами, означающими увеличение, распространение, усиление чего-нибудь, очень часто ставят слово *более*... Говоря *он увеличил сад*, *распространил права*, *усилил торговлю* и т. п., не нужно прибавлять: *более увеличил*, *более распространил*, *более усилил*» (10). «*Будни*. Не должно говорить: *будние дни*. *Будни*, без прибавления слова *дни*, уже означает непраздничные, рабочие дни»» (12). «*Вверх*, *вниз*. Часто говорят: *подняли вверх*, *опустили вниз*... Нельзя *поднять вниз* и *опустить вверх*» (14—15). «*Вернуться*. Часто говорят: *я вернулся назад*, *воротился назад*. Нельзя *вернуться вперед*... Но *обратиться назад* или *поворотиться назад* говорить можно, потому что обращаются и поворачиваются назад, вперед и в сторону» (16). «*Возобновить*, *восстановить*. К этим словам часто присовокупляют без нужды: *вновь* и *снова*» (18). «*Оглянуться*. К слову *оглянуться* не должно присовокуплять *назад*» (73—74). «*Один только*. Часто говорят и пишут: *Один только я не видал*, *одни только дети счастливы*. Это неправильно. Откиньте или *один* или *только*, и увидите, что выражения ваши будут точнее» (74) и мн. др.

2. Приводится целый ряд примеров, свидетельствующих об отождествлении синонимов или вообще слов, близких по значению и по форме, но стилистически различных. Смысловые оттенки, оберегаемые старой литературной традицией, стираются в новых стилях литературного языка. Например: «*Близ*, *близь*. Очень часто не различают этих слов и пишут *близь* там, где следует поставить *близ*. *Близ* значит то же, что *подле*, *недалеко*; *близь* заменяет слово *близость*, например: *живу в близи от друга*» (9). «*Блистательный*, *блестящий*. Оба слова значат: ярко сияющий, сверкающий. Но *блистательный* говорится о том, что сияет *всегда*, *блестящий* о том, что сияет только *некоторое время*. *Блистательный*, сверх того, значит: пышный, великолепный. Неправильно: *блестящий праздник*,

---

[1] Авторский вечер. Странный случай с моим дядей, с. 134—135. Ср.: *Греч Н. И.* Чтения о русском языке. СПб., 1840, ч. 1, с. 26.

блестящая публика вместо: *блистательный праздник, блистательная публика*» (9—10). «*Белеть, белеться. Белеть* значит: мало-помалу становиться белым, например: *холст от времени белеет. Белеться* значит: казаться белым, например: *на башне белеется флаг.* Часто употребляют одно слово вместо другого» (13). «*Доктор*... Обыкновенно употребляют слово *доктор* вместо слова *врач*» (32). «*Место рождения.* Слово *месторождение* употребляется только, когда говорят о минералах» (63). «*Обрезать, порезать. Обрезать* — отрезать кругом; *порезать* — сделать небольшую рану чем-нибудь острым. Чаще всего в этом случае ошибаются, говоря: *я обрезал палец, чиня перо*» (72). «*Обхватить*... правильнее: *охватить.* Не должно говорить, как некоторые из наших модных писателей: *Он его обхватил в объятия*» (73). «*Одеть, надеть.* Часто не обращают внимания на различие между этими словами. *Одеть человека,* но *надеть шапку, сапоги*» (75). «*Всходить.* Часто употребляют слово *входить* там, где должно говорить *всходить*... Неправильно: *вошел на кафедру;* должно сказать: *взошел на кафедру.* Напротив того, не следует говорить: *Я взошел в комнату*» (20).

Сюда же примыкает смешение омонимов. Например: «*Горбунья, горбушка. Горбунья* значит — женщина с горбом, *горбушка* — отрезанный край хлеба. Часто называют ошибочно горбатых женщин *горбушками*» (27). «*Китайка.* Китайкой называют плотную бумажную ткань; этим именем не должно называть уроженок Китая: оне называются *китаянками*» (49). «*Оплетать.* Часто говорят: *ты уплетаешь, как обжора;* должно говорить: *ты оплетаешь, как обжора. Уплетать* значит: скоро уходить, удаляться» (76). Ср. у Гончарова: ...*уплетают двумя палочками вареный рис, держа чашку у самого рта* («Фрегат Паллада»).

3. Констатируется колебание старых норм синтактики и фразеологии, влияние на них разговорной речи. Например: «Лекарство. Не должно говорить: *лекарство против чахотки, против кашля;* говори: *лекарство от чахотки, от кашля*» (54). «*Отвращение.* Когда речь идет о предметах одушевленных, это слово употребляется с предлогом *от;* когда о неодушевленных, то надо писать *отвращение к* (этой физиономии)» (78). «*Форма.* Часто говорят неправильно: *эта бумага для про-формы;* слово *про* (латинское pro) значит *для,* следовательно, должно говорить просто: *эта бумага для формы,* т. е. для соблюдения формы». «*Характер.* Часто говорят: *человек с характером,* или *в этом деле вы показали много характера.* Должно говорить: *с твердым характером, много твердости характера*» (117).

4. Выдвигается принцип литературного отбора форм просторечия. Отвергаются морфологически не оправдываемые «вульгарные» варианты литературных выражений. Например: «*Без ничего* — выражение неправильное; должно говорить: *безо всего* или *ни с чем,* а не *без ничего*» (7). *Вертляность.* Не должно говорить: *вертлявость, вертлявый человек;* правильно: *вертляность, вертляный* (16)». Ср. у Жуковского в стих. «Мотылек»: *Бегу... и мой летун вертляный дрожит в моих руках* (1814). «*Виселица.* Часто говорят неправильно: *сорвался с висельницы. Висельницей* называют женщину, повешенную на виселице» (7). «*Выздороветь*... неправильно: *я выздоровлю* вместо *я выздоровею*» (28). «*Громоздкий.* Не должно говорить: *громоздной, громоздно*» (28). «*Их.* Не должно говорить: *ихный брат, ихная очередь*» (45). «*Надо.* Часто пишут и говорят *надо* вместо *надобно*» (64); «*Наизуст.* Не должно писать и произносить *наизусть*». (64). «*Насквозь,* а не *наскрозь*» (65). «*Насмехаться,* а не *надсмехаться*» (65); «*Очень.* Не должно говорить: *оченно холодно.* Также неправильно выражение: *очень прекрасно*» (79). «*Поодаль.* Не должно говорить: *поотдаль*» (87). «*Поскользнуться.* Не должно говорить: *я посклизнулся*» (87). «*Ухитряться.* Правильно: *ухищряться*» (112). «*Учтивость.* Не должно произносить: *учливость, учлив;* правильно: *учтивость, учтив*» (112) и мн. др.

§ 6. НОВЫЕ ФОРМЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Особенно рельефно различия между новыми литературными стилями и прежними выступают в системе книжной фразеологии. Правда, основные фразеологические тенденции литературной речи в 30—

40-е годы не установились [1]. Однако интересны как общие принципы семантических отклонений от норм предшествующей традиции, так и стилистические противоречия в самой структуре новой фразеологии. Намечаются две диаметрально противоположные тенденции: реалистически трезвого и практически делового отражения жизни — и ее романтико-философского приукрашивания, риторической идеализации. Риторически напряженные метафоры литературного языка 30—40-х годов или представляют неорганическую смесь книжных слов и выражений с фамильярно-бытовой лексикой, или обнаруживают семантические несоответствия в связи образов, отчасти восходящих к романтической поэзии 20—30-х годов, отчасти опирающихся на практическую сторону жизни.

Например, у Н. А. Полевого в «Очерках русской литературы» (СПб., 1839, т. 1): «Угрюмый опыт останавливает мечту и щиплет крылья моего воображения» (Предисловие, с. XXI); «Посулы будущего уже не обольщают души моей, и золотые сны не облекают наготы существенного» (там же, с. XX); «Дух испытательности, сын дивного века нашего, сорвал с глаз наших все повязки, развил в душах наших новые, неизвестные отцам нашим струны» (с. 97); «Раздушенный выродок французской литературы давал пирушку дремлющей русской душе и крепко спавшему русскому уму» (109); «В сердцах человеческих рассыпаны искры неба и, при электрическом сотрясении одного, сии искры раскаляются...» (113); «Французская поэзия целые сто лет надевала на себя обноски придворные, и целое столетие шаркала между переднею и будуаром...» (296); «Ломоносов... вставил язык русский в грамматическую рамку за историческое стекло» (363); «Род человеческий совершает свое течение спиралью, бесконечным винтом» (383); «Тысячи рифмачей писали запоем пошлости» (442); «Видно, как автор нанизывал стих к стиху и разводил узоры мыслей, определенных квадратцами канвы» (444): «Мы... не зарыли таланта в землю как раб ленивый в притче евангельской, старались разрабатывать тайные рудники души нашей, не тушили света во мраке тяжелого бытия» (XX).

В повести Н. А. Полевого «Блаженство безумия»: «Вот три высоких состояния души человеческой, и при всех трех уму и языку дается полная отставка»; «Я видел не прежнего холодного Антиоха... запеленанного в формы и приличия»; «К несчастью, глаза людей заволокает темная вода: они... пугаются привидений священной полуночи дружбы»; «Привидение, сеющее бесплодные семена или попускающее расклевывать их галкам и воронам ничтожных отношений» [2] и т. д.

Из писем Н. А. Полевого к брату: «Ведь жизнь-то значит счастье и наслажденье, а я откупорил стклянку с этим небесным газом — он вылетел и теперь, как ни запирай эту драгоценную стекляночку,—

---

[1] Очень характерно художественно подчеркнутое сопоставление двух фразеологических систем — племянника (Александра) и дяди (Петра Ивановича) в «Обыкновенной истории» Гончарова.

[2] *Полевой Н. А.* Мечты и жизнь. Были и повести. М., 1833, ч. 1.

она пуста»[1]; «Я как будто забыл о делах, этих мерзких червях, которые точат нас заживо» (415); «Не станем же гадить небесных чувств словами: они даны нам на издержки земные» (442); «Не поверишь, как мне тошно и отвратительно среди этого клубка глистов» (443); «Я не встречал нового года ни слезами, ни вином, а так, остеклелый какой-то, старался вмять его в ряд других дней» (443) и т. п.

Таким образом, эта фразеологическая риторика (à la Марлинский) или парила в беспредметных и противоречивых метафорах, в отвлеченных перифрастических описаниях чувств, или ниспадала в мир вещной, часто профессионально-бытовой или технической действительности, используя ее предметы и представления для метафоризации душевного мира и общественных взаимоотношений, коллизий или настроений, для выражения характеристических различий в поведении людей. Конечно, истоки этого литературного стиля нужно искать в романтической литературе 20—30-х годов. В языке Бестужева-Марлинского можно наблюдать разгул таких романтических перифраз и описательных метафор: «На языке Бестужева вместо того, чтобы, например, сказать «скучать в разлуке с любимым человеком», иадо выразиться так: «считать песчинки часов, разлучающие нас, считать версты, между нами лежащие» («Аммалат-Бек»); вместо «застрелить» он говорит: «запечатать рот свинцовой печатью» (там же); вместо «затаить свое желание» — «замкнуть сердце молчанием» («Страшное гаданье»); вместо «попасть в полынью и утонуть» — «ночевать с карасями под ледяным одеялом» (там же) и т. п. Обычно олицетворение неодушевленных предметов и картинное овеществление отвлеченных понятий, иногда в очень вычурной, но при этом всегда пластической форме... Например: «Кавказ носит ледяной шлем на гранитном своем черепе» («Вечер на Кавказских водах»); «По углам развеваются кружева Арахны» («Ревельский турнир»); «Речь кипит ключом, сбросив светские узы жеманства» («Часы и зеркало»); «Коса смерти гуляет в поле» («Мулла — Нур»); «Ледяной истукан целомудрия подтаивает от дыхания страстей» (там же) и т. п. И. С. Тургенев так характеризовал эти стилистические тенденции: «Герои à la Марлинский — попадались везде, особенно в провинции и особенно между армейцами и артиллеристами; они разговаривали, переписывались его языком». («Стук... стук... стук»). «Софья Кирилловна... не даром любила Марлинского. Она также умела кстати прибегнуть к украшениям новейшего слога. Слова: *артистический, художественность, обусловливать* так и сыпались из ее уст» («Два приятеля»)*[1].

А. И. Герцен дал яркое описание этих стилей русского литературного языка: «Язык того времени (30-е годы) нам сдается натянутым, книжным; мы отучились от его неустоявшейся восторженности, нестройного одушевления, сменяющегося вдруг то томной нежностью, то детским смехом...» Герцен характеризовал этот романтический язык как jargon de la puberté, замечая, что «даже книжный отте-

---

[1] *Полевой К. А.* Записки о жизни и сочинениях. СПб., 1888, с. 397. Далее в скобках указаны страницы этого издания.

нок естественен возрасту теоретического знания и практического невежества» («Былое и думы»)*2. И. С. Тургенев старался воспроизвести фразеологию 30-х годов при обрисовке образа Михалевича в «Дворянском гнезде» (гл. XXV): «...волны жизни упали на мою грудь...»; «Я тебе прочту мою последнюю пьесу: в ней я выразил самые задушевные мои убеждения»; «Я был тут орудием судьбы,— впрочем, что это я вру,— судьбы тут нету; старая привычка неточно выражаться...»; «Ты эгоист, вот что!.. ты желал самонаслаждения, ты желал счастья в жизни, ты хотел жить только для себя... Что такое самонаслаждение? И оно должно было рухнуть. Ибо ты искал опоры там, где ее найти нельзя, ибо ты строил свой дом на зыбком песке...» и т. п.

Интересно сопоставить приемы фразообразования, свойственные стилю Марлинского или Полевого, с комически-трескучей фразеологией просительного письма некоего разночинца Никанора Иванова Пушкину (1835 г., 2 ноября): «С телом, истомленным адскою болезнью... которая, как червь, по капле в день сосет кровь из его сердца»; «Как Прометей мифологический, хищник небесного огня,— прикован он цепями нужды к ужасной скале нищеты, а коршуны-страсти неумолимо терзают его сердце» (245); «Я сорвался с цепей своих, как тигр, и, стремясь в родную дебрь, погряз в тине смрадного болота» (246); «Я хотел убить жар сердца и души подобно мужам древности» (247) и т. п.[1] Но предельное напряжение риторического пафоса, отягощенного комическими несоответствиями, осознается как порок уже к 40-м годам (ср. борьбу Белинского с эпигонами Марлинского).

Образы, метафоры нового стиля часто имели конкретно-бытовую, даже производственную основу. Отвлеченное преломлялось сквозь призму привычно-реального, повседневного. Отсюда-то и является отпечаток игривой иронии, комических несообразностей, тон авторской издевки, насмешливого подмигивания, который создавал своеобразную экспрессивную атмосферу речи.

Вот примеры предметно-бытовой, иногда производственной или профессиональной метафоризации из повести «Авторский вечер. Странный случай с моим дядей», пародирующей язык «Библиотеки для чтения». «С головами *раскаленными*, как говорится ныне, всем тем, чем питался пиитический их дух» (23); «Перепалка трескучего пламени чувств» (44); «Самозабвение сплавливает в одно святое наслаждение частную и общественную жизнь (что за *плавильщик* такой самозабвение?)» (96); «Нет средств удержать удивления, которое заставляет перекипать сердце через край» («Уподобление в этом случае сердца котлу или горшку, в котором перекипает через край жидкость, только что унижает предмет и больше ничего»,— комментирует противник нового стиля) (98—99); «Весна бросила изменнические искры причуд в зарядный ящик воображения (просто и прямо сказать тебе, мой друг, такого рода метафорическое выражение есть кривляние, гаерство)» (102); «Сквозь эту ржавчину прошедше-

[1] *Пушкин А. С.* Переписка, т. 3, с. 245. В скобках указаны страницы этого издания.

го века в нем просвечивают блестящие крупинки и пластинки, как в золотой руде, покрытой грубою корою» (114) и мн. др.

Метафоризация могла принимать даже естественнонаучный характер. «Любовь *разложила меня в стихии* всех возможных чувствований, и, если бы она меня поцеловала, я бы в один миг *испарился*... Я показываю, что я учился физике и химии, что можно разлагать всякую вещь на стихии: любовь разложила меня. Знаю, что все, разложенное на стихии, может испариться». Ср. еще примеры: «*Мерзнуть* в жизни и науке» (68); «Нынешняя словесность, *опрокидывающая* все понятия»; «Он снова *выкинул* меня в вечность» (106) и др. под.

В этой фразеологии, которая, правда, была свойственна далеко не всем группам русского общества 30—40-х годов (ср., например, язык таких писателей, как М. П. Погодин*3, В. И. Даль, Я. Бутков*4 и др.), интересна, помимо «смешанной» стилистической структуры, ориентация на предметы и понятия, относящиеся к сфере производственно-технической или естественнонаучной. В дворянской художественной литературе 30-х годов В. Ф. Одоевский*5, охотно пользовавшийся образами и понятиями естествознания или, вернее, идеалистической «натуральной философии», занимал довольно обособленное место. В литературных стилях 30—40-х годов искание новых, более сложных, «наукообразных» форм идеологии для вовлечения их в систему литературного языка привело к широкой области наук о природе и об обществе. С этой точки зрения очень знаменательны физиологические, химические, естественнонаучные каламбуры, встречающиеся даже у Н. А. Полевого, вроде: «Старики передали нам слово *изверг*. Это слово почти не годится для нас. Кто теперь *изверг*, т. е. человек, которого не сварил бы желудок нынешнего общества? Напротив, общество нынешнее никогда не чувствует *индижестии*... Но есть в химии словцо, которое надобно бы нам принять в общий язык, это — слово *низверг*. Им обозначают осадку, которая происходит от смешения двух жидких или жидкого с твердым тел. Этот добрый низверг садится спокойно на дно сосуда, как будто не его дело, и остальному, что есть в сосуде, также нет никакого дела до низверга. Ах! сколько *низвергов* в наше время, когда *изверги* совсем исчезли»[1].

Но прежде чем говорить о радикальных изменениях в общей системе лексики и семантики книжного языка, о новых, вышедших на поверхность литературной речи общественно-идеологических пластах, необходимо вскрыть основные стилистические противоречия литературного развития и очертить со всех сторон границы литературного языка — в новом понимании.

§ 7. БОРЬБА С ФРАЗОЙ ВО ИМЯ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ОТРАЖЕНИЯ ЖИЗНИ

Наряду с процессом приспособления романтической фразеологии к новым потребностям общества протекает процесс борьбы с роман-

[1] Новый живописец общества литературы, 1832, т. 2, с. 54.

тической фразой во имя простого и прямого, делового и точного отражения действительности. И. А. Гончаров в своей «Обыкновенной истории» с необыкновенной остротой показал столкновение двух фразеологических систем в образах Александра Федоровича Адуева и его дяди — дельца новой формации Петра Ивановича Адуева. Племянник говорит на «диком» романтическом языке.

«— Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности; во мне кипело желание уяснить и осуществить»... Петр Иваныч приподнялся немного с дивана, вынул изо рта сигару и навострил уши.

— Осуществить те надежды, которые толпились...

— Не пишешь ли ты стихов? — вдруг спросил Петр Иваныч.

— И прозой, дядюшка, прикажете принести?

— Нет, нет!.. после когда-нибудь; я так только спросил.

— А что?

— Да ты так говоришь...

— Разве нехорошо?

— Нет, может быть, очень хорошо, да дико».

Ср.: «— Я постараюсь, дядюшка, приноровиться к современным понятиям. Уже сегодня, глядя на эти огромные здания, на корабли, принесшие нам дары дальних стран, я подумал об успехах современного человечества, я понял волнение этой разумно-деятельной толпы, готов слиться с нею...

Петр Иванович, при этом монологе, значительно поднял брови и пристально посмотрел на племянника. Тот остановился.

— Дело, кажется, простое — сказал дядя,— а они бог знает, что заберут в голову... «разумно-деятельная толпа...»

Еще пример: «— Как, дядюшка, разве дружба и любовь — эти священные и высокие чувства, упавшие как будто ненарочно с неба в земную грязь...

— Что?

Александр замолчал.

— Любовь и дружба в грязь упали: Ну, как ты этак здесь брякнешь?»

Ср. также: «Я истреблю этого пошлого волокиту: не жить ему, не наслаждаться похищенным сокровищем... Я сотру его с лица земли!.. Петр Иванович засмеялся.— Провинция,— сказал он».

Ср.: «Он был тих, важен, туманен как человек, выдержавший, по его словам, удар судьбы,— говорил о высоких страданиях, о святых возвышенных чувствах, смятых и втоптанных в грязь — «и кем?» прибавлял он: «девчонкой, кокеткой и презренным развратником, мишурным львом. Неужели судьба послала меня в мир для того, чтобы все, что было во мне высокого, принести в жертву ничтожеству?...»*[1]

Разрушением шаблонов цветистого и оторванного от бытовой практики романтического стиля неутомимо занимается с половины 30-х годов Гоголь (особенно в первом томе «Мертвых душ»). А призыв к борьбе с фразой исходил еще от Пушкина. В. Г. Белинский во второй половине 30-х годов начал вести энергичную борьбу против «диких фраз и натянутого высокого и страстного слога», сделав объ-

ектом своих нападений Марлинского и затем риторическую школу вообще, став идеологом и пропагандистом реалистического стиля. Но особенно яркое и своеобразное выражение эта борьба с романтической фразой нашла с 50-х годов в творчестве Л. Толстого.

Литературное пренебрежение к фразе, к аффектированным и условно-риторическим приемам выражения в языке Л. Толстого (50—60-х годов) было одним из проявлений стилистической борьбы с романтическими стилями предшествующей эпохи, с их искусственной фразеологией, с их застывшей характерологией и мифологией. На литературном знамени Толстого был девиз: простота и правда. Толстой борется за реалистический стиль, за беспощадное разоблачение чисто словесных штампов, за точное, красочное и неприглаженное воспроизведение в слове действительности [1].

Конечно, самые приемы и принципы этого толстовского реализма обусловлены идеологически, т. е. теми миросозерцательными нормами, которые определяют художественную манеру понимания и словесного воплощения действительности.

В семантике литературного языка отражаются функциональные связи предметов, явлений, событий, понятий, характеров, признанные и осознанные данной общественной средой, и — вместе с тем — свойственное этой среде понимание сущности всех этих предметов и явлений, ее оценка их соотношений и взаимоотношений. Живая предметная сущность вещей и понятий часто отражается в слове не непосредственно, не прямо, а через призму культурных и бытовых традиций данного общества, группы, через призму их идеологии, мифологии и разных навязанных «цивилизацией» условностей. Эти условности, создавая своеобразный риторический покров поверх действительности, могут совершенно искажать и даже затемнять подлинную структуру мира и истинные значения слов. Уже Гоголь в своих произведениях, особенно в «Мертвых душах», начал борьбу с романтическим и официально-бюрократическим искажением действительности, с «кривым зеркалом» романтических и официально-канцелярских фраз.

Слова, называя предмет или явление, качество, нередко скрывают их подлинную, «естественную» сущность, подменяя понимание их живой, противоречивой и сложной природы традиционным, односторонним представлением о них. По воззрению Толстого, необходимо исходить не от слов, а от «дел», от жизни, надо идти от живого явления, рассматриваемого в его внутреннем существе и от его реального сознания и понимания к его обозначению, проверяя принятые значения слов на фактах. Так, весь рассказ Толстого «Набег» построен на вариациях образов и событий, связанных с определением значения слова *храбрость* — во всей «истине и простоте». Адекватное и объективное выражение предмета, значения в слове, по Толстому, обуслов-

---

[1] Позднее, в своем дневнике (под 13 декабря 1902 г.), Толстой писал: «Нужно тонкое чутье и умственное развитие для того, чтобы различить между набором слов и фраз и истинным словесным произведением искусства» («Лев Толстой о литературе и искусстве».— Литературный критик, 1935, № 11, с. 86).

лено соответствием и связью слова со всем контекстом подлинно «народной» русской жизни и идеологии. Слова могут быть лишь прикрытием, а не раскрытием истинного содержания сознания. Они часто бывают пустой актерской фразой, позой, искусственно выставляющей какую-нибудь мнимую, навязанную ложными понятиями черту характера, эмоцию. Разоблачение таких фраз составляет своеобразную особенность стиля Толстого [1], являющуюся дальнейшим развитием и углублением реализма Пушкина и Гоголя.

Словам-маскам, «фразам» идеологически противостоят слова как непосредственные, простые, правдивые отражения жизни во всей ее неприкрашенной наготе и противоречивой пестроте и сложности. Романтическим красивым фразам, которые являются «выдумкой», прикрывающей и скрывающей истинную сущность предмета, Толстой полемически противопоставляет непосредственное обозначение предмета — в его подлинном виде — и прямое выражение впечатления от него, от его «чувственного» переживания. Так, в повести «Казаки» — в контраст с условной романтической фразеологией, с фразеологией Марлинского и его эпигонов, окутывающей тему гор,— изображаются горы — через восприятие героя, отвергающее условности литературной фразеологии.

Точно так же Толстой борется уже в 50-х годах с риторическим языком «светской» повести 20—40-х годов, с той аффектированной романтической фразеологией, при посредстве которой там выражались чувства и разные высокие порывы героев. В этом отношении характерен такой диалог в повести «Семейное счастье», направленный против фетишизма высоких слов и против всяких торжественных деклараций чувства:

«— А мне кажется, что и мужчина не должен и не может говорить, что он любит,— сказал он.

— Отчего? — спросила я.

— Оттого, что всегда это будет ложь. Что такое за открытие, что человек любит? Как будто, как только он это скажет, что-то защелкнется, хлоп — любит. Как будто, как только он произнесет это слово, что-то должно произойти необыкновенное, знамения какие-нибудь, из всех пушек сразу выпалят. Мне кажется,— продолжал он,— что

---

[1] Так, в «Рубке леса»: «И козлы ружей, и дым костров, и голубое небо, и зеленые лафеты, и загорелое усатое лицо Николаева — все это как будто говорило мне, что ядро, которое вылетело уже из дыма и летит в это мгновение в пространстве, может быть, направлено прямо в мою грудь.— Вы где брали вино? — лениво спросил я Болхова, между тем как в глубине души моей одинаково внятно говорили два голоса; один — господи, прими дух мой с миром, другой — надеюсь не нагнуться, а улыбаться в то время, как будет пролетать ядро,— и в то же мгновение над головой просвистело что-то ужасно неприятно, и в двух шагах от нас шлепнулось ядро.— Вот, если бы я был Наполеон или Фридрих,— сказал в это время Болхов, совершенно хладнокровно поворачиваясь ко мне,— я бы непременно сказал какую-нибудь любезность...— Тьфу ты, проклятый!— сказал в это время сзади нас Антонов, с досадой плюя в сторону,— трошки по ногам не задела.

Все мое старание казаться хладнокровным и все наши хитрые фразы показались мне вдруг невыносимо глупыми после этого простодушного восклицания»*[2].

люди, которые торжественно произносят эти слова: «я вас люблю»,— или себя обманывают, или, что еще хуже, обманывают других.

— Так как же узнает женщина, что ее любят, когда ей не скажут этого? — спросила Катя.

— Этого я не знаю,— отвечал он,— у каждого человека есть свои слова. А есть чувство, так оно выразится. Когда я читаю романы, мне всегда представляется, какое должно быть озадаченное лицо у поручика Стрельского или у Альфреда, когда он скажет: «Я люблю тебя, Элеонора!» — и думает, что вдруг произойдет необыкновенное; и ничего не происходит ни у ней, ни у него,— те же самые глаза и нос и все то же самое...»[1]*4

В этой связи уместно вспомнить замысел Толстого: написав психологическую историю — роман Александра и Наполеона,— разоблачить «всю подлость, всю фразу, все безумие, все противоречие людей их окружавших и их самих».

Разоблачение несоответствий между «фразой» и действительностью используется как внушительный полемический прием своеобразного стиля воспроизведения: один — фальшивый, романтически-приподнятый, эмфатический, не соответствующий живой жизни, и другой — отражающий «подлинное» течение событий, называющий вещи их «настоящими» именами. Так, в очерке «Севастополь в мае» обнажается лживый тон «геройских» военных рассказов, т. е. намечаются те приемы батального стиля, которые нашли полное выражение в стиле романа «Война и мир»[2].

В «Войне и мире» действительность как бы освобождается автором от обманчиво покрывающего и скрывающего ее тумана трафаретных слов. Иногда это несовпадение, этот разрыв между подлинным фактом, событием и его «ярлыком», его принимаемым по традиции обозначением непосредственно демонстрируется.

«Меньше страху, меньше новостей,— говорилось в афише,— но я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет. Эти слова в первый раз ясно показали Пьеру, что французы будут в Москве».

Еще полнее и шире обнажено раздвоение, несоответствие действительности, простой жизненной правды и условного стиля ее словесной передачи при воспроизведении рассказа Николая Ростова о

---

[1] Ср. в «Воспоминаниях» Л. Толстого об отце: «В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств: «несравненная, обожаемая, радость моей жизни, неоцененная» и т. д.— были самые распространенные эпитеты между близкими, и чем напыщеннее, тем были неискреннее. Эта черта, хотя и не в сильной степени, видна в письмах отца. Он пишет: ma bien douce amie, je ne pense qu'au bonheur d'être aprés de toi и т. п. Едва ли это было вполне искренно»*3.

[2] «Пест стал рассказывать, как он вел свою роту, как ротный командир убит, как он заколол француза и что ежели бы не он, то ничего бы не было и т. д. Основания этого рассказа, что ротный командир был убит и что Пест убил француза, были справедливы, но, передавая подробности, юнкер выдумывал и хвастал. Хвастал он невольно, потому что во время всего дела находился в каком-то тумане и в забытьи до такой степени, что все, что случилось, казалось ему случившимся где-то, когда-то и с кем-то... Но вот как это было действительно...»*5.

Шенграбенском деле. Здесь пародирована и батально-романтическая традиция эпигонов Марлинского.

«Он рассказал им свое Шенграбенское дело совершенно так, как обыкновенно рассказывают про сражения участвовавшие в них, то есть так, как им хотелось бы, чтобы оно было, так, как они слыхали от других рассказчиков, так, как красивее было рассказывать, но совершенно не так, как оно было... Не мог он им рассказать так просто, что поехали все рысью, он упал с лошади, свихнул руку и изо всех сил побежал в лес от француза. Кроме того, для того, чтобы рассказать все, как было, надо было сделать усилие над собой, чтобы рассказать только то, что было. Рассказать правду очень трудно, и молодые люди редко на это способны. Они ждали рассказа о том, как горел он весь в огне, сам себя не помня, как бурею налетал на каре; как врубался в него, рубил направо и налево; как сабля отведала мяса и как он падал в изнеможении, и тому подобное. И он рассказал им все это»*[6].

В первоначальном тексте «Войны и мира», напечатанном в «Русском Вестнике», Николай Ростов перед атакой размышляет и мечтает соответственно осмеиваемым Толстым правилам и законам романтической фразеологии, хотя изображаемая автором действительность комически разоблачает беспочвенность и нереальность этих «красивых» фраз. «Про атаку Nicolas слышал как про что-то сверхъестественно-увлекательное. Ему говорили: как в это каре врубаешься, так забываешь совсем себя, на гусарской сабле остаются благородные следы вражеской крови и т. д.

— Добра не будет, сказал старый солдат. Nicolas с упреком посмотрел на него...»

«Врубиться в каре,— подумал Nicolas, сжимая эфес сабли. Впереди он видел первый ряд своих гусар, а еще дальше впереди виднелась ему темная полоса, которую он не мог рассмотреть, но считал неприятелем».

«Скорее бы, скорее: дать сабле поесть вражьего мяса, — думал Nicolas. Он не видел ничего ни под ногами, ни впереди себя, кроме крупов лошадей и спин гусаров переднего ряда».

Ср. позднее в «Анне Карениной» слова Вронского, отправляющегося на войну в Сербию: «Жизнь для меня ничего не стоит. А что физической энергии во мне довольно, чтобы врубиться в каре и смять или лечь,— это я знаю».

Этот прием полемического и пародийного «раздвоения» художественной действительности, прием сопоставления двух форм ее изображения — фальсифицирующей жизнь, прикрывающей ее туманом красивых фраз, и реалистически-правдивой (с точки зрения автора) — применяется Толстым (с третьего тома «Войны и мира») к риторическому стилю «историков».

Пародически обнажая несоответствие слов и вещей-понятий, обличая условно-номенклатурный характер многих обозначений, отсутствие внутренней связи между названием, официальным или обычным пониманием предмета и его существом, Толстой нередко дает сначала «простое», вернее, «опрощенное» и наивно-непосредственное,

освобожденнное от условностей описание явления или определение предмета, а затем уже указывает на принятое название его или же сразу приемом абсурдно-иронического приравнения разоблачает бессмысленность названия и фальшь установившегося понимания. Например, в «Войне и мире»: «Военное слово *отрезать* не имеет никакого смысла. *Отрезать* можно кусок хлеба, но не армию. *Отрезать армию* — перегородить ей дорогу — никак нельзя, ибо места кругом всегда много, где можно обойти, и есть ночь, во время которой ничего не видно». Ср.: «большинство так называемых *передовых людей*, т. е. толпа невежд».

Ср. также прием демонстрации «ложного» значения слова путем пояснительного раскрытия фактически включаемого в слова содержания. Например: «Профессор, смолоду занимающийся наукой, т. е. читанием книжек, лекций и списыванием этих книжек и лекций в одну тетрадку»[1].

В этом аспекте должны интерпретироваться и стилистические формы обнаженно-инфантильных, чисто толстовских изображений театрального «лицедейства» (а также официальных, в том числе и церковных, обрядов и «таинств», как, например, в «Воскресении») или традиционного взгляда на ход мировой истории.

Этот прием совлечения условного имени с лица, предмета, понятия и — вместе с тем — прием выведения вещей, действий, понятий из того функционального ряда, к которому они были приписаны и прикреплены силою общественного предрассудка, властью «культурной» традиции, системой данного общественного уклада, обычаями и нормами цивилизации, — этот прием требует оправданной, прямой связи между словом и предметом-понятием. Конечно, оправдание этой связи обусловлено идеологией писателя.

Знаменательны такие заявления Толстого в письмах к Н. Н. Страхову*[7]: «Если бы я был царь, то издал бы закон, что писатель, который употребил слово, значения которого он не может объяснить, лишается права писать и получает 100 ударов розгой» (от 6 сентября 1878 г.)[2]. «Какое сильное орудие невежества — книгопечатание, и эта масса книг без указаний — выделений того, что в книгах есть рост человеческого сознания, и что — слова, — и глупые часто» (от 3 марта 1887 г.)[3].

Любопытно также свидетельство В. В. Вересаева о Толстом:

«Самое слово *трагизм*, видимо, резало его ухо, как визг стекла под железом. По губам пронеслась насмешка.

— Трагизм!.. Бывало, Тургенев приедет, тоже все: траги-изм, траги-изм»... («Живая жизнь»)*[8].

Эта же идеологическая борьба с условными литературными словами-масками, с отвлеченными терминами, прикрывающими неясные

---

[1] Ср. в письме к А. А. Толстой (октябрь 1875 г.): «Только честная тревога, борьба и труд, основанные на любви, есть то, что называют счастьем. Да что счастье — глупое слово, не счастье, а хорошо». Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857—1903. СПб., 1911, с. 93—94.

[2] Л. Толстой и о Л. Толстом. Новые материалы. М., 1924, сб. 2, с. 40.

[3] Там же, с. 50—51.

понятия или же лишенными (с точки зрения автора) непосредственного жизненного содержания, окрашивает публицистику Толстого в 50—60-е годы.

§ 8. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 30—50-х ГОДОВ И КРЕСТЬЯНСКИЕ ГОВОРЫ

Специфические особенности понимания «литературности» как стилистической категории вытекали в русском обществе 30—50-х годов не только из изменившихся стилистических вкусов, из критического отношения к предшествующей традиции книжного языка, но и из новой оценки литературного значения разных классовых и профессиональных языков. Местные, диалектные разновидности крестьянского языка большей частью демократической интеллигенции 30—40-х годов в принципе отрицаются как материал для общелитературного языка. Н. А. Полевой в «Московском телеграфе» настойчиво развивает ту мысль, что литературно ценными в простонародном языке могут быть лишь такие формы выражения, которые имеют шансы стать национально-общими. Поэтому «язык черного народа» должен быть приспособлен к языку интеллигенции, а крестьянские областные диалекты должны оставаться за пределами литературной речи[1]. Даже В. И. Даль, при всех своих симпатиях к «простонародному» языку и его областным диалектам, все же санкционирует в народной речи преимущественно то, что приходит через средний класс, т. е. через язык широких слоев городского населения, или что является непосредственно понятным в аспекте буржуазного языкового сознания. «Говор черни перенимать никогда почти не станем»[2].

«Чуткое ухо», по словам Даля, должно предохранить «гражданина» от «порчи литературного языка» непонятными местными, областными выражениями, от «всякой разладицы с духом звучного родного языка» — например, от употребления выражения *играть песню* вместо *петь* (тульское); от слова *конфетчик* вместо *лавочник* (оренбургское); *бажоный* — вместо *милый;* от новгородского *блицы* вместо *грибы* и тому подобных диалектизмов, которые могли бы «испортить язык наш».

Но те же «русское ухо и русское чувство», по мнению Даля, помогут открыть преобразователю в «недрах» простонародного языка «множество превосходных, незаменяемых выражений, которые должны быть приняты в книжный язык наш (например, *тенетник*, в значении паутина, летающая осенью по лесам и полям; *опока* — пушистый иней на деревьях; *перевесло* — ручка, или дужка на ведре или корзине; *побудка* — вместо инстинкт и т. п.)». «Чем писать или говорить: я *попал из ружья слишком высоко* или *слишком низко* — нам позволят, надеюсь, сказать просто: я *обвысил, я обнизил*, а каким словом вы замените, например, простонародное слово *осунуться* (ступив не-

[1] См.: Московский телеграф, 1829, № 9, с. 15 и др.

[2] *Даль В. И.* Искажение русского языка.— В кн.: *Даль В. И.* Полн. собр. соч., т. 10, с. 548.

осторожно на сыпучую почву по окраине яра, обрушиться на него вместе с осыпавшеюся землею)?» (т. 10, с. 576).

Но, отстаивая литературные достоинства простонародных, чистых русских слов, Даль восстает против «речений, умничаньем искаженных и столь удачно прозванных галантерейными», против «выражений полукупчиков, сидельцев, разночинцев и лакеев, как, например, *патрет, киятер, полухмахтер* и пр.»[1].

Таким образом, в этом процессе чистки и литературной квалификации простонародных элементов отвергается все, что представляется узкоместным, областным, или испорченным и потому не может претендовать на национальную всеобщность. Кроме критерия «порчи» при отборе простонародных выражений в литературную речь имел основное значение критерий «образности» слова, его экспрессивной выразительности. Возможность непосредственного усмотрения образа, «внутренней формы» простонародного слова, при свете бытовой «этимологизации», решала литературную судьбу того или иного выражения.

Вообще в стилях городской интеллигенции (особенно столичной) и в стилях среднего чиновничьего круга «простонародность», струя крестьянского языка, тем более в его областных разветвлениях, нередко подвергалась презрительной оценке. Например, Сенковский вовсе запретил доступ в литературу «грубому мужицкому» языку и издевался над «лапотной школой», одним из представителей которой был Даль. Сенковский отрицал всякую близость между «мужицким языком» и языком хорошего общества даже по отношению к древнерусской эпохе. Вместе с тем крестьянская речь представлялась Сенковскому дикой и окаменелой формой первобытного, непросвещенного словесного выражения. «Мужики древние, — писал он, — говорили так же, как мужики в XIX в.; но бояре никогда не говорили, как мужики. Древняя русская аристократия была непросвещена, могла даже иметь грубые привычки, но она не была груба на словах»[2].

В рецензии на роман Вельтмана «Лунатик» Сенковский писал о «простонародности» в литературе: «Признаюсь откровенно, я не понимаю изящности этой кабачной литературы, на которую наши Вальтер-Скотты так падки. И как мы заговорили об этом предмете, то угодно ли послушать автора «Лунатика»:

«— Э, э, что ты тут хозяйничаешь?

— Воду, брат, грею.

— Добре. Засыпь, брат, и на мою долю крупки.

— Изволь, давай.

— Кабы запустить сальца, знаешь, дак он бы тово.

— И ведомо. Смотрико-сь, нет ли на поставце?»

Это называется изящной словесностью! Нам очень прискорбно, что г. Вельтман, у которого нет недостатка ни в образованности, ни в таланте, прибегает к такому засаленному средству остроумия. Нет

---

[1] *Даль В. И.* О русском языке.— В кн.: *Даль В. И.* Толковый словарь. СПб., 1863, т. 1, с. XVI.

[2] Русский архив, 1882, кн. 3, тетр. 6, с. 150.

сомнения, что можно иногда вводить в повесть и просторечие; но всему мерою должны быть разборчивый вкус и верное чувство изящного; а в этом грубом сыромятном каляканье я не вижу даже искусства»[1].

Такое отношение к крестьянскому языку представляло резкий социальный контраст с параллельным тяготением других писателей к «простонародности», к областной экзотике поместно-деревенской речи. (Ср. язык Гоголя, затем Григоровича, Тургенева и др.) Полного запрета на крестьянские, даже областные слова вообще не могло быть. Принимались лишь ограничительные меры[2]. Тем более, что сама тема деревни, в жорж-сандовских красках воплощенная русской литературой 40-х годов (преимущественно дворянскими ее стилями), вела к крестьянским говорам. Однако стилистические функции крестьянской речи здесь стали иными, чем в предшествующей литературно-языковой традиции. Крестьянские слова и выражения не ассимилировались «авторским» литературным языком, не нейтрализовались им, а наоборот, служили средством его экспрессивного «раскрашивания», создавая атмосферу сочувствия автора деревне, содействуя сентиментальному освещению крестьянского быта. При посредстве своеобразного «цитирования» крестьянских фраз автор сближал свою точку зрения с языковыми «самоопределениями» деревни или вызывал иллюзию натуралистичности изображения. Таким образом, литературного обобществления крестьянской (особенно диалектальной, областной) лексики обычно не происходило (ср. стиль Даля). Она оставалась характеристической приметой определенного литературно-художественного жанра. В зависимости от этого были и искусственные принципы отбора и подбора (несколько экзотического или, по крайней мере, этнографического) крестьянских выражений в авторском языке. Так, в повести Д. В. Григоровича «Деревня» (1846): «Тетка Фекла... уступила скотнице Домне полосатую *поневу* покойницы за ее изношенные *коты*»; «страсть к битью, подзатыльникам, пинкам, *нахлобучникам*»; «каждая с каким-нибудь делом, прялкою, гребнем или *коклюшками*»; «много разных разностей говорилось на *засидках* у Домны»; *«раздобаривать»;* «пономарь был в ту пору *буявый*»; «*натянулся* сивухи»; «Карп не терпел ни в чем *супротивности*»; «встряхнет, бывало, Карп забубенною, *непутною* своей головушкой»; «принимается за *косушку*»; «находила на него дурь *рвать* лишнюю *косушку*»; «сын, парень *превзродный*, рыжий, как кумач, полинявший на солнце»; «доски, унизанные ватрушками, *гибанцами*»; «воз заезжего купца-торгаша с красным товаром... *намистьями*»; «это-то равнодушие и *запропастило* в конец голову бедной бабы» и мн. др. Еще более изысканны и однообразны формы крестьянского языка в диалоге. Ср. «букет» таких выражений: *«сталось тебе не-*

---

[1] Библиотека для чтения, 1834, кн. 5.

[2] Ср. замечание Белинского, направленное против И. С. Тургенева: «Я боюсь, чтоб он не пересолил, как он пересаливает в употреблении слов орловского языка, даже от себя употребляя слово *зеленя*, которые так же бессмысленно, как *селеня* и *хлебеня*, вместо *села* и *хлеба*» (*Белинский В. Г.* Письма. СПб., т. 3, с. 338).

слюбно смотреть за ними»; «из *любка* любую (невесту) выбирает»; «рубахи *состебать* не может»; «что ты мне *белендрясы*-то пришел *плесть*»; «*кажинный чураться* нас станет»; «весь свет *осуду* на иас положит за такую *ахаверницу*»; «коли по случай горе прикатит, коли *жустрить* начнет» и мн. др. под. Автор подчеркивает необычность своей языковой позиции, своей темы и насыщает стиль сентиментальной иронией: «Хотя рассказчик этой повести чувствует неизъясимое иаслаждение говорить о просвещенных, образованных и принадлежащих к высшему классу людях; хотя он вполне убежден, что сам читатель несравненно более интересуется ими, нежели грубыми, грязными и вдобавок еще глупыми мужиками и бабами, однако ж, он перейдет скорее к последним, как лицам, составляющим, увы! главный предмет его повествования»*[1].

В. И. Чернышев, отстаивая художественный приоритет И. С. Тургенева в широком литературном освоении областной народной речи, очень ярко характеризует язык «Деревни» Григоровича: «Деревня Григоровича... давала вообще слабообработанный язык с провинциализмами малоизученными и не указывала ясных и правильных путей использования последних... Крестьяне повести Григоровича нередко говорят языком деланным и неточным: «Вот в соседнем-то селе — Посыпкино... так ему *кличка*... Барин-де не смекает ничего в крестьянском деле, и... легко будет обмишурить, надуть такого барина. — Девка совсем негодная, кормилец; на всей деревне *просвету* нам с нею не дадут, кажинный чураться нас станет... Весь свет *осуду* на нас положит за такую *ахаверницу*. — *Нешто разве* не знала замужнего житья? — Левон Трифоныч. А ты что *прикорнул*?».

Автор, схватывавший народные слова на лету, и сам иногда не усваивал их точного значения и употребления. В народной речи *кличка* бывает только у людей и собак, а никак не у сел и деревень. — Слово *ахаверница* совсем не идет к кроткой Акулине, слова *нешто* и *разве* уничтожают одно другое; слово *прикорнул* значит прилег, а не притих, присмирел и т. д. Другие диалектизмы, которые встречаются у Д. В. Григоровича, частию непонятны, частию бульварны и разноместны (*нетути, инда, буркнуть, обиждать*)... И в собственной речи Д. В. Григоровича встречается немало выражений, не укладывающихся ни в чистый областной язык, ни в хороший литературный... Тут и странные значения (*сором лается, осененный окнами*), и неуклюжий синтаксис (*приглянулся истинною находкою* и т. п.).

В наблюдениях местного словаря у Григоровича не хватало остроты, точности и направленности, а употребление диалектизмов было у него неразборчивое и неискусное. В отношении к бытовой обстановке мы встречаем также в повести Д. В. Григоровича разные странности»[1].

Наглядным комментарием к языку повести Григоровича и вместе с тем к вопросу о роли крестьянской речи в системе литературного языка

---

[1] *Чернышев В. И.* Русский язык в произведениях И. С. Тургенева.— Изв. АН СССР. Отд. ОН. 1936, № 3, с. 478—479.

эпохи 30—40-х годов может служить такой рассказ И. С. Тургенева об этой повести, «по времени первой попытке сближения нашей литературы с народной жизнью, первой из наших «деревенских историй». Dorfgeschichte: «Написана она была языком несколько изысканным — не без сентиментальности; но стремление к реальному воспроизведению крестьянского быта было несомненно. Покойный И. И. Панаев... уцепился за некоторые смешные выражения «Деревни» и, обрадовавшись случаю поглумиться, стал поднимать на смех всю повесть, даже читал в приятельских домах некоторые, по его мнению, самые забавные страницы. Но каково же было его изумление, когда Белинский, прочтя повесть г-на Григоровича, не только нашел ее весьма замечательной, но немедленно определил ее значение и предсказал то движение, тот поворот, которые вскоре потом произошли в нашей словесности. Панаеву оставалось одно: продолжать читать отрывки из «Деревни», но уже восхищаясь ими, — что он и сделал»[1].

Все эти примеры и факты убедительно говорят, что, несмотря на различие отношений к крестьянским диалектам у разных общественных групп, крестьянский язык до 50—60-х годов сравнительно мало вовлекается в сферу «нормальной» литературной речи. Между крестьянскими говорами и литературным языком становится язык города в многообразии его классовых, профессиональных и функциональных расслоений.

§ 9. НАСЫЩЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ЭЛЕМЕНТАМИ ГОРОДСКОГО ПРОСТОРЕЧИЯ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМАМИ

Социальные диалекты города с 40—50-х годов становятся мощным источником пополнения литературы живой речью. От социального состава разных групп зависела степень близости их городского языка к деревенской, крестьянской речи и степень подчинения их стилей литературной традиции. Литература в ее основном русле («натуральная школа») теперь ориентируется на быт, на его классовые, сословные, профессиональные языковые деления. Задачей литературного стиля делается воспроизведение быта какой-нибудь социальной среды средствами ее языка. Для характеристики новых форм литературного языка и новых социальных оценок и осмыслений можно воспользоваться двумя такими примерами. В 30-х годах входит в литературный язык выражение *бить по карману*. Сенковский раскрывает социальное наполнение этой фразы в связи с ироническим изображением поведения Булгарина и других литературных промышленников: «Литературные промышленники, как народ тонкий и просвещенный, находят гораздо кратчайшим прямо засунуть руку в чужой карман и брать из него прибыль без всякого капитала науки и без малейшего труда на обделку какой-нибудь полезиой для общества

---

[1] *Тургенев И. С.* Литературные и житейские воспоминания.— В кн.: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. СПб., 1898, т. 12, с. 28—29.

идеи... Такова в коротких словах теория этой промышленности. Но все это еще не объясняет вам странного выражения — *бить по карманам*. Вы скажете, что это выражение нерусское, недворянское. Да кто же вам говорит, что оно было русское или дворянское? Тем лучше, тем лестнее для всех нас, что оно нерусское. Впрочем, об этом надобно было бы спросить у какого-нибудь великого грамматика[1]. Вы спросите, да кто же изобретатели этого гнусного выражения? Не знаю. Это не мое дело... История со временем объяснит эту любопытную тайну... Вот в чем состоит... знаменитая система «битья по карманам». Последователи ее, как скоро увидят, что кто-нибудь из книгопродавцев или издателей решился на обширное предприятие, тотчас становятся его притеснителями: он должен предаться в их руки, делать только то, что им выгодно, устранять от участия тех, кого они ненавидят или кому завидуют: нето, говорят и пишут они, мы тебя будем бить по карманам. Это значит придираться ко всему, подхватывать всякую мелкую ошибку в каждой издаваемой им книге и беспрерывными нападками в журналах терзать его издание с тем, чтобы «уронить» книгу в мнении людей, не имеющих своего суждения, и «разбить» издателя. *Уронить, разбить* — это их технические слова. Для большего успеха своих действий они составляют между собою наступательные союзы и правильные компании на акциях, чтобы потом делиться барышами»[2]. Характерно вообще широкое распространение торгово-промышленных и финансовых терминов и выражений в письменном русском языке 30—40-х годов. Например: «Счастлив, кто возьмет у будущего вексель, хоть на одну строчку в истории», — писал Н. А. Полевой А. А. Бестужеву от 20 декабря 1830 г. Ср. в письме М. П. Погодина к С. П. Шевыреву от 15 мая 1830 г.: «Знаю, что, заставляя тебя ожидать многое, я порчу будущее впечатление твое, даю большое заемное письмо и обанкручусь»[3].

Примером демократических изменений экспрессии и смысла может служить слово *паркетный*. В языке 20—40-х годов XIX в. оно получило переносное значение — с своеобразной экспрессивной окраской: выхолощенный, подвизающийся на паркетах великосветских гостиных (с оттенком пренебрежения). Круг употребления этого значения был довольно узок. Оно не выходило из границ отдельных фразеологических сочетаний, из которых наиболее частым было *паркетный шаркун*. Выражение *паркетные* или *будуарные* дамы осмеивается Пушкиным как принадлежащее «дурному обществу»*[1]. Легкая ирония, которая облекала фразу *паркетный шаркун* в литературном языке светского общества (например, в рассказе П. Сумарокова «Интересная незнакомка»: «Наняли танцмейстера. Несколько уроков сделали чудо, и месяца через два Агнеса держала себя так ловко, что первый паркетный шаркун не постыдился бы

---

[1] В «Словаре Академии Российской» (СПб., 1806, т. 1) этого выражения нет. В «Словаре церковнославянского и русского языка» (СПб., 1847) оно тоже отсутствует. В «Толковом словаре» В. И. Даля (2-е изд. 1880, т. 1, с. 90) оно определяется так: «*Бить по карманам* — мошенничать».

[2] Библиотека для чтения, 1838, № 1, кн. 4, с. 28—32.

[3] Русский архив, 1882, кн. 3, тетр. 6, с. 148.

пройти с ней рука об руку по Летнему саду»[1]), осложнялась и усиливалась экспрессией пренебрежения в речи широких демократических кругов. Достаточно сослаться на употребление этого выражения в «Бедных людях» и «Двойнике» Достоевского. Нельзя уяснить демократическую экспрессию этого значения слова *паркетный*, нельзя понять социально-полемическую направленность этого выражения, если не вспомнить, какая социальная дифференциация была связана с «паркетами» в быту первой половины XIX в. В очерке А. Чужбинского*[2] «Моншеры» так описывается различие между гвардейскими «пустозвонами» из аристократического круга и армейскими щеголями (моншерами): «...Петербургский пустозвон мог быть точно такой как Балабайкин (провинциальный армейский моншер), мог даже танцевать хуже нашего поручика, но самые глупости говорил как-то мягче, не так ломался, умел подлетать к даме и вообще мог доказать что ему нипочем паркеты, тогда как иной армейский моншер серьезно боялся паркета, как большой редкости в провинции. Паркет можно было встретить разве у очень богатого помещика, да и то если последний не принадлежал к числу людей, которые придерживались старосветских обычаев; а до какой степени паркеты не были знакомы большинству, можно видеть из того, что многие танцоры и танцорки натирали себе подошвы мелом, из боязни упасть на бале, и если с кем случалась подобная катастрофа, то это нисколько не конфузило, потому что на паркете, между тем растянувшийся на обыкновенном полу подвергался насмешкам»[2]. Ср. у И. В. Киреевского *[3] в статье «Нечто о характере поэзии Пушкина» характеристику Онегина: «Он не завлечен был кипением страстной, ненасытной души, но на паркете провел пустую, холодную жизнь модного франта»[3].

Параллельно с изменением значений у слов предшествующей языковой традиции идет процесс обогащения литературно-книжного языка словами, выражениями, оборотами из разных пластов устного городского языка. Литературный язык начинает пестреть «заимствованиями» из разных сословных и профессиональных диалектов. Стиль авторского повествования, который обычно понимается как норма литературности, сближается с устной речью города и даже деревни. Например, в рассказе Н. А. Некрасова «Без вести пропавший пиита»[4] язык авторского повествования содержит такие выражения: «Иван, поставленный мною в *тупическое положение*»; «Поджал под себя ноги, и *пошла писать*»; «Иван приводил в исполнение то, что, по его словарю, называлось *задавать тону*» и т. п. В рассказе Григоровича «Петербургские шарманщики»[5]: «чтоб получить медный грош, а иногда и надлежащее

---

[1] *Сумароков П. П.* Повести и рассказы. М., 1833, ч. 2, с. 223.

[2] *Чужбинский А.* Очерки прошлого. СПб., 1863, ч. 1, с. 62. Ср.: *Погодин М. П.* Письмо о русских романах (альманах «Северная лира», 1827, с. 262—263: «Сколько есть у нас Митрофанушек, и городских и сельских, кои являются на паркете большого света и кружатся на оном без цели и без плана». Ср. у Державина: «ходить умеет по паркету» («Великому боярину и воеводе Решемыслу»).

[3] Московский вестник, 1828, № 6, ч. 8, с. 191.

[4] См.: *Некрасов Н. А.* Собр. соч. М. — Л., 1930, т. 3, с. 21—50.

[5] См.: *Григорович Д. В.* Полн. собр. соч. СПб., 1896, т. 1, с. 5—29.

распекание от дворника»; (русский человек) «за словом в карман не полезет»; «ему нужно непременно *компанство*, товарищи» и др. В рассказе Даля «Петербургский дворник» еще гуще и разнообразнее смешаны с общелитературными формами книжной и разговорной речи профессиональные и жаргонные слова из языка разных общественных групп: «Чиновники идут средней побежкой между иноходи и рыси, так называемым у барышников *перебоем»; «навернул гайку»;* «доставал (горох) из красного, как жар, платка. Такие платки ныне в редкость; они назывались *бубновыми*»; «Григорий был не только коротко знаком со всеми плутнями петербургских мошенников, но понимал отчасти язык их... *стырить камлюх*, т. е. украсть шапку; *перетырить жулику коньки и грабли*, т. е. передать помощнику-мальчишке сапоги и перчатки; *добыть бирку*, т. е. паспорт; *увести скамейку*, т. е. лошадь, — все это понимал Григорий без перевода... Однажды... небольшая шайка проходила... от разъезда театра и, увидев товарища, поставленного для наблюдения *за ширманами* (т. е. за карманами) пешеходов, встретила его вопросом: что *клею*, т. е. много ли промыслил. А Григорий отвечал преспокойно: *бабки, веснухи, да лепень*, т. е. деньги, часы, да платок»[1].

В высшей степени показательно для общего стиля эпохи, что Некрасов в очерке «Петербургские углы», заставив дворового человека произнести слово *ерунда*, делает примечание: «Лакейское слово, равнозначительное слову *дрянь*»[2], а Достоевский настойчиво подчеркивает свои литературные права на слово *стушеваться*, которое он извлек из профессионального диалекта чертежников, придав ему переносное значение*[4]. Формы городского просторечия и профессионализмы служат не только характеристическими приметами изображаемой среды, но постепенно всасываются в общую систему литературно-книжного языка, ассимилируются ею. Таким образом, границы литературного языка расширяются. Постепенно открывается доступ в литературу разным социально-групповым и профессиональным диалектам, преимущественно городского быта, таким, которые раньше были за пределами литературного языка.

Однако характерно, что в это же время происходит систематическое собирание и широкая литературно-журнальная канонизация и той профессиональной лексики, которая обслуживала обиход помещичьего хозяйства. Именно в эту эпоху (30—40-е годы) появляются своеобразные литературные энциклопедии дворянского быта, в которых довольно полно представлен речевой материал (общественно-обиходный и профессиональный) дворянской среды (например, книги Д. Н. Бегичева*[5] «Семейство Холмских», «Ольга», «Быт русского дворянина» и др. под.). Очень симптоматично также появление в 1843 г. «Опыта терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта народного» Вл. Бурнашева. Поме-

---

[1] *Даль В. И.* Полн. собр. соч. СПб., 1897, т. 3, с. 350—354.
[2] *Некрасов Н. А.* Собр. соч., т. 3, с. 38.

щенные в этом словаре 25 тысяч слов, по словам автора, «принадлежат к полеводству, луговодству, огородничеству, садоводству, домоводству, домостроительству, скотоводству, овцеводству, коноводству, свиневодству, пчеловодству, птицеводству, рыбоводству, рыболовству, лесоводству, хмелеводству, шелководству, землеизмерению, плотничеству, кузнечеству, столярничеству, бондарничеству, слесарничеству, кожевничеству, кушнерству, портняжничеству, сапожничеству, сукноделию, ткачеству, валянью, солодовничеству, медоварению, салотоплению, воскобелению, свечелитству, пивоварению, свежеванию, хлебопечению, торфо-розысканию, свеклосахароварению, паточному и крахмальному производствам, виноградо-развождению, виноделию, винокурению, смолосадничеству, гончарничеству, солеварению, соледобыванию, рудокопству, металлоплавлению, птицеловству, звероловству, судостроению, судоходству и проч. и проч. и, наконец, житью-бытью русского простолюдья» (с. I — II). Для собрания и пояснения этих 25 тысяч терминов автор должен был, помимо чтения и изучения разных специальных сочинений, «беседовать часто с простолюдинами, посещать разные мастерские, постоялые дворы, лавки, рынки, торжища, народные собрания и проч.». «Отечественные записки» (№ 7, 1841) признали этот труд незаменимым для хозяина-помещика. «Северная пчела» (№ 121, 1841) писала о пользе словаря для «неопытного помещика» или «молодого чиновника, посланного в деревню», для всех тех, «кто живет в деревне и имеет дело с крестьянами, купцами, фабрикантами, ремесленниками и пр.», и категорически возражала против замены терминологии «перифразеологией».

Но значение словаря Бурнашева не исчерпывалось применением его в промышленно-технических целях. Он оказал влияние и на литературный язык, так как кодификация терминов обеспечивала им право на литературное употребление. Именно в эту эпоху укрепляются в литературном языке такие слова и выражения, нашедшие место в словаре Бурнашева[1] и не бывшие в словарях Российской академии: *агулом* (т. е. *огулом*, I, 2), *бакалия* (из новороссийского края; I, 26), *гурьба* (отмеченная в Академическом словаре XIX века как «старинное»; I, 166); *гусем* или *гуськом* (I, 166); *прикорнуть* (см. *корнуть* — о полегшем хлебе; I, 313); *косая сажень* (I, 318); *мягкотелый* (первоначально о плодах; I, 415); ср. также переносное употребление слова *скороспелый* — например *скороспелый* вывод; *осечься* (первоначально — о лошадях; II, 28); *строчить* (первоначально — о шве — у сапожников и портных); *топорный* (первоначально — о плотничьей работе — в отличие от столярной; II, 283) и мн. др. под.

Таким образом, границы литературности, установленные старой литературно-языковой традицией конца XVIII — начала XIX в. и в 20-х годах XIX в. несколько раздвинутые в сторону «простонародного», главным образом поместного и деревенского языка, теперь широко открываются для бытовой речи разных сословных и профессиональных групп города.

---

[1] Далее в скобках указаны тома и страницы этого словаря.

§ 10. ВОЗРАСТАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЧИНОВНИЧЬИХ ДИАЛЕКТОВ

Среди социальных диалектов города наиболее значительным по своему составу, употребительности, многочисленности носителей и по месту в общей структуре городского просторечия был язык чиновничества, служилого люда. Диалекты письменного и разговорного чиновничьего языка в 30—40-е годы широко вовлекаются в систему литературного языка, особенно повествовательных и публицистических его стилей. Элементы чиновничьего языка в области художественной прозы становятся основным социально-диалектальным материалом, из которого строится повествовательный сказ; они же широко вливаются в литературный диалог. Риторика канцелярского языка не только непосредственно воздействует на литературный язык, но и становится объектом художественной стилизации и пародирования. Например, в поэме Достоевского «Двойник» повествовательный стиль комически уснащается особенностями канцелярского письменного и чиновничьего разговорного языков: «*положил* ждать»; «*для сего* нужно было, *во-первых*, чтоб кончились как можно скорей *часы присутствия*»; «оправдался *в нагоняе... за нерадение* по службе»; «известное своим *неблагопристойным направлением* лицо» и мн. др. В рассказе «Господин Прохарчин»: «*неоднократно замечено* про разных иных...» Ср.: «могуче форменная фраза»; «*неоднократно замечено*»; «законное возмездие» (жалование); «присоединиться законным образом для составления напитка»... и мн. др.[1] В рассказе Григоровича «Лотерейный бал»: «тот благотворный нектар, который чиновник окрестил названием «пунштика»; «страстный любитель музыки, театра и вообще изящного, *как-то:* расписных московских табакерок, оружия и статуэток»; «*вопреки долга*, чести, приличия» и мн. др.*[2] Ср. распространение в литературном языке таких слов, фраз и идиом чиновничьего языка: «*найти в ком-нибудь — в чем-нибудь*» (например у Григоровича в «Лотерейном бале»: «этим ящиком я успел найти в человеке»); «*брать чем-нибудь*» (например у Достоевского в «Двойнике»: «чем он именно берет в обществе высокого тона»; «самозванством... в наш век не берут»); *замарать репутацию; состряпать дело; дело десятое; крючок* и т. п. Ср. в «Записных книжках» Гоголя широкое пользование терминологией и фразеологией, относящимися к сфере бюрократического механизма и чиновничьей практики*[3].

§ 11. КРИЗИС СТАРОДВОРЯНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ В 30—40-х ГОДАХ

В 30—40-е годы старая аристократическая культура художественного слова переживала кризис. Слово, выражение, стиль в художественном творчестве и мышлении аристократического круга литературы были «одеты миражами истории и искусства»: они стремились вос-

---

[1] Подробнее см. в моей книге «Эволюция русского натурализма» (Л., 1929), особенно в статье «Стиль петербургской поэмы Достоевского «Двойник»*[1].

кресить в сознании читателя образы разных стилей и культур. «Между словом и простой действительностью — цепь культурных наслоений. Слово прежде всего образует стиль, а стиль выражает идею; прямо же слово не может выражать, так как тогда оно, в понимании данной интеллектуальной культуры, не обработано духовными ценностями, неэстетично, и, следовательно бессмысленно»[1]. В господствующих литературных стилях первой четверти XIX в. художественное слово понималось в двух контекстах, их сливая, — в контексте быта, его вещей и их осмысления и в контексте «изящной словесности», ее образов и символов, ее сюжетов, ее стилистической культуры. Поэтому слово, фраза, выражая те или иные значения, обслаиваясь теми или иными смыслами в композиции произведения, направляя читательское сознание на те или иные «применения» (allusions, arrières pensées) к современной действительности, в то же время символически отражали сложные и разнородные сюжеты, темы русской или мировой литературы, были отголосками иных, предшествующих художественных произведений.

Мир в такой интеллектуальной культуре воспринимался через книгу, через стиль. «У путешественника Карамзина, — писал акад. А. Н. Веселовский, — западный стихотворец всегда в мыслях и руках — или в кармане для справки»[2]. «Весна не была бы для меня так прекрасна, если бы Томсон и Клейст не описали бы мне всех красот», — признается Карамзин:

Ламберта, Томсона читая,
С рисунком подлинным сличая
Я мир сей лучшим нахожу;
Тень рощи для меня свежее,
Журчанье ручейка нежнее;
На все с веселием гляжу,
Что Клейст, Делиль живописали;
Стихи их в памяти храня,
Гуляю, где они гуляли,
И след их радует меня.

(Деревня)

В реалистических стилях литературно-художественной речи 40—50-х годов вся эта сфера смысловых форм почти отпадает. Для них главное в слове то, что оно непосредственно значит, его предметно-бытовая основа: «Главное и почти единственное в тексте — мир, события и люди, изображенные в нем, идеи, высказанные прямо и точно сформулированные». Такое понимание вело к ломке понятия «художественной речи». Углублялось понимание действительности, осложнялось представление о внутреннем мире личности. Характерно, что Л. Толстой, читая Пушкина, 31 октября 1853 г. записал: «Я читал «Капитанскую дочку» и увы! должен сознаться, что теперь уже проза Пушкина стара — не слогом, — но манерой изложения.

---

[1] *Гуковский Г. А.* Неизданные повести Некрасова в истории русской прозы 40-х годов.— В кн.: *Некрасов Н. А.* Жизнь и похождения Тихона Тросникова. М.—Л., 1931, с. 375—376; см. также мою статью «О стиле Пушкина» в посвященном Пушкину выпуске «Литературного наследства» М., 1934, № 16—18.

[2] *Веселовский А. Н.* В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». Пг., 1918, с. 39—40.

Теперь справедливо — в новом направлении *интерес подробностей чувства* заменяет интерес самих событий. Повести Пушкина голы как-то»*[1].

§ 12. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОЙ И ЖУРНАЛЬНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ РЕЧИ. ЗНАЧЕНИЕ БЕЛИНСКОГО В ИСТОРИИ РУССКОГО ЖУРНАЛЬНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

В 30—40-е годы меняется не только лексическая и фразеологическая система литературного языка, но подвергается перестройке и его семантическая структура. Ищутся новые идеологические скрепы. Происходит перераспределение функций и влияния между разными стилями. Стиховой язык, который был до 30-х годов не только оплотом форм и конструкций литературных стилей, но и творческой лабораторией новых средств литературного выражения, в 30-х годах теряет свое значение. Перестраивается само понятие «литературы». В центре ее становится «беллетристика»[1], т. е. жанр полупублицистической, полухудожественной прозы, направленной на культурно-политическое и идейно-моральное перевоспитание общества. Постепенно выдвигаются на первый план стили газетно-журнальной, публицистической речи. В системе книжной речи в 30—40-х годах с еще большей остротой встает проблема «метафизического», т. е. отвлеченного, публицистического и научно-популярного языка. Высшее русское общество начала XIX в. en masse искало средств для создания этого языка в семантической системе французского языка. Правда, в 20-е годы в кружках «любомудров» возник вопрос о философской терминологии, приспособленной к выражению немецкой идеалистической философии Шеллинга. Ср., например, философские термины в языке кн. Одоевского: *проявление* (Мнемозина, 1824, I, с. 63); *субъективный, объективный* (Мнемозина, III, 104); *аналитический, синтетический* (Мнемозина, IV, с. 8) и т. п. О слове *проявление* Белинский писал позднее: «Когда М. Г. Павлов, начавший свое литературное поприще в «Мнемозине» и первый заговоривший в ней о мысли и логике, — предметах, о которых до «Мнемозины» русские журналы не говорили ни слова; когда М. Г. Павлов начал употреблять слово «проявление», то это слово сделалось предметом общих насмешек, так что антагонисты почтенного профессора называли его в насмешку «господин, который употребляет слово *проявление*», а теперь всем кажется, что будто это слово всегда существовало в русском языке»[2]. Но широкого литературного признания и влияния философические стили любомудров не получили (ср. отзыв Пушкина о «Московском вестнике»)*[1]. Гораздо более глубокое воздействие на литературную речь оказала та оживленная умственная работа, которая была порождена философией Гегеля в кругах русской интеллигенции 30—50-х годов.

---

[1] Это слово, по-видимому, было окончательно укреплено в русском литературном языке В. Г. Белинским.

[2] *Белинский В. Г.* Соч. СПб., 1908, т. 1, с. 813.

Очень остро и тонко характеризует «птичий язык» этой русско-немецкой философской мысли А. И. Герцен в «Былом и думах»: «Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: *Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте.* Замечательно, что тут русские слова звучат иностраннее латинских. Немецкая наука, и это ее главный недостаток, приучилась к искусственному, тяжелому, схоластическому языку своему именно потому, что она жила в академиях, т. е. в монастырях идеализма. Этот язык попов науки, язык для в е р н ы х, и никто из оглашенных его не понимал; к нему надобно было иметь ключ, как к шифрованным письмам. Ключ этот и теперь не тайна; понявши его, люди были удивлены, что наука говорила очень дельные вещи и очень простые на своем мудреном наречии. Фейербах стал первый говорить человечественнее. Механическая слепка немецкого церковно-ученого диалекта была тем непростительнее, что главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной легкости, с которой все выражается на нем, — отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, «жизни мышья беготня», крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть. Молодые философы наши испортили себе не одни фразы, но и понимание, отношение к жизни, к действительности сделалось школьное, книжное; это было то ученое понимание простых вещей, над которыми так гениально смеялся Гете в своем разговоре Мефистофеля со студентом»[1]. Однако результаты этой работы над философским словарем через посредство журнального языка входили в общую систему литературной речи. В связи с этим в литературном обиходе укрепляются кальки с немецкого языка для выражения отвлеченных общественно-философских понятий: *образование* — Bildung; *мировоззрение* — Weltanschauung (ср. у Аполлона Григорьева: «Важное дело в поэте то, для чего у немцев существует общепонятный и общеупотребительный термин Weltanschauung и что у нас, tant bien que mal, переводится «*миросозерцание*»)[2]; *целостность* — Ganzheit; *односторонний* — einseitig; *состоять* — bestehen; *предполагать* — voraussetzen; *призвание* — Beruf; *исключительный* — ausschliesslich; *целесообразный* — zweckmässig; *последовательность* — Folgerichtigkeit; многочисленные составные слова, первой частью которых является *само*: например, *саморазвитие* — Selbstentwicklung; *самоопределение* — Selbstbestimmung и т. п.[3] Ср. *бессилие* — Ohnmacht; *очевидный* — augenscheinlich и мн. др.

Громадную роль в распространении отвлеченно-философских терминов и понятий среди русского общества сыграл В. Г. Белинский.

Тургенев вспоминал о пристрастии Белинского к философскому жаргону гегельянства: «В середине (литературной деятельности Белинского) проскочила полоса, продолжавшаяся года два, в течение

---

[1] *Герцен А. И.* Соч. СПб., 1906, т. 2, с. 311—312.
[2] *Григорьев А. А.* Собр. соч. и писем. Пг., 1918, т. 1, с. 105.
[3] Ср.: *Unbegaun B.* Le calque dans les langues slaves littéraires.— Revue des études slaves, t. 12, fasc. 1 et 2.

которой он, начинившись гегелевской философией и не переварив ее, всюду с лихорадочным рвением пичкал ее аксиомы, ее известные тезисы и термины, ее так называемые «Schlagwörter» («Литературные и житейские воспоминания»)*2. Ср. у Белинского: «Распадение и разорванность есть момент духа человеческого, но отнюдь не каждого человека. Так точно и просветление: оно есть удел для немногих... Чтобы понять значение слов *распадение, разорванность, просветление*, надо или пройти через эти *моменты духа*, или *иметь в созерцании их возможность*»[1].

С философской терминологией, идущей из Германии или созданной по образцу немецкой, сочетаются слова и выражения, относящиеся к общественно-политическим и социально-экономическим дисциплинам. Странами, откуда черпались эти термины социальной философии и публицистики, были та же Германия и особенно Франция. Характерно произношение и написание суффикса *-изм* через *-исм* в доносе Булгарина на Белинского: «социалисм, комунисм и пантеисм в России»[2]. Ср. в письмах Белинского: «Во всяком обществе есть *солидарность*»[3]; «Что за нищета в Германии, особенно Силезии... Только здесь я понял ужасное значение слов *пауперизм и пролетариат*»[4]; в знаменитом письме Белинского к Гоголю: «Россия видит свое спасение не в *мистицизме*, не в *аскетизме*, не в *пиэтизме*, а в успехах цивилизации, просвещения, *гуманности*»; «содействовал *самосознанию* России»; «поборник *обскурантизма* и мракобесия»[5] и мн. др. В «Опыте общесравнительной грамматики русского языка» акад. И. И. Давыдова (1852) отмечаются как еще не вполне освоенные заимствования: *факт, прогресс, индивидуальный, гуманный* (10).

Таким образом, идет напряженная работа в области «отвлеченного», публицистического, газетно-журнального языка. Создается своеобразный «интеллигентский» общественно-политический словарь. Все острее привлекают общество «гражданские темы», обсуждению подвергаются уже вопросы не только бытия, но и «вопросы действительности», философские догматы уступают место «убеждениям». Это слово — «убеждения» — с конца 40-х годов (Белинский) становится термином, характерным для интеллигентского словаря[6]. Ср. в «Дворянском гнезде» Тургенева терминологию и фразеологию Михалевича: «Мне хочется узнать, что ты, каковы твои мнения, *убеждения*, чем ты стал, *чему жизнь тебя научила*» (Михалевич придерживался еще фразеологии 30-х годов).

В процессе литературной обработки новых форм публицистическо-

---

[1] *Белинский В. Г.* Соч., т. 3, с. 375.
[2] *Ашевский С.* Белинский в оценке его современников. СПб., 1911.
[3] *Белинский В. Г.* Письма. Пг., 1914, т. 3, с. 312.
[4] Там же, с. 244.
[5] Можно думать, что слово *мракобесие*, забытое в своем первоначальном демонологическом значении (ср.: *Даничич.* Рiечник из книжевних старина српских. Београд, 1863, с. 92: разгнавь мракь тьмныих бесовь), было реставрировано в 20—30-х годах в связи с растущим интересом к древнерусской письменности и «народной словесности».
[6] См.: *Эйхенбаум Б. М.* Лев Толстой. Л., 1928, кн. 1, с. 186.

го стиля, в процессе литературного распространения и обоснования философской и общественно-политической терминологии особенно значительна была историческая роль Белинского[1]. В пародиях на язык Белинского обычно приводятся наиболее часто употребляемые Белинским слова — например, в комедии Куликова «Школа натуральная» (1846):

Вот *индивидуум*... или простой *субъект*,
Сам заключась в себе, не двигатель массивный,
Рельефно, может быть, сам выступит вперед,
Но *пафос*, творчество с ним вместе пропадет...
Объекта же принцип в сочувствиях *гуманных*...

Нападки на отвлеченный язык «Отечественных записок», на их «абсолютно-объективно-субъективную» литературу в «Северной пчеле» сопровождались таким подбором философской фразеологии из статей Белинского: «Господа! рекомендуем! славный товар! покупайте. Тут есть... и нечто, в котором заключается все, и нечто живое, развивающееся в самом себе, из самого себя, и выходящее из самого себя и заключающееся в самом себе, и зародыш борьбы и распадения, и возможность разделения себя на самого себя, после чего квадратура круга трын-трава»[2]. «Домашние наши новомыслители, которых деятельность начинается с покойной «Мнемозины» и продолжается сквозь ряд покойных журналов в нынешнем «Московском наблюдателе», беспрестанно придумывают новые слова и выражения, чтоб выразить то, чего они сами не понимают. Сперва они выезжали на чужеземных выражениях: *абсолюте, субъективе* и *объективе* и пр. Теперь они прибавили к чужеземщине множество русских слов, дав простому их значению таинственный смысл. Любимые их слова теперь: *конечность, призрачность, просветление, действительность;* но настоящий фаворит — *призрачность*»[3].

В статье П. А-ва (Квитки-Основьяненка) «Званые гости» приводятся такие философские «словечки» Белинского: «Посыпались: *субъективно, объективно, индивидуально, популярно*»[4]. В комедии В. Не-го «Демон стихотворства» (1843) карикатурно нарисован Туманин, являющийся «выражением немецкой философии, которая всегда почти изъясняется языком туманным, неопределенным, надутым». Вот образчик этого языка:

Жизнь улетучилась в созданьи этом дивном
В какое-то *слитое единство*
И *в духе творчества субъектно-объективном*
Искусства видно в нем — *цветенье*, торжество.
Пластичность образов и *формы просветленье*
В ней *осязательны*...

Б. Н. Алмазов*[3] в своем «Сне по случаю одной комедии» иронически заставлял западника произносить речи в защиту «беллетристики» и новой «европейской» терминологии: «Вам неприятна моя само-

---

[1] См. мою книгу «Этюды о стиле Гоголя». Л., 1926.
[2] Северная пчела, 1843, № 6.
[3] Там же, 1840, № 140.
[4] Современник, 1840, № 4, с. 39—40.

дельщина — *беллетристика*... Этакие слова я говорю. Я употребляю слова *инициатива, модерный, суверенитет, шеф, мотив*. Разве можно, говоря об ученых предметах, употреблять такие слова, как *предводитель, причина* и т. д. ...Надо говорить вместо предводитель — *шеф*, вместо причина — *мотив*»[1]. Реакционный славянофил и фантаст П. Лукашевич в своей книге «Чаромутие, или священный язык магов, волхвов и жрецов, открытый Платоном Лукашевичем...» (1846) свидетельствовал: «Каждый день прибывали и поселялись в наш язык иностранные чаромутные слова, замещая и изгоняя наши. Невозможно исчислить сих незваных гостей: *индивидуал, конкуренция, нормальный, индифферентный, актуальный, эксцентричность, индустриальность, абсолютный, атрибуты, модификация, реакция, коалиция, гарантировать, аксессоар, объект с субъектом, конвенция, администрация, тривиальность, субсистенция, карбонат с гидратом, компрометировать, момент, эрудиция, экспрессия, культура*» и т. д. (16—17).

Белинский понимал, что в процессе образования русского научно-делового и критико-публицистического языка не обойтись без иноязычных заимствований[2]. Еще в 1834 г. он писал: «Переводы необходимы и для образования нашего, еще не установившегося языка; только посредством их можно образовать из него такой орган, на коем бы можно было разыгрывать все неисчислимые и разнообразные вариации человеческой мысли»[3]. Но, с другой стороны, Белинский признавал, что «употребление новых слов без расчетливой осторожности может повредить их успеху», и стремился употреблять их «как можно меньше», разрабатывая неистощимые источники родного русского языка.

Сам Белинский в статье «Русская литература в 1840 г.» так иронически писал о новшествах своего публицистического лексикона: «Хорошо также, например, обвинение против «Отечественных записок» за употребление непонятных слов, именно: *бесконечное, конечное, абсолютное, субъективное, объективное, индивидуум, индивидуальное*... Иной, пожалуй, скажет, что эти слова употреблялись еще в «Вестнике Европы», в «Мнемозине», в «Московском вестнике», в «Атенее», в «Телеграфе» и пр., были все понятны назад тому двадцать лет и не возбуждали ничьего ни удивления, ни негодования... Увы! что делать! До сих пор мы жарко верили прогрессу как ходу вперед, а теперь приходится нам поверить прогрессу как попятному движению назад... Сверх упомянутых слов, «Отечественные записки» употребляют еще следующие, до них никем не употреблявшиеся (в том значении, в каком они принимают их) и неслыханные слова: *непосредственный, непосредственность, имманентный, особный, обособление, замкнутый в самом себе, замкнутость, созерцание, момент*,

---

[1] *Алмазов Б. Н.* Соч. М., 1892, т. 3, с. 565.

[2] Любопытна вышедшая в 1837 г. «Карманная книжка для любителей чтения русских книг, газет и журналов или краткое истолкование встречающихся в них слов: военных, морских, политических, коммерческих и разных других из иностранных языков заимствованных, коих значения не каждому известны». Составил И в а н Р е... ф... ц. СПб., 1837.

[3] *Белинский В. Г.* Соч. М., 1872, ч. 1, с. 311.

определение, отрицание, абстрактный, абстрактность, рефлексия, конкретный, конкретность и пр. В Германии, например, эти слова употребляются даже в разговорах между образованными людьми, и новое слово, выражающее новую мысль, почитается приобретением, успехом, шагом вперед. У нас хотят читать для забавы, а не для умственного наслаждения... Найдите в Германии хоть одного ученика из средних учебных заведений, который бы не понимал, что такое *вещь по себе* (Ding an sich) и *вещь для себя* (Ding für sich)...»[1].

Понятно, что работа над отвлеченно-философскими, общественно-политическими или литературно-эстетическими терминами и понятиями, образование ясной и выразительной фразеологии, выпукло передающей абстрактную мысль, отбор синтаксических форм, пригодных для стиля рассуждения, — вся эта реформаторская деятельность Белинского в области критико-публицистического стиля имела громадное значение для последующей истории русского литературного языка. Белинский обрабатывает русскую литературную речь, язык прозаических жанров — параллельно с Гоголем и Лермонтовым, наравне с ними и нередко даже в тех же направлениях, что и они. Поэтому было бы крайне ошибочно ограничивать роль Белинского в истории русского публицистического стиля кругом его словарных и фразеологических нововведений.

Белинский боролся за точный, простой и понятный «образованный» и художественно выразительный стиль изложения всякой темы — даже научной. «Простота языка, — писал он, — не может служить исключительным и необманчивым признаком поэзии; но изысканность выражения всегда может служить верным признаком отсутствия поэзии»[2]. Осуждая неточность словоупотребления в стихотворном языке Бенедиктова, Белинский пишет: «Человек у него витает в рощах; волны грудей — у него превращаются в грудные волны... Степь беспредметна; сердце пляшет; солнце сентябревое; валы лижут пяты утеса; пирная роскошь и веселие; прелестная сердцегубка и пр.»[3]. Белинский стремился демократизировать литературную речь, освободить ее от тех ограничений, которые были установлены «светскими» стилями высшего общества. «Из нашей литературы хотят устроить большую залу и уже зазывают в нее дам. Из наших литераторов хотят сделать светских людей в модных фраках и белых перчатках, энергию хотят заменить вежливостью, чувство — приличием, мысль — модною фразою, изящество — щеголеватостию, критику — комплиментами; короче — к нам снова зовут восьмнадцатый век, этот золотой век светской (Profane) литературы»[4]. Широко вводя в публицистический стиль формы живой устной речи, Белинский стремится сжать и упростить синтаксис книжной речи. Рецензируя философические книжки, Белинский пишет: «Я напал на период, занимающий в книжке, напечатанной средним шрифтом, четыре страницы

---

[1] *Белинский В. Г.* Соч., т. 1, с. 173—174.

[2] *Белинский В. Г.* Статья «Стихотворения Владимира Бенедиктова». — В кн.: *Белинский В. Г.* Соч. М., 1872, ч. 1, с. 265.

[3] Там же, с. 267.

[4] *Белинский В. Г.* Соч. М., 1875, ч. 2, с. 144.

без нескольких строк. Истинно философский язык, но только совсем не русский!.. Изучению философии должно предшествовать изучение грамматики, так же как изложению философии должно предшествовать умение ясно, понятно и толковито изъясняться на своем языке»[1].

Так постепенно подготовляются стили отвлеченного — журнально-газетного и научно-популярного — языка. Они тяготеют не только к философской (идеалистической) и опирающейся на нее общественно-политической терминологии и фразеологии: они вбирают в себя элементы естественнонаучной и технической терминологии. Гуманитарное эстетическое образование, господствовавшее в русском обществе конца XVIII — первой четверти XIX в., осложняется образованием «реальным», естественнонаучным, промышленно-техническим и политико-экономическим*4.

«Справочный энциклопедический словарь» (СПб., 1847, изд. К. Края) пишет в предисловии: «В последние двадцать лет образование так быстро и повсеместно проникло во все классы нашего общества, что чтение не осталось роскошью, как было прежде, а сделалось необходимою потребностью жизни. Доказательством тому служит необыкновенное развитие нашей журнальной литературы, обнимающей все отрасли человеческих познаний и потому требующей изучения таких предметов, о которых прежде людям, не принадлежавшим к числу ученых, не приходилось и слышать. При постоянном чтении журналов и книг стали встречаться понятия, термины и названия, вовсе не знакомые читателям с образованием только общим».

Таким образом, возделывается почва для оригинального национально-русского стиля деловой, публицистической и научной прозы. Русский язык становится способным к самостоятельному выражению сложных научных, технических и философских понятий — без посредства иноязычных заимствований. В этом отношении чрезвычайно симптоматичны такие признания русского интеллигента, приписанные И. С. Тургеневым в «Дыме» Потугину (относительно процесса самостоятельного русского «переваривания» понятий, выработанных западноевропейской культурой): «Понятия привились и усвоились; чужие формы постепенно испарились, язык в собственных недрах нашел, чем их заменить, — и теперь ваш покорный слуга, стилист весьма посредственный, берется перевести любую страницу из Гегеля... — не употребив ни одного неславянского слова».

Но эти новые стили публицистического и научного языка более или менее установились лишь во второй половине XIX в. 30—50-е годы — это только период брожения и смешения разных социально-языковых стилей.

§ 13. КОЛЕБАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В 30—50-х ГОДАХ

Эта же неоформленность, противоречивая неустойчивость переходной эпохи наблюдается и в сфере грамматики литературной речи.

[1] *Белинский В. Г.* Соч. М., 1875, ч. 2, с. 196.

Период от 30-х до середины 50-х годов характеризуется тенденцией к грамматической стандартизации литературного языка, завершением той грамматической нормализации, которая началась в стилях карамзинской школы и которая затем приняла односторонне догматический характер в грамматических работах Н. И. Греча. Если не бояться парадоксов, то надо выставить такой тезис: по мере того как литературный язык в 40—50-е годы теснее сближается со стилями живой разговорной речи, с разными профессиональными диалектами города, грамматика нормальной литературной речи, особенно журнально-публицистической, осуждая пережитки областного просторечия, становится все более книжной. Это противоречие — своеобразная черта переходного состояния. В то же время в русском литературном языке с 30—40-х годов усиливается регулирующее влияние книжной грамматической традиции, устраняющей грамматические дублеты предшествующей эпохи.

Нормализация грамматических форм продолжает двигаться по пути устранения пережитков областного просторечия. Формы, осужденные карамзинской традицией, но еще продолжавшие жить в литературном обиходе, вытравливаются из грамматики [1].

Так, например:

1. Исчезают к 50-м годам просторечные формообразования от слов на *-мя* типа *время* — род. пад. Ср. *не имел время* [2]; со *время побед* [3]; *не знал другого имя* (Лермонтов); от *время и страстей* (тоже); *поверь, что у него ни время, ни охоты на это нет* (Крылов); *это было б лишь время трата* (Пушкин, в сказке) и др.

2. Постепенно устраняются формы им. пад. имен существительных ср. р. на -ы, впрочем, еще нередки в 30—40-е годы. Ср. у Жуковского: *и были вечера светилы, как яркие паникадилы; морской глубины несказанные чуды* (у него же в рифме с *груды*): у Пушкина — *письмы* [4]; *колесы* [5]; у Вяземского — *яйцы* [6]; у Дениса Давыдова — *кольцы, горлы* [7]; у Марлинского — яствы [8] и т. п. Ср. частое употребление этих форм в языке Гоголя и Лермонтова.

3. Запрещен тв. пад на *-ью* от существительных жен. р. основ на *-а* мягкого склонения вроде: *неделью* (ср. у Пушкина в переписке, в дневнике Вульфа) и т. п.

4. Сокращаются постепенно в письменном языке формы деепричастий на *-учи*, *-ючи* (ср. предупреждения уже у Греча в «Практической грамматике» 1827 и 1834 гг.)[9], хотя спорадически они продол-

---

[1] Ср. некоторый материал по этому вопросу: *Лобов Л. П.* К истории русского литературного языка.— Сб. общества историко-философских и социальных наук при Пермском университете, 1929, вып. 3.

[2] *Пушкин А. С.* Письмо 1833 г.— В кн. *Пушкин А. С.* Переписка, т. 2, с. 42.

[3] Архив Раевских. СПб., 1908, т. 1, с. 193.

[4] *Пушкин А. С.* Переписка, т. 2, с. 23.

[5] Там же, с. 19.

[6] Там же, т. 3, с. 292, письмо 1836 г.

[7] Там же, т. 3, с. 329.

[8] *Марлинский А. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1840, т. 7, с. 235.

[9] Ср. указание «Русской грамматики» А. Х. Востокова (СПб., 1831), что «окончание *-учи* принадлежит особенно просторечию» (§ 78).

жают употребляться (правда, в узком кругу глаголов) и во второй половине XIX в. Интересно, что они, по указанию Л. Толстого, долго сохранялись в разговорной речи разночинцев.

5. Сужается круг употребления многократного вида, и отмирают многие его формы.

Но наряду с этим выравниванием системы литературного языка, с освобождением его от пережитков простого слога наблюдается некоторый сдвиг грамматических норм в сторону общеразговорного городского языка.

1. Все ширится сфера употребления окончания *-а* в им. пад. мн. ч. существительных муж. р.

2. Развивается смешение префиксов в некоторых глаголах — например: *в* и *вз*: *въехать* вместо *взъехать* (но ср. у Пушкина: *Лошадь взъехала на сугроб* — «Метель»; *Я взъехал на отлогое возвышение* — «Путешествие в Арзрум»); *вбежать* вместо *взбежать; влезать* вместо *взлезать* (у Лажечникова: *Проворно влезла на стену* — «Ледяной дом»; у Марлинского: *Я со вздохом взлез* и т. п.)[1].

3. Нередко проявляются новые отслоения просторечия. Так, проникает в литературный язык из просторечия «еще одна модификация однократного вида *толканул, дерганул.* Это значит: чуть-чуть, едва толкнул, дернул»[2]. Из этого значения развивается значение мгновенности действия с оттенком некоторой резкости, силы. Сперва эта форма употребляется в «простонародном» диалоге, но потом укрепляется и в литературном языке. Например, у Тургенева: *Голос ее как ножом резанул его по сердцу.*

Вместе с тем характерно развитие и усиление целого ряда специфически книжных грамматических форм. Например:

1. Формы деепричастий на *-я* сокращаются в числе, замыкаются в строго определенные грамматические рамки и замещаются образованиями на *-в* (и даже на *-вши*). Н. И. Греч писал: «В глаголах предложных деепричастия производятся от прошедшего, а не от будущего совершенного времени, т. е. должно говорить и особенно писать *посадив*, а не *посадя: вынесши*, а не *вынеся; бросив*, а не *брося; устремив*, а не *устремя.* Исключения позволительны в глаголах возвратных, например *убоясь, возвратясь*, и в стихах, для избежания стечения согласных»[3].

2. В категории деепричастий, с сокращением форм на *-я*, происходит стилистическая переоценка форм прошедшего времени на *в* и *-вши.* Хотя и предпочитаются в литературном языке формы на *-в*, но и формы на *-вши* постепенно получают права литературного гражданства, теряя специфическую окраску просторечия. Например, у Тургенева: *накрывши голову армяком;* у С. Аксакова: *обомлевши от радостной надежды*; у Гончарова, Григоровича, Ф. Достоевского и т. п.[4] В связи с ограничением деепричастий на -я группа таких

---

[1] Ср. *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи, вып. 2, с. 354.
[2] *Греч Н. И.* Чтение о русском языке. СПб., 1840, т. 1, с. 297.
[3] Там же, с. 45.
[4] См.: *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи, вып. 2, с. 333—334.

форм переходит в категорию наречия (ср. *нехотя, молча, сидя, стоя, лежа, не глядя* и т. п.).

Востоков в «Русской грамматике» писал: «Глаголы, имеющие деепричастие прошедшего времени на *-в*, могут иметь оное и с прибавкою слога *-ши*; например, *знав. знавши, видев, видевши*. Но перед приставкою ся или сь вставляется непременно *-ши*, например, *знавшись, видевшись*» (§ 78). Востоков же отметил перенос ударения в следующих деепричастиях: *смо́тря* (но также: *смотря́*), *гля́дя, си́дя* (но также: *сидя́*), *сто́я* (но также: *стоя́*), *мо́лча, хо́дя* (но также: *ходя́*). Ср. также: *дре́мля, кле́пля, тре́пля, ще́пля* и *щи́пля* (§ 187).

Но Г. Павский *[1] (1842) заметил: «Окончание *вши* неприятно для слуха: и потому мы избегаем его, где можно, и... вместо *знавши, коловши, читавши* охотнее говорим: знав, колов читав»[1].

Но во второй половине XIX в. эти грамматические ограничения отпадают.

3. В кругу причастных форм сказывалось влияние официально-канцелярской стилистики, которая повела к случаям образования форм на *-щий* от глаголов совершенного вида для выражения будущего времени. Например, у Гоголя: «человек не *предъявящий* никаких свидетельств и пашпортов»; «*приедущий* из столицы»[2].

Другие книжно-грамматические тенденции вполне определились только во второй половине XIX в., и их удобнее рассматривать при изучении стабилизации грамматической системы к концу XIX в.

В области синтаксиса словосочетания и предложения следует отметить вымирание в эту эпоху следующих устаревших конструкций, унаследованных от книжнославянского языка:

1. Постепенно прекращается употребление *быть* с дат. пад. нечленного причастия страдательного залога, как, например: «присудил его *быть посажену* на кол»[3]; «протодьякон просил *быть оставлену* в епархии здешней»[4]; «он нашел средство *быть выпечатану* и даже *прочтену*»[5] и т. п.

2. Отмирает употребление род. пад. с предлогом от для обозначения действующего лица при причастии страдательного залога. Ср. у Жуковского: «приглашенный от правительства»; у Лермонтова: «покинут от друзей» и т. п.

3. Сокращается употребление приглагольного двойного вин. пад., т. е. вин. объекта и примыкающего к нему предикативного определения (чаще причастия), которое теперь начинает облекаться в форму твор. пад. Например, у Пушкина: «которого привел связанного к себе на двор» («Дубровский»); «родительницу привели домой полумертвую» («Родословная Пушкиных и Ганнибалов»); ср. у Батюшкова: «видели его сидящего»; «узнали идущего навстречу» и т. п.

---

[1] *Павский Г. П.* Филологические наблюдения. Рассуждение 3-е. СПб., 1842, с. 138.

[2] См. примеры: *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи, вып. 2. с. 236.

[3] *Пушкин А. С.* Кирджали *[2].

[4] *Пушкин А. С.* Переписка, т. 3, с. 45.

[5] В письме А. И. Тургенева. — В кн.: Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899, т. 2, с. 325.

4. Широкое развитие тв. сказуемостного вообще является одним из характерных явлений этой эпохи.

Таким образом, происходившее в 30—50-е годы перемещение границ между книжной и живой народной речью, процесс переоценки и новой регламентации норм «книжности», процесс сближения литературного языка с разговорно-бытовой речью и ее разными диалектами отразились и в основных тенденциях грамматических изменений.

§ 14. ИЗМЕНЕНИЯ В ФОНЕТИЧЕСКИХ НОРМАХ ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЧИ

В области фонетики прежде всего возникает проблема нормализации фонетического облика заимствованных слов. В литературном языке XVIII и начала XIX в. произношение этих слов подчинялось или бытовым навыкам просторечия, или нормам звуковой системы того языка, из которого слово заимствовано. Поэтому в обиходе образованного общества наблюдалась двойственность произношения заимствованных слов. Некоторые из них успели укрепиться в просторечной форме, например: *ярманка*, *анбар*, *азарт*, *азартный*, *лилея*, *шлафор* (или *шлафорк*). В других допускались параллельные произношения: *английский* (ср. у Пушкина: *подобный английскому сплину* и т. п. Ср. замечание Г. Павского: «...только новейшие лжемудрствователи, и то недавно, ввели в правописание и даже в выговор язык *английский* вместо *англицкий*»[1]), *аглицкий* и *англинский* (ср. у Гоголя); *галдарея* (с оттенком устарелости) и *галерея; пашпорт*, *пачпорт* и *паспорт* и т. п. Напротив, большинство выражений сохраняло свою иноязычную форму. В речи демократических слоев общества не было твердой бытовой традиции произношения заимствованных слов. Напротив: было резкое колебание между книжным произношением написания слова — иногда с перестановкой ударения — и между просторечно-бытовым «искажением» его фонетического облика. Поэтому необходимо было установить некоторое единообразие в нормах произношения. Эта проблема уже была поставлена в конце XVIII — начале XIX в., когда происходило «очищение» литературно-салонных стилей от «низкого» просторечия. Теперь выдвигается правило: заимствованные слова должно произносить так, как они по-русски пишутся. «Справочное место русского слова»[2] дает интересные факты колебаний в произношении этой категории слов. Например, *амбар*. «Не должно писать: *анбар*, *анбарщик* (23); *триумф*, а не *триунф*, *триунфальный* (110); *шампанское*, а не *шанпанское* (123); *амфитеатр*, не должно писать: *анфитеатр* (3); *камфора*, а не *канфора*, *канфарный* (47); *лампа*, а не *ланпа* (53); *почтамт*, а не *почтант* (88). Ср. *бомбардир*. Не должно говорить: *бонбардир*, *бонбардирование*». Осуждаются случаи перестановки и диссимиляции плавных и носо-

---

[1] *Павский Г. П.* Филологические наблюдения. Рассуждение 2-е. СПб., 1850, с. 97.

[2] В скобках указываются страницы второго издания 1843 г.

вых: *пелеринка*, а не *перелинка* (82); *рапира*, а не *лапира* (95); *пантомима*, а не *пантомина* (80) и т. п.; отвергается произношение *ры* после согласного: *бриллиант*. Не должно произносить: *брылиант*, *брылиантовый* (12); и т. п. Отмечаются явления морфологического искажения заимствованных слов: *пропорция*, а не *припорция* (92); *проспект*, а не *пришпект* или *преспект* (93); *фонтан*, а не *фонтал* (115); *кабриолет*. Не должно произносить *кабрылет*, *кабрылетка* (46) и мн. др. Ср. еще несколько примеров: *доктор*. Не должно произносить: *дохтор* (32); *желе*. Не должно говорить: *жиле* (38); *иллюминация*. Не должно говорить: *лиминация* (43); *канарейка*. Не должно писать и говорить: *кинарейка* (47); *мануфактура*. Не должно говорить: *манифактура* (58); *министр*. Не должно произносить: *министер* (61); *мундштук*, а не *мунштук* (63); *одеколонь*, а не *лодиколон* и *окидолон* (74); *парикмахер*, а не *парикмахтер* (81); *шоколад*, а не *шеколад* или *шиколад* (124); *скелет*, а не *шкилет* (103); *унтер-офицер*, а не *ундер*, или *ундер-офицер* и мн. др. под.[1] Любопытны также указания на перестановку ударения: «*Вольтéр*. Не должно произносить: *Вóльтер*» (19).

Необходимо помнить, что в книге «Справочное место русского слова» предисловие гласит: «В справочном месте русского слова собраны и исправлены ошибочные выражения, вкравшиеся в наш разговорный и письменный язык, слова, произносимые неправильно или употребляемые не в точном их значении, и притом не одними простолюдинами, но и людьми образованными. На ошибки простонародья не обращено здесь никакого внимания...» Далее подтверждается, что примеры «выбраны из разговорного языка хорошего общества, из новейших сочинений писателей, занимающих не последнее место в нашей литературе, из журналов и газет» (III—IV). В связи с этим приобретают особенный исторический интерес и правила произношения некоторых русских и церковнокнижных слов: *отсрочка*, а не *отстрочка* (78); *понравиться*, а не *пондравиться* (87); *поздравить*, а не *проздравить* (86); *завтрак*, а не *завтрик* (40); *вторник*, а не *авторник* (20); *нынче*, а не *нонче* (69); *жизнь*, а не *жисть* (39); *ужас*, а не *ужесть*, *про ужести* (111) и др. под.

Очень характерно, что некоторые правила произношения заимствованных и русских слов указывают на рост влияния петербургского произношения. Петербургское произношение, ориентирующееся на письмо, на книжное чтение, влияет на фонетическую систему литературного языка[2]. Особенно показательны в этом отношении три категории явлений:

1. Объявляется областным мягкое произношение *р* перед губными и заднеязычными в случаях так называемого второго полногласия: *верх*. Не должно писать и говорить: *вéрьх*, *верьхний*, *верьховой*,

---

[1] В связи с процессом нормализации фонетического облика заимствованных слов находится и унификация форм рода в именах существительных, имевших дублетные образования, например: *фарс* и *фарса*, *карьер* и *карьера*, *комóд* и *комода* и др. под

[2] Ср. петербургское *ея* вместо *ее*, ср.: *Кошутич Радован*. Граматика руског језика. Пг., 1919, с. 401.

верьхом; правильно: *верх, верхний, верховой, верхом* (16); *первый*, а не *перьвый* (82); *сперва*, а не *сперьва* (105).

2. Признается нормальным произношение *чн*, а не *шн*: *гречневый*. Часто пишут неправильно: *грешневый блин, грешневая каша*; должно писать и произносить: *гречневый, гречневая* (29); *коричневый*.

Материал, собранный С. П. Обнорским из академических словарей XVIII и XIX вв., убеждает в том, что к 40-м годам XIX в. московское просторечное произношение *шн* очень сократилось. В Акад. словаре 1847 г. «устойчивое *шн* имеют только четыре слова: *башмашник* и производные, *дурнишник, прачешный, соляношный*. Для остальных же слов здесь уже как нормальное явление отмечается возможность двойственного написания, следовательно, и произношения». Под влиянием тенденции к «литературному» произношению появляется *-чн-* даже в таких словах, как *будничный* (первоначально *буднишний* с суффиксом *-шн-*; ср. *всегдашний*)[1].

3. Распространяется мягкое произношение *ц* перед *и* в иностранных словах: *медицина*. Не должно говорить *медицына, медицынский совет*; правильно: *медицина, медицинский*» (59); *цирюльник*.

Любопытно, что Павский в первом томе своих «Филологических наблюдений» (1841) настаивал на твердом выговоре *ц* и убеждал, что после *ц* гласная всегда произносится как *ы*: *цыган, цыфра, порцыя, лекцыя*. Однако позднее Я. К. Грот, близкий к петербургскому обществу, не соглашался с этим: «Перед согласными слог *ци* действительно выговаривается по большей части *цы* (*медицина*), но в некоторых случаях, а особливо перед мягкою гласною *я*, немногие позволяют себе такое произношение; по крайней мере в образованном кругу говорят ясно: *лекция, провинция, станция, Греция*. Это доказывает, что *ц* может также умягчаться. Перед таким *ц* буква *н* всегда подвергается умягчению: *Франция, индульгенция* произносятся как *Франьция, индульгеньция*»[2].

Петербургское произношение усилило свои притязания на общелитературное значение во второй половине XIX в.

Таким образом, основными процессами истории русского литературного языка в период от 30-х до середины 50-х годов должны быть признаны такие явления: 1) ограничение церковнославянизмов и их стилистическое преобразование; 2) смещение и смешение границ между системами книжного и разговорного языка, растущее влияние живой народной речи на литературный язык; 3) профессионализация и диалектизация литературной речи, преимущественно на основе языка города с его социально-стилистическими и диалектологическими дроблениями; 4) распад и преобразование прежних аристократических литературно-художественных стилей; 5) формирование жанров газетно-публицистической, журнальной и научно-популярной речи и рост их значения и 6) рост литературного значения разночинско-демократических стилей.

---

[1] См.: *Обнорский С. П.* Сочетание чн в русском языке.— В кн.: Труды комиссии по русскому языку АН СССР. Л., 1931, т. 1, с. 107—110.

[2] *Грот Я. К.* Филологические разыскания, с. 245.

IX. Язык Гоголя и его значение в истории русской литературной речи XIX в.

§ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ГОГОЛЕВСКОГО ЯЗЫКА В ЛИТЕРАТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ БОРЬБЕ 30—50-х ГОДОВ

Той литературной личностью, которая в эпоху 30—50-х годов стояла в центре языковой борьбы, был Гоголь. К нему, к его произведениям тянулись нити от большей части литературно-художественных стилей. Язык Гоголя отдельными своими приемами оказывал решительное влияние и на публицистические стили литературного языка. В языке Гоголя находили опору тенденции и к профессионализации и к демократизации литературного языка. Реалистические принципы литературной обработки бытового диалога исходили из стилистической системы Гоголя. Гоголевские образы, фразы, приемы изображения действительности входили в «общую» систему литературного выражения. Правда, не все стороны творчества Гоголя были с точки зрения стиля эпохи равноценны. Так, украинская стихия гоголевского языка встречала сочувственный отклик лишь в творчестве земляков Гоголя (Е. Гребенки, П. Кулиша и др.). Архаические, романтико-риторические и церковнокнижные элементы гоголевского языка и связанные с ними формы идеологии не находили развития в возобладавших стилях литературной речи. «Гоголевское» в аспекте литературного языка сводилось преимущественно к сложным экспрессивным формам комической издевки и иронии, к «неистощимой поэзии комического слога» и к «чудному дару подслушивать устную речь говорящего русского человека и менять ее по характеру, свойствам, мгновенному чувству лиц, им выводимых»[1]. Язык Гоголя представлялся наиболее полной системой литературного выражения, включавшей в себя не только стили литературного языка предшествующей эпохи, но и отражавшей сложный поток социально-групповых диалектов города и деревни. И вместе с тем, язык Гоголя как писа-

---

[1] *Шевырев С. П.* Взгляд на современную русскую литературу. Состояние русского языка и слога.— Москвитянин, 1842, № 2, с. 180; ср. также мою книгу «Этюды о стиле Гоголя». Л., 1926.

теля, пришедшего в Россию из другой страны — из Украины, не был целиком скован традициями и нормами старорусской аристократической речевой культуры: он пестрел диалектальными «неправильностями». Все это ставило язык Гоголя на рубеже между старыми «аристократическими» и новыми демократическими стилями литературного языка.

Эпоха Гоголя была революционной эпохой в истории русского литературного языка. Обозначились принципы и приемы более широкого нового национально-демократического перерождения литературной речи. Естественно, что в поисках самостоятельной литературно-языковой поэзии Гоголь должен был пережить много уклонов и колебаний.

В языке Гоголя диалектически совмещались революционные и архаистические, реставрационные тенденции[1]. История изменений гоголевского стиля осложняется еще двуязычием Гоголя, смешением в его литературной системе разных элементов русского языка с формами языка украинского. И все же языковая и стилистическая эволюция Гоголя тесно связана с общей языковой жизнью эпохи.

Самостоятельное отношение Гоголя ко всем основным вопросам литературно-языковой борьбы 30—40-х годов не сразу установилось и определилось. Оно менялось в течение 30-х годов, и лишь к самому концу их наметились твердые основы широкой, стройной и цельной литературно-языковой концепции. «Мертвые души» явились литературным манифестом, раскрывавшим сущность русской национально-языковой политики в понимании Гоголя[2].

§ 2. ДИАЛЕКТАЛЬНЫЙ И СТИЛИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГОГОЛЕВСКОГО ЯЗЫКА ДО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 30-х ГОДОВ

В стиле гоголевских произведений первой половины 30-х годов, кроме традиционного «нейтрального» фонда средств общелитературной речи, рельефно выступали следующие четыре основных языковых пласта: 1) украинский «простонародный» язык; 2) стили русской разговорной речи и русского национально-бытового просторечия; 3) русский официально-деловой язык, преимущественно его канцелярские стили, иногда с примесью разговорно-чиновничьего диалекта и 4) романтические стили русской литературно-художественной и публицистической речи. Их взаимодействие и соотношение ко второй половине 30-х годов уже пережили сложную эволюцию.

Попытка Гоголя сразу же включиться своей стихотворной поэмой «Ганц Кюхельгартен» в систему русской поэтической речи, направить

---

[1] См.: *Будде Е. Ф.* Значение Гоголя в истории русского литературного языка.— ЖМНП. 1902, № 7; *Мандельштам И. Е.* О характере гоголевского стиля. Глава из истории русского литературного языка. СПб.— Гельсингфорс, 1902; *Тихонравов Н. С.* Заметки о словаре, составленном Гоголем.— В кн.: *Тихонравов Н. С.* Соч. М., 1898, т. 3, ч. 2.

[2] См. мою статью «Язык Гоголя» в сб.: *Н. В. Гоголь.* Материалы и исследования. М.—Л., 1936, т. 2.

свой язык по основному руслу, в котором двигались стили корифеев русской литературы, окончилась неудачей. Слабость гоголевского слога, «незрелость дарования относительно к слогу, языку и стихосложению» была очевидна [1]. Сложная атмосфера литературной стилистики 20-х годов не была родным воздухом для Гоголя. Слишком ощутителен был на языке молодого поэта налет «провинциализма». И Гоголь избирает другой стилистический путь, на который влекут его, кроме национальной и социальной почвы, взрастившей писателя, литературная традиция, увлечение русского дворянского общества прозой Вальтера Скотта и романтический интерес к «народности», вызвавший моду на «малороссийское».

Параллельно для своих упражнений в «высоких» стилях русского литературного языка Гоголь избирает не только романтически-повествовательные и лирические жанры, но и жанры эстетико-патетических, критико-публицистических и научно-исторических статей, в которых раскрывалась семантика художественного «образа автора». Это был путь романтической риторики, которая снабжала стили русского литературного языка 20—30-х годов новыми формами отвлеченной фразеологии и символики (ср. язык прозы Д. Веневитинова, кн. В. Ф. Одоевского, Ив. Киреевского, Н. Полевого, Н. Надеждина, ранних произведений В. Г. Белинского и др.).

Идея народности в русском литературном языке начала XIX в. была тесно связана с процессом художественно-речевого формирования национальных характеров. Потребность национализации и демократизации приемов литературного выражения вела к выходу за границы языковых норм стародворянского салонного круга. Выстраивалась вереница рассказчиков из среды провинциального дворянства, купечества, чиновничества и крестьянства (ср. «Повести Белкина», повести и рассказы М. П. Погодина, О. Сомова, Вл. Даля — Казака Луганского, В. Ушакова и др.). В языковом плане это был процесс обрастания литературного повествования свежими побегами живой устной речи, ее разных диалектов и стилей. Гоголь пользуется в своих повестях не только русским народным языком, но и украинским. Украинский язык, с точки зрения великодержавных позиций высшего общества, великодержавного самосознания той эпохи, был лишь провинциальным ответвлением русской «природы». Он рассматривался как язык местного домашнего обихода. И только в этой функции он и мог попасть в русскую литературу XIX в. как выражение и отражение народных украинских типов (преимущественно с комической окраской). Но романтическое понимание народности в начале XIX в. сближало простонародный язык и разговорное просторечие с живой народной «устной словесностью» и с древнерусской письменностью нецерковного содержания. Вполне понятно, что в эпоху романтического увлечения «народностью» украинская народная словесность и украинский язык в силу своей экзотичности должны были

---

[1] Ср. рецензию *Н. Полевого* в «Московском телеграфе», 1829, № 12; в «Северной пчеле» 1827, № 87; *О. Сомова* в «Северных цветах, на 1830 год», с. 77—78.

иметь в русском обществе особенный успех. В статье «О малороссийских песнях» Гоголь писал: «Только в последние годы, в эти времена стремления к самобытности и собственной народной поэзии, обратили на себя внимание малороссийские песни, бывшие до того скрытыми от образованного общества и державшиеся в одном народе. До того времени одна только очаровательная музыка их изредка заносилась в высший круг, слова же оставались без внимания и почти ни в ком не возбуждали любопытства». Характерна здесь же оценка литературного значения народной поэзии: «На всем печать чистого первоначального младенчества, стало быть — и высокой поэзии»[1]. Таким образом, в составе самой украинской языковой стихии намечается стилистическая двойственность: украинское просторечие и повествовательно-бытовые стили украинской народной словесности в аспекте русской литературно-языковой эстетики рассматриваются преимущественно как источник национально-характеристических красок при обрисовке народных украинских провинциальных типов, а украинская песенная поэзия провозглашается источником лиризма в стиле условных украинско-литературных мелодий. Для характеристики отношения русского «общества» 30—40-х годов к украинской струе в составе русской художественной литературы — очень красочна рецензия В. Г. Белинского на сборник «Ластовка» (1841)[2]. Симптоматично, что Белинский начинает с важного вопроса: «Есть ли на свете малороссийский язык, или это только областное наречие?»

В ответ указывается, что «малороссийский язык действительно существовал во времена самобытности Малороссии и существует теперь — в памятниках народной поэзии тех славных времен». Грань кладется эпохой Петра I. По мнению Белинского, до этого времени не было классовой дифференциации украинского языка. У вельможного гетмана и простого казака «язык был общий, потому что идеи последнего казака были в уровень с идеями пышного гетмана. Но с Петра Великого началось разделение сословий. Дворянство, по ходу исторической необходимости, приняло русский язык и русско-европейские обычаи в образе жизни. Язык самого народа начал портиться... Следовательно, мы имеем полное право сказать, что теперь уже нет малороссийского языка, а есть областное малороссийское наречие, как есть белорусское, сибирское и другие, подобные им областные наречия».

Так как, по мнению Белинского, жизнь украинского высшего общества «переросла малороссийский язык, оставшийся в устах одного простого народа», то отсюда делается вывод о невозможности украинской литературы и украинского литературного языка. «И какая разница в этом случае между малороссийским наречием и русским языком! Русский романист может вывести в своем романе людей всех сословий и каждого заставить говорить своим языком; образованного

---

[1] *Гоголь Н. В.* Соч., 10-е изд./Под ред. Н. С. Тихонравова. М. — СПб., 1889, т. 5, с. 287 и 291; в дальнейшем указываются только том и страницы этого издания*1.

[2] См.: *Белинский В. Г.* Соч. М., 1875, ч. 6, с. 200—202.

человека — языком образованных людей, купца — по-купечески, солдата — по-солдатски, мужика — по-мужицки. А малороссийское наречие одно и то же для всех сословий — крестьянское». («Простоватость крестьянского языка» ограничивает украинскую поэзию сферой «мужицкой жизни». «Какая глубокая мысль,— восклицает Белинский,— в этом факте, что Гоголь, страстно любя Малороссию, все-таки стал писать по-русски, а не по-малороссийски!» И это — несмотря на то, что Гоголь как гений — «полный властелин жизни», что «для творческого таланта Гоголя существуют не одни парубки и дивчата, не одни Афанасии Ивановичи с Пульхериями Ивановнами, но и Тарас Бульба со своими могучими сынами».

Отношение самого Гоголя к украинской языковой стихии в стиле «Вечеров на хуторе» было условно-литературное. Привкус этой условной литературности был заметен и в речевых оценках самих героев. Беспримесный украинский язык считался «мужицким наречием», а русский — «грамотным» языком. Так, в «Ночи перед рождеством», в начале повести, кузнец Вакула изъясняется перед читателем и на русско-украинском условном литературно-разговорном языке, и на русском просторечии, и на языке романов и повестей («Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя»; «А я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить...» и т. д.), и на языке народной поэзии в его литературной переделке («Если бы меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу...» и т. д.; «Стоит, как царица, и блестит черными очами» и т. п.), и на мещанском языке бывалых людей (в разговоре с Пацюком: «Дай боже тебе всего, *добра всякого в довольствии, хлеба в пропорции!»)* (Кузнец иногда умел ввернуть модное слово: в том он понаторел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику досчатый забор)»; «Свинины ли, колбас, муки гречневой, ну полотна, пшена, или иного прочего, в *случае потребности*... как обыкновенно между добрыми людьми водится... не поскупимся. Расскажи хоть, как, примерно сказать, попасть на дорогу к нему?»). С переносом действия в Петербург вся речевая атмосфера меняется. Выступают искусственные признаки противопоставления русского языка украинскому:

«Что ж, земляк»,— сказал приосанясь запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски: *«Што, балшой город!»*. Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, *притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык. «Гоберния знатная!»* отвечал он равнодушно: нечего сказать, домы *балшущие*, картины висят *скрозь важные*. Многие домы исписаны буквами из сусального золота *до чрезвычайности*. Нечего сказать, *чудная пропорция*!» Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение, очень для него выгодное» (I, 133, 554).

Еще резче эти условно-литературные функции украинского языка подчеркнуты в сцене бесед запорожцев с Потемкиным и царицей. В казацкую речь внедряются чистые, не русифицированные украи-

измы (*Та вси, батько... Та спасиби, мамо!...* и др.). Они выделены курсивом. Мало того, они комментируются автором при посредстве ссылки на «лингвистический вкус» кузнеца Вакулы.

«*Як же, мамо!* Ведь человеку, сама знаешь, *без жинки нельзя жить*», отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым обыкновенно называемым мужицким наречием...»

Таким образом, Гоголь был далек от социологической дифференциации самого украинского языка. В гоголевском стиле социальные грани вносились в украинскую стихию формами смешения ее с диалектами и стилями русского языка. Однако и здесь диапазон колебаний не широк. Гоголь писал по условным литературным понятиям своего времени — о «счастливой Авзонии», о «танцующем и поющем» украинском народе, о казаках, о провинциальных чиновниках и старосветских помещиках. Лишь в самом конце 30-х годов, в эпоху переделки текста «Тараса Бульбы», Гоголь задумался над вопросом о классовой дифференциации «древних казаков», о социальной природе и историческом значении народной поэзии и — в связи с этим — над вопросом о «языке» казаков. Сохранилась такая заметка среди бумаг Гоголя: «Слова два скажу о языке.— Несправедливо приписывают древним козаком козацкие и чумацкие какие-то поступки. Что придали и заставили их так говорить и действовать бандуристы — это не доказательства: они пересказывали по своим понятиям и речам: песни сочинялись в народе и большей частью после той эпохи, которую они изображают» (I, 629).

Украинская примесь в составе повествовательного стиля Гоголя неотделима от характера рассказчиков. Рудый Панько как издатель «Вечеров на хуторе близ Диканьки» очень колоритно описывает социально-языковую позицию — свою и своих приятелей. Это — мир провинциального «хуторянского» захолустья, далекий от «большого света», т. е. от высшего общества. «Вечера» вступают в живую традицию «народной» романтической литературы, претендующей на демократизм. С точки зрения норм «большого света» речь украинского хуторянина должна быть признана (как иронически предполагает и пасичник) «мужицкой». Против этого Рудый Панько возражает: рассказчики были «люди вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики хуторянские». Это — деревенская аристократия, вроде сельских рассказчиков Вальтера Скотта. Однако и в этой среде и в ее языке замечается социальное расслоение. Устанавливается явный стилистический антагонизм между хуторянскими «деревенскими» краснобаями — Фомой Григорьевичем, на стороне которого оказывается и сам Рудый Панько,— и гороховым паничом из Полтавы, который принадлежал к «знати» и даже «обедал раз с губернатором за одним столом» (I, 97). Гороховый панич («ще зовсим молода дитына») изображается городским «аристократом», сторонником литературно-книжной, «печатной» романтической культуры слова, с ее вычурным, «хитрым» языком.

Новизна гоголевского стиля заключалась в обнаженном демокра-

тизме примеси украинского «простонародного» языка. Характерно, что Гоголь явно демократизирует и украинизирует язык Фомы Григорьевича.

Но не менее показательно, что язык «Вечеров на хуторе близ Диканьки», несмотря на устранение во второй части горохового панича (рассказывавшего «таким вычурным языком, которого много остряков и из московского народу не могло понять»), «урбанизуется», теряет все более и более простонародно-украинский колорит.

Урбанизация украинско-русского стиля находит свое заключительное выражение в языке «Миргорода». Здесь происходит решительный отрыв гоголевского повествовательного стиля от украинского простонародного языка. Конечно, отражения грамматических и лексических «украинизмов» в языке автора не исчезли (например, в языке «Старосветских помещиков»: «Душа стосковалась *за человеком»*; «перед ужином Афанасий Иванович еще *кое-чего закушивал»* и т. п.). Но они не несли стилистической и характеристической функции (кроме, конечно, обозначений предметов, воспроизводивших обстановку украинского поместья). Украинский простонародный язык свободно вливается лишь в диалогическую речь персонажей.

Гоголь теперь резко отделяет живой украинский язык от стилей украинской народной поэзии. Изучение процесса переработки «Тараса Бульбы» показывает, что само понятие литературного «украинизма» в сознании Гоголя, ставшего на точку зрения русских националистов, подверглось решительному преобразованию. Народно-поэтическая украинская фразеология, символика, образные семантические и синтаксические формы песенного языка расцениваются Гоголем как живые источники «славянского» национально-языкового духа и обрабатываются в стиле гомеровских поэм. Украинский же простонародный язык рассматривается как областной диалект русской народной речи [1]. Простонародные украинизмы в языке Гоголя становятся провинциализмами в составе русского просторечия. Функции и роль их, особенно в употреблении глагольных форм вида и в приемах глагольного управления, немаловажны, хотя Гоголь продолжает вести с ними упорную борьбу и в конце 30-х и в начале 40-х годов.

Так, в первоначальных редакциях «Женихов» и «Ревизора» иногда проскальзывали украинизмы и, во всяком случае, формы и слова, чуждые общим нормам русского городского просторечия. Например, в речи Кочкарева: «Дела не смыслишь, так не *совайся»* (VI, 28); «*ну*, что с *тебя* за надворный советник» (VI, 47).

В «Ревизоре» в речи городничего: «...листья табаку, называемого *бакуном»* (VI, 67); «Купцы и мещане на меня страх *озорятся»* (VI, 70); «А потом, как *разодмет* тебе брюхо, да набьешь себе карман, так и «почтенный» (VI, 132).

В речи Хлестакова: «Верно лежал на кровати. Вся *искомкана»* (VI, 80); «*Дмется*, так расписывает, что его и на небо подняли и в

---

[1] См. примеры украинизмов в русском языке Гоголя в кн.: *Мандельштам И. Е.* О характере гоголевского стиля. Глава из истории русского литературного языка, с. 213 и след.

самый рай внесли» (VI, 153); «Зачем мне уж было *надевать* тогда *нового фрака?*» (VI, 181).

Все эти провинциализмы в окончательном тексте комедий были устранены [1].

Украинский простонародный язык сочетался в творчестве Гоголя с формами русского литературно-книжного языка при посредстве стилей русской устной речи. В повествовательном стиле Гоголя русский разговорный язык был очень близок к «простонародной» речи. Однако в повествовательном стиле первой части «Вечеров на хуторе» русское просторечие было почти исключительной принадлежностью сказа Фомы Григорьевича и Рудого Панька.

Процесс «урбанизации» гоголевского сказа ведет к смягчению «простонародности» языка. Просторечие принимает более «светские», городские формы. К таким формам просторечия вели и те следы бурсацкого, семинарского диалекта, которые были заметны в языке Фомы Григорьевича и перешли затем в повествовательный стиль отрывка «Учитель», «Вия» и «Тараса Бульбы».

Но уже в повествовательном языке «Ночи перед рождеством» начинают встречаться слова и выражения «должностного» просторечия. Например: «бедный чорт припустился бежать, как мужик, которого только что *выпарил заседатель*» и т. п. В языке повести об Иване Федоровиче Шпоньке сфера городского просторечия несколько расширяется. Вместе с тем связь его со стилями официально-делового или канцелярского языка и разговорного «должностного слога» становится крепче и заметнее. Так, с одной стороны, появляются отдельные формы школьно-арготического («урока в зуб не знал») и военного («стал в вытяжку») просторечия. С другой стороны, ощущается и привкус канцелярско-делового языка. Например: «Эти дела *более* шли хуже, *нежели* лучше», «*долгом почитаю предуведомить*» и т. д. Колебания в приемах употребления просторечия и в его стилистическом составе еще дают себя остро чувствовать и в языке «Миргорода». Так, в повествовательном стиле «Старосветских помещиков» просторечие представлено бледно и бедно: «Жаловались *на животы* *свои*»... «ужасно *жрали все в дворе*» и т. п. Зато в «Вие» повествовательный язык включает в себя много просторечных выражений, например: «богослов уже успел *подтибрить* с воза целого карася»; «он всегда имел обыкновение *упрятать* на ночь полпудовую краюху хлеба»; «сосчитать, сколько каждый из них *уписывал* за вечерею галушек»; «решился воспользоваться и *улизнуть*»; «философ... издал глухое *крехтание*»; «*фукнул* в обе руки» и др. под.

Но еще сложнее и ярче формы просторечия в языке повести о двух Иванах. Здесь — непринужденная, грубая стихия провинциальной, фамильярно-бытовой разговорной речи, то с уклоном в «простонародность», то в «должностной слог» мотивируется образом рассказчика — того же Рудого Панька, но как бы переселившегося в уездный город («*уходился страх*» и т. п.).

---

[1] Однако ср. сохранившееся и в окончательной редакции слово *куматься*: «Ты там кумаешься да крадешь в ботфорты серебряные ложечки» (VI, 171).

Близость социального облика подставного рассказчика к изображаемой среде разрушает границы между языком повествования и диалогической речью персонажей (ср. в речи Ивана Никифоровича: «С вами говорить нужно *гороху наевшись*»; «Что вы там *раскудахтались*»?; «Я вам, Иван Иванович, *всю морду побью*» и т. п.).

Перенесение сферы действия в Петербург знаменовало разрыв Гоголя с системой провинциального «украинизированного» просторечия. В языке петербургских повестей сфера просторечия впитывает в себя все более и более элементов фамильярно-бытовой речи городской технической интеллигенции, чиновничества, офицерства. Но эти стили просторечия в творчестве Гоголя первой половины 30-х годов еще очень бедны сословными и профессиональными красками. Они используют «нейтральный» фонд устно-бытовой лексики, свойственной людям неаристократического круга и не стесненной этикетом салона. В языке «Портрета»: «мужики обыкновенно *тыкают* пальцами»; «о чем *калякает* народ»; «та же *набившаяся*, приобыкшая рука»; «*копался* его лакей»; «не хвастал, не *задирался*»; «штоф чистой русской водки, которую они однообразно *сосут* весь день» «*отпустить спроста* глупость» и т. п.

В «Невском проспекте»: «вот он *продрался-таки* вперед»; «этих хладнокровных девиц чрезвычайно трудно *расшевелить*»; «Миллера это *как бомбою хватило*»; «поцелуй, который, уходя, Пирогов *влепил* нахально в самые губки»; «живет *на фуфу*»; «он уже совершенно *был накоротке*» и мн. др.

Элементы непринужденного просторечия пробивались и в литературно-книжный — описательный и публицистический — язык Гоголя. В этом смешении чувствовалась осознанная художественная цель: разрушение старой системы литературно-книжных стилей (ср. широкое применение разговорной лексики и разговорных конструкций в пушкинском языке с конца 20-х годов). Например: в статье «О средних веках»: «Ум человека, *задвинутый крепкою толщею*, не мог иначе *прорваться*»; «Вся Европа, двинувшись с мест, *валится* в Азию»; в статье «Об архитектуре нынешнего времени»: «Прежде нежели достигнет истины, он (ум) *столько даст объездов*»; в лирическом отрывке «Жизнь»: «протянувши свою *жилистую* десницу»; в статье «О малороссийских песнях»: «Из этой пестрой кучи *вышибаются* такие куплеты, которые поражают самою очаровательною безотчетностью поэзии»; в статье «Последний день Помпеи»: «всякий... *топорщится* произвесть эффект» и мн. др.

Также для романтического стиля молодого Гоголя характерны немотивированные срывы в просторечие, иногда с провинциально-украинским отпечатком. Например: «Ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, *накидывая* на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре *прыщет* золото»; в «Страшной мести»: «Алые, как кровь, волны *хлебещут* и толпятся вокруг старинных стен» и т. п. Вместе с тем перифразам высокого романтического стиля соответствовало как антитезис ироническое использование описательных выражений в просторечном языке комического повествования. Например, в отрывке «Учитель»:

«Обстоятельство... *надвинувшее облако недоразумения* на ум его»; в отрывке «Успех посольства»: «Разноголосый лай прорезал *облекавшую его тучу задумчивости*» (V, 55) и т. п.

Итак, Гоголь вслед за Пушкиным сближает литературный язык с живой устно-народной речью, свойственной обществу неаристократического круга. Этот национальный фонд просторечия входит и в повествовательный язык автора. Многие слова, формулы, обороты свободно передвигаются из речей персонажей разного социального положения в стиль повествователя.

В языке Гоголя до середины 30-х годов обнаруживается подвижной и еще небогатый запас таких «внелитературных» слов, при посредстве которых накладываются характеристические краски на речь персонажей из неинтеллигентного круга: Ирина Пантилимоновна, тетка невесты из «Женихов», говорит: «Да ведь Алексей-то Дмитриевич уж такой человек, такой *политичный*, так *авантажно* держится...»; в речи Осипа («Ревизор»): «Деньги б только б были, а жизнь тонкая и *политичная*»; «И ты невежливого слова никогда не услышишь, обращение самое *политичное:* тебе всякий говорит «вы». Ср. употребление слова *политичный* в языке Селифана. Ср. применение этого слова в повествовательном стиле «Мертвых душ»: «*политичное* держание за белые ручки».

Также небогат в языке Гоголя этой эпохи и круг экзотических русских «простонародных» и областных слов, например *мигач* в речи свахи Феклы («Женихи», VI, 37). Ср. в «Мертвых душах» — в повествовательном стиле: *мигача* и *щеголя*. *Телепень* — в речи Кочкарева («Женихи»): *Телепень! Глупее барана!*; в письме Хлестакова («Ревизор»): «Теперь по милости этих *телепней* у меня не только на дорогу, но даже будет чем и дома покутить».

Таким образом, Гоголь стремится ввести в систему литературного выражения демократические стили просторечия, свойственные широким массам городского и отчасти даже сельского населения.

Стили просторечия в языке Гоголя соприкасались и смешивались с канцелярской, официально-деловой речью.

Стили канцелярской речи, смешанной с формами разговорно-чиновничьего диалекта, были известны Гоголю как деловой государственный язык.

Если в повествовательном языке первой части «Вечеров на хуторе» должностные выражения редки, спорадичны — например: «обличить во лжи бесстыдного *поносителя*» («Сорочинская ярмарка»); «*подрывая монополию* амбарного кота» («Майская ночь») и некоторые другие (ср. в речи головы: «резолюцию всем им учиним»), то уже в стиле повести о Шпоньке примесь делового слога становится значительнее. Но лишь «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» можно считать началом, истоком этой речевой струи в составе гоголевского языка. Например: «хотел что-то *присовокупить*»; «как будто с особенным намерением *усугубить* оскорбление»; «табак, *адресуемый* в нос»; «*перед начатием* чтения»; «мудрый *блюститель порядка*»; «бумагу *пометили, записали, выставили нумер, вшили, расписались*» и мн. др. Ср. здесь же элементы

должностного «арго»: «*забежать зайцем вперед*»; «*состряпало* такую бумагу» и т. п.

Официально-деловая канцелярская речь явственно проступает в языке петербургских повестей, иногда окруженная иронической экспрессией.

Например, в «Портрете»: «Он уже готов был признать его нарочно посланным свыше для *воспрепятствования его намерению*»; в «Невском проспекте»: «*написать отношение* из одного казенного места в другое»; «в их голове ералаш и целый *архив начатых и неоконченных дел*» и т. п.

В «Записках сумасшедшего» и в «Носе» разговорно-чиновничья и канцелярски-деловая струя заметно усиливается и подчиняет себе все другие социальные оттенки и различия стилей просторечия. Например, в «Записках сумасшедшего»: «Я не понимаю выгод служить в департаменте: *никаких совершенно рессурсов*»; «он увидел, может быть, *предпочтительно мне оказываемые знаки благорасположенности*»; «это нужно *взять к сведению*»; «событие, *имеющее быть* завтра» и мн. др.

Любопытно, что критико-публицистический стиль Гоголя первой половины 30-х годов, при значительной свободе от церковнокнижной фразеологии и семантики, обнаруживает связь — ироническую, а иногда и непосредственную с чиновничьим и канцелярским языком. Например, в статье «О движении журнальной литературы»: «Рассмотрим его мнение *чисто относительно* к текущей изящной литературе»; «этот разбор был следствие *узнания* разбираемого предмета»; «эти *пункты* довольно важны»; «автор... *представлял* ее *в презент* как проситель представляет куль муки взяточнику-судье»; «*счесть итог* всех книг, *пожалованных* в первоклассные» и др. под.

Канцелярский язык настолько глубоко входил в структуру гоголевского стиля, что Гоголю казалась совершенно необоснованной борьба «смирдинской школы» против элементов официально-деловой, приказной речи в общеупотребительном литературном языке. В статье «О движении журнальной литературы в 1834 г.» Гоголь так отзывался о литературно-языковой реформе Сенковского: «Наконец, даже завязал целое дело о двух местоимениях: *сей* и *оный*, которые показались ему, не известно почему, неуместными в русском слоге» (V, 491). Пушкин в своем полемическом отклике на статью Гоголя должен был разъяснить, что протесты Сенковского против слов — *сей* и *оный* символизировали отрицание всей старой системы книжного языка, основанной по преимуществу на церковнославянизмах и канцеляризмах, особенно в сфере морфологии, лексики и синтаксиса. Пушкин возражал Сенковскому, защищая книжный язык. Но для Пушкина центр «литературности» лежал в синтезе живых церковнославянизмов, европеизмов, форм городского просторечия и «простонародного» языка. Гоголь же в начале 30-х годов, выдвигая принцип контраста как основу романтического творчества, пытался сочетать просторечные стили «среднего сословия» с книжным языком романтизма.

В сфере литературно-книжной речи внимание Гоголя сразу же бы-

ло приковано романтическими стилями русского литературного языка, питавшимися стиховой культурой предшествующей эпохи. Тут смешивались с романтическими неологизмами и отголоски традиции сентиментальных стилей, и церковнокнижные архаистические формы выражения. Вместе с тем в этом кругу происходил напряженный процесс освоения западноевропейской фразеологии, западноевропейской художественной тематики, образов, синтаксических приемов, композиционных схем. В системе романтических стилей сталкивались и смешивались национально-русские языковые элементы разных исторических пластов и эпох с «европеизмами». Для гоголевского стиля первой половины 30-х годов характерно эклектическое отношение к разным видам романтического языка: Гоголь свободно пользуется и языком школы Жуковского (ср. широкое употребление прилагательных, нередко средн. рода ед. ч. в функции существительных) и немецко-романтическими стилями любомудров (ср. язык статей: «Скульптура, живопись и музыка», «О средних веках», «Жизнь» и др.), и кошмарным языком французской «неистовой словесности» (стиль «Кровавого бандуриста», «Портрета» и др.), и некоторыми особенностями языка Марлинского. Гоголь увлекается «мелодией», «гармонией языка», всеми «оттенками звуков», красочной напряженностью и отвлеченным гиперболизмом романтических образов, перифраз, метафор, их быстрой сменой и непрестанным столкновением. Гоголь-романтик культивирует слог «увлекательный, огненный» (V, 143), «блестящий» (144) и «молнийный». В романтическом языке Гоголя — характерное для романтиков засилье «индивидуализирующих» эпитетов, метафорических определений, вообще отвлеченных форм качественной оценки, роднящих язык романтизма с сентиментальными стилями, но поражающих эмоциональным напряжением, обилием семантических антитез и метафорических противоречий[1]. Гоголь проходил сложный и трудный путь преодоления романтических фразовых шаблонов, но он не мог вполне избавиться от них до эпохи «Мертвых душ»[2] (ср. в «Женщине»: «Дрожащие губы пересказывали мятежную бурю растерзанной души»; «молния очей исторгала всю душу»; в «Отрывках романа»: «глаза черные, как уголь, некогда — огонь, буря, страсть, ныне неподвижные» и мн. др. под.).

Однако Гоголь в этом «водопаде» (любимый образ Гоголя в начале 30-х годов) романтических метафор нашел новые формы поэти-

---

[1] Ср. вереницу противоречивых наречий в языке «Старосветских помещиков»: «Я знал его влюбленным нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно...»; ср. подбор эпитетов в «Вие»: «ее лицо с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу»; в статье «Скульптура, живопись и музыка»: «живет порывно, сокрушительно, мятежно»; в «Невском проспекте»: «так ужасно, так страдательно, так сладко жил»; в «Портрете»: «невыразимо выразимое покоилось на них» и т. п.

[2] Ср. гиперболическую метафоризацию образов в романтическом языке Гоголя и широкое употребление такого типа беспредметных перифраз, которые Пушкин преодолел уже к концу 10-х годов: «огненные звезды... тускло реяли среди теплого океана ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое появление блистательного царя ночи» («Майская ночь»); «уста-рубины, готовые усмехнуться смехом блаженства, потопом радости» («Вий») и мн. др.

ческой семантики и вынес отсюда новую теорию и практику построения и употребления художественных образов. Романтические стили сначала представлялись Гоголю тем горнилом, в котором сплавлялись формы русского просторечия с новоевропейской фразеологией и с церковнославянизмами.

Для характеристики отношения Гоголя к западноевропейской струе в составе романтических стилей можно привести множество слов, фраз, образов, метафор, приемов синтаксической связи. Например: «оно (лицо) непременно должно было все *заговорить конвульсиями*» (V, 72): «Нежный серебророзовый *колер* цветущих дерев становился пурпурным» (V, 80); «Она бы (Европа) не слилась железною силою *энтузиазма* в одну стену» (V, 121); ср. «возжечь этой верой пламень и ревность до *энтузиазма*» (V, 197); в «Тарасе Бульбе»: «жадные узнать новые *эволюции и вариации войны*» (V, 427) и мн. др. Однако сам Гоголь не был новатором в области перевода и освоения европеизмов. Он лишь развивал и комбинировал усвоенные русским романтизмом образные и фразеологические формы. И тут приходила на помощь Гоголю архаическая традиция высоких стилей поэзии XVIII в., пропитанная церковнославянизмами.

В этот период отношение Гоголя к церковнославянскому языку — тройственное. С одной стороны, церковнославянизмы входят в комический строй перифраз и метафор, применяемых к «низким предметам», в стиле комического повествования. С другой стороны, при посредстве церковнославянского языка формируется речь персонажей, причастных к церковной культуре и цивилизации (вроде дьячка Фомы Григорьевича или поповича Афанасия Ивановича в «Сорочинской ярмарке»). С третьей стороны, церковнославянизмы переплавляются в новые семантические и фразеологические формы в романтических стилях. Например, «(Зевс) гневно бросил ее *светодарною десницей*» (V, 61); «душа потонет в эфирном *лоне души* женщины...» (V, 64); «великий *зиждитель* мира поверг вас в немеющее безмолвие» (V, 117); «кладут пламенный крест на *рамена* и спешат с энтузиазмом в Палестину» (V, 148) и мн. др.

Конечно, в романтических стилях сохранились церковнославянизмы и в чистой форме. Например: «*совокупление* их всех вместе, в целое...» (V, 128); в речи монаха в «Портрете»: «меня... *милосердый создатель сподобил такой неизглаголанной* своей *благости*»; «сила его погаснет и *рассеется, яко прах*» (там же); в статье «Взгляд на составление Малороссии»: «неотразимые *соглядатаи* дел мира»; в статье «Шлецер, Миллер и Гердер»: «*всезрящий* судия» и мн. др. под.

Но в общем контексте романтических стилей семантические формы церковнославянизмов резко менялись.

Вместе с тем в сфере церковнославянской стихии действует тот же принцип резких переходов от возвышенного к простому, прием неожиданных срывов. Например, в статье «Борис Годунов»: «Прения их воздымают бурю; и запенившиеся уста горланят на торжищах»; «Он ворочает гранитную гору, высоким обрывом громоздит ее к небу и повергается ниц перед безобразным ее величием» и мн. др.

Рост национальных тенденций в творчестве Гоголя и «стремление подвинуться ближе к нашему обществу» (а в этом, по Гоголю, и состояла сущность романтизма; см. VI, 318) неизбежно влекли его к отречению от множества языковых приемов, ассоциировавшихся в начале 30-х годов с представлением о европейских романтических стилях литературной речи XIX в.

Недовольство Гоголя романтическими жанрами и стилями вполне определяется в 1834—1835 гг. Если в «Арабесках» Гоголь сочувствует романтической революции языка, то теперь он находит, что «отчаянные, дерзкие» мятежники, разрушая «несоответствующие нравам и обычаям литературные формы, в обратном количестве наносят столько же зла» (VI, 318). Гоголь выдвигает лозунг синтеза «ветхого и нового», взамен хаоса, произращенного «романтическими смельчаками».

«Мертвые души» Гоголя должны были осуществить этот «классический» синтез живых национально-языковых элементов — новых и ветхих — и наметить остов будущего русского общенационального литературного языка.

§ 3. БОРЬБА ГОГОЛЯ С АНТИНАЦИОНАЛЬНЫМИ СТИЛЯМИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ВО ИМЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕАЛИЗМА

Язык «Мертвых душ» (как и «Шинели») представляет структурное объединение разных стилистических слоев, каждый из которых соответствует определенному плану художественной действительности и определенному лику или личине образа автора. Вместе с тем в композиции «Мертвых душ» резко противопоставлены два метода изображения жизни. Один основан на воспроизведении быта, «как он есть», в присущих ему формах психологии, миропонимания и языка. Здесь вещи называются своими «реальными» именами. Во имя «буквально-ясного значения» автор как бы жертвует всеми предрассудками литературного канона, вовлекая в сферу повествовательно-художественного выражения речь разных «сословий», в особенности крестьянский язык, профессионализмы и арготизмы всех окрасок. И вот на фоне этого реалистически-многоцветного и непретенциозно-грубого, иногда даже «уличного», но зато чисто русского, адекватного воспроизводимой действительности языка пародически выступают отрицаемые Гоголем формы условных литературных стилей. Другой метод изображения в «Мертвых душах» основан на пародийном показе условной литературности «антинациональных» стилей русского языка, на разоблачении их несоответствия истинной сущности вещей и действий.

Литературно-книжный язык высших классов, верхних слоев общества Гоголь считает пораженным болезнью «чужеземствования». «Посреди чужеземной жизни нашего общества, так мало свойственной духу земли и народа, извращается прямое, истинное значение коренных русских слов: одним приписывается другой смысл, другие

позабываются вовсе»[1]. Поэтому нормы европеизированных литературно-светских стилей отвергаются Гоголем. В «Мертвых душах», пародийно обнажая полемические основы своего простонародного, демократического стиля, автор винит в неорганизованности русского литературного языка «европейский» антинациональный стиль «высшего общества». «В том же, что автор употребил его («уличное слово»), виноваты сами читатели, и особенно читатели высшего общества: от них первых не услышишь ни одного порядочного русского слова, а французскими, немецкими и английскими они, пожалуй, наделят в таком количестве, что и не захочешь, и притом с сохранением всех возможных произношений... А вот только русским ничем не наделят, разве только из патриотизма выстроят для себя на даче избу в русском вкусе...» (VII, 297)[2].

В этой тираде звучит протест не только против аристократических литературных стилей, но и против языка «смирдинской школы», возглавлявшейся Сенковским. Недаром Сенковский боролся с языком Гоголя, защищая «язык изящный, благородный, очищенный».

Отсюда проистекал тот пыл сатирического негодования, с которым Гоголь клеймил «французский» стиль высшего общества и русско-французскую провинциальную манерность его чиновничьих и буржуазных имитаций.

Он иронически говорит о «спасительных пользах» французского языка, противопоставляя русский язык «Мертвых душ» смешанному русско-французскому языку «светских повестей: «Но как ни исполнен автор благоговения к тем спасительным пользам, которые приносит французский язык России, как ни исполнен благоговения к похвальному обычаю нашего высшего общества, изъясняющегося на нем во все часы дня, конечно, из глубокого чувства любви к отчизне, но при всем том никак не решается впустить фразу какого бы ни было чуждого языка в сию русскую свою поэму» (VII, 313; ср. III, 181—182).

Борьба Гоголя с «светско-европейским» языком русского дворянского общества находит свое выражение также в комическом изображении тех перифраз и «галлицизмов», которыми кишела речь чиновников и помещиков мелкого и среднего ранга, подражавших языку аристократических салонов. Здесь, конечно, прежде всего выделяется «язык дам». Он получает такую характеристику от автора: «Дамы города N отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенною осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: «Я высморкалась, я вспотела, я плюнула», а говорили: «Я облегчила себе нос, я обошлась посредством платка». Ни в каком случае нельзя было сказать: «Этот стакан или эта тарелка воняет»; и даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подало намек на это, а говорили вместо того: «Этот стакан нехорошо ведет себя», или что-нибудь вроде этого».

---

[1] *Гоголь Н. В.* Объявление об издании русского словаря.— В кн.: *Гоголь Н. В.* Соч. М. — СПб., т. 4, с. 433.

[2] О том же рабском копировании западноевропейских стилей писал с осуждением Гоголь в «Переписке с друзьями» (IV, 206).

Этот сатирический выпад против дамского «нежного языка» роднит Гоголя с теми литературно-общественными группами, которые, отправляясь всецело или частично от принципа народничества, боролись с русско-французскими салонными стилями высшего общества и их провинциальными имитациями в духе эпигонов карамзинизма. В сущности, Гоголь тесно примыкает в этом направлении к Пушкину, продолжая его борьбу с «жеманством», «чопорностью», провинциальной манерностью во имя «нагой простоты». Однако национальный демократизм Гоголя более прямолинеен, односторонен и более категорически направлен против эстетических вкусов и искусственных стилистических норм «светского» общества, против его условной, манерной риторики, против его зависимости от французского языка. Гоголь ближе к позиции Даля. Он идет дальше Пушкина в литературных завоеваниих как крестьянского языка с его диалектизмами, так и разных стилей городского просторечия. Отсюда — такая резкая характеристика французского языка дам: «Чтоб еще более облагородить русский язык, половина почти слов была выброшена вовсе из разговора, и потому весьма часто было нужно прибегать к французскому языку; зато уж там, по-французски, другое дело: там позволялись такие слова, которые были гораздо пожестче упомянутых» (III, 157)[1].

Дамские диалоги в «Мертвых душах» пестрят галлицизмами и французскими цитатами: «Одна очень любезная дама,— которая приехала вовсе не с тем, чтобы танцовать, по причине приключившегося, как сама выразилась, небольшого *инкомодите* в виде горошинки на правой ноге... не вытерпела, однако же» (III, 167); «Сами даже дамы наконец заметили, что поведение его черезчур становилось *скандалезно*» (III, 173; ср. VII, 10; 103); «*скандальозу* наделал ужасного...» (III, 183) ср.: «за мной подобных *скандальозностей* никогда еще не водилось» (III, 186); «Ведь это история, понимаете ли, история, *сконапель истоар*», — говорила гостья с выражением почти отчаяния... Не мешает заметить, что в разговор обеих дам вмешивалось очень много иностранных слов и целиком иногда длинные французские фразы» (III, 181 и 182); «ну, просто *оррёр, оррёр, оррёр*» (III, 183); «даже немножко подкладывают ваты, чтобы была совершенная *бельфам*» (III, 180; VII, 107) и т. п. Характерно, что Гоголь вмещает в язык провинциальных дам и те архаические галлицизмы, которые в столицах считались уже купеческими или мелкочиновничьими, например: «Как, неужели он и протопопше *строил куры*».— «Ах, Анна Григорьевна, пусть бы еще *куры*» (III, 182)[2].

Сверх галлицизмов комически изображается свойственный языку дам гиперболизм эмоциональных изъявлений. Тут осмеянные еще

---

[1] При характеристике жены Манилова французский язык иронически объявляется «необходимым для счастья семейной жизни». Он один из трех столпов (наряду с фортепьяно и вязаньем сюрпризов) того хорошего дворянского пансионного воспитания, которое приучает дам чуждаться «низких предметов» (III, 22).

[2] Ср. замечание А. С. Шишкова, что такие выражения, как *куры строить* изгнаны из большого света и переселились к купцам и купчихам (Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. 2-е изд. СПб., 1818, с. 22 и 23).

«Живописцем» Новикова эмоциональные определения — *бесподобный, беспримерный*: *«Словом, бесподобно! Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете»* (III, 180); «ни на что не похоже» (III, 180); и обращения на французский манер: «Ах, жизнь моя...» (III, 182); *«Ах, прелести!»* (III, 182) и др. Но Гоголь присоединяет к этим традиционным формам дамской речи, речи «щеголих», уже осмеянным сатирической литературой, новые черты, новые приемы эмоциональной фразеологии, комически освещающие «поэзию воображения»: «Это такое очарование, которого просто *нельзя выразить словами. Вообразите себе:* полосочки узенькие, *какие только может представить воображение человеческое»* (III, 179); «Если бы вы могли только *представить то положение*, в котором я находилась! *Вообразите...»* (III, 182) и др. Сентиментальная слащавость и фальшивая, приторная любезность дамской светской речи находят свое выражение в обилии уменьшительно-ласкательных слов: *«веселенький* ситец»; «я прислала *материйку»; «полосочки узенькие, узенькие»* (III, 170); *«эполетцы* из *фестончиков»;* «в два *рубчика»* и др.[1]

Вместе с тем Гоголь подчеркивает близость дамского языка к риторическим формам сентиментально-романтических стилей, к их лексике и фразеологии: «Она статуя и *бледна, как смерть»* (III, 185; ср. III, 182 и 187); «ведь это просто *раздирает сердце»* (III, 185); *«вооруженный с ног до головы в роде Ринальда Ринальдина»* (III, 182) и т. п.

В стиле письма, отправленного неизвестной дамой Чичикову, комически представлены и освещены основные приемы салонно-сентиментального стиля. Прежде всего пародирована чувствительная лексика («тайное сочувствие между душами» — приглашение в пустыню и т. п.; в ранних редакциях: «Ах, сколько раз мое сердце *обливалось слезами»* и т. п.). Кроме сентиментальной лексики и фразеологии выставлялись в комическом свете напряженно-эмоциональный тон этого стиля, его синтаксические приемы и экспрессивные формы: «Письмо начиналось очень решительно, именно так: «Нет, я должна к тебе писать!»; *«эта истина скреплена была несколькими точками, занявшими почти полстроки»* (III, 158). Вместе с тем осмеивается прием риторических вопросов и пародируется язык чувствительных определений, характерных для сентиментального стиля: «Что жизнь наша! — Долина, где поселились горести. Что свет! — Толпа людей, которая не чувствует». Ср. у Карамзина:

Что есть жизнь наша? сказка,
А что любовь? ее завязка!

(Два сравнения)

Особенно любопытно, что в это дамское письмо вкраплена отпрепарированная в контрастно-комическом стиле фраза из пушкинских

---

[1] Ср. также эмоциональные повторения: «все глазки и лапки, глазки и лапки...» (III, 179—180); «он негодный человек, негодный, негодный, негодный» (III, 181); «он совсем не хорош, совсем не хорош» (III, 181) и др.

«Цыган»: «Приглашали Чичикова в пустыню,— оставить навсегда город, где люди в *душных оградах не пользуются воздухом»*.

С не меньшей тонкостью и остротой выставлены лексико-фразеологические формы сентиментально-дамского стиля в тех «намеках и вопросах», которые «устремились» к Чичикову «из дамских благовонных уст»: «Позволено ли нам, *бедным жителям земли*, быть так дерзкими, чтобы спросить вас, о чем мечтаете?»; «Где находятся те *счастливые места, в которых порхает мысль ваша?»*; «Можно ли знать имя той, которая *погрузила вас в эту сладкую долину задумчивости?»*

Чрезвычайно симптоматично, что речи Хлестакова, воплощавшего «легкость необыкновенную» мыслей, особенно в первых редакциях «Ревизора», были насыщены элементами этого «дамского» светского языка. Так, даже намек на фразеологию Алеко первоначально содержался в репликах Хлестакова: «Иногда, знаете, приятно отдохнуть этак на берегу ручейка, заняться близ хижинки. А в городе люди за каменной оградой» (VI, 151). Хлестаков также употреблял выражение: «ни на что не похоже», которое в «Мертвых душах» Гоголь признал специфически дамским: «И как начнем играть, то, просто, я вам скажу, что уж ни на что не похоже: дня два не сходя со стула играем!» (VI, 201). Ср. также: «Прощайте, Мария Антоновна, нежнейший предмет моей страсти!» (VI, 231); «Прощайте, ангел души моей!..» (VI, 232); в письме к Тряпичкину: «Приятность времени, проведенного с здешними жителями, у меня долго останется в сердце» (VI, 245—246).

В тесную связь с европеизированным русско-французским языком светских дам Гоголь ставит стиль «светской повести» 30-х годов, риторический стиль школы Марлинского. Речь губернаторши иронически относится автором к той манере выражения, в которой «изъясняются дамы и кавалеры в повестях наших светских писателей, охотников описывать гостиные и похваляться знанием высшего тона,— в духе того, что «неужели овладели так вашим сердцем, что в нем нет более ни места, ни самого тесного уголка для безжалостно забытых вами» (III, 165). А речь Чичикова иронически сопоставляется с языком модных героев: «Герой наш... уже готов был отпустить ей ответ, вероятно, ничем не хуже тех, какие отпускают в модных повестях Звонские, Ленские, Лидины, Гремины и всякие ловкие военные люди, как, невзначай поднявши глаза, остановился вдруг, будто оглушенный ударом... Чичиков так смешался, что не мог произнести ни одного толкового слова и пробормотал чорт знает что такое, чего бы уж никак не сказал ни Гремин, ни Звонский, ни Лидин» (III, 165).

Иронический выпад против светского сентиментально-романтического стиля, особенно в сфере изображения «красавиц», вторгается и в язык чичиковских раздумий на балу. Комически подчеркивается «невыразимость» предмета и пародируется гипертрофия эпитетов к слову «глаза» в салонно-дворянских стилях и в поэтическом языке Бенедиктова и его школы: «Поди-ка, попробуй рассказать или передать все то, что бегает на их лицах, все те излучинки, намеки... а вот, просто, ничего не передашь. Одни глаза их такое бесконечное госу-

дарство, в которое заехал человек — и поминай, как звали! Уж его оттуда ни крючком, ничем не вытащишь. Ну, попробуй, например, рассказать один блеск их: влажный, бархатный, сахарный — бог их знает, какого нет еще! и жесткий, и мягкий, и даже совсем томный, или, как иные говорят, в неге, или без неги, но пуще нежели в неге,— так вот зацепит за сердце, да и поведет по всей душе как будто смычком» (III, 163).

И затем уже с явным отражением авторской иронии, направленной против этой цветной фразеологии, против беспредметно-мечтательных нюансов салонно-светского стиля:

«Нет, просто, не приберешь слова: *галантёрная половина* человеческого рода, да и ничего больше».

Свой стиль изображения и повествования Гоголь открыто противопоставляет тем стилистическим нормам, которые укрепились в салонных стилях первой половины XIX в., рассчитанных на языковые и художественные вкусы «светских дам».

Особенно ярко и решительно этот литературно-полемический тон звучал в первых редакциях «Мертвых душ»:

«Автор... должен признаться, что он невежа и до сих пор ничего еще, где только входят чернила и бумага, не произвел по внушению дамскому. Он признается даже, что если дама облокотится на письменное бюро его, он уже чувствует маленькую неловкость; а впрочем, сказать правду, он не имеет обыкновения смотреть по сторонам, когда пишет, если же и подымет глаза, то разве только на висящие перед ним на стене портреты Шекспира, Ариоста, Фильдинга, Сервантеса, Пушкина, отразивших природу таковою, как она была, а не таковою, как угодно было кому-нибудь, чтобы она была» (VII, 140; ср. VII, 352).

Параллельно с этой борьбой против салонно-дворянских стилей и их буржуазных имитаций, против русско-французского языка светских дам Гоголь начинает литературную войну с смешанными полуфранцузскими, полупростонародными русскими стилями романтизма. Так, он иронизирует над историческими романами (вроде романа Н. Полевого: «Клятва при гробе господнем»), в которых русское просторечие и областная простонародность, «слог русских мужичков и купцов» механически смешивались с отражениями французской семантики[1].

Романтическим стилям Гоголь противопоставляет теперь стили реалистические.

В первых редакциях «Мертвых душ» отталкивание Гоголя от романтического стиля сопровождалось широким использованием романтической фразеологии, романтических образов, их отрицанием или трансформацией. Особенно ярко связь языка ранних редакций «Мертвых душ» с романтическим стилем и отречение от романтиче-

---

[1] См. рецензию Гоголя на исторический роман «Основание Москвы, смерть боярина Степана Ивановича Кучки». Сочинение К... К... а. СПб., 1836 (VI, 359—360).

ских форм во имя церковнославянской семантики в позднейших редакциях видны из сопоставления лирических отступлений.

Например, в гимне возвышенному писателю встречались такие фразы и образы:

«...к характерам, навстречу которым летишь с любовью, как будто к давним знакомым, почти родным, которых душа когда-то, в младенческие годы, *не ведая сама где*, в каких местах, *во время всяких своих отлучений* от *тела*, встретила на пути» (VII, 80); «Он *зажег энтузиазм*... и *увлеченные к нему несутся молодые души, страстные и нежные*, и его имя произносят с огнем в очах и признательностью» (там же).

В последней редакции исключены эти романтические образы, эти европеизмы и заменены церковнокнижной фразеологией, сближенной с одическими образами XVIII в. Например: «Великим всемирным поэтом имепуют его, *парящим высоко* над всеми другими гениями мира, *как парит орел над другими высоколетающими*» и др.

«При одном имени его уже *объемляются трепетом* молодые пылкие сердца» (III, 131).

Более яркие краски романтического стиля сначала были использованы и в картине ночной толпы, веселящейся в саду разгульного помещика: «...толпа гуляющих мелькает и веселится, радуясь с радостью ребенка, видя, как прогнана так волшебно темная ночь, и только тому, кто младенческой душой любит девственную чистоту природы и дрожит за ее нежные тайны,— тому одному только является что-то дикое в сем насильственном освещении...» (VII, 262).

Но в последней редакции романтические краски поблекли: «Полгубернии разодето и весело гуляет под деревьями, и никому не является дикое и грозящее в сем насильственном освещении» (III, 118).

Не менее симптоматичны исключения романтико-риторических образов в лирическом отступлении автора по поводу плюшкинской души. Образ старости был первоначально набросан такими фразеологическими красками: «Спешите, уносите человеческие движения — идет, идет она, нерасцепимыми когтями уже вас объемлет она, как гроб, как могила, ничего не отдает назад и обратно, и еще немилосердней, сокрушительней могилы» (VII, 269).

В последней редакции развивается один церковнокнижный символ *дороги*, перенесенный в бытовой план: «Забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость и ничего не отдает назад и обратно» (III, 125).

Но особенно разительно новые принципы стилистического построения и новые формы семантики обнаруживаются в развитии темы страстей (последняя глава «Мертвых душ»). В ранних редакциях звучит восторг перед всяким влечением[1]. Романтическая лексика

[1] Вот этот отрывок в ранней редакции: «Безумно, слепо мы все влечемся к какой-нибудь одной страсти и слепо жертвуем для нее всем; но есть что-то упоительное, настороженное, вечно-зовущее в самом влечении. И у автора, пишущего эти строки, есть страсть,— страсть заключать в ясные образы приходящие к нему мечты и явления в те чудные минуты, когда, вперивши очи свои в иной мир,

(эпитеты; *безумно, слепо* мы влечемся; *упоительный; восторженны вечно-зовущий; бедный чердак;* любит *сильно, пламенно* и т. п.), романтическая фразеология («вперивши очи свои в иной мир, несется он мимо земли»; «полный благодарных слез за свой небесный удел, не ищет он ничего в сем мире» и др.), образ бедного мечтательного поэта, живущего на чердаке,— все это ведет к гоголевской стилистике эпохи «Арабесок», эпохи «Портрета», «Невского проспекта», «Лунного света на чердаке». В последней редакции церковнокнижные образы, церковнославянская фразеология, синтаксис и весь семантический строй речи отделены глубокой пропастью от европеизированных стилей романтизма. Они непосредственно упираются в идеологию церковной проповеди. Таковы выражения: «... *бесчисленны, как морские пески,* человеческие страсти... и все они... становятся страшными властелинами его»; «Растет и *десятерится* с каждым часом и минутой *безмерное его блаженство,* и входит он глубже и глубже в бесконечный *рай* своей души. Но есть *страсти, которых избранье не от человека... Высшими начертаньями они ведутся... Земное великое поприще* суждено совершить им, все равно, в мрачном ли образе, или пронесшись светлым явленьем, *возрадующим мир,*— одинаково вызваны они для *неведомого человеческого блага»* (III, 244).

Принципы народно-поэтической, этнографической и национально-реалистической семантики, определявшие подбор слов, взаимодействие разностильных элементов и их объединение в новые синтаксические и фразеологические группы,— эти приемы в самом процессе их столкновения с пережитками романтической фразеологии раннего периода очень рельефно обнаруживаются такими стилистическими заменами и трансформациями образа охотника, с которым сравнивалась «просто приятная дама». Первоначально все слова, составлявшие описание, вращались в пределах «среднего» литературно-повествовательного стиля, находились на одном уровне литературности. Была более или менее очевидна романтическая окраска метафорической предметно-противоречивой фразеологии: «с дышущими очами, но сам без дыханья»; «упругий, как девичьи перси, холод» и др. под.[1] В последней редакции являются слова просторечные, профессиональные слова с национально-характеристической окраской. Так, слово *охотник* обрастает просторечными бытовыми образами: «русский барин, собачей и иора-охотник». К слову *заяц* присоединяется «охотничье» пояснение: «выскочит *оттопанный доезжачими* заяц»; выбрасываются

несется он мимо земли и в оных чудных минутах, нисходящих к нему в его бедный чердак; заключена вся жизнь его и, полный благодарных слез за свой небесный удел, не ищет он ничего в сем мире, но любит свою бедность сильно, пламенно, как любовник свою любовницу» (VII, 366).

[1] Вот этот отрывок в ранней редакции: «Так охотник, подъезжая к лесу, из которого, знает, что вот сию минуту выскочит заяц, обращается весь со своим конем и поднятым арапником в один застывший миг, в порох, к которому вот-вот поднесут огонь. Недвижно стоит он с дышущими очами, но сам без дыханья, стоит один среди блистающей снежной равнины, сливающейся с горизонтом, а зимний упругий, как девичьи перси, холод дразнит и колет его молодую кровь, а ветер, поднявшись из лесу, метет ему вихри снежного пуха в уста, в усы, в очи, в брови и в бобровую его шапку» (VII, 315).

«дышущие очи и упругие девичьи перси». Синтаксические формы принимают широкое лиро-эпическое течение, и являются народно-поэтические эпитеты (*неотбойный*). Вся картина получает такой гомеровский вид: «Весь впился он очами в мутный воздух и уж настигнет зверя, уж допечет его, неотбойный, как ни воздымайся против него вся мятущая снеговая степь, пускающая серебряные звезды ему в уста, в усы, в очи, в брови и в бобровую его шапку» (III, 184).

С семантикой западноевропейских романтических стилей был связан научно-философский язык 20—40-х годов.

Этот научно-философский язык теперь представляется Гоголю, как позднее Герцену, повторявшему эпитет профессора Перевощикова «птичий язык»,— антинациональной коллекцией чужих терминов и темных слов. Направив Чичикова к шкафу с книгами в библиотеке полковника Кошкарева, Гоголь с необыкновенной комической остротой осмеял русско-немецкий стиль философского жаргона 30—40-х годов: «.. он обратился к другому шкафу — из огня в полымя: все книги философские. Шесть огромных томищей предстало ему перед глазами под названием: «Предуготовительное вступление в область мышления. Теория общности, совокупности, сущности, и в применении к уразумению органических начал обоюдного раздвоения общественной производительности». Что ни разворачивал Чичиков книгу, на всякой странице — *проявление, развитие, абстракт, замкнутость* и *сомкнутость*, и чорт знает чего там не было!» (IV, 346—347).

В «Учебной книге словесности» Гоголь в ярких формулировках излагает свой идеал русского национально-научного стиля, противопоставляя его традиционным стилям западноевропейской науки, укрепившимся в русской литературе,— и вместе с тем стилям «гостинных споров и разговоров» (IV, 403, 404). Отличительными чертами русского научного языка Гоголь признает объективизм, реализм и лаконизм. Русскому слову свойственна адекватность предмету — способность «не описывать, но отражать, как в зеркале, предмет». Поэтому русский научный язык будет свободен от фразерства, краснобайства, от сентиментально-романтических «нарумяниваний» и «подслащиваний». Такой национально-научный язык будет чужд классовой ограниченности. Он национально-демократичен. «Своим живым духом он станет доступен всем: и простолюдину и непростолюдину». Этот стиль, по мнению Гоголя, особенно резко контрастирует с языком «немецкой философии». Основными источниками истинно русского научного языка, по Гоголю, должны быть тот же церковнославянский язык и те же стили русского «народного», преимущественно крестьянского языка и народной поэзии.

Итак, коренные национальные основы и начала «истинно русского языка», по мнению Гоголя, забыты. Прежняя языковая культура «еще не черпала из самой глубины» трех основных источников — народных песен, «многоочитых пословиц» и церковных книг и поучений (IV, 211). Эти источники цельнее всего, в величии, близком к патриархально-библейскому», хранятся в недрах крестьянского быта (IV, 208—209) и в духовной культуре церкви. «Сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы

звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковнобиблейского, а с другой стороны, выбирая на выбор меткие названия из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность, таким образом, в одной и той же речи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанию непонятливейшего человека,— язык, который сам по себе уже поэт и которой недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом: нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречиях всю дрянь, какая ни приставала к нам вместе с чужеземным образованием, чтобы все те неясные звуки, неточные названия вещей — дети мыслей невыяснившихся и сбивчивых, которые потемняют языки, не посмели помрачить младенческой ясности нашего языка, и возвратились бы к нему уже готовые мыслить и жить своим умом, а не чужеземным. Все это еще орудия, еще материалы, еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из которых выкуется иная, сильнейшая речь» («В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», IV, 212).

§ 4. РАЗОБЛАЧЕНИЕ И ОБЛИЧИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ РИТОРИКИ И СТИЛИСТИКИ

Таким образом, у Гоголя созрело убеждение в невозможности глубоко понять и выразить русскую действительность при посредстве «западнических», «антинародных» стилей русской литературы; убеждение в несоответствии этих стилей «духу русского языка и психологическому складу русского народа». Отсюда возникла задача разоблачения лжи и фальши, укрепившихся в быту форм отношения между словом и предметом, между языком и действительностью. Необходимо было и в наличных русских национальных стилях — книжных и разговорных — произвести отбор и оценку семантических форм, чтобы отвергнуть и изобличить те, в которых слова не отражали «предмета», а лишь скрывали его. Это обязывало комического писателя глубже спуститься в мир изображаемой действительности, воспринять его язык, его стили официального, светского и фамильярно-бытового обхождения и в процессе их литературного употребления демонстрировать разрыв между словом и его истинным значением. Социально-языковый состав повествования становится у Гоголя необыкновенно сложным и пестрым. Укрепляется и детализируется тенденция к художественному использованию языковых средств самой изображаемой среды.

Конечно, основным источником в этом направлении остаются для Гоголя стили живой устной русской речи. Он сознавал, что громадную роль в их структуре и в их унификации играют официальные стили делового языка. При их посредстве происходил процесс слияния разносословных, профессиональных, жаргонных, провинциально-городских и поместно-областных диалектов в тот бытовой поток общенационального русского разговорного языка, который становился

подземным родником, питающим литературный язык. Гоголь стремится очистить этот языковой источник, выбросить из него сор условно-лицемерных и лживых форм выражения.

В «Мертвых душах» прежде всего разоблачаются принципы и приемы официальной семантики высших слоев русского общества.

Разоблачается фальшь установившихся обозначений, их несоответствие подлинному предмету, истинной действительности. Например: «Но при всех таких похвальных качествах он мог бы остаться... тем, что называют в обширном смысле: «хороший человек», т. е. весьма гаденький, обыкновенный, опрятный человек, без всяких резких выпуклостей» (VII, 353).

Иногда для демонстрации условности какого-нибудь понятия иронически раскрывается содержание, вкладываемое обществом в то или иное слово: «Словом, они были то, что называется счастливы» (заключение иронического описания жизни супругов Маниловых) (III, 22); «Более не находилось ничего на сей уединенной или, как у нас выражаются, красивой площади» (III, 138).

Сатирически демонстрируется Гоголем магическая сила слов, связанных с деньгами и чинами, меняющая отношение к предметам даже независимо от личной корысти: «Виною всему слово *миллионщик*,— не сам миллионщик, а именно одно слово; ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка заключается что-то такое, которое действует и на людей-подлецов, и на людей ни се, ни то, и на людей хороших, словом — на всех действует. Миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть подлость, совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах» (III, 157).

Но главным объектом авторских нападений являются формы официально-светской, деловой и канцелярской стилистики.

С необыкновенной остротой и едкостью пародирование официально-канцелярского языка и лежащей в основе его семантики проявляется в той части второго тома «Мертвых душ», которая посвящена изображению деревни полковника Кошкарева.

В этом очерке бьет неиссякаемый источник обличительной стилистики. Из этого источника вытекали главные из тех бюрократически-пародийных языковых приемов, которые характерны для стиля Салтыкова-Щедрина. Апогея достигает это разоблачение бюрократического стиля мысли и речи в официальной бумаге того «особенного человека», который «статс-секретарским слогом» написал донесение касательно просьбы Чичикова и которому предстояла в будущем должность президента высшего управления в деревне Кошкарева. Здесь и казуистика канцелярского языка, и заложенные в ней формы беспредметной и бессмысленной иронии, и своеобразия ее семантики, и тесная связь с церковнокнижным языком и его риторикой — выступают в гротескно-преувеличенном виде.

Прежде всего «трактуется» само понятие души с официально-гражданской и церковнометафизической точек зрения:

«...В изъяснении того, что требуются ревизские души, постигнутые всякими внезапностями, вставлены и умершие. Под сим, вероятно, они изволили разуметь близкие к смерти, а не умершие, ибо умершие

не приобретаются. Что ж и приобретать, если ничего нет? Об этом говорит и самая логика...» Далее выражение «умершие души» рассматривается в словесноцерковном аспекте: «Да и в словесных науках они, как видно, не далеко уходили... ибо выразились о душах *умершие*, тогда как всякому, изучавшему курс познаний человеческих, известно заподлинно, что душа бессмертна». После этого разностороннего канцелярского анализа противоречий, скрытых в выражении «умершие души», все же во втором пункте оказывается, что для залога в ломбард годятся всякие души — пришлые, или прибылые, или, как Чичиков неправильно изволил выразиться, умершие (III, 345).

Так, в изображении Гоголя, русская действительность того времени как бы опутана тонкими сетями официально-канцелярской и бюрократически-«деловой» лексики, фразеологии и стилистики. Поэтому повествователь широко пользуется присущими изображаемой среде формами выражения, перенося их на все предметы и явления. Обнажаются все семантические и экспрессивные оттенки официально-делового языка. Они выступают особенно резко и странно, когда иронически обличается и комментируется несоответствие условной семантики общественно-делового языка истинной природе вещей.

Формы официальной речи широко использованы в языке «Мертвых душ» в самых разнообразных ситуациях. Таково применение официально-торжественной, канцелярской или разговорно-чиновничьей лексики и фразеологии: «*Трактовали ли касательно следствия*, прозведенного казенною палатою, — он показал, что ему небезызвестны и судейские проделки».

В ранних редакциях применение канцелярского стиля было гораздо шире и натуралистичнее, непринужденнее. Ср. синтаксис и лексику описания происшествия с сольвычегодскими купцами, приехавшими в город на ярмарку и задавшими после торгов пирушку приятелям своим устьсысольским купцам «...*на которой пирушке*, от удовольствия ли сердечного или просто с пьяна, уходили на смерть приятелей своих устьсысольских купцов, несмотря на то, что *сии последние с своей стороны* были тоже мужики дюжие... В деле своем купцы, впрочем, повинились, изъясняясь, что немного пошалили» (VI, 117; ср. изменения в окончательной редакции, III, 193).

Иногда «служебный слог» выступает открыто — с авторской пометой: «Все прочее чиновничество было напугано, распугано, перепугано и *распечено*, выражаясь служебным слогом, *на пропало*» (VI, 145). Ср.: «бричка мчалась во все пропало» (VII, 229); в окончательной редакции: «во всю пропалую» (III, 85); «галопад летел во всю пропалую» (III, 162).

Ср.: «В губернию назначен был новый генерал-губернатор,— событие, как известно, приводящее чиновников в тревожное состояние: пойдут *переборки, распеканья, взбутетениванья*, и *всякие должностные похлебки*, которыми угощает начальник своих подчиненных» (III, 192). Ср. тут же в речи самих чиновников: «за это одно может *вскипятить* не на жизнь, а на самую смерть».

Иронический привкус в употреблении канцеляризмов и официаль-

ных выражений возникает также в том случае, когда они применяются при изображении бытовых, «неслужебных» действий и поступков чиновников: «Не успел совершенно выкарабкаться из объятий председателя, как очутился уже в объятиях полицеймейстера; полицеймейстер *сдал его* инспектору врачебной управы» (III, 160).

Даже лошади в «Мертвых душах» думают по-чиновничьи, официальными словами и выражениями: «Он (чубарый)... часто засовывал длинную морду свою в корытца к товарищам, поотведать, какое у них было *продовольствие*» (III, 86).

Церковнославянизмы, перешедшие в официально-торжественный стиль, усвоенные его риторикой, приурочиваются к норме повествовательного выражения и получают яркий отпечаток авторской иронии. Возникает ощущение нарочитой обличительной демонстрации «цветов общественного красноречия», риторических «красот» церковно-гражданского языка, подчиненного иерархии чинов. Например: «Потом отправился к вице-губернатору, потом был у прокурора, у председателя палаты, у полицеймейстера, у откупщика, у начальника над казенными фабриками... жаль, что несколько трудно упомнить всех *сильных мира сего*...» «В разговорах с *сими властителями* он очень искусно умел польстить каждому» (III, 9) и мн. др.

С поразительной силой и яркостью фальшь и условность буржуазно-дворянской бытовой и деловой риторики разоблачаются в речах Чичикова. Язык Чичикова чрезвычайно разнообразен. Как и самый образ Чичикова, так и его речь является синтетическим воплощением сущности меркантильного буржуазно-дворянского общества, переживающего процесс капитализации, зараженного страстью к приобретательству. Недаром Гоголь, вводя в речь Чичикова новые тона, новые стилистические оттенки при разговоре его с Коробочкой, считает необходимым подчеркнуть этот социально-экспрессивный универсализм чичиковской речи.

Характерно, что Гоголь связывает с образом Чичикова прием экспрессивного и стилистического варьирования речи в зависимости от чина и имущественного положения собеседника, возводя эту черту в типическое свойство буржуазно-дворянского языка своей эпохи: «Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались еще кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения... у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот; а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот; словом, хоть восходи до миллиона, все найдутся оттенки» (III, 45 и 46)[1].

---

[1] Любопытно, что и сам Чичиков признает зависимость стиля и экспрессии речи от ранга. Так, смущенный чрезмерно сентиментальной манерой выражения Манилова, «Чичиков, услышавши, что дело уже дошло до именин сердца, несколько даже смутился и отвечал скромно, что ни громкого имени не имеет, ни даже ранга заметного» (III, 24).

14*

Таким образом, отвергается Гоголем канон буржуазно-дворянской официально-деловой и светски-бытовой речи — лицемерной и лживой.

Однако демократические, народные элементы речи «среднего сословия» Гоголь считает основным материалом для построения системы общенационального языка.

§ 5. ПРИНЦИП СМЕШЕНИЯ СТИЛЕЙ ЛИТЕРАТУРНО-КНИЖНОГО ЯЗЫКА С РАЗНЫМИ ДИАЛЕКТАМИ УСТНОЙ РЕЧИ КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА В ПОНИМАНИИ ГОГОЛЯ

С ростом национально-реалистических тенденций для Гоголя ближе уясняется «читатель», адресат его творчества. Это — «сословие среднее во всей его массе» (VI, 332).

Отсюда, естественно, перед Гоголем возникает задача: установить общий для всего этого «среднего сословия» национально-языковой фонд словесного выражения и при его посредстве сломать старую систему литературно-книжного языка. Творческий метод подобной литературно-языковой реформы был уже найден Пушкиным: это — метод смешения повествовательного стиля, авторского изложения с формами речи, присущими самим изображаемым героям, их быту, и вытекающий отсюда метод структурного отбора и объединения избраиных элементов для создания новой национальной системы литературного языка.

Таким образом, в литературный язык открывается широкий доступ не только разговорной речи «среднего сословия», не только разоблаченным и преобразованным стилям делового официально-бытового и государствениого, канцелярского языков, не только разным диалектам и жаргонам города и поместья, соприкасавшимся с языковой системой «среднего класса», но и «простонародному» крестьянскому и мещанскому языку с его диалектами и жаргонами.

В языке «Мертвых душ» причудливо смешиваются формы литературно-книжного языка с разностильными элементами устной бытовой речи. Ярче всего и прежде всего выступает обыденный язык изображаемого социального мира.

Уснащенность повествовательного стиля «Мертвых душ» словами, выражениями, синтаксическими конструкциями, выхваченными из языка самой воспроизводимой социальной среды, нередко отмечается стилистическими ссылками и указаниями самого автора. Например: «Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него, просто, было собачье чутье» (III, 236); «...была у них ссора за какую-то бабенку, свежую и крепкую, как ядреная репа, по выражению таможенных чиновников» (III, 238) и т. п.

Сюда же примыкает ходячая фразеология бытового просторечия, вводимая в повествовательную речь посредством вводных слов — *как говорится* или *что называют*. Например: «Взглянувши, *как говорит-*

ся, оком благоразумия на свое положение, он видел, что все это вздор» (VII, 103), ср. в окончательной редакции: «взглянувши оком благоразумного человека» (III, 174); ср. в речи Чичикова: «Вы взгляните оком благоразумного человека» (VII, 398): «Но Собакевич *вошел, как говорится, в самую силу речи*» (III, 99); «Помещик, кутящий во всю ширину русской удали и барства, *прожигающий, как говорится, насквозь жизнь*» (III, 117); «Байбак, *лежавший, как говорится, весь век на боку*» (III, 155); «Приходили даже под час в присутствие, *как говорится, нализавшись*» (III, 280) и др. под. Ср. также: «Это было то лицо, *которое называют в общежитии кувшинным рылом*» (III, 141); «Если же между ими и происходило *какое-нибудь то, что называют «другое-третье»*, то оно происходило втайне» (III, 156—157).

Но и независимо от стилистических указаний повествователя, множество просторечных выражений в повествовательном стиле «Мертвых душ» также свидетельствуют о сближении авторской речи с бытовым языком и понятиями изображаемой среды:

«А уж там в стороне четыре пары *откалывали мазурку:* каблуки ломали пол, и армейский штабс-капитан работал и душою и телом, и руками и ногами, *отвертывая такие па*, какие и во сне никому не случалось *отвертывать*» (III, 167).

«Скрипки и трубы *нарезывали* где-то за горами» (III, 168).

В системе стилей бытового просторечия играют большую роль отголоски «должностного слога», разговорно-чиновничьего диалекта. Гоголь широко пользуется ими в повествовательной речи: «Ему хотелось, не откладывая, все кончить в тот же день: *совершить, занести, внести* и потом *вспрыснуть* всю проделку шипучим под серебряной головой...» (VII, 435); «Фарфор, бронзы и разные батисты и материи получали... всякого рода *лизуны*» (VII, 469); «Казалось, не было сил человеческих *подбиться* к такому человеку» (III, 230). Ср. ссылки на «должностной слог» в «Повести о капитане Копейкине»: «Пришел, говорит, узнать: так и так, по одержимым болезням и за ранами... проливал, в некотором роде, кровь и тому подобное, понимаете, в *должностном слоге*» (III, 202).

Тот же прием расцвечиванья повествовательной ткани экспрессивными красками речи отдельных персонажей и всей изображаемой среды приводит к тому, что язык «Мертвых душ» испещрен фразеологией и синтаксисом делового, канцелярского и разговорно-чиновничьего диалектов. Например: «чтобы *немедленно было учинено* строжайшее разыскание» (III, 194—195); «Чиновники невольно задумались на *этом пункте*» (III, 206); «Он отвечал *на все пункты*» (III, 208); «Уходя от него, как ни старался Чичиков *изъяснить* дорогою и добраться, что такое разумел председатель и *насчет чего могли относиться* слова, но ничего не мог понять» (III, 213); «При выпуске *получил полное удостоение* во всех науках» (III, 228) и т. п.

Понятно, что слова и выражения устно-фамильярной разговорной речи разных слоев общества, экспрессивные словечки городского просторечия широким потоком несутся в повествовательный стиль Гоголя: «Гораздо легче изображать характеры большого размера:

там просто *ляпай* кистью со всей руки» (VII, 7); «Своя *рожа* несравненно ближе, чем всякая другая» (VII, 2); «И не хитрый, *кажися*, дорожный снаряд» (VII, 370); «Не в немецких ботфортах ямщик: борода, да тулуп, да рукавицы, и сидит, *чорт знает на чем»* (VII, 371); «Наконец, он *пронюхал* его домашнюю семейственную жизнь» (III, 231); «совал капусту, пичкал молоко, ветчину, горох, словом: *катай, валяй»* (III, 72) «Герой наш *трухнул*, однако ж, *порядком»* (III, 85); «Несколько *тычков* чубарому коню в *морду* заставили его попятиться» (III, 87); «Собакевича, как видно, *пронесло:* полились потоки речей...» (III, 99); «Живой и бойкий русский ум, что не *лезет за словом в карман*... а *влепливает* его сразу как пашпорт на вечную *носку»* (III, 106); «Он в четверть часа с небольшим *доехал* его (осетра) всего» (III, 149) и мн. др.

Иногда просторечные формы выступают из круга употребления интеллигенции, принадлежат уже «простонародному языку»: «И если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли бы довелось им *потрафить на лад»* (III, 18); ср. реплику кучера (Селифана) Манилову: «*Потрафим*, ваше благородие» (III, 35)[1];

В структуру просторечия широко входили народные пословицы и поговорки. Они также находят себе широкое применение в повествовательном языке «Мертвых душ»: «Пойдут потом поплясывать, как нельзя лучше, под чужую дудку — словом, начнут гладью, а кончат гадью» (III, 66); «...стал, наконец, отпрашиваться домой, но таким ленивым и вялым голосом, как будто бы, по русскому выражению, *натаскивал клещами на лошадь хомут»* (III, 73) и т. п.

Широко представлены в языке «Мертвых душ» и диалектизмы простонародной речи: «Дом господский стоял одиночкой *на юру*, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть» (III, 18); «Собакевич *пришипился* так, как будто и не он» (III, 149)[2]; «Он удалится... в какое-нибудь мирное захолустье уездного городишка и там *заклекнет* навеки в ситцевом халате, у окна низенького домика» (III, 239) и т. п.

Лексическому смешению соответствует включение разговорно-синтаксических конструкций в повествовательный язык. Например: «Видели... гнедого жеребца на вид и не казистого, но за которого Ноздрев божился, что заплатил десять тысяч» (VII, 214); «Хозяйством нельзя сказать, чтобы он занимался» (изменено потом: «Хозяйством он нельзя сказать, чтобы занимался»; VII, 617); «но за спиною капитана-исправника выскользнул на крыльцо» (VII, 299); «темнота была такая — хоть глаз коли» (III, 38) и мн. др.

Многообразие и пестрота форм синтаксического смешения книжной и разговорной речи обусловлены колебанием самого повествова-

---

[1] Элементы простонародного языка попадают в повествование и при посредстве «несобственно прямой речи»: «Тут же услышал... что Манилов будет *повеликатней* Собакевича» (III, 59); «кажется сами хозяева снесли с них дранье и тес, рассуждая, и конечно, справедливо, что в дождь избы не кроют, а в ведро и сама не накаплет, *бабиться* же в ней незачем» (III, 108).

[2] Ср. у С. Т. Аксакова в «Семейной хронике»: «Старик грозно взглянул... все *пришипились*».

тельного стиля, метаморфозами «образа автора», изменениями в его экспрессии. Взаимодействие разных личин образа автора выражается в резких переменах тона. И нередко автор принимает позу фамильярно-непритязательного рассказчика.

«Дамы города N были... *нет, никаким образом не могу: чувствуется, точно, робость*. В дамах города N больше всего замечательно было то... *Даже странно — совсем не подымается перо, точно свинец какой-нибудь сидит в нем. Так и быть*: о характере их, видно, нужно предоставить сказать тому, у кого поживее краски и побольше их на палитре; а нам придется — разве два слова о наружности и о том, что поповерхностней» (III, 156); «Что Ноздрев лгун отъявленный, это было известно всем, и вовсе не было в диковинку слышать от него решительную бессмыслицу; но смертный — *право, трудно даже понять*, как устроен этот смертный» (III, 172).

§ 6. ШИРОТА ЗАХВАТА СОСЛОВНЫХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ДИАЛЕКТОВ В ЯЗЫКЕ ГОГОЛЯ

Гоголь стремится вовлечь в свой стиль профессиональные диалекты не только крестьянско-областного, поместного, но и городского круга. Крестьянский язык в его разных жанрах, диалектах и семантических сферах представляется Гоголю квинтэссенцией национально-языковых «начал».

Гоголь доводит до предела принцип смещения разных стилей литературного языка с разными диалектами устной речи. В сущности, и речь самих действующих лиц построена по тому же принципу смещения стилей и диалектов, но, конечно, с существенными ограничениями, обусловленными социальной принадлежностью персонажа. Так глубоко погружается Гоголь в толщу просторечия и простонародного языка. В недрах национальной речи Гоголь находит еще не использованные русской литературой залежи «коренных» русских «сокровищ родного слова». Смешанный речевой фонд «среднего сословия», по Гоголю, должен быть преобразован, семантически очищен и «освящен» при посредстве этих основных начал «русского духа».

1. Крестьянский быт и фольклор для Гоголя — основа национального стиля (ср. VI, 527—531), «сокровище духа и характера» народа.

В крестьянском языке привлекают внимание Гоголя не только его общерусские элементы, но и его диалектальные особенности.

В языке «Мертвых душ» примесь этих крестьянско-поместных или крестьянско-профессиональных слов очень заметна. Например: «столько же *поставов* холста должна была наткать ткачиха» (III, 117); «У мужиков давно уже *колосилась* рожь, *высыпался* овес, *кустилось просо*, а у него едва начинал только *идти хлеб в трубку, пятка колоса* еще не завязывалась» (III, 293); «Во время уборки хлебов не глядел он на то, как складывали снопы *копнами, крестами* и просто *шишом*; ему не было дела до того, лениво или шибко *метали стога* и *клали клади*» (III, 294) и мн. др.

Глубокое знакомство Гоголя с крестьянской ботаникой отразилось на языке гоголевских ландшафтов, на лексике пейзажа в стиле Гоголя с конца 30-х годов. Ни у одного из писателей предшествующей эпохи, кроме Даля, нет такого многообразия «ботанических» красок. Например, в набросках для второго тома «Мертвых душ»: «Все поле червонело золотом от яркожелтевшей *сурепицы*, а конец его у дороги червонел от васильков и *будяков* с пушистыми розовыми цветами» (VI, 536).

2. Гоголь свободно пользуется общей и диалектальной лексикой крестьянского языка, занося в свои записные книжки такие слова и выражения, многие из которых не вошли даже потом в «Толковый словарь» Даля. Например, из слов, примененных Гоголем и в художественной прозе: *чапоруха*[1], *порхлица* — на мельнице железо, в которое вделывается камень, быстро двигающийся на веретене, порхающий (ср., например, в «Мертвых душах»: «Потом пошли осматривать водяную мельницу, где недоставало порхлицы, в которую утверждается верхний камень, быстро вращающийся на веретене, — порхающий, по чудному выражению русского мужика») (III, 70).

3. Наблюдения над языком разных редакций «Мертвых душ» очень ярко рисуют процесс диалектизации и профессионализации гоголевского языка. Все шире, глубже и многокрасочнее становится в ткани повествовательной речи профессиональная терминология и фразеология. Русская действительность выступает во всем многообразии ее чисто национально-областных, профессиональных и сословных вариаций и выражений.

4. Как показывают «Записные книжки» Гоголя, не менее интенсивен интерес Гоголя к ремеслам и техническим специальностям, связанным с крестьянством, к их терминологии и фразеологии.

5. С диалектами «простонародного языка» соприкасались диалекты и жаргоны поместного быта. Так, Гоголь широко пользуется терминологией национально-русской кулинарии (см. описание угощения у Коробочки, обеда у Собакевича, закусок у почтмейстера, «гомерического обжорства» Петуха).

Охотничий диалект входил в систему речевого быта поместного дворянства. Этот диалект рано и глубоко проник и в стили русской художественной литературы. Достаточно сослаться на широкое применение охотничьих терминов и выражений в языке С. Аксакова, И. Тургенева и Л. Толстого. Широкий почин в этом деле принадлежит, по-видимому, Гоголю и Д. Н. Бегичеву, живописателю дворянского быта 30-х годов. И в «Записных книжках» Гоголя, и в повествовательном языке Гоголя охотничья терминология и фразеология представлены богато. В «Мертвых душах» описание псарни Ноздрева густо расцвечено красками охотничьего диалекта. Не только в повествовательный стиль, но и в речь Ноздрева внедряются выражения «собачеев»: «Я тебе продам такую пару, просто мороз по коже подирает, брудастая, с усами, шерсть стоит вверх, как щетина, бочко-

[1] (VI, 464): ср. во втором томе «Мертвых душ»: «...приказал выдать даже по чапорухе водки за усердные труды» (III, 293), ср. III, 326.

ватость ребр уму непостижимая; лапа вся в комке — земли не заденет!» (III, 77).

Точно так же слова и выражения игрецкого диалекта дают Гоголю краски для воспроизведения языка помещичьей среды. Один из диалогов между Ноздревым и его белокурым зятем Мижуевым почти сплошь состоит из терминов и фраз карточного арго (III, 61).

Язык Ноздрева ближе к шулерскому арго. В «Игроках» Гоголь с необыкновенным мастерством воспроизвел не только лексику и фразеологию, но и идеологию шулерского жаргона. Элементы игрецкого жаргона встречаются и в «Ревизоре».

В «Мертвых душах» Гоголь воспользовался и теми фамильярно-бытовыми вариациями картежного языка, о собрании которых мечтал П. А. Вяземский, находя отражение многих национально-характеристических явлений и черт в «физиологии карточной игры», в стиле игрецких анекдотов, в языке и фольклоре картежников. Гоголь мастерски воспроизвел экспрессивные краски фамильярно-картежного арготического творчества при описании игры в вист у губернатора. «Выходя с фигуры он [почтмейстер] ударял по столу крепко рукою, приговаривая, если была дама: «Пошла, старая попадья!», если же король: «Пошел, тамбовский мужик!» А председатель приговаривал: «А я его по усам! А я его по усам!» Иногда при ударе карт по столу вырывались выражения: «А! была не была, не с чего, так с бубеи!» или же просто восклицания: «Черви, червоточина! пикенция!» или «пикендрас! пичурущук! пичура! и даже просто: «Пичук!» — названия, которыми перекрестили они масти в своем обществе» (III, 12)[1].

Военные жаргоны и диалекты имели сильное влияние на просторечие. И Гоголь не проходит мимо них. Ср. диалектизмы «армейского» языка в речи Ноздрева, в языке «Игроков».

6. Административный язык, вся система управления и делопроизводства, все тонкости официальной стилистики и риторики, «официальные» маски чиновников являются предметом особенно пристальных наблюдений Гоголя. Ср. в «Записных книжках» разделы: «Дела, предстоящие губернатору» (VI, 487—489 и сл.); «Взятки прокурора»; «Взятки губернатора» (492—493); «Маски, надеваемые губернаторами» (493—494); «Губернский предводитель» (494—495)[2].

---

[1] В связи с карточным арго находилось и распространившееся в русском просторечии начала XIX в. выражение *угол*, занесенное Гоголем в «Записную книжку»: «Угол — двадцатипятирублевая ассигнация; без угла — семьдесят пять рублей, уголок — 25 копеек» (VI, 509). Конечно, это значение слова *угол* возникло на основе карточного арготического его употребления. Угол в банковой игре — четверть ставки, причем загибают угол карты. См. Словарь Даля, IV, 941; ср. в «Мертвых душах»: «...одарен такою рукой, которая чувствует желание почти сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке» (VII, 616).

[2] В связи с тем влиянием, которое имел на стилистическую систему Гоголя официально-бюрократический, канцелярский язык, находится *канонизация* Гоголем как литературных форм причастия будущего времени: «Весьма рады, когда, кто, приедущий из столицы, найдет, что у них точно так же, как в Петербурге» (VI, 493) и др.

7. Не подлежит сомнению, что в сфере устной речи Гоголя больше всего привлекали лексические, фразеологические и синтаксические формы народного просторечия и разговорного городского, интеллигентского и чиновничьего, языка. Большинство помещенных в «Записных книжках» Гоголя фраз принадлежит к тому «общему» фонду бытового просторечия, который, обслуживая крестьянские массы, не чужд был и другим слоям общества. Ср. употребление слов: *наян* в «Повести о капитане Копейкине»; *хапуга* в репликах Собакевича: «За него все делает стряпчий Золотиха, первейший *хапуга* в мире» (III, 144); *привередливый* и *пиголица* — в повествовательном стиле «Мертвых душ»: «Чичиков будучи человек весьма щекотливый и даже в некоторых случаях *привередливый*» (III, 16); «...родственница, бывшая при его рождении, низенькая, коротенькая женщина, которых обыкновенно называют *пиголицами*» (III, 294) и др.

8. Язык Гоголя впервые в истории русской литературы использует все многообразие «вульгаризмов» и арготизмов деревенского и городского быта.

Ср. в «Мертвых душах»: «Пирушка, как водится, кончилась дракой. Сольвычегодские уходили на смерть устьсысольских, хотя от них понесли крепкую *ссадку на бока, под микитки и в подсочельник*, свидетельствовавшую о непомерной величине кулаков, которыми были снабжены покойники. У одного из восторжествовавших даже был вплоть *сколот насос*, по выражению бойцов, то есть весь размозжен нос» (III, 193). Гоголь заносит в записную книжку арготизм *наклевываться* — выражение из рыболовного языка, перешедшее в торговое арго: «хотеть купить и не купить: *он у меня уже наклевывался*» (VI, 511); ср. во втором томе «Мертвых душ»: «Отрывки чего-то похожего на мысли, концы и хвостики мыслей лезли и отовсюду *наклевывались* к нему в голову» (III, 311). Использован Гоголем и арготизм *подтибрить* («Записные книжки», VI, 522). Так, в «Вие»: «Богослов уже успел *подтибрить* с воза целого карася» (I, 374); в «Мертвых душах» в разговоре Плюшкина с Маврой: «А вот я по глазам вижу, что *подтибрила*. — Да на что бы я *подтибрила*. Ведь мне проку с ней никакого...» (III, 124).

9. Характерен интерес Гоголя к профессиональной терминологии купли и продажи, к говорам торговцев, к торговому быту, фольклору. В «Записной книжке» 1841—1842 гг. есть заметка: «О торговле и рынках и продаже и сделках со всеми... обычаями, а под час и загибаньями».

В «Записных книжках» Гоголя есть большой отдел «Хлебная продажа». Тенденция Гоголя к изучению профессионального быта в свете присущего этому быту жизнепонимания и языка сказывается и в этом отрывке; см., например: «По смолотии хлеб кладется бунтами в мешках наподобие ядер»; «суда называются суряками». См. в «Мертвых душах»: «...с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят кули с овсом и крупой, и далече виднеются по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра, мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие суда-суряки».

10. «Галантерейный» язык купцов и мещанства находит яркие отражения как в литературных заготовках Гоголя, так и в его художественной прозе. Гоголь записывает примеры вульгарной этимологизации заимствованных слов, производящие каламбурное впечатление. Ср. в «Мертвых душах»: «Что ты вечно выше своей сферы, точно пролетарий какой» (IV, 379); «Тут с этим соединено и буджет и реакцыя, а иначе выйдет павпуризм» (380); «О цене условились, хотя она и с прификсом, как утверждал купец» (IV, 380).

В соответствии с теми нормами, которые уже определились в дoff-гоголевской литературе и которые поддерживались записными книжками Гоголя, строится язык купцов во втором томе «Мертвых душ». Вульгарная книжность, «галантерейность» и тяготение к европеизмам — основные черты купеческой речи. «Каков отлив-с! Самого модного, последнего вкуса!.. вы истинно желаете такого цвета, какой нонче [входит] в моду? Предуведомляю, что высокой цены, но и высокого достоинства» (III, 382); «... это непросветительность. Если купец почетный, так уж он не купец: он некоторым образом есть уже негоциант...» (III, 384).

Так широко и разносторонне представлены в гоголевском языке национальные стили и диалекты русского дворянского общества, буржуазного быта и производства, крестьянского обихода.

Необходимо теперь пристальнее всмотреться в те языковые силы, которые Гоголю казались объединяющим и семантически организующим центром будущего общенародного языка русской нации. Тогда откроются преподносившиеся Гоголю стилистические нормы национально-языковой системы, созданной путем синтеза двух основных социально-речевых категорий: 1) живой народной речи, складывающейся главным образом: а) из стилей и диалектов города и б) народного, крестьянского языка с его профессионализмами и диалектизмами, и 2) языка церковнославянского, языка церкви и богословской литературы.

§ 7. СТРУКТУРНЫЕ ОСНОВЫ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА В КОНЦЕПЦИИ ГОГОЛЯ. ИДЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА И «ПРОСТОНАРОДНОЙ» РЕЧИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ РАБОТАХ ГОГОЛЯ

Структурно-идеологическими опорами русского национального языка Гоголь объявляет живой народный, точнее «простонародный», крестьянский язык и язык церковнославянский. В их недрах отыскиваются художественные средства для обновления той литературно-языковой системы, которая обслуживала общество и которая в части ее стилей была отвергнута Гоголем как лишенная внутреннего развития, чуждая возвышенных и глубоких идей. Гоголь мечтал дать ие

только художественные образцы нового литературного языка, но и его идеологическое обоснование.

Искания морально-философских и общественно-политических опор для «образа автора» в сфере церковной идеологии, мифологии, догматики в последний период жизни Гоголя привели его к необходимости реформировать взаимоотношения между современным ему литературным языком и профессионально-церковным языком культа. Архаические, устарелые категории церковнославянизмов, церковно-богослужебные формы фразеологии и символики начинают тогда привлекаться Гоголем в литературную речь, впрочем, преимущественно в публицистические стили ее.

В публицистическом языке Гоголя к середине 40-х годов ломается не только система лексики и фразеологии, но и весь строй образов, весь семантический фундамент речи. Церковнославянский язык, язык богослужебных книг и церковноучительной литературы, становится идеологическим центром публицистической стилистики и риторики Гоголя. В его сфере нейтрализуются, уничтожаются или переплавляются романтические приемы выражения, свойственные публицистическому языку Гоголя 30-х годов. Церковнокнижные образы внедряются в глубь авторской семантики. Они развиваются в сфере литературно-книжного изложения и просторечно-бытовой речи и стремятся подчинить себе их фразеологию и символику.

В церковнославянском языке Гоголь-публицист отыскивает теперь идейно-мифологические основы тех терминов и понятий, которые образуют семантическое ядро авторского мировоззрения, «образа писателя». Очень типично для характеристики приемов гоголевского публицистического словоупотребления и словоосмысления в этот период этимологическое рассуждение Гоголя о слове *просвещение*: «Мы повторяем теперь еще бессмысленно слово «просвещение». Даже и не задумались над тем, откуда пришло это слово и что̀ оно значит. Слова этого нет ни на каком языке: оно только у нас. *Просветить* не значит научить или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее окружавшие, и знает, зачем произносит» (IV, 79). В том же духе объясняет Гоголь сущность и идеальное состояние крестьян, исходя из религиозной этимологии слова *крестьянин* («Занимающему важное место», IV, 162).

Лексика и фразеология публицистического языка Гоголя проникаются элементами церковной мифологии и символики.

«Карамзин представляет точно явление необыкновенное. Вот о ком из наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и *на данные ему пять талантов истинно принес другие пять*» (IV, 58). «Перед тобою *разверзается живоносный* источник» (IV, 71). «Нужно, чтобы твои стихи стали так в глазах всех, как начертанные на воздухе *буквы, явившиеся на пиру Валгасара*» (IV, 71).

«Все они (стихотворения Пушкина) точно *перлы*... словно *сверкающие зубы красавицы, которые уподобляет царь Соломон овцам-юницам*...» (IV, 184).

Церковнославянский язык для Гоголя в период после издания первого тома «Мертвых душ» — язык по преимуществу поэтический», «высший язык человеческий» (VI, 406). Понятно, что в нем заложена, по Гоголю. неисчерпаемая лирическая сила, к которой прибегает поэт, «воспламененный потребностью поделиться своими чувствами» (VI, 407). Самый стиль описания лирических «восторгновений» (VI, 408) у Гоголя насыщен церковнославянизмами, особенно в характеристике оды и гимна.

Патриотическое отношение к русскому языку как к «языку полнейшему и богатейшему из всех европейских языков» побуждает Гоголя изыскивать синонимы для церковнославянизмов и семантические соответствия им в формах национального просторечия, в непринужденно фамильярной бытовой речи. Игнорируя укрепившиеся в аристократических «светских башках» стилистические оттенки и различия в экспрессии, Гоголь стремится «облагородить» смысл русизмов, «прозреть» в них национальное выражение «возвышенных» библейских истин. Наиболее одностороннее выражение религиозно-моралистическая тенденция находит у Гоголя в языке «Переписки с друзьями». Так, в письме «Русский помещик» особенно рельефно обнаруживается моралистический мистицизм стилистических уравнений, идейное обоснование «самых смелых переходов от возвышенного до простого в одной и той же речи»: «О главном только позаботиться, прочее все приползет само собою. Христос недаром сказал: «Сия вся вам приложатся».

Приемы смешения и слияния церковнославянизмов с русизмами в публицистическом языке Гоголя также подчинены своеобразным принципам развертывания семантической цепи, составленной как бы посредством спаиванья лексических отрезков, близких друг к другу по смыслу и структуре образа, но относящихся к разным экспрессивным и стилистическим сферам.

Тенденция к вещественно-бытовому, обыденному представлению явлений и событий, идущая из художественной прозы Гоголя и сохраненная ради риторической выразительности приема в публицистическом стиле, нередко ведет к резким столкновениям отвлеченно-книжных фраз с разговорно-бытовыми квалификациями предметов и действий. Вещные общественно-бытовые метафоры и представления отражаются на понимании и изображении отвлеченных идей и религиозно-идеалистических грез. Например: «Желание быть лучше и заслужить рукоплескание на небесах *придает ему такие шпоры*, каких не может дать наисильнейшему честолюбцу его ненасытимейшее честолюбие» (IV, 56); «сердца их чокнутся с вашим сердцем, как рюмки во время пирушки» (IV, 161) и др.

Конечно, стиль реакционной гоголевской публицистики 40-х годов ни по своему литературному достоинству, ни по своему влиянию на последующую историю русского литературного языка не может идти ни в какое сравнение с языком таких бессмертных художественных

произведений Гоголя, как «Шинель», «Ревизор», «Мертвые души». Тем не менее для полноты охвата противоречивой эволюции гоголевского стиля и для более глубокого понимания историко-языковой «методологии» Гоголя необходимо остановиться и на стиле гоголевской «Переписки с друзьями».

С церковнославянской лексикой, фразеологией, с семантическими нормами церковной речи были исторически связаны формы официально-торжественного стиля, особенности канцелярского языка. Гоголь тем более не мог отрешиться от принципа смешения церковнославянизмов с официально-государственной и канцелярской фразеологией, что союз церкви и государства был одной из основных тем гоголевской публицистики 40-х годов. По мысли Гоголя, церковная струя должна была вдохнуть жизнь в лживые и омертвелые формулы деловой и чиновничьей речи, над которыми писатель раньше иронизировал в своей художественной прозе (от «Миргорода» до первого тома «Мертвых душ» и «Шинели» включительно). Однако и до Гоголя высокие жанры официальной риторики систематически пополнялись элементами церковноучительных стилей, патетикой культовой речи. Таким образом, Гоголь в этом направлении не только шел по проторенной дороге, но и прямо попадал в основную широкую колею традиционной официально-церковной риторики. Правда, в публицистическом стиле Гоголя ясна приглушенность формально-канцелярской стилистики, блеклость цветов официального красноречия: над ними господствует церковный и национально-патриархальный «дух». Но попытка идеологического примирения этих двух сфер возвращала Гоголя к той церковноканцелярской риторике, против которой он с таким успехом боролся в своем художественном творчестве. Поэтому в публицистическом языке Гоголя можно найти много канцеляризмов и официальных формул и перифраз чиновничьих выражений. Например: «...полная любовь не должна принадлежать никому на земле. Она должна быть *передаваема по начальству*...» (IV, 266) и мн. др. Ср. синтаксические обороты канцелярского языка: «...покуда не выступит перед вами ясно вся цепь. *необходимым звеном* которой *есть* вами замеченный *чиновник*» (IV, 150); «...но если бы вы уже тогда были тем, *чем вы есть* теперь» (IV, 151) и др. Естественно, что в круг отвлеченных понятий, религиозных и этических убеждений попадают метафоры и образы из сферы административной организации, государственного управления, канцелярского делопроизводства. При посредстве этих образов устанавливаются порядок, границы действия и функции различных сил и явлений в мире духовном. Например: «Ум не есть высшая в нас способность. Его *должность не больше как полицейская:* он может только привести в порядок и расставить по местам все то. что у нас уже есть» (IV, 56); «...поэзия наша... собрала только в кучу бесчисленные оттенки разнообразных качеств наших; она *совокупила только в одно казнохранилище* отдельно взятые стороны нашей разносторонней природы» (IV, 207): «...*верховная инстанция* всего есть церковь» («Авторская исповедь». IV. 277) и др. Ср. символические значения чиновничьих образов в «Развязке

ревизора»[1]. Ср. обратное соотношение образов: «Место и должность сделались для меня, как для плывущего по морю, пристань и твердая земля» («Авторская исповедь», 271).

Вместе с тем Гоголь широко применяет к сфере «душевного хозяйства» (IV, 57) образы из современного ему торгово-промышленного быта: «Вы можете во время вашей поездки... произвести взаимный благодетельный размен, как расторопный купец: забравши сведения в одном городе, продать их с барышом в другом, всех обогатить и в то же время разбогатеть самому больше всех» (IV, 103); «значительность творений его выиграет больше, чем сто на сто» (IV, 230). Ср. в речи Муразова: «Поверьте-с, Павел Иванович, что покамест, брося все, из-за чего грызут и едят друг друга на земле, не подумают о благоустройстве душевного имущества, — не установится благоустройство и земного имущества» (IV, 404).

Но органичнее всего с церковнославянским языком сливается, по мнению Гоголя, живая простонародная стихия.

Национальный язык для Гоголя — форма национального самоопределения. Поэтому Гоголя больше всего интересует в русском языке «внутреннее его существо и выражение», «меткость и разум слов», с одной стороны, и «гармония языка» — с другой[2].

Хранителем национальных языковых сокровищ и творцом «меткой» речи, по представлению Гоголя, является «простой народ», т. е. главным образом крестьянская масса. Изобразив очень «удачное, но неупотребительное в светском разговоре» прозвище Плюшкина в среде мужиков, автор «Мертвых душ» предается таким лирическим размышлениям о русском языке: «Выражается сильно российский народ! И если наградит кого словцом, то... пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света... Произнесенное метко все равно что писанное не вырубливается топором. А уж куды бывает метко все то, что вышло из глубины Руси... И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров бога, своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выражении его часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое не всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово»[3]. Меткость речи является не только художественным средством, но и выразительным приемом риторического воздействия: «Народу нужно мало говорить, но метко» — советует Гоголь «русско-

---

[1] Например: «Честный чиновник великого божьего государства» (II, 352); «...рассердившийся городничий или, справедливей, сам нечистый дух» (там же); «Ревизор этот — наша проснувшаяся совесть.. по именному высшему повелению, он послан» (II, 350) и т. п.

[2] Объявление об издании русского словаря (VI, 433).

[3] (III, 106, ср.: VII, 249—250).

му помещику» (IV, 124). Крестьянская стихия в структуре общенационального языка, социологически не вполне дифференцированная, вмещающая в себя нетронутый европейской цивилизацией запас живых русизмов и море областных диалектизмов, представляется Гоголю такой же мощной освежающей силой, что и церковнобиблейская книжность. Литературный язык должен вобрать в себя то миропонимание, которое скрыто в «народной речи», те «начала» и «свойства», которыми она держится. И Гоголь стремится проникнуть в семантические основы народного словаря.

Тут литературно-лингвистическая позиция Гоголя сближается с исторической ролью Даля. Но Даль отрицал церковнокнижный язык как живое структурное начало в составе русского национально-демократического языка. И здесь глубокая пропасть отделяет Гоголя от Даля.

Соответственно признанию двух основных стихий в составе литературного языка, церковнославянской и национально-бытовой, «народной», Гоголь объявляет характерным свойством русского языка «самые смелые переходы от возвышенного до простого в одной и той же речи» (IV, 22), «переходы и встречи противоположностей» (IV, 32). Задача великого художника — привести эту «полноту» русской речи, многообразие ее «изворотов и оборотов» к благозвучию, к структурному единству. Осуществление этого художественного идеала Гоголь увидел в переводе Одиссеи, принадлежащем Жуковскому.

С тем же дуализмом русского национально-языкового выражения для Гоголя связана двойственность основных литературных средств и сил: сила лиризма противостоит силе сарказма («Авторская исповедь», IV, 267. Русский лиризм, по Гоголю, вырастает на библейской почве. В «лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно — что-то близкое к библейскому, то высшее состояние лиризма, которое чуждо увлечений страстных и есть твердый возлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости» (IV, 39). Вместе с тем характерно, что эпоха крушения лирической поэзии, 30—40-е годы, казалась Гоголю эпохой по преимуществу лирической. «Нынешнее время есть именно поприще для лирического поэта. Сатирой ничего не возьмешь: простою картиною действительности, оглянутой глазом современного светского человека, никого не разбудишь: богатырски задремал нынешний век». («Предметы для лирического поэта», IV, 71). Совмещение торжественных церковнославянизмов с простой разговорной лексикой, с вульгаризмами просторечия Гоголь считает не только признаком общенародного языка, но и могучим средством риторического воздействия. Он ищет образцов такого смешанного стиля в языке «святых отцов» и находит их в проповедях Златоуста.

Вместе с тем живая, разговорная, фамильярная, нередко простонародная струя бытового языка, по мнению Гоголя, гармонировала с представлением о русской национальной простоте и правде, с гоголевским пониманием «всеобщего и народного» стиля (см. письмо «Об Одиссее, переводимой Жуковским»). Этот русский национальный стиль характеризуется, по Гоголю, «уменьем пронять хорошень-

ко словом». Любопытно, что это же выражение употребляет Гоголь, говоря о пословицах, которые, по Гоголю, составляют один из трех основных источников русского национально-поэтического языка (IV, 169). Знаменательна вера Гоголя в магическую силу «ругательств», звучащая в советах «русскому помещику» (IV, 121).

Поэтому тот же испытанный метод показа натуры, просто «какова у нас есть, в неглиже и халате», сохраняет свою силу и в публицистических жанрах Гоголя. Здесь кроется одна из причин резкости и стремительности стилистических переходов от высокого и торжественно-архаического к фамильярно-простому и вульгарному в языке «Переписки». Инерция литературной манеры и социального навыка сказывалась в расширении функций просторечия, в употреблении фамильярных, вульгарных слов и фраз без комически обличительной мотивации, независимо от целей иронического унижения. Например: «Потомство плюнет на эти драгоценные строки» (IV, 20); «Нет, народ наш скорее почешет у себя в затылке, почувствовав то, что он, зная бога в его истинном виде...молится ленивее и выполняет долг свой хуже древнего язычника» (IV, 28); «Критика... с горя бросилась в сторону и, уклонившись от вопросов литературиых, понесла дичь» (IV, 31); «только в глупой, светской башке могла образоваться такая глупая мысль» (IV, 91); «Стыдно тебе... не войти до сих пор в собственный ум свой... а захламостить его чужеземным навозом» (IV, 146—147) и мн. др.

§ 8. ВЛИЯНИЕ ГОГОЛЯ НА ПОСЛЕДУЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Возврат Гоголя-публициста к церковнокнижной культуре речи, к идеологии и мифологии церковнославянского языка в последний период жизни свидетельствовал о разрыве Гоголя с передовыми стилями русской литературы 40-х годов. Борьба с церковнославянским языком была лозунгом большинства литературных групп и школ передового общества (например, натуральной школы, представленной И. И. Панаевым, Н. А. Некрасовым, отчасти В. А. Соллогубом*[1], И. С. Тургеневым и др.; школы сентиментального натурализма, во главе которой стал Ф. М. Достоевский, и др.). Современники готовы были увидеть в этом отступлении Гоголя компромисс с ложновеличавыми стилями эпигонов сентиментально-романтической дворянской языковой культуры, вроде Кукольника, Тимофеева и др. Характерно, что И. С. Тургенев в 40-х годах стили ложновеличавой школы иронически называл «семинарскими», намекая на их церковнокнижный колорит[1]. Однако Гоголя от этих стилей отделяло пропастью широкое понимание содержания и границ церковнославянского языка в составе русской литературной речи и отрицание западноевропейских влияний.

---

[1] См.: *Тургенев И. С.* Соч. М.—Л., 1933, т. 12, с. 54 и 95.

Вместе с тем гоголевский язык с его тяготением к живой народной речи, к крестьянскому языку, к областным диалектам, к разнообразным стилям городского просторечия, к «должностному» слогу, иногда мелкочиновничьей окраски, своим демократизмом резко выделялся среди стилей предшествующей литературы. Национально-демократические, простонародные тенденции этого языка были близки Далю. Но, вопреки Далю, Гоголь щедрою рукою черпал словесный материал и словесные краски из книжных стилей старого, «высокородного» (по ироническому обозначению Даля) языка.

Синтез «ветхого» и «нового» Гоголю не удался. Последующие стили русского литературного языка были далеки от церковно-реставрационных усилий гоголевской публицистики, от гоголевского понимания лирического стиля. Даже язык славянофилов остался в стороне от публицистического стиля Гоголя. Но гоголевское «новое» победило. Упор на устную, живую речь, на стили национального просторечия, на бытовой язык «среднего сословия», интеллигенции, на профессиональные диалекты и жаргоны города, на формы простонародного языка — делается лозунгом реалистической школы (Некрасова, молодого Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Тургенева и др.) и основой новой системы русского литературного языка. Гоголевские методы разоблачения фальши и лицемерия официально-правительственной, деловой и канцелярской риторики дают толчок развитию стилей обличительного публицистического языка, нашедшего высшее воплощение в творчестве Салтыкова-Щедрина. Гоголевская характерология драматического языка побуждает к поискам новых приемов и принципов для воспроизведения национальных типов и становится объектом подражания и преодоления в творчестве Писемского и Островского*[2].

X. Расширение и углубление национально-демократических основ русского литературного языка. Процесс образования системы стилей русской научной и публицистической речи

§ 1. РОСТ ВЛИЯНИЯ НАУЧНОЙ И ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ. БОРЬБА КНИЖНОЙ И УСТНО-НАРОДНОЙ СТИХИЙ В СОСТАВЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Во второй половине XIX в. — в связи с ростом национального самосознания — расширяется и углубляется процесс национальной демократизации русского литературного языка. Стили дворянской литературы вытесняются и преобразуются воздействием речи широких народных масс. Салтыков-Щедрин пользовался как эффектной антитезой сопоставлением демократического «клейменого языка» обличительной публицистики второй половины XIX в. со стилем «дворянских мелодий»[1]. Ф. М. Достоевский писал Н. Н. Страхову (от 18—30 мая 1871 г.) по поводу творчества Тургенева: «...Ведь это все помещичья литература. Она сказала все, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого). Но это в высшей степени помещичье слово было последним. Нового слова, заменяющего помещичье, еще не было, да и некогда. (Решетниковы ничего не сказали.) Но все-таки Решетниковы выражают мысль необходимости чего-то нового в художественном слове (но уже не помещичьего), — хотя и выражают в безобразном виде»[2].

Внутри художественной литературы обостряются языковые и стилистические противоречия. Изменяется содержание самого понятия «художественности». Салтыков-Щедрин от 7 февраля 1859 г. писал П. В. Анненкову: «У нас на Руси художникам время еще не приспело... От художников наших пахнет ябедой и семинарией: все у них плотяно и толсто выходит, никак не могут форму покорить. После Тургенева против этих художников некоторое остервенение чувствуешь»[3].

Резкий сдвиг в системе русского литературного языка был связан

---

388 [1] См.: *Салтыков-Щедрин М. Е.* Полн. собр. соч. СПб., 1906, т. 10, с. 359, и др.*1

[2] *Достоевский Ф. М.* Письма. М.—Л., 1930, т. 2, с. 365.

[3] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Письма. Л., 1924, с. 13—14.

с отрывом от традиций художественной литературы предшествующего периода и с развитием и углублением национальных стилей научной и газетно-публицистической речи. Если со второй половины XVIII в. до 30-х годов XIX в. основное организующее значение в структуре литературной речи принадлежало стилям «изящной словесности» (сперва стиховым, а потом прозаическим), то с половины XIX в. понятие «литературности языка» отделяется от понятия «художественности выражения». Развитие жанров беллетристики, публицистики, научно-популярной статьи и трактата выдвинуло на первый план проблему газетно-публицистического и научно-популярного языка. Уже в «Москвитянине» И. В. Киреевский писал: «В наше время изящная литература составляет только незначительную часть словесности... Может быть, от самой эпохи так называемого возрождения наук в Европе никогда изящная словесность не играла такой жалкой роли, как теперь... В наше время изящную словесность заменила словесность журнальная. И не надобно думать, чтобы характер журнализма принадлежал только периодическим изданиям: он распространяется на все формы словесности, с весьма немногими исключениями. В самом деле, куда ни оглянемся, везде мысль подчинена текущим обстоятельствам, чувство приложено к интересам партии, форма приноровлена к требованиям минуты. Роман обратился в статистику нравов, поэзия — в стихи на случай; история, быв отголоском прошедшего, старается быть вместе и зеркалом настоящего, или доказательством какого-нибудь общественного убеждения, цитатой в пользу какого-нибудь современного воззрения»[1].

Если в эпоху расцвета дворянской культуры художественная речь была идеальной нормой, последним пределом «литературности», если тогда под знаком художественного слова строилось само понятие литературного языка, то во вторую половину XIX в. система «общей» литературной речи резко отделяется от поэтических стилей и находит себе стилистическую и идеологическую опору в языке научной и газетно-публицистической прозы.

В высшей степени характерны суждения о соотношении между литературно-книжным языком и художественной речью у Н. С. Лескова*[2]; «Постановка голоса у писателя заключается в умении овладеть голосом и языком своего героя и не сбиваться с альтов на басы... От себя самого я говорю языком старинных сказок и церковно-народным в чисто литературной речи... Изучить речи каждого представителя многочисленных социальных и личных положений довольно трудно. Вот этот народный, вульгарный и вычурный язык, которым написаны многие страницы моих работ, сочинен не мною, а подслушан у мужика, у полуинтеллигента, у краснобаев, у юродивых и святош. Меня упрекают за этот манерный язык, особенно в «Полунощниках». Да разве у нас мало манерных людей? Вся квази-ученая литература пишет свои ученые статьи этим варварским языком. Почитайте-ка философские статьи наших публицистов и ученых...»; «Усво-

---

[1] *Киреевский И. В.* Обозренне современиого состояния литературы.— В кн.: *Киреевский И. В.* Поли. собр. соч. М., 1911, т. 1, с. 121 н след.

ить литератору обывательский язык и его живую речь труднее, чем книжный. Вот почему у нас мало художников слога, т. е. владеющих живой, а не литературной речью»[1].

В том же духе, исходя из других оснований, неоднократно высказывался Л. Толстой об отношении между литературно-книжной и живой, безыскусственной речью. В письме к Тищенке Л. Толстой говорит: «Я знаю по опыту, что вещи, написанные простым русским, а не литературным слогом, несравнено понятнее простому читателю, т. е. большинству русских людей. Выраженные простою речью, никакие оттенки не пропадают для читателя, между тем как то же самое, изложенное литературным языком, пропускается мимо ушей и вызывает даже в простом читателе или слушателе томительное, удручающее впечатление. Вместе с тем и сама по себе та простая безыскусственная речь, которой говорит русский народ, т. е. большинство русских людей, несравненно художественнее и выразительнее всякой другой, например той, которой написаны повести Тургенева, «Война и мир» и т. п. и которой никто на свете никогда не говорил и не будет говорить. Эта искусственная литературная речь употребляется только в книгах и в письмах (по скверной привычке). По скверной же привычке она проникает отчасти в разговоры между людьми так называемыми образованными, но обрывается и становится менее выдержанной в литературном отношении, чем живее интерес разговора»*3.

Тот же Л. Толстой, испытывая отвращение к искусственно-книжным шаблонам газетной фразеологии, писал (1884): «Пусть будет язык Карамзина, Филарета, попа Аввакума, только не наш газетный». Против смешения художественных и дидактико-публицистических форм речи и изображения выступал также А. Ф. Писемский[2].

Все эти высказывания свидетельствуют о том, как во второй половине XIX в. обостряется процесс столкновения и смешения разных книжных и народно-разговорных элементов в системе русского литературного языка.

§ 2. ОТСЛОЕНИЯ ОБРАЗОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ОБЩЕМ ЛИТЕРАТУРНО-КНИЖНОМ ЯЗЫКЕ

Рост влияния научно-деловой и газетно-публицистической прозы, развитие «беллетристики», которая противопоставлялась еще В. Г. Белинским чистому художеству, — создает новые формы взаимодействия между художественной речью и разными жанрами и стилями книжного и разговорного языка. Художественная литература теперь относительно мало (по сравнению с предшествующим периодом) участвует в создании общих норм литературно-книжного выражения. Но она («изящная словесность») стремительно обогащает инвентарь

---

1 *Фаресов А. И.* Против течения. СПб., 1904, с. 273—275.

2 См.: *Писемский А. Ф.* Полн. собр. соч. СПб. — М., 1895, т. 1, с. CCXLVII—VIII.

литературной речи отдельными словообразами, фразами, оборотами, изобразительными средствами. Прием цитирования художественного текста, прием ссылок на суггестивные формулы, «крылатые и меткие слова», является одной из излюбленных форм риторического воздействия. Входят в общий литературный оборот цитаты, изречения, словечки из художественных и художественно-публицистических произведений разных писателей. Например, из соч. Гончарова: «вещественные знаки невещественных отношений» («Обыкновенная история»); «жалкие слова» (выражение обломовского Захара) «Обломов» (как символ ленивого сибарита) и т. п. Из соч. Горбунова: «кажинный раз на этом месте» («На почтовой станции ночью»). Из соч. Сухово-Кобылина: «ударь раз, ударь два, но не до бесчувствия же» (слова Расплюева в «Свадьбе Кречинского»). Из соч. Некрасова: «беспокойная ласковость взгляда» («Убогая и нарядная»); «цинизм, доходящий до грации» (там же); «на лбу роковые слова» (там же); «вот приедет барин — барин нас рассудит» («Забытая деревня»); «суждены нам благие порывы» («Рыцарь на час»); «от ликующих, праздно болтающих» (там же); «до хорошего местечка доползешь ужом» («Колыбельная песня»); «Размышления у парадного подъезда» и мн. др.*1 Из соч. Островского: «асаже» (выражение из пьесы «Свои собаки грызутся, чужая не приставай»); «белый арап, белая арапия» (выражение свахи из комедии «Праздничный сон до обеда»); «жупел» (из реплики купчихи Настасьи Панкратьевны в «Тяжелых днях»); «жестокие, сударь, нравы в нашем городе» («Гроза»); «чего моя нога хочет» («Грех да беда на кого не живет») и т. п.*2 Из соч. Салтыкова-Щедрина: «административный восторг»; «благоглупости»; «чего изволите»; «головотяпы» (из «Истории одного города»); «карась-идеалист»; «Иудушка» («Господа Головлевы»); «Колупаевы и Разуваевы» (типы кулаков, «За рубежом»); «мальчик в штанах и мальчик без штанов» («За рубежом», гл. I, «Разговор в одном явлении»); «мягкотелый интеллигент» («Пошехонские рассказы»); «недреманное око»; «эзоповский язык» и мн. др. Из соч. Л. Н. Толстого: «с изюминкой», «нет изюминки» (выражение возникло из пословицы: *не дорог квас, дорога изюминка к квасу*, но стало ходячим после пьесы Толстого «Живой труп»); «образуется» (выражение камердинера Облонского из «Анны Карениной»); «от ней все качества» (от водки, заглавие пьесы Толстого) и др. Из соч. Достоевского: «бедные люди»; «униженные и оскорбленные»; «карамазовщина»; «чем хуже, тем лучше» и мн. др.*3 Из соч. Тургенева: «дважды два — стеариновая свечка» (слова Пигасова из «Рудина»); «дворянское гнездо»; «друг Аркадий, не говори красиво» (пересказ слов Базарова из романа «Отцы и дети»); «живые мощи»; «лишние люди» («Дневник лишнего человека»)[1] и др. Из соч. Помяловского:

---

[1] С именем И. С. Тургенева соединялось также представление о создателе термина *нигилизм, нигилист*. Но Тургенев только подновил значение и распространил этот термин, имевший сложную историю до романа Тургенева «Отцы и дети». См. об этом слове заметку М. П. Алексеева в «Сборнике статей по славянской филологии и русской словесности», посвященном акад. А. И. Соболевскому. Л., 1928 (Сб. ОРЯС, т. 101, № 3)*4.

«мещанское счастье»; «кладбищенство»; «кисейная барышня»; «веселенький пейзажик». Из соч. Г. Успенского: «власть земли»; «тащить и не пущать» (полицейский лозунг; рассказ «Будка») и др. Из соч. Чехова: «недотепа» (выражение Фирса из «Вишневого сада»); «двадцать два несчастья» (прозвище Епиходова из «Вишневого сада»); «лошадиная фамилия»; «унтер Пришибеев»; «человек в футляре»; «хоть ты и седьмой, а дурак» («Жалобная книга») и мн. др.*5 Из соч. А. К. Толстого: «против течения» (первоначально из библии); «то было раннею весной» и др. (Кроме того, публицистика кишела изречениями Козьмы Пруткова).

Из соч. А. Н. Майкова: «чем ночь темней, тем ярче звезды» («Не говори», 1882). Из соч. Ф. И. Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь»[1]. Из соч. Короленко: «бытовое явление». Из соч. М. Горького: «бывшие люди»; «рожденный ползать летать не может» («Песня о соколе»); «пусть сильнее грянет буря» («Песня о буревестнике»); «Человек... это звучит гордо» («На дне»), «в карете прошлого далеко не уедешь» («На дне») и мн. др. Кроме этих отдельных фраз и образов русский литературный язык воспринимал от художественных произведений приемы словесной композиции, методы речевой характеристики персонажей из разного социального круга, принципы риторического воздействия и разнородные формы символического выражеиия.

§ 3. ГОСПОДСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СТИЛЕЙ

В связи с изменением состава и функций художественных стилей, в структуре русской литературной речи решительно перемещаются связь и соотношение разных стилей и жанров. Доминирующее положение постепенно занимают стили журнально-публицистической, газетной и научно-популярной речи. Их влияние обнаруживается и в языке художественной литературы. Они же становятся основным источником обогащения разговорно-интеллигентского словаря, который, подвергшись философской реформе (влиянию шеллингианства и гегельянства в 20—40-х годах) развивается и эволюционирует преимущественно в семантической атмосфере газетно-журнальной, публицистической речи. Тут же намечается та дифференциация этого словаря, те оттенки словоупотребления, те различия в подборе слов и выражений, в их значениях, в их экспрессии, которыми определяется общественно-идеологическое расслоение, партийная группировка интеллигенции.

В публицистическом языке вырабатываются своеобразные формы семантики, своеобразные фразеологические обороты, носящие отпечаток того, что называлось общественно-политическим «мировоззрени-

---

[1] См. более обстоятельный перечень цитат (в алфавитном порядке) в кн.: *Михельсон М. И.* Ходячие и меткие слова. СПб., 1896; *Займовский С.* Крылатое слово. М., 1930, но особенно в до сих пор еще, к сожалению, не напечатанном исследовании проф. Сонни (известном автору по рукописи)*6.

ем», «политическими убеждениями». История этой публицистической фразеологии (до сих пор лингвистически еще вовсе не изученная) отражает эволюцию общественной мысли. Например, в 40-е годы укрепляется слово *прогресс*[1]. В конце 50-х годов, по царскому распоряжению, запрещено употреблять это слово «в официальных бумагах»[2]. В «Дневнике» А. В. Никитенки (цензора) под 31 мая 1858 г. есть запись: «Запрещено употреблять в печати слово *прогресс*».

В 50—60-е годы укореняется понятие *среда* в значении: окружающее общество, социальная обстановка (французское milieu)[3]. И. С. Тургенев писал А. Н. Плещееву от 24 сентября 1858 г.: «Окружающая среда тяготит вас»[4]. В романе Помяловского «Молотов» (1861) встречается выражение *среда заела*[5]. «И тебя вырастила почва». — «А то что же?» — «*Это называется среда заела*» — «*А вот и не заела... Среда... заела... Новые пустые слова...* Я просто продукт своей почвы, цветок, пойми ты это». В «Филологических записках» за 1873 г. преподаватель И. Николич писал: «Далось также новейшим литераторам слово *среда* для составления крайне нелогичных выражений: *среда окружает, среда давит, живет в тесной среде* и т. д. вместо: *окружает общество, в тесном кругу* и пр.»[6]. Ср. у Ф. М. Достоевского в «Дневнике писателя» за 1873 г. в пародической речи адвоката, который защищает мать, в злобе обварившую у своего годовалого ребенка руку кипятком из самовара:

«Естественно, что под такую минуту, когда злоба от *заевшей среды* входит, так сказать, внутрь... она и поднесла руку под кран самовара...» И тут же рядом от «писателя»: «Полноте вертеться, господа адвокаты с *вашей средой*»[7].

В сочинениях Н. А. Добролюбова характерны такие публицистические термины и выражения: «свобода языка, внезапно разрешившаяся, называемая теперь *гласностью...*» («Мысли светского человека», СПб., 1859); «*Инициативы* у него иет в натуре, и он не успел ее приобрести ни в воспитании, ни в последующей жизни» («Когда же придет настоящий день?»); «нет *инициативы* в характере» («Благонамеренность и деятельность». Повести и рассказы А. Плещеева.—

---

[1] В «Карманной книжке для любителей чтения русских газет и журналов», составленной Иваном Ре... ф... цем (СПб., 1837), слова «прогресс» еще нет.

[2] *Лемке М. К.* Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904, с. 323.

[3] По свидетельству П. Д. Боборыкина, слово «среда» в этом значении употреблялось еще в 40-х годах.

[4] Тургенев и его время. Сб. 1. М. — Пг., 1923, с. 304.

[5] В «Словаре церковнославянского и русского языка» (1847) слово *среда* еще не имеет этого значения. По сравнению со «Словарем Академии Российской» здесь прибавлено физическое значение: *тело, вещество.*

[6] *Николич И. М.* Грамматические заметки. — ФЗ, 1873, вып. 1, с. 9; ср. статью того же автора «Неправильности в выражениях русской речи».— ФЗ, 1878, вып. 1, с. 29—30

[7] *Достоевский Ф. М.* Дневник писателя. — В кн.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. художественных произведений. Л., 1929, т. 11, с. 21—22; ср. у Салтыкова-Щедрина: «По природе он совсем не фатюй, а ежели являлся таковым в своем отечестве, то или потому только, что его *«заела среда»* или потому, что это было согласно с видами правительства» («За рубежом»).

Современник, 1860, № 7); «Среди выродившихся *субъектов человеческой породы* замечателен был бы *экземпляр*, настолько сохранивший в себе первоначальный тип человечества, что никакими силами нельзя стереть и уничтожить его» (там же); «Известно, например, что немцы должны вырабатывать теоретические *начала общественной жизни*» («Непостижимая странность». — Современник, 1860, № 11); «Европа, как вы знаете, превратилась теперь в «*говорильню*», как перевел бы покойный Шишков слово «парламент» (Из Турина. — Современник, 1861, № 3). В пародии «Наш демон» (Свисток, № 2):

... исполиен скептицизма,
Злой дух какой-то нам предстал
И *новым именем трюизма*
Святыню нашу запятнал.

В «Свистке» № 6 («Письмо благонамеренного француза»): «*принцип невмешательства* (non intervention)»; «какой *обширный горизонт* (quel vaste horison) *открывается для политической мудрости*» и т. п.

В «Фельетонах Никиты Безрылова» (А. Ф. Писемского) (1862): «закон *гуманности*»; «прибегнуть к благодетельному средству *гласности*» (ср. в «Обличительном письме из ада»: «развитие в вашем отечестве *гласности*»); «по учению *эмансипации*»; «идти против хороших *начал*»; «в вашем, например, заметно узком *миропонимании*»; «глубоко сочувствуя *направлению* вашего журиала»; «*веяние* минуты» и т. п. Ср. у Писемского в «Завещании моим детям Василию и Николаю» (1862); «Вы выросли совершенно *без почвы*»; «Никакого определенного и *замкнутого цикла понятий* в вашей душе нет»; «По последнему *направлению* ветра недурно даже, с некоторой похвалой отзываться о *децентрализации*» и т. п. В «Записках Салатушки» (1860—1861): «*русская община*»; «*инициатива* движения вперед»; ср.: «Вы умеете только загнувши лоб, бегать из дому в дом и кричать: *начала... инициатива*»... и т. п. Ср. во «Взбаламученном море» Писемского разговор между Еленой и Баклановым: «Нам нужны люди с характером, с темпераментом, люди твердых убеждений, а не разваренные макароны!». «Господи, где вы этаких фраз нахватались?... Вас, вероятно, всем этим нашпиговала наша литература» (ч. 6, гл. XIV). См. также в «Рудине» в речи Пигасова: «Третьего дня наша предводительша как из пистолета мне в лоб выстрелила: говорит мне, что ей не нравится моя *тенденция! Тенденция!* Ну, не лучше ли было бы и для нее, и для всех, если б как-нибудь, благодетельным распоряжением природы, она лишилась вдруг употребления языка»; в речи Потугина в Тургеневском «Дыме»: «...разве все эти фразы, от которых так много пьянеет молодых голов: *презренная буржуазия, souveraineté du peuple, право на работу*, разве оне тоже не общие места?»

В 70-е годы XIX в. в публицистической речи создается слово *средостение* для эвфемистического обозначения бюрократии. (Ср. у Салтыкова-Щедрина в «Письмах к тетеньке»). Характерны также такие публицистические выражения, как *увенчание здания* (о конститу-

ции в публицистической фразеологии 70—80-х годов); *шкурный вопрос, шкурный инстинкт; направленство* и т. п. Ср. пущенное в ход М. П. Погодиным (по адресу «Современника» в эпоху редактирования его Н. Г. Чернышевским) выражение *рыцари свистопляски*[1]. Ср. в статье Н. А. Добролюбова «Наука и свистопляска» (Свисток, № 4): «Он (Погодин) изобрел для нас особое название: «рыцари свистопляски». В публицистике 80-х годов рождается выражение *либеральная размазня*. Вот как комментирует это выражение один из его любителей: «Оно обозначает очень характерное явление в жизни интеллигентного общества, заключая в самом названии его меткую и злейшую насмешку над ним»[2]. В разработке стилей публицистического языка особенно велико было значение Салтыкова-Щедрина[3].

Через сферу газетно-публицистической речи распространялись и укреплялись в разных слоях читающего общества социально-политические термины и лозунги (ср., например, своеобразное революционное значение выражений *дело, великое дело* в языке революционно настроенной разночинной интеллигенции 60-х годов)[4]. Здесь остро и непосредственно отражалась борьба классов, борьба разных общественно-политических идеологий.

§ 4. ОБОГАЩЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЛЕКСИКИ

В сфере журнально-публицистической и газетной речи продолжается напряженный процесс разработки лексико-фразеологических форм для выражения отвлеченных понятий, процесс обогащения литературного языка новой интеллигентской лексикой и научной терминологией. В литературную речь входит множество слов, которые до этой эпохи оставались в пределах узкой специальности. Таким образом, границы литературного словаря расширяются в сторону разных специальных языков. Нередко такие слова, выполнявшие функцию специального термина в той или иной отрасли науки или техники, обслаиваются в литературной речи новыми отвлеченными значениями. Но и помимо усвоения и распространения технической и научной терминологии (особенно общественно-политической и естественнонаучной) возникают из наличного морфологического материала новые

---

[1] См.: *Ткачев П. Н.* Избр. соч. на социально-политические темы. М., 1932, т. 4, с. 7. Впрочем, само слово *свистопляска* в его прямом реальном значении было широко известно и в первой половине XIX в. Например, в «Дневнике» И. Снегирева под 22 ноября 1824 г. читаем: «Он (Хитров), по-видимому, был доволен, намекал о переводе его пиесы о свистопляске в Вятке» (с. 111); ср. в «Толковом словаре» Даля: «*Свистопляска* (вятск.) — тризна по убитым ошибкою вятчанами устюжанам (в XIV в.), пришедшим на помощь и принятым за неприятелей, за что первые прозваны *слепородами* и *свистоплясами*; в этот день (четвертая суббота от пасхи) свищут в глиняные уточки и дудочки на овраге, у часовни. *Свистопляс* — разгульный тунеядец, шатун» (1-е изд., т. 4, с. 137).

[2] *Хохряков П.* Язык и психология. Казань, 1889, с. 65.

[3] См.: *Ольминский М. С.* Щедринский словарь. М., 1937*[1].

[4] Любопытный материал для изучения публицистического языка Н. Г. Чернышевского можно найти в кн.: *Бродский Н. Л., Сидоров Н. П.* Комментарий к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?» М., 1933*[2].

слова, преимущественно с отвлеченным значением, или на старые слова нарастают новые значения. Кроме того, множество слов из простонародного языка и устно-бытового просторечия получают литературную канонизацию. Темп этого лексического роста и основные его проявления будут заметны, если изучить хотя бы те дополнения, которые внесены в словарь Даля проф. И. А. Бодуэном де Куртенэ.

К числу таких слов, усвоенных русским литературным языком с 60-х годов XIX в. (если даже исключить очень специальные термины, еще не получившие прав общелитературного гражданства), и притом только на три первые буквы алфавита, приходится отнести большую группу варваризмов: *абзац, аборт, абортивность, абсент, абсурд, автотипия, агитировать, аграрный, адюльтер, аккомодация, аккумулятор, ализарин, аллитерация, альбумин* (белок), *альтернатива, альтруизм, амбулатория, анилин, антецедент, антипирин, антисемит, антисемитизм, аншлаг, апломб, арбитраж, суперарбитр* (слово *арбитр* у Даля указано), *артикулировать, артикуляция, артрит, ахроматизм* (слово *ахроматический* в словаре Даля есть), *бактерия, бетон;* новое значение слова *буржуазия* (в противоположность *пролетариату*), *буржуа, буржуй* (слово, которое встречается в романе Тургенева «Новь»); *вокализм, вокализация, вотум* (доверия), *винегрет* (в переносном значении), *галантность, галантный, диффамация, дифракция, концессия* и мн. др.

Кроме того, некоторые слова, отмеченные в словаре Даля, изменили свое содержание, свои значения; немало русских слов возникло после 60-х годов; еще больше лексем пришло в литературный язык со стороны. Например, *беспробный* (о золоте), *бессодержательность, бессодержательный* (ср. также отсутствие в словаре Даля слов: *содержательность, содержательный*), *бесформенный, брехунец* (в значении адвокат), *бурбон* (офицер, выслужившийся из нижних чинов — из кантонистов и сдаточных), *внушение* (в психологическом значении, а также в официально деловом, например, *получить соответствующее внушение со стороны министерства; внушение* в прямом значении еще в старину проникло в русский литературный язык из церковнославянского языка)[1], *выдворить* (судебным или административным порядком), *прокатить на вороных* (при баллотировке); *впечатлительность, вскидчивый* (сварливый, вздорный), *вспрыски* и др. под.; *белоперчаточное фарисейство сытой морали* (при получении доходов с занятий будто бы унизительных для данного сословия или корпорации, например для адвоката — барыш от торговли), *белоподкладочник, всесторонний* (всестороннее рассмотрение, обсуждение), *всесокрушающий, судебно-медицинское вскрытие, выразитель, выразительница* и др.

Очень интересен состав лексических дополнений к словарю Даля, сделанных П. Шейном[2]: *бесправие, бесправный, бесшабашный* (в значении отчаянный, беспардонный), *благодушествовать, говорильня*

---

[1] Ср.: *Miklosich Fr.* Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Вена, 1862, с. 98

[2] См.: *Шейн П. В.* Дополнения и заметки к «Толковому словарю» Даля. СПб., 1879.

(комната, определенная для бесед, разговоров), *наглядный, наглядность* (кальки немецких anschaulich, Anschaulichkeit), *неизменяемость, обезземелить, общинник, объединить, объединение, отожествлять, отожествление, полнозвучный, прародина, праязык, разночтение* (вариант), *разновидность, самообладание, самоуничтожение, содержанка, сосредоточенность, стрелочник* (на железной дороге), *уподоблять, уподобление, уравновесить* и др. под. Точно так же И. Ф. Наумов указал много слов, не вошедших в словарь Даля[1], и некоторые из них являются неологизмами или литературными приобретениями последующей эпохи, вовлеченными в сферу книжного и письменного обращения из просторечия, из специальных языков, профессиональных диалектов и жаргонов. Например *бронзовый* (в значении дутый, фальшивый; из финансового диалекта: *бронзовый вексель, бронзовый счет*), *военщина, иеримиада, культ, отмочить штуку* (сделать, сказать что-нибудь экстравагантное, необычное), *предумышленный, причинность* (Kausalität), *пешедралом, санитар, санитарный, сплавить кого-нибудь, что-нибудь* (в переносном смысле) *суммовать* (слагать, подводить итоги цифр), *суммация* и др.

Я. К. Грот отметил отсутствие в словаре Даля таких слов, которые употреблялись в литературном языке 60-х годов: *деловитый, деловитость* (СПб Ведомости, 1867, ноябрь 10); *забастовка* («нелепое притязание не допускать до занятий рабочих в той отрасли промышленности, где устроилась забастовка», т. е. стачка; Московские ведомости, 1869, № 130, «Из Парижа»); *закорузлый* или *заскорузлый* (у Даля только глагол *заскорузнуть*); *миллиард* (Грот отмечает, что это слово до конца XIX в. не было занесено ни в один словарь); *мировоззрение, миросозерцание; новшество* (С. М. Соловьев); *общедоступный; озаглавить; пиджак* (англ. peajacket); *чек* (англ. check) и др. под.[2]

Для этих неологизмов XIX в. характерна стилистическая неразграниченность книжно-публицистических, даже научных слов и терминов, иногда составленных по нормам церковнославянского языка, и форм бытовой устной речи, иногда с провинциальным, областным отпечатком. Книжность смешивается с просторечием. Нормы стилистических делений зыбки, неустойчивы. «Книжными» становятся многие из тех слов, которые в литературном языке предшествующей эпохи причислялись к просторечию, например: *быт, бытовой, бытовать, почин* (в значении инициатива), *суть, рознь, строй, отчетливый, дословный, корениться, обрядовый, противовес, самодур;* ср. также *набросок, накидок* (esquisse), *проходимец* и др.

С другой стороны, в журнально-публицистическом языке возрождаются церковнокнижные, архаистические типы словообразования. Я. К. Грот указывает на образование в 40—60-х годах таких книж-

---

[1] См.: *Наумов И. Ф.* Дополнения и заметки к «Толковому словарю» Даля. СПб., 1874.

[2] См.: *Грот Я. К.* Материалы для русского словаря. 1. Дополнения и заметки к «Толковому словарю» Даля.— В кн.: *Грот Я. К.* Филологические разыскания. СПб., 1899, с. 401 и след.

ных слов, как *научный*[1], *деятель* (вместо делатель), *даровитый, настроение, творчество, представитель, сопоставление, голосование, плоскогорье*[2] и др. Тот же ученый, разбирая первое издание «Русско-французского словаря» Макарова (1867), отмечает пропуск многих слов, из которых некоторые «правда, еще новы, но и те уже приобрели или, по крайней мере, более и более приобретают право гражданства». Выстраивается такой ряд книжных новообразований: *водораздел, главенство, замкнутость, крепостник, крепостничество, мероприятие, непререкаемый, обусловливать, передвижение, полноправный, правомерный, представительство, пререкание, принудительный, равноправный, самовосхваление, самодеятельность, самообольщение, самоуправление, сдержанность, собственник, численность*[3] и мн. др.

Особенный интерес для историка представляют слова и выражения, связанные с процессом развития капиталистических отношений и из области торгово-промышленной или финансовой терминологии, переходившие в систему литературного языка. Таковы, например, выражения: *чьи-нибудь акции поднялись, упали; ажиотаж; банкрот* (нравственный); *потерпеть крах*[4] (ср. у Н. А. Некрасова):

Плутократ, как караульный
Станет на часах,
И пойдет грабеж огульный,
И случится крах.

(Современники, Герои времени);

надежды, планы лопнули; крупный вклад во что-нибудь, например в науку; *выйти в тираж; гарантировать, гарантия* (ср. у Н. А. Некрасова: «Антокольский! изваяй гарантию в субсидию»); *дисконтировать* в переносном значении (ср. слова дворянина-дельца Палтусова в «Китай-городе» П. Д. Боборыкина: «Если у нас есть воспитание, ум, раса, наконец, надо все это дисконтировать»); *учесть* (в переносном значении); *дискредитировать; свести счеты с кем-нибудь; запросы; итоги; в итоге; чек.* Ср. у Гл. Успенского в очерках «Новые времена, новые заботы», «Книжка чеков» (1876): «Чистая бумага, а пятнадцать тысяч в ней весу!.. Называется — чек»[5] и мн. др. под.[6] Ср. у Н. С. Лескова в романе «На ножах»: «Я задумал было и же-

---

[1] Ср. у А. Тарасенкова (в статье «Последние дни жизни Гоголя». М., 1902, с. 10—11): «Не помню почему-то я употребил в рассказе слово *научный;* он (Гоголь) вдруг перестал есть, смотрит во все глаза на своего соседа и повторяет несколько раз сказанное мною слово «научный», «научный», а мы все говорили «наукообразный»; это неловко, то гораздо лучше».

[2] *Грот Я. К.* Филологические разыскания, с. 14, 17.

[3] Там же, с. 185.

[4] Ср. в романе П. Д. Боборыкина «Василий Теркин» разговор землемера с помещиком Иваном Захарычем: *«Это была бы только отсрочка... краха...» — «Вон какие слова употребляет. Крах... И терпи»* — подумал Иван Захарыч... *«Извините... я называю крахом...» — «Да, да, нынешнее слово, я знаю»...* — «Слово настоящее, Иван Захарыч...»

[5] *Успенский Г. И.* Полн. собр. соч. Пг., 1918, т. 2, с. 131*[1].

[6] См., например, материалы: *Сакс. И. Т.* Русско-немецко-англо-французский словарь выражений и оборотов, свойственных торговой корреспонденции, М., 1912,

ниться, конечно не по расчету и не по прикладным соображениям, однако этому, как кажется, не суждено осуществиться, и я эту *статью уже выписал в расход*».

§ 5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ И ЗАИМСТВОВАННЫХ ТЕРМИНОВ В ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. СОСТАВ И ФУНКЦИИ ЗАИМСТВОВАНИЙ

В процессе борьбы разных систем идеологии, которые находили то или иное отражение в семантике русского литературного языка,— русская общественная мысль нередко входила в контакт или столкновение с разными западноевропейскими теориями, открытиями и достижениями. Поэтому книжная речь во вторую половину XIX в. продолжает вбирать в себя заимствованные слова, обороты, фразы и синтаксические конструкции западноевропейских языков. Я. К. Грот в своем разборе словаря Даля (в конце 60-х годов) так характеризовал эту тенденцию современного ему литературного языка: «В последние десятилетия, начиная с 40-х годов, по мере того как русское общество научилось придавать вещам более цены, чем именам,— у нас стали слишком пренебрегать чистотой языка и слишком мало стесняться в употреблении иностранных слов и оборотов. Таким образом, в печати появилось множество выражений, искусственно привитых русскому языку, например: *рассчитывать на кого* или *на что; делать кого несчастным; иметь жестокость; предшествовать кому; предпослать что чему; пройти молчанием; разделять чьи-либо мысли* или *чувства; прежде нежели сказать; слишком умен, чтобы не понять; иметь что возразить, иметь что-нибудь против*». По словам Грота, в 60—70-е годы к этим оборотам присоединилось еще много других, например *считаться с чем* (tenir compte de quelque chise); *человек такого закала* (un homme de cette trempe); *раз он взялся — непременно сделает* (une fois qu'l s'en est chargé); *немыслимый* (undenkrab) и др.[1]

Тенденция к наукообразным формам выражения, густой слой специальной терминологии, ассимилированной стилями научно-публицистического, газетно-делового языка, — все это насыщает литературную речь второй половины XIX в. заимствованиями из западноевропейских языков. Иностранные слова, влившиеся в русскую литературную речь, по большей части относятся к следующим областям: к естественным, социально-экономическим наукам, к общественному быту, промышленности, к политическим, экономическим и юридическим устоям гражданственности, к характеристическим определениям личности и к нормам светского поведения. Интересно прислушаться к голосам свидетелей литературного зарождения и распространения этих заимствований — голосам, полным сочувствия или неприязни. В этих пристрастных суждениях беспристрастно и надеж-

---

[1] *Грот Я. К.* Филологические разыскания, с. 13.

но само историческое свидетельство о факте литературной канонизации заимствований.

В брошюре А. Б. «Отчего? зачем? и почему? Оскудение и искажение русской речи»[1], вышедшей, по-видимому, из бюрократических кругов с националистической окраской, рост европеизмов ставится в связь с общественным движением 60-х годов, «эпохой конвульсивных порывов некоторой части нашего общества, а по преимуществу писательской братии, к чему-то новому, не своему». «И тут-то, — пишет автор, — под влиянием дарованной благодетельными реформами значительной свободы мы крепко покумились с Западом. Пошла усиленная работа по расковыриванию наших старых язв, явилась обличительная литература, полная страстности и нетерпимости и потому ничего общего с изящной литературой не имевшая. Таким образом, сошлись два деятеля для порчи родного языка: это — жадное хватание выражений из чужих языков, только в малой части оправдываемое, и ничем не оправдываемое нерадение и даже пренебрежение к началам благозвучия и разработке гибкости оборотов родной речи» (3—4).

Главным предметом обличений автора этой брошюры является газетно-публицистический язык с его богатым арсеналом западноевропейских заимствований. Как примеры свежих европеизмов выступают слова, «особенно докучливо мелькающие на газетных столбцах, это — *инцидент* (случай, событие, приключение происшествие) и *версия* (молва, толки, слухи)...»; «Эта чета: *инцидент* с *версией*, пристраиваясь ко всяким явлениям сфер парламентских, дипломатических и даже сцен иноземного уличного мордобития, надоедают до омерзения» (5); «Позже двух предыдущих мелькнуло раз в «Новом времени» слово: *интервьюировал»* (6). Ср. у Лескова в рассказе «Загадочное происшествие в сумасшедшем доме»: «Поехали за фельдшером, чтобы он шел как можно скорее подать какую-нибудь помощь или, как нынче красиво говорят, *констатировать* смерть». Почти все современники отмечали, с разными оценками и комментариями, как факт, сопутствующий размножению европеизмов, широкое распространение фразеологических шаблонов газетного языка, или, как саркастически их называет автор брошюры «Отчего? зачем? и почему?», — «избитых выражений газетного пустословия» (14). Связь этих явлений «в газетном складе речи» иронически представляется в таком виде: «Своим шаблонным языком став почти в уровень с говором толпы, печать... и полемические состязания ведет во вкусах улицы. Но чтобы удержаться все-таки на высоте авторитета, становится на ходули иностранщины... Русский язык запруживается окончательно разными *измами*, *ациями* и *ированиями* в именах существительных, *ическими*, *альными* и другими окончаниями в именах прилагательных, причем и ряды наших глаголов тоже пестрят иноземщиной, втиснутой в строй вместо вытолкнутых вон русских слов» (15—16). К. Полевой в письме к Н. И. Гречу (от 3 мая 1864 г.) так характеризовал газетно-публицистический язык 60-х годов: «Язык в газетах и журналах не русский: это какая-то смесь иностранных и неправильных рус-

[1] СПб., 1889. В скобках указаны страницы этого издания.

ских слов, столпленных не по духу русского языка»[1]. Сюда же примыкает в разборе словаря Даля замечание Я. К. Грота о «целом легионе глаголов, подобных следующим: *импонировать, изолировать, игнорировать, бравировать, формулировать, вотировать, конкурировать, резюмировать, тренировать*». Этот «разряд слов особенно неудачен, так как тут мы видим иногда двойное искажение: французское слово видоизменено сперва немецкой формой его окончания (iren). Чтобы уменьшить безобразие, некоторые стали отбрасывать слог *-ир* и говорить, например: *формуловать, цитовать*, по образцу более старых глаголов: *атаковать, арестовать, командовать, пробовать*»[2].

Я. К. Грот — убежденный западник — призывал к «умеренности и разборчивости в заимствовании чужих слов», особенно таких, которые «выражают не какой-либо определенный предмет, а только утонченный оттенок мысли по иноземному ее складу. Таково, например, недавно введенное слово *шансы*, значение которого не многие из употребляющих его сумеют объяснить, и которое, однакож, в большом ходу. Мы имели недавно случай, в одной из внутренних губерний, слышать от молодого помещика такую фразу: *Без рыску нет шансов на авáнтаж*»[3].

Точно так же пуристически настроенный автор книжки «Неправильности в современном разговорном, письменном и книжном русском языке»[4] (некто Н. Г.) жалуется, что чистота языка «крайне исказилась введением в него множества иноязычных, преимущественно французских слов и выражений». Рядом с чужими словами указываются как балласт газетно-публицистической речи старославянские и старорусские архаические формы: «...присоединилось еще и другое иноязычие — старославянское и старорусское, не соответствующее безусловной чистоте новейшего русского литературного языка» (6). Заявляется, что всеми этими недостатками грешат «многие произведения так называемой изящной литературы (романы, повести, рассказы и т. п.) и всего более журналы и газеты» (22).

В качестве недавно введенных «неправильных галлицизмов» отмечены такие слова: *игнорировать* (14) (ср. в «Свистке» 1859, № 4: «До сих пор солидные люди нас знать не хотели или, говоря любимым словом некоторых ученых, «*игнорировали*»), *инерция, интеллигенция*[5], *интеллигентный* (в смысле высоко образованного рода людей) (14), *интеллектуальный* (14), *конкретный* (concret — «слово отчасти логическое, отчасти философское, но в русском литературном языке

---

[1] Звенья, 1935, № 5, с. 751.

[2] *Грот Я. К.* Филологические разыскания, с. 17—18; ср. с. 761—773.

[3] Там же, с. 13, 933.

[4] 1890 г. В скобках будут указаны страницы этого издания.

[5] Ср. у Тургенева в «Странной истории» (1869): «...послезавтра в дворянском собрании большой бал. Советую съездить: здесь не без красавиц. Ну, и всю нашу интеллигенцию вы увидите. Мой знакомый как человек, некогда обучавшийся в университете, любил употреблять выражения ученые. Он произносил их с иронией, но и с уважением». Принято приписывать изобретение слова *интеллигенция* П. Д. Боборыкину.

не подлежащее употреблению») (15)[1], *констатировать* (галлицизм... весьма часто употребляемый (15), *консервативный* (по-русски... *охранительный*, или *сохранительный*) (15), *максимальный* и *минимальный* (16), *массовый* («с французского слова masse, en masse, употребляется в смысле громадный, скученный, что совершенно неправильно») (16), *пенсион* («с французского pension, по-русски — *пенсия*») (18), *сервировать* (19), *рационально*, *регулировать* (16), *традиция*, *традиционный* (20), *фон* (21) и др. под. Ср. у Тургенева в романе «Новь»: «В разгоряченной атмосфере голушкинской столовой завертелись, толкая и тесня друг дружку, всяческие слова: *прогресс*, *правительство*, *литература*. *податной вопрос*, *церковный вопрос*, *денежный вопрос*, *судебный вопрос*, *классицизм*, *реализм*, *коммунизм*, *интернационал*, *клерикал*, *капитал*, *администрация*, *организация*, *ассоциация* и даже *кристаллизация*!»

Отмечаются также недавно укоренившиеся фразеологические галлицизмы официального языка: *оставить город*, *место жительства*, *оставить свой пост* (quitter une ville, son poste — грубые галлицизмы), *иметь место* (avoir lieu), *сделан* вместо *назначен* или *произведен* — например: *сделан генералом* вместо *назначен министром* или *произведен в генералы* и т. п. — «галлицизм и совершенно неправильное выражение, часто употребляемое ныне» (19) и др. под.

Славянофильски настроенный пурист и консерватор Платон Лукашевич, продолжавший культивировать даже во второй половине XIX в. «корнесловие» в духе и стиле А. С. Шишкова, писал в своей книге «Мнимый индо-германский мир, или истинное начало и образование языков немецкого, английского, французского и других западноевропейских» (Киев, 1873): «Мы смеялись некогда над иностранными словами, введенными в наш язык в первой половине XVIII века: *ассамблея*, *элоквенция*, *баталия*; что же они значат против нынешних: *инициатива*, *культура*, *интеллигенция*, *прогресс*, *гуманность*, *цивилизация*, *сеанс*, *сезон*, *факт*, *эффект*, *результат*, *объект*, *субъект*, *рутина*, *реальный*, *нормальный*, *актуальный*, *социальный*, *популярный*, *национальный*, *индивидуальный*, *элементарный*, словом сказать, что значат прежние иностранные слова против всего французского словаря, введенного в наш язык?.. Мы приняли тысячи оборотов и выражений французских (галлицизмов), немецких... Кто поручится, что через другие тридцать лет все эти иноплеменные слова не войдут в простонародный наш язык?..» (6).

На постоянное злоупотребление иностранными словами в деловой,

---

[1] Слово *конкретный* начало употребляться в 30-х годах. Так, Белинский в рецензии на «Уголино» Полевого (1838) писал: «*Конкретность* производится от *конкретный*, а *конкретный* происходит от латинского глагола concresco — срастаюсь. Это слово принадлежит новейшей философии и имеет обширное значение. Здесь мы употребляем его как выражение органического единства идеи с формой. Конкретно то, в чем идея проникла форму, а форма выразила идею... Другими словами, *конкретность* есть то таинственное, неразрывное и необходимое слияние идеи с формой, которое образует собой жизнь всего и без которого ничего не может жить... *Конкретности* противопоставляется *отвлеченность*, которая в искусстве существует как аллегория» (*Белинский В. Г.* Соч., СПб., 1906, т. 1, с. 710.)

15—1081

журнальной и газетной речи, как на характерное явление литературного стиля эпохи, указывает и П. Сергеич (П. С. Пороховщиков) в своей интересной книге «Искусство речи на суде». «Мы слышим: *травма, прекарность, базировать, варьировать, интеллигенция, интеллигентность, интеллигент, мотивировать* и *фигурировать*... Мы встречаем людей, которые по непонятной причине избегают говорить и писать слова: *недостаток, пробел, упущение, исправление, поправка, дополнение;* они говорят: надо внести *корректив* в этот *дефект*; вместо слов: *расследование, опрос, дознание* им почему-то кажется лучше сказать *анкета*, вместо *наука — дисциплина;* вместо *связь, измена, прелюбодеяние — адюльтер*... Эти безобразные иностранные слова приобретают понемногу в нашем представлении какое-то преимущество перед чистыми русскими словами; *детальный анализ* и *систематическая группировка материала* кажутся более ценной работой, чем *подробный разбор* и *научное изложение предмета.* Между тем огромное большинство этих незваных гостей совсем не нужны нам, потому что есть русские слова того же значения, простые и точные: *фиктивный — вымышленный, мнимый; инициатор — зачинщик*[1]; *инспирировать — внушать; доминирующий — преобладающий, господствующий; симуляция — притворство* и т. д.»[2]. Правда, «в современном языке, преимущественно газетном, встречаются ходячие иностранные слова, которые действительно трудно заменить русскими, например: *абсентеизм, лояльность, скомпрометировать*». На этом фоне приобретает особенную остроту совет А. П. Чехова в письме к доктору Куркину заменить название его книги «*Очерки санитарной статистики*» более простым «*Заметки врача*» или чем-нибудь в этом роде: «*Очерки санитарной статистики*» немножко длинно и немножко неблагозвучно, так как содержит много *с* и много *т*».

Интересно, что европеизмы официально-деловой, общественно-политической, научно-технической и бытовой окраски попадают даже в стиховой язык. Ср., например, у Н. А. Некрасова употребление таких слов, как *адепт, афера, биржевик, брошюра, гонорар, гуманность, дебаты, дебоширствовать, дивиденд, идеалист, инфузории, иллюстрация, квитанция, колоссальный, консоляция, концессия, коммунизм, нигилист, нотация, публицист, радикал, реальный, резолюция, ретроград, спекуляция, субсидия, такса, тариф, фельетон, эстрада* и др.[3]

Вместе с тем самый выбор иностранных слов, отбор специальной терминологии, ориентация на те или иные сферы научного или профессионального языка определялись идеологическими и социально-политическими расслоениями русского общества. Так, Б. М. Эйхенбаум,

---

[1] Ср. в романе П. Д. Боборыкина «Китай-город» разговор между двумя дельцами из дворян:

— У вас есть инициатива.

— Без ученых слов, голубчик!

— Нет, позвольте его повторить... Инициатива. По-русски почин, если вам угодно (*Боборыкин П. Д.* Собр. романов, повестей и рассказов. СПб., 1897, т. 1, с. 25).

[2] *Сергеич П.* Искусство речи на суде. СПб., 1910, с. 13—14.

[3] См. подробней в кн.: *Чуковский К. И.* Некрасов. Статьи и материалы. Л., 1926.

анализируя философский язык Л. Толстого, указывает, что в 60-х годах происходит «борьба между дворянской и разночинской наукой — не только в методах, но и в самом выборе наук. В этом смысле философский язык Толстого и его приятеля Урусова, насыщенный математическими и физическими терминами, очень характерен. «Все эти *параллелограммы сил, квадраты расстояний, алгебраические уравнения*, и т. п. — вся эта «урусовщина» использована Толстым против разночинцев-«реалистов» с их дарвинизмом и с их стремлением сделать историю отделом естествознания»[1].

Показательны в этом отношении постоянные иронические выпады писателей из консервативно-дворянского лагеря в литературных статьях и частной переписке против материалистической естественнонаучной терминологии нигилистов. Например, в письме Б. М. Маркевича и И. С. Тургеневу (от 9 декабря 1868 г.): «Едва ли мыслимо выработать себе «оригинальную» физиономию, если по воле провидения, или, говоря более современно, *по недостатку известной доли фосфора в мозгу*...»[2]; ср. в письме И. С. Тургенева к П. В. Анненкову (от 14 (2) сентября 1871 г.): «Кстати, если Ваш Павел уж очень забуитует, попробуйте укротить его словами: «А вот постой, женю тебя на Цебриковой! — или, говоря ее слогом: *отдам тебя в естественную закваску* с *Цебриковой*»[3].

Ср. фразеологию Базарова в «Отцах и детях» Тургенева: «Посмотрите, к *какому разряду млекопитающих* принадлежит сия особа»: «Достаточно одного человеческого *экземпляра*, чтобы судить о всех других» и т. п. Ср. у Добролюбова: «Среди *выродившихся субъектов человеческой породы* замечателен был бы *экземпляр*, настолько сохранивший в себе первоначальный тип человечества, что никакими силами нельзя стереть и уничтожить его»[4]; ср. у Чернышевского в романе «Что делать?»: «Да, особенный человек был этот господин, *экземпляр очень редкой породы*» и т. п.

Этой естественнонаучной окраске публицистического языка нигилистов Л. Толстой противопоставляет в 60-е годы философско-публицистический язык, насыщенный математическими и физическими терминами[5].

В самом деле, в философско-публицистическом стиле «Войны и мира» широко применяются (для образования метафор, сравнений, развернутых аналогий и параллелизмов) термины и фразеологические обороты из области физики, математики, механики и астрономии[6].

---

[1] *Эйхенбаум Б. М.* Л. Толстой. Л. — М., 1931, кн. 2, с. 358.

[2] Звенья, 1935, № 5, с. 295.

[3] Там же, с. 280.

[4] *Добролюбов Н. А.* «Благонамеренность и деятельность». Повести и рассказы А. Плещеева.— Современник, 1860, № 7.

[5] См.: *Эйхенбаум Б. М.* Л. Толстой, кн. 2, с. 358; см. мою статью «О языке Л. Толстого (50—60-е годы) в толстовском номере «Литературного наследства». М., 1939, с. 35—36.

[6] Ср. ироническую экспрессию, сопровождающую применение физиологических и биологических терминов в «Анне Карениной»: «Вместо того, чтобы оскорбиться, отрекаться, оправдываться... его лицо совершенно невольно (*рефлексы головного мозга*, подумал Степан Аркадьевич, который любил физиологию) со-

15*

Так происходит в связи с идеологической борьбой разных общественных групп перераспределение функций и авторитета между разными областями научной, профессиональной, технической терминологии. Семантический вес и сфера употребления иностранных слов обусловлены социальной оценкой той или иной категории явлений, всем строем общественной жизни. (Ср., например, огромную притягательную силу общественно-политической и производственно-технической терминологии и фразеологии в современном литературном языке.) Поэтому очень существенно вникнуть не только в подбор заимствований, но и в приемы их употребления и семантического изменения. Например, для литературного языка второй половины XIX в. характерно «обобществление» целого ряда естественнонаучных «терминов» вроде: *аберрация* (первоначально — астрономический и оптический термин), *акклиматация* или *акклиматизация*, *агломерат*, *экземпляр* и т. п. Все эти слова, укрепляясь в общей системе книжного языка, обрастают новыми значениями. В сущности, нередко одно иностранное слово, его значение, его экспрессивная атмосфера отражают умонастроение и мироощущение той или иной социальной среды. Например, В. В. Розанов писал в своей книге «Уединенное» (СПб., 1912, с. 94—95): «В мое время, при моей жизни, создались некоторые новые слова: в 1880 г. я сам себя называл *психопатом*, смеясь и веселясь новому удачному слову. До себя я ни от кого (кажется) его не слыхал. Потом (время Шопенгауэра) многие так стали называть себя и других, потом появилось это в журналах. Теперь — это бранная кличка, но первоначально это обозначало «болезнь духа» вроде Байрона, обозначало поэтов и философов. Вертер был психопат.— Потом позднее возникло слово *декадент*, и тоже я был из первых. Это было раньше, чем мы... услышали о Брюсове; А. Белый — не рождался».

Ср. у Н. С. Лескова в «Жемчужном ожерелье»: «Э, говорю, да ты, любезный мой, должно быть, немножко с ума сошел от скуки» (слово *психопат* тогда еще не было у нас в употреблении).

Употребление иностранных слов находило опору и в официальном языке второй половины XIX в.

§ 6. РАЗНОВИДНОСТИ ЗАПАДНИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЕ

Хотя русский литературный язык к половине XIX в. обогатился множеством отвлеченных понятий и выработал тонкие и разнообразные приемы словопроизводства для обозначения сложных идей и их оттенков, в некоторых кругах интеллигенции и во второй половине XIX в. не ослабевала тенденция к более тесному сближению русской литературной речи с западноевропейскими языками, к заимствованию

вершенно невольно вдруг улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой» («Анна Каренина», гл. I); в речи Голенищева о новых людях: «Прямо говорят: ничего нет, *évolution*, *подбор*, *борьба за существование*».

Ср. в «Войне и мире» изложение естественнонаучной точки зрения: «...разум и воля суть только отделения (sécrétion) мозга».

оттуда «аналитических приемов выражения», к освоению таких понятий, которые еще не нашли в русском языке точного воплощения. Эта тенденция была свойственна по преимуществу тем слоям общества, которые были органически связаны с речевой культурой предшествующего периода и продолжали жить в смысловой атмосфере западноевропейских литературных языков. Ср. многочисленные галлицизмы в языке Герцена: «*Поставленный довольно независимо в этой среде*, он все-таки, сломился» («Былое и Думы»); «*обреченные на бой с чудовищной силою, успех наш казался невозможным*»; «*в первые минуты ее голос провел нехорошо по моему сердцу*»; «*француз jusqu'au bout des ongles*» и т. д. «Нашему языку,— писал П. Хохряков,— по милости обилия в нем фонетического реализма, с гораздо бо́льшим трудом и меньшим успехом, чем другим европейским языкам, удавалось вырабатывать значения в своих терминах со смыслом настолько общим и вместе с тем определенным, соответственно известным видовым и родовым понятиям и идеям, чтобы эти термины могли вполне удовлетворять потребностям отвлеченной мысли и практической стороны жизни»[1]. Это «недостаточное участие аналитического, интеллектуального элемента в созидании русского языка» (54), неразвитость в нем «аналитических приемов мышления» (46), по мнению автора, выражаются в отсутствии общих, отвлеченных терминов для обозначения необходимейших понятий общежития. Например, в русском языке нет слова, соответствующего французскому la manière — *манера: замашка* и *прием, приемы* заменить его не могут. «*Замашка* лишь выражает оттенок термина с более общим значением — *манера*»; «Термин *прием* как носящий на себе, по своему значению, также особый частный отпечаток, равно не годится для перевода французского слова» (22). Другой пример — «французское слово un abord, в смысле доступности для других известного лица... Слово *доступ* не дает надлежащей идеи о нем, так как выражает лишь часть содержания понятия, обозначаемого им... В содержание французского слова входит и представление об отношениях со стороны того лица, к которому открыт доступ» (стеснительных или нестеснительных, «легких, удобных, приветливых или наоборот»). Точно так же во французском языке есть пять отдельных слов для обозначения понятия о *случае* в различных его формах: cas, occasion, hasarb, accident, incident. Ср. еще близкие к понятию *случая* оттенки значений слов: conjoncture, rencontre, fortune, chance. В русском же языке существует только одно слово — *случай* с видоизменением его — *случайность*. «Хорошо еще, что мы могли позаимствовать из этого богатого запаса кое-что, три слова — *шанс, инцидент* и *оказию* от occasion» (6—7). Даже в тех случаях, когда русский язык с первого взгляда поражает обилием соответствий французскому слову, при более глубоком анализе обнаруживается в русских словах отсутствие смыслового оттенка для выражения светской, утонченной расчлененности значений французского языка. Например, французский глагол lancer переводит-

[1] *Хохряков П.* Язык и психология. Казань, 1889, с. 22. Далее в скобках указываются страницы этой книги.

ся четырьмя русскими словами: *бросать, кидать, метать* и *пускать*. Однако во французском слове есть не переводимый на русский язык смысловой оттенок. «Светское общество, или свет, в тесном смысле этого слова, доступен не всякому. Когда не только вводят и водворяют кого-нибудь в свет, но вступление его в последний сумеют так обставить, устроить и дать ему сразу такой ход, что то лицо приобретает в нем быстрый успех, производя собою заметно выгодное впечатление, выделяющее его перед другими членами светского общества, то французы выражают это словом lancer, говоря, что такой-то человек lancé в свете... Нельзя сказать по-русски: *такой-то человек брошен, кинут, пущен в свет*, а о глаголе *метать* и говорить нечего: он совсем уж тут не годится. Можно еще приблизительно передать — *пущен в ход в свете;* но выражение *пускать в ход* воспроизводит представление о пускании в ход машины; лучше сказать — *дан такому-то ход в свете*, но через это не получится живописной образности, заключающейся в глаголе lancer» (13). «Для выражения понятий о вежливости в нашем языке имеются только два слова — *вежливость* и *учтивость;* в немецком тоже два своих — Höfflichkeit и Artigkeit и одно французское Urbanität, а в английском только одно свое gentility, а остальные слова все французские — civility, courtesy, urbanity, conretosness, politiness; между тем во французском языке — шесть слов — civilité, politesse, urbanité, galanterie, courtoisie и honnéteté. В итальянском языке тоже шесть слов, пять из них совершенно одинаковые с французскими терминами — civilita, pulitezza, urbanita, galanteria и cortesia, и шестое свое особенное — compitezza» (39). По мнению Хохрякова, к французскому языку следует обращаться за заимствованиями из области социальных и культурных идей, понятий и представлений, потому что в этой области свойственная французам способность к концепциям проявилась с особенным разнообразием, богатством и утонченностью. Ср. отсутствие в русском языке «драгоценных» слов для выражения «нравственных и душевных движений», «для расширения нашего умственного горизонта», для передачи понятий, обозначаемых такими словами: l'ascendant, délicieux, l'urbanité, ressentir, das Gemüth, die Sehnsuht, the humbug, the, gentry, the sweet heart, the sooth (в смысле правды и нежности), l'entendement, l'hommage, das Werden, die Güldigung, die Cesinnung, die Laune, hold, l'affection и т. д. Ср. в «Воспоминаниях»Н.А. Тучковой-Огаревой: «Недавно еще он был стройный, прямой, имел *то, что я не умею назвать по-русски:* — «un air de grande distinction», теперь же мы увидали больного, слабого, сгорбленного»[1]; «Приезжали к Герцену и *«крем» купечества и промышленности* (т. е. crême — «сливки»)[2]». Ср. в «Войне и мире» Толстого при описании петербургского аристократического круга: «La crême de la véritable bonne société состояло из обворожительной и несчастной, покинутой мужем Элен, из... обворожительного князя Ипполита..., двух дипломатов...» и т. д.

Интересно сопоставить с этими выражениями и суждениями такой

---

[1] *Тучкова-Огарева Н. А.* Воспоминания. М., 1903, с. 44.

[2] Там же, с. 113.

разговор между Калломейцевым и Сипягиной в «Нови» Тургенева:

«— Позвольте вас спросить, зачем вы это, говоря по-русски, употребляете так много французских слов? Мне кажется, что... извините меня... это устарелая манера.

— Зачем? зачем? Не все же так отлично владеют родным наречием, как, например, вы. Что касается меня, то я признаю язык российский, язык указов и постановлений правительственных, я дорожу его чистотой. Перед Карамзиным я склоняюсь! Но русский, так сказать, ежедневный язык... разве он существует? Ну, например, как бы вы перевели мое восклицание: «De tout à l'heure: C'est un mot!» — *Это — слово!?* Помилуйте!»

— Я бы сказала: *это удачное слово.*

Калломейцев засмеялся.— *Удачное слово!* Валентина Михайловна! Да разве вы не чувствуете, что тут... семинарией сейчас запахло... Всякая соль исчезла...»

Любопытно, что демократическое газетно-журнальное речетворство не удовлетворяло те общественные круги, преимущественно дворянские, которые были органически связаны с эстетической культурой предшествующего периода. Конструктивное влияние западноевропейских языков было еще очень сильно в некоторых стилях русского литературного языка. Ср. галлицизмы в языке Тургенева: «Проезжая на возвратном пути в первый раз весною знакомую березовую рощу, у меня голова закружилась» (рассказ Гамлета в очерке «Гамлет Щигровского уезда»); «Он брал аккорды рассеянной рукой, d'une main distraite» (Тургенев. Дым, гл. XV). «На другой (шторе) происходила ожесточенная драка между четырьмя витязями в беретах и с буфами на плечах: один лежит, en raccurci, убитый» («Фауст»); «Маша в присутствии матери вооружилась jusqu' aux dents, как говорят французы» («Бреттер») и т. д. В романе «Рудин» Тургенев так описывает манеру речи аристократки Ласунской: «Дарья Михайловна изъяснялась по-русски. Она щеголяла знанием родного языка, хотя галлицизмы, французские словечки попадались у ней частенько. Она с намерением употребляла простые народные обороты, но не всегда удачно. Ухо Рудина не оскорблялось странной пестротой речи в устах Дарьи Михайловны, да и вряд ли имел он на это ухо» (гл. IV). Ср. также англицизмы у Тургенева: «Мнения, казавшиеся дерзкой новизною,— стали всеми принятым, общим местом — «a truism», как выражаются англичане» («Литературные и житейские воспоминания»).

В 50—60-е годы не менее крепка связь языка Л. Толстого со стилями французской литературы, связь, которую Л. Толстой стремился разорвать в пору своих народных исканий. На фоне общелитературных норм русского языка 50—60-х годов повествовательный язык Л. Толстого в то время характеризуется еще не нарушенной близостью к литературно-художественным стилям высшего общества с их галлицизмами. Правда, эта черта раннего толстовского языка отчасти объясняется и тенденцией к реалистическому отражению бытовой речи тех аристократических кругов, изображение которых занимало много места в произведениях Л. Толстого той поры.

В авторской речи романа «Война и мир» чрезвычайно рельефно выступают многие черты русско-французских стилей, характерные для системы русского литературного языка первой половины XIX в. (вернее, первой его трети). Лексика, фразеология и синтаксис толстовского языка в «Войне и мире», чуждаясь газетно-журнальных неологизмов 60-х годов, носят резкий отпечаток светско-разговорной и литературно-деловой речи европеизированного стародворянского круга. Свободный от книжно-публицистической фразеологии 60-х годов и от архаических церковнославянизмов предшествующего периода, язык Л. Толстого в «Войне и мире» пестрит галлицизмами. И в этом отношении он старомоден, так как даже такие «европейцы», как Тургенев, к тому времени уже освободили свой повествовательный стиль от стародворянских европеизмов конца XVIII — первой трети XIX в. В «Войне и мире» это обилие и пестрота галлицизмов соответствовали стилю изображаемой эпохи.

В сущности, оттенок литературного архаизма был непосредственно присущ русско-французскому стилю «светской» речи в 50—60-х годах. Ср., например, язык Вареньки Нехлюдовой (в «Юности»); «Тетенька в невинности души находится в *адмирации* перед ним и не имеет довольно *такту*, чтобы скрывать от него эту *адмирацию*» (XI, Дружба с Нехлюдовым).

Вот разнообразные примеры лексико-фразеологических и семантических галлицизмов в повествовательном языке «Войны и мира»: «*Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением*» (position sociale *В. В.*) (IX, 5):*[1] «...Ростов *делал* эти *соображения*» (IX, 350); «Замок с парком, окруженный *водами впадения* Энса в Дунай» (IX, 166); «Как князь Андрей был молодой человек, *обещающий пойти далеко* на военном поприще, так и еще *более обещал* Билибин на дипломатическом» (IX, 185); Ср.: «Она уже остановилась хорошеть, *ничего не обещала больше того*, что в ней было» (X, 240); ср. promettre); «Пьер... с ужасом чувствовал, что каждый день он больше и больше в глазах людей *связывается* с *нею*» (с Элен) (IX, 252). Ср.: «Он ненавидел ее и навсегда *был разорван* с *нею*» (X, 23); «Тузы, *дававшие мнение* в клубе» (X, 14); «Казалось, что в этот вечер из каких-то слов, сказанных Борисом о прусском войске, Элен вдруг *открыла необходимость видеть его*» (X, 91); «Вся фигура Сперанского *имела* особенный *тип*» (X, 164); «Он *имел репутацию ума и большой начитанности*... своим отпущением крестьян на волю *сделал* уже себе *репутацию либерала*» (X, 162); «Сперанский... *сделал сильное впечатление* на князя Андрея» (X, 167); «Быть принятым в салоне графини Безуховой считалось *дипломом ума*» (X, 178). «Он (Борис)... *прерывался* в рассказах» (X, 189) (s'interrompre). Ср.: «Она, несколько раз *прерываясь от слез*... написала то трогательное письмо» (XII, 34); «*разорвать* этот *досадный ему круг смущения*» (X, 203); «*вино ее прелести ударило ему в голову*» (X, 203); (девушка) «*оставила ему приятное воспоминание*» (X, 210); «Вера *находилась в самодовольном увлечении разговора*» (X, 215); «Жюли... *находилась во всем разгаре светских удовольствий*» (X, 299); «Наступил *последний шанс замужества*» (там же); «*врач необыкновенно*-

го искусства» (X, 301); «Граф Растопчин *держал нить разговора»* (X, 303); ср. *«держала твердо разговор»* (X, 318); ср. *«ронять нить* разговора»; «после обеда *делала партию* в бостон» (X, 315); «...в той самой *позе, которую он взял перед зеркалом*, став перед Долоховым, он взял стакан вина» (X, 353); «после той *среды могущества*, в которой он так недавно находился» (XI, 21): «несмотря на все *презрение, которое он имел* к нему» (XI, 33); «Он рад был на некоторое время освободиться от *развлечения, которое производила в нем мысль* о Курагине» (XI, 39); «Люди этой партии *имели в своих суждениях и качество и недостаток искренности»* (XI, 42); *«сделать пользу»* (XI, 67); «Жюли... *делала прощальный вечер»* (XI, 175); *«сделал вид* задумчивой *нежности»* (XI, 213); «Главнокомандующий *находится постоянно в необходимости отвечать* на бесчисленное количество... вопросов» (XI, 259); «...он один во всем мире *был в состоянии без ужаса знать своим противником непобедимого Наполеона»* (XI, 273); *«разорвутся все те условные отношения жизни»* (XI, 300); *«дурное положение, которое дали* его ране...» (XI, 382); «Все, как это бывает, когда человек сам *хорошо расположен,* все ладилось и спорилось» (XII, 16) и мн. др.[1].

Ср. примеры однородной фразеологии в повествовательном стиле ранних произведений Л. Толстого — в «Юности»: «Я был *в расположении духа профилософствовать»* («Юность», XXIX, Отношения между нами и девочками): «Я ...*сделал* себе уже ясное *понятие* об их взаимных отношениях» (X, Дружба с Нехлюдовым); в повести «Два Гусара»: «Ясно-голубые и чрезвычайно блестящие глаза и ...темно-русые волосы *придавали* его красоте замечательный *характер»*; в повести «Семейное счастье»: «Говорил *тронутым голосом*, которому старался *дать шутливый тон»* и т. п.

Таким образом, осуществляется социально-стилистический контакт между языком автора и языком персонажей из высшего круга и вместе с тем воссоздается «стиль эпохи».

Однако необходимо помнить, что язык «Войны и мира» носит явный отпечаток исторической стилизации. Галлицизмы здесь характеризуют стиль и культурный уклад изображаемой среды, особенно петербургского аристократического круга, который воспроизводится Л. Толстым в сатирическом освещении. В связи с этой особенностью языка «Войны и мира» находится следующая стилистическая деталь. В подстрочных авторских переводах французской великосветской беседы нередки фразеологические и синтаксические галлицизмы (иногда преднамеренные). Например: «Генуа и Лукка *стали не больше как* (ne sont plus que) поместьями фамилии Бонапарта» (IX, 3): *«продолжает свои вторжения»* (continue ses envahissements) (IX, 361): «А если выйти за старого графа, то вы составите счастье последних дней его, и потом *как вдова вельможи... принц уже не делает более неравного брака*, женясь на вас» (IX, 285); «он *сделает въезд свой* завт-

[1] Ср. редакционные поправки: «Он в *любви* к теории ненавидел всякую практику» (изд. 1868 и 1886 гг.), в изд. 1873 г. исправлено: *«из любви»* (XI, 412); в изд. 1869 и 1886 гг.: «Пьер *думал невозможным* ступить на них» (XII, 153), в изд. 1873 г.: *«думал, что невозможно»* (XII, 372) и т. п.

ра» (il fera son entrée demain) (XI, 368) — (слова капитана Рамбаля); *«Я из хороших источников знаю»* (je sais de bonne source) (XII, 5) и др. под.[1].

Не подлежит сомнению, что и в русских диалогах персонажей из высшего общества Толстой сознательно усиливает французский колорит речи, обнажая прием калькирования французских фраз. В некоторых случаях автор даже комментирует такие кальки.

Например, в речи Пьера: «Вы негодяй и мерзавец, и не знаю, что *меня воздерживает от удовольствия* размозжить вам голову вот этим,— говорил Пьер,— выражаясь так искусственно потому, что он говорил по-французски» (X, 364).

Этот же прием нарочитого калькирования французской семантической системы еще обнаженнее применяется в «Анне Карениной» для создания впечатления французского разговора. Например: «Алексей *сделал нам ложный прыжок»*,— сказала она (Бетси) по-французски».

«Я не могу быть *католичнее папы»*,— сказала она.— «Стремов и Лиза Меркалова — это *сливки сливок общества»*.

«Новая манера,— сказала она.— Они все избрали эту манеру. *Они забросили чепцы за мельницы. Но есть манера и манера, как их забросить»*.

«Это *вопрос ужасного ребенка... Ужасный ребенок, ужасный!* — повторила Бетси».

«Положим, *я забросила свой чепец через мельницу*, но *другие поднятые воротники будут вас бить холодом*, пока вы не женитесь» и мн. др.

Таким образом, следует различать типические особенности толстовского языка и его частные стилизационные видоизменения. Тем более необходимо проводить резкую грань между повествовательным стилем самого Толстого и русско-французским языком великосвет-

---

[1] В авторском переводе французских фраз галлицизмы лишь постепенно смягчались и выправлялись. Например: «Вена находит основания предполагаемого договора *до такой степени вне возможности»* (в изд. 1868 г.) («tellement hors d'atteinte») (X, 383); потом исправлено: «до того невозможными»; *«Надо, чтобы ты знал, что это женщина»* (в изд. 1868 г.) («il faut que vous sachiez que c'est une femme») (X, 300); исправлено: *«знай, что это женщина»*; «я объясняю Пьеру твою *интимность* с *этим молодым человеком»* («votre intimité avec ce jeune homme»), исправлено: *«твою близость к этому молодому человеку»* (X, 390); *«браки совершаются* на небесах» (во 2-м изд. 1868 г.) («les mariages se font dans les cieux»),— исправлено: *«заключаются* на небесах» (X, 403); «Если вы кого-нибудь любите, моя милая, *это еще не причина, чтобы запереть себя»* (в 1-м изд. 1868 г.) («Si vous aimez quelqu'un, ma délicieuse, ce n'est pas une raison pour se cloitrer»), исправлено: «Из того, что вы любите кого-нибудь, моя прелесть, никак не следует *жить монашенкой»* (X, 420); *«Желал бы скорее, чтоба* вы ездили в свет, чем пропадали со скуки» (2-е изд., 1868) (aurait désiré... plutôt) исправлено: *«предпочел бы»* (X, 420); «Я *ожидал не менее того, как найти вас*, государь, *у ворот Москвы* (в изд. 1868 и 1873) (je ne m'attendais pas à moin qu'à vous trouver aux portes de Moscou). В изд. 1886 г.: «Я ожидал найти вас, государь, по крайней мере, у ворот Москвы» (XI, 440). «Графиня, *милосердие всякому греху!»* (в изд. 1869 г.) («Comtesse, à tout péché miséricorde»),— поправлено в изд. 1886 г.: *«на всякий грех есть прощение»* (XI, 456) и т. п.

ского круга, реалистически воспроизведенным как в «Войне и мире», так и в «Анне Карениной». Однако путь Л. Толстого к живому народному языку, к тому национально-художественному стилю, который, по мысли Толстого, должен быть близок, доступен и понятен всякому русскому, даже необразованному человеку и которого Толстой достиг к концу XIX в.,— этот путь был очень сложен и труден. Широкий демократический охват живой русской речи был результатом постепенного освобождения Л. Толстого от старой, литературно-аристократической традиции. Это тяготение к преодолению стилистики высшего общества обострилось в творчестве Л. Толстого с 70-х годов. Между тем в языке Толстого 50—60-х годов встречается длинный ряд не только лексико-фразеологических галлицизмов, но и синтаксических пережитков литературного языка начала XIX в.

1. Таково, например, обособленное употребление деепричастий, независимо от общности субъекта действия с главной синтагмой, хотя бы в «Войне и мире»: «Нынче, *увидав* ее мельком, *она ему показалась* еще лучше» (X, 8); «*Отъехав* с версту, навстречу Ростовской охоте, из тумана *показалось еще пять всадников* с собаками» (X, 246); «...но *подъезжая* к Ярославлю..., *волнение княжны Марьи дошло* до крайних пределов» (XII, 52) и др. Любопытны поправки в тексте изд. 1873 г.: «Когда Пьер вошел в калитку, его обдало паром» вместо «*пройдя в калитку, Пьера обдало паром*» (в изд. 1869 и 1886 гг.) (XI, 476); «Когда он покончил дела, было уже поздно» — вместо «*покончив дела, было уже поздно*» (в изд. 1869 и 1886 гг.) (XII, 349).

Ср. в «Анне Карениной»: «..взглянув в эти глаза, каждому казалось, что он узнал ее всю»; в письме Анны Карениной: «...зная вашу дружбу к нему, вы поймете меня»[1] и др.

2. К той же сфере русско-французского синтаксиса литературной речи XVIII — первой половины XIX в. относится скрещение причастных (или прилагательно-обособленных) и союзно-относительных конструкций. Например, у Пушкина: «Всегдашние занятия Троекурова состояли... в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно притом *изобретаемых и жертвою коих* бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец» («Дубровский»).

«Пугачев стрелял по крепости, особенно по Спасскому монастырю, *занимающему* ее правый угол и *коего ветхие стены* едва держались» («История Пугачева») и др.

---

[1] Ср. в ранних произведениях Толстого — в рассказе «Рубка леса»; «*Перейдя* неглубокий, но чрезвычайно быстрый ручей, *нас остановили»;* в «Набеге»: «*Проезжая* мимо вытянувшейся в одно орудие артиллерии... меня, как оскорбительный диссонанс среди тихой и торжественной гармонии, *поразил немецкий «голос»;* в «Детстве, отрочестве, юности»: «Она пробыла там не долго, но, *выходя* оттуда, у нее *плечи подергивались* от всхлипываний» (VI, «Исповедь»); «*Пройдя* шагов тысячу, *мне стали попадаться* люди и женщины, шедшие с корзинками на рынок» (VII, «Поездка в монастырь»); «*Проснувшись* на другой день, *первою мыслью моею* было приключение с Колпиковым» (XVII; «Я собираюсь делать визиты»); «На чистом воздухе... *подергавшись и помычав* так громко, что даже Кузьма несколько раз спрашивал: «Что угодно?» — *чувство это рассеялось»* (XVIII, «Валахины»); в повести «Семейное счастие»: «*Входя* на бал, *все глаза обращались* на меня» и мн. др.

В «Войне и мире» можно без особенного труда отыскать такие конструкции: «Подольский полк, *стоявший* перед лесом *и большая часть которого* находилась в лесу за дровами» (IX, 486); «Люди этой партии, бльшею частью *не военные и к которой* принадлежал Аракчеев, думали и говорили, что говорят обыкновенные люди, не имеющие убеждений, но желающие казаться за таковых» (XI, 41). «Пьер ушел из своего дома только для того, чтобы избавиться от сложной путаницы требований жизни, *охватившей* его *и которую* он, в тогдашнем состоянии, не в силах был распутать» (XI, 356). Ср.: «Герои, т. е. люди, одаренные *особенною* силою души и ума и *называемою* гениальностью» (XII, 307).

3. Характерна также в языке «Войны и мира» синтаксическая взаимообусловленность, гибридизация относительных и изъяснительных предложений. Например: «Ростов... имел счастливый вид ученика, вызванного перед большою публикой к экзамену, *в котором он уверен, что отличится*» (IX, 174); «Пойдет ли он по старой, прежней дороге, или по той новой, *на которой он твердо верил, что найдет* возрождение к иной жизни» (X, 84). Ср.: «*К которым вы предполагаете, что я принадлежу?*» — спокойно... проговорил князь Андрей» (IX, 295).

— «Я заброшу вас за Двину, за Днепр и восстановлю против вас ту преграду, *которую Европа была преступна и слепа, что позволила разрушить*» (слова Наполеона) (XI, 28) и т. п.

4. Влияние французского синтаксиса сказывается и в своеобразном, более самостоятельном, лишенном равночленного синтаксического отношения употреблении причастий. С точки зрения норм русского литературного синтаксиса такие явления пришлось бы рассматривать как анаколуфы. Например, в «Войне и мире»: «Необычайно странно было Балашову после близости к высшей власти и могуществу, после разговора три часа тому назад с государем *и вообще привыкшему* по своей службе к почестям, видеть тут, на русской земле, это враждебное, а главное непочтительное отношение к себе грубой силы» (XI, 16).

5. Широкое пользование такими обособленными синтагмами, в которых ослаблены нити синтаксической зависимости от господствующих групп слов, вообще свойственно синтаксису Толстого. И в этом также нельзя не видеть связи его с французским языком. Например: «Наташе, видимо, понравились эти, *вне обычных условий жизни*, отношения с новыми людьми» (XI, 303); «Борьба великодушия между матерью и дочерью, окончившаяся тем, что мать, жертвуя собой, предложила свою дочь в жены своему любовнику, еще и теперь, *хотя уже давно прошедшее воспоминание, волновала капитана*» (XI, 372). Ср.: «Но *за уничтожением этого русского порядка жизни* Пьер бессознательно чувствовал, что над этим разоренным гнездом установился свой, совсем другой, но твердый французский порядок» (XII, 37)[1].

[1] Ср. явный синтаксический галлицизм в очерке «Севастополь в мае»: «*Весьма хорошенькая девушка*, лет двадцати, с бледным и нежным белокурым личиком, как-то особенно мило-беспомощно смотревшим из-под белого чепчика, *руки в карманах передничка*, шла потупившись».

6. Кроме того, в приемах организации синтаксических групп у Толстого бросается в глаза своеобразие употребления предлогов, обусловленное французским влиянием.

Например: «Барклай... делается еще осторожнее *для* решительных действий» (XI, 102); «Графиня не пропускала ни одного случая *для* оскорбительного или жестокого намека Соне» (XII, 30); (Петя) «во время своего пребывания в Москве исключительно держался общества Наташи, с *которою* всегда *имел* особенную, почти влюбленную, братскую *нежность*» (XI, 299); «Анна Михайловна... говорила о достоинствах своего сына и о блестящей карьере, *на которой* он находился» (X, 188). «В обоих случаях русские были *в превосходных силах*» (XII, 166) и мн. др.

7. Влиянием французского языка, по-видимому, объясняется и пристрастие Толстого к конструкциям с предлогами с (avec) и *в* (dans, en), нередко образующим обособленные, полусамостоятельные синтагмы. В сущности, почти каждое обозначение лица, предмета или действия в языке Толстого сопровождается пояснительными описаниями («дополнениями») при посредстве предлогов *с* и *в*. Например: «Не слыша слова одушевления от высших начальников, с *распространившимся по войскам сознанием*, что было опоздано, и, главное, в густом тумане не видя ничего впереди и кругом себя, русские лениво и медленно перестреливались с неприятелем» (IX, 330); «Ростов... чувствовал себя веселым, смелым, решительным, с *той упругостью движений*, уверенностью в своем счастие и *в том расположении духа*, в котором все кажется легко, весело и возможно» (IX, 342).

«Он лежал высоко на спине с *своими, костлявыми*, покрытыми лиловыми узловатыми жилками *руками*, на одеяле, с *уставленным прямо левым глазом* и с *скосившимся правым глазом*, с *неподвижными бровями и губами*» (XI, 138).

«Под самыми образами на первом месте сидел с Георгием на шее, с *бледным, болезненным лицом* и с *своим высоким лбом*, сливающимся с голой головой, Барклай-де-Толли» (XI, 274) и др. под.[1]

«Каждый полк *в своей безмолвности и неподвижности* казался безжизненным телом» (IX, 297); «Пьер *в сосредоточенности и рассеянности* своего настроения не узнал Ростова» (X, 22) и т. д.

Любопытны примеры колебания между конструкциями с предлогом с и без него. Например: «И он *шамкающим ртом* и *масляными глазами*, глядя куда-то вдаль, рассказывал всю свою историю...» (XI, 374). Ср. в изданиях 1868 и 1886 гг.: «Она взглянула... тем уверенным, привычным взглядом, с *которым* смотрят на знакомое место портрета» (XI, 409).

Ср. также включение в синтагму с предлогом с другой синтагмы того же строения: «маленькая сбитая фигурка с *его жилистою* (с *короткими пальцами*, покрытыми волосами) кистью руки» (IX, 174);

---

[1] Ср. в «Анне Карениной»: «Что, не ждал? — сказал Степан Аркадьевич, вылезая из саней, с *комком грязи на переносице*, на щеке и брови, *но сияющий* весельем и здоровьем».

«M-lle Georges с *оголенными*, с *ямочками*, толстыми *руками*» (X, 338).

Все эти иллюстрации наглядно характеризуют тесную связь раннего языка Л. Толстого (в донароднический период) с русско-французскими стилями литературной речи первой половины XIX в.*[2]

Таким образом, некоторые литературные стили русского языка, особенно в сфере художественно-повествовательной речи, и во второй половине XIX в. тяготеют к сближению с западноевропейскими языками, преимущественно с теми, в которых были развиты «аналитические приемы выражения», т. е. с французским и английским.

В английском языке привлекал грамматический строй его, представлявший разительную противоположность запутанным, многосложным конструкциям русской книжной речи. Выдвигались как объект для подражания и заимствования «дробность и отрывистость грамматических форм, даже отсутствие их, так как в английском языке сто́ит только одно существительное имя поставить перед другим существительным именем, чтобы оно играло пред своим собратом роль имени прилагательного, не облекаясь для этого в особую форму, а между предложениями, которые во всех других языках связываются относительными местоимениями, последние нередко опускаются как излишняя помеха для быстроты говора»[1]. Однако эта морфологическая «эллиптичность» не мешает английскому языку свободно выражать «все разнообразие, все тонкости богато развитой мысли».

Во французском и английском языке высшие слои русского общества искали противоядия против запутанных, искусственно-книжных конструкций, терминологических сложностей и фразеологических профессионализмов нового публицистического стиля, еще опиравшегося во многих отношениях на систему канцелярско-деловой речи.

§ 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИМИ СТИЛЯМИ И СТИЛЯМИ ОФИЦИАЛЬНОЙ И КАНЦЕЛЯРСКОЙ РЕЧИ

Газетно-публицистические, научные, а отчасти и художественные стили литературной речи XIX в. находились во взаимодействии с официальным, канцелярским языком. Во всяком случае, с разными оттенками экспрессии вовлекались в них выражения официального языка. И обратно: официально-канцелярский язык до известной степени (иногда — негативно) отражал стилистические новшества и тенденции языка прессы. По-видимому, наиболее ярко эта связь публицистических жанров литературного языка с канцелярской, официальной речью (обычно в своеобразной пародийной и сатирической интерпретации ее) отразилась в творчестве Салтыкова-Щедрина.

Влияние газетного языка не только содействует распространению книжной фразеологии, штампов публицистической речи, канцеляризмов (ср. у Гл. Успенского в очерке «Бойцы» из серии «Растеряевские типы и сцены»: «Возвышая голос *до еликовозможной степени...*

[1] *Хохряков П.* Язык и психология, с. 25.

произнес господин в пиджаке». (Полн. собр. соч. Киев, 1903, т. 1, с. 132), но и укрепляет в «общем» языке некоторые «вольности» словоупотребления. Так развивается употребление предлога *благодаря* не только по отношению к положительным, но и к отрицательным понятиям[1].

Нередко в свою очередь и сам официальный язык питался фразеологией газетной речи. Так, в 70-х годах «модное выражение *идти в разрез с кем-нибудь, чем-нибудь*, в смысле: быть противоположного мнения, расходиться во мнениях с кем-нибудь, пошло в ход и пришлось по мысли даже официальному миру»[2]. Ср. в «Анне Карениной» Л. Толстого: «Это влечение... идет в разрез со всем складом моей жизни» (слова Кознышева).

Очень интересны иронические выпады современников против «некоторых особенностей официальной литературы, охраняющей и лелеющей еще много архаизмов, вроде *дабы, кои, поколику, купно, токмо, облыжно, неукоснительно, неупустительно* и др.»[3].

Из официального же языка шли в литературную речь такие архаические и церковнославянские слова и выражения (по свидетельству брошюры 1890 г.[4]): «*Буде* (т. е. *если*) — старое приказное русское слово, которому давно уж не место в новейшем русском языке» (11). «*Вовне* — слово церковнославянское, употребляемое в духовных сочинениях; в светских же не должно быть употребляемо, вместо соответствующего ему *во внешности*» (12). «*В бозе* — на церковнославянском языке; по-русски значит: *в боге*, и, вместо *в бозе почивший*, правильнее говорить и писать: «*блаженной или покойной памяти почивший* или *умерший*» (12). «*Вящще, вящщий* — слово церковнославянское, значит: *более, больший*; в светском языке не должно быть употребляемо» (12). «*Нарочитый, нарочито* и *нарочный, нарочно*. Первое слово значит: знатный, важный, именитый, а *нарочито* — значительно; эти старые слова не следует теперь употреблять; *нарочный* же — посланный с особенным поручением или назначением» (16—17). «*Поелику* — слово церковнославянское и стародавнее приказное; в русской речи неуместно» (18). «*Соборне* — церковнославянское слово; по-русски следует говорить и писать: *соборно*» (20). «*Со вне* — слово, употребительное в духовных сочинениях, не должно быть употребляемо в русском литературном языке, на котором ему соответствует слово *извне*» (20). «*Таковый* — слово устарелое; следует говорить и писать *такой*» (20). «*Заведующий* — ныне по всеобщем употреблении, но неправильно, потому что это слово происходит от

---

[1] См.: *Николич И. М.* Неправильности в выражениях, допускаемые в современной печати.— ФЗ, 1877, вып. 1, с. 2.

[2] *Николич И. М.* Грамматические заметки. — ФЗ. 1873, вып. 1, с. 10; ср. стилистическую оценку этого выражения со стороны Николича: «дикое представление и оборот речи очень дикий».

[3] *Н. Г.* Неправильиости в современном разговорном, письменном и книжном языке, 1890. с. 12.

[4] См.: *Н. Г.* Неправильности в современном разговорном, письменном и книжном языке, с. 12. В скобках далее указаны страницы этого издания.

слова *заведывать*, а не от *заведовать*» (14)[1]. «*Обоего пола* — неправильное выражение во всеобщем употреблении; есть *мужский* и *женский пол*»; но *обоего пола* нет и быть не может, а потому следует говорить и писать: *обоих полов*» (18). «*Отношение* требует союза *к*, *к чему*, а не *с чем*, как часто неправильно говорится и пишется» (17—18). «*Прилагать при* — неправильно; следует писать: *прилагать к чему* (18). «*Согласно чему* — неправильно употребляется ныне; следует — *согласно с чем* (особенно в канцелярском языке)» и др. под.

В некоторых стилях газетного языка наблюдается также распространение выражений, возникших в петербургской бюрократической среде и отзывающихся германизмами.

Например, блюститель чистоты русского языка в 70-х годах замечал: *во внутрь России*; ср.: in's Innere des Reiches; отсюда по аналогии *из внутри*[2].

Из канцелярской же речи проникают в литературный язык, особенно в газетный стиль, новые типы словообразований. В качестве примера приводился «перл из недр специализованной литературы» — глагол *заслушать*: *заслушать какой-нибудь отчет, доклад был заслушан*. «Идя далее от этого глагола, имеющего отношение к одному из пяти чувств,— возмущался пурист 80-х годов,— можно варьировать и глаголы, относящиеся к другим чувствам». Иронически рисуется перспектива такого словотворчества: *чертежи, планы были засмотрены.., что-нибудь занюхано, защупано, завкушено* (*зализано*)[3]. Ср. современные лексемы: *зачитать, заснять;* ср. широкое употребление приставки *за* в специальных диалектах.

Кроме того, отмечалась (особенно чувствительная для стилей деловой речи) общая неупорядоченность отношений глагола к другим грамматическим категориям, особенно к имени существительному, «отсутствие соответствия между глаголами, выразителями известного действия и состояния предметов, и существительными именами, воплощающими глагольную суть» (19). Например, глаголы *вставать* и *сидеть* имеют свои имена существительные — *вставание* и *сидение*, но *встать* и *сесть* не имеют. *Присест* — приурочивается только к единичным лицам, а в случаях... коллегиального образца не терпимо... в отношении целого общества *присест* — сохрани бог» (19—20). Точно так же «*нагреть* не соответствует слову *нагревание*. Но вот техника изобрела слово *нагрев* — и отлично» (сюда же относится *обжиг* вместо *обжигание* от глагола *обжечь*). «Вообще в разных областях тех-

---

[1] Я. К. Грот (в 70-х годах) признавал обе эти формы — *заведывающий* и *заведующий* — одинаково правильными (см.: *Грот Я. К.* Филологические разыскания, с. 818).

[2] Ср.: *Николич И. М.* Неправильности в выражениях, допускаемые в современной печати.— ФЗ, с. 5; «*Преподавая два или более языков; три и более преподавателей стараются*. Тут едва ли не заметно влияние склада немецкой речи. По-русски можно сказать не иначе, как только: *преподавая два языка или более (того): три преподавателя (трое преподавателей) и более (того) стараются*».

[3] *А. Б.* Отчего? зачем? и почему? Оскудение и искажение русской речи. СПб., 1889.

нических знаний создалось немало очень удачных по своей правдивости названий».

В специальных языках и официально-деловых, канцелярских, газетных, публицистических стилях особенно болезненно ощущалась, по свидетельству современников, «несостоятельность» русской книжной речи «в области соотношений между именем и глаголом». Например, глагол *заболеть* не имел себе параллели в имени существительном *заболевание*. «Немало есть глаголов и вида однократного, которые не имеют существительных; таковы: *вздрогнуть, пошатнуть, потухнуть, дернуть, моргнуть* и т. п.» (21). Пародически рассказывалось о молодом канцеляристе, который, надписывая обложки дел, не знал, как озаглавить дело о таком-то утопленнике. «Прямо об *утопленнике таком-то* озаглавить нельзя было, потому что этим нарушалась форма,— на делах надписывалось обыкновенно: о *розыске*, о *поимке*, о *препровождении, об отчуждении* и т. д. Вот бедняк и ломает голову, как надписать. *Об утоплении... об утопе... об утоне... об утопии...* Нет, все не ладно. Начальник-корнеслов выручил из затруднения, удачно подсказав: *об утонутии»* (21—22)[1].

Так, в официально-деловых и газетно-публицистических стилях необходимость компактно-аналитического и синтаксически единообразного изложения приводит к размножению неуклюжих, искусственно-книжных слов и формул для выражения отвлеченных понятий. Вместе с тем характерно для конца XIX в. намечающееся в некоторых кругах интеллигенции сознание необходимости более широкого и свободного включения производственно-технической терминологии и фразеологии в систему литературного языка.

На почве взаимодействия официально-деловой и журнально-публицистической речи, в связи с растущей тенденцией к отвлеченно-литературным формам выражения, увеличивается количество отглагольных существительных (преимущественно на *-ание, -ение, -ивание, -евание)* и учащается их употребление. Ср. в языке Гл. Успенского: «*приподнятие* и *мановение* указательным пальцем; «процесс *отворяния* крови»; «в том мире, где не имеют другого дела, кроме *подставления* собственной спины под удары», «что-то очень похожее... на *исчезновение*, на смерть» и др. под.; ср. также пародические обозначения канцелярских дел: «о *сдернутии* меня с кресла за ногу»; «о *зашвырнутии* моей калоши из швейцарской Благородного собрания в Дехтярный клуб» («Записки маленького человека»). Развиваются описательные фразеологические обороты, связанные с употреблением отглагольных имен. Характерно, что отглагольные существительные на *-ание, -ение* находят широкое применение даже в стихах у писателей гражданского направления — например у Некрасова. Это —

---

[1] Ср. полемику по вопросу о количественном росте этой категории отглагольных существительных в современном литературном языке: *Пешковский А. М.* Глагольность как выразительное средство.— В кн.: *Пешковский А. М.* Методика родного языка, лингвистика, стилистика, поэтика. М. — Л., 1925; *Винокур Г. О.* Глагол или имя? Опыт стилистической интерпретации.— Русская речь. Новая серия Л., 1928, вып. 3 и др.

главным образом — официальные, книжные или специальные слова, нередко с архаическим или церковнославянским колоритом. Ср. в языке Некрасова: *водворение, назначение, кучение, орошение, утоление, кружение, поругание, борение, брянцание, стенание, стяжание* и др. под.

Количественный рост отглагольных имен существительных был вызван, между прочим, неотложной нуждой в отвлеченных литературных формулах, в фразеологических единствах для официального, специального или абстрактного обозначения разных видов «деятельности». В официально-деловой, научной, публицистической и газетной речи часто было очень существенно стереть или затушевать оттенок индивидуализирующей, нередко фамильярной, конкретно-бытовой изобразительности и выразительности действия, присущий простой форме того или иного глагола. Для этой цели служили формы описательного актива или пассива[1]. Они составлялись из более или менее абстрактного глагола, выражающего собой оттенок деятельности или действия вообще, т. е. из глагола с почти замершим (в данной связи) конкретным значением, и из зависимого отглагольного имени существительного, которое и раскрывало суть, содержание действия. Например: *нанести удар* (вместо *ударить*), *нанести рану* (вместо *ранить*), *нанести обиду, оскорбление* и т. д. (ср. употребление даже такого выражения, как *нанести визит*); *совершить ошибку, нападение* и т. п.; *произвести кражу, продажу, злоупотребление* и т. д.; *вступить в соглашение, в переговоры, в действие* и т. д.; *вести борьбу, войну, переговоры, беседу, разговор* и др. Эти обороты отчасти шли от церковнославянской традиции (ср., например, *одержать победу, нанести вину* в значении *обвинить, иметь желание* и т. п.), отчасти явились кальками западноевропейских фразеологических сочетаний (например: *принять участие, принять меры, делать впечатление, дать аудиенцию, иметь успех, иметь соприкосновение* и т. д.). Эти обороты усиленно развивались с половины XVIII в. Таким образом, во второй половине XIX в. уже существовавшая и бывшая продуктивной фразеологическая форма расширяет свои функции, приобретает бо́льшую силу притяжения. Так, распространяется применение какого-нибудь «вспомогательного» глагола на всю категорию однородных явлений. Например, глагол *оказать* в «Словаре церковнославянского и русского языка» 1847 г. определяется так: изъявить, показать (Т. III, с. 56); в словаре Даля прибавляются к этому определению два слова: обнаружить, высказать. Примеры: *оказать почтение, милость* (словарь 1847 г.); *оказать негодование, оказать услугу (Даль)*. Ф. И. Буслаев в своей «Исторической грамматике» (Ч. II, 391) свидетельствует: «В позднейшем книжном языке употребляются: *оказать вежливость, снисхождение*». Этот семантический ряд теперь деформируется, так как слово *оказать* в большей части фраз почти совсем теряет конкретное значение показа, активного об-

---

[1] См.: *Державин В. Н.* Описательный актив и пассив. (Из наблюдений над современным русским литературным языком).— Русский язык в советской школе, 1931, № 1.

наружения. Ср. вереницу фраз: *оказать помощь, содействие, услугу, протекцию; оказать давление, действие, воздействие* и т. д.

Распространению этого оборота содействовал также параллелизм активных и пассивных оборотов (ср.: *подвергнуть испытанию, наказанию, преследованию, лишениям, пытке* и т. д. — и *подвергнуться испытанию, наказанию* и т. д.; *давать, дать применение* — *находить, найти применение* и т. д.; например, *его способности, наконец, нашли применение* и др. Ср. также смысловое соотношение параллелей: *влиять, повлиять* — *испытать влияние, подвергнуться влиянию; содействовать* — *пользоваться содействием* и т. п.).

С другой стороны, описательные фразеологические обороты не только возмещали для некоторых понятий отсутствие прямых форм обозначения (например: *ввести в заблуждение, дать отпор, впасть в ярость* и т. д.), но и открывали широкие возможности для семантической дифференциации значений, для специализации параллельных выражений. Например: *предложить* и *сделать предложение* (брачное); *ходить* и *иметь хождение* (о деньгах); *раздражить* и *вызвать раздражение; покуситься* и *совершить покушение; оценить* и *дать оценку* и т. д. Таким образом выковывались отвлеченные формулы, приобретавшие в той или иной специальной сфере значение термина. Происходило замещение синтетических форм выражения аналитическими — по типу западноевропейских языков.

§ 8. УСИЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСКУССТВЕННО-КНИЖНЫХ ПРИЕМОВ ИЗЛОЖЕНИЯ В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

В газетной, журнально-публицистической, официально-деловой и научной речи развивается своеобразная манера искусственно-книжного, перифрастического, синтаксически запутанного изложения. Слова и фразы отрываются от своих предметных основ. Между словом и выражаемым понятием, предметом возникает промежуточная сфера условно-описательных приемов изображения. Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» дал этому стилистическому явлению такую ироническую характеристику: «Кто-то уверял нас, что если теперь иному критику захочется пить, то он не скажет: *принеси воды*, а скажет, наверно, что-то в таком роде: *принеси то существенное начало овлажнения, которое послужит к размягчению более твердых элементов, отложившихся в моем желудке*. Эта шутка отчасти похожа на правду»[1]. Такого рода «литературность» выражения была типическим явлением не только в книжно-публицистической речи, но составляла органическое свойство и официально-бытовой риторики. А. Ф. Кони рисует защитника, который таким образом определял драку: «Драка есть такое состояние, субъект которого, выходя из границ объектив-

[1] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. СПб., 1895, т. 9, ч. 1, с. 59.

ности, совершает вторжение в область охраняемых государством объективных прав личности, стремясь нарушить целость ее физических покровов повторным нарушением таковых прав. Если одного из этих элементов нет налицо, то мы не имеем юридического основания видеть во взаимной коллизии *субстанцию драки*»[1]. Не менее характеристичны и приведенные П. Сергеичем (П. С. Пороховщиковым) «примечательные строки» из законодательных материалов той эпохи: «Между преступными по службе деяниями и служебными провинностями усматривается существенное различие, обусловливаемое тем, что дисциплинарная ответственность служащих есть последствие самостоятельного, независимо от преступности или непреступности данного деяния, нарушения особых, вытекающих из служебно-подчиненных отношений обязанностей, к которым принадлежит также соблюдение достоинства власти во внеслужебной деятельности служащих»[2]. П. Сергеич комментирует стиль этого отрывка: «В этом отрывке встречается только одно нерусское слово; тем не менее, это настоящая китайская грамота. В русском переводе это можно изложить так: «Служебные провинности, в отличие от служебных преступлений, заключаются в нарушении обязанностей служебной подчиненности или несоблюдении достоинства власти вне службы; за эти провинности устанавливается дисциплинарная ответственность». В подлиннике 47 слов, в переложении 26, т. е. почти вдвое меньше».

Любопытен и другой пример официально-деловой конструкции, указанный П. Сергеичем в «Уголовном уложении»: «Виновный в опозорении разглашением, хотя бы в отсутствии опозоренного, обстоятельства, его позорящего, за сие оскорбление наказывается заключением в тюрьме»[3]. Ср. совет Чехова писательнице Л. Авиловой: «Фразу надо делать, в этом искусство, надо очищать фразу от «по мере того», «при помощи», надо заботиться об ее музыкальности и не допускать в одной фразе почти рядом «стал» и «перестал». Голубушка, ведь такие словечки, как «безупречная», «на изломе», «в лабиринте» — ведь это одно оскорбление. Я еще допускаю рядом «казался», и «касался», но «безупречная» — это шероховато, неловко и годится только для разговорного языка».

В этом искусственно-книжном языке, переполненном фразеологическими штампами, часто расплывались смысловые очертания слов, утрачивалась точность и предметная определенность выражения. Термины отрывались от понятий и вещей. Возникали плеоназмы. Например, в научном языке самого начала XX в.: «превыше всяких *человекоуподобительных персонификаций*», «преступных деяний, *окрашенных* религиозным *моментом*»[4] и т. п.

Эта риторическая штампованность речи вытравляла из «высоких» слов их предметное содержание. Очень интересен совет А. П. Чехова

---

[1] *Кони А. Ф.* На жизненном пути. М., 1913, т. 1., с. 111.
[2] *Сергеич П.* Искусство речи на суде, с. 8.
[3] Там же, с. 9.
[4] *Сергеевский Н. Д.* К учению о религиозных преступлениях. — ЖМЮ, 1906, № 4; см.: *Сергеич П.* Искусство речи на суде, с. 10.

писательнице Авиловой (1892): «Выкиньте слова *идеал* и *порыв.* Ну их!». Ср. замечание Чехова: «*Слова пошлость* и *пошло* уже устарели»[1].

Нарочитая книжность выражений проникает из литературного языка в жаргоны и в язык полуинтеллигенции. Иллюстрацией может служить описанный Достоевским в «Подростке» эпизод самоубийства девушки, оставившей записку в таком стиле: «Маменька милая, простите меня за то, что я *прекратила мой жизненный дебют*». Язык этой записки комментируется персонажами романа, и, между прочим, Версилов поясняет: «Выражение, конечно, неподходящее, совсем не того тона, и действительно могло зародиться в гимназическом или... каком-нибудь условно-товарищеском... языке, али из фельетонов каких-нибудь, но покойница употребила его в этой ужасной записке совершенно простодушно и серьезно».

Та же «ложная книжность» двигалась и в язык мещанства, принимая иногда здесь крайне искусственные формы. Н. Телешов в рассказе «Черною ночью», действие которого относится к 90-м годам, изображает жителя глухого городишка, молодого почтового чиновника, местного культуртрегера, склонного к социализму, Прокофьева, который «не умел произносить слов, как их обыкновенно произносят, а выговаривал их так, как они пишутся: не *езык*, а *язык*, не *субота*, а *суббота*, не *харашо*, а *хорошо*»[2]. Ср. приводимые А. Ф. Кони в статье «Обвиняемые и свидетели» мещанские, напоминающие язык лесковских героев выражения: «о нанесении раны в запальчивости и раздражении нервных членов»; «о страдании падучей болезнью в совокупности крепких напитков»; «о доведении человека до краеугольных решений и уже несомненных последствий»; «о невозможности для меры опьянения никакого реомюра» и др.[3]

§ 9. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УПОТРЕБЛЕНИИ И ПРЕОБРАЗОВАНИИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМОВ

Структура газетных, журнально-публицистических, а иногда даже художественно-повествовательных стилей, эволюционируя в сторону искусственной книжности, тяжеловесной и изысканной наукообразности изложения, в то же время вбирала в себя все более разнообразные элементы живого народного языка, сложные оттенки бытовой экспрессии, непринужденную развязность фамильярно-обиходной речи и облекала новыми смысловыми красками книжные слова. В газетно-публицистическом языке разночинной интеллигенции развивались характерные приемы экспрессивного преобразования церковнокнижных выражений, приемы «снижения» их; применялись своеобразные

---

[1] См. замечания о борьбе А. П. Чехова с шаблонами литературного языка в кн.: *Дерман А. Б.* Творческий портрет Чехова. М., 1929, с. 252—260.

[2] *Телешов Н. Д.* Рассказы. 2-е изд. М., 1919, кн. 2. Цитирую по ст.: *Орлов А. С.* О социологии языка русских литературных произведений.— Родной язык в школе, 1927, кн. 2.

[3] *Кони А. Ф.* На жизненном пути, т. 1, с. 351.

методы иронического разоблачения высокого официального стиля; укоренялись новые принципы морфологического и семантического «скрещения» книжных и просторечных форм.

Прежде всего, любопытно положение церковнославянизмов в структуре литературной речи вообще и газетно-публицистических стилей второй половины XIX в. в частности. Выделяются две основные тенденции. За пределами культового языка и опиравшихся на него форм церковной или официально-правительственной риторики церковнославянизмы представляли неупорядоченную массу лексических и фразеологических осколков, находивших разнообразное стилистическое применение в книжной, а отчасти и в разговорной речи. Таковы, например, фразы и идиомы: *алчущие и жаждующие; альфа и омега; бить себя в грудь; бросить камень в кого-нибудь; невзирая на лица; Валаамова ослица заговорила; вкусить от древа познания; вложить в уста; во главу угла; глас вопиющего в пустыне; горнило искушения; грехи юности; на сон грядущий; жертва вечерняя; житейское море; лелеять, хранить, беречь, как зеницу ока; злачное место; злоба дня; знамение времени; избиение младенцев; иже с ним; избрать благую часть; ни на йоту; испустить дух; исчадие ада; каинова печать; камень преткновения; камни возопиют; не оставить камня на камне; кимвал бряцающий и медь звенящая; книга за семью печатями; конь бледный; краеугольный камень; кромешная тьма (ад кромешный); внести свою лепту; лицо земли* (по всему лицу земному); *манна небесная; во мгновение ока; мерзость запустения; метать бисер перед свиньями; вливать вино новое в мехи ветхие (старые); не от мира сего; нищие духом; Ноев ковчег; земля обетованная; не обинуясь; отделять овец от козлищ; отложить попечение; отрясти прах от ног своих; первые будут последними, и последние первыми; петь Лазаря;* отделять *плевелы* от *пшеницы; запретный плод; плоть и кровь; положить душу* (за кого-нибудь); *в поте лица своего; почить от дел (трудов) своих; поцелуй Иуды; власти предержащие; притча во языцех; пройти сквозь огонь, воду и медные трубы; пучина морская; святая святых; скрежет зубовный; до скончания века; соль земли; сосуд скудельный; суета сует; темна вода во облацех; умыть руки; Фома неверный; ни холоден, ни тепл (ни горяч); хромать на оба колена; чающие движения воды; чечевичная похлебка* и мн. др. Несомненно, что многие из этих выражений явились в результате разночинно-демократического расширения объема «литературности», например *злачное место; избиение младенцев; иже с ним; власти предержащие; притча во языцех; темна вода во облацех* и др.

Другая тенденция употребления церковнославянизмов была наиболее характерна для литературного языка либеральных и особенно революционных слоев интеллигенции. Она состояла в широком применении (часто ироническом и сатирическом) церковнославянизмов, носивших яркую книжно-архаическую или церковно-культовую окраску и в смешении их с просторечными «вульгаризмами». Вот примеры из писем М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Статья Анненкова («О значении художественных произведений для общества», защищавшая «чистую художественность в искусстве»)... заключает в себе теорию со-

шествия св. духа»[1]; «Писемский как ни обтачивает своих болванчиков, а *духа жива* вдохнуть в них не может»[2]; «*обнимем друг друга и возопием*[3]» и др. У Н. Г. Помяловского в «Очерках бурсы»: «Много в том месте, *злачнем и прохладнем*, паразитов»; в повести «Молотов»: «Из нижних этажей на улицу купечество выставило свое *тучное чрево*»; у Глеба Успенского: «*елико* хватило сил»; «автор счел нужным *елико возможно* обесцветить... оригинальность лица»; «и *несть числа* и меры всему благородству»; «люди могли жить и *наполнять житницы*», и др. под. Ср. в романе П. Д. Боборыкина «Перевал» речь интеллигента-разночинца: «*напоил оцтом гнилого учения душу человека*»; «*дерзать и посягать*»; «перестать гоняться за *огненными языками... болотных хлябей*» и т. д.[4]

Процесс «вульгаризации» церковнославянизмов поддерживался специфическими приемами морфологического и семантического скрещения и искусственного сращивания книжных и просторечных элементов. Это явление можно иллюстрировать такими примерами. Из Некрасова:

Удар искросыпительный,
Удар зубодробительный,
Удар скуловорот.

(*Кому на Руси жить хорошо*)

Ср. у Григоровича в очерках «Корабль Ретвизан»: «Не видал тех оскорбляющих всякое чувство экзекуций, которые некоторые делили даже на разряды и называли: *искросыпательными, зубодробительными и скуловоротными*».

Эти приемы «вульгарно-книжного» сращивания морфем проявляются в таких реставрациях и новообразованиях, как *злопыхательство, злопыхательный*[5]; *благоглупость; очковтиратель*, очковтирательство; *пенкоснимание, пенкосниматель*; *зверинствовать* (Гл. Успенский) и др. Ср., например, распространение суффиксов: *-енция* — в фамильярном, ласкательно-уничтожительном значении (*распеканция, старушенция, поведенция* и др. под.); *-тура, -отура* (*верхотура, пехтурой*); *-истика* (*ерундистика, глупистика*; ср., впрочем, ранее возникшее слово *шагистика*; ср. у Д. В. Григоровича: *ружистика*; ср. в журналах 20—30-х годов: *хамелеонистика*); *-логия* (*болтология*) и мн. др. под.

---

[1] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Письма. Л., 1924, с. 4.
[2] Там же, с. 13.
[3] Там же, с. 12.
[4] Ср. также в романе П. Д. Боборыкина «Василий Теркин» речь землемера и лесовода Хрущова: «Я в первый раз во всю мою жизнь не *скорбел*, глядя на вековой бор, на всех этих *маститых старцев, возносящих свои вершины*.— Любите фигурно выражаться, Антон Пантелеич,— перебил Теркин.— По сладости речи ужели не изволите распознавать во мне косвенного представителя?..— *Духовного звания вы?*»
[5] Ср. отсутствие этого слова в «Словаре церковнославянского и русского языка» Академии наук 1847 г. и в «Толковом словаре» В. И. Даля. Ср. в «Словаре русского языка, составленном Академией наук» (СПб., 1907, т. 2, с. 2692—2693) примеры из соч. Салтыкова-Щедрина). Но ср. церковнославянское образование: *злодыхательный* (*Дьяченко Г.* Полный церковнославянский словарь. М., 1900, с. 203).

§ 10. ПРОЦЕСС СТИЛИСТИЧЕСКИ НЕУПОРЯДОЧЕННОГО СМЕШЕНИЯ КНИЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ПРОСТОРЕЧНЫМИ

Литературный язык второй половины XIX в., опираясь на стили газетно-публицистической, официально-деловой и научно-популярной речи как на свою структурную основу, с большой быстротой развивается экстенсивно — иногда даже в ущерб глубине и отчетливости смысловых соотношений внутри лексико-фразеологической системы. Стилистические контексты предшествующей эпохи разрушаются. Стремительное расширение объема понятия «литературности» и раздвижение границ литературного языка мешают кодификации стилей. Характерно, что во второй половине XIX в. не было создано твердой системы форм и норм риторического построения и воздействия взамен отвергнутой еще в 40-х годах риторики церковнокнижного и старого литературно-аристократического языка [1]. Интересно заявление Г. Елисеева — (в «Современнике» 1864, № 3, «Внутреннее обозрение»): «В звании литераторов и писателей явились люди не только без ученых степеней, без дипломов, без аттестатов, не писавшие прежде ни одной строки, но даже таких профессий, которые не имели ничего общего ни с литературой, ни с наукой: откупщики, конторщики, бухгалтеры, столоначальники, офицеры, помещики, студенты, семинаристы, мещане, крестьяне — просто ужас! Столпотворение вавилонское! Все это... говорило не о материях важных, как было доселе, а бог знает о чем,— о чем прежде и говорить вовсе считалось неприемлемым; говорило, не обращая никакого внимания ни на благопристойность языка, ни на красоту...» Во многих стилях литературного языка второй половины XIX в. гипертрофия искусственной книжности умещается рядом с демократическим уплотнением и расширением литературной речи.

Очень интересный и показательный, хотя и несколько курьезный, материал для иллюстрации этого «смешанного», книжно-просторечного состояния литературной речи можно извлечь из брошюры П. Тиханова «Криптоглоссарий» (представление глагола *выпить*). Здесь собрана лексика и фразеология, вращавшаяся в пределах литературного языка и связанная с представлением о выпивке, о пьянстве. В противоположность дворянской традиции, в которой фразеология пьянства носила отпечаток или простонародности (например: *нализаться, как зюзя, куликнуть, хлебнуть лишнее, хватить* и т. д.), или военного и картежного арго (например: *зарядиться, быть на втором взводе, с мухой, под мухой, нарезаться* и т. д.), или же каламбурной нарочитости (*под шефе, фрамбуаз, насандалиться, заложить за галстук* и др.), в буржуазной речи «представление глагола *выпить*» осуществляется, с одной стороны, красками городского вульгарного просторечия, нередко с жаргонным оттенком (*ковырнуть, нажраться, надрызгаться, дернуть, дерябнуть, долбануть, дербануть, дербалызнуть, на-*

---

[1] См. об этом в моей книге «О художественной прозе». Л., 1930, в главе «Из истории риторики».

лакаться, раздавить мерзавчика, раздавить баночку, хлебнуть малую толику, садануть, тюкнуть, хлобыснуть, царапнуть и др. под.), с другой стороны, приемами нарочито книжных, нередко официальных и церковнославянских перифраз (*вонзить в себя, двинуть от всех скорбей, писать мыслете, нарезаться в достодолжном порядке, разрешить вино и елей, совершить возлияния Бахусу, устроить опрокидон* или *опрокидонт* и т. д.). Ср. в «Нови» Тургенева: «И «Русский Вестник», пожалуй, тоже с некоторых пор,— говоря современным языком,— *крошечку подгулял*. Калломейцев засмеялся во весь рот; ему показалось, что это очень забавно сказать: «подгулял», да еще «крошечку». Ср. в «Вешних водах» Тургенева характеристику речи купчихи Марии Николаевны: «Мой благоверный, должно быть, теперь *глаза продрал*». «*Благоверный! Глаза продрал!*», — повторил про себя Санин...— и говорит так отлично по-французски...» И еще: Марья Николаевна все время говорила «по-русски удивительно чистым, прямо московским языком — народного, не дворянского пошиба. «...Ну хорошо... (это «хорошо» Марья Николаевна уже с намерением выговорила совсем по-мещанскому — вот так: *хершоо*)».

Эта стилистическая незамкнутость контекстов и категорий литературного языка второй половины XIX — начала XX в. отражается и на структуре толковых словарей этой эпохи. Так, в «Малом толковом словаре русского языка» Л. Е. Стояна (1913) к литературной лексике отнесены, например, такие слова, как *балаболка* — висюлька, брелок; *тарахкалка; белявый* — светлорусый, блондин и т. п. С другой стороны, в «Русском объяснительном словаре» А. Старческого[1], который должен был, по замыслу автора, заключать в себе «одни непонятные слова», чтобы «придти на помощь в этом отношении русскому школьному учителю и учительнице и дать им возможность справиться о значении не совсем понятных им слов, а равно и слов русского ученого и литературного языка, на котором издаются все наши журналы и газеты и пишутся наши современные ученые и литературные произведения»,— собраны архаизмы и устарелые церковнославянизмы (например, *вспять*) и перемешаны с употребительными книжными выражениями, вроде *всецелый* (236), *всеобъемлющий* (235), *вспрянуть, воспрянуть* (240), *встречный иск* (240), *вспало на ум, на мысль* (238) и т. п.

§ 11. ОБЩЕСТВЕННО-ГРУППОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ РУССКОГО ОБЩЕСТВА. ГОРОДСКОЕ ПРОСТОРЕЧИЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ ГОВОРЫ

Разнообразные приемы и принципы совмещения и смешения книжных и просторечно-бытовых форм речи и различия в социально-групповой природе соединяемых элементов устанавливали резкую грань между разными стилями литературной речи. Литературный язык, сохраняя национальное единство, в то же время расслаивался

[1] СПб., 1891, вып. 1 до середины буквы «в». В скобках далее указаны страницы этого издания.

на множество разнородных стилей. Это стилистическое разноречие литературного языка находилось в связи с социальными контрастами бытовой речи. Так, разговорный и письменный язык высших слоев дворянства по-прежнему ориентировался на семантику западноевропейских языков, преимущественно французского и английского, иногда в своеобразном смешении с «простонародной», «крестьянской» речью. В языке «Анны Карениной» Л. Н. Толстого рельефно выступают эти особенности разговорного стиля европеизированных «верхов» общества. Например: «У нее (у лошади) в высшей степени было качество, заставлявшее забывать все недостатки; это качество была кровь, та *кровь*, которая *сказывается*, по английскому выражению».

«Для Сергея Ивановича меньшой брат был славный малый, с сердцем, *поставленным хорошо* (как он выражался по-французски)».

«Когда он (художник) поступил в академию и *сделал себе репутацию*...» Ср. в речи действующих лиц романа: «Ах, полно, Долли, все *делать трудности*...»; «Вронский — это один из самых лучших образцов *золоченой молодежи* петербургской» и т. п.[1]

Характерна все увеличивающаяся примесь специальной терминологии к лексическому и фразеологическому составу общеинтеллигентского словаря. «Левину было противно самому, что он употреблял такие слова (*стимул*), но с тех пор как увлекся своей работой (теорией хозяйства), он невольно стал чаще и чаще употреблять нерусские слова».

Разговорная речь интеллигенции не чужда была резких социальных различий. Они зависели не только от профессиональной дифференциации общества, от характера книжных влияний на бытовой язык, но и от отношения разных социальных групп к городскому просторечию и к крестьянскому языку.

В системе разговорно-бытовых стилей общества, несомненно, одно из центральных мест занимали демократические формы городского просторечия. Можно привести несколько литературных примеров, иллюстрирующих состав этого просторечия. Очень типичен разговор Анны Карениной с уездным доктором 60—70-х годов, представленный Л. Толстым в романе в таком виде:

«Вы были там? — Я был там, но *улетучился* — с мрачной шутливостью отвечал доктор...» — «Ну, а здоровье старухи? Надеюсь, что не тиф? — Тиф не тиф, а *не в авангаже обретается*...»

Лексическая сложность разночинно-интеллигентского языка очень отчетливо выступает в речах и репликах Базарова («Отцы и дети» Тургенева). Тут, рядом с элементами интеллигентского словаря, с нарочитой ориентацией на естественнонаучную терминологию («разовьют в себе *нервную систему до раздражения*»; «человеческий *экземпляр*»; «Я придерживаюсь отрицательного направления *в силу ощущения*»; «Этакое *богатое тело*, хоть сейчас в *анатомический те-*

---

[1] Ср. статьи акад. А. С. Орлова «Русский язык в литературном отношении». — Родной язык в школе, 1926, № 9 и «О социологии языка русских литературных произведений».— Родной язык в школе, 1927, № 2.

атр» и т. д.), располагаются формы устно-бытового просторечия с вульгарным оттенком («*обломаю* дел много»; «русский мужик бога *слопает»; «для ради* важности»; «пора *бросить эту ерунду»* и др. под.), враждебные романтической, «высокой» риторике (ср.: «Романтик, сказал бы: *я чувствую, что наши дороги начинают расходиться,* а я просто говорю, что *друг другу мы приелись»).*

Приемы и тенденции просторечного словотворчества иронически демонстрируются Н. С. Лесковым в таком разговоре между нигилистами в романе «На ножах»: «Он нагрубил мне и *надерзил.*— Что это за слово *надерзил?* — А как же надо сказать? — *Наговорил дерзостей.*— Зачем же два слова, вместо одного? Впрочем, ведь вы поняли, так, стало быть, слово хорошо...» И, наконец, последняя иллюстрация из брошюры 1890 г., направленной против «неправильностей» литературного языка, в том числе против нового слова *халатность:* «*Халатность* (отношений, поступков, действий и т. д.) — неприличное слово, вошедшее теперь в большое употребление в неизящную литературу. Так как слово *халат* означает одежду исключительно домашнюю, а в приличном обществе — неприличную, так и слово *халатность* должно, кажется, означать нестесняемость, нерадивость, неряшливость и т. п. поступков, действий, отношений, в литературном же языке его следует признать неизящным и неприличным» (21). Но ср. у Гоголя в «Мертвых душах»: «Прямо, так как был, надел сафьянные сапоги с резными выкладками всяких цветов, какими бойко торгует город Торжок, благодаря *халатным* побуждениям русской натуры» (III, 245).

«Жили в одном отдаленном уголке России два обитателя. Один был отец семейства, по имени Кифа Мокиевич, человек осторожный, проводивший жизнь *халатным образом»* (III, 245). Ср. в письме В. П. Боткина к Фету (от 28 августа 1862 г.): «Да и нравится нам во французском образовании то, что составляет дурные его стороны, именно распущенность его, *халатность,*— это больше всего усваивает себе русский человек» (*Фет А.* Мои воспоминания. М. 1890, ч. I, с. 402).

Экспрессивные и стилистические своеобразия городского демократического просторечия ярко выступают хотя бы в таком языковом материале из писем актера Ф. А. Бурдина к А. Н. Островскому[1]: «Эта комедия совершенно *замазала рот* распускателям нелепых слухов» (3); «Леонид *осушает опрокидонты* и опорачивает хозяйку» (5); «Теперь, когда *отлупили* комитет, он, может быть, ее (пьесу) и пропустит» (13); «*сочинили загул* жестокий» (19); «горе — доля Потехина — *задала* весьма звонкого *шлепка»* (21); «чем-то *шибко подсолили»* (23); «Горбунов *сшит по рукам и ногам,* а это — полное *олицетворение личности»* (40); «Я его *протащу* сейчас же по всем официальным мытарствам» (42); «публично *оплюй* их» (46); *«стукни их в морду»* (47); «У нас очень боятся Семенова и потому слово сдья-

---

[1] См.: *Островский А. Н. и Бурдин Ф. А.* Неизданные письма. М.— Пг., 1923. В скобках далее указаны страницы этого издания.

волить относится к нему; а наши только подчиняются его дьявольству» (59); и мн. др. под.

Просторечие в бытовом и литературном языке демократической интеллигенции сплеталось с элементами канцелярского, церковнославянского языка, с искусственной книжностью (ср. хотя бы смешение всех этих элементов в языке Гл. Успенского, Левитова, Ф. Решетникова и др.).

Конечно, городское просторечие частично, по крайней мере вне круга специфических профессиональных диалектов и жаргонов города, смыкалось с крестьянским языком. Правда, областной крестьянский язык включается в разговорно-бытовые стили городской речи чаще всего лишь в той мере, в какой он сближается с социальными диалектами города или удовлетворяет буржуазно-эстетическим вкусам.

Но крестьянский язык оказывал громадное влияние на литературную речь и без посредства и без фильтра городского просторечия. Прежде всего, необходимо вспомнить стили народной поэзии, сыгравшие такую большую роль, например, в творчестве Некрасова. Кроме того, некоторые слои образованного общества были непосредственно и глубоко связаны с крестьянским языком.

Связь поместной речи с крестьянским языком во второй половине XIX в. не раз находила в некоторых слоях дворянства даже социально-философское обоснование. Например, В. Безобразов в конце 50-х годов в статье «О сословных интересах» писал: «Помещичий класс, как и вообще аристократия, есть высшая степень развития крестьянства. Помещик — потенцированный крестьянин»[1]. Л. Н. Толстой, стремясь к созданию простого, общепонятного стиля литературного изложения в борьбе с книжной культурой публицистического слова, свободно переносил крестьянские слова и выражения даже в «авторский» свой язык. Например: «Мы все в жизни как *неуки-лошади, обратанные и введенные в хомут и оглобли»*. Ср. у Тургенева в «Нови» разговор между Татьяной и Марианной: «Вы, стало, из тех, что́ опро́ститься хотят.— Их теперь довольно бывает.

— Как вы сказали, Татьяна? Опро́ститься?

— Да... такое у нас теперь слово пошло. С простым народом, значит, заодно быть. Опро́ститься.— Что ж? Это дело хорошее — народ поучить уму-разуму».

Конечно, не у всех писателей, связанных по происхождению или по профессии с усадебной жизнью или с провинциальным городом и деревней, функции крестьянской речи были однородны. Необыкновенно интересны и важны для истории русского литературного языка наблюдения над употреблением народной речи у И. С. Тургенева. В. И. Чернышев в своей статье «Русский язык в произведениях И. С. Тургенева»[2] так характеризует тургеневский метод использования живых народных говоров: «В составе авторской речи мы в изо-

---

[1] *Эйхенбаум Б. М.* Л. Толстой, кн. 2, с. 60.

[2] См.: *Чернышев В. И.* Русский язык в произведениях И. С. Тургенева.— Изв. АН СССР. Отд. ОН. 1936, № 3.

билии найдем те элементы живого разговорного языка, в которых автор отступает от традиционной, строгой, холодной книжной речи. Рядом с просторечием мы постоянно встречаем у Тургенева и разнообразные провинциализмы.. Употребляя провинциализмы, автор никогда не упускает из виду необходимого требования — смысловой ясности речи. Слова непонятные он объясняет в подстрочных примечаниях или в тексте; слова, которые понятны, но необычны в литературном языке, он сопровождает оговорками... Значение необъясненных провинциализмов, хотя бы и совсем необыкновенных, можно понять из полного контекста. Например: «Работник-то я плохой... где мне? Здоровья нет и руки *глупы*» («Касьян с Красивой Мечи»). Только на основе русского живого народного языка можно правильно понять некоторые словоупотребления И. С. Тургенева. Например, в романе «Дворянское гнездо»: «...но Дмитрий Пестов умер; вдова его, барыня добрая, жалея память покойника, не хотела поступить с своей соперницей *нечестно*... однако выдала ее за скотника и сослала с глаз долой» (Современник, 1859, 1, с. 110). Здесь *нечестно* не от литературного *честь* в смысле *честность*, но от народного *честь* в значении п о ч т е н и е, п р и л и ч и е. *Поступить нечестно* — поступить неучтиво, оскорбительно, обидеть...»

«Исходя из принципа художественности и общепонятности, И. С. Тургенев извлекает из родного диалекта лишь то, что хорошо вкладывается в литературную речь, что ей сродно и близко... Из богатого местного лексикона автор берет лишь то, что отличает не отсталую часть населения, а, как ходячая монета, вошло в общий местный оборот, держится не только в слоях некультурного крестьянства, но и в среде дворовых, мещан, частью и деревенских помещиков...» Тургенев «не будет уснащать свою речь провинциализмами или словами областного просторечия, как это делал В. И. Даль в своих рассказах. Молодому писателю он посоветует «поуменьшить число местных слов» (письмо Н. А. Основскому от 30 декабря 1858 г., замечание о статье И. В. Павлова). Да у Тургенева и нет наиболее темного «серого» слоя крестьянства, носителя старых диалектизмов...» «Тургенев изображал преимущественно язык наиболее культурной, передовой прослойки крестьян. А там, где жизнь стирает диалектизмы, нет оснований вводить их в литературу».

Должно быть признано односторонним и поспешным заключение проф. Б. М. Соколова, что «Тургенев весьма верно и правдиво воспроизводит лишь речь барской дворни», бывалых людей, с оттенком «образованности» и «галантерейности»; а что речь тургеневских мужиков местами носит откровенно карикатурный характер, местами — явно «немужичья» (ср. Касьян); местами она стилизована и литературна [1].

Любопытно, что даже консервативным слоям дворянства было свойственно своеобразное эстетское отношение к словообразам крестьянского языка. Так, Тургенев в «Нови» внес такой тонкий штрих в

---

[1] См.: *Соколов Б. М.* Мужики в изображении Тургенева. — В кн.: Творчество Тургенева/Под ред. И. Н. Розанова и Ю. М. Соколова. М., 1920.

образ Калломейцева: «Калломейцев уверял между прочим, что пришел в совершенный восторг от названия, которое мужики — oui, oui! les simples mougiks! — дают адвокатам. «Брехунцы! брехунцы! — повторял он с восхищением: — ce peuple russe est délicieux!»

Понятно, что совсем иначе относились к крестьянскому языку писатели-народники из разночинно-демократического лагеря. Они видели в крестьянской речи основной источник обновления литературного языка, неиссякаемый родник национальной оригинальности и самобытности. Г. И. Успенский писал: «Оригинальность и самобытность народной речи, во многом совершенно еще непонятная для так называемой чистой публики (а ведь публика эта разная: бывает добрая и недобрая), делает эту речь и это народное слово совершенно свободным, не знающим никаких стеснений, особливо если дело идет «промежду себя». Это преимущество народного разговора, важное само по себе, приобретает особенную важность и интерес ввиду того огромного материала, взятого непосредственно из жизни, который имеет в своем бесконтрольном распоряжении эта свободная народная мысль, выражающаяся в свободном слове»[1].

Впрочем, вопрос о приемах воспроизведения «мужицкой» речи в художественной литературе не надо смешивать с вопросом об отношении литературного языка к языку крестьянства.

Отношение художественной литературы 50—60-х годов к крестьянскому языку метко охарактеризовано Н. Г. Чернышевским. В литературных произведениях «мужики заговорили так, что не употребляли ни одной фразы, которая имела бы смысл на обыкновенном русском языке (которым, между прочим, говорят и крестьяне, не имеющие средств объясняться на иных языках), не произносили ни одного слова, не исковеркав его; да и то была еще милость, когда только коверкали обыкновенные слова, а не вовсе отказывались от них, заменяя их неслыханными в народе речениями, заимствованными из «Словаря областных наречий;»[2]. Самый метод включения крестьянского языка в литературно-художественную речь у писателей-«типичников» ярко обрисован Ф. М. Достоевским: «Современный писатель-художник, дающий типы и отмежевывающий себе какую-нибудь в литературе специальность (ну, выставлять купцов, мужиков и пр.), обыкновенно ходит всю жизнь с карандашом и с тетрадочкой, подслушивает и записывает характерные словечки; кончает тем, что наберет несколько сот нумеров характерных словечек. Начинает потом роман, и чуть заговорит у него купец или духовное лицо, — он и начинает подбирать ему речь из тетрадки по записанному... Дословно с натуры списано, но оказывается, что хуже лжи, именно потому,

---

[1] *Успенский Г. И.* Полн. собр. соч. Пг., 1918, т. 3, с. 491. Ср. характеристику крестьянской речи у А. Н. Энгельгардта в «Письмах из деревни». СПб., 1882, с. 227—228.

[2] См.: *Чернышевский Н. Г.* Заметки о современной литературе 1856—1862 годов. СПб., 1884, с. 95—96.

что купец или солдат в романе говорят эссенциями, т. е. как никогда ни один купец и ни один солдат не говорит в натуре»[1].

Таким образом, в сфере взаимодействия между литературным языком и языком крестьянства художественная словесность второй половины XIX в. имела очень важное, но не основное, не организующее влияние. Гораздо значительнее в истории сближения литературного языка с живой народной речью была роль разговорно-речевого быта русского общества, особенно демократических слоев его.

§ 12. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НОРМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА. «ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ» В. И. ДАЛЯ

Лексическая система литературного языка во второй половине XIX в. продолжает притягивать к себе элементы городского просторечия и народной, нередко даже областной речи. Усиливается процесс демократизации литературного языка. Слова и выражения, которые в 30—40-е годы просачивались в литературную речь через повествовательный сказ и через диалог, под прикрытием «масок» литературных героев разного социального положения, теперь растворяются в общей системе форм литературного выражения.

В 1848 г. был напечатан «Опыт русского простонародного словотолковника» М. Макарова[2]. Здесь к категории «простонародных» слов еще относились такие слова, которые во второй половине XIX в. уже входили в норму литературного выражения, иногда с фамильярно-непринужденной экспрессией. Например: *малыш* (268); *мамон*[3] (в значении б р ю х о, ж е л у д о к; ср. *мамон набивать*); *мастак*[4] (269); *маклак* (с в о д ч и к, п л у т; 268); *мирволить*[5]; *мироед* (первоначально: г о л о в а, с т а р о с т а, б у р г о м и с т р; 273); *мылить, намылить* (голову — в переносном смысле; 280); *мямля, мямлить*[6] (281); *на абум, т. е. наобум* (282); *наскок* (в переносном значении; 289); *натрепаться* (289); *нахрапом*[7]; *наянливый*[8]; *невдомек* (291); *не по себе* (о нездоровье; 291); *неуклюжий* (295); *нюня* (*распустить нюни*) и мн. др.

Но наиболее яркое выражение эта демократизация литературной

---

[1] *Достоевский Ф. М.* Дневник писателя за 1873 г. — В кн.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. СПб., 1895, т. 11, с. 90.

[2] См.: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1848, ч. 3, № 9. Далее в скобках указаны страницы этого издания.

[3] В «Словаре Академии российской» слово *мамон* в значении желудок отнесено к «низким» словам.

[4] В «Словаре Академии российской» слово *мастак* также названо простонародным.

[5] В «Словаре Академии российской» слово *мирволить* тоже считается простонародным.

[6] В «Словаре Академии российской» слово *мямлить* приведено лишь в значении *жевать непроворно* и отнесено к словам «низким».

[7] В «Словаре Академии российской» слово *нахрапом* отнесено к сфере «низкого выражения».

[8] В «Словаре Академии российской» слово *наянливый* признано простонародным.

речи нашла в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля[1], оказавшем, несмотря на присущие ему некоторые «областнические», диалектологические тенденции, большое влияние на формы литературного словоупотребления второй половины XIX — начала XX в. В соответствии с литературной практикой Даля словарь его ставил себе задачу «выработать из народного языка язык образованный» («Напутное слово». т. 1, с. 1), доказать, что «живой народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, который придает языку стойкость, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной, разумной русской речи, взамен нынешнего языка нашего, каженика». Вместе с тем словарь Даля широко охватывает профессиональные диалекты, терминологию и фразеологию «наук естественных и всех ремесловых работ», отражая «по языку и по понятиям быт разных сословий и состояний, наук и знаний» (там же, IV). Словарь Даля широко иллюстрирует употребление слов фразеологическими их сочетаниями, включая в себя более 30 тысяч пословиц, поговорок, народных прибауток, загадок. Кроме того, в словаре Даля воспроизводится вся материальная обстановка, связанная с жизнью слова. В словаре Даля находится огромный этнографический материал: описание народных поверий, обычаев, отдельных сторон хозяйственной и культурной жизни русского крестьянина и ремесленника. Словарь Даля представлял собой своеобразную энциклопедию народной жизни половины XIX в. При всем этом словарь Даля преследовал полемические и нормативные цели. Объектом нападения был литературный язык, или, по объяснению Даля, «письменный жаргон» «высшего» общества, оторвавшийся от национальных «корней», от «духа народного языка» и «искаженный» чужими, западноевропейскими словами и оборотами. Нормы новой, «идеальной», национально-чистой системы литературного выражения отыскивались в живом народном языке. Впрочем, Даль смотрел на свое собрание «слов, речей и оборотов» как на материал «для изучения самого духа языка и усвоения его себе, для выработки из него постепенно своего образованного языка» (V). Вместе с тем словарь Даля не ограничивался инвентаризацией «сокровищ родного слова»: он стремился «развить наперед законы словопроизводства, разумно обняв дух языка» (VIII). Иными словами, словарь Даля претендовал на роль кодекса законов национального словотворчества. Поэтому в нем «при толкованиях, а иногда и в числе производных слов» было много таких, «кои доселе не писались, а может быть даже и не говорились» (X). Кроме «вновь сочиненных слов», которых, по уверению Даля, не надо было искать «в красной строке или в числе объясняемых слов» (XII), в словаре множеству живых употребительных лексем приданы составителем новые значения — например, слову *живуля* — значение а в т о м а т (XII), слову *наголосок* — значение р е з о н а н с («О русском словаре», XVII). Таким образом, словарь Даля, стремясь направить литературный язык «в природную его колею, из которой он у нас сско-

[1] М., 1863. Далее в скобках указаны страницы этого издания[1*].

чил, как паровоз с рельсов», указывал обществу пути синтеза книжных форм речи с простонародными. Выдвигалось шесть таких основных принципов.

1. Принцип замещения варваризмов «высокородного» языка русскими национальными соответствиями разной стилистической окраски. Например, вместо слова *кокетничать* «выбирайте любое слово, смотря по оттенкам, из десятка: *заискивать, угодничать, любезничать, прельщать, умильничать, жеманничать, миловзорить, миловидничать, рисоваться, красоваться, хорошиться, казотиться, пичужить;* сверх всего этого говорят: *нравить кого, желать нравиться*» («О русском словаре», XVII). Даль, в сущности, возражает против такого принципа передачи западноевропейских выражений, согласно которому русские их заместители должны содержать в себе тот же пучок значений и те же стилистические нюансы, что и иностранные оригиналы («Напутное слово», XI). По Далю, проблема перевода сводится к тому, чтобы подыскать национально-русские, преимущественно простонародные выражения, «клички», не смущаясь их экспрессивной и стилистической разнородностью с «чужим речением», и, «приняв, обусловить выражение, и оно будет именно то» («Напутное слово», XI).

Вот иллюстрации этого метода из словаря Даля: *акушер — родовспомогатель, родовспомогательный врач, родопомощник; повивальщик, бабич, приемник* (I, 8); *консерватор — боронитель, сохранитель, охранитель, охранник* (II, 762); *реальный — дельный, деловой, прикладной, опытный, насущный, житейский* (IV, 78); *эгоист — себялюб, самотник, себятник, кто добр к одному себе, а до других ему нужды нет* (IV, 606); *дезертир — беглец, бегляк или беглый, ушлый,* старинное *тягун* (I, 378); *серьезный — важный, чинный, степенный, величавый; строгий, настойчивый, решительный; деловой, дельный, озабоченный, внимательный, занятой; думный,* или *думчивый, мыслúвый; резкий, сухой, суровый, пасмурный, сумрачный, мрачный, угрюмый; заправский, нешуточный; нешутя, поделу, истинно, взаправду, взабыль* и пр.» (2-е изд. Т. IV, стр. 182) и др. под.

Из этих примеров достаточно ясно, что Даль намеренно стирает стилистические грани не только между употребительными литературными словами и лично ему принадлежащими новообразованиями, но и между книжными формами и просторечными, даже областными. Происходит своеобразная демократическая нейтрализация лексических оттенков. На этой почве под влиянием Даля выросла своеобразная традиция интерпретации синонимов[1]: вместо определения оттенков в значениях синонимов составлялся каталог искусственно сближенных слов (ср. словари синонимов Абрамова и др.). Но ведь пред Далем стояла общественная задача демократического нивелирования стилистических контекстов. «Укажите мне, например, — говорит он, — где бы вместо *серьезный*, нельзя было сказать: чинный, степенный, деловой, дельный, внимательный, озабоченный, занятой,

---

[1] Ср., напротив, тонкость и тщательность оттенков дифференциации у синонимов в синонимических словарях начала XIX в.

думный, думчивый, важный, величавый, строгий, настойчивый, решительный, резкий, сухой, суровый, пасмурный, сумрачный, угрюмый, насупистый, нешуточный; нешутя, поделу, взабыль и проч. и проч.» (т. 1, с. XVIII).

«Превосходные, незаменяемые выражения» простонародного языка должны заместить чужие иностранные слова и очистить литературный язык от «порчи»: «*Заимка, хутор*, лучше, нежели употребительное у нас *ферма; марево* лучше *миража;* а *путевик* лучше *маршрута; поличие, подобень*, по крайне мере, нисколько не хуже *портрета;* даже *окрутник* и *окрутница* можно употребить вместо *маски*, тем более, что маскою мы называем и самую личину и переряженного»[1].

2. Принцип национально-демократического оправдания слов и морфологических элементов литературно-книжного языка. «Надобно подобрать и обусловить русские слова, надобно привыкнуть к русскому складу»[2]. Поэтому Даль ограничивает церковнокнижные категории словообразования, иронизируя над упорным желанием «ломать все отвлеченные существительные в окончание на *-ость* и *-вость*, окончание, которое в народном языке довольно редко, употребляется только кстати и чаще заменяется короткими и более выразительными словами»[3]. Ср. предлагаемые Далем замены: вместо *мертвенность — мертвизна;* вместо *предохранительный — охранный;* вместо *собственность — собь;* вместо *кругозор — овидь, озор* и др. Таким образом, и тут — смесь книжного и «простонародного». Ведь и сам «простонародный» язык принимался Далем не во всей полноте его «природных» элементов и экспрессивных форм, но с отбором и «чисткой», хотя иногда в увлечении Даль заявлял: «Народные слова прямо могут переноситься в письменный язык, никогда не оскорбляя его грубою противу самого себя ошибкою... они оскорбят разве только изрусевшее ухо чопорного слушателя» (т. 1, с. XVI)[4].

3. Принцип морфологической и семантической ассимиляции и контаминации форм литературного языка с простонародной стихией. «Если вы найдете в народе немного выражений для отвлеченных понятий, то не забудьте, что большая часть прямых и насущных выражений может быть применена к употреблению в переносном смысле и что изучение это даст вам во всяком случае понятие о том, куда и к чему нам стремиться, чего искать, каким образом составлять и переиначивать слова, чтобы они выходили русскими... Оно сроднит нас духом языка, даст вникнуть в причудливые, прихотливые свойства его и даст средства образовать мало-помалу язык, сообразный с современными потребностями»[5].

---

[1] *Даль В. И.* Полн. собр. соч. СПб. — М., 1898, т. 10, с. 569; ср.: *Даль В. И.* Толковый словарь, т. 1, с. XI, XVII—XVIII.

[2] *Даль В. И.* Полн. собр. соч., т. 10, с. 545.

[3] Там же, с. 548.

[4] Но ср.: «Словарь великорусский должен содержать полное собрание слов очищенного обиходного русского языка, с устранением всего прочего» (т. 1, с. 1).

[5] *Даль В. И.* Полн. собр. соч., т. 10, с. 547.

Изгоняя из литературной речи громоздкие составные слова, Даль декретирует их замену новообразованиями с суффиксами: -ах, -ях, -ух, -юх, -ых, *-их, -ан, -ин, -ун, -атка, -итка, -ец, -ица* и др.[1] или с «придаточными предлогами». «По этому самому и надобно образовать слова из одного только главного понятия о предмете посредством этих окончаний и, если угодно, предлогов; тут столько средств, столько богатства, столько разных оттенков...» «От *молока*, например, народ составил: *молочник, молочница, молочная* (комната), *молокан, молочай, молоки*, и можно бы без всякой натяжки образовать: молочняк, *молочатка, молочан, молочец* и пр.»[2] Исходя из системы словообразования, присущей простонародному языку, Даль производит все возможные формы от той или иной основы, все допустимые сочетания ее с приставками и суффиксами.

4. Принцип демократической унификации литературного языка, принцип разрушения традиционных стилистических категорий. Простонародная стихия должна стереть границы и преграды между прежними стилями и жанрами литературного языка. По изображению Даля, безупречная «литературность» — понятие негативное. «У нас есть несколько писателей, которые ведут речь свою искусно, сглаживают и скрадывают удачно все недостатки литературного языка»[3]. Правда, и «в народном языке недостает многих для нас необходимых слов, потому что там нет и многих понятий»[4]. Отсюда возникает необходимость «понять жизненную, живую силу нашего языка», а потом создавать новые слова. Одним из средств такого речетворчества является умножение «отростков» или «одногнездков» в составе словарного гнезда. Другим средством обогащения языковой семантики служит свободный перевод европейских слов равносильными, «прилаженными и примененными» русскими словами. «Язык наш для потребностей образованного круга еще не сложился: неоткуда взять тех *салонных* — ныне уже не говорят — гостинных — выражений, которые от нас требуют...» Если недостает отвлеченных и научных выражений, то это «не вина народного языка, а вина делателей его...». Необходимо «образовать такие выражения, по мере надобности, из насущных. Потрудитесь, поневольтесь, прибирайте, переносите значение слов из прямого понятия в отвлеченное, и вы на бедность запасов не пожалуетесь» (т. 1, с. XVII). «Толковый словарь» Даля ярко отражает эти тенденции демократического словотворчества. Это — словарь, устанавливающий нормы национального выражения в понимании «преобразователя»-книжника, глубоко изучившего живую народную речь в ее всевозможных вариациях. Последние два принципа достаточно только назвать.

---

[1] См.: *Даль В. И.* Полн. собр. соч., т. 10, с. 583.
[2] Там же, с. 583—584.
[3] Там же, с. 572.
[4] Там же, с. 548.

16*

5. Принцип «чистки» и отбора простонародных элементов[1].

6. Принцип фонетического, морфологического и семантического «олитературивания» простонародной лексики.

«Если писать все слова на слух, то теряется всякое разумное, сознательное изучение» (т. 1, с. XLIX). Следовательно, необходимо, этимологизируя областные формы, приспособить их к нормам литературной орфографии и орфоэпии (например, вместо *тымалка* — *отымалка*), «самим правописанием указать на корень, на происхождение его, на связь с общим русским языком» (т. 1, с. L). Те же соображения заставляют подвергать простонародные выражения литературной обработке в грамматическом и семантическом отношениях.

Для характеристики общего процесса демократизации литературной речи, протекавшего далеко не во всех стилях по рецептам Даля и во всяком случае не направившегося более или менее резко в сторону областных элементов, небесполезно привести два-три примера из «нормального» языка разных авторов. Например, из «Дневника писателя» Достоевского: «...этот приговор дан *зазнамо*»[2]; «Вся каторга, как один человек *осаживала* выскочку»[3], из Г. И. Успенского: «Не может он не видеть, что кроме почерка у него нет никакой *заручки*»; из романа Боборыкина «Китай-город»: «Ломовой... *колошматит* свою собственную *животину*»; «диссертацию *заколодило*»; из письма В. Г. Короленко (18 августа 1887 г.): «Получил на свой пай хорошую цензурную *затрещину* и прикусил язык»[4] и мн. др. под.

§ 13. ПРОЦЕСС НАПОЛНЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМАМИ И АРГОТИЗМАМИ

Городское просторечие, ширясь и умножая свои литературные функции, влечет за собой в стили литературного языка множество слов, идиом и фраз из разных профессиональных диалектов и жаргонов. Социально-диалектные расслоения языка города теперь острей и быстрей отражаются на жанрах литературного языка. Вследствие этого взаимодействие жанров книжного языка и разновидностей разговорно-бытовой речи становится более резким, напряженным. Диалектизация и профессионализация литературного языка не приводят к его распаду, потому что постепенно отстаивается большой фонд книжных клише, фраз, идиом, композиционных схем, которые делаются специфическими приметами литературности. Процесс наполнения литературной речи идиомами, фразами и словами из профессиональных диалектов и жаргонов, резко обозначившийся в 30—50-е годы, протекает во второй половине XIX в. в иных направлениях и выражается в иных семантических формах. Фабрично-заводские, индустриально-

---

[1] Об этом принципе см. выше, гл. VIII, § 8.
[2] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. художественных произведений. Т. 11, с. 21.
[3] Там же, с. 17.
[4] Архив В. А. Гольцева. М., 1914, т. 1, с. 143.

технические диалекты принимают участие в этом процессе. Но преобладают жаргонно-профессиональные формы, лежавшие ближе к бытовому обиходу и общему кругу интересов дворянства и буржуазии, интеллигенции и полуинтеллигенции. Характерен быстрый темп литературной ассимиляции профессионально-жаргонных выражений и семантической транспозиции их в другую сферу значений. Например, получает в разговорно-литературном языке широкое применение идиома *втереть очки* (первоначально в шулерском арго обозначавшая процесс втирания лишних очков, посредством особого порошка *липка*, в так называемые «порошковые» карты), которая приобретает переносное значение: в своекорыстных интересах обманывать, представлять действительность не в таком виде, как она есть[1].

Точно так же переосмысляется на общелитературный лад, получая метафорическое истолкование на основе образов возвышения, верха и вершины как предела благополучия, фразовое сочетание *идти в гору* (первоначально к этому выражению примешивались ассоциации из карточной игры в *горку*, процветавшей в мещанских кругах: *гора, горка*-кон, банк, который остается на руках у того, кто дольше всех *идет в гору*)[2].

Литературный язык как бы притягивает к себе жаргонные и профессиональные фразы и идиомы из близких ему социально-диалектальных сфер. При этом между консервативными дворянско-буржуазными и революционными разночинно-демократическими стилями было большое различие в путях, методах и направлениях профессиональных заимствований. Так, из коннозаводческого арго входит в литературный язык 60-х годов выражение *закусить удила* в связи с развитием конного дела в помещичьем хозяйстве[3]. И. С. Тургенев писал И. Борисову о Толстом (1868): «Боюсь, что он вдался в философию и, как это иногда с ним водится, *закусил удила и понес бить и лягать зря*».

Из охотничьего языка заимствуется выражение *мертвая хватка*

---

[1] См. мою статью «Стиль «Пиковой дамы» во «Временнике Пушкинской комиссии Академии наук». М. — Л., 1936, вып. 2.

[2] Ср., с одной стороны, каламбурное употребление игорной фразеологии П. А. Вяземским в стих. «Выдержка» (1827):

> Поищем по себе игорку,
> Да игроков под нашу масть:
> Кто не по силам лезет в горку,
> Тот может и в просак попасть...
>
> (Полн. собр. соч. СПб., 1878, т. 3, с. 446),

с другой стороны — изменившуюся семантику выражения *идти в гору* в языке второй половины XIX в.

[3] См.: *Эйхенбаум Б. М.* Л. Толстой, кн. 2, с. 168. Впрочем, ср.: *Тимошенко И. Е.* Литературные первоисточники и прототипы трехсот русских пословиц и поговорок. Киев, 1897, с. 51. Ср. в романе П. Д. Боборыкина «Перевал» описание разговора студентов из богатых купеческих семей о скачках и коннозаводстве: «В ухо... то и дело взрывались слова и возгласы: *заезд, перебежка, удружил, как оконченный, бал оставлен, проминка*» (*Боборыкин П. Д.* Собр. романов, повестей и рассказов. СПб., 1897, т. 3, с. 68).

(первоначально «судорожное сжимание собакой — борзой, бульдогом — своих челюстей при хватке зверя, причем бывают случаи, что собака не может сразу разжать свои челюсти»)[1].

Очень характерна сценка, рисуемая Боборыкиным в романе «Перевал» и помогающая уяснить происхождение идиомы *и никаких* (теперь в просторечии иногда прибавляется еще: *гвоздей*). Разговаривают гвардейский офицер барон Гольц и девушки из дворянских семей: «О чем-то заспорили, и вдруг Мод или сестра ее Мэдж пустила стремительно: «И — никаких». Далее объясняется значение этого «возгласа кавалерийской команды»: «Девицы и кавалеры употребляют его тогда, когда надо сказать: «нечего тут разговаривать, это так, или это превосходно». Пошло это с учений, когда взводу или эскадрону офицер кричит: «*Смирно, и никаких движений!*» Но любопытно, что в низовом просторечии эта идиома преобразуется в *и никаких гвоздей*, теряя связь с первоначальным контекстом.

Рядом с фразеологией такого социального содержания в литературную речь плывут стремительным потоком жаргонно-профессиональные фразы и идиомы более демократического происхождения. Например, из воровского арго: *валять дурака; задать лататы; тянуть волынку; жулик* и др. под.; из актерского арго: *этот номер не пройдет* и др. под.; из певческого диалекта: *подголосок*[2]; *спеться* (ср. в письме В. Короленко от 8 ноября 1890 г.: «*Спелись бы мы окончательно или не спелись...*»[3]; (ср. *играть первую скрипку*); из школьного арго: *ни в зуб толкнуть; провалиться* (ср. немецкое durchfallen); *срезаться* и др.; из бухгалтерского диалекта: *вывести в расход* — в переносном значении (ср. у Н. С. Лескова в рассказе «Обман») и т. п. Ср. в письме Д. Н. Мамина-Сибиряка В. А. Гольцеву: «Я разучился писать большие вещи зараз... *Испортил руку*, как говорят маляры»[4]; у Станюковича в рассказе «Беспокойный адмирал»: «На морском жаргоне *задаваться* значит: выставляться, поднимать нос»; у Помяловского в «Очерках бурсы»: «Места *закрепляют* — техническое, заметьте, чуть не официальное выражение» и др. под. Ср., с одной стороны, буржуазную фразеологию такого типа: *разменяться на мелкую монету; ставить ребром* (вопрос; ср. *последняя копейка пошла ребром*); *ударить по рукам; отдай все да и мало; нагреть руки; вылететь в трубу* и т. д.; с другой стороны, метафорические отслоения научной терминологии: *привести к одному знаменателю; отрицательная величина; центр тяжести; вступить в новый фазис; в зените славы; достигнуть апогея; по наклонной плоскости* и т. д.

Таким образом, лексико-фразеологическая система русской лите-

---

[1] *Далматов А. Д.* Справочная книжка кавалериста, коиевода, спортсмена и любителя лошадей. М., 1921, с. 323.

[2] Ср. у Боборыкина в романе «Китай-город»: «Пошли любительские толки о протодьяконах, о регентах, рассказывалось, как какой-то церковный староста тягался с регентом, басами, заспорили о том, что такое *подголосок*».

[3] Архив В. А. Гольцева, т. 1, с. 124.

[4] Там же, с. 312.

ратурной речи второй половины XIX в. (50—90-е годы) обнаруживает пестроту, неустойчивость, противоречивую сложность и вместе с тем стилистическую недифференцированность своего состава.

§ 14. ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Грамматическая система русского литературного языка во второй половине XIX в. также подверглась большим изменениям *[1]. Эти изменения двойственного характера. Грамматическая рационализация, осудив «простонародные», «поместные» черты старой грамматики (вроде им. пад. мн. ч. существительных ср. р. на *-ы*, *-и* и т. п.), однако предоставила свободу таким «общим» грамматическим формам с разговорной окраской, которые не заключали в себе резких отклонений от письменного языка, от норм орфографии. Таким образом, усиливается процесс национально-демократической стандартизации грамматических категорий. Но, с другой стороны, неустойчивость стилистических границ между системами книжной и разговорной речи, заложенная в русском литературном языке второй половины XIX в., тенденция к искусственной книжности научных, публицистических и газетно-журнальных стилей, влиявших на разговорную речь интеллигенции, — все эти причины содействовали развитию новых литературно-грамматических форм на основе старых категорий книжного языка. Таким образом, обозначается процесс литературного выравнивания грамматических категорий. Вот основные морфологические изменения этой эпохи:

1. В склонении имен существительных муж. рода получают еще более широкое применение формы им. пад. мн. ч. на *-а*, захватив такие группы слов, которые до того времени устойчиво сохраняли окончание *-ы*, *-и*, распространившись и иа слова исконно русские, заимствованные и церковнославянские — с ударением не только на начальном, но и на серединном и даже иа конечном слоге, очень часто относящиеся к категории одушевленности. Например: *учителя* (С. Аксаков), *офицера* (Л. Толстой), *профессора*, *инспектора*, *дисканта* (Слепцов) и т. д.[1]

Любопытны протесты против расширеиия этой категории[2], часто сопровождавшиеся указанием мотивов образования новых форм и характеристикой социальной среды, откуда выходили формы на *-а*. Например: «...*подали счета*... *будут дешево печататься адреса*. Торговый люд пустил в ход выражение *счета* как будто для отличия от существительного *счеты* (прибор для производства вычислений), но

---

[1] См. примеры: *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи. Пг., 1915, вып. 2, с. 52—66; *Beaulieux L.* L'extension du pluriel masculin en-*á*, *-я́* en russe moderne. — Mém de la Sosiété de linguistique de Raris, 1913, t. 13, s. 3, 201—218.

[2] Характерна жалоба пуриста 80—90-х годов XIX в.: «*Поезда* вместо *поезды* ныне во всеобщем употреблении, но совершенно неправильно и неизвестно на каком основании» (брошюра *Н. Г.* Неправильности в современном разговорном письменном и книжном русском языке, 1890, с. 18).

наука не принимает таких ничтожных соображеиий и опирается на смысл одной и той же формы в предложении», — заявляет консервативный грамматик 70-х годов (Николич).

Так книжно-грамматическая рационализация сталкивалась, с одной стороны, с рождавшейся из профессиональных интересов бытовой потребностью морфологической дифференциации разных значений одного слова и, с другой стороны, с просторечной унификацией формы им. пад. мн. ч. существительных муж. р. (иа *-а*).

2. В категории имен числительных развивается, на основе более отвлеченного, «обеспредмеченного» представления о категории числа, процесс математического абстрагирования количественных значений. Он выражается в том, что в обозначениях составных чисел не только все числительные, кроме последнего (т. е. кроме названий простых единиц до десятка), рассматриваются как неизменяемые имена счетные и не склоняются, но и само последнее слово, несущее функции согласования и управления, тоже несколько абстрагируется и ослабляет свою зависимость от глагола и вообще свои синтаксические связи с окружающими словами. Еще в 70-х годах XIX в. это явление вызвало энергичные протесты пуристов. Например, И. Николич осуждал такие газетные выражения: «...*решено послать шестьсот сорок две сестры* вместо: *шестьсот сорок двух сестер; главный расход состоял во взносе за двести сорок четыре лица* вместо: ...*четырех лиц; тысячам несчастным* вместо: *тысячам несчастных; одна учащаяся приходится на двести семьдесят три женщины* вместо: *на двести семьдесят трех женщин*»[1]. Ср. в другом месте: «Киевский университет приобрел *сорок два преподавателя* вместо: *сорок двух преподавателей*»[2].

В том же духе пишет В. И. Чернышев: «У нас иногда врываются в письменный язык из неразборчивого живого странные, несклоняемые формы: *свыше шестьдесят домов частью разрушены*. («Новое время» от 25 июля 1914 г., № 13781) (обыкновенно: *свыше шестидесяти*). Числительные количественные частью как будто приближаются к частям речи неизменяемым»[3].

Таким образом, понятие количества и числа в литературном языке приобретает все более отвлеченное значение, подвергаясь влиянию математики, которая, как известно, для своих знаков не имеет морфологии, а пользуется только синтаксическими формами, т. е. формами связи, последовательности цифр и знаков.

3. В именах прилагательных притяжательных на *-ов, -ин*, обозначающих принадлежность какому-нибудь одному определенному лицу, усиливается оттенок качественности, и в некоторых падежах, например в род. и дат. муж. и ср. р. ед. ч. (ср. давнее совпадение в формах тв. и пр. пад. ед. ч. и членных и нечленных прилагательных), они получают окончания членного склонения. Например: *возле матушкиного кресла* (Тургенев), *пособить сестриному горю* (С. Акса-

---

[1] *Николич И. М.* Неправильности в выражениях русской речи.— ФЗ, 1878, вып. 1, с. 22—23.

[2] Там же, с. 6.

[3] *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи, вып. 2, с. 196.

ков) и т. д. Показательно, что Г. Павский в своих «Филологических наблюдениях» (1850) такого типа форм с суффиксом -ов, -ин не приводит. Ср. протест преподавателя русской грамматики в 70-х годах против газетных конструкций вроде: *не имеющих своего состояния или жениного*[1].

4. Точно так же в категории имен прилагательных продолжается рост качественных значений у форм причастия не только страдательного, но и действительного залога (ср. прилагательное *падший*). Например: *с вызывающим видом; вопрошающий взгляд; угрожающее положение* и т. п.

5. В связи с усилением значения качества, в связи с расширением значений прилагательности в категории причастий настоящего времени находится образование наречий от причастий. В 70-х годах такие формы, как *вызывающе, деморализующе* и т. п. вызывали резкий протест. И. Николич в статье «Грамматические заметки»[2] ополчался на «странные формы топорных наречий из причастий, сфабрикованных по иностранным узорам: *деморализующе, оппозирующе*». Тот же И. Николич пишет: «Сколько могу припомнить, в произведениях нашей изящной литературы из эпохи карамзинской и пушкинской подобных наречий, произведенных от причастий настоящего времени... мне встречать не приходилось. Это нововведение стало особенно часто утверждаться в сочинениях последних годов»[3]. Например, у Л. Н. Толстого в «Анне Карениной»: *умоляюще повторил он; невыносимо нагло и вызывающе подействовал*; у Короленко: *концы усов угрожающе торчали* («Заседатель»); у Л. Андреева: *кричали торжествующе; заискивающе взглянул; взглянул испытующе* и т. д.[4]

6. Вместе с тем в категории прилагательных окончательно канонизируется новый, «демократический» разряд слов. Формы прилагательных на *-ящий, -ущий*, возникшие под влиянием причастий и до сих пор употреблявшиеся преимущественно в деловом языке, в фамильярном просторечии, в «простонародном слоге» и в литературной стилизации форм народной словесности, теперь входят в общелитературный язык, например: *работящий, завалящий, гулящий, злющий*. Ср. у Тургенева: *черна, как сапог, и злюща, как собака*. Интересно, что Г. Павский в «Филологических наблюдениях» указывает, кроме слова *сведущий (знающий)* и поговорочных: *у него глаза завидущи, руки загребущи*, только три формы: *работящий, гулящий, пишущий*. Ср. также устарелое *живущий* (указание Павского): *живущи разбойники* у Лермонтова. Ср. однородные формы превосходной степени на *-ущий, -енный* — например *большущий, здоровенный: большущий чайник* — у Достоевского; *баба здоровенная* — у Пушки-

---

[1] См.: *Николич И. М.* Неправильности в выражениях русской речи, с. 23.
[2] См.: *Николич И. М.* Грамматические заметки, с. 10.
[3] *Николич И. М.* Неправильности в выражениях, допускаемые в современной печати, с. 3.
[4] См.: *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи, вып. 2, с. 346.

на; *здоровенный работник немец* — у Л. Н. Толстого; *здоровенным, даже сиповатым голосом* — у Тургенева и др. под.[1]

7. В категории причастий страдательного залога настоящего времени, совмещающей разнородные качественные и глагольные значения, стабилизуются суффиксы -имый и -емый, т. е. суффикс -мый с тематическими гласными спряжения *-и* и *-е*. В связи с этим продолжается начавшееся еще в 30—40-е годы постепенное вымирание книжных форм на *-омый* (от так называемых «первообразных» глаголов). Ср. в грамматике А. Х. Востокова (1831) множество образований типа *рвомый, промый, сосомый, жмомый, мномый, кляномый, кладомый, плетомый, чтомый, скребомый, стригомый, жгомый, пекомый, толкомый* и т. п., которые вовсе не употребляются в литературном языке второй половины XIX в. Г. Павский, значительно сокращая этот перечень (*ведомый, плетомый, гнетомый, везомый, несомый, влекомый, секомый, тромый, зовомый, искомый*), присоединяет примечание: «Хотя первообразные глаголы имеют страдательное причастие на *-мый*, но мы редко употребляем его. В случае надобности мы охотнее берем причастие от производных предложных глаголов, выражающих понятие одинаковое с первообразиыми. Например, вместо *зовомый, тромый*... охотнее говорим: *называемый, растираемый*»[2].

8. В газетном и официально-канцелярском языке шире распространяются формы причастий страдательного залога настоящего времени от глаголов с непереходным значением, вроде *деньги, следуемые за перевязку*. Причины этого явления крылись не только в воздействии французского и немецкого языков, но и в общей неразграниченности, «смешанности» грамматических функций причастий. Ср. у А. Измайлова: *об этой будущей, мечтаемой книге о горе женщины*[3].

«Мне доводилось, — пишет И. Николич, — встречать и в передовых статьях газет и в очень известных сочинениях образчики большой неосмотрительности касательно требований нашей этимологии, а именно: «из сумм, *заведываемых* земством»; «Совет, *председаемый* генералом»...; «деятельность общества, *председательствуемого* таким-то»... ср.: «разрешено употребить эту сумму, но с тем, чтобы не было *выходимо* из сметного назначения»; «ставлю *командуемую* им армию в безвыходное положение»[4].

9. В категории глагола протекают изменения в формах вида. Количественные оттенки видовых значений все более и более вытес-

---

[1] Ср.: *Буслаев Ф. И.* Историческая грамматика русского языка. М., 1868, с. III; *Аксаков К. С.* Критический разбор «Опыта исторической грамматики русского языка» Ф. И. Буслаева.— В кн.: *Аксаков К. С.* Полн. собр. соч. М., 1875, т. 2, с. 473; *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи, вып. 2, с. 174.

[2] *Павский Г. П.* Филологические наблюдения. Рассуждение 3-е. 2-е изд. СПб., 1850, с. 128—131. Павский связывает это явление с вымиранием причастий настоящего времени «в первообразных глаголах действительного залога и еще в глаголах из породы *ну*» (типа *трущий, мокнущий*). Ср. также данные, приведенные в кн.: *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи, вып. 2, с. 343—344.

[3] См.: *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи, вып. 2, с. 328.

[4] *Николич И. М.* Неправильности в выражениях, допускаемые в современной печати, с. 8.

няются качественными различиями в семантическом соотиошении двух основных категорий — совершенного и несовершенного видов. Так, постепенно все более и более сокращается в нормальной литературной речи сфера употребления форм многократного вида. При этом, по-видимому, эти формы дольше живут в повествовательных стилях с отпечатком простонародности и в стилизациях народной поэзии. Например, у Тургенева: *дирывались, зачуевал, вострепещивалось* и т. д.; ср. в «Декабристах» Л. Толстого: «Он твердо знал, что он никакой земли у крестьян не «завлаживал», как было сказано в прошении крестьян». Система многократного вида поглощалась категорией несовершенного вида.

Может быть, прав В. И. Чернышев, который частичио ставит в связь утрату богатства видовых форм «в языке больших городов» с петербургским влиянием[1]. Канцелярскому языку XIX в. эти формы чужды. Во всяком случае, характерно заявление Н. И. Греча в «Чтениях о русском языке», что «несбыточные и небывалые формы вроде *бывывало, хаживал*, являются продуктом измышлений грамматиков»[2].

10. В категории несовершенного вида глаголов на *-ывать, -ивать* широко развивается внутренняя флексия *а* (на месте о) у таких слов, которые до этой эпохи сохраняли гласный основы. В разных статьях и брошюрах второй половины XIX в., посвященных изложению «неправильностей современного русского языка», последовательно отмечается широкое развитие флексии основы *а* вместо *о* в отыменных формах глаголов несовершенного вида вроде: *уполномачивать, обуславливать, просрачивать*. «Осторожные, во избежании ошибки, пишут: *заработывать, устроивать, удвоивать, удобривать, успокоивать*»[3]. Ср. в статье И. М. Николича протест против выраженной *заподазривать, заподазривая*[4]. Ср. примеры: *устраивать свою судьбу; успокаивать его; зарабатывать свой хлеб; обрабатывать огромные незанятые пространства* и др. под — у Л. Н. Толстого; *задабривать* — у А. К. Толстого; *замораживать* — у С. Аксакова; *заподазривать* у Тургенева; *затрагивать* — у Короленко и т. д.

11. В глаголах с суффиксом -ну- и неизменным ударением на последнем слоге темы, означающих пребывание в каком-нибудь состоянии или развитии какого-нибудь качества (вроде: *дряхнуть, зябнуть, киснуть* и т. д.), в отличие от продуктивного класса глаголов с суффиксом *-нý- -ну-*, означающих однократность или мгновенность действия, формы прошедшего времени и причастий прошедшего времени с суффиксом *-ну-* сокращаются в числе и постепенно вытесняются формами без этого суффикса (*поверг, высох* и т. п.). Но ср. у Лермонтова в «Вадиме»: «...удар по голове *повергнул* его на землю»;

---

[1] См.: *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи, вып. 2, с. 225.

[2] Там же, вып. 2, с. 225; ср.: *Греч Н. И.* Чтения о русском языке. СПб., 1840, т. 1, с. 289.

[3] *А. Б.* Отчего? зачем? и почему? Оскудение и искажение русской речи, 1889, с. 14.

[4] См.: *Николич И. М.* Неправильности в выражениях, допускаемых в современной печати, с. 13.

у Л. Толстого в «Детстве и отрочестве»: «Я проснулся с *высохнувшими* слезами и успокоившимися нервами» и др. под.[1]

12. В системе глагольных форм времени ярко обозначается (особенно в сфере совершенного вида) резкое различие между перфектными и аористическими оттенками прошедшего времени. Ср., с одной стороны, перфектное значение в таком употреблении, как *скалы нависли* (т. е. висят) *над морем*, а с другой — аористическое — в такой фразе, как: *пришел, увидел, победил.* В формах же настоящего и будущего времени, противостоящих прошедшему времени, определяются и кристаллизуются сложные экспрессивно-переносные значения и применения, смещающие временную перспективу то из плана настоящего или будущего в план прошедшего, то из плана настоящего в будущее, то наоборот, из будущего в настоящее и т. п.

13. Необходимо отметить также изменение функций предлогов и приставок — главным образом под влиянием грамматической системы немецкого языка. Входят в книжный, а затем и в разговорный кругооборот формы «эллиптического» употребления предлогов с подразумеваемым существительным. На этой почве создаются грамматические «анаколуфы», так как при соединении двух предлогов, управляющих разными падежами существительного и относящихся к одному и тому же слову, зависимое имя существительное не повторяется, а ставится только после одного (обычно второго по порядку) предлога. Например, *до* и *вслед за чем, за* и *против чего-нибудь*[2]. Приобретая в этих случаях большую синтаксическую независимость от существительных, предлоги сближаются с наречиями и начинают употребляться в функции наречной приставки к формам имен прилагательных. Вот как пуристски настроенный современник описывает и оценивает эти грамматические изменения, сопоставляя их с соответствующими конструкциями немецкого языка (например, *за* и *против* — pro и contra: wir sind weder pro noch contra, er kann weder ein noch aus и т. д.): «Свойство немецкого языка присоединять к одному падежу два предлога, впрочем не иначе как в таком случае, когда эти предлоги соединяются с одним и тем же падежом (das spricht eher für als gegen mich), совершенно не в духе русского языка... Вровень с этой странностью ничем не оправдываемого произвола... в чрезвычайно диких для русского уха и без всякой нужды образуемых как бы сокращениях речи можно привести и другие подходящие случаи весьма неправильного стилистического склада, как то: учение производится в *до- и послеобеденное время; околомосковские* губернии; это отозвалось падением цифры продажи *на около двух тысяч;* распоряжения его *до и во время* сражения были бы еще гениальнее; *на со всех сторон двигавшиеся* обозы; *за в четверо меньшую сумму;* панихида *по в бозе почившем* императоре; *до и помимо устава.* Под влиянием такой безразборчивой стилистики не трудно будет договориться, пожалуй,

---

[1] Ср.: *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи, вып. 2, с. 244—247.

[2] Ср.: *Долопчев В.* Опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи. Варшава, 1909, с. 60, 75.

и до того, что в переводе, например, с немецкого языка: wenn der ärmere Teil der jüdischen Bevölkerung sich mehr und mehr vom Handel abund dem Gewerbe zuwenden wird — появится оборот: *если еврейское население от торговли от, а к ремеслу привлекут*»[1]. Ср. еще примеры наречного употребления предлогов: *всякое стеснение преподавательской деятельности во-вне*[2].

14. Но в то же время с необыкновенной интенсивностью протекает обострившийся еще с конца XVIII — начала XIX в. процесс роста предложно-аналитических конструкций. Развивается множество переносных, отвлеченных значений, например у предлогов *в, на, с, для*[3]. В многочисленных группах глаголов беспредложное управление вытесняется предложным. В ряде конструкций предлоги теряют свое конкретное значение, выступая в роли своеобразной «препозиционной флексии». Аналитизм западноевропейских языков (главным образом французского и английского) передается русскому, ограничивая и стесняя формы его синтетического строя.

Таким образом, процесс стабилизации грамматической системы русского литературного языка во второй половине XIX в. сопровождается унификацией грамматических форм — при очень значительном усложнении их функций — и заметным сдвигом в сторону аналитического строя, вытесняющего по многим направлениям элементы былого синтетизма.

§ 15. БОРЬБА МЕЖДУ ПЕТЕРБУРГОМ И МОСКВОЙ ЗА НОРМЫ «ОБЩЕРУССКОГО» ПРОИЗНОШЕНИЯ

В области фонетики этот период истории русского литературного языка характеризуется борьбой Петербурга и Москвы за нормы общерусского литературного произношения. В Петербурге произношение было более «книжным»; оно было более сковано принципами чтения текста, менее связано с этнографическим окружением города. Эта книжность выражалась в отсутствии смягчения твердых согласных при соприкосновении их с следующими мягкими в определенных группах, например, *ест'еств'енный* — при московском: *ес'т'ес'т'венный; у лафк'и* — при московском: *у лаф'к'и* и т. п.); в реставрации произношения целого ряда традиционных написаний, не совпадавших с живым звучанием (например, более частое *-чн-* на месте московского *-шн-; -кий-, -хий;* в им. пад. ед. ч. муж. р. имен прилагательных вместо *-къй, -хъй* или *-кый, -хый* — например, *великий, тихий* и т. п.); в некоторых отклонениях от московских «правил» аканья (например, в характере произношения предударного *е*; быть может, в более заднем произношении редуцированного неударяемого гласного не в предударном и не в открытом коренном слоге), в более однообразных

---

[1] *Николич И. М.* Неправильности в выражениях, допускаемые в современной печати, с. 7.
[2] См.: Семья и школа, 1872, № 2, с. 203.
[3] Подробнее см. в моей книге «Современный русский язык». М., 1938, вып. 2.

формах интонирования[1]. (Ср. у Герцена в «Былом и думах» интонационную характеристику речи московских женщин:... «Говорили протяжно и несколько нараспев, как тогда вообще говорили московские дамы и девицы».)

В сущности, вопрос о нормальном литературном произношении остался окончательно не разрешенным, хотя явный перевес был на стороне московского произношения, которое культивировалось и поддерживалось театральной традицией.

§ 16. НОРМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И ПРОСТОРЕЧИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ МАСС ГОРОДА

Системе «нормального» литературного языка во второй половине XIX в. были противопоставлены, кроме профессиональных и групповых диалектов, обслуживающих сравнительно узкую социальную среду, две широкие диалектальные сферы: 1) язык крестьянства с его областными делениями и 2) язык городских масс, находившийся во взаимодействии с крестьянским языком. «Неправильности» низового городского языка отмечались нередко соответствующими «орфоэпическими» словарями и приписывались влиянию «обруселых инородцев». Но в этом огульном объяснении сказывался социальный антагонизм, прикрытый националистической идеологией: некоторые из отмечаемых «неправильностей» являются общими для всех разновидностей языка демократических масс города. Особенности языка городских масс (если их рассматривать с точки зрения норм «литературности» во второй половине XIX в.), кроме своеобразий лексики и фразеологии, которая у разных социальных прослоек имела в пределах этой «низовой» городской речи резкие отличия, сведутся к таким категориям отклонений от норм языка буржуазной интеллигенции.

I. Особенности фонетические. Они состояли не только в свободном проявлении диалектального произношения и в своеобразии интонаций: больше всего бросались в глаза акцентологические отличия в выговоре слов, общих с литературным языком. В области ударения можно отметить такие шесть разрядов явлений:

1. В иностранных словах ударение подвергалось перестановке. Тут могли действовать сложные мотивы аналогического приравнивания к привычным словам и привычным типам ударения. Любопытно, что словари неправильностей[2] с половины XIX в. до конца столетия приводят почти один и тот же список слов: *доку́мент* вместо *докуме́нт; инстру́менг* вместо *инструме́нт; мага́зин* вместо *магази́н; по́ртфель* вместо *портфе́ль; ро́ман* вместо *рома́н*[3] и т. д.

---

[1] О московской «мелодии слова» много интересных замечаний: *Кошутич Радован.* Граматика русског језика. Пг., 1919 (глава «Акценат»).

[2] См.: *Зеленецкий К.* О русском языке в Новороссийском крае. Одесса, 1855; *Долопчев В.* Опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи. Варшава, 1909. Далее в скобках указаны страницы этих изданий.

[3] Ср.: *Мельников-Печерский* в романе «На горах» (*Мельников-Печерский П. И.* Полн. собр. соч. СПб., 1909, т. 4. с. 489): «Грамотное простонародье и даже захолустное чиновничество, особливо вышедшее из семинарий, всегда говорит

2. В книжных словах также нередко наблюдается перенос ударения на другой слог, или, напротив, сохранение вышедших из употребления архаических типов ударения. Например: *деятельный, деятельность* вместо *деятельный, деятельность* (ср. у Крылова в басне «Пруд и река»: «*Когда им овладеет лень, и оживлять его деятельность не станет»;* у Лермонтова: «*С деятельной и пылкою душой*», «*К другу*», 1829; «*И утонул деятельным умом*», «Отрывок», 1830)[1]; *единство* (Долопчев, 60); *ходатайствовать; приговор, договор* (П. Сергеич) и т. д. Характерны жалобы судебного деятеля П. Сергеича (П. С. Пороховщикова): «Неправильное ударение так же оскорбительно для слуха, как неупотребительное или искаженное слово. У нас говорят: *возбудил, переведен, алкоголь, астроном, злоба, уменьшить, ходатайствовать, приговор*»[2].

3. В категории причастий прошедшего времени страдательного залога ударение систематически переходит с окончания или суффикса на основу. Например: *введено, приведено, приведенный* вместо *введено, приведено, приведённый* (Зеленецкий. 14); *занесено, принесено, занесенный; принесенный* (там же, 14); *определено и определенный* (там же, 14); *переведено, переведенный; получено, полученный; приучено, приученный* (там же, 14); *привезено, ввезено, свезено, привезенный, ввезенный, свезенный,* (Зеленецкий, 14—15); и мн. др.[3]

4. Точно так же в формах настоящего времени (кроме 1-го лица ед. ч.) от глаголов на *-ить*, с постоянным ударением на окончании, характерна перестановка ударения на основу по аналогии с глаголами типа *заплатить — заплотишь* и др. Ср. *звонишь, звонит, звонят* вместо *звонить, звонит, звонят* (Зеленецкий, 13); *повторим* вместо *повторим* (там же, 14) и т. д.

5. В формах глагола прошедшего времени, преимущественно жен. и ср. р. ед. ч. и во мн. ч. ударение также перемещается на основу: *гнал — гнала* (Долопчев, 25, 46); *отдала* (там же); *дрался* вместо *дрался* (там же, 66) и т. п.

6. На некоторых словах ударение ставится в соответствии с диалектальным, областным произношением их, а не с литературным. Например, *случай* вместо *случай: по этому случаю* (Зеленецкий, 12); *сирота* вместо *сирота* (там же, 14); *понять* вместо *понять*

роман вместо *роман*. И это идет с прошлого века. Некто из духовных отцов в прошлом еще столетии писал, впрочем «келейне», «что следует говорить *роман*, дабы отличить название богомерзкого писания от христианского имени *Роман*».

[1] Ср.: *Обнорский С. П.* Именное склонение в современном русском языке.— Сб. ОРЯС, 1927, вып. 1, т. 100, № 3, с. 79.

[2] *Сергеич П.* Искусство речи на суде. СПб., 1910, с. 15—16.

[3] Впрочем, еще Востоков, устанавливая для некоторых классов глаголов различия в ударении страдательных форм причастия несовершенного и совершенного вида (*скребен — соскребен; печен — испечен; велен — повелен; ценен — оценен; сужден — осужден* и т. п.), прибавлял: «Но глаголы сии могут иметь и без предлога причастие на *-ен*, когда принадлежат важной речи, и, напротив того, с предлогом на *-ен*, без ударения, когда принадлежат просторечию; например, от глагола *судить — сужден, осужден и присужден* (*Востоков А. Х.* Русская грамматика, 6-е изд. СПб., 1844, с. 105—106),

(там же, 14); *молодежь* вместо *молодёжь; заводской* вместо *заводский* (Долопчев, 78) и т. д.

II. Морфологические особенности. Кроме тех, которые обусловлены близостью городской демократической массы к областной, крестьянской основе, наблюдается несколько общих для всего «низового» городского говора типов отклонений от литературно-грамматической нормы. Они располагаются по таким разрядам:

1. Отличия в формах рода имен существительных: *сажень* муж. р. вместо жен.: *полсажня дров; бланка* вместо *бланк;* ср. род. пад. мн. ч. *бланок; эполета* вместо *эполет; ставня — ставень; гренка* вместо *гренок* (Долопчев, 50); *блюдечка* — жен. р. (там же, 13) и др. под.

2. Отличия в формах числа имен существительных; некоторые слова, утратившие в литературном языке ед. ч., в просторечии изменяются по обоим числам. Например: *брызга; дрязга* вместо *дрязги* (Долопчев, 67) и др.

3. Неограниченное распространение категории им. пад. мн. ч. существительных муж. р. на *-а*. Эти формы далеко выходят в низовом языке за пределы литературных норм.

4. Смешение типов склонений, создающее несоответствия литературному языку в формах отдельных падежей — например род. пад. на *-ов* от существительных ср. и жен. р.: *блюдечков, местов, делов* и т. д. Ср.: *шароваров, панталонов, похоронов, хлопотов, на гвоздю* вместо *на гвозде.*

5. Отличия в формах словообразования имен существительных и прилагательных. Например: *бабский* вместо *бабий; губатый* вместо *губастый; лобатый* вместо *лобастый;* смешение *бородастый — бородатый* (Долопчев, 15) и др. под.

6. Замена возвратных форм глагола невозвратными, особенно часто в категории причастий: *загоревший сарай* вместо *загоревшийся сарай; вольноопределяющий* вместо *вольноопределяющийся* (там же, 18); и наоборот: *млекопитающийся* вместо *млекопитающий* и т. д. Ср., впрочем, однородные явления еще в мещанской прозе XVIII в. Например, в «Похождениях Ивана Гостиного сына и других повестях и сказках» (СПб., 1785—1786): «...*не дождавши* выходу из-за стола, отнесли меня» (I. 16); «сидел *задумавши*» (II, 38); «*запахаючи* сказал» (II, 114)[1].

7. Унификация основы настоящего времени у глаголов с чередующимися согласными основы (*д — ж, т — ч, с — ш, з — ж, к — ч, г — ж*), — например: *гордюсь* вместо *горжусь; ляжу* вместо *лягу* (Зеленецкий, 28); *погодю*

[1] Ср. примеры из современного языка у А. М. Пешковского в статье «Объективная и нормативная точка зрения на язык» — В кн.: *Пешковский А. М.* Методика родного языка, лингвистика, стилистика, поэтика. М. — Л., 1925, с. 111.

(там же, 28) и др.; *зажгешь, зажгет* и т. п. вместо *зажжешь, зажжет* и мн. др.

8. Более свободное смешение классов глаголов: *пахать — пахаю, пахаешь* вместо *пашу, пашешь* и т. д.

9. Формы императива: *едь, едьте,* вместо *поезжай, -те; подь* и т. д.

10. Формы причастий страдательного залога на *-тый* при соответствующих литературных формах на *-нный: вырватый, порватый* и др.

III. Синтаксические особенности. 1. Некоторые своеобразия в формах управления глаголов без предлогов и при посредстве предлогов — например *беспокоиться про кого, про что-нибудь, за кого, за что-нибудь* (при более нормальной литературной конструкции — *о ком, о чем*), *радоваться о чем* (вместо *чему-нибудь*) и др. под.

2. Некоторые новые оттенки в значениях предлогов или более широкая сфера употребления отдельных значений предлогов по сравнению с литературным языком — например предлога *чрез* в значении по причине, из-за и др.

Ср. в «Опыте исторической грамматики русского языка» Буслаева указание на распространение этого оборота (ч. II, 284).

3. Замена дат. пад. числительного вин. пад. после предлога *по* в разделительном значении: *по шестьдесят, по тридцать* вместо *по шестидесяти, по тридцати* и некоторые др.

IV. Гораздо более резки и выразительны лексические и фразеологические особенности. Любопытно, что некоторые слова, первоначально относившиеся к низовому языку городских масс, постепенно входят в систему литературного языка в течение XIX в. Например, *столоваться* вместо *иметь стол* (Зеленецкий, 18); *тарахтеть* (об экипаже; там же, 18); *погрузить пшеницу, рожь* и пр., *погрузка* вместо *нагрузить, нагрузка* (там же, 19) и т. п. Проф. Зеленецкий указывает такие лексико-фразеологические приметы «низового» языка: *крепко* вместо *очень: крепко* хочется (там же, 19); *смирный* вместо *скромный; уворовать* вместо *украсть* (там же, 28); *одеть* вместо *надеть; ни к чему* вместо *попусту* (там же, 23); *питущий* вместо *пьющий* (там же, 26); смешение слов *завертывать, развертывать* со словами *заворачивать, разворачивать* (там же, 27); *кушать* вместо *есть* (там же, 28); *утекать* вместо *уходить* (там же, 29); *позавчера* вместо *третьего дня; загубить* вместо *потерять* и некоторые др.

Долопчев значительно пополняет этот список «низовых» слов, фраз, идиом: *задаваться* в значении *зазнаваться* (Долопчев, 79); *задевать* вместо *деть* (там же, 30); *завидный* в значении *завистливый* (там же, 77); *буча* (там же, 19); *губошлеп* (там же, 52); *всего на всего* вместо *всего на все; вытворять* в значении *выделывать* (штуки); *гладкий* в значении *толстый; дружить с кем-нибудь,* вместо *быть в дружбе; скидать* вместо *снимать*[1]; *справить* вместо

[1] Ср. у Гоголя в «Шинели» и «Мертвых душах», в «Русской грамматике» А. Х. Востокова: *скидавать, скидаю*, с. 94.

приобрести, сшить и мн. др. под. П. Сергеич в начале XX в. жаловался: «Наши отцы и деды говорили чистым русским языком, без грубостей и без ненужной изысканности; в наше время, в так называемом обществе, среди людей, получивших высшее образование... читающих толстые журналы... мы слышим такие выражения, как *позавчера, ни к чему, ни по чём, тринадцать душ гостей; помер* вместо *умер; выпивал* вместо *пил; занять приятелю деньги*; мне приходилось слышать; *заманул* и *обманил*»[1].

С этим низовым городским языком шла глухая борьба во имя литературности со стороны разных слоев общества в течение всей второй половины XIX в. и первого десятилетия XX в. История самого этого языка городских масс во многом остается неясной. Трудно учесть, что́ вносила в него каждая из тех социальных групп, среди которых он жил. Кроме того, предложенная выше характеристика некоторых грамматических особенностей городского низового просторечия сделана исключительно с точки зрения наиболее броских отклонений от норм литературного языка. Если же изучать язык демократических масс города в его внутренней структуре, то представится богатая и своеобразная система «общего» низового языка с его расслоениями — общественно-групповыми и профессиональными. Эти языковые пласты, бывшие внелитературными, выступили на арену литературной жизни после революции и приобрели большое значение в организации литературного языка революционной эпохи.

При изучении процессов, произведших в эпоху социалистической революции перестройку русской литературной речи, в аспекте современности яснее выступают и иные, зревшие в недрах литературного языка второй половины XIX — начала XX в. стили и тенденции, которые не нашли освещения и отражения в сделанном выше обзоре. Но их исторический анализ целесообразнее связать с характеристикой современного литературного языка.

---

[1] *Сергеич П.* Искусство речи на суде, с. 7.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Акад. В. В. Виноградов принадлежал к числу тех замечательных русских ученых, которые отличались энциклопедизмом и универсальностью знаний и сыграли выдающуюся роль в развитии отечественной филологии.

Теория и история литературного языка занимает особое место в лингвистической концепции В. В. Виноградова. Он обосновал основные методы историко-лингвистического изучения литературного языка и создал историю русского литературного языка как особую научную дисциплину, отдельную от общей истории русского языка.

Историей русского литературного языка В. В. Виноградов начал заниматься с 1920 г., когда он был выбран профессором Археологического института в Петрограде по кафедре истории русского языка. С 1921 г. он стал систематически читать в Петроградском (Ленинградском) университете и в Государственном институте истории искусств курс истории русского литературного языка[1] и специальные курсы по различным проблемам происхождения и развития русского литературного языка, по вопросам стилистики художественной речи. Именно в эти годы были заложены теоретические основы истории русского литературного языка как научной дисциплины и как учебной дисциплины университетского преподавания. Подводя итоги своей работы в 20-е годы, В. В. Виноградов писал 26 марта 1929 г. о работе над книгой «Очерки по истории русского литературного языка XVII — XIX вв.»: «Теперь... главным предметом моих изысканий стал литературный язык начиная с XVII в. (особенно XVIII—XIX вв.)»[2]. После переезда в Москву В. В. Виноградов продолжает свои занятия историей русского литературного языка, читает этот курс в Московском университете и в педагогических институтах столицы. В результате этих занятий появились «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.» (1-е изд. М., 1934; 2-е изд., переработанное и дополненное. М., 1938).

«Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.» — образцовое научное исследование с новаторским подходом к анализируемому материалу, к поставленным проблемам и прекрасный вузовский учебник, единственный в своем роде, которым широко пользуются студенты. С 1938 г. «Очерки» не переиздавались и давно стали библиографической редкостью.

После второго издания «Очерков» В. В. Виноградов продолжал разрабатывать сложные в теоретическом отношении проблемы происхождения и развития

---

[1] Курс истории русского литературного языка в университетах не читался. Лишь отдельные профессора, например Будде, читали этот курс. Профессор А. И. Соболевский подготовил этот курс, но никогда не излагал с кафедры. См. публикацию курса по рукописи 1889 г.: *Соболевский А. И.* История русского литературного языка. Л., 1980.

[2] См.: *Виноградов В. В.* Избранные труды. О языке художественной прозы. М., 1980, с. 56.

русского литературного языка начиная с киевской эпохи и до наших дней. На обширном материале письменных памятников он исследовал не только общие процессы формирования русского литературного языка, его связи с живыми источниками восточнославянских говоров той эпохи, но и специфические особенности системы стилей книжно-письменной и разговорной русской речи [1].

В основу настоящего, третьего, издания «Очерков по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.» положен текст второго издания (М., 1938). Обнаруженные опечатки и ошибки исправлены, по оригиналам проверены цитаты, лингвистический и иллюстративный материал. Библиографический аппарат книги сохранен полностью, проведена унификация его в соответствии с новыми ГОСТами. Порядок библиографических отсылок (под строкой и внутри текста) сохранен всюду авторский. При сверке авторского текста и цитат из произведений авторов XVII—XIX вв. орфография и пунктуация подлинника представлена так, как это принято в современной эдиционной практике. Особенности индивидуальной терминологии В. В. Виноградова тех лет сохранены: «диалектический» вместо «диалектный» и т. п.

Если в тексте второго издания отсутствует необходимый отсылочно-библиографический аппарат или указан только автор цитаты, нами раскрыты глухие авторские ссылки и указаны источники цитирования. В ряде случаев, когда современная филологическая наука обогатилась более полными и лучшими в текстологическом отношении изданиями писателей, публицистов и ученых, чем те, которые были в распоряжении В. В. Виноградова, указаны эти новые издания или сделаны ссылки на них. В некоторых случаях, когда В. В. Виноградов цитирует те или иные источники по редким, труднодоступным изданиям, эти ссылки переведены на современные издания, если они появились в настоящее время.

В «Очерках» В. В. Виноградова встречаются малоизвестные современному читателю имена филологов, лингвистов, писателей, критиков, деятелей культуры XVII—XIX вв., которые определяли развитие литературного языка и его стилей, устанавливали грамматические нормы, создавали науку о русском языке. Это обстоятельство заставляет дать в послесловии необходимые сведения об их жизни, о научной и литературной деятельности. Сигналом отсылки к примечаниям служит знак * с соответствующей цифрой, например *[1].

После выхода в свет «Очерков по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.» В. В. Виноградова и других его работ появилось много исследований, монографий, сборников, диссертаций, связанных с этой тематикой.

Книга Виноградова положила начало традиции написания учебных пособий по истории русского литературного языка, среди которых следует отметить наиболее важные: *Ефимов А. И.* История русского литературного языка. М., 1967;

---

[1] В числе важнейших трудов В. В. Виноградова, написанных после издания «Очерков», следует назвать: Основные этапы истории русского языка (РЯШ, 1940, № 3, с. 1—15; № 4, с. 1—8; № 5, с. 1—9); О задачах истории русского литературного языка, преимущественно XVII—XIX вв. (Изв АН СССР. ОЛЯ. 1946, т. 5, вып. 3, с. 223—238); О понятии стиля языка (применительно к истории русского литературного языка (Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1955, т. 14, вып. 4, с. 305—320); Проблема исторического взаимодействия литературного языка и языка художественной литературы (ВЯ, 1955, № 4, с. 3—34); Вопросы образования русского национального литературного языка (ВЯ, 1956, № 1, с. 3—25); Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка (М., 1958; то же в кн.: Исследования по славянскому языкознанию. М., 1961, с. 4—113); Некоторые вопросы и задачи изучения истории русского литературного языка XVIII в. (в кн.: Тезисы докладов на совещании по проблемам изучения истории русского литературного языка нового времени. 27—30 июня 1960 г. М., 1960, с. 3—7); Основные вопросы и задачи изучения истории русского языка до XVIII в. (ВЯ, 1969, № 6, с. 3—34); О новых исследованиях по истории русского литературного языка (ВЯ, 1969, № 2, с. 3—18).

Все наиболее ценные исследования В. В. Виноградова по истории русского литературного языка, созданные им в 40—60-х годах, собраны в издании: *Виноградов В. В.* Избранные труды. История русского литературного языка. М., 1978.

Горшков А. И. История русского литературного языка. М., 1969; *Ларин Б. А.* Лекции по истории русского литературного языка (X — середина XVIII в.). М., 1975; *Ковалевская Е. Г.* История русского литературного языка. М., 1978; *Мещерский Н. А.* История русского литературного языка. Л., 1981. Новая научная литература, появившаяся после выхода в свет «Очерков», которая необходима при изучении этого курса, приводится в послесловии под заголовком «Из новой литературы». В случае, если у читателя появится желание познакомиться с полным списком литературы по истории русского литературного языка, можно порекомендовать ему обратиться к библиографическим указателям по славянскому и русскому языкознанию, которые издаются Институтом научной информации по общественным наукам и Институтом русского языка Академии наук СССР. К 1981 г. вышло 5 томов этого библиографического описания.

Глава I

§ 1

*[1] *Максим Грек* (настоящее имя Михаил Триволис; около 1470—1556) — писатель, публицист, филолог. Учился в Италии, где был близок к итальянским гуманистам. Приехал в Москву по просьбе великого князя Василия III Ивановича в 1518 г. для перевода церковных книг. Максим Грек оставил после себя обширное литературное наследство (свыше 150 названий): проповеди, публицистические статьи, философские и богословские рассуждения, грамматические сочинения, переводы и т. д. Перенося на русскую почву достижения византийской образованности, главным образом в области филологического толкования и критики текста, он написал ряд сочинений по грамматике и лексикологии: «О греческих гласных и согласных, о слогах, о надстрочных знаках греческих и славянских», «О просодии», «О пришельцах-философах», «Толкования именам по алфавиту». Максим Грек был признан выдающимся знатоком грамматики: его грамматические идеи оказали большое влияние на формирование русской лингвистической мысли XVI—XVII вв. Его основные сочинения были изданы на греческом (Соч., ч. 1—3, Казань, 1859—62) и на русском языках (Соч., ч. 1—3. Сергиев Посад, 1910—1911).

Из новой литературы о Максиме Греке: *Иванов А. И.* Литературное наследие Максима Грека. Л., 1969; *Казакова Н. А.* Очерки по истории русской общественной мысли. Первая треть XVI в. Л., 1970; *Ковтун Л. С.* Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в. Л., 1975; *Синицына Н. В.* Максим Грек в России. М., 1977.

*[2] *Генрих Вильгельм Лудольф* (1655—1712), филолог, в 1693—1694 гг. с дипломатическими и коммерческими целями был в России, основательно изучил русский язык. В 1696 г. напечатал на латинском языке в Англии, в Оксфорде, русскую грамматику. В «Предисловии» к своей книге он подчеркивает большое культурное значение старославянского литературного языка, а среди живых славянских языков — русского, который нужен всякому, «кому необходимо отправиться в Московию по политическим или по частным делам». Эта книга — подарок автора хранилась в личной библиотеке Петра I. В 1937 г. «Русская грамматика» Лудольфа была издана проф. Б. А. Лариным. Следует указать также факсимильные издания ее, предпринятые в 1957, 1959 и 1972 гг. проф. Б. О. Унбегауном в Оксфорде. Книга вышла под названием: «Henrici Wilhelmi Ludolfi. Grammatica Russica. Oxonii, A. D. MDCXCVI. Ed. by B. O. Unbegaun».

Из новой литературы о Лудольфе: *Обнорский С. П.* Русская грамматика Лудольфа 1696 года — В кн.: *Обнорский С. П.* Избр. работы по русскому языку. М., 1960, с. 144—162; *Толстой Н. И.* Старинные представления о народно-языковой базе древнеславянского литературного языка (XVI—XVII вв.) — В сб.: Вопросы русского языкознания. Вып. 1. М., 1976, с. 177—204.

*[3] См. исследование, посвященное рассмотрению вопросов фонетики, морфологии, графики и орфографии «Уложения царя Алексея Михайловича»: *Черных П. Я.* Язык «Уложения 1649 года». М., 1953.

*[4] *Мелетий Смотрицкий* (около 1572—1633 или 1630) — филолог, писатель, медик, автор полемических сочинений «Фринос» (1610), «Апология путешествия» (1628). Основной филологический труд Мелетия Смотрицкого, оказавший боль-

шое влияние на развитие лингвистической мысли восточных и южных славян, — грамматика старославянского языка «Грамматики славенския правилное синтагма» (1-е изд. Вильна, 1618; 2-е изд. Евью, под Вильной, 1619). В грамматике Мелетия Смотрицкого излагался звуковой и грамматический строй книжнославянского языка. Грамматика Мелетея Смотрицкого неоднократно переиздавалась с некоторыми изменениями в тексте или служила основой для различного рода переработок. Она оказала сильное влияние на характер всех первых русских букварей. Грамматика издания 1619 г. переиздана фототипическим путем в Киеве в 1979 г.

Из новых работ, посвященных изучению филологической деятельности Мелетия Смотрицкого: *Булахов М. Г.* Восточнославянские языковеды. Биобиблиографический словарь. Минск, 1976, т. 1, с. 216—218; *Дылевский Н. М.* Грамамтика Мелетия Смотрицкого у болгар в эпоху их возрождения. — ТОДРЛ, 1958, т. XIV, с. 461—473; *Кузнецов П. С.* У истоков русской грамматической мысли. М., 1958, с. 27—37; *Плющ П. П.* Історія української літературиої мови. Киев, 1971, с. 208—210; *Прокошина Е. С.* Мелетий Смотрицкий. Минск, 1966; *Шакун Л. М.* Гісторыя беларускай літаратурнай мовы. Минск, 1963. с. 154—155.

*[5] Новые издания текстов виршей: Білецький О. І. Хрестоматия давньої україиської литератури (Доба феодализму). Киев, 1952; Давній україиський гумор і сатира. Упорядкування текстів, вступна стаття і прнмітки Л. Е. Махновця. Киев, 1959; Зіновіїв Климентій. Вірші. Приповісті посполиті. Підготовка тексту І. П. Чепігн. Киев, 1971; Величковський І. Твори. Киев, 1972.

*[6] См. иовую публикацию русских рукописных пьес последней трети XVII— первой половины XVIII в. в пятитомном издании: Первые пьесы русского театра/Под ред. А. Н. Робинсона. М., 1972; Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII в./Под ред. О. А. Державиной. М., 1972; Пьесы школьных театров Москвы/Под ред. А. С. Демина. М., 1974; Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в./Под ред. А. С. Елеонской. М., 1975; Пьесы любительских театров /Под ред. А. Н. Робинсона. М., 1976.

§ 2

*[1] Лихуды, братья Иоанникий (1633—1717) и Софроний (1652—1730), по происхождению греки. В 1685 г., по просьбе царя Федора, были приглашены в Россию для преподавания грамматики, риторики и пиитики в Московскую славяно-греко-латинскую академию. В 1697 г., по указу Петра I, открыли школу итальянского языка. В 1706 г. братья Лихуды преподавали в Новгороде в славяно-греко-латинской школе, созданной по образцу Московской славяно-греколатинской академии. Братья Лихуды участвовали в исправлении церковных книг. Они авторы грамматических, философских и полемических сочинений «Акос, или врачевание, противополагаемое ядовитым угрызениям змиевым», «Мечец духовный», «Диалоги, сиречь разглагольства, грека учителя к некоему иисуиту о разнствах сущих между восточною церковью и западною», «Показание истины», грамматики греческого языка, славянского букваря. В 1712—1716 гг. Иоанникий Лихуд создал риторику под названием: «Палата царского благоязычия, или обучения, зрения и риторическая размышлеиия. Толкование светлейшее всея риторическия силы». Софроний Лихуд написал эту риторику на греческом языке. На русский язык ее перевел в 1698 г. монах Чудова монастыря в Москве Козьма.

Из литературы о братьях Лихудах: *Строев П. М.* Библиологический словарь и черновые к нему материалы. Приведен в порядок и издан под редакцией акад. А. Ф. Бычкова. СПб., 1882, с. 186—192; *Зубов В. П.* К истории русского ораторского искусства конца XVII — первой половины XVIII в. (Русская люллианская литература и ее назначение). — ТОДРЛ. Т. XVI. М.—Л., 1960, с. 288—303.

*[2] *Епифаний Славинецкий* (конец XVI или начало XVII в.— 1675) — филолог, писатель, переводчик. Из филологических трудов его большую известность приобрели лексикографические сочинения «Лексикон латинский з Калепина преложенный на славенский» (конец 30-х — начало 40-х годов XVII в.) и «Лексикон славенолатинский» (около 1650 г. в соавторстве с А. Корецким-Сатановским). В основу словника латинско-славенского словаря был положен латинский словарь 1502 г. итальянского ученого Амвросия Калепино (1435—1511). Славинецкому принадлежат также конкордация к текстам Священного писания (это

сочинение в науке носит название «Филологического словаря») и «Книга лексикон греко-славено-латинский».

Из новых работ о Епифании Славинецком: *Німчук В. В.* З лексикографічної спадщини Е. Славинецького.— Лексикографічний бюлетень Вип. 8. Киев, 1961, с. 86—96; *Німчук В. В.* «Лексікон латинський» та «Лексікон словено-латинський» і їх місце в історії старої української лексикографії. — В кн.: Лексикон латинський Е. Славинецького. Лексикон словено-латинський Е. Славинецького та А. Корецького — Сатановського. Киев, 1973, с. 5—58.

*3 *Ф. П. Поликарпов-Орлов* (60-е или 70-е годы XVII в.— 1731) — филолог, писатель, издатель, переводчик и педагог. С 1701 г. был директором Печатного двора в Москве, в котором с некоторым перерывом работал до конца жизни. По поручению Петра I занимался переводами и составлением книг. Он перевел и издал «Географию генеральную» Б. Варения (1718), «Акос» и «Мечец духовный» братьев Лихудов, своих учителей. Его оригинальные сочинения: «Приветство стихотворно патриарху Адриану» (1695), «Историческое известие о Московской академии» (М., 1726). Лингвистические труды Поликарпова — «Букварь славенскими, греческими, римскими писмены» (М., 1701), «Лексикон треязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище из различных древних и новых книг, собранное и по славенскому алфавиту в чин расположенное» (М., 1704). Ф. Поликарпов издал «Славянскую грамматику» Мелетия Смотрицкого (М., 1721) с некоторыми изменениями в тексте и добавлением «Чин технологии, сиречь художнаго собеседования о осми частех слова по вопросам и ответам употребляемого». Работы Ф. Поликарпова сыграли важную роль в описании литературного языка, в развитии школьного образования и в становлении языкознания в России.

Из новой литературы о Ф. Поликарпове:

Сперанский М. Н. Один из источников «Трнязычного лексикона» Ф. Поликарпова — рукописный белорусско-латинско-польский словарь XVII века.— В кн.: *Сперанский М. Н.* Из истории русско-славянских литературных связей. М., 1960, с. 198—210; *Марков В. М., Еселевич И. Э.* Замечания о двух разноязычных лексиконах первых лет XVIII века. — Уч. зап. Казанского университета 1957, т. 117, кн. 9. Общеуниверситетский сборник; *Якубович Т.* «Лексикон треязычный» 1704 г. Ф. П. Поликарпова (источники и состав словаря). Л., 1959.

*4 *Карион Истомин Заулонский* (около 1650 — после 1717) — писатель, филолог, печатник, педагог, ученик братьев Лихудов. В 1682 г. был назначен справщиком Печатного двора в Москве, исполнял обязанности «смотрителя царственной типографии». Его перу принадлежат стихотворения и прозаические произведения (в 1694 г. написал «Службу и житие Иоанна Воина»). В истории языкознания известен как автор учебных пособий по русскому языку — цельногравированного «Букваря» (М., 1694; 2-е изд. М., 1718) и наборного «Букваря» (М., 1696). В состав последней книги вошли 372 стиха Истомина и переработанный «Букварь» Симеона Полоцкого.

Из новой литературы о Карионе Истомине: Описание изданий, напечатанных кириллицей. 1689 — январь 1725 г. Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.—Л., 1958; *Панченко А. М.* Русская стихотворная культура XVII в. Л., 1973.

*5 Исследование Л. А. Булаховского «Исторический комментарий к литературному русскому языку» переиздавалось неоднократно (см.: *Булаховский Л. А.* Исторический комментарий к литературному языку. 5-е изд., доп. и перераб. Киев, 1958).

6* *Димитрий Ростовский* (в миру Данило Саввич Туптало; 1651—1709) — писатель, драматург, церковный деятель. В 1683 г. приступил к созданию Четьих-Миней — сборников для ежедневного чтения, куда вошли сказания, легенды, поучения, жития святых. Эти сборники опубликовал в типографии Киево-Печерской лавры в 1689—1705 г. В 1702 г. был назначен митрополитом в Ростов Великий. Димитрий Ростовский — автор исторических, литературных, проповеднических и богословских сочинений, среди которых «Руно орошенное» (Чернигов, 1680), «Апология» (Чернигов, 1700), «Розыск о раскольнической брынской вере» (М., 1745), «Летопись» (М., 1784).

*7 *Лаврентий Зизаний* (в миру Тустановский; 50—60-е годы XVI — после 1634) — языковед, педагог, писатель, переводчик. Один из лучших знатоков греческого, латинского, старославянского, древнерусского, староукраинского, старо-

белорусского и польского языков, автор учебника «Грамматика словенска совершеннаго искуства осми частий слова и иных нуждных» (Вильна, 1596). Лаврентий Зизаний наметил в ней пути понимания живой системы языка его времени и сделал попытку описания ряда грамматических явлений.

Лаврентий Зизаний опубликовал также букварь под названием «Наука ку читанию к разумению писма словенского» (Вильна, 1596). В составе этого пособия находился знаменитый словарь «Лексис сиречь речения вкратце собранны и из славенскаго языка иа простый русский диялект истолкованы». «Лексис» Лаврентия Зизания был одной из первых попыток зарегистрировать наиболее употребительную в XVI в. лексику старославянского языка и дать ей объяснение с помощью «простого русского диалекта», т. е. того литературно-письменного и разговорного языка, который сложился к концу XVI в. на территории Великого княжества Литовского на основе белорусских и украинских говоров. «Лексис» Лаврентия Зизания переиздан фототипическим способом Институтом языкознания АН УССР в Киеве в 1964 г. Лаврентий Зизаний напечатал в 1627 г. в Москве богословское сочинение, имеющее лингвистическое значение: «Книга, глаголемая по гречески катихизис. По литовски оглашение. Римским же языком нарицаем беседословие».

Из литературы о Лаврентии Зизании: *Виноградов В. В.* Толковые словари русского языка. — В кн.: Язык газеты. М.—Л., 1941, с. 359—360; *Ковтун Л. С.* Русская лексикография эпохи средневековья. М.—Л., 1963; *Анічэнка У. В.* «Граматыка» Л. Зізанія.— Весці АН БССР, Мінск, 1957, № 4, с. 93—105; *Цейтлин Р. М.* Краткий очерк истории русской лексикографии (словари русского языка). М., 1958, с. 11—12.

*8 *Савватий Тейща* (в миру Терентий Васильев) — справщик Московского печатного двора, автор сочинений, касающихся исправления книг, челобитных и посланий.

Из новой литературы о справщике Савватии: *Будовниц И. У.* Словарь русской, украинской, белорусской письменности и литературы до XVIII века. М., 1962, с. 283.

*9 Полное заглавие трактата: «О исправлении в прежде печатных книгах Минеах некиих бывших погрешений в речениях, и о по зависти диавольстей бывшей на тая исправления лживой клевете, и о препятии дела онаго святого».

*10 *Сильвестр Медведев* (в миру Семен Медведев; 1641—1690) — поэт, публицист и переводчик, автор панегирических стихов «Приветство брачное» (1682), «Вручение привилегии на Академию» (1685), «Епитафион» (1680), полемических сочинений, посланий и писем.

Произведения Сильвестра Медведева опубликованы в кн.: Вирши. Силлабическая поэзия XVII—XVIII веков. Сб. под ред. П. Н. Беркова. Л., 1935.

Из новой литературы о Сильвестре Медведеве: *Панченко А. М.* Русская стихотворная культура XVII в. Л., 1973.

*11 *Симеон Полоцкий* (в миру С. Е. Петровский — Ситнианович; 1629—1680) — филолог, писатель, переводчик, педагог, печатник. В 1656 г. стал монахом Богоявленского монастыря в Полоцке, принял имя Симеон Полоцкий, которое стало его литературным псевдонимом, был учителем и воспитателем царевича Федора, царевны Софьи и малолетнего Петра I. В 1678 г. открыл в Москве типографию. В 1680 г. принимал участие в обсуждении проекта создания академии — первого высшего учебного заведения в России. Своей литературной, научной и педагогической деятельностью оказал большое влияние на нормализацию литературного языка, способствовал распространению гуманитарных и филологических знаний в России. Симеон Полоцкий написал много произведений в самых различных жанрах: поэтические сборники «Вертоград многоцветный» (1677—1678), «Псалтырь рифмотворная» (1680), «Рифмологион», декламации «Метры» (1655), пьесу «Комедия о блудном сыне», сочинений «Обед душевный» (1681) и «Вечеря душевная» (1683), устав академии и т. д. Из лингвистических его сочинений следует назвать «Букварь языка словенска» и рукописную «Риторику».

Из литературы о Симеоне Полоцком: *Еремин И. П.* Поэтический стиль Симеона Полоцкого.— ТОДРЛ, 1948, т. 6, с. 125—163; *Еремин И. П.* «Декламации» Симеона Полоцкого.— ТОДРЛ, 1951, т. 8, с. 354—361; *Еремин И. П.* Симеон Полоцкий — поэт и драматург. — В кн.: *Симеон Полоцкий.* Избр. соч. М.—

Л., 1953, с. 223—260; *Лихачев Д. С.* Человек в литературе Древней Руси. М.— Л., 1958; *Панченко А. М.* Слово и знание в эстетике Симеона Полоцкого.— ТОДРЛ, 1970, т. 25, с. 232—341; *Прашкович Н. И.* Из ранних декламаций Симеона Полоцкого («Метры» и «Диалог краткий») — ТОДРЛ, 1965, т. 21, с. 29—39; *Робинсон А. Н.* Борьба идей в русской литературе XVII века. М., 1974.

*12 Цитата уточнена. В. В. Виноградов приводит отрывок из виршей предисловия к «Рифмологиону» Симеона Полоцкого по следующему изданию: *Майков Л. Н.* Очерки из истории русской литературы XVII — XVIII столетий. СПб., 1889, с. 11.

*13 *Федор Максимов* (конец XVII — первая половина XVIII в.), учитель Новгородской греко-славянской школы, основанной митрополитом Иовом. В истории языкознания Ф. Максимов известен как автор учебного пособия «Грамматика славенская в кратце собранная в греко-славенской школе, яже в Великом Новеграде при доме архиерейском» (СПб., 1723). «Славенская грамматика» Ф. Максимова освещала явления не только старославянского, но и русского языка, что способствовало сопоставительному изучению их и выработке русских норм языкового словоупотребления.

Описание «Славенской грамматики» Ф. Максимова: *Булахов М. Г.* Восточнославянские языковеды. Биобиблиографический словарь. Минск. 1976, т. 1, с. 160—161; Описание изданий, напечатанных кириллицей. 1689— январь 1725. Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич М.—Л., 1958, с. 261—264.

§ 3

*1 См. статью Сумарокова «О российском духовном красноречии».— *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе. М., 1781, ч. 6, с. 292—302.

*2 *В. Блеу* (1570—1638) — немецкий картограф, автор атласа, переведенного на русский язык в конце XVII в. Епифанием Славинецким.

§ 4

*1 *Сильвестр Коссов* (род. в конце XVI — начале XVII в.— ум. в 1657 г.) — писатель, педагог, церковный деятель, префект братской и лаврской школ в Киеве. С 1647 г. киевский митрополит. Сильвестр Коссов — автор литературных и богословско-полемических произведений «Patericon» (Киев, 1635), «Дидаскалиа, альбо наука о седми сакраментах» (Кутейна, 1637) и посланий. Цитата из сочинения Сильвестра Коссова выправлена.

Из работ о Сильвестре Коссове: *Махновець Л. Е.* Українські письменники. Біобібліографічний словник (Киев, 1960, с. 1, с. 385—389).

*2 Новое издание словаря «Синонима славеноросская» см. в кн.: «Лексис» Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская/Под ред. В. В. Німчука. Киев, 1964.

*3 *Петр Могила* (1596—1647) — писатель, основатель лаврского училища в Киеве, слившегося с братской школой и получившего позднее название Киево-Могилянской академии. Петр Могила — автор полемических сочинений и издатель теологической литературы: «Апология» (Киев, 1628), «Номоканон» (Киев, 1629), «Анфология» (Киев, 1636) и др.

*4 *Памва Берында* (г. рожд. неизв.— ум. в 1632 г.) — писатель, языковед и печатник XVI—XVII вв., в совершенстве владел многими древними и новыми языками. После 1616 г. Берында стал сотрудником типографии Киевской лавры. Здесь он написал ряд своих литературных произведений (виршей, эпитафий, панегириков и др.), предисловия и послесловия к издававшимся книгам, выпустил словарь «Лексикон славеноросский и имен толкование» (Киев, 1627; изд. 2-е. Кутеин, 1653). «Лексикон» Берынды для своего времени был обширным собранием книжнославянской лексики. На его основе во второй половине XVII и в XVIII в. создавались новые словари, устанавливавшие нормы литературных языков и касавшиеся вопросов стилистики.

Из новой литературы о П. Берынде:
Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды. Биобиблиографический словарь. Минск, 1976, т. 1, с. 22—25; *Горецький П. Й.* Історія української лексикографії. Киев, 1963; *Німчук В. В.* Памва Беринда і його «Лексікон славеноросскій и имен толкованїе».— В кн.: Лексикон славеноросский Памвы Беринды. Киев, 1961.

§ 5

*[1] Перевод отрывка из «Русской грамматики» Лудольфа В. В. Виноградов сделал специально для своей книги.

*[2] *Секст Юлий Фронтин* (40—103) — римский военный писатель. Труд его «О случаях военных» переводился в России в конце XVII — начале XVIII в.

*[3] *Иоанникий Галятовский* (г. рожд. неизв.— 1688) — писатель, ритор и церковный деятель, автор многочисленных литературных, полемических и богословских сочинений, среди которых особое место занимает сборник его проповедей «Ключ разумения» (Киев, 1659 и 1660; Львов, 1663 и 1665). В приложении к этому сборнику помещена риторика Галятовского «Наука албо способ зложення казаня», оказавшая влияние на развитие жанров и словоупотребление высокого стиля русского, украинского и белорусского литературных языков конца XVII в., на развитие ораторского искусства в России, на Украине и в Белоруссии.

Из новой литературы о Галятовском: *Вомперский В. П.* К истории слов *стиль* и *штиль* в русском литературном языке второй половины XVII — начала XVIII в.— В кн.: Проблемы современной филологии. Сборник статей к семидесятилетию академика В. В. Виноградова. М., 1965, с. 58—62; *Огиенко И.* Издания «Ключа разумения» Галятовского.— РФВ. 1910, № 2; *Сумцов Н. Ф.* Иоанникий Галятовский. К истории южнорусской литературы XVII в.— Киевская старина, 1884, т. 8, янв.— апр.; *Титов Хв.* Матеріали для історії книжної справи на Вкраїні в XVI—XVII вв. — Всезбірка предмов до українських стародруків.— Збірник історично-філологічного відділу Української Академії наук, № 17. Киев, 1924; *Маховець Л. Е.* Українські письменники. Біобібліографічний словник. Киев, 1960, т. 1, с. 278—286.

*[4] Материалом для создания речевых и художественных образов в русской литературе конца XVII — начала XVIII в.— метафор, аллегорий, символов, эмблем — служили многочисленные эмблематические сборники, и прежде всего книга «Символы и эмблемата», изданная по распоряжению Петра I в 1705 г. в Амстердаме и широко распространенная в России. По понятиям того времени, эмблема — это условное изображение идеи в рисунке или пластике, а символ — выражение ее в словесном метафорическом или аллегорическом описании. Так, например, в этой книге к эмблеме — изображению ежа помещены три речевых символа: «Честь и крепость все на оружие», «Столько оружия, сколько и неприятелей» и «Кругом меня бойся».

*[5] *Стефан Яворский* (в миру Семен Иванович; 1658—1722) — писатель, публицист, педагог, церковный деятель, президент Славяно-греко-латинской академии в Москве, автор полемического сочинения «Камень веры» (1718 г., опубл. в 1728 г.), проповедей, торжественных и приветственных речей. Стефан Яворский составил на латинском языке учебник риторики «Рука риторическая», который в 1705 г. перевел на русский язык Ф. Поликарпов.

Библиография сочинений Стефана Яворского и литература о нем: История русской литературы XVIII века. Библиографический указатель/Под ред. П. Н. Беркова. Л., 1968, с. 408—411; *Маховець Л. Е.* Українски письменники. Біобіблиографічний словник. Киев, 1960, т. 1, с. 605—611.

*[6] В. В. Виноградов имеет в виду истолкование предмета речи «жезл правления» через семантику изобретаемых доказательств, основанных на ассоциативно-тематических связях в «Предисловии» к кн.: *Симеон Полоцкий.* Жезл правления. М., 1733, л. 1—13—об. Первое издание этой книги напечатано в Москве в 1666 г.

*[7] Новое издание панегирика Иосифа Туробойского «Преславное торжество освободителя Ливонии» см. в кн.: Панегирическая литература петровского времени/Под ред. О. А. Державиной. М., 1979, с. 150—180).

§ 6

*[1] Для изучения процессов взаимодействия и взаимовлияния книжнославянской и народноразговорной речи в русском литературном языке XVII в., для исследования вопросов формирования официально-делового и общественно-публицистического стилей большое значение имеет публикация Н. И. Тарабасовой,

В. Г. Демьяновым и А. И. Сумкиной под редакцией С. И. Коткова рукописной русской газеты XVII в. в кн.: Вести-куранты 1600—1639 гг. М., 1972; Вести-куранты 1642—1644 гг. М., 1976; Вести-куранты 1645—1648, 1648 гг. М., 1980.

*2 См. издание текстов путешествий русских послов в кн.: Путешествия русских послов XVI—XVII вв. Статейные списки. М.—Л., 1954.

*3 *Г. К. Котошихин* (1630—1667) — писатель, подьячий Посольского приказа, автор сочинения «О России в царствование Алексея Михайловича», которое является ценным источником по истории государственного строя России, быта и обычаев народа.

*4 В. В. Виноградов цитирует произведения Кантемира по изданию: *Кантемир А. Д.* Сочинения, письма и избранные переводы/Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1867, т. 1, с. 288, 284, 285, 291, 293.

§ 7

*1 Из новой литературы о непонятных иностранных словах в старорусских словарях и азбуковниках: *Ковтун Л. С.* Русская лексикография эпохи средневековья. М.—Л., 1963; *Ковтун Л. С.* Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в., Л., 1975; *Алексеев М. П.* Словари иностранных языков в русских азбуковниках XVII в. Исследование, тексты, комментарии. М., 1968.

§ 10

*1 *Федор Иванов* (казнен в 1682 г.) — справщик Московского печатного двора, расколоучитель, автор посланий, челобитных, сочинений, сказания об Аввакуме, Лазаре и Епифании.

*2 *Епифаний* (казнен в 1682 г.) — расколоучитель, писатель. Епифаний создал свое «Жизнеописание», в котором традиционный литературный жанр жития подвижника, посмертно канонизированного церковью, был превращен в полемически заостренную автобиографию живого человека, хорошо известного современникам.

Из новой литературы о творчестве Епифания: *Робинсон А. Н.* Жизнеописания Аввакума и Епифания. Исследование и тексты. М., 1963; *Робинсон А. Н.* Житие Епифания как памятник дидактической автобиографии. — ТОДРЛ. М.—Л., 1958, т. 15, с. 203—224; *Робинсон А. Н.* Автобиография Епифания.— В кн.: Исследования и материалы по древнерусской литературе. М., 1961.

*3 *Аввакум Петрович* (1620 или 1621 — казнен в 1682 г.) — один из идеологов русского старообрядчества, возглавлявший церковный раскол, писатель. Входил в кружок «ревнителей благочестия», близкий ко двору царя Алексея Михайловича. Выступил против церковных нововведений патриарха Никона, что навлекло на Аввакума гонения: был сослан в Тобольск, Даурию, находился в Пустозерском остроге. Аввакум написал свыше 50 сочинений (беседы, поучения, богословские произведения, послания и др.). Самое известное «Житие протопопа Аввакума», изданное им самим между 1672—1675 гг. (существуют три редакции), является ценным памятником литературы и литературного языка, первым в русской литературе опытом пространной автобиографии, написанной живым, близким к народной речи языком.

Из новой литературы о творчестве Аввакума: *Комарович В. Л.* и *Лихачев Д. С.* Протопоп Аввакум. — В кн.: История русской литературы. М.—Л., т. 2, ч. 2, с. 302—322; *Малышев В. И.* Библиография сочинений протопопа Аввакума и литературы о нем 1917—1953 годов.— ТОДРЛ. М.—Л., 1954, т. 10, с. 435—446; *Гусев В. Е.* «Житие» протопопа Аввакума — произведение демократической литературы XVII в. — ТОДРЛ. М. — Л., 1958, т. 14, с. 380—384.

*4 См. также более позднюю работу В. В. Виноградова, посвященную изучению стиля Аввакума: *Виноградов В. В.* К изучению стиля протопопа Аввакума, принципов его словоупотребления.— ТОДРЛ. М.—Л., 1958, т. 14, с. 371—379.

*5 Текст риторики начала XVII в. В. В. Виноградов цитирует по следующему источнику: *Филонов А.* Русские учебники по теории прозаических сочинений.— ЖМНП, 1856, № 4, отд. 2, с. 22, 23.

*6 Словарь русского языка (Пг., 1922, вып. 1, т. 3, с. 107) приводит следующие значения слова *игрец* в русских народных говорах: «1. Тот, кто «игра-

ет»: актер, виртуоз-музыкант, шут, плясун, скоморох, акробат, игрок в какие-нибудь корыстные игры (карты, кости и т. д.). 2. Нечистый или злой дух, бес, черт, домовой (особенно в конюшне). 3. Истерический припадок, во время которого кричат странными голосами. 4. Паралич ног или крестца».

§ 11

*[1] В. В. Виноградов имеет в виду два письма Петра I к патриарху Адриану, написанные в 1696 г. См.: Письма и бумаги Петра Великого. СПб., 1887, т. 1, с. 80, 93.

*[2] См. другое исследование Б. А. Ларина и публикацию им «Русско-английского словаря» Ричарда Джемса — важнейшего источника о русском разговорном языке и северно-русской диалектной речи начала XVII в.— в кн.: *Ларин Б. А.* Русско-английский словарь — дневник Ричарда Джемса (1618—1619 гг.). Л., 1959.

§ 13

*[1] Цитируется вступительная статья Б. А. Ларина «О Генрихе Лудольфе и его книге». — *Генрих Вильгельм Лудольф.* Русская грамматика. Оксфорд, 1696. Переиздание, перевод, вступительная статья и примечания Б. А. Ларина. Л., 1937, с. 38.

*[2] См. новые работы, посвященные изучению русского литературного языка XVII — начала XVIII вв.: Начальный этап формирования русского национального языка. Сб. Л., 1961; Из истории слов и словарей. Очерки по лексикологии и лексикографии. Сб. Л., 1963; *Иссерлин Е. М.* Лексика русского литературного языка XVII в. М., 1961; *Якубинский Л. П.* Краткий очерк зарождения и первоначального развития русского национального литературного языка (XV—XVII вв.) — Уч. зап. ЛГПИ, 1956, т. 15, вып. 4, с. 3—35; *Волков С. С.* Лексика русских челобитных XVII в. (формуляр, традиционные, этикетные и стилевые средства). Л., 1974; *Котков С. И.* Московская речь в начальный период становления русского национального языка. М., 1974; *Толстой Н. И.* Роль древнеславянского литературного языка в истории русского, сербского и болгарского литературных языков в XVII—XVIII вв. — В кн.: Вопросы образования восточнославянских национальных языков. М., 1962, с. 5—21.

Глава II

§ 1

*[1] Словарь В. К. Тредиаковского помещен на полях его сочинения «Слово о мудрости, благоразумии и добродетели» в кн.: *Тредиаковский В. К.* Сочинения и переводы как стихами, так и прозою. СПб., т. 2, с. 237—308. Ср. французские параллели к этому словарю под названием «Французский с латинского и греческого перевод философическим званиям, в сем слове употребленным по-славенски» в том же издании «Сочинений и переводов» В. К. Тредиаковского (с. 309—315).

*[2] *Гавриил Бужинский* (1680-е годы — 1731) — руководитель Петербургской типографии, церковный деятель, автор «Панегирика» Петру I, составитель книги «Юности честное зерцало». Вместе с И. Кречетовским перевел книгу немецкого правоведа и историка С. Пуффендорфа «О должности человека и гражданина по закону естественному». Ему принадлежат переводы книг С. Пуффендорфа «Введение в историю европейскую» и Эразма Роттердамского «Дружеские разговоры».

§ 2

*[1] В предыдущем издании В. В. Виноградов цитировал предписание Петра Великого соблюдать требование ясности, понятности переводов по неточной публикации П. П. Пекарского (ср. неправильное «но точию сни выразумев» вместо верного «но точию сенс выразумев») в кн.: *Пекарский П. П.* Наука и литерату-

ра при Петре Великом. СПб., 1862, т. 1, с. 227. В настоящем издании восстановлена правильная цитата из распоряжения Петра I на основе публикации оригинала документа: Письма и бумаги Петра Великого. М.—Л., 1950, т. 9, вып. 1, с. 106. Слово сенс восходит к латинскому sensus — смысл, понимание, значение.

*[2] *Я. В. Брюс* (1670—1735) — государственный деятель, ученый, занимался математикой, астрономией, физикой. Он перевел книги Х. Гюйгенса «Космотеорос» (СПб., 1717; М., 1924), В. Севела «Искусство нидерландского языка» (СПб, 1717). Ему приписывали составление так называемого Брюсова календаря.

§ 3

*[1] Из новых работ по проблемам языковых контактов и иноязычных лексических заимствований в русском языке XVIII в. см.: *Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Кутина Л. Л.* Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. Л., 1972; *Веселитский В. В.* Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII — начала XIX в. М., 1972.

*[2] Вопросам становления терминологии русской науки первой трети XVIII в. посвящены работы Л. Л. Кутиной «Формирование языка русской науки (терминология математики, астрономии, географии в первой трети XVIII века) (М.—Л., 1964) и «Формирование терминологии физики в России. Период предломоносовский: первая треть XVIII века» (М.—Л., 1966).

*[3] См. новую публикацию сочинения В. Н. Татищева под названием «Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах» в кн.: *Татищев В. Н.* Избр. произв. Л., 1979, с. 51—132. Публикацию рукописного лексикона В. Н. Татищева см.: *Аверьянова А. П.* Рукописный лексикон Татищева.— Уч. зап. ЛГУ, 1957, № 197, вып. 23.

*[4] Полное заглавие: Разговоры о множестве миров господина Фонтенелла, парижской академии секретаря. С французского перевел и потребными примечаниями изъяснил князь Антиох Кантемир в Москве в 1730 году (СПб., 1740). См. также другое издание этого сочинения в кн.: *Кантемир А. Д.* Сочинения, письма и избранные переводы/Под ред. П. А. Ефремова. СПб, 1868, т. 2, с. 390—429.

§ 5

*[1] Полное название: Письма русских государей и других особ царского семейства. М., 1862, т. 3. Переписка царевича Алексея Петровича и царицы Евдокии Федоровны, с. 1, 31.

*[2] Полное название этого издания: Журнал или подденная записка блаженные и вечно достойные памяти государя императора Петра Великого с 1698 г. даже до заключения Нейштадского мира. СПб., ч. 1—2, 1770—1772.

*[3] См.: Письма и бумаги Петра Великого. СПб., 1887, т. 1, с. 149.

*[4] См.: Письма и бумаги Петра Великого. СПб., 1889, т. 2, с. 123.

§ 6

*[1] В настоящем издании уточнены инициалы князя Б. И. Куракина и название его сочинения. См.: Гистория о царе Петре Алексеевиче. 1682—1694. Сочинение князя Б. И. Куракина.— В кн.: Архив князя Ф. А. Куракина. СПб., 1890, кн. 1, с. 66. Это же сочинение опубликовано в статье М. И. Семевского «Село Надеждино и архив кн. Ф. А. Куракина в 1888 и 1890 гг.» — Русская старина, 1890, т. 68, № 10, с. 228—260.

*[2] Дневник князя Б. И. Куракина носит название: Жизнь князя Б. И. Куракина, им самим описанная. 1676 — июля 20-го 1709 гг. — В кн.: Архив князя Ф. А. Куракина. СПб., кн. 1, 1890, с. 278.

*[3] Уточнена цитата из сочинения В. Н. Татищева по изданию: *Пекарский П. П.* История Академии наук в Петербурге. СПб., 1873, т. 2, с. 52. Вместо напечатанного в предыдущем издании «никакое иноязычное слово ниже риторическое сложение в законах употребляться может» должно быть «никакое иноязычное слово ниже риторическое сложение в законах употребляться не может».

*4 Полное название: Генеральные сигналы надзираемые во флоте во время бою. Напечатаны повелением царского величества на российском и галанском языках (СПб., 1714). Содержание этого издания совпадает с более ранним изданием: Генералные сигналы, надзираемые во флоте его царского величества (М., 1708).

*5 Уточнено название издания и его цитирование. Полное заглавие: Книга устав морской, о всем что касается доброму управлению, в бытности флота на море (СПб., 1720).

*6 Уточнена фамилия автора. Полное заглавие книги: Описание артилерии. В ней же сокращенно написася все, еже к начинанию артилерийского ведомства, и основания ея, хотящему у сего дела быти, ведати подобает. Зело прилично всем хотящим от младых лет потщатися в сей науке своего искати счастия, и как пушкарям, бомбардирам, и над теми людми началником, искусным быть. Чинно описано, и пристойными лицами украшено, всем сея наука охочим на пользу. Чрез Тимофея Бринка, Артилерийского дела Капитана. Ныне иовопереведеся с галанского языка на славенский. М., 1710.

*7 *П. П. Шафиров* (1669—1739) — дипломат петровского времени, писатель, автор сочинения на международно-политическую тему «Рассуждение, какие законные причины его царское величество Петр I, царь и повелитель всероссийский, к начатию войны против короля Карола XII шведского 1700 году имел», в котором изложена история русско-шведских отношений с 1556 г. по 1714 г.

*8 «Книга систима, или состояние мухаммеданския религии» Дмитрия Кантемира была переведена с латинского на русский язык И. И. Ильинским при помощи Д. Грозина и напечатана в Санкт-Петербурге в 1722 г. И. И. Ильинский — один из составителей русской части «Немецко-латинского и русского лексикона» Эренрейха Вейсмана (СПб., 1731).

§ 7

*1 Издательство «Художественная литература» и Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина напечатали в 1976 г. факсимильное издание русского перевода книги «Юности честное зерцало или показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов» (СПб., 1717).

*2 В. В. Виноградов цитирует разъяснения терминов и объяснение непонятных слов по изданию: Разговоры о множестве миров господина Фонтенелла, парижской академии секретаря. С французского перевел и потребными примечаниями изъяснил князь Антиох Кантемир в Москве в 1730 г. СПб., 1740. См. также: *Кантемир А. Д.* Сочинения, письма и избранные переводы/Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1868, т. 2, с. 421, 425, 411.

§ 8

*1 Цитата из письма Дмитрия Ростовского выправлена по оригиналу.

§ 9

*1 Понятие технологии как термина § 9 грамматики было введно в изучение церковнославянского языка и в его преподавание Ф. Поликарповым. Переиздавая «Славенскую грамматику» — Мелетия Смотрицкого (М., 1721), он в приложении к ней поместил специально написанную главу о грамматическом разборе под названием: «Чин технологии, сиречь художнаго собеседования о осми частех слова по вопросам и ответам употребляемаго».

*2 См. об этом: *Лудольф Г. В.* Русская грамматика. Оксфорд. 1696. Переиздание, перевод, вступительная статья и примечания Б. А. Ларина. Л., 1937, с. 113; *Тредиаковский В. К.* Соч. СПб, 1849, т. 3, с. 649—650.

§ 10

*1 «Первое учение отроком. В нем же буквы и слоги» — «Букварь», составленный Феофаном Прокоповичем. «Букварь» издавался неоднократно на протяжении всего XVIII века. Первое издание было напечатано в Санкт-Петербурге в 1720 г.

В «Предисловии» Феофан Прокопович писал, что в России были и раньше книжицы с толкованием, «но понеже славенским высоким диалектом, а не прос-

торечием написаны, да и не учено книжнцам тым отроков, того ради лишалися доселе отроцы подобающего себе воспитання». Поэтому Петр I и велел составить Феофану Прокоповичу этот «Букварь».

*2 *И. Т. Посошков* (1652—1726) — публицист, экономист. Основиой его труд — «Книга о скудости и богатстве», где излагаются взгляды на экономическое развитие России, написан выразительным языком с многочисленными элементами деловой речи.

*3 Название этой книги: Притчи Эссоповы на латинском и русском языке. Амстердам, 1700. См.: Описание изданий, напечатанных кириллицей. 1689 — январь 1725 г. Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.—Л., 1958, с. 286—289. О рукописных переводах басен Эзопа в XVIII в. см.: *Тарковский Р. Б.* Старший русский перевод басен Эзопа и переписчики его текста. Л., 1975.

*4 «Разговор об ортографии» В. К. Тредиаковского цитируется по следующему изданию: *Тредиаковский В. К.* Соч. СПб., 1849, т. 3, с. 223. Полное название этого труда: *Тредиаковский В. К.* Разговор между чужестранным человеком и российским об ортографии старниной и новой и о всем что принадлежит к сей материи. СПб., 1748.

§ 11

*1 *И. А. Желябужский* (1638—1709) — государственный деятель, писатель, автор «Записок» о жизни России петровского времени.

*2 *В. А. Нащокин* (1690-ые гг.— 1760) — генерал-лейтенант, автор «Записок» о жизни России времен Петра I и Елизаветы Петровны.

*3 В. В. Виноградов имеет в виду «Предисловие» к «Букварю» Ф. Поликарпова в следующем издании: *Ф. Поликарпов.* Букварь. М., 1701, лл. 3—5.

§ 12

*1 Автор «Книги лексикон или собрание речей по альфавиту с российского на голанский язык» Я. В. Брюс. «Лексикон» составляет часть переведенной Брюсом книги голландского лингвиста Вилима Севела «Искусство нидерландского языка» (СПб., 1717).

*2 Здесь речь идет о предисловии, которое написал Ф. Поликарпов, для третьего издания «Славенской грамматики» Мелетия Смотрицкого (М., 1721).

§ 13

*1 См. примечание *1 к § 3 гл. II.

§ 15

*1 *Г. Н. Теплов* (1720—1770) — адъюнкт Академии наук в Петербурге, писатель, переводчик. Автор книги «Знания вообще до философии касающиеся» и сочинений по русской грамматике.

*2 Источник цитирования: *Тредиаковский В. К.* Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю в 1750 г. в Санкт-Петербурге. — В кн.: *Куник А. А.* Сборник материалов по истории императорской Академии наук в XVIII веке. СПб., 1865, ч. 1—2, с. 461. См. также: *Тредиаковский В. К.* Стихотворения/Под ред. А. С. Орлова. Л., 1935, с. 373—374.

*3 «Слово о богатом, различном, искусном и несхотственном витийстве» В. К. Тредиаковского опубликовано отдельным изданием (СПб., 1745) и в кн.: *Тредиаковский В. К.* Соч. СПб., 1849, т. 3, с. 541—605.

§ 16

*1 *Грот Я. К.* Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне.— В кн.: *Грот Я. К.* Филологические разыскания. СПб., 1899, с. 600.

*2 О полемике по вопросу о том, как должны писаться прилагательные в

формах именительного падежа множественного числа см.: *Вомперский В. П.* Ненапечатанная статья В. К. Тредиаковского «О множественном прилагательных целых имен окончении».—ФН, 1968, № 5, с. 81—90.

§ 17

*1 См.: *Перетц В. Н.* Очерки по истории поэтического стиля в России. Эпоха Петра Великого и начало XVIII столетия. I—IV.— ЖМНП, 1905, № 10, с. 14.

*2 См.: *Майков Л. Н.* Очерки из истории русской литературы XVII—XVIII столетий. СПб., 1889, с. 105.

*3 См.: *Перетц В. Н.* Очерки по истории поэтического стиля в России. Эпоха Петра Великого и начало XVIII столетия, I—IV, с. 13—15. См. также: *Семевский М. И.* Царица Катерина Алексеевна, Анна и Вилим Монс. 1692—1724. СПб., 1884, с. 98.

*4 Исправлена ошибка в названии стихотворения В. К. Тредиаковского «Прошение любве» (см.: *Тредиаковский В. К.* Избр. произв. Вступительная статья и подготовка текста Л. И. Тимофеева. М.—Л., 1963, с. 34).

*5 См. новую публикацию повестей Петровского времени в кн.: Русские повести первой трети XVIII в. Исследование и подготовка текстов Г. Н. Моисеевой. М.—Л., 1965.

*6 *А. Т. Бологов* (1738—1833) — писатель, журналист, автор записок о быте провинциального дворянства России в 1789—1816 гг., опубликованных под названием «Жизнь и приключения Андрея Болотова».

*7 См.: *Перетц В. Н.* Очерки по истории поэтического стиля в России. Эпоха Петра Великого и начала XVIII столетия. I — IV, с. 33.

§ 18

*1 Уточнено французское название романа Paul Tallement. Роман «Езда в остров Любви» В. К. Тредиаковского был издан тремя отдельными изданиями (СПб., 1730; СПб., 1778; М., 1834) и в «Сочинениях» В. К. Тредиаковского (Т. 1—3. СПб., Изд. А. Смирдина, 1849). Предисловие от переводчика цитируется по изданию: *Тредиаковский В. К.* Соч. СПб., 1849, т. 3, с. 649—650. См. также: *Тредиаковский В. К.* Стихотворения/Под ред. А. С. Орлова. Л., с. 324—325.

*2 Сочинение Тредиаковского находится в рукописи и представляет собой перевод с латинского языка книги И. Э. Ниремберга «Апофегматы, или речи краткие и сильные». См.: *Пекарский П. П.* История императорской Академии наук в Петербурге. СПб., 1873, т. 2, с. 101—103.

*3 Цитата уточнена по изданию: *Тредиаковский В. К.* Соч. СПб., 1849, т. 1, с. 746—747.

*4 Речь «О чистоте российского языка» В. К. Тредиаковского опубликована также в отдельном издании под названием: «Речь, которую в Санкт-Петербургской императорской Академии наук к членам Российского собрания во время первого оных заседания марта 14 дня 1735 года говорил Василий Тредиаковский Санкт Петербургския имп. Академии наук секретарь» (СПб., 1735) и в кн.: *Тредиаковский В. К.* Сочинения и переводы как стихами так и прозою. СПб., 1752, т. 2, с. 7—19. См. также: *Тредиаковский В. К.* Стихотворения/Под ред. А. С. Орлова. Л., 1935, с. 328—331.

*5 См.: *Куник А. А.* Сборник материалов по истории императорской Академии наук в XVIII веке. СПб., 1865, ч. I—II, с. 435—496.

§19

*1 В. В. Виноградов цитирует «Предъизъяснение об ироической пииме» по следующему изданию: *Тредиаковский В. К.* Тилемахида или странствование Тилемаха, сына Одисеева. СПб., 1766, т. 1, с. LI, LXI.

*2 См.: *Куник А. А.* Сборник материалов по истории императорской Академии наук в XVIII веке. СПб., 1865, ч. 1—2, с. 495—496. См. также: *Тредиаковский В. К.* Стихотворения/Под ред. А. С. Орлова. Л., 1935, с. 402.

*[3] В. В. Виноградов цитирует здесь статью А. П. Сумарокова «О правописании» по изд.: *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе. М., 1787, ч. 10, с. 15.

Глава III

§ 2

*[1] Утверждение Виноградова о знакомстве Ломоносова с античной, возрожденческой и старорусской филологической традицией нашло подтверждение теперь, когда найдены библиотека и архив М. В. Ломоносова, обнаружены книги и старорусские рукописи с заметками ученого. Ломоносовым не только критически осмыслена и усвоена вся предшествующая филологическая традиция, но и на этой основе создана собственная оригинальная лингвистическая теория. О находке библиотеки и архива М. В. Ломоносова и его маргиналиях см.: *Коровин Г. М.* Библиотека Ломоносова. М.—Л., 1961; *Кулябко Е. С., Бешенковский Е. Б.* Судьба библиотеки и архива М. В. Ломоносова. Л., 1975; *Моисеева Г. Н.* Ломоносов и древнерусская литература. Л., 1971.

*[2] Проблемам изучения старопечатного «Пролога», выходившего на протяжении XVII — начала XVIII в. в одиннадцати изданиях, а именно особенностям прозаического изложения в «Прологе», историко-культурным и литературным реминисценциям в нем, посвящена коллективная монография под редакцией А. С. Демина «Литературный сборник XVII века «Пролог» (М., 1978).

*[3] П. Н. Берков предполагал, что М. В. Ломоносов написал сочинение «О качествах стихотворца рассуждение». Но вопрос об авторстве М. В. Ломоносова в данном случае является дискуссионным. Это приписываемое ему рассуждение не вошло, например, в «Полное собрание сочинений» (Т. I—X. М.—Л., 1950—1959) — наиболее авторитетное издание сочинений великого ученого.

*[4] В. В. Виноградов цитирует «Предисловие о пользе книг церьковных в российском языке» по изд.: *Ломоносов М. В.* Соч./Под ред. М. И. Сухомлинова. СПб., 1898, т. 4, с. 225—232. См. эту работу в новейшем издании: *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. М.—Л., 1952, т. 7, с. 586—592. Цитаты из «Предисловия о пользе книг церьковных в российском языке» выправлены.

§ 3

*[1] К рассмотрению вопросов стилистики русского языка в трудах М. В. Ломоносова В. В. Виноградов возвращался позднее и в других работах. В «Прибавлениях» к своей книге «Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика» (М., 1963) — он напечатал статью «Проблемы стилистики русского языка в трудах М. В. Ломоносова». Расширенный вариант статьи напечатан на украинском языке: Проблеми стилістики російської мови в працях Ломоносова.— В кн.: Ломоносовський філологичний збірник (Киев, 1963).

*[2] Работа *Е. Ф. Карского* «Значение Ломоносова в развитии русского литературного языка» (Варшава, 1912) опубликована в кн.: *Карский Е. Ф.* Труды по белорусскому и другим славянским языкам. М., 1962, с. 177—187.

*[3] Проблема диалектизмов в стиле произведений М. В. Ломоносова рассмотрена в работах: *Кузнецов П. С.* Ломоносов и русская диалектология.— В кн.: Бюллетень диалектологического сектора Института русского языка АН СССР, 1949, вып. 5, с. 102—116; *Пирцхалава Г. А.* Диалектизмы в одах М. В. Ломоносова.— В кн.: Труды Сухумского педагогического института, 1966, т. 18—19; *Попов А. И.* К вопросу о диалектизмах в языке Ломоносова.— Изв. АН СССР СЛЯ, 1965, т. 24, вып. 5, с. 421—426.

*[4] *Е. И. Станевич* (1775—1835) — писатель, последователь А. С. Шишкова, противник карамзинистского направления в литературе, автор критических сочинений «Способ рассматривать книги и судить о них» (М., 1808) и «Рассуждение о русском языке» (Ч. 1, 2. М., 1808).

§ 4

*[1] Цитата уточнена. См.: *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. М.—Л., 1952, т. 7, с. 608.

*[2] См.: *Тургенев И. С.* Собр. соч. М., 1956, т. 8, с. 219.

*[3] Автором грамматики русского языка, изданной на немецком языке под

названием "Anfangsgründe der Russischen Sprache" и напечатанной в приложении к словарю Эренрейха Вейсмана «Немецко-латинский и русский лексикон купно с первыми началами русскаго языка» (СПб., 1731), был Адодуров. В. Е. Адодуров — переводчик, языковед, преподававший в университете при Петербургской академии наук древние и новые языки, риторику, историю и математику. В конце 30-х — начале 40-х годов он написал пространную «Грамматику русского языка», оставшуюся в рукописи и до сих пор не найденную. В 1768 г. В. Е. Адодуров опубликовал «Правила российской орфографии».

Из литературы о В. Е. Адодурове: *Успенский Б. А.* Доломоносовский период отечественной русистики: Адодуров и Тредиаковский. — В Я, 1974, № 2.

*4 *А.-Л. Шлецер* (1735—1809) — немецкий историк, филолог, долго работавший в Петербургской академии наук. В 1763—1764 гг. написал по-немецки «Русскую грамматику», которая была переведена и опубликована В. Кеневичем в кн.: Сборник II отделения Академии наук. СПб., 1875, т. 13.

*5 «Российскую грамматику» М. В. Ломоносова см. в издании: *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. М.—Л., 1952, т. 7, с. 389—578.

*6 Цитата выправлена. См. также: *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. М.—Л., 1952, т. 7, с. 426.

*7 *Аполлос Байбаков* (1745—1801) — писатель, филолог, педагог, написал ряд работ по грамматике и теории словесности, среди которых «Правила пиитические», выдержавшие десять изданий (1774—1825), «Словарь пиитико-исторических примечаний» (М., 1781), «Грамматика, руководствующая к познанию славенороссийского языка» (Киев, 1794).

*8 *А. А. Прокопович-Антонский* (1762—1848) — филолог, профессор Московского университета. А. А. Прокопович-Антонский был председателем «Общества любителей российской словесности» и автором сочинений по грамматике русского языка и культуре речи.

§ 5

*1 Цитата выправлена.

*2 *А. А. Барсов* (1730—1791) — филолог, редактор «Московских ведомостей», профессор Московского университета, заведовал в Московском университете кафедрой словесности, преподавал лингвистические дисциплины и риторику. Известен как переводчик «Краткой латинской грамматики» Целлария (1762), «Сокращенного латинского языкоучения» Шеллера (1787). В 1771 г. в Москве была выпущена в свет работа А. А. Барсова «Краткие правила российской грамматики, собранные из разных российских грамматик в пользу обучающегося юношества в гимназиях Императорского Московского университета», которая впоследствии переиздавалась восемь раз. Ученик М. В. Ломоносова, Барсов развил идеи своего учителя в области норм русского литературного языка в «российской грамматике» (1784—1788 гг). См. публикацию ее текста: *Барсов А. А.* Российская грамматика/Подготовка текста и текстологический комментарий М. П. Тоболовой/Под редакцией и с предисловием Б. А. Успенского. М., 1981.

*3 *В. П. Светов* (1744—1783) — языковед и переводчик, автор трудов по правописанию и русской грамматике, в которых развивал лингвистические и стилистические идеи М. В. Ломоносова. Ему принадлежат работы: «Опыт нового российского правописания, утвержденный на правилах российской грамматики и на лучших примерах российских писателей» (М., 1773), «Краткие правила ко изучению языка российского, с присовокуплением кратких правил российской поэзии или науки писать стихи, собранные из новейших писаний в пользу обучающегося юношества Васильем Световым» (М., 1790).

*4 В. В. Виноградов здесь имеет в виду «Российскую грамматику, сочиненную Российской академией» (СПб., 1809).

*5 *П. И. Соколов* (1764 или 1766—1835 или 1836) — языковед, педагог, академик Российской академии наук (с 1793 г.), занимался разработкой проблем русской грамматики, лексикографии, правописания. Его основные труды: Начальные основания российской грамматики (СПб., 1788; 5-е изд. СПб., 1808), Общий церковнославяно-российский словарь, ч. 1—2. (СПб., 1834), Каталог обстоятельный российским рукописным книгам (СПб., 1818). П. И. Соколов — один из авторов «Российской грамматики, сочиненной Российской Академией (1-е изд. СПб., 1802; 2-е изд. СПб., 1809).

Из литературы о Соколове см.: *Виноградов В. В.* Толковые словари русского языка. — В кн.: Язык газеты. М.—Л., 1941, с. 369—371; *Мальцева И. М.* Страничка из истории русского языкознания.— Уч. зап. Рязанского педагогического института. 1962, т. 3, с. 110—132.

§ 6

*1 *Иоганн-Кристоф Готшед* (J.-C. Gottsched, 1700—1766) — немецкий филолог. «Риторика» Готшеда принадлежит к числу трех его филологических произведений, оказавших влияние на формирование стилистики как науки в ряде европейских стран. Сохранились выписки Ломоносова из «Риторики» Готшеда. См. об этом: *Ломоносов М. В.* Соч./Под ред. М. И. Сухомлинова. СПб., 1895, т. 3, с. 33—40 второй пагинации.

*2 Языку и стилю стихотворных произведений И. Д. Дмитриева В. В. Виноградов посвятил специальную работу «Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева», опубликованную в кн.: Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М.—Л., 1949, т. 1, с. 161—278.

*3 *Н. И. Греч* (1787—1867) — писатель, филолог, педагог. Ему принадлежат учебные пособия по русскому языку и литературе для преподавателей гимназий: «Практическая русская грамматика» (СПб., 1827; 2-е изд. СПб., 1834), «Пространная русская грамматика» (СПб., 1827; 2-е изд. СПб., 1830), «Чтения о русском языке» (Ч. I, II. СПб., 1840) и другие филологические сочинения. Оценку синтаксических трудов Н. И. Греча и их роли в истории русского синтаксиса В. В. Виноградов дает в своей книге «Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потебни и Фортунатова)» (М., 1958, с. 134—162).

*4 В. В. Виноградов цитирует здесь и дальше печатную «Риторику» М. В. Ломоносова по изданию: *Ломоносов М. В.* Соч./Под ред. М. И. Сухомлинова. СПб., 1895, т. 3, с. 110—112. Рукописная и печатная риторика М. В. Ломоносова опубликованы также: *Ломоносов М. В.* Полн. собр соч. М.—Л., 1952, т. 7, с. 19—79, 89—378.

*5 См. новое исследование: *Ковтунова И. И.* Порядок слов в русском литературном языке XVIII — первой трети XIX в. М., 1969.

§ 7

*1 К изучению синтаксических воззрений Ломоносова и его роли в истории науки о русском языке В. В. Виноградов обращался неоднократно. См. такие работы В. В. Виноградова, как «Вопросы синтаксиса русского языка в трудах М. В. Ломоносова по грамматике и риторике».— В кн.: Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М.—Л.. 1951, т. 2, с. 204—218; «Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потебни и Фортунатова)». М., 1958, с. 13—35.

§ 8

*1 *В. С. Подшивалов* (1765—1813) (псевдоним А. Скворцов) — поэт, журналист, педагог, теоретик сентиментализма в русской литературе. С этих позиций он критиковал перевод произведения греческого писателя Палефата «О невероятных сказаниях», сделанный переводчиком и издателем Ф. О. Туманским в 1791 г. Перевод отличался пестрым смешением церковнославянских и приказных конструкций с формами светского и бытового языка, что было характерно для школы А. С. Шишкова. В. С. Подшивалов написал два руководства по стилистике русского языка и стихосложению: «Краткая русская просодия, или правила, как писать русские стихи» (М., 1798) и «Сокращенный курс российского слога» (М., 1796).

*2 *П. Ю. Львов* (1770—1825) — писатель карамзинского направления, автор сентиментальных и исторических повестей.

*3 *Дмитриев И. И.* Соч. СПб., 1895, т. 2, с. 205.

§ 9

*1 Новые работы, посвященные значению Д. И. Фонвизина в истории русского литературного языка и его филологическим трудам и идеям: *Горшков А. И.* Проза Д. И. Фонвизина в истории русского литературного языка (М., 1969), его

статьи: К истории стилей русского литературного языка («Письма из Франции» Д. И. Фонвизина и «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина) — Уч. зап. МОПИ. Серия Русский язык, 1967, вып. 14; О языке публицистической прозы Д. И. Фонвизина.— Уч. зап. МОПИ. Серия «Русский язык», 1968, вып. 15; Значение филологических трудов Д. И. Фонвизина в истории русского литературного языка.— Уч. зап. МОПИ. Серия Русский язык, 1969, вып. 16; О стиле прозы Д. И. Фонвизина.— РЯШ, 1972, № 5.

§ 10

*[1] *С. А. Порошин* (1741—1769) — писатель, мемуарист. Его «Записки» являются важным документом истории эпохи и русского литературного языка. Принимал участие в издании «Ежемесячных сочинений» и в журнале «Праздное время, иа пользу употребленное».

§ 11

*[1] Сочинение В. К. Тредиаковского «Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю» опубликовано также в кн.: *Тредиаковский В. К.* Стихотворения/Под ред. А. С. Орлова. Л., 1935, с. 358—403.

*[2] См.: *Морозов И.* Из неизданного литературного наследия Болотова.— Литературиое наследство. М., 1933, № 9—10, с. 177.

*[3] *Гуковский Г. А.* Литературные взгляды Сумарокова.— В кн.: *Сумароков А. П.* Стихотворения/Под редакцией А. С. Орлова. Л., 1935, с. 342.

§ 12

*[1] См. новое изданне: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1953—1959, т. 1—13.

§ 13

*[1] В «Материалах к изучению «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева» (М.—Л., 1935) помещены статья Я. Л. Баркова «А. Н. Радищев. (Жизнь и творчество)» и его комментарии «Перечень рукописей «Путешествия» (28 номеров)», «Варианты основной рукописи и текста Пушкинского дома к изданию 1790 г.», «Обзор изданий и публикаций «Путешествия» с перечнем сохранившихся экземпляров первого издания».

*[2] Статья В. А. Десницкого «Пушкин и мы» была опубликоваиа в следующих изданиях: *Пушкин А. С.* Соч. Л., 1935, с. III—XXIV; Литературный современник, 1936, № 1, с. 185—216; *Пушкин А. С.* Соч. Л., 1938, с. III—XXIV.

*[3] Из новой литературы о языке А. Н. Радищева: *Шведова Н. Ю.* Общественно-политическая лексика и фразеология «Путешествия из Петербурга в Москву».— В кн.: Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М.—Л., 1951, т. 2, с. 5—54. *Максимов Л. Ю.* Славянизмы в языке «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. — РЯШ, 1969, № 6, с. 8—15; *Вомперский В. П.* О стиле «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева.— РЯШ. 1972, № 4, с. 9—15.

Глава IV

§ 1

*[1] *Г. И. Добрынин* (1752 — год смерти неизвестен) — писатель, в его автобиографических «Записках», опубликованных в журнале «Русская старина» (1871), изображена жизнь России конца XVIII — начала XIX в. и даиы колоритные портреты многих деятелей русской культуры того времени.

§ 2

*[1] В. В. Виноградов цитирует предисловие «К читателю» В. К. Тредиаковского по изд.: *Тредиаковский В. К.* Сочинения и переводы как стихами так и прозою. СПб., 1752, т. 1.

§ 3

*[1] *Г. П. Каменев* (1772—1803) — писатель. Его переводные и оригинальные стихи и повести печатались в «Музе» (1796), «Ипокрене» (1799—1801), «Новостях русской литературы» (1802). Был членом «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», в «Периодическом издании» которого (ч. 1, 1804) была впервые напечатана стихотворная богатырская повесть «Громвал» — одно из первых произведений романтизма в русской литературе.

§ 4

*[1] См.: *Карамзин Н. М.* Соч. СПб., 1848, т. 3, с. 526—532.

*[2] Академическая речь, произнесенная Н. М. Карамзиным 5 декабря 1818 г., помещена: *Карамзин Н. М.* Соч. СПб., 1848, т. 3, с. 648—649.

*[3] *М. И. Попов* (1742—1790) — писатель. Сотрудничал в журналах «Трутень» и «И то и сё». Ему принадлежит «Описание «Древнего славенского языческого баснословия» (1768), участвовал в издании М. Д. Чулкова «Собрание русских песен» (1770—1774), автор первой русской комической оперы «Анюта» (1772).

§ 5

*[1] Основные издания «Истории государства Российского Н. М. Карамзина см.: *Карамзин Н. М.* История государства Российского. СПб., 1818—1829, т. 1—12; СПб., 1830—1831; СПб., 1833—1835; СПб., 1842—1843.

*[2] *И. И. Давыдов* (1794—1863) — филолог, деятель просвещения, академик. Ему принадлежат два больших труда: Грамматика русского языка (СПб., 1849); Опыт общесравнительной грамматики русского языка (1-е изд. СПб., 1852; 2-е изд. СПб., 1853; 3-е изд. СПб., 1854). И. И. Давыдов занимался также вопросами русской лексикологии и лексикографии.

Из литературы: *Виноградов В. В.* Из истории изучения русского синтаксиса. М., 1958, с. 203—222.

*[3] См.: *Карамзин Н. М.* Соч. СПб., 1848, т. 3, с. 600.

§ 6

*[1] *Д. В. Дашков* (1784—1839) — государственный деятель, писатель карамзинистского направления, автор сочинений «Две статьи из Лагарпа», «О легчайшем способе возражать на критику», имевших большое значение в споре о старом и новом слоге в начале XIX в.

*[2] *Дмитриев И. И.* Соч. СПб., 1895, т. 2, с. 61.

§ 7

*[1] См.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955, т. 7, с. 122.

*[2] Из новой литературы об изучении языка Н. М. Карамзина: *Иванова Т. А.* Употребление причастий в ранних произведениях Н. М. Карамзина; *Шведова Н. Ю.* Соотношение именных и членных форм прилагательных при предикативном их употреблении в художественной прозе Карамзина; *Ефимов А. И.* Фразеологический состав повести Карамзина «Наталья, боярская дочь».— В кн.: Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М.—Л., 1949, т. 1, с. 5—21, 22—50, 69—94; *Ковалевская Е. Г.* Славянизмы и русская архаическая лексика.— Уч. зап. ЛГПИ, 1958, т. 173, с. 89—108.

Глава V

§ 1

*[1] Настоящее название: *Стрекалов Н.* Очерк русской словесности XVIII столетия.

*[2] Статью В. К. Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической в последнее десятилетие» см. в новом издании: *Кюхельбекер В. К.* Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979.

*[3] См.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. 1, с. 57.
*[4] См.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. 1, с. 57.

§ 2

*[1] См.: новое издание: *Вяземский П. А.* Записные книжки (1813—1848). М., 1963.

*[2] *М. Т. Каченовский* (1775—1842) — филолог, профессор Московского университета, автор сочинений по исторической грамматике славянских языков и по русской лексикологии.

*[3] Полное название книги: *Массон К.* Секретные записки о России и, в частности, о конце царствования Екатерины II и правлении Павла I (М., 1918, т. 1).

§ 6

*[1] См.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. 1, с. 57.

*[2] В. В. Виноградов цитирует комедию А. Д. Копьева по изд.: Что наше тово нам и не нада. Комедия в одном действии. Сочиненная А. Копиевым. СПб., 1794.

*[3] См. также статью И. С. Ильинской «О языке писем Грибоедова» в «Литературном наследстве» (№ 47—48. М., 1946), посвященном А. С. Грибоедову, и новое издание комедии «Горе от ума»: *Грибоедов А. С.* Горе от ума. М., 1969.

§ 7

*[1] См. новую работу о словаре: *Сорокин Ю. С.* Разговорная и народная речь в «Словаре Академии Российской» (1789—1794 гг.). — В кн.: Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М.—Л., 1949, т. 1, с. 95—160.

*[2] *И. Ф. Калайдович* (1796—1853) — языковед, автор работ по русской грамматике и исследований по лексикологии, среди которых особый интерес представляют «Словарь синонимов» и труды по теории лексикографии.

§ 8

*[1] См. также: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.—Л., 1958, т. 7, с. 103—104.

*[2] Полное название этой повести М. Комарова: Обстоятельныя и верныя истории двух мошенников: перваго российскаго главнаго вора, разбойника и бывшаго московскаго сыщика Ваньки Каина со всеми его сысками, розысками, сумасбродною свадьбою, забавными разными его песнями и портретом его. Втораго французскаго мошенника Картуша и его сотоварищей. СПб., 1779.

*[3] Полное название повести М. Комарова: Повесть о приключении аглинскаго милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Фридерике Луизе. Изданная М. Комаровым. СПб., 1782. Эта повесть представляет собой переделку рукописной «Повести о английском милорде Гереоне и маркграфине Марцимирисе».

§ 9

*[1] См.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. 4, с. 151.

*[2] *Плетнев П. А.* Жизнь и сочинения И. А. Крылова.— В кн.: *Плетнев П. А.* Сочинения и переписка. СПб., 1885, т. 2, с. 33—34.

*[3] См.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. 4, с. 151.

*[4] К изучению языка и стиля произведений И. А. Крылова В. В. Виноградов обращался и позднее. См.: *Виноградов В. В.* Язык и стиль басен Крылова.— Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1945, т. 4, вып. 1, с. 24—52. Из новой литературы о творчестве И. А. Крылова: *И. А. Крылов.* Исследования и материалы/Под ред. Д. Д. Благого и Н. А. Бродского. М., 1947; Орлов А. С. О языке басен Крылова.— В кн.: *Орлов А. С.* Язык русских писателей. М.—Л., 1948, с. 62—121; *Гельгардт Р. Р.* Стиль писателя. Опыт восприятия и стилистической интерпретации произведений И. А. Крылова добасенного периода.— В кн.: Сборник докла-

дов и сообщений Лингвистического общества. Калинин. 1969, т. 1, вып. 1, с. 15—139.

§ 10

*[1] *Вяземский П. А.* Старая записная книжка. Л., 1929, с. 110.

Глава VI

§ 1

*[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. В 10-ти т. М., 1956—1958, т. 10, с. 189.
*[2] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 7, с. 80—81.
*[3] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 7, с. 79.
*[4] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 7, с. 172.

§ 3

*[1] По данным «Словаря языка Пушкина» (М., 1957, т. 2, с. 443) слово *куща* встречается у Пушкина четыре раза. Статью Н. М. Карамзина «Посвящение кущи» см.: *Карамзин Н. М.* Соч. СПб., 1848, т. 3, с. 675—677.

§ 4

*[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 10, с. 55, 97.
*[2] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 7, с. 27.
*[3] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 10, с. 76.
*[4] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 7, с. 631.

§ 5

*[1] Наиболее авторитетные в текстологическом отношении издания сочинений А. С. Пушкина: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. В 16-ти т. М.—Л., 1937—1949; т. 17 — справочный. М., 1959; *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. В 10-ти т. М., 1956—1958.

*[2] Неоконченная поэма Пушкина «Езерский» в рукописи не имеет названия. Озаглавил ее В. А. Жуковский и опубликовал после смерти Пушкина. В 1836 г. Пушкин напечатал несколько строф из этой поэмы в «Современнике» под названием «Родословная моего героя». В пушкиноведении эта поэма носит название «Езерский».

*[3] См. другое издание этого сочинения: *Бродский Н. Л.* Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 4-е изд. М., 1957.

§ 6

*[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т., 10, с. 153.
*[2] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 7, с. 127.
*[3] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 10, с. 487—488.
*[4] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 10, с. 191.
*[5] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 10, с. 151.
*[6] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 10, с. 171.
*[7] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 10, с. 517—518.
*[8] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 7, с. 497.
*[9] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 10, с. 404.
*[10] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 7, с. 14—15.

§ 8

*[1] См.: *Давыдов И. И.* Опыт о порядке слов.— В кн.: Труды Общества любителей российской словесности. М., 1817, ч. 9.

§ 11

*[1] В. В. Виноградов цитирует Гоголя по след. изданию: *Гоголь Н. В.* Выбранные места из переписки с друзьями. СПб., 1847, с. 223. См. также: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Л., 1952, т. 8, с. 383.

§ 12

*[1] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 7, с. 186.
*[2] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 7, с. 175.
*[3] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 7, с. 77.
*[4] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 7, с. 166.
*[5] *Вяземский П. А.* Старая записная книжка. Л., 1929, с. 279.
*[6] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 7, с. 103—104.
*[7] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 10, с. 62.

§ 13

*[1] См.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 2, с. 242. Название этого стихотворения — «С перегородкою коморки...».

*[2] В. В. Виноградов цитирует исследование Ф. Е. Корша «Разбор вопроса о подлинности окончания «Русалки» А. С. Пушкина» по изданию: ИОРЯС, 1898, т. 3, кн. 3, с. 633—705; 1899, т. 4, кн. 1, с. 1—100; кн. 2, с. 435—588.

*[3] *Рефутация* — опровержение (передача французского réfutation в стиле языка XVIII в.).

*[4] *В. Д. Комовский* (1803—1851) — переводчик, археограф, литератор, друг Пушкина.

*[5] См. новое издание «Сборника» Кирши Данилова. В кн.: «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». М., 1977.

§ 14

*[1] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Л., 1952, т. 8, с. 50.
*[2] *Тургенев И. С.* Собр. соч. М., 1956, т. 11, с. 215.
*[3] Из литературы о творчестве А. С. Пушкина, о языке и стиле его произведений, роли в истории русского литературного языка см.: Пушкин родоначальник новой русской литературы. М.—Л., 1941; Словарь языка Пушкина. В 4-х т. М., 1956—1961; Образование новой стилистики русского языка в Пушкинскую эпоху. М., 1965; *Сорокин Ю. С.* Значение Пушкина в развитии русского литературного языка.— В кн.: История русской литературы. М.—Л., 1953, т. 6, с. 329—368; *Поспелов Н. С.* Синтаксический строй стихотворных произведений Пушкина. М., 1960; Поэтическая фразеология Пушкина. М., 1969; *Ильинская И. С.* Лексика стихотворной речи Пушкина. «Высокие» и поэтические славянизмы. М., 1970; *Гуковский Г. А.* Пушкин и русские романтики. М., 1965; *Гуковский Г. А.* Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957; *Томашевский Б. В.* Пушкин. 1813—1824. М., 1956, кн. 1; Материалы к монографии. 1824—1837. М.—Л., 1961, кн. 2.

К изучению роли А. С. Пушкина в истории русского литературного языка, к исследованию языка и стиля его произведений В. В. Виноградов обращался и позднее: Стиль Пушкина. М., 1941; Пушкин — основоположник русского литературного языка.— Изв. АН СССР. ОЛЯ, т. 8, вып. 3, 1949, с. 187—215; К изучению языка и стиля пушкинской прозы (Работа Пушкина над повестью «Станционный смотритель»).— РЯШ, 1949, № 3, с. 18—22; Из истории стилей русского исторического романа.— Вопр. литературы, 1958, № 12, с. 120—140; О принципах и приемах чтения черновых рукописей Пушкина.— В кн.: Проблемы сравнительной филологии. М.—Л., 1964.

Глава VII

§ 1

*[1] *И. И. Козлов* (1779—1840) — поэт, переводчик. Увлечение литературой привело его к близкому знакомству и дружбе с А. С. Пушкиным. Успех принес-

ла поэма «Чернец». И. И. Козлов прославлял национально-освободительную борьбу в Греции, в Ирландии, гражданское мужество и отвагу. Романтико-мистическим колоритом отмечены последние произведения поэта: «Тайна», «Бренда», «Отплытие витязя». Знаменательно его обращение к теме народности в ряде произведений 30-х годов.

*2 *А. И. Подолинский* (1806—1886) — поэт. Много печатался в поэтических альманахах 20-х годов. Был близок к кругу А. А. Дельвига. Поэмы «Нищий», «Смерть Пери» написаны в подражание романтической поэзии В. А. Жуковского, сюжет поэмы «Борский» строился на мелодраматических эффектах. В поздней лирике развивал жанр философского стихотворения.

*3 *П. А. Вяземский* (1792—1878) — поэт, критик. Создал стихи, близкие к революционной поэзии декабристов: обличал деспотизм крепостников, царскую бюрократию. Некоторые его стихи печатались в «Полярной звезде» К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева. Вместе с А. С. Пушкиным принимал активное участие в литературной борьбе «Арзамаса». В конце 20-х годов участвовал в издании «Московского телеграфа», где выступил в защиту романтизма, против классицизма и литературных староверов. Активно сотрудничал в «Литературной газете» и в «Современнике», выступал против реакционно-охранительной литературы Ф. В. Булгарина и Н. Н. Греча. Политические стихи 50—70-х годов носили официозный характер и осмеивались передовыми сатирическими журналами. Вяземский — поэт высокой художественной и речевой культуры.

*4 *А. И. Полежаев* (1804—1838) — поэт. За создание сатирической поэмы «Сашка» был отдан в солдаты. Полежаев — автор лирических стихов гражданского звучания. Он ввел в русскую поэзию образ рядового солдата. Поэзия Полежаева близка творчеству декабристов и гражданской лирике М. Ю. Лермонтова.

*5 *А. И. Одоевский* (1802—1839) — поэт, участник восстания декабристов. Был заключен в Петропавловскую крепость, а затем сослан на каторжные работы в Сибирь, замененные военной службой. Один из самых популярных поэтов декабристской каторги. Слова А. И. Одоевского «Из искры возгорится пламя» в его «Ответе на послание А. С. Пушкина» (1827) стали крылатыми и определили политическое и нравственное сознание нескольких поколений русских революционеров. В стихах А. И. Одоевского звучат темы вольности народной и нравственно-философского осмысления исторического процесса («Зосима», «Старица-пророчица», «Элегия», «Василько»).

*6 *С. П. Шевырев* (1806—1864) — критик, историк литературы, поэт. Один из организаторов «Московского вестника», где печатал свои стихотворения и критические статьи. Большая часть стихотворений написана во второй половине 20-х годов, Шевырев предпринял в них попытку создать «поэзию мысли» и выступил против гладкости и благозвучия поэтической речи. С. П. Шевырев, профессор Московского университета, академик, автор научных исследований «История поэзии», «Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов», «История русской словесности, преимущественно древней». Возглавив вместе с М. П. Погодиным журнал «Москвитянин», С. П. Шевырев стал одним из теоретиков «официальной народности». Высоко ценил творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя.

*7 *А. С. Хомяков* (1804—1860) — поэт, публицист. Участвовал в издании журнала «Московский вестник» и деятельности «Общества любомудров». Поэтическое творчество А. С. Хомякова, выражавшее идеи славянофильства, проникнуто ораторским пафосом. Сборник его стихов, вышедший в 1844 г., вызвал критику В. Г. Белинского. А. С. Хомяков — автор публицистических, философско-сатирических и богословских работ.

*8 *Н. В. Кукольник* (1809—1868) — писатель. Автор стихотворений эпигонско-романтического характера и исторических пьес, проникнутых идеями монархизма. Деятельность Н. В. Кукольника как прозаика, по замечанию В. Г. Белинского, связана с натуральной школой.

*9 *А. В. Тимофеев* (1812—1883) — писатель. Повестям и драмам его свойственны напыщенность, высокопарность. Творчество А. В. Тимофеева носит эпигонско-романтический характер.

*10 *Б. Г. Бенедиктов* (1807—1873) — поэт. Его произведениям свойственны вычурность и ложноромантический пафос. В развенчании «бенедиктовщины» в русской поэзии сыграли значительную роль критические работы В. Г. Белинского.

11 См. наиболее авторитетные в текстологическом отношении последние из-

дания сочинений Лермонтова: *Лермонтов М. Ю.* Соч. В 6-ти т. М.—Л., 1954—1957; *Лермонтов М. Ю.* Собр. соч. В 4-х т. Л., 1979—1981.

§ 2

*[1] *И. И. Дмитриев* (1760—1837) — поэт. Наиболее значительный период творчества 1794—1805 гг., когда он издал сборники «И мои безделки» и «Карманный песенник, или Собрание лучших светских и простонародных песен» и «Сочинения» (ч. 1—3, 1803—1805). Поэзия Дмитриева — образец русского дворянского сентиментализма. Дмитриев стремился выработать единый для разных жанров литературы литературный язык на основе светской разговорной речи, используя при этом некоторые элементы фольклора. Его записки «Взгляд на мою жизнь» содержат ценные сведения о развитии литературного языка.

*[2] *А. А. Бестужев-Марлинский* (1797—1837) — писатель, декабрист. Вместе с Ф. Н. Глинкой был одним из руководителей «Вольного общества любителей российской словесности». Совместно с К. Ф. Рылеевым писал агитационные антиправительственные песни. В альманахе «Полярная звезда» регулярно печатал критические обзоры, сыгравшие значительную роль в борьбе с классицизмом и в утверждении романтизма. Находясь в ссылке после поражения декабрьского восстания, пишет батальные и светские повести. В последних изображаются герои, говорящие цветистым и возвышенным языком. В кавказских повестях Бестужев-Марлинский рисует романтические образы людей, наделенных страстями и исключительной храбростью. В. Г. Белинский подверг критике его романтическую прозу за риторику, внешние эффекты, излишнюю метафоричность.

§ 6

*[1] Стихотворение Лермонтова «Любил ли я в былые годы...» из альбома С. Н. Карамзиной, помещено: *Лермонтов М. Ю.* Соч. В 6-ти т. М.—Л., 1954, т. 2, с. 188.

§ 7

*[1] *М. Н. Загоскин* (1789—1852) — писатель. Дебютировал как комедиограф. В 1829 г. вышел его исторический роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», имевший большой успех. Умение Загоскина передать колорит эпохи, обрисовать быт и нравы, историческая стилизация языка — все это заслужило похвалу Пушкина и Белинского. Последующие романы Загоскина были лишены художественных и языковых достоинств первого романа.

*[2] *А. Ф. Вельтман* (1800—1870) — писатель, историк и археолог. С 1828 г. стал выступать со стихами в столичных журналах. Автор романов, имевших большой читательский успех («Странник», «Кащей Бессмертный», «Лунатик»). Оригинальностью стиля и содержания выделяется его социально-бытовой роман «Приключения, почерпнутые из моря житейского».

*[3] *А. А. Погорельский* (1787—1836) — писатель. В 1820 г. избран членом «Вольного общества любителей российской словесности», где общался с декабристами. Автор фантастических повестей «Лафертовская маковница», «Двойник», «Черная курица, или Подземные жители». В своих произведениях сделал попытку преодолеть ограниченность романтизма, что отражало процесс общего движения русской прозы к реализму.

*[4] *И. И. Лажечников* (1792—1869) — писатель. Автор исторических романов «Последний Новик», «Ледяной дом», «Басурман», высоко оцененных В. Г. Белинским и русской журналистикой. Перу И. И. Лажечникова принадлежит ряд пьес на исторические темы.

*[5] *Н. Ф. Павлов* (1803—1864) — писатель. В 20-е годы выступил как поэт и переводчик. Широкую известность ему принесли романтические повести «Именины», «Ятаган», «Демон», «Миллион», для которых характерно стремление к углубленному психологическому анализу.

*[6] *Н. А. Полевой* (1796—1846) — писатель, журналист, переводчик. Издатель журнала «Московский телеграф» (1825—1834). Редактировал вместе со А. Ф. Смирдиным журнал «Сын отечества» и «Северную пчелу» (под контролем

Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча). Он автор повестей «Живописец», «Эмма», в которых рассматривает вопрос о месте русского буржуа в дворянском обществе. Н. А. Полевой написал несколько исторических романов, в том числе «Клятва при гробе Господнем», в котором обвиняет высшее сословие в отсутствии национальных чувств.

*[7] *О. И. Сенковский* (1800—1858) — писатель, журналист, лингвист. Редактор и издатель журнала «Библиотека для чтения», где напечатал свои художественные произведения о жизни азиатских и африканских стран, сатирические, светские, бытовые повести под псевдонимом Барон Брамбеус. Консерватор по своим воззрениям, О. И. Сенковский отрицательно относился к творчеству Н. В. Гоголя и реалистическому направлению в литературе.

*[8] Воспоминания литератора С. Н. Щукина об А. П. Чехове и его оценка стиля Лермонтова первоначально были опубликованы в журнале «Русская мысль». См. позднюю публикацию этого мнения Чехова в сборнике «Чехов в воспоминаниях современников» (М., 1954, с. 542).

§ 8

*[1] Из литературы об изучении языка и стиля произведений М. Ю. Лермонтова и его роли в истории русского литературного языка: *Виноградов В. В.* Стиль прозы Лермонтова.— В кн.: Литературное наследство. М., 1941, № 43—44; *он же*: Образ повествователя в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».— Литература в школе, 1956, № 1; *Щерба Л. В.* Опыты лингвистического толкования стихотворений. II. «Сосна» Лермонтова в сравнении с ее немецким прототипом.— В кн.: *Щерба Л. В.* Избр. работы по русскому языку. М., 1957, с. 97—109; *Сухотин В. П.* Непредикативные сочетания с именами прилагательными в прозе М. Ю. Лермонтова.— В кн.: Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М., 1951, т. 2, с. 139—166.

Глава VIII

§ 1

*[1] *О. М. Сомов* (1793—1833) — литературный критик, писатель, журналист. Был близок к декабристам А. А. Бестужеву-Марлинскому и К. Ф. Рылееву. Участвовал в создании альманаха «Северные цветы», с 1830 г. был редактором «Литературной газеты». Наибольшее значение имела его критическая деятельность.

*[2] *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, с. 106.

*[3] *Толстой Л. Н.* Собр. соч. в 22-х т. М., 1978, т. 1, с. 327—333.

*[4] *И. И. Панаев* (1812—1862) — писатель. Ранняя проза принадлежит к жанру светской повести. В 40-е годы Панаев выступает в журнале «Отечественные записки» как автор физиологических очерков «Петербургский фельетонист», «Литературная тля», «Литературный заяц», в которых высмеяны нравы реакционной журналистики. Характерные особенности стиля беллетристики — публицистичность авторского повествования, сатирическая функция речевых средств, использование жаргонной и социально окрашенной лексики и фразеологии. Значительное место в творчестве И. И. Панаева занимает жанр литературной пародии. В 1847 г. вместе с Н. А. Некрасовым он основал журнал «Современник», в котором вел публицистическое и фельетонное обозрение.

*[5] *П. П. Каменский* (г. рожд. неизв.— 1870) — писатель романтической школы А. А. Бестужева-Марлинского.

§ 3

*[1] *Н. И. Надеждин* (1804—1856) — критик, эстетик, журналист, профессор Московского университета по кафедре изящных искусств и археологии. С первыми литературно-критическими статьями выступал в журнале «Вестник Европы». Издавал журнал «Телескоп», который был закрыт за опубликование «Философического письма» П. Я. Чаадаева, а сам Н. И. Надеждин был сослан в ссылку. Свои литературные позиции Н. И. Надеждин стремился обосновать философски,

рассматривая искусство как один из этапов развития духовной деятельности человека. Классицизм и романтизм считал формами анахроническими в литературе, положительно оценивая произведения реализма. Н. И. Надеждин обосновал связь истории литературы и развития литературного языка.

§ 6

*[1] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. М., 1956, т. 8, с. 8; М., 1954, т. 5, с. 356.

*[2] См. наиболее полное и в текстологическом отношении лучшее собрание сочинений А. И. Герцена: *Герцен А. И.* Собр. соч. В 30-ти т. М., 1954—1981.

*[3] *М. П. Погодин* (1800—1875) — историк, писатель, журналист, профессор Московского университета. Значительный интерес представляют его повести из жизни народа и произведения, показывающие бескультурье мелкодворянской и чиновничьей среды. В период редактирования журнала «Москвитянин» (совместно с С. П. Шевыревым) выступал как апологет официальной народности. С этих позиций осуждал натуральную школу и деятельность В. Г. Белинского и приветствовал «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя.

*[4] *Я. П. Бутков* (г. рожд. неизв.— 1856) — писатель. Автор рассказов и очерков, в которых сказалось влияние натуральной школы.

*[5] *В. Ф. Одоевский* (1803—1869) — писатель, музыкальный критик. Принимал участие в «Вольном обществе любителей российской словесности», был председателем «Общества любомудрия», занимавшегося изучением немецкой философии. Вместе с В. К. Кюхельбекером издавал альманах «Мнемозина». Сотрудничал в пушкинском «Современнике», «Северных цветах», «Московском наблюдателе». Центральное произведение Одоевского — «Русские ночи». Он автор фантастических повестей «Косморама», «Саламандра», «Беснующиеся». Перу Одоевского принадлежат светские повести «Четыре аполога», «Елладий», «Княжна Мими», «Княжна Зизи», высоко оцененные В. Г. Белинским. В 1975 г. издательство «Наука» в серии «Литературные памятники» переиздало «Русские ночи» В. Ф. Одоевского.

§ 7

*[1] *Гончаров И. А.* Собр. соч. М., 1952, т. 1.

*[2] *Толстой Л. Н.* Собр. соч. М., 1979, т. 2, с. 67—68.

*[3] *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. В 90-та т. М., 1952, т. 34, с. 350.

*[4] *Толстой Л. Н.* Собр. соч. М., 1979, т. 3, с. 91.

*[5] См.: *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. М., 1979, т. 2, с. 130.

*[6] *Толстой Л. Н.* Собр. соч. В 22-х т. М., 1979, т. 4, с. 305.

*[7] *Н. Н. Страхов* (1828—1896) — публицист, критик, философ, выступавший против материализма. В сборник «Из истории литературного нигилизма» вошли работы, в которых Страхов выступил с критикой творчества Н. Г. Чернышевского, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, обвиняя их в утилитарном подходе к искусству. Положительно оценил роман И. С. Тургенева «Отцы и дети», истолковав его как антинигилистическое произведение. Высоко ценил Достоевского, видя в нем выражение идей почвенничества. К лучшим исследованиям Страхова относятся работы о творчестве Л. Н. Толстого. Ценным материалом для истории литературы и языка является его переписка с Л. Н. Толстым.

*[8] См.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1955, т. 2, с. 167.

§ 8

*[1] *Григорович Д. В.* Полн. собр. соч. СПб., 1896, т. 1, с. 85—148.

§ 9

*[1] См. статью Пушкина «О новейших блюстителях нравственности».— В кн.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М., 1958, т. 7, с. 128—130.

*2 *А. С. Чужбинский* (1817—1875) — писатель и этнограф. Автор стихотворений, очерков и рассказов из жизни народа, романа «Петербургские игроки». Написал двухтомное этнографическое исследование «Поездка в южную Россию» (1861), «Словарь малорусского наречия» (1855).

*3 *И. В. Киреевский* (1806—1856) — публицист, критик, философ. Литературно-критическую деятельность начал в 1828 г., когда в цикле статей отметил большое значение творчества А. С. Пушкина, Н. И. Новикова, В. К. Кюхельбекера, А. А. Дельвига для русской литературы. Основал журнал «Европеец», в котором печатались лучшие литераторы того времени. В 40-е годы один из идеологов славянофильства, хотя и осуждал крайности позиции К. С. Аксакова и А. С. Хомякова.

*4 Ср. другое мнение о происхождении слова *стушеваться* в литературном языке: *Сорокин Ю. С.* Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы XIX века. М.—Л., 1965, с. 501—502.

*5 *Д. Н. Бегичев* (1786—1855) — писатель. Роман «Семейство Холмских. Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян» (ч. 1—6. М., 1832) был посвящен изображению быта московского и провинциального дворянства. Творчество Бегичева ценил Л. Н. Толстой.

§ 10

*1 См.: новое издание этих работ в кн.: *Виноградов В. В.* Избранные труды. Поэтика русской литературы. М., 1976.

*2 *Григорович Д. В.* Полн. собр. соч. СПб., 1896, т. 1.

*3 *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Л., 1952, т. 9, с. 539—576.

§ 11

*1 См.: *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. М., 1937, т. 40, с. 188.

§ 12

*1 В. В. Виноградов имеет в виду мнение А. С. Пушкина в письме А. А. Дельвигу 2 марта 1827 г. о метафизическом языке «Московского вестника»: «Ты пеняешь мне за «Московский вестник» — и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; но что делать? Собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а чёрт свое. Я говорю: господа, охота вам из пустого в порожнее переливать — все это хорошо для немцев, пресыщенных положительными познаниями, но мы...— «Московский вестник» сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая? (Впрочем, на этот метафизический вопрос можно бы и отвечать, да NB)» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М., 1958, т. 10, с. 226).

*2 *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. М., 1956, т. 10, с. 274—314.

*3 *Б. Н. Алмазов* (1827—1876) — поэт и критик. Б. Н. Алмазову принадлежат поэмы, лирические стихотворения, критические обозрения и литературные пародии.

*4 Из литературы по изучению роли В. Г. Белинского в истории русского литературного языка: *Бельчиков Ю. А.* Общественно-политическая лексика В. Г. Белинского. М., 1962; *Быстрова Е. А.* Особенности синтаксиса статей В. Г. Белинского — основоположника русского публицистического стиля.— РЯШ, 1961, № 3, с. 55—59; *Ефремов А. Ф.* Язык и стиль памфлета В. Г. Белинского «Письмо к Гоголю».— В кн.: Вопросы теории и методики изучения русского языка. Саратов, 1959, с. 9—30.

§ 13

*1 *Г. П. Павский* (1787—1863) — филолог, педагог, церковный деятель. В 1859 г. избран действительным членом Академии наук по отделению русского языка и словесности, так как внес значительный вклад в научную разработку вопросов русского языка. Изучению русского языка он посвятил монографию «Филологические наблюдения над составом русского языка. Рассуждения 1—3» (СПб., 1841—1842). Историко-филологическое значение имеет его перевод на современный русский язык «Слово о полку Игореве».

*2 См.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М., 1957, т. 10, с. 365.

Глава IX

§ 2

*1 См. наиболее полное и лучшее в текстологическом отношении издание сочинений Н. В. Гоголя: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. В 24-х т. М., 1940—1952.

§ 8

*1 *В. А. Соллогуб* (1813—1882) — писатель. Печатал рассказы в «Современнике» и в «Отечественных записках», обратившие на себя внимание В. Г. Белинского. В 40-е годы написал несколько светских сатирических повестей. Повесть «Тарантас» написана в эстетических принципах натуральной школы. В форме путевых очерков в ней даны меткие зарисовки застойного провинциального быта.

*2 Наиболее значительные работы В. В. Виноградова по изучению языка произведений Н. В. Гоголя и его роли в истории русского литературного языка, написанные им после 1938 г.: О языке ранней прозы Гоголя — В кн.: Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М., 1951, т. 2, с. 94—138; Язык Гоголя и его значение в истории русского языка.— В кн.: Материалы и сообщения по истории русского литературного языка. М., 1953, т. 3, с. 4—44.

См. также: *Шведова Н. Ю.* Принципы исторической стилизации в языке повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба».— В кн.: Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М., 1953, т. 3, с. 45—67; *Третьякова Н. П.* Работа Гоголя над языком и стилем «Тараса Бульбы» (сопоставление разных редакций повести).— Там же, с. 68—106; *Ефремов А. Ф.* Украинско-русские языковые параллели (На основе материала произведений Н. В. Гоголя.— В кн.: Вопросы славянской филологии. Саратов, 1963, с. 186—204).

Глава X

§ 1

*1 См. авторитетные в текстологическом отношении издания сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина: *Салтыков-Щедрин М. Е.* Полн. собр. соч. В 20-ти т. М.—Л., 1933—1941; *Салтыков-Щедрин М. Е.* Полн. собр. соч. В 20-ти т. М., 1965—1977.

*2 См. новое издание собрания сочинений Н. С. Лескова: *Лесков Н. С.* Собр. соч. В 21-м т. М., 1956—1958.

*3 Приводимое В. В. Виноградовым письмо Л. Н. Толстого молодому писателю Ф. Ф. Тищенко на самом деле не принадлежит Л. Н. Толстому. Автор этого письма — секретарь великого писателя В. Г. Чертков (в переписке с Ф. Ф. Тищенко он зашифрован латинской буквой N). В книге «Как учит писать граф Л. Н. Толстой?» (М., 1903, с. 14—15) Ф. Ф. Тищенко рассказывает, как он послал свою повесть «Семен-сирота» Л. Н. Толстому с просьбой сообщить о ней свое мнение. Л. Н. Толстой поручил В. Г. Черткову отрецензировать повесть и написать письмо ее автору. В. Г. Чертков подготовил письмо Ф. Ф. Тищенко, на котором Л. Н. Толстой написал: «Совершенно согласен». Аналогичные мысли высказывал Л. Н. Толстой в письме к Н. Н. Страхову от 25 марта 1872 г. (См.: *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. В 90-та т. М., 1953, с. 278).

§ 2

*1 См. авторитетное в текстологическом отношении издание сочинений Н. А. Некрасова: *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем. В 12-ти т. М., 1948—1952. Последняя книга стихов Некрасова «Последние песни» была переиздана в серии «Литературные памятники» со всеми дополнениями и вариантами: *Некрасов Н. А.* Последние песни. М., 1974.

*[2] См. одно из лучших собраний сочинений А. Н. Островского: *Островский А. Н.* Полн. собр. соч В 16-ти т. М., 1949—1953.

*[3] С 1972 г. издается «Полное собрание сочинений» Ф. М. Достоевского в 30-ти томах, которое является первым изданием сочинений писателя, подготовленным на основе критического изучения всех печатных и рукописных текстов писателя.

Из литературы о творчестве Ф. М. Достоевского, языке и стиле его художественных произведений: *Виноградов В. В.* Сюжет и архитектоника романа Достоевского «Бедные люди» в связи с вопросом о поэтике натуральной школы.— В сб.: Творческий путь Достоевского. Л., 1924, с. 49—103; *он же:* Тургенев и школа молодого Достоевского (конец 40-х годов XIX века).— Русская литература, 1959, № 2, с. 45—71; *Бахтин М. М.* Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979; *Иванчикова Е. А.* Синтаксис художественной прозы Достоевского. М., 1979.

*[4] Позднее, в 50-х годах, история слова *нигилизм* вновь привлекла к себе внимание историков литературы и русского языка. См.: *Козьмин Б. П.* Два слова о слове «нигилизм».— Изв. АН СССР ОЛЯ. 1951, т. 10, вып. 4, с. 378—385; *Батюто А. И.* К вопросу о происхождении слова «нигилизм» в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» (по поводу статьи Б. П. Козьмина «Два слова о слове «нигилизм»).— Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1953, т. 12, вып. 6, с. 520—525; *Козьмин Б. П.* Еще о слове «нигилизм» (по поводу статьи А. И. Батюто).— Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1953, т. 12, вып. 6, с. 520—528.

В 1960—1968 гг. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР выпустил в свет «Полное собрание сочинений и писем» И. С. Тургенева в 28-ми томах. С 1978 г. выпускается второе, дополненное и исправленное, издание «Полного собрания сочинений и писем» И. С. Тургенева в 30-ти томах на основе первого издания. Оно включает в себя все известное в настоящее время наследие писателя.

*[5] Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР с 1974 г. выпускает «Полное собрание сочинений и писем» А. П. Чехова в 30-ти томах, которое включает в себя все известные до настоящего времени художественные и публицистические произведения и письма писателя.

*[6] См. словарь литературных цитат и образных выражений русской литературной речи: *Ашукин Н. С., Ашукина М. Г.* Крылатые слова. М., 1955. Есть и последующие издания.

§ 3

*[1] Изучению роли М. Е. Салтыкова-Щедрина в развитии общественно-публицистического стиля русского литературного языка посвящено исследование А. И. Ефимова «Язык сатиры Салтыкова-Щедрина» (М., 1953).

*[2] См.: *Ефремов А. Ф.* Язык Н. Г. Чернышевского.— В кн.: Уч. зап. Саратовского педагогического института. 1951, вып. 14.

§ 4

*[1] См. наиболее полное издание сочинений Г. И. Успенского: *Успенский Г. И.* Полн. собр. соч. В 14-ти т. М.—Л., 1940—1954.

§ 6

*[1] В. В. Виноградов цитирует произведения Л. Н. Толстого по так называемому юбилейному изданию: *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. В 90-та т. М., 1928—1959.

*[2] Из литературы о языке и стиле произведений Л. Н. Толстого и его роли в истории русского литературного языка: *Чичерин А. В.* О языке и стиле романа-эпопеи «Война и мир». Львов, 1956; *Ковалев Вл. А.* О стиле художественной прозы Л. Н. Толстого. М., 1960; *Гельгардт Р. Р.* Л. Толстой о народности писательского языка.— В кн.: *Гельгардт Р. Р.* Избранные статьи. Калинин, 1966, с. 220—221; сб.: Язык Л. Н. Толстого. М., 1979.

§ 12

*[1] «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля издавался неоднократно. Первое издание вышло в 1863—1866 гг., второе издание было посмертным (1880—1882 гг.). Это издание повторено фотомеханическим способом в 1935 г. (М., Гослитиздат). Третье издание, осуществленное под редакцией И. А. Бодуэна-де-Куртенэ, исправленное и дополненное (см.: *Вомперский В. П.* Бодуэновское издание «Толкового словаря» В. И. Даля РР, 1976, № 6), выходило в 1903—1909 гг.; четвертое издание 1913 г. является стереотипным повторением третьего. Шестое издание, вышедшее в 1955 г., представляло собой воспроизведение путем набора второго издания 1880—1882 гг. Издательство «Русский язык» выпустило «Толковый словарь» В. И. Даля фотомеханическим способом с издания 1955 г. (М., 1978—1981).

Из литературы о В. И. Дале: *Канкава М. В.* Даль как лексикограф. Тбилиси, 1958; *Рахманова Л. И.* Дело жизни (к 100-летию словаря Даля).— Вестник МГУ. Серия журналистика, 1966, № 6, с. 18—26; *Филин Ф. П.* В. И. Даль и русская культура. К 100-летию со дня смерти В. И. Даля.— Вестник АН СССР, 1972, № 9.

§ 14

*[1] Изменения в грамматическом строе русского литературного языка нового времени рассмотрены в пятитомной монографии «Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. Под ред. В. В. Виноградова и Н. Ю. Шведовой» (М., 1964). Она посвящена развитию категорий имени существительного, прилагательного, глагола, наречия, предлогов, союзов, синтаксиса словосочетания, строя простого и сложного предложения. Изменения в грамматическом строе изучены в этом исследовании в тесной связи с живыми синтаксическими движениями и перемещениями, которыми так богата история русского литературного языка XIX века.

В. П. Вомперский

Приложение

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

История русского литературного языка — область почти неисследованная. Очень мало изучен язык великих русских писателей как XVIII, так и XIX в. Основные этапы эволюции литературно-языковых явлений не установлены. Нет ни исторической фонетики, ни исторической грамматики, ни исторической лексикологии русского литературного языка. Препятствием к построению истории русского литературного языка является также и недостаточная разработанность истории литературных стилей.

Дореволюционная русская филология меньше всего уделяла внимания истории литературного языка новейшего времени. Не было даже курса истории русского литературного языка в кругу университетского преподавания и в учебной программе высших педагогических институтов. Единственная обобщающая книга по истории русского литературного языка, включенная в «Энциклопедию славянской филологии», издававшуюся Академией наук, именно: «Очерк истории современного литературного русского языка» проф. Е. Ф. Будде (СПб., 1908), — является случайной коллекцией разрозненных фонетических и морфологических (кое-где и лексических) фактов, начиная с середины XVIII в. и кончая началом XIX в.

Изданные в 1934 г. мои «Очерки по истории русского литературного языка» также меньше всего походили на систематически изложенную, исчерпывающую историю русского литературного языка.

Отчасти это были систематизированные лингвистические материалы для ис
рии литературного языка, извлеченные из первоисточников или из самых раз
образных исследований по русской истории, по русской литературе и русско
языку. В еще большей степени это было изложение предварительных результат
моих собственных исследований о языке отдельных писателей или об отдельн
периодах в истории русского литературного языка (например, о языке протопс
Аввакума, о языке переводов Петровской эпохи, о языке Тредиаковского, Су
рокова, Ломоносова, о Карамзине, о французской стихии в русском литерат
ном языке XVIII в., о языке Пушкина, о словарях Академии Российской, о Т
ковом словаре В. И. Даля и т. п.)

Естественно, что в «Очерках» такого типа трудно было добиться истори
ской полноты и соразмерности в характеристике всех периодов истории лите
турного языка. Особенно бледными и расплывчатыми получились очерки та
периодов, которые требовали сложного предварительного обследования язь
художественной литературы, публицистики и науки. Наибольшие трудности пр
ставляла характеристика разных стилей литературного языка во второй полов
XIX в. Тут — море неисследованного материала. Нет обстоятельных описа
языка и стиля даже таких русских классиков, как Л. Толстой, Тургенев, Гон
ров, Салтыков-Щедрин, Чернышевский, Некрасов, Г. Успенский и др.

Вместе с тем мои «Очерки» доходят лишь до последней трети XIX в., ос
навливаясь на рубеже того периода в истории русской литературной речи, в ко
рой уже зрели многие из явлений, характерных для языка современной советс
литературы. Язык Чехова, Горького остался за их пределами.

Кроме того, вследствие недостаточной разработанности методологии истори
лингвистического исследования само освещение и объяснение отдельных языков
явлений или целых периодов в истории русского языка могло оказаться и ока
лось спорным, односторонним или даже ошибочным.

За время, отделяющее первое издание «Очерков» от второго, определилис
раскрылись новые точки зрения на природу многих исторических явлений. В с
зи с юбилеем Ломоносова и Пушкина глубже была осознана и разъяснена ис
рическая роль этих великих реформаторов русского литературного языка. К
жалению, больших лингвистических монографий, относящихся к истории русск
литературного языка (за исключением моего «Языка Пушкина» и рабо
Б. А. Ларина «Русская грамматика Лудольфа»), за этот период не появило
Я стремился пополнить свои «Очерки» новыми фактами и более широкими
рактеристиками языка тех крупных русских писателей, изучение которых зна
тельно подвинулось за это время (например, Ломоносова, Тредиаковского, Су
рокова, Державина, Радищева, Рылеева, Белинского, Л. Толстого и некотор
других). Мною коренным образом переработана глава о языке Пушкина и вст
лены новые главы о языке Радищева, Карамзина, Крылова, Лермонтова и Гог
Подверглись некоторым изменениям общая схема и система исторического ист
кования лингвистических фактов. Однако у меня не хватило времени и сил з
чительно переработать картину языковых изменений во второй половине XIX
Между тем работа над языком Некрасова, Л. Толстого, Достоевского и Сал
кова-Щедрина показала мне полную необходимость расширения и восполне
этой картины. Кроме того, критика справедливо отмечала некоторую одностор
ность в самом выборе материала, естественно отражающуюся и на общем о
щении отдельных периодов и объясняемую лишь фрагментарностью моих «О
ков». Но почти полное отсутствие чужих вспомогательных работ по русск
языку XVII — XIX вв. делает при настоящем состоянии науки о русском яз
построение цельной и безупречной системы истории русского литератур
языка задачей чрезвычайно трудной, а для одного ученого — непосильной. Нео
димы коллективные усилия русских филологов по подготовке материала для со
ния научной истории русского литературного языка, которая должна состав
органическую часть истории культуры русского народа.

Москва
1938 г.

Викт. Виногра

УКАЗАТЕЛЬ [1]

[1] В указатель включены имена писателей, поэтов, публицистов, ученых, общественно-политических деятелей, частных лиц, названия литературно-художественных, философских и публицистических произведений, не имеющих установленного автора или автор которых скрыт под псевдонимом. В указатель также помещены названия словарей, журналов, альманахов и газет. Указатель составил *В. П. Вомперский.*

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВЯ — журнал «Вопросы языкознания».
ЖМНП — журнал «Журнал Министерства народного просвещения».
ЖМЮ — журнал «Журнал Министерства юстиции».
Изв. АН СССР. ОЛЯ — журнал «Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка».
Изв. АН СССР. Отд. ОН — журнал «Известия Академии наук СССР. Отделение общественных наук».
Изв. АН СССР. СЛЯ — журнал «Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка».
ИОРЯС — журнал «Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук».
ИРЯС — журнал «Известия по русскому языку и словесности Академии наук».
ПДП — Памятники древней письменности.
ПДПИ — Памятники древней письменности и искусства.
РР — журнал «Русская речь».
РФВ — журнал «Русский филологический вестник».
РЯШ — журнал «Русский язык в школе».
Сб. ОРЯС — Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук.
ТОДРЛ — Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР.
ФЗ — журнал «Филологические записки».
ФН — журнал «Доклады высшей школы. Филологические науки».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Виктор Владимирович Виноградов

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА XVII—XIX вв.

Редакторы: Т. А. Кондратьева, Н. Е. Рудомазина. Младший редактор В. А. Золотова. Художник С. В. Митурич. Художественный редактор Н. Е. Ильенко. Технический редактор Р. С. Родичева. Корректор Е. К. Штурм.

ИБ № 2986

Изд. № РЛ—72. Сдано в набор 22.03.82. Подп. в печать 28.10.82. Формат 60×90/16. Бум. тип. № 2. Гарнитура академическая. Печать высокая. Объем 33 усл. печ. л. 3,12 усл. кр.-отт. 39,37 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. Зак. № 1081. Цена 1 р. 70 к.

Издательство «Высшая школа», Москва, К-51, Неглинная ул. д. 29/14
Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.